КОНТИНЕНТ

114

2002

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 114

КОНТИНЕНТ



Нина Горланова



Вячеслав Букур

Тут Алеша решил на замерзшем окне написать несколько раз свое имя, заклиная таким образом смерть и холод. Иногда он впадал в отчаяние: слишком сильно время всё портит и разрушает, никаких слов не хватит, чтобы его остановить.



Анатолий Кобенков

...и мне подумалось в тот раз, что наша встреча и разлука, как все, что в нас и что вне нас, живет пределами предзвука...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи Елены Аксельрод, Натальи Горбаневской и Виталия Дмитриева

Повести и рассказы Сергея Бабаяна, Екатерины Дубининой, Юрия Киреева и Владимира Торчилина

Статьи и очерки Марины Адамович, Александра Журавского, Михаила Копелиовича, Александры и Бориса Колымагиных, Владислава Томачинского, Геннадия Трифонова, Ирины Уваровой, Василия Шульгина и Евгении Щегловой

А также наш постоянный раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»





А Миллениум мы встретили так: били в воздух из всего, что стреляло. Минометчики пускали осветительные мины-люстры, все остальные стреляли трассерами. Из БТРов били и из танков. Словом, было дико красиво.

Илья Анпилогов

Миф и гуманизм; природа и дух; вневременное, существующее в образах (Gestalt), и преходящее; священное и обыденное; серьезность и игра... Каждое из этих ключевых слов переписки Томаса Манна и Карла Кереньи требует комментария...

Ольга Седакова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Спрашивайте красно-бело-синий каталог «Роспечати».
Наши подписные индексы

73218

и

71682

(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал. В 2003 году она составит всего

160 руб. – годовая подписка;
80 руб. – первое полугодие.

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 14.00 до 16.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также
отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

"AD MARGINEM" – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60
"БИБЛИО-ГЛОБУС" – Мясницкая ул., 6; тел. 921.63.40
"ГИЛЕЯ-ГАЛАРТ" – Черняховского ул., 4а; тел. 151.89.01
"ГРАФОМАН" – 1-й Крутицкий пер., 3; тел. 276.31.18
"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97
"ЛЕТНИЙ САД" – Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83
"ПИРОГИ" – Пятницкая ул., 29/8; тел. 927.55.22
"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 951.75.96
"У КЕНТАВРА" книжная лавка РГГУ – Чаянова ул., 15; тел. 250.65.46
ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В Санкт-Петербурге
Магазины "ЛЕТНИЙ САД":

Большой Проспект ПС, 82
Невский проспект, 3
ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 15



КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал



КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

114

2002, № 4
октябрь — декабрь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(095) 924-91-51
Internet: http://magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА, Виктория ЛАВРЕНТЬЕВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ, Светлана ОПАРИНА, Мария РЕМИЗОВА, Владимир СОТНИКОВ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий КОБЕНКОВ
Небо, которого нет. *Стихи* 9

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР
Лидия и другие. История одной компании. *Повесть* 15

Сергей БАБАЯН
Два рассказа 120

Елена АКСЕЛЬРОД
Осточертело терпеть немоту. *Стихи* 136

Литературный дебют

Екатерина ДУБИНИНА
Do you speak English? 142

Виталий ДМИТРИЕВ
Пейзаж после битвы. *Стихи* 172

Две истории из недавнего прошлого

Юрий КИРЕЕВ
Шумел камыш 175

Владимир ТОРЧИЛИН
Перелет 187

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ
Где и не лежало... *Стихи* 199

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Илья АНПИЛОГОВ
Уроки армии и войны, или Хроника чеченских будней
Из дневника солдата-срочника 203

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской истории и современности
в русской периодике второго-третьего кварталов 2002 г. 271

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Василий ШУЛЬГИН
1921 год 273

РЕЛИГИЯ

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (сентябрь—ноябрь 2002 г.) 303

Александр ЖУРАВСКИЙ
Проблемы религиозного образования в России 310

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль
в российской периодике второго-третьего кварталов 2002 г. 329

ГНОЗИС

Ольга СЕДАКОВА
Гермес. Невидимая сторона классики 333

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, политологическая,
культурологическая мысль России
в русской периодике второго-третьего кварталов 2002 г. 362

ПРОЧТЕНИЕ

Владислав ТОМАЧИНСКИЙ
Стилистический синтез Гоголя 372

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Геннадий ТРИФОНОВ
Рубцы войны (*памяти В. П. Астафьева*) 385

Марина АДАМОВИЧ
Соблазненные смертью 405

У книжной полки

Михаил КОПЕЛИОВИЧ
Путешествие в глубину, или
Пламенная филология Ольги Седаковой 420

Евгения ЩЕГЛОВА
Здесь «дышат почва и судьба» 429

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика
Третий квартал 2002 г. 438

ИСКУССТВО

Ирина УВАРОВА
В поисках утраченной рифмы 468

НЕБО, КОТОРОГО НЕТ

* * *

...и не устал, и устал ласточек кликать, отчизне —
кукиш в кармане держа, розу под сердцем держать;

и далека, и кратка эта дорога, с которой
надо сойти бы вчера, а обнимаю, как мать;

и тяжело, и легко в легкие — воздух российский,
в брюхо — вселенскую муть долгие годы вбивать...

Тем и утешен, что пью, черные жабры державы
к жадным губам поднося, небо, которого нет...

Ворон — крылом или ветр — дланью, иль кисточкой — дождик,
или цепочкой — снежок лупят меня по мордам, —

вот уж и ты норовишь ткнуть меня в правила жизни,
будто не я для тебя обе щеки приберег...

* * *

«Ты хочешь знать, кто я, — он говорит, — и еду
куда?» — как будто кто готов его спросить
сегодня иль вчера и ждет его к обеду
иль к ужину, с утра готовый угостить
шекстинской стерлядью... «Ты спрашиваешь, кто я? —
он шепчет, — и куда...?», — и вопрошает так,
как будто кто ему уже вино златое
в «крафины» поразлил и выставил каймак...

Анатолий КОБЕНКОВ — родился в 1948 г. в Хабаровске. Учился в Москве — в Литературном институте имени Горького. Автор десяти поэтических книг, печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Согласие» и др. Выступает также как литературный и театральный критик. Председатель Иркутского отделения Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

«Ты спрашиваешь: кто...?» — и вьюжная зевота
просторов снеговых и склянок ледяных
слепит ему глаза, с усмешкой Дидерота
ответствуя ему и раздевая стих,
который он сложил — задолго до острога
и вечность перед тем, как полоз об ухаб
ударил... Но, как встарь, он недослышит Бога
и длит свой бедный стих: «не дерево, не раб»...

* * *

Мне хочется не «ветер» молвить — «ветр»,
так всем теплей: ни Матерь не пугает,
ни Сына Божьего,
и пальмовая ветвь
крошится по обрезу, как пергамент.

Мне хочется не «ночь» сказать, а — «тьма»:
в движении — одна, но недвижима —
другая,
и сибирская зима
накрыла крыши Иерусалима...

Но как сказать, что на сердце лежит,
когда Он, остужая пересуды:
— Да любите друг друга, —
говорит
и глаз не сводит с бледного Иуды?

* * *

...и мне подумалось в тот раз,
что наша встреча и разлука,
как все, что в нас и что вне нас,
живет пределами предзвука,

и если губы сводит грусть,
а сердце — надпись на конверте,
все это — как войти по грудь
в предзвук, в котором атом смерти,

поскольку все — и просверк тьмы,
и тишь, и даль глухонемая —
все это то, чем станем мы-
или однажды были мы,
реке державинской внимая...

* * *

В тот год она повадилась ходить
по души наших малых ребятишек —
зайдешь ли в ТЮЗ, чтоб Золушку оплакать,
иль в драму, чтоб над Гамлетом вздохнуть —
она уж там:
кружавчики, платочек,
распаянная урночка пиона...
И вздрогнешь: репетиция прощанья,
предпохороны, похороны, боль...,
и снова вздрогнешь: господи, о чем я, —
и спрячешься в постель, и ждешь, покуда
твой телефон младенцем не заплачет:
— Не ваш ли мальчик не пришел домой?

И правда — наш. К чему тут опознанья,
зачем допросы, коли брызжут слезы
и сердце разрывается, и губы
не слушаются: мальчик этот — наш.
Еще вчера его мы дожидались
в тени роддома, на ступеньках школы,
от сердца отрывали: баю-баю...
Вот он и спит, и баюшки-баю...

Вот он и спит, а мы сидим в кафушке,
в которой собирались день рожденья
его отметить, вздрагивая: кто там
выносит из буфета винегрет?..

В тот год мы сиротели: баю-баю, —
твердили мы, за гробовые доски
держась, как за дощечки колыбелей...
И спали наши мальчики в тот год...

Так мы и жили — среди нас одна лишь
от тризны к тризне влажно тяжелела:
живот ее круглился, взгляд лучился,
кружавчики крошились по краям.
Никто не знал, кого она спасала
в тот черный год от черного сиротства:
ни мужа, ни любовника — все знали
ее характер: вряд ли подойдешь...

И многие, с поминок на поминки
бредущие, нет-нет да улыбались,
ее завидев: не слетел ли голубь
на плоть ее, и вздрагивали: нет!

* * *

Сначала ждут, а дождавшись — прячут
днем — усталость, а ночью — грусть,
и если тот, кого ждали, плачет,
сидят в его плаче по самую грудь;
по самые уши в его пеленках,
а по макушку в его слезах,
они тускнеют, как цвет на пленке,
они истаивают, как в полях
снег истаивает; кубышки,
которые ими заведены,
едва поспев скопить на штанишки,
спешат-поспешают скопить на штаны;
потом от него те кубышки прячут,
следят за ними, а коль проследят,
слез не прячут — сидят и плачут,
ночью плачут, а днем сидят...

* * *

Меж влажных гряд и пышных поросят,
и жадных голубей, и кошек полоумных
он ходит в сапогах, которые скрипят,
чтоб ведала жена: он рядышком — не умер.

Меж спелых дочерей — всех разом приобняв
и разом пожурив, их кушанья отведав,
он видит облака, а думает: родня,
и смотрит на закат, а узнает соседа.

Он мог бы и не жить — уйти... И от того,
что он еще не мертв, он не подвел итога
ни горю, что прошло по горнице его,
ни счастью, что ему мелькнуло у порога.

Он мог бы и не быть — лежать в сырой земле
под козырьком из плит, под крестиком из жести,
но — хлебушек в кульке, но — рюмка на столе
и всем им хочется пожить не врозь, а вместе...

* * *

Горе было далеким, а счастье — близким:
к десяти оступался закат во тьму,
я смотрел в окно и читал записку,
и не знал, от кого она и кому;
я читал и думал, что этот почерк
с хороводом буковок завитых
гостевал вчера у кленовых почек
и твоих ужимок, и губ твоих;
а еще — о том, что записку эту
написавший зачем-то, всегда один-
одинешенек, долго бродил по свету,
по траве, по коврикам, по паркету,
иногда — к монаху, порой — к поэту,
завсегда к буфетчице приходил...

* * *

...а я бы и к тому
привык, к чему привык —
к галдящей роще и молчащей птице,
и к ветке разрыдавшейся —
старик,
я мог бы и к соринке притулиться, —

соринка, девочка,
не ты ли мне женой
наречена —
Маруся иль Глафира,
давай с тобой пред каплей дождевой
застынем, как холопы пред графиней...

* * *

Когда строка, уставшая от странствий,
сравнялась с одиночеством — тогда
я устыдился: время и пространство
меня не занимали никогда.

Была не мысль, а послушанье гулу,
который, как ни лгал, не обманул
и горький миг, в котором ты вздохнула,
во всю печаль подковкой разогнул...

Что мне пространство, что его мне эхо
во времени, и что тебе с того,
что я их — и не думал, а объехал
с подковкою дыханья твоего?

* * *

...а если бы уехали — тогда
и ветер показался бы нам слаще,
и темнота, а верная беда
всплакнула бы нам рощей, а не чащей;

и если бы не ветер нас будил,
не чаща бы звала к себе обратно —
аукал бы тогда славянофил
по праву третьеюродного брата...

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР

ЛИДИЯ И ДРУГИЕ

История одной компании

повесть*

«Мы живы в такой степени,
в какой оживляем других»
Мераб Мамардашвили

1. Детство

1

Когда Лиде исполнилось шесть лет, она не знала невзгод и даже не подозревала, что они ей полагаются. Но уже через месяц по дороге из Киева в Пермь она мечтала о волшебной палочке — чтобы папу из еврея сделать украинцем или русским, тогда бы их не обозвали космополитами и не выгнали бы с Украины! Почему-то так и представлялось, что на палочке крупно написано: «*волшебная*». Лида уже умела читать и писать.

— А ведь были предзнаменования, были, — бормотала мама, когда уже в вагоне они с папой выпили немного «Спотыкача».

Их белая кошка Дина в очередной раз родила котят — это было три месяца назад. Всегда рожала белых, а тут впервые родила серых. Кошка не признала их своими, не кормила, и все котята умерли! Это Украина не признала Лиду и ее семью: «От поганы москали и жиды понаихалы!» У Лиды мама была русская — Анна Лукьяновна, а папа — Лев Аронович Шахецкий, поэтому сейчас, чтобы не умереть, как те котята, семья Шахецких ехала на далекий север. Из Киева...

Лида всю дорогу считала зеленые двери, которые только изредка можно было увидеть из окна вагона: «Девять... пятнадцать... восемнадцать зеленых дверей». И родители понимали, что дочь хочет как-то для

---

* Журнальный вариант

Нина ГОРЛАНОВА

Вячеслав БУКУР

— родились в Пермской области. Закончили филологический факультет Пермского государственного университета. Авторы «Романа воспитания», в 1995 г. признанного лучшей публикацией «Нового мира», повестей «Учитель иврита», «Тургенев — сын Ахматовой», «Капсула времени» и др. Печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда». В 1996 г. вошли в shortlist претендентов на букеровскую премию. Живут в Перми.

себя упорядочить это огромное пространство. Сначала от Киева до Москвы, а после еще от Москвы до Перми. Всего за дорогу она насчитала двадцать восемь зеленых дверей. Теперь в Перми всегда можно мысленно отсчитать обратно двадцать восемь зеленых дверей и оказаться в Киеве — в любом его месте, в любом его дне! Например, в двухлетнем возрасте, когда маленькая Лидочка точно знала, что мама и Украина — одно и то же. Мама теплая, и Украина теплая. Мама громадная — уходит под небо-потолок, и Украина громадная.

Когда подъезжали к Перми, за окнами вагона лежал снег, и мама сказала Лиде, что, наверное, в этой местности нет даже светлячков, которыми папа, Лев Ароныч, украшал волосы мамы, когда влюбился в нее в Киеве, и они допоздна гуляли. Лида заплакала по будущим отсутствующим светлячкам, но папа остановил это:

— Держись! Ты же дочь Льва!

Потом, когда в исполнении Эдиты Пьехи появится песня про город, «в котором тепло — наше далекое детство там прошло», Лида решит, что это песня про тех, кого выгнали из теплых родных мест, выслали на далекий север...

Они привезли с собой одежду, обувь и посуду, книги и лекарства. Но была одна вещь, которую они не могли взять с собой — сам Киев. Когда Лида жила в этом городе, она думала, что все так счастливо устроено у всех, как у нее. Ведь Лида — Ида! То есть внутри ее имени есть имя ее дедсадовской воспитательницы, которую Лида любила почти, как маму. Если же взять имя «Лидочка», то в нем есть слово «дочка»! Лида очень любила, когда папа называл ее дочка. А в Перми он сразу стал звать ее Лидией, стал суровый и хотел, чтобы дочь скорее поняла, что жизнь пошла другая, трудная, нужно быстрее приспособиться к ней.

Лида хорошо помнила, как подбирали имя ее брату, который родился тоже в Киеве. Мама писала диссертацию по Чехову и хотела назвать сына Антоном.

— У тебя есть соображение?! — кричал папа. — Ты хотя бы представляешь, как его будут дразнить в школе! Антон-гандон! — но тут папа осекся и виновато посмотрел на дочь.

— А что такое гандон? — стонала-допытывалась Лида, но отец махнул рукой и стал говорить, что Антошка-картошка — тоже не очень красиво звучит.

Назвали брата Аркадием. Дразнили потом: Аркашка-промокашка, но это уже в Перми. А в Киеве его до трех лет носили на руках, и Лида это прощала, ведь так тетешкали детей по всей Украине: «Вонэ такэ малэнько». Мама до трех лет кормила Аркашу с ложки, поворачивая перед раскормленным младенцем чайную банку с четырьмя разноцвет-

ными китайцами и приговаривая: «А теперь за красного китайца ложечку, а за синего еще...»

Потом Лиду стало обижать то, что брата продолжали носить на невидимых руках и в десять, и в пятнадцать, и в двадцать лет. Лида так оправдывала родителей: они добрые, но, врастая в суровую пермскую землю, мама и папа хворают корнями души, им нужен помощник в укоренении. Понятно, что помощником выбрали старшую — Лидию. А как же сладость детская? На эту должность назначили Аркашу.

Еще в поезде родители потребовали, чтобы Лида говорила только по-русски. Но когда подъезжали к заснеженному городу, она вдруг затянула: «Дывлюсь я на нэбо та и думку гадаю — чому я ни сокил, чому нэ литаю...». Родители закричали хором: не пой! Она думала, что они лишний раз не хотят рвать себе сердце, и стала петь про себя, внутри себя. Она пела дальше, мысленно прощаясь с Киевом, который далеко, за двадцатью восемью зелеными дверями, а от одной до другой... ехать и ехать... Но родители объяснили: теперь надо петь русские песни. И по-русски говорить!

И все-таки она допела до конца — не вслух, без слов. Ведь сокил — сокол — мог бы быстро слетать на Украину, поглядеть, что сейчас делают бабушка с дедушкой, папин брат дядя Миша, что поделывает в садике воспитательница Ида. А сядет сокол на любимое Лидино дерево с грибом...

Лиде было жаль расставаться с этим деревом во дворе их дома. Очень! Дерево с брошью-грибом. Гриб вырос красивый, полукруглый. Папа говорил, что на самом деле грибница разрушает древесину, у дерева, может, онемение какое-то внутри, неудобство. У гриба нет фотосинтеза, говорил умный Лев Ароныч Шахецкий, люди думают, что дерево с брошью — это красиво, но *красота не гарантирует отсутствие проблем*. Лида запомнила эти слова на всю жизнь.

Папа ее был очень красив, хотя и получил на войне ранение в челюсть, навсегда остался шрам... Геройски воевал с фашистами, но смирился с тем, что самого с семьей выдворяют из Киева. Разве герои не должны бороться за свое счастье? — спрашивала себя Лида, но вслух этого почему-то не говорила. Вот дядя Миша не поехал из Киева никуда, он сказал так:

— Если на одну чашу весов положить Киев, а на другую все остальное пространство земного шара, то Киев перевесит для меня все.

Дядя Миша ушел из института, то есть его попросили уйти, но из Киева не уехал. Был молодым научным сотрудником, а стал простым рабочим на заводе. Но Лидины папа и мама были уже кандидатами наук и не захотели оставить научную карьеру...

Папа говорил еще про гриб: совсем недавно он плыл в виде споры по воле ветра и не знал, угодит эта спора куда-нибудь или погибнет, как иногда бывает. Если он сядет низко на дереве и прорастет, то его

палкой могут сбить мальчишки — не на зло, а тренируя собственную ловкость, ведь у них зрительный анализатор требует своего развития и шлифовки. Но этот гриб везунчик поселился высоко и выжил, даже кошки его обходят стороной — для них он ненадежная опора. Любой гриб, который мы видим, — уникальный везунчик, говорил папа таким тоном, словно думал: надо лететь по воле ветра, как спора, и неизвестно еще, как все сложится на новом месте.

— Папа, а почему нас в Пермь несет по воле ветра? — спросила Лида — Пермь для евреев, что ли, родина?

Лев Ароныч посмотрел куда-то вдаль и ответил скороговоркой: мол, в Перми живут русские, коми, татары и другие, но они живут там недавно — пришли и вытеснили местное население, зырян и прочих... Завоевали, в общем. Шахецкие едут туда, потому что списались заранее.

Когда в Перми Шахецкие подошли к общежитию университета, где им предстояло поселиться, Лида в первую же секунду стала приглядываться к деревьям вокруг: может, есть с грибом. И увидела, что на одном высоком стволе в ветвях застрял игрушечный медведь без одной лапы. Но может быть, она просто припорошена снегом?.. Радость шевельнулась в груди Лидии — впервые с тех пор, как выехали из Киева.

— Ведмедь! — закричала она. — Папа, мама, ведмедь!

— Говори по-русски, — резко одернула ее мать, но потом мягко добавила: — Ведмедь и медведь — одно слово: ведает он, где есть мед...

— Папа, достань мне вед...медведа!

Отец осмотрелся, поднял сломанную лыжу и сбил медведя, мокрого и тяжелого. Мама сразу: заплесневеет, да и одного глаза нет. Но Лида прижала мишку к груди и не хотела отдавать. Она высушила его, пришила вместо глаза пуговицу, однако мама не похвалила ее за это, наоборот, заворчала: пора уже кончать в игрушки играть, надо к школе готовиться, больше читать, учить наизусть стихи.

2

Вот так судьба играет человеком: вчера Лида была ребенком, а сегодня требуют, чтобы стала взрослой.

В Перми мама часто болела, и Лида смотрела за Аркашей, который в темноте боялся лисьего воротника. Ему казалось, что в сумерках воротник маминого пальто начинает шевелиться и хочет отомстить за то, что лису убили. Лидия придумала укладывать Аркашу на сон с фонариком, который брала на ночь у новой подружки Юли, дочери космополитов из Москвы. Но родителям фонарик мешал. Тогда Лидия стала укладывать рядом с Аркашей мишку: мол, медведь победит лисицу, если она оживет и нападет... И когда благодаря мишке Аркаша совсем перестал бояться воротника, Лидия вдруг — впервые в Перми — подумала, что все будет хорошо, они здесь приживутся.

— Мама, не хвылюйся — выживем мы!
— Лида, говори по-русски!
— Хорошо, мама. Не волнуйся...

Пройдет много-много лет, прежде чем Лидия увидит по телевизору, что в гербе Перми есть медведь, очень похожий на того, игрушечного, которого она сама отремонтировала, словно каким-то сто тридцать пятым нервным окончанием поняла, что медведь коренным образом связан с сутью этого города...

Не всегда, однако, родители ложились рано. По выходным к ним сходилось почти все общежитие и гости вспоминали родные города: Одессу, Харьков, Москву, Алма-Ату, Куйбышев... Шахецкие — Киев. Все впервые оказались здесь, почти под самым Полярным кругом, где так холодно. И даже летнее тепло — совсем не то. Северное...

В те часы, когда из соседних комнат набегали научные работники, шестилетняя Лида отогревалась за своей занавеской, ей снова становилось тепло и надежно, как в Киеве. Глядя друг на друга, слегка топчась, гости находили предлог, почему сегодня нужно всем собраться, накручивали патефон и продолжали топтаться уже под «Рио-Риту». Лида лежала за занавеской, иногда отодвигала край ее чуть-чуть и смотрела на гостей, но чаще просто слушала звуки вечеринки и думала: зачем они стесняются и прямо не говорят друг другу, что им хочется погреться. Внутренним каким-то... таким теплом, которое не идет от чугунной батареи. Нет, они делали вид, что пришли обменяться мыслями, а чаще — воспоминаниями о войне.

Папа рассказывал про рукопашный бой. Там непонятно, где наши, где немцы, потому что все грязные страшно, одежда в грязи, лица вообще дикие, как у первобытных воинов, полностью замазанные грязью. И только папа захотел с кем-то схватиться, как уже очнулся в госпитале...

— А у меня не так, — говорил Грач (его все так и звали — по фамилии, а Лида звала «дядя Саша»), — только я собрался с кем-то схватиться, как все вдруг рассосалось и вокруг лежат мертвые...

Между прочим, этот «дядя Саша», Александр Юрьевич Грач, был такой красавец, что Юлина мама, когда его впервые увидела, села безмолвно в угол дивана, так что бусы ее качнулись и легли вбок. Так она и просидела — не шелохнувшись — весь вечер, и бусы ее так и лежали весь вечер вбок...

Еще он был необыкновенный умница, пушкинист, этот дядя Саша Грач.

— Пир во время чумы — это не просто так. Это значит, *что всякий пир идет во время чумы!* Кругом всегда много горя, и нельзя запираться, нельзя заиграться, пуститься в разгул...

Лидию только смущало, что сам дядя Грач как раз заигрывался, появляясь у Шахецких то с одной, то с другой дамой сердца...

Так вот, друзья по общежитию прибегали вечерами в выходные в комнату Шахецких, смущаясь своего желания тепла, начинали хвататься за бутылки, тарелки, вразнобой топали ногами под патефон и никто не терзался, не смущался, что детям за занавеской в это время положено спать. Просто гости чуяли, что неосязаемое их тепло согревает всех, что оно всех оправдывает — тепло, которое создается вместе, всеми... которое заменяет роскошь покинутой южной природы.

Лидия быстро поняла, что для восполнения тепла в мире нужно всю себя бросать в окружающее пространство. Но сначала окружающим пространством был только брат Аркаша, с которым Лидия проводила почти все время, потому что родители бешено много работали. Лев Ароныч писал докторскую, пробивал в университете новую кафедру истории культуры, был членом Ученого совета и прочее, и прочее. Чтобы крепко корнями врасти в пермскую гостеприимную землю, все вновь прибывшие старались: открывали новые кафедры и даже целые институты, читали огромное количество лекций, печатали монографии.

Лиде хотелось, чтобы на свете вообще не было такого города «Пермь». Тогда бы их не выслали из Киева, некуда выслать! Был бы на свете один только город — Киев...

Лида готова была даже полюбить Пермь, но боялась — полюбишь, а тебя вдруг да оторвут от уже любимой Перми и, не спросив, увезут еще дальше на север... Так же она боялась полюбить свою первую учительницу, но в конце концов полюбила. Не просто все это было. Когда Лидии начинал кто-то нравиться, она неосознанно помещала этого кого-то в окружение киевской зелени. И чем больше ей нравился человек, тем больше вокруг него росло как бы деревьев. Появились новые друзья из школы — и целая рощица зазеленела внутри Лидии. Труднее было с самим городом. Когда к лету зелень обнимала городские строения, Лида любила все вокруг, но приходила зима, и чувство любви гасло. За лето не успевала в ней разгореться такая сильная любовь к Перми, которая не остыла бы за зиму...

Лидия никому не говорила, что перед тем, как полюбить человека, она испытывала внутри боли, спазмы, желание ужаться, стать меньше, незаметнее, исчезнуть, чтобы не услали куда-нибудь подальше от желаемого друга, чтобы не заметили вообще. Но она сквозь эти спазмы и тошноту впускала в себя любовь, если видела человека в зеленом окружении, на фоне дерева, куста или даже просто цветка...

Любой незнакомец словно находится в каменной пустыне, но часто кто-то незнакомый давал зеленый отблеск, как если б на раскаленном камне проросло пятнышко травы. Потом зелень таинственно уве-

личивалась в объеме, сгущалась, цвет становился все интенсивнее, травы вокруг больше, но она не массивом, а резная, прихотливая. Уже знакомство длится, и деревья окружают нового друга — там, в сознании Лидии. И наконец она отводит друга в рощу дружбы, там сочная зелень, там тень, тепло и острые глаза росы...

3

В семь с лишним лет, даже почти в восемь, когда Шахецкие уже жили в отдельной квартире на улице имени газеты «Правда», Лидию отправили на почту: послать телеграмму дяде Мише в Киев. Текст сочиняли все вместе: «Миша, как хорошо, что ты родился, Миша, как хорошо на свете жить, Миша, ты, может быть, уже женился, спасибо, Миша, что ты умеешь нас любить». Надо было не пропустить ни одной запятой! Лидия радостно шла на почту: ей просто велели правильно переписать адрес и слова на бланк, а сколько будет сдачи, родители уже подсчитали — рубль двадцать.

Лидия радовалась, что с помощью телеграммы может дотянуться до любимого Киева. На улице летел тополиный пух. А до какого этажа он долетает, интересно? А до Киева долетит? А что — ветры-то — они ведь дуют и дуют... можно бы вообще к пушинке тополиной привязать бумажку с текстом, и пусть бы она летела до Киева... А деньги сэкономленные можно бы отложить на день рождения, уже ведь совсем скоро, а родители обещали, что в это лето будут справлять и позовут ее друзей-одноклассников! И от всего этого: что ее пустили участвовать в общем деле сочинения телеграммы, от пушинок тополя, от мыслей про Киев, от мечтаний о дне рождения — Лида, видимо, выпустила несколько знаков препинания, и сдача получилась не рубль двадцать, а втрое больше!

Она сразу поняла, что выпустила что-то. И сильно перепугалась. Она верила, что дядя Миша и без запятых поймет, что его все любят, но родители не поймут, что Лидия мечтала, что у нее было хорошее настроение. Опять они будут учить ее и пугать, что если она не будет деловая, всю семью переселят еще дальше на север...

Лидия хотела выбросить лишнюю сдачу в открытый канализационный люк. Но как можно выбросить заработанные родителями деньги?! Надо их, конечно, выбросить, но... уважительно. То есть потратить!

Девочка купила у фонтана мороженое, потом выпила стакан газировки. Снова съела мороженое, опять выпила воды. И в конце уже пух тополей, летящий так противно в глаза, был липкий, как мороженка, а облака пузырились, как газировка. Лидия поплелась домой. Ей было нехорошо. Быстро отдав родителям сдачу — рубль двадцать, как они ждали — и квитанцию, со спокойной совестью она прошла в свою комнату. Хотелось полежать и пережить бурлящую дурноту от газиров-

ки и мороженого. Она не знала, что в квитанции написано, *сколько именно* денег взято за отправку телеграммы...

— Где же остальная сдача? — кричал отец и смотрел на дочь такими глазами, словно его сейчас только выгнали из Киева.

От страха у Лидии прошла дурнота. Девочку поразило, что от ее поступка на лице отца написался такой ужас — словно его сейчас снова куда-то выгоняют! Сейчас он заведется на эту тему — сейчас-сейчас...

— Лидия, ты помнишь, как мы должны были уехать из Киева?! На новом месте можно выжить только в том случае, если нам будут доверять. А когда тебе доверяют?

— Когда, папа?

— Когда ты точен, честен, неутомим... Запомни: в первую очередь честен и точен!

Она физически ощущала, как удушливое кольцо, состоящее из точности, неутомимости, труда, здоровья и честности, сдавило ее вокруг пояса.

— Я еще мог бы понять, что ты по своей вечной, дурацкой рассеянности и мечтательности выпустила слова... но деньги! Где деньги?

Лидия что-то бормотала про сдачу, газировку и мороженое.

— А мы это сейчас проверим! Столько денег потратить за один миг — это не-воз-мож-но!

Отец оделся, как на выход. Лидия заметила, что пока она была дома, погода резко переменилась, все стало уж чересчур строгим. Ветер подметал тротуар, облака выстроились в шеренгу — все приготовилось к перевоспитанию Лидии Шахецкой.

Все продавщицы, как оказалось, хорошо запомнили странную девочку, которая выпивала газировку и потом долго разговаривала с ними о жизни: сколько они получают, какая у них семья и квартира, разрешают ли им сесть и передохнуть... Лидия говорила отцу, что еще пух ей попал в глаз и она плохо видела, когда писала текст, поэтому и выпустила знаки препинания. Но эта ложь не помогла: ее наказали лишением дня рождения.

После этой истории у Лидии резко ухудшилось зрение. Было идеальное, а стало минус четыре. Папа говорил: сама виновата, любишь смотреть подолгу на яркое солнце. Но Лидия не понимала, почему это могло ей вредить, если от солнца все для нее на много часов становилось свежее. Мама (забывая, что сама читала в любую свободную минуту) ругала: читает круглые сутки напролет, какое зрение может все это выдержать! Лидия же думала, что просто после истории с телеграммой она окончательно разуверилась в возможности вернуться в родной Киев... Поняла вдруг, что никогда этого не будет. И от нежелания видеть грязные пермские улицы зрение начало падать.

— При чем тут грязные улицы? — удивлялся Лев Ароныч. — Иди в поликлинику и проверь еще раз зрение!

— Часик отдохну после школы и схожу.

— Да ты в школе отдыхаешь от дома, а дома — от школы, у тебя и так сплошной отдых.

— Папа, но у тебя то же самое! В универе ты отдыхаешь от дома, а дома — от студентов!

— Ну, ты философ, — сказала мама.

Лидия поняла, что отвоеван час для чтения, и завалилась на софу, спросив: «Озеро Виктория, интересно, соленое или пресное?»

— Решай сама свои проблемы (у Лидии было впечатление, что они сказали это хором).

Но она не отступила:

— Да, вот еще у меня какой вопрос: сколько сосков у собаки — шесть или восемь? Это очень нужно... для рукодельного кружка, мы собачку шьем.

На самом деле ей было важно общаться с родителями.

— У меня на носу партсобрание, отчет по кафедре, горит статья, в научный сборник, — ледяным голосом перечислял Лев Ароныч. — Сама решай свои проблемы! Тебе хоть миллион раз говори...ты...ты не...

Но Лидия не отступала — ей хоть кол на голове теши. Невозмутимым тоном задала она очередной вопрос:

— Кстати, почему «миллион» и «тысяча» — не числительные, а существительные?

Ей хотелось с помощью вопросов и ответов соткать какую-то плотность между собой и родителями. Но это опять не удалось. А когда она поняла, наконец, что все ее попытки безуспешны, ее зрение упало еще раз — до минус шести. Но после, словно достигнув какой-то смысловой отметки, никогда больше не повышалось и не понижалось.

Часто родители уходили в гости, и Лидия начинала рассказывать Аркаше сказку:

— Посадил дед репку.

— А как он ее посадил?

Если не объяснять, а говорить по-писаному, брату будет так же больно, как ей, Лидии, когда родители не отвечают на ее вопросы. И она отвечала на все вопросы брата, иногда предвидя их заранее, потому что ей и самой не хватало в сказке некоторых подробностей:

— Ну, взял семя репное, посадил его в землю...

— А земля ведь твердая, как он его посадил, Лида?

— Взрыхлил.

— Лопатой?

— Наверное, чем-то таким... типа лопаты, да. И пальцем маленькую

ямку сделал. В нее посадил семя. Сверху землей припорошил. Выросла репка...

Прошло два часа. Родители Лидии вернулись домой. Из детской доносился голос дочери:

— ...Старуха задумалась: деда обижать нельзя! Старуха с ним по жизни прошла мирно, ни разу он ее не обидел.

— Университет с ним закончила, — добавил Аркаша.

Чета научных работников стояла за дверью детской комнаты и слушала Лидину сказку

— Не уходи! — потребовал Аркаша, когда история про репку была исчерпана. — Если не скажешь рифму к слову «потолок», я не буду засыпать!

— Потолок? Молоток!

— А, нет... рифма: каталог! — торжествовал брат.

Родители вошли: мол, зачем ты, Лидия, так долго и сложно рассказываешь простую и короткую сказку! Аркаша теперь долго не заснет.

— Я уже сплю, сплю — только от Лидиных сказок у меня крепкий сон.

2. Школа

1

Как-то, когда еще жили в общежитии, мама Юли заявила:

— Представляете, самые сложные отношения в мире складываются не между мужчиной и женщиной, а между родителями и детьми! Юля вон моя ни за что не хочет идти в школу в Перми. Сейчас она в Москве у бабушки и пишет, что к первому сентября не приедет! Заказали переговоры, так она нас же еще упрекает, почему родину бросили...

С тех пор Юлия месяцами жила у бабушки и дедушки в столице, пропускала таким образом занятия в школе. А в пятьдесят шестом, когда девочки были уже в седьмом классе, вся семья вообще решила возвратиться в Москву. И когда Юлина мама пошла узнать в московском ЖЭКе, что можно сделать, тамошняя паспортистка, совершенно незнакомая женщина, сказала: «А я вас и не выписывала!». Оказывается, все эти годы она сохраняла их московскую прописку. Так Юля вернулась в столицу. От Лидии и других пермских друзей она отрывалась с рыданиями, но Лидии от этого не было легче. Она твердо знала, что в Киеве не было паспортистки, которая бы сохранила прописку Шахецких. И значит, надо дальше жить в грязной Перми. Конечно, здесь много друзей, но Юлечка...

Первое письмо Юле Лидия написала на шестнадцати страницах, и заканчивалось оно словами: «...я по тебе, Юлечка, так скучаю, я так соскучилась, что у меня сердце на метр отпрыгивает, когда пишу тебе эти строки!

...Представляешь, Алла получила письмо от неизвестного: там написано: «Как поживаешь, подруга дней моих суровых? Почему не гуляешь по коридору с нами, вернее, со мной? Почему не гуляешь по коридору вместе с нами, вернее, со мной? С уважением в любом случае — Н.» И там три буквы в слове «любом» подчеркнуты, понимаешь? Мы гадали-гадали, кто это, но не могли догадаться. А ты как думаешь?

Вадик тоже где-то узнал новый розыгрыш, нет, я спутала, это Галька узнала его, а разыграли мы Вадика. Даем ему спичку и говорим: «держи!» Он держит. Нет, дают ему три спички и говорят: вот три девочки... Я начну с начала. Старые строки не читай. Вот всё как: берут три спички. Говорим Вадику: вот три девочки: Лидия, Алла и Галька. Галька захотела погулять и пошла в лес. Дают одну спичку Вадику. Он держит. Это же Галька. Алла стала искать Гальку, пошла в лес. В это время мы вторую спичку даем Вадику, он держит. Тут Лидия (я) стала якобы звать девочек: «Алла, Галька, где вы?» — «Да тут какой-то дурак нас держит». В общем, описать это трудно, потому что это все-таки театр...

Мне нравится Миша из 8 «б», помнишь: он еще Пушкина играл на Пушкинском вечере в прошлом году? Но когда я его вижу, то меня сразу тошнит, и я бегом убегаю в туалет. Значит, в самом деле это уже любовь, я думаю. А что делать, не знаю. Ты мне посоветуй!

...Юля, шифр ты помнишь? *(Шифр был такой: над некоторыми буквами письма стояли точки).* Прочти его!!!

...На прощанье, в заключенье — прогноз погоды. Ветер слабый до умеренного, влажность воздуха сто процентов. Прогноз погоды передала Лидия Шахецкая. Жму руку (нарисована рука). Передавай приветы тете Сарре и дяде Изе!»

«Здравствуй, Лидия! Получила два твоих письма! Как смешно, что написала первое письмо и спрятала под подушку, чтобы никто не увидел, а потом забыла, написала второе, а после нашла первое... Я прочитала твой шифр. Значит, у тебя уже идет... Видела во сне, что мы с тобой с какими-то красивыми мальчиками спасались от мотоцикла. А потом нас тоже посадили на мотоцикл с коляской, чтобы быстрее спасти. Ты сидела в коляске, а я на заднем сидении, вот такие сны. А мне нарочно попадает навстречу, когда я иду из школы, один соседский парень. Его зовут Роберт. У него есть пес. Зовут Индус. Один раз Роберт догонял меня с Индусом. А я не хотела и побежала, они побежали за мной. Роберт около меня пробежал с одной стороны, а Индус — с другой: подхватили меня на поводок, я упала на Индуса, а *Роберт на меня*!!!

...Передавай приветы тете Анечке и дяде Левочке! Обнимаю (нарисован удав). Твоя Юлия».

Однажды родители купили путевки на выходные в Курью, но путевок было только три. Лидию они оставили одну, но разрешили позвать ночевать Аллу и Гальку, угостить их чаем с тортом. На самом деле Лидия пригласила восемь девочек и одну кошку. Кошку принесла Алла. Сначала на кошку надели пионерский галстук, и она всех смешила. Лидия хохотала, падая со стула — буквально, трогая рукой пол. И еще долго смеялись над тем, как смеется Лидия. Она пылко вся себя извергала в окружающее пространство. Потом ели торт и тренировались рисовать с закрытыми глазами. Пикассо был бы в восторге от этих рисунков, где носы вылезали за овал щеки наружу, вываливались просто, глаза же моргали на разной высоте — со стороны крутой модернизм, а вообще-то просто «тренировка мозга», сказала Лидия. Очки она бросила в кресло, и они покорно там сложили свои дужки, как ручки. Без этих безобразных очков Лидия была похожа на красавицу-индианку, если добавить пятнышко между бровей.

— А давайте: будто компот — это вино, а мы выпьем и будем шататься, — предложила Галька. — И запоем.

Все собрание девочек подозрительно, но не без интереса посмотрело на нее: какая у них страстная жизнь там, в бараке. Вся надежда была на то, что хозяйка — Лидия — согласится на волнующее действо. Все-таки собрались в кои-то веки без родителей, одни!.. Уже многие представляли, как «выпьют», морщась, солидно. А потом можно зашататься и заговорить запретными взрослыми словами!

Нельзя сказать, что Лидия с презрением относилась к выпивкам взрослых — изгои из всех городов, приходящие в гости к Шахецким, чем же занимались?!

— И все-таки... давайте лучше... сказки друг другу рассказывать, — предложила она.

Галька сразу кивнула: сказки — это тоже интересно. Кроме того в кармане ее платья лежит конфета в желтой обертке, и Галька часто ее с волнением касается. Галька давно опасается, что вот-вот ее попросят идти обратно в барак, потому что всем здесь не хватит места. И тут она достанет конфету, и вечер продолжится. Хитрая она, Галька, умная!

— Жил-был один школьник. И сильно хотел вырасти, — задушевно начала Лидия.

Гости радостно захихикали, прихлебывая компот и одновременно думая, что этот один школьник — на самом деле Миша из 8 «б».

— Вот что, — сказала вдруг Алла, — я слышала ужасную вещь! Просто ужасную!

Все замерли. В хождении Аллы за Лидией был какой-то лунатизм, и ясно, что она — флегма — тянется к быстрой Лидии, а тут вдруг с таким горячим напором что-то хочет сообщить.

— Алла, что? — Лидия широко раскрыла глаза и руки в волосы спрятала.

— Говорят у нас во дворе, что Миша... да, он самый... с одним еще взрослым парнем... на Каме, на пляже... подходили к девочкам, снимали верх купальника, смотрели и обратно надевали!

Алла сама пожалела, что сказала это. Лидия была... словно бы море или озеро, которое спокойно, но в то же время всем своим цельным зеркалом колышется в своем ложе из берегов, из стороны в сторону, из стороны в сторону.

Галька смотрела на Лидию на предмет сильнее подружиться, отбить ее от этой Аллы-тихони. Например, на следующий год в классе! Помечтала она, перебирая пальцем по конфете в кармане платья. Как хорошо у Шахецких! Какие красивые мебельные штуки! Стол, как паук, круглый, черный, с гнутыми ножками...

Галька в последний раз сжала конфету в кулаке, сделав из нее сущее бесформие, и рывком протянула Лидии:

— Разделим на всех?

«Здравствуй, милая Юлечка! Получила твое письмо, сразу отвечаю. Папа на днях сказал одну очень умную вещь: «Ну, если Бог есть, чего уж он не покажется, чтобы не спорили много, — трудно, что ли, ему показаться!» А у вас в Москве что по этому поводу говорят?..

Мой день рождения прошел чудесно! Было двенадцать девочек... Самый лучший подарок мне сделала Галька: она начистила руками стакан семечек. Говорит, что запомнила мои слова: «Если б я была принцесса, то попросила бы подданных начистить по двадцать семечек, а вместе получилось бы очень много». Я этих слов совершенно не помню!

За Галькой бегает Вадик! Представляешь?! Недавно Галька рассказала, что еще весной она поскользнулась и упала, а двое парней ее подняли и стали отряхивать. И все это увидел Вадик! Так он наклеил ей на ботинки что-то такое, что никогда она уже не падает и не скользит. Представляешь?! Он ее приревновал, как...

...Прогноз погоды: температура плюс двадцать, ночью по области до ноля, возможны заморозки...»

«Милая Лидия! Получила сегодня твое письмо, вчера тоже получила от тебя письмо. Сразу отвечаю на главный вопрос твой: да, Роберт пытался меня обнять, но я сказала, что не люблю обнимончики. А на самом деле мне уже нравится другой. Его зовут Гера. Он очень умный, рассказал мне, что Мессинга в Германии спросили о будущем рейха, и он сказал правду. А здесь его не спрашивают о будущем СССР, потому что не сомневаются, что оно великое...»

В каждом письме к Юле Лидия писала, что тоскует по Киеву, но постепенно названия пермских улиц — Советская, Ленина, Коммуни-

стическая, Орджоникидзе — становились все роднее и роднее. Она даже полюбила вечных ежей из грязных брызг на стеклах пермских трамваев. Вместе с родителями Лидия врастала в этот город, в свою эпоху. В пятьдесят шестом радовалась развенчанию культа личности Сталина, в шестьдесят первом — программе строительства коммунизма. Как же близко счастье: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Радовалась, как все.

О, нет, совершенно не так!

Никто не знал, что она после первой минуты радости вдруг на часдва заболевала. Спазмы и боли внутри подсказывали ей ужаться, стать меньше, незаметнее, чтобы опять без спроса не отобрали хорошее — как некогда отобрали родной Киев. Но спазмы рано или поздно отступали, необыкновенный аппетит возвращался, радость занимала насиженное место в душе, и уже будущий коммунистический трамвай весело катил среди зеленых древесных куп, а в этом бесплатном трамвае сидела Лидия со своими многочисленными друзьями, родственниками и просто знакомыми и незнакомыми пермяками.

Никто не подозревал, что ее мучают спазмы, сковывают боли. Наоборот, всем казалось, что Лидия — самая раскованная среди всех, что она с полнейшей непринужденностью и при этом без всякой развязности разговаривает с ровесниками и старшими. Но однажды мать закричала:

— Люди говорят: невозможно смотреть, как ты идешь из школы! Вслух разговариваешь с собой, жестикулируешь, что-то такое разыгрываешь, трясешь портфелем... Ты нас позоришь на весь город! Просто городская сумасшедшая! Ходи, как все — чинно и тихо! Ты давно уже не ребенок...

Лидия смутно вспомнила, о чем она вчера думала, идя домой из школы. Она читала в эти дни «Войну и мир», роман потрясал ее на каждой странице. Она шептала: «Князь Анатоль... Грудь не определена...» Ее собственная грудь — увы — была слишком уже определена. Ну и что, она ведь никого не толкнула, не сбила с ног, честное слово, ну что они такое говорят, городская сумасшедшая, городская сумасшедшая!

И садилась писать шестнадцатистраничное письмо Юле...

Алла — наоборот — любила, когда Лидия вела себя непосредственно. У Лидии просто движения быстрые, а у нее, Аллы, медленные.

В отличие от Шахецких семью Аллы Рибарбар никто никуда не ссылал, их предок после многолетней службы в царской армии сам выбрал Пермь — он был из евреев-кантонистов. От него ли передалось по родовой ветви это чувство раздерганности дней? Но только Алла плавными движениями будто хотела заколдовать время, которое рвет себя на цветные грязные клочки и беспорядочно кидает на нее и мимо нее.

Или рядом с Лидией она забывала о материальных проблемах, которые навалились на них с мамой и братом после смерти отца? Лидия так общается, словно всё захватывает в вихре своих слов. Сначала Алла даже секунду сопротивляется, а потом отдается потоку, летит куда-то вместе с подругой... Когда Лидия говорит, такое ощущение, что каждое слово, как буравчик, в тебя вверчивается, но от этого приятно, как будто щекотка. Порой, слушая речи Лидии, хотелось все бросить и бежать куда-то, что-то кому-то дарить... И при этом Лидия очень умна, столько всего знает от родителей! А у Аллы мама совсем простая: медсестра.

Однажды Лидия рассказала подружке, как ее тошнит от мысли о мальчиках, а если кто-то конкретно появляется на горизонте, то прямо рвет перед свиданием... На Аллу этот рассказ произвел сильное впечатление: значит, и у Лидии есть проблемы! Оказывается, горе — не только в рваных ботинках...

2

В десятом классе вдруг появился новенький. Егор Крутывус. Он медленно ронял фразы, держал тяжелые мхатовские паузы. Лицо его, словно выстланное розовыми лепестками, говорило больше, чем слова:

— ...Сильнее всего. Меня поразило. У Канта: времени и пространства не существует! — веско поражал он Лидию.

Она почувствовала: поскольку он такой хрупкий, то свою мужественность выражает паузами — и раскладами безжалостного по выводам интеллекта. Помимо этого Лидия еще уловила две простые мелодии:

1. Вот я какой умный, и вы меня сразу призна́ете!

2. Возразите мне, пожалуйста! А то неуютно и страшно жить без времени и пространства.

Чтобы он успокоился, Лидия в самом деле возразила.

— Ну да! — хохотнула она. — Вот наш класс. А вчера тебя в нем не было. Ты сегодня появился. Значит, существуют и место, и час.

— Да, — сказал Егор, потом выдержал паузу (которой по Канту не существует). — Время и пространство — это лишь формы. Нашего восприятия. А ведь собаки видят мир без цвета и объема. У муравьев. Есть. Чувство. Запахоформы.

Запахоформы? Что-то у меня от муравьев есть, думала Лидия: в первые минуты, как только она увидела Егора, он уже предстал ей в окружении зеленых деревьев, и при этом вокруг ощущались медовые запахи лета... Лидия сразу поняла, что уже давно его знает, только не помнит, с каких пор, — как не помнит своего рождения.

На уроке Алла написала ей записку: «Крутывус — украинская фамилия?». «Да», — ответила Лидия и на перемене подошла спросить, давно ли он с Украины, но взамен выяснила лишь, как нужно — по Канту — воспринимать этот мир. Однако после алгебры она уже знала,

что отец Егора был в оккупации, из-за чего не мог нигде устроиться на приличную работу. На физкультуру они оба не пошли, и Лидия выяснила, что семья Крутывусов переезжала с места на место и вот остановилась здесь, так как отцу дали квартиру.

Для того чтобы он вспомнил, как незапамятно они знакомы, она завела разговор о Киеве. Егор почувствовал доверие к Лидии и, рискуя показаться странным, неожиданно признался, что из-за частых переездов у него вообще не выросло чувство привязанности к одному городу:

— Я так. Предполагаю. Не хватило времени привязаться...

И тут судороги, спазмы от желания ужаться и стать меньше, незаметнее — чтобы не разлучили с Егором — настолько сильной болью отозвались внутри, что Лидию сразу затошнило, у нее заболела голова. Такой силы приступа не было никогда.

— Что с тобой? — спросил Егор.

— Голова... Я пойду.

Дома Лидия забилась в свою комнату и долго отлеживалась. Чувство к этому новенькому было похоже на... словно это еще одна дверь в мир, через нее можно выйти в неизвестность и по-новому разглядеть все, но... потом это все отберут, как отобрали Киев? А поскольку человек еще больше, чем город, то Егор ей уже показался больше всего Киева, всей Украины, и если его отберут...

— Всю форму помяла! — процедила мать таким голосом, который страшнее всякого крика. — Школьную форму! И даже не заметила, что помяла.

Слишком много чести этим вещам, если все время их замечать, думала Лидия, но молчала. Как ни странно, но замечание матери исцелило ее от спазмов и тошноты. Глубина в бассейне, в Егоре, в море, а душа мамы — как пересохший бассейн. Прыгни ночью — разобьешься... Совсем другое было в Киеве, когда мама и Украина были одно и то же. Но и пригодилась мамина сухость, а то Лидия бы могла утонуть в этом глубоком море по имени Егор...

— Менделеев-то! Наивно хотел опровергнуть спиритизм. Комиссию создал, — говорил Егор после урока химии, а полкласса внимало ему. — Конечно, большинство духовидцев оказались — дурь в крапинку, но... несколько случаев в шок бросили старого прагматика...

Здорово он! Лидия в химии плохо разбиралась, но Алла помогала ей заучивать основные положения при помощи нехитрых смешных словечек: «Если мы соль булькнем в кислоту, то... а если булькнем в щелочь, то...»

И все только крякнули, когда, сами того не хотя, согласились участвовать в натуральном сеансе по вызову духов. И Лидия тоже. И Алла. Про тех, кто не пошел, Егор говорил снисходительно: испугались КГБ.

— Родина не похвалит за идеализм, — повторял он раз пять. — Но... не исключено, что в ходе эксперимента... мы придем к выводу: духов никаких и нету.

Договорились: все будет происходить на строго научной основе. Аллу посадили за протокол.

— Полное бесстрастие и не пропускать ни слова, поняла? — суховато наставлял Егор.

Там еще были: Галька со своим Вадиком, Володя из девятого «а» — здоровяк и телохранитель Егора, Наташа Пермякова и братья Черепановы, которых Егор звал «братья Ч.».

— Прежде всего, — командовал он. — Надо снять кресты — иначе может ничего не получиться. Непонятная связь тут, но... Мы с вами наберем фактов и все проанализируем. У кого есть кресты?

Его стрекозиные глаза не глянулись Гальке. Она недавно нашла на полу в бане крестик и решила, что поносит его, раз нашла. Она была вообще-то даже некрещеная, Галька. Но интересно же: крестик. А тут что делать — надо покорно снимать его, крестик, к которому уже так привыкла.

Погасили свет и зажгли свечу. Лидия почувствовала, что у нее внутри вот такой трепет, как у огня свечи. «Да уж не боюсь ли я!» — натужно посмеялась она над собой.

Егор проследил, чтобы блюдечко равномерно нагрели, чтобы круг на бумаге был очень круглым (духи иначе могут обидеться), чтобы все буквы и цифры оказались строго по кругу.

Кто-то спросил: букву Ё писать?

— «Ё» введено недавно, — важно сказал Егор, — Карамзиным. А духи — тонкие сущности и с трудом воспринимают все новое. Сами посудите, они же тысячи лет живут.

В воздухе носилось тайное смятение. Конечно, все тут были такие смелые — бросили вызов опостылевшему материализму, который на каждом шагу вбивают в школе. Но в то же время всем хотелось надежности и уверенности. Они еще не понимали, что чудо составляет одно целое с надеждой, а не с надежностью. Да и кто способен понять это в юности?!

Только расслабили пальцы и дотронулись до перевернутого блюдечка, оно заскользило, как будто обрадовалось прикосновению. И побежало от буквы к букве. Лидия почувствовала мгновенный ожог изнутри. Втайне она надеялась, что все это шутки.

— Неосознанные акты идеомоторики, — бормотал Боря Черепанов, отчаянно скрывая нотки беспомощности в голосе, — Подсознательные... психические... процессы.

Не обращая внимания на эти научные заклинания, блюдечко еще быстрее заскользило по алфавиту, делая короткие остановки.

— Это все можно объяснить материалистически, — продолжал Боря.

— Тише, — цыкнул Егор. — Оно обидится.

Всех охватило состояние колючей нервности.

Наконец, блюдечко выдохлось и замерло. Лидия прочла: «Уберите этого здоровилу».

Здоровилой был только один Володя, телохранитель Егора. Но он начал возмущаться: сижу, никому не мешаю, добросовестно участвую в этой... цепи индукторов.

— Вол, быстро в другую комнату или на кухню! — запаниковал Егор. — Духи, они обидчивые и гордые.

Точно: четверть часа блюдечко не двигалось, хотя Володя ушел на кухню.

Потом замелькали: Б — Л — Я. Получалось что-то неприличное. Ничего, успокаивал Егор, они иногда ругаются.

— Пора спрашивать, как его зовут, — скомандовал Егор.

Оказалось: Айосья.

— Алла, пиши! Ему четыре тысячи лет. Нет, четыре тысячи и триста лет! Молодой, — тут Егор огорчение выразил на своем лепестковом лице. — Но выжмем из него все нужные сведения.

— А не вызвать ли нам Пушкина? — спросила Лидия.

— Нет, лучше Сталина! — предложил Боря.

— Сколько мне осталось жить? — вдруг громко спросил Егор.

Все замолчали, защищаясь от смысла вопроса. На секунду как бы всех убило. Очнувшись через мгновение, они замахали на Егора свободными от блюдечка руками. Посыпались какие-то вялые, желто-серые слова:

— Ну, ты даешь...

— Куда хватанул...

Егор успокоился, расслабившись лицом, когда Айосья выдал: «Погибнешь в сорок пять, а умрешь в пятьдесят». От щедрой бездны времени даже голова закружилась. А у Лидии появилось чувство, что предсказанный срок высвечивается какой-то грязной убогостью. Куцым обрывком ликующего блаженства бессмертия...

— Но сорок пять лет — это же мало, это почти завтра, — выкрикнула Лидия, трясясь всем своим плотным ярким телом.

...Но все уже задавали Айосье свои вопросы.

Егор обещал тщательно перепечатать протокол сеанса и каждому подарить экземпляр. Свое обещание он выполнил уже на следующий день. Видимо, не спал всю ночь.

...С годами, как бы шутя, он все чаще заводил разговор об этом спиритическом сеансе. Небрежно, в придаточном предложении, чтобы не заподозрили ничего, ронял: «Осталось двадцать девять лет... двадцать

шесть... двадцать лет...» И постепенно в его голосе нарастал оттенок напряжения.

На другой день после спиритического сеанса Лидия сидела в своей комнате и смотрела в окно. Если б на одну чашу весов положить весь мир, а на другую Егора, то он перетянет все, с мрачным счастьем думала она.

3

Слухи о том, что на комсомольском собрании будут разбирать духовидцев во главе с Крутывусом, никого не удивили: «Протоколы» этого опыта в четырех машинописных экземплярах вращались во всех параллельных десятых и даже в девятых. Автоматически Егору присвоили статус зачинщика.

— Комсомольцы верят в духов! — завуч Валентина Мартемьяновна гневно тыкала пальцем в гонористую подпись «Крутывус». — Не скрывается даже!

Вообще-то учителя и сами с огромным интересом прочли протокол спиритического сеанса. Видать, материализм уже достал всех и хотелось чудесного. Но страх перед компетентными органами толкал создать образ врага. Эта роль и отводилась Егору.

...Класс замер, вдыхая чугунный воздух собрания. Директор, завучи и парторг по-разному держали в руках замусоленные «Протоколы». Кто-то — как важную улику, кто-то — брезгливо, как будто бумага заражена особо опасными микробами. И только классная руководительница Татьяна Николаевна взяла протокол и повертела в руках, как простую бумажку. Татьяна Николаевна передала улику посланнику райкома ВЛКСМ, тихонько и умненько сидевшему во втором ряду. Классная и райкомовец обменялись взглядами однокурсников. Оба вспомнили вдруг, как однажды в общежитии он — тогда просто Толя — показал Тане девять способов самоубийства с помощью батареи отопления.

Перебрав листки, комсомолист встал и сказал со вздохом:

— Никогда этого не пойму! У нас что мало возможностей сделать жизнь интереснее без мрака?!

«А зачем ты мне показывал девять способов расстаться с жизнью?» — про себя уличила оратора Татьяна Николаевна. И в этот момент Лидия вдруг почувствовала, что все обойдется.

Егор сидел гордо, но без наглости, а примерно как ученый, на которого ополчилась вся инквизиция. Этот достойно-умный вид Лидию нисколько не обманул: поредевшая зелень на его фоне выдавала, что парень сильно боится. Ей хотелось перебросить ему надежное чувство, что в будущем они все равно будут вместе. Она даже была довольна, что все идет таким чередом: высокомерие-то у Егора облезет и он ста-

нет уделять ей больше внимания или времени. Или всё время — она бы не против, — которого не существует по Канту...

Лидия видела, что единственные, кто здесь не тяготился и не скучал, были Галька с Вадиком: они сидели рядом и прямо срослись плечами. Лидия не к месту вспомнила жалобы Гальки: Вадик целуется, как будто уже опытный. А он — Вадик — сидел безмятежный, не подозревая ни о своей опытности, ни о том, что вносит ею столько смятения в немудреный мир девичьих откровений.

— Как может в наше просвещенное время произойти такая дикая история? — как артист-любитель протяжно воззвала завуч Валентина Мартемьяновна. — Идеи социализма, а не эта дурная мистика должны влиять на нашу жизнь!

— А как же быть с основным вопросом философии? — въедливо спросил Егор.

— Это с каким еще основным вопросом? — испугалась Мартемьяниха.

Все засмеялись. Стало легко. Лидия предложила взять Егора на поруки.

Комсомолист заиграл ей навстречу светлыми глазами:

— Тут вот девушка с оттенками топленого молока в голосе предлагает на поруки... Нет! Выговор и строгий — но без занесения в личное дело!..

Строгач без занесения! Все были за. Егор потом, пьяный от радости, неуклюже сжал тугую Лидину руку выше локтя:

— Какой он сказал у тебя голос? С оттенками топленого молока?

И еще раз сжал руку. В будущем, много раз возвращаясь в это сейчас, которое отстоялось в памяти грустной радостью, Лидия поняла — в общем, не хотела она этого понимать, но куда деться?.. Это когтистое пожатие Егора получилось где-то близким к дружескому. Без глубокого тепла. А она сама?.. Топленое молоко... Материнство какое-то, фу, глупости.

4

— Не беспокойся, — говорил отец, — у кого-то уже есть поклонники, у кого-то тоже нет. У Аллы нет... За тобою будут еще ухаживать вовсю! И оттенки топленого молока в голосе не помешают. Вот увидишь!

А Лидия продолжала после уроков ходить с Аллой, а иногда с Галькой и непременным ее приложением Вадиком по улице Героев Хасана, где жил Егор. По всему было видно, что ни с кем из девушек он не встречается. Но уж лучше бы встречался, что ли, думала Лидия. Тогда... отбросить его вместе с надеждой!..

Однажды на перемене Галька позвала Аллу в коридор и по секрету сообщила: Вадик вчера на свиданку лупу приносил — ее, Гальку, рассматривал в лупу, кожу на лице, на руках. Улыбку с ямочками хотел рассмотреть. Секрет искал — откуда ямочки.

Галька почему-то волновалась, и ясно было, что Аллу она выбрала на пробу: как та отнесется. Если нормально, то можно будет рассказать и Лидии.

— Он говорит, что я другая, не как все, но хотел это научно понять, что ли...

Алла смутно понимала, что Вадик относится к Гальке, как к существу уникальному, единственному в своем роде, и от этого — еще более ценному. Но все равно лупа — это уж вообще непонятно... Рассказ Гальки поразил Аллу так, что она минуту не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни языком — так была углублена в новое переживание. Так вот оно как бывает: мальчик приносит лупу и...

— Ну что ты молчишь? — спросила Галька.

— Ну что сказать — ты молодец, — сказала Алла, хотя понимала, что никакой заслуги Галькиной нет.

Алла ловила себя на том, что ей тоже хочется что-то такое в ответ рассказать, чтобы кто-то считал, что кожа на кистях рук Аллы особенно нежная. Сквозь лупу, не сквозь лупу — но нежная, но особенно. Но у Аллы ничего не было в жизни — плоскость, скучная пустыня там, где у Гальки вовсю шумел и развивался разноцветный пейзаж. Так Алла и стояла, закованная восхищением и хорошей, дружеской, но завистью. Она чувствовала, что отстает от Гальки. И даже от умной Лидии, у которой что-то с Егором — хоть и одностороннее. А у Аллы никакой стороны нет. Ну, тут надо покопаться. Как это так: у Лидии есть, а у нее нет? Наверное, что-то тоже есть. Она прислушалась к себе: есть. Точно есть!

Позвали Лидию, и она сказала:

— Лупа, конечно... А вот мой папа моей маме вообще на свиданиях светлячками волосы украшал, честно!

И всё. Лупа померкла. Раз и навсегда. Светлячками волосы! Здорово.

Алла долго набиралась уверенности и однажды по секрету сказала Гальке:

— Я сейчас знаешь что хочу... про Егора! Он ведь, негодяй, на два фронта сразу работает. То на Лидию посмотрит, то на меня.

Она выигрывала и проигрывала сразу. Выигрывала в интересе. Но проигрывала в порядочности, обвиняя Егора понапрасну. Егор был весь в другом. Его интересовали толстые журналы, он брал их у Шахецких, но сама Лидия Шахецкая как бы не очень его волновала.

— Скажу Лидии, что я решила пожертвовать Егором. Ради дружбы (и тут ей стало хорошо на душе).

Лидия совершенно не удивилась, что Алле вдруг тоже стал нравиться Егор Крутывус. Он ведь замечательный. Лидию удивило, что Алла сказала однажды:

— А давай вместе поставим по свечке! На снегу, чтобы снег охолодил огонь... Надо смотреть на огонь свечи, представлять, что это сгорает твоя любовь. И нужно повторять: «Свеча догорает — любовь улетает». И когда огонь коснется снега, погаснет, надо представить, что все внутри уже наполнилось тоже холодом. И все навсегда уйдет! Мне мама сказала.

— И чего это она тебе сказала? Зачем? — удивилась Лидия. — Мужчин впереди много, а мы с тобой единственные. Давай не будем ссориться из-за Егора. Давай подождем до Нового года, если он нас пригласит... Ну, а если пригласит, то сам выберет среди нас с тобой...если тебя, я мешать не буду! Ни за что!!! Дружба — это для меня все!..

Они высоко о себе думали в этих бесконечных разговорах о Егоре, словно у них нет и тени сомнения, подозрения, что Егор может выбрать третью.

Но он их не пригласил.

«Дорогая Юлечка! Пишу тебе в новогоднюю ночь!

Мы с Аллой были разные. Каждая — несгибаема в своем решении. Я — бесконечно мучиться своей драгоценной любовью к Егору. Алла — сжечь ее и заледенить. Она выбрала свечу потолще, чтобы магической силы в ней было побольше. Я стояла в отдалении, отсчитав восемь шагов, хотя сама не знаю, почему — восемь... Так я была уверена, что непонятная сила не заденет меня. А в окне Крутывусов глухо задернуты шторы, и я даже подумала, что в мире будет меньше тепла после того, как свеча Аллы сгорит...

Видимо, в это время Егор получил приказ мамы вынести мусор (оказывается, у них никто не собрался, потому что умер дед Егора).

— Свеча горела на снегу, свеча горела! Привет! А вы чего тут делаете?

Алла молчит, а я спросила:

— Что ты будешь делать сегодня ночью?

— Предки уснут, а я собираюсь провести опыт. Исследование необычных состояний психики. Выпью вина, включу самонаблюдение. И все буду записывать. Потом напечатаю «Протокол опьянения» на машинке. В четырех экземплярах. Но вы никому ...ни слова!

Так мы долго еще бы стояли, но в форточку высунулась мама Егора:

— Егор-маленький! Где ты так долго?

Оказывается, папу Егора тоже зовут Егором! Он Егор Егорович! И мама зовет его «Егор-маленький». Это в семнадцать-то лет!.. Но я тут вот от чего, Юлечка, огорчилась. Моя мама тоже, если я на минуту опаздываю с прогулки, кричит в форточку: «Немедленно домой!» Но не потому, что опасается за меня, маленькую, а потому что я должна быть взрослой и точной, как взрослые!..»

3. Университет

1

Первого сентября университет показался Лидии пустыней, где стоит посреди песков памятник — Ленин, денно и нощно объясняющий Горькому основы материализма.

Прошедшее лето — одна вспышка прошлого и больше ничего. Как сдавала экзамены, что делали родители... Впрочем, про родителей вот что запомнила: перед мамой стоял на коленях сам Александр Юрьевич Грач! В коридоре филфака. Мама вычитала его докторскую диссертацию и сделала более тысячи поправок, а он за это на колени, при всех... Эффектно, ничего не скажешь... Вдруг Лидия из-за постамента услышала знакомый едкий голос:

— А когда Кант сказал, что времени и пространства не существует, то все мистики — во главе с Вивеканандой — встали и зааплодировали.

Лидия увидела, что памятник вообще-то утопает в зелени: купы деревьев тут и там украшали пустыню где-то внутри сознания Лидии. Она была рада, что может подойти, увидеть Егора, ощутить, что жизнь едина, что нет полного разрыва между школьной жизнью и новой, университетской.

Лидия вспомнила, что вчера Алла говорила: Егор помог поступить и Фае Фуфаевой, написал за нее сочинение. Конечно, с сочинением помочь можно — нужно лишь рядом сесть. Но как же Фая сдала устный экзамен? Она ведь все читала по диагонали и искренне полагала, что Печорин убил Ленского...

Юноша, стоявший рядом с Егором, блистал крахмальной красотой. Лицо Егора казалось благополучным и очень здоровым рядом с лицом его собеседника. Лидия уже не видела лепестковости в чертах Егора-маленького — то ли он взрослеет, то ли она уже может замечать у него всякие недостатки. Чувство освобождения такое. Она подошла к беседующим:

— Привет! А Фая где? Я — Лидия Шахецкая, а вы кто?

— Привет-привет, сказал Егор. — Фая сейчас должна подойти.

— А я Евгений Бояршинов. Просто — Эжен. Так что Кант?..

— Здесь не кантовать, — попросила Лидия.

— У! Твоя фраза — как волшебное северное сияние над бескрайней бедной тундрой, где карликовые деревца жалко жмутся к земле, — восхитился вдруг Эжен.

Егор сделал оскорбленное лицо: это он тундра?!. Или Кант? Эжен смотрел на кипение Егора и думал: ага, теперь я буду знать, на какую кнопку нажать, чтобы воздействовать на тебя, эта кнопка — интеллект. Похвалю за ум — одно, не похвалю — другое.

Чтобы как-то выйти из тупика молчания, Лидия сказала:

— Может, наоборот: Егор — северное сияние, а мои слова — тундра?

— Может быть, и так, — легко согласился Эжен. Он давно понял в своей почти бесконечной семнадцатилетней жизни, что, провоцируя собеседника, легко раскрыть в нем интересные глубины.

В колхоз, на уборку картошки ехали в одной машине . Егор решил сесть рядом с Эженом. А Лидию движения студенческих тел притиснули почти вплотную к Эжену с другой стороны. Справа от Лидии сидела ярко накрашенная девушка, которая сходу предложила следующим летом вместе поехать на целину или в стройотряд. «Надя», — представилась она после этого. Вдруг под парусными выстрелами тента Лидия увидела, что кузов окружен зелеными купами деревьев, и сама не заметила, как призналась Наде:

— Я поклялась неизвестно кому, что если поступлю в университет, поеду по распределению, куда Родина пошлет — хоть в самую глушь!

При этом она так и думала: «РОДИНА». Ведь речь шла о судьбе, а судьба примерно такой же величины, как и Родина.

Похожий на молодого хозяйственного мужичка Витька Шиманов, сидевший напротив Нади, спросил у нее:

— Ты веришь в алые паруса?

Половина кузова подумала, что этот Витька Шиманов безнадежный дурак, другая половина одобрила его за тонкий юмор.

Егор смотрел на Шиманова: парень, конечно, пошире костями, чем остальные, но не такой здоровяк, чтобы над ним брать шефство — интеллектуальное. Они, здоровяки, обычно придавлены своими мясами, они нуждаются... Жаль, Володя Пилипенко все еще болтается в десятом классе. Ладно, хорошо, что родители дали на всякий случай много денег. Егор чувствовал, что этот «всякий случай» сведется к определенному случаю и он купит себе и окружающим много вина для знакомства. Он тут же громко процитировал Омара Хайяма в том смысле, что вино помогает извлекать квинтэссенцию смыслов из жизни.

Вечером они извлекли квинтэссенцию, но этот момент для всех слишком быстро промелькнул — не успели они осознать его, как уже их тела лежали в различных сочетаниях внутри сухого крепкого сарая, в котором их поселил бригадир Семиколенных. Засыпая, Егор думал, что запах сена такой вкусный, как будто лежишь в салате и им можно закусить...

Лидия и Бояршинов почти не пили. Лидия — потому что у нее и так была врожденная эйфория, а потом — наоборот — затошнило от грозящей прогулки с Бояршиновым. Никуда не денешься, если здесь, в колхозе, он ей начал нравиться. Бояршинов выпил немножко, чтобы совсем-то уж не выпадать из этой толпы, но решил вернуть себе нормальное состояние.

— Лидия, хотите...хочешь...прогуляться до церкви, я тут ее заметил, когда мы въезжали в село. Красивая — на крыше, вместо разрушенного купола венцом растут деревца, — он говорил с надсадой, словно боялся, что его здесь не оценят, и заранее страдал, что не поймут его во всем блеске — или тонкости.

— Женя, подождите минутку, — сказала она, чувствуя, что в животе все тяжело заворочалось в предчувствии тонких отношений. — Подожди меня.

Возле конторы стоял раскрашенный под бронзу бюстик Ильича. В трещине ушной раковины жутковато белело гипсовое мясо.

— Гениально! — пылко вскричал Бояршинов. — Настоящий поп-арт! В жизни тоже у него все сосуды были заизвесткованы. Это теперь все знают — он выработался до конца.

Лидия ждала, что сейчас Бояршинов заговорит о сифилисе Ленина, ведь тогда много слухов носилось про сифилис: у Есенина якобы был сифилис, у Маяковского, у Блока, у Инессы Арманд и так далее. Отец Лидии обронил однажды, что сифилис в материалистическом сознании — замена всемирного греха. Грех пронизывает весь мир, но — в виде сифилиса.

— Я тебе, Женя, по секрету скажу, папа тоже где-то по секрету слышал: Ленин в конце жизни буквы не узнавал и не выговаривал. Когда ему принесли конверт с буквами, он ни одной не узнал, но радостно улыбался и весь конверт положил себе в карман.

— Три-то буквы Ленин все-таки выучил перед смертью, — неприятно скривился Женя, но вдруг увлекся. — Буквы — это только знаки, а не сущности. Хотя как сказать! Наверное, они развились из сакральных значков, которые и были одновременно сущностями. А — Алеф — альфа — на иврите это понятие «тысяча». То есть первая буква как бы открывает бесконечность сущностей...

Лидия и Женя миновали перелесок.

— Хочешь, я преподнесу тебе самое красивое, что здесь есть?

Ветер обвис в воздухе в ожидании удивительного подарка. Лидия приятно испугалась и по-украински вытаращилась. Подстегнутый ее распахнутым взглядом, Бояршинов побежал по краю капустного поля и вывинтил из земли кочан.

— Видишь, это самая большая роза на свете!

В самом деле, кочан был похож на гигантский бутон — растрепанные лепестки с сине-зелеными сосудами. Осторожно косясь на Женю: не издевается ли, Лидия положила капусту в придорожный бурьян. Выходка Бояршинова была слишком рассудочной, а ей хотелось чего-то другого.

— Лидия, давай залезем на эту церковь, если только внутри не кишат крысы...

Лидия не испугалась возможных крыс: очень ей хотелось почти братского (но не совсем братского) тепла. Они вошли внутрь, в полумрак. Посреди церкви стояла телега. По стенам мерцали какие-то нарисованные глаза. Бояршинову захотелось перекрыть призыв к тишине, который словно стоял внутри церкви. Он с телеги подтянулся и влез на колокольню.

— Мать рассказывала, что у них в деревне колокол сбросили, так он ушел в землю, как в воду, скрылся целиком. А ведь земля там убитая ногами... Давай руку!

И вот тут Лидия почувствовала, что рука— то у него в самом деле теплая, но какая-то извивающаяся, как будто она пружинила и удлинялась.

— Пусть хоть все оборвется, — не разожму, — подумал Женя, и у него захрустело в спине.

Лидия первая отцепилась, разжав свои пальцы — длинные и смуглые, как у древнееврейской принцессы.

Тут они заметили, что уже темно. Повсюду начала просачиваться какая-то лишняя ненужная темнота, уже неприятная. В городе такого не бывает.

— А ты не боишься? — спросил Женя. — Тех, кто бродит...

— Нет. У меня два ангела за спиной.

— Я, пожалуй, тоже буду так думать.

Лидия не знала, у всех ли должны быть ангелы и одного ли они вида: может, у евреев одни, а у прочих другие. Но вслух она сказала:

— Киевская бабушка рассказала про ребе Шая: он про себя так выражался: «Ничего не боюсь, потому что у меня все время за плечам два ангела».

Тогда Бояршинов заговорил о смерти — скороговоркой, стараясь и близость этим купить, и в то же время не желая длить в темноте неприятную тему:

— Мне было пять лет, когда я спросил на ночь у матери: «А мы все умрем?» — «Спи давай!» — заорал отчим. И я понял, что все.

В темноте вдруг оказалось множество кочек и камней, которые как будто выползли из леса на дорогу. Такое у Лидии и Жени было ощущение, что их при свете не было.

Под высокой лампочкой стояли Надя Бахметьева и Витька Шиманов, они курили, причем Витька выпускал дым боковиной рта, стараясь не попасть на собеседницу. Надька говорила, окутываясь дешевым болгарским дымом:

— Мы здесь стоим, а где-то в это время есть такая любовь, перед которой все наши чувства — просто пыль...

Ей хотелось, чтобы ей возразили: нет, не пыль; хоть бы кто-то возразил: у нас тоже что-то есть-будет необыкновенное.

Они зашли в свой жилой сарай, нашли «полбанки», и тут Бояршинов произнес:

— Выпьем за виллы в Ницце, которые у нас еще будут!

Лидия поддержала:

— Да что там виллы, я верю, что у нас будет целый квартал свой в Ницце!

Обида винтом прошла вдоль всего тела Жени: вон оно что — Лидия поняла, что для меня это серьезно, и решила вышутить. Это за то, что я не смог поднять ее с телеги на колокольню... Теперь так будет все время... Неужели им вокруг не ясно, что он, Евгений Бояршинов — единственный, и — конечно — у него есть недостатки, но о них могут судить только люди того же разряда? А таких еще поискать.

А Лидия поняла вдруг, что Ницца — не шутка. Цели-то у него все — мимо нее. Но желание выше понимания, и она с новой жадностью слушала Женю. Он говорил:

— Жизнь-это болото, и мы идем по кочкам. Трясине доверять нельзя и кочкам доверять нельзя.

Шиманов поинтересовался: как же каждую кочку можно допросить на предмет надежности?

— Я к человеку отношусь так: жду плохого, пока он не докажет обратное...

— Как кочка докажет, если ты не наступишь на нее?.. Так и человек: сначала поверим друг другу, — Шиманов не сдавался, — что мы друг другу опора. На пять лет хотя бы, университетских.

Бояршинов уже второй раз за этот вечер с хрустом вывернул разговор:

— Смотрите, а в Шиманове что-то есть такое помидорно-здоровое. Ха-ха-ха (красивым баритоном). Но помидор ведь тонкокожий овощ. Тонкокожее здоровье такое. Но помидор ведь может лопнуть, вот и все.

Все время мигало электричество. И в этом вибрирующем свете Лидии показалось, что смоляные кудри Жени вьются, как реденькие облачка в жаркий день. Но шевелюра не виновата, что она похожа на крученые мысли и поступки хозяина. Не виновата, а отвечать придется все равно: через двадцать лет она вся уже сойдет. Но Лидии не важны волосы, ей хочется с ним быть...и через двадцать лет.

— Зло, в котором я подозреваю человека, оно ведь и во мне, — усложнил картину мира Женя.

— Ты, как следователь НКВД, — те тоже говорили, что можно каждого посадить в лагерь, — громко заявила Надька.

Лидия растерялась: начался не спор, а какая-то свара. Она стала лихорадочно думать: что бы тут Пушкин сделал? Или Чехов? Что бы сейчас сделал Хемингуэй? Ремарк бы, ясное дело, сейчас бы как плеснул всем кальвадоса.

А Бояршинов сказал задумчиво и по-отечески Шиманову:

— Старик, ты еще поймешь, что человек — загадка с несколькими отгадками...сложный узор красивее простого, понял? — и хитрая пьянца играла в его глазах.

...Засыпая, Надька решила: надо завтра посмотреть, какие тут местные механизаторы водятся.

Лидия всю жизнь засыпала поздно, поэтому в час ночи она поставила перед собой зеркало, которое они купили в складчину в сельмаге. Оно было в грубой пластмассовой оправе под цвет красного дерева — с грубыми выпуклостями, под рёзьбу. Не выпуклости, а гребни. Эти гребни навевали Лидии мысли о червяках, змеях, драконах. И в этом обрамлении показались ее лицо... «Себе-то я нравлюсь. И почему я больше никому не нужна? Жить дальше так невозможно! Надо, чтоб срочно кто-то это понял, но не будешь же объяснять направо и налево, тут как раз понимание и закончится.»

Мышь в богатой почти черной шубке вывела бесшумно трех еще не сильно одетых розовых мышат. В углу валялись брошенные Бояршиновым медовые краски. Они были вымазаны почти до конца, зато кругом висели шаржи на однокурсников. Егор был чем-то вроде робота, вырезанного из дерева, а Лидия — со здоровыми, туго набитыми щеками и непривлекательными глубоководными глазами. Лидия возмущенно сказала в зеркало: «Ну и сколько у него ума, у этого Бояршинова! Откуда он взял эти щеки?» Мышь тоже заинтересовалась работой Жени: она волочила по полу желтый брусок. Получался такой грохот, что мышь иногда останавливалась в изумлении: неужели на этот момент жизнь удалась и никто не отберет медовые краски?!

Лидия взяла химический карандаш, который на влажных местах бумаги давал фиолетовый рефлекс: «Аллочка, дорогая, сколько времени прошло, с тех пор, как я уехала в колхоз! Если б я жила в Киеве, он бы назывался «коллективнэ господарство». Все так накапливается у меня: в Киев я не съездила, родители не понимают меня совсем и никто здесь не обращает на меня внимания. На самом деле тут столько всего, что я только по пунктам намечу, о чем говорить нам с тобой.

1. Про Фаю Фуфаеву знаешь? Она и здесь ходит *во всем розовом!* Бледно-розовые сапоги, брюки, кофта, алая косынка, плащ серый, но подкладка в розовых прожилках.

2. Егор-маленький вчера был пьян, кричал: «Мой отец приедет — вас всех деньгами забросает!» Еще Егор носил ведро с картошкой, в первый же день вечером оказалось: вывихнул кисть руки! Я спросила: «Как рука?». «А мне это не интересно», — сухо, гордо ответил. А ночью меня будит: «Слушай, совершенно не могу спать от боли».

3. Егор — умник. Он нас называет условными обозначениями: точки А, Б, С — то есть я, Фая, Надька. Ясно, насколько мы ему все интересны. Сухарь — о, как я могла это все время не замечать! У него же черный юмор!

4. Второй — Женя Бояршинов. Ты его не знаешь. Он говорит, что вырос в бараке. Но знает не меньше нас, даже где-то и больше. Рисует хорошо. Чуть ли не прямо говорит, что он гений. Я впервые встретила такого человека. Алла, я ему очень верю! В животе все вращается, как я на него посмотрю. И подкатывает... Ты меня поняла?

5. Есть еще добрый, но скучноватый Витька Шиманов. Самая высокая точка его юмора: «Я ж тебе говорил: больше ведра не пей!» (Это он Егору, который мается с похмелья). Алла, что-то я тебе уже, как старая дева, пишу злобно, а на самом деле буду рассказывать (когда встретимся), ты увидишь, как много у нас хорошего.

Очень интересно, виделась ли ты с Вадиком? Когда его заберут в армию? Он — случайно — не уговорил Гальку выйти замуж до армии? У нас тут есть Надька, она из области, будет жить в общежитии. Очень похожа на Гальку, но гораздо начитаннее. А похожа прямотой.

Как они меня — вся эта троица парней — раздражают своей однобокостью! Как они не понимают, что ум только должен быть виден на каком-то фоне. Хорошо, если ум добрый. И талант Бояршинова мог бы быть подобрее. Хотелось, чтобы добро Витьки тоже казалось поумнее. Вот так и мучаюсь с утра до вечера! Родителям об этом написать нельзя: ясно, что мама скажет — на сто лет вперед уже ясно — «Ты, как Агафья Тихоновна: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...»

Ключевое слово напомни: Ницца!

Да и совсем последнее, клянусь, Аллочка! Женя считает, что у меня в голосе есть некий фермент, который сбраживает общение в веселье. Так он сказал мне. Знаешь, хоть я и из профессорской семьи, Женя настолько выше меня, что нужно для компенсации мне еще где-то дачу собственную иметь — в Крыму или на Рижском взморье, что ли. Я прямо представляю, что ты смеешься, читая письмо. На лице у него какая-то недоданность написана, и мне хочется ему все возместить. Но пора и кончать! Я скоро приеду и все тебе расскажу. А ты все, что у тебя накопилось, мне! Оставайся здоровой, попадай во всякие веселые истории и побеждай. Неизменно твоя Лидия Шахецкая.

P.S. Алла, оказывается: все пишут стихи, даже Егор-маленький. Только они у него, как у электронно-вычислительной машины, одни заумные термины (тезаурус, антиномия). Вчера он пьяный читал их:

И звуки аонид звенят,
и вопли резкие цикад...

Но что я об этом подумала, расскажу при встрече. Ну все, а теперь конец письма на самом деле! Твоя Л.»

Лидия рассеянно взглянула на пол и увидела, что красок медовых уже нет и семейство мышей исчезло.

2

Октябрь был весь в легких морозных намеках — вот среди них она и летала. Лидия выучила длинные списки древнегреческих и древнеримских богов, записалась на факультет общественных профессий, чая мимоходом посвятить себя журналистике, ворвалась в редколлегию стенгазеты «Горьковец», написала юмористический рифмованный отчет о колхозных трудобудднях в многотиражку «Пермский университет», втиснулась в творческий кружок «Струны» — пришлось, потому что туда записались Женя и Егор-маленький. Не говоря уже о том, что их всех подрядили ходить по графику вечерами в народную дружину (ДНД).

В один из вечеров, где-то в самом конце октября шли пешком, разнежено плелись, точнее плыли, вычитая всякие ощущения длительности и расстояния. Были Надька, Егор, Женя, Витька Шиманов и Лидия. Неожиданно возле магазина Лидия сказала:

— Зайдем на минутку к Гальке. Я спрошу, когда она Вадика в армию провожает.

Магазин был — ничего особенного. Зато бюст у Гальки был очень особенный. Неведомая сила держала его на плаву. Сверхнаитием парни почувствовали, что этот эффект — навсегда! Через силу отводя глаза, Женя спросил:

— У вас продают жеваную рыбу?

— Ну, если ты любитель, — тебе пожуют и взвесят пару килограммчиков, — Надька собралась, так что ее груди вообще чуть не взвились к потолку, и вот выдала почти гениально. Она не понимала, что никакой юмор здесь не поможет, что по сравнению с Галькиными — все остальные присутствующие пары грудей — это просто плоскогорья.

Лидия почувствовала, что Гальке хочется их всех быстрее спровадить: у нее очередь. Но главное даже не в этом. Лидия еще может пять лет вести рассеянно-творческую жизнь, а ей, Гальке, нужно стоять за прилавком, каждый вечер долго смывать с себя запах рыбы, а потом еще делать контрольные. Пусть техникум, пусть торговый, но она закончит к приходу Вадика из армии. Мимо прошла завотделом в золотых сережках и с золотым кулоном в виде трилистника. «У меня это все будет, будет!» Перед Галькой встал образ кабинета с панелями под морской дуб, промелькнула цепочка событий, которая приводит к этому кабинету (продавец — завотделом — товаровед — директор магазина). И Лидия будет в кабинет к Гальке приходить — на равных. Галька всегда поможет с продуктами!

Лидия в это время увидела, что вместо рыбных консервов за спиной Галки зеленеет рощица из свежей весенне-чистой зелени.

— Приходите послезавтра в шесть! — сказала Галька. — Сколько вам хека?

— Третий раз уже говорю: два килограмма! — почти кричал покупатель.

— Ладно, пошли! — миролюбиво всех сгреб Витька Шиманов.

Надька сразу закурила и с вызовом, на «вы», обратилась к Бояршинову:

— Женя, а почему вы спросили именно жеваную рыбу? Уж лучше было спросить про красную рыбу! Получился бы абсурдный юмор, но не унижающий!

Женя вдруг протянул ей три рубля:

— Это тебе! На развитие юмора.

Надька сделала вид, что хочет потушить сигарету об эту зеленую купюру, Женя отдернул руку с трешкой. Он, впрочем, и не рассчитывал, что Надька возьмет деньги.

— Мне хочется кинуть в тебя целой скамейкой, — Женя махнул рукой на скамейку, мимо которой они прошли. — Ты что думаешь: если надела брюки и взяла в рот эту соску (он кивнул на сигарету), то все?! Можешь всех судить?!

Надька только улыбнулась, и Лидия заметила, что видит ее то в зеленом окружении, то в желтом, словно пустыня наступала время от времени за ее спиной...

Витька Шиманов думал: сколько в Надьке такта! Не превратила в ссору этот опасный спор. Дело не в том, что Бояршинов подавляет собеседников, а в том, что он *хочет* подавлять. И не им его переделать!

3

На проводах Вадика Лидия читала собственную поэму «Рыцарь веселого образа». Голос ее был полон лицейско-дружественных интонаций.

— Зае..ли совсем своими стихами, — пьяно комментировал дядя Вадика.-Давайте лучше выпьем за корочки — шоферские — Вадика! Шофер в армии — это король! Калыму некуда будет складывать — я тебе обещаю...

Вадику вдруг стало очень хорошо. Искосившись, он наблюдал быстрые и растерянно-прозрачные движения Лидии. Поэма его растрогала, он толкнул в бок Гальку, та — Аллу Рибарбар. Толчок привел Аллу в действие, и она быстро и чинно предложила тост за родителей.

Дядя Вадика начал было свой универсальный афоризм: «Зае..ли со своими родителями...», но его никто не слушал.

Лидия подняла свой бокал:

— За любовь Вадика и Галины!

Дядя Вадика очень обрадовался: «зае...ли совсем со своей любовью», и с торжеством обвел всех красными глазами.

Лидия резко выбрасывала вперед бокал, так что всем было страшновато за хрусталь, но она же все-таки была одаренная и в движениях — всегда тормозила, когда нужно. Так что слышался только тихий стеклянный щелчок. «Значит, это не настоящий хрусталь, а чешский», — думала Галька про бокалы. А вот Лидия такая настоящая, даже жутко. Этим и всех парней отпугивает.

— Ты печалишься? — спросила Лидия.

— С чего? В армии все вырастают, — в голосе Гальки сквозила святая убежденность, что ее Вадик подрастет и через три года приедет уже готовым мужем.

— А как тебе Женя Бояршинов? — спросила Лидия.

— Кислогубый он какой-то у тебя, — с простого народного сердца ответила Галька.

— Люди творческие — они вообще странные, — с облегчением сказала Лидия, потому что Галька сказала не самое худшее, что от нее ожидалось.

Между тем Егор крепко ударил по выпивке. Он уплыл сначала куда-то к мужской части компании, потерявшись среди винегрета и дымных волокон. А потом подсел к Лидии и гаркнул ей в ухо:

— Из этого можно — нет извлечь каплю истины?.. Ты сочинила поэму, а они... — он в указательном жесте сбил со стола стакан с морсом. — Я разочаро-о-ван в русском народе!

Тут самогон дошел до его голосовых связок и отключил их. Егор замолк, выразительно глядя на всех.

— Это загадочная русская душа смотрит из него, — сказала вдруг Фая Фуфаева.

Алла подержала Егора за запястье, никакого пульса не нащупала, но все же всем своим видом показала, что опасности для существования нет. Ровным голосом она произнесла диагноз:

— Он успевает создать максимум проблем вокруг собственной особы на минимальном отрезке времени.

— Я увезу его на тачке, — надежно завершила ситуацию Фая. — Он буквально за меня написал вступительное сочинение, а я что — брошу его, что ли...

Егор охотно подчинялся приказам Фаи: поднялся, просунул руки в рукава пальто, бормоча: «Какая женщина...о-пер-деленно — одна на полконтинента». Уже нельзя было понять: юмор у него такой с «о-пер-деленно», или от выпитого подводит артикуляция...

Фая с Егором ушли, и в наступившей на какое-то время тишине все услышали благозвучный храп. Дядя Вадика лежал, хорошо утвер-

дившись на хозяйской кровати, и на лице его как бы глубоким резцом было высечено: «Зае..ли вы меня со всем вашим миром!»

На следующий день Лидия проснулась, когда из репродуктора со слабоумным оптимизмом неслось: «Руки за голову, ноги на ширине плеч...». Лидия лежала в постели и хотела заплакать: никогда не будет по радио такой трансляции, нет таких движений, чтоб она, Лидия, стала заметной для Жени Бояршинова. Не будет и не может быть. Репродуктор заголосил: «Переходим к водным процедурам». Сколько раз говорила брату Аркаше: не включай рано репродуктор или выключай хотя бы, когда уйдешь в школу. Он учится с утра, а Лидия — во вторую смену. Она встала и выключила радио. Наступившая тишина походила на удар об стенку. Лидия с шумом обрушилась в ванну, зашептав: «У Гальки Вадик, у Егора — Фая, за Надькой бродит Шиманов». Включенная вода подстраховывала ее от всякого подслушивания: «Только мы с Аллой, как два саксаула... или аксакала...».

Вчера Женя сказал с огромной искренностью: «Того, кто меня ругал, для меня больше не существует». Как это бывает: никто не понял, все стали резки с ним. А ведь он хотел... хотел сказать... что внутри-то он гораздо лучше, у него только... выражения хромают. Надо с ним еще плотнее общаться, обхватнее. Хотелось отношений тесных, плечом к плечу.

Лидия закончила мыть голову и протянула, как сеть, волосы поверх грудей: так красиво, а куда все это, кому? Одиночество настолько изглодало Лидию изнутри, что она все бы отдала, чтоб стать как все. В юности ведь мечешься между двумя ужасными мыслями: «А вдруг я — не как все?» и «А вдруг я — как все?»

Лидия смотрела на свое отражение в зеркале ванной и с горечью думала: вот-вот старость наступит, а ничего не меняется, никто меня не полюбит, не поцелует! Никогда! Морщины уже скоро появятся вот в этом месте. Тут она со страхом отошла от зеркала, чтобы не указать случайно, конкретно, где этим морщинам появиться. Какие глупые эти...мужской пол! Почему Женя не ходит в библиотеку, где мог бы со мной увидеться! Но сегодня мы все будем на творческом кружке! А скоро у Аллы день рождения, там можно познакомиться с медиком и даже выйти за него замуж, за постылого. Лидия сушила волосы полотенцем и жалела себя. Потом она вспомнила, что еще никакого медика и в округе нет, можно идти на кухню и спокойно завтракать. Родители уже заканчивали пить чай. Заметив красные глаза дочери, Анна Лукьяновна сразу начала:

— И у Аллы никого нет! А у Аллы есть кто-нибудь? Видишь, и у Аллы нет пары. Первый же курс только...

— Зато у Гальки и Вадика что-то невозможное, сказочное, — жуя, бормотала Лидия.

— А сказки нужны, чтоб люди не пали духом, — заметил Лев Ароныч.

4

«Дорогая Юля, сейчас два часа ночи — только что меня проводил Женя Бояршинов. У меня к нему такое чувство, только не смейся, словно мы уже двадцать лет женаты, и у нас восемь детей! Правда, Галька сказала, что Женя — «кислогубый»! А он как раз болеет за народ, но я все по порядку начну. Да, Юля, я надеюсь, что ты тоже испытываешь такие полновесные переживания (знаю из письма) и поймешь! Может, тебе покажется смешно на твой столичный пошиб, но у нас есть творческий кружок «Струны» — туда все ходят избавиться от своих творческих напряжений. Его ведет Солодкевич. Леонид Григорьевич. Он такую привычку имеет — плавно дирижировать руками. Впрочем, у него тик. И он так — дирижируя — рваные движения превращает в плавные. Солодкевич на себе тянет весь юмор университета, а иногда кажется, что и весь город спасается его умным весельем, Есть еще такой театр студенческих миниатюр, им тоже Солодкевич руководит. «Шип». «Што изволите показать» — так Леонид Григорьевич расшифровывает «ШИП». Мы сейчас переделываем для студенческой самодеятельности пьесу Горького «На дне». В разоблачительном духе. Еще «Мертвые души».

Но это впереди. А сегодня второй частью повестки был разбор рассказа Жени Бояршинова «На рыбалке». Такое название, да, словно простой рабочий парень написал. Надька-змея слушала-слушала, а потом сказала: «Что-то я не дождалась коровы, которую кто-то рядом доит». А рассказ вот о чем: там мужик на рыбалке намазывает дождевых червей на кусок хлеба и ест такой бутерброд. Конечно, углубленно описаны все переживания героя. Этот герой — не сам автор. Женя не стал бы есть червей, конечно, что ты! Этот рассказ — протест против того, что в Перми нет мяса. Сочувствие к маленькому человеку, понимаешь? Вообще, Женя — мастер, играет всеми средствами. Солодкевич Женю не понял и еще во время чтения мне два раза подмигнул, и я не смогла слушать рассказ, как нужно бы! Но я думаю: может, эти подмигивания у Солодкевича — продолжение тика? Опросить бы всех девушек, подмигивает ли он им!

Ну, там, конечно, был наш Егор Крутывус. Как я могла его раньше ценить, сама не понимаю. По сравнению с Женей это как Азовское и Черное моря! Глубина, она у Жени, конечно, хотя Егор тоже не дурак, он много знает. Мол, черви не заменяют мяса: в них нет гемоглобина, один белок! Гемоглобин лишь в хордовых. «А мы все тут хордовые», — радостно заметил Солодкевич и снова мне подмигнул: «Правда, Шахецкая?». А я вижу: все к Жене несправедливо настроены. И тут меня осенило: в «Евгении Онегине» — во вступлении, к Плетневу, что читаем? «Хотел бы я тебе представить» то-то и то-то, а вышло «собранье пестрых глав... небрежный плод моих забав». В общем, что вышло, то и осталось. Мало ли чего художник хочет создать — образец поэзии , «живой и ясной», но

«так и быть рукой пристрастной прими». Даже у Пушкина! И читатель должен это понимать. И критик. А Солодкевич ходит, дирижирует и посмеивается: «Молодец, Шахецкая, хорошо выступила».

Сам Женя тоже выступал: дескать — эстетика безобразного — она всюду, у Толстого «Смерть Ивана Ильича»... Знаешь, Юля, что это с мужским полом творится? То Егор спрашивал у духов, когда умрет, то Женя о смерти рассуждает, словно они боятся, что смерть мимо пройдет. Такие хлопоты, что ты! Но если снисходительно на все смотреть, то можно протерпеть их всю жизнь, правда? То есть — одного Женю. Солодкевич слушал, усмехаясь, нашу ползунковую критику и на прощанье промолвил:

Пошел Гаврила на рыбалку,
Он хлеб с червями уминал...

Такой смех на нас почему-то напал тут, но мы его отразили. Хохотала только я одна, еще Женя хохотнул, чтоб показать, что не обижен. Но всем хотелось посмеяться — по завистливым взглядам я это поняла.

Дорогой мы шли сначала впятером: я, Женя, Егор с Фаей и еще одно студенческое существо, такой женственный мальчик Миша, он со второго курса. Егор завлекал, конечно, Фаю, своим умом «ее стращая»: «Червь — кишечно-полостное, в нем гемоглобина нет». И тут Женя ответил ему на языке врага: «А ты, Егор, напиши крупными буквами «ГЕМОГЛОБИН» и оклей всю свою комнату вместо обоев, и у тебя будет, на что равняться в жизни». Он вообще говорил что-то не то. Даже когда мы остались вдвоем на пустой улице Ленина. Ты помнишь улицу Ленина? Идет от университета к Центру. И Женя говорил не то, и погода была не та какая-то. С неба мерзкий студень посыпался. Женя все: троп, синекдоха. А тут шел какой-то дежурный полуночный пьяница и говорит: «За эту синекдоху тебя надо отмудохать!» (Извини за точность цитирования!) Конечно, мне дорога любая мелочь: все, что относится к Жене, становится нашей общей биографией? Так ведь? Прости, ради тропа!.. Через двадцать лет, когда мы с Женей будем праздновать юбилей знакомства, этого мужика грубого, может быть, будем вспоминать, как ангела с небес. Мы еще долго с Женей хохотали над его словами. И тут Женя даже взял меня под руку и перевел через полузамерзшую лужу. Мы еще долго говорили в подъезде и возле лифта, потом — возле нашей двери, а потом он повернулся и ушел. А пока мы говорили, мы часто приближались лицами друг к другу, потом снова откидывались. У меня началась антиперистальтика. Это уж как водится. Рифма: антиперистальтика — перестаньте-ка! Надо бы написать на эту тему. Но не могла же я первая его поцеловать? Какие у вас в столице веяния в этой области? Напиши! Просто голова не на месте. Он повернулся и ушел. Но все-таки он бродил со мною три часа, правда? Не зря же? А

Солодкевич, кстати, разводится с женой, поэтому ему сейчас подмигивать как бы разрешено, что ему после развода — монашествовать что ли? Он — молодой кандидат, ему всего тридцать лет...»

На следующий день Женя и Егор не пошли на лекцию по истории партии. Они разговаривали как ни в чем ни бывало:

— Егор, ты что — уже выпил сегодня?

— Нет. Я просто... недоспал.

Казалось: будущее прекрасно в любом случае — пьешь ты или нет. Будущее казалось уже забронированным. Поэтому Женя сегодня разговаривал с Егором, хотя вчера они перебросились парой обижающих реплик. Да и не обижающих: все были так близки друг другу, что могли говорить все, что угодно. И вообще в свете нависающего прекрасного будущего невозможно было сердиться друг на друга. Тем более, что в настоящем многое не нравилось...

— Эта история КПСС никому ведь не интересна, правда, Егор!

— Почему... Если б всю правду о Троцком. О Сталине. О лагерях. Это было, было бы всем интересно!

— Ну, кто ж тебе ее даст — всю правду! Они о себе никогда этого не расскажут... А Шахецкая-то! Помнишь, как вчера встала на защиту моего рассказа? Так трогательно-неудачно — как из детсада...

Егор сразу:

— Так из нее вообще выйдет хорошая жена, кроткая.

В глазах Жени добродушие сменилось агрессией, как будто свет в светофоре переключили.

— Ты что! Мне не нужна кроткая жена! Я не хочу потерять форму!

Егор пошел еще раз навстречу: значит, Надька подойдет, она резкая.

Но Женя и тут возмутился: как можно — он, Бояршинов, *никогда* не женится на общежитской!

«Пижон», — подумал Егор. Но в чем-то Бояршинов и прав. Лидия, она, как сестра... на всю жизнь.

Женя открыл папку и достал свой новый коллаж. Одна из купальщиц Дейнеки вырезана и любовно приклеена к ватманскому листу. А на причинном месте у девушки точно приклеена дверца с никелированной ручкой. Судя по суховатой графике — дверца вырезана из какого-то руководства по механизмам.

— Дашь перефоткать? — спросил Егор.

Бояршинов сказал резко: дескать, хитрый — хочешь разбогатеть на мне, ведь через двадцать лет это сколько будет стоить — такой коллаж, роскошь! Здесь цветение форм просто, монтаж выявляет скрытые сущности, как от столкновения двух элементарных частиц рождаются миры-при огромных скоростях.

Сказал и огорчился: Егор подумает, что я жадный, а ведь это все во имя прекрасного будущего, чтоб оно было еще прекраснее, не распыляясь в настоящем.

На самом деле Егор совсем не обиделся. Его-то будущее было еще прекраснее — даже без всяких коллажей.

5

На фольклорную практику их повез Солодкевич. Из вагона в Соликамске пересели в автобус и запели: «В первые минуты Бог создал институты, и Адам студентом первым был»... Они хотели сильнее обозначить свое присутствие здесь, в этом месте, и вообще — в эпохе. Казалось, что от слов песни, от выкриков Надьки и дирижирования Леонида Григорьевича они становятся еще студентистее. Потом пересели в тракторный прицеп, уже подверженный колхозной коррозии, и замолчали. Только хватались друг за друга во время резких бросков прицепа, скачущего по рытвинам. Лидии показалось, что Леонид Григорьевич слишком сильно прижался к ней, но тут их бросило в другую сторону, и она сама ударилась о Женю. Но в этом возрасте юноши не возражают, когда на них сваливаются фигуристые девушки.

На колхозной конторе висела цветная потрескавшаяся фанера: хохочущая женщина откинула голову под натиском чугунно прорисованных букв: «ЗДЕСЬ ШЬЮТ ИЗ КОЖИ». Ее немой смех словно означал: какое там шьют, но если уж шьют, то бегите отсюда ради всего святого! Мимо шел мужчина, слегка обглоданный местной жизнью: на закорках он нес старушку, глаза ее были закрыты. Лидия сразу спросила у проходящей мимо женщины: «Что-плохо ей?» — «Нет, хорошо, — откликнулась собеседница. — Сын со свадьбы несет... гуляли два дня. Петровна вам потом попоет знаете как — вы ей только выпить поднесите».

Побросав рюкзаки и сумки в клубе, в комнате для кружковой работы, они бросились к речке. Вода в Вишере бежала так быстро, что это казалось неестественным. Бояршинов подумал, что, как в коллаже, река методом наложения втиснута в общий простодушный пейзаж. В воздухе чувствовалась вибрация силы и угроза от движения водяных мускулов.

К берегу неподалеку причалил плот, какие-то люди стали выгружать с него рюкзаки и походное снаряжение.

— До самого Ледовитого океана уже поселений нет, — сказал Солодкевич. — Откуда же эти приплыли, если в верховьях нет никого.

— Пойду выясню, — отозвался Егор.

Видимо, выяснение было настолько захватывающим, что он погрузился вместе с туристами на плот и исчез.

Ночевать отправились в клуб, а Солодкевич, отвечавший за жизнь и здоровье студентов, пошел на поиски Егора. Все уже улеглись вповалку на постеленное на полу сено, а комары вылетели на еженощный

промысел, когда с берега Вишеры вернулся Леонид Григорьевич. Он был один и — судя по дыханию — опечален. Но печаль не могла до конца вытеснить его живость. Он чуть ли не с размаху упал рядом с Лидией, то есть с самого краю. И сначала затих. Только она начала всплывать к какой-то сияющей поверхности — привалился! И как-то всё молча, как бы нечаянно. Лидия очумела от перепада реальностей и тоже как бы нечаянно выставила локоть: «Надька, ну что ты — душно!» Солодкевич, несмотря на локоть, прижался еще плотнее. Тогда Лидия увесистой ручкой резко отмахнулась.

Утром Солодкевич встал свежий, первозданный. Губа, правда, у него была сильно разбита и распухла. Но он весело объяснял всем: Шахецкая как-то беспокойно очень спит, зовет Надьку, вот на губе и отразилась ее бурная внутренняя жизнь.

Егор появился как ни в чем ни бывало, но с огромной щетиной. Фая Фуфаева как-то даже величественно смотрела на подбредающего Егора. Она спала прекрасно. В свете обязательного сияющего будущего Егор напрасно что-то там такое исчезал, появлялся, выпивал, словно пытался уклониться от гарантированного счастья.

Солодкевич был человек мудрый. А мудрость всегда ведь выглядит просто: пять-шесть движений и семь-восемь слов. Он послал Егора в магазин — дал три рубля на вдохновляющую влагу. Остальным сказал:

— Работать будете вместе: Егор — для затравки фольклорной ситуации выпивать с бабушками, а вы все в это время не зевайте-записывайте.

Витька Шиманов от Аграфены Петровны с трепетом записывал: «Полный колос клонится к земле, а пустой свою голову к небу топорщит». Ему казалось, что перед ним раскидывается вечная мудрость, залог всего самого лучшего на земле. Вот оно добро народное!

Лидия карябала своими клиновидными рунами: «на розову траву, ой да на розову траву». И этот формализм ее мучил и опустошал. Розовая трава — какая-то инопланетная, откуда это залетело, раздраженно думала Лидия. Народ... Он сплошь окружен всякой зеленью — хвоей, листвой, травой... Куда его тянет на декаданс?!

Фая величаво запечатлевала: «Девки молоденьки — глаза-смородинки», убеждаясь: сама-то она полностью соответствует этому определению. Гарантия светлого будущего крепла в ней с каждым записанным словом.

Надька у пожилых сестер Отеевых услышала:

Девки, пойте, девки, пойте,
Я старуха, да пою.
Девки, дайте по платочку,
Я старуха, да даю.

Пропев, бабки смущенно потупились.

— А вы не стесняйтесь, — подбодрила их Надька, ощущая, как от спорящейся работы по всему телу разливается уют.

— А вы нам плесните, — с безучастным видом сказала старшая сестра, словно это взбрело ей в голову только что, а так-то ничего, вроде, и не хочется.

— Егорушка! — крикнула в окно Надька. — Иди сюда!

Егор прибежал со скляницей от Аграфены Петровны — разделил остатки всем, включая себя. Ожившие сестры дружно запели:

Девки, дайте, девки, дайте —
я старуха, да даю!

А Женя Бояршинов в это время лежал на солнечной полянке и сочинял по поручению Солодкевича программу отвального концерта. В знак благодарности нужно было подарить колхозникам прозрачное веселье, показать, что ученые люди тоже могут веселиться. Однако муравьи залезли Жене в нежные складки тела, а оводы пытались отсосать его кровь. Насекомые были на стороне фольклора. Не вынеся этой пытки, Женя бросился бежать. Налетел на Солодкевича и неожиданно заметил, что тот похож на шмеля или другое опыляющее насекомое: полосатый свитер и рыжие кудри просто жужжат в глаза.

Возле калитки Анны Герасимовны стоял слегка подвяленный фольклором Шиманов, покуривая с довольным видом: много поработал.

— Ты будешь что-нибудь свое читать на отвальной? — отеческим тоном спросил Женя.

Шиманов сразу оживился и начал:

— Ну, бей меня, народ мой, бей,
Но справку при себе, что ты народ, имей!

— Ну хватит, — сказал Солодкевич, — Хорошо. А может, лучше ваше это... про акулу?

— Как там у тебя, — подхватил Бояршинов, — «За мною акула плывет и хочет мною поужинать, вот. Но я эту тра-та-рам акулу— ударю в скулу»?

— В шершавую скулу, — довольный, поправил Шиманов Женю. — Нет, не поймут селяне. А вот Егор тоже может пригодиться, — сказал добрый Шиманов .— Он всего Ильфа-Петрова наизусть знает.

Солодкевич разбудил Лидию в шесть часов:

— Шахецкая, сегодня вы услаждаете наши желудки. Не забыли?

Она пошла умываться к медному рукомойнику, который задумчиво, по-мойдодырски растопырился возле крыльца. И вдруг Лидия поняла: вот почему «на розову траву»! На кошенину падал свет зари и окрашивал ее в бледно-кисельные тона. Умывальник же уверенно вносил в это высокое звучание свою густую зеленовато-окисленную ноту.

Лидия добросовестно разварила в мелкую труху рыбные консервы, добавив неизвестное количество соли. При этом ее укусила какая-то муха: глаз заплыл и упрямо отказывался смотреть. Женя попробовал варево и сказал:

— Лао-цзы бы после первой ложки с осла упал.

— Ну, во-первых, с мула, а во-вторых, как даос он испытал бы озарение, — серьезно сказал Солодкевич.

Из клуба выбежала Надька и закричала:

— Приближается ураган! Приближается ураган!.. Кстати, Лидия, что с глазом?

Весь день небо что-то угрожало, обещало, но только к вечеру исполнилось предсказание радиоточки: деревья падали с зубным хрустом, в одном месте обрушился электрический столб, не стало света. Студенты во мраке укладывались на ночлег. Солодкевич, как позапрошлою ночью, втиснулся рядом с Лидией, посмеиваясь:

— Вы ведь теперь у нас соль земли!

А Лидия ничего не отвечала, опустошенная кулинарными неудачами, оплывшим глазом и разрушающейся жизнью. Никто не смотрит в ее сторону, вернее смотрят, но каким-то аннулирующим взглядом.

В это время рванул с новой силой ветер, с жалобным кряком полетело очередное дерево за окном, по крыше хлестнул ливень. И тут три местных голубчика пропели бодро, упирая на свое родное «О»:

— И ДОрОгая не узнает, какОв танкиста был кОнец...

Надька и Фая заспорили, кому завтра дежурить по кухне. Когда в их голосах возникли кликушеские тона, Егор взмолился:

— Прошу: не надо крови! Я так ее боюсь.

Лидия улыбнулась его миротворческим усилиям и тут же засопела. Солодкевич выждал, когда по всем телам пойдет гулять обобщенно-ровное дыхание и срежиссировал случайное прижатие к Лидии. Он был гораздо осторожнее, чем в своем предыдущем опыте. Лидия опять очнулась и лежала, раздуваемая сомнениями. С одной стороны, надо бы и начать какие-то объятия испытывать, почему бы и не Леонид Григорьевич... Он ей вполне нравился, если бы... зачем он не погуляет с нею вечером по берегу? Ну, сегодня была гроза, а вчера!.. «Ну, как я это представляю: сначала бы поговорили, а потом бы обнял. Я что — грелка ему?» Она забормотала что-то невнятное, легко лягнула коленом. Бедный преподаватель закряхтел и опять отполз в дальний угол, делая вид, что ну невыносимо прямо комарья налетело.

6

Скачком наступила осень.

— Фая Фуфаева беременна! — Надька, шепнувшая эту громокипящую новость Лидии, сама выглядела как воплощенное отрицание пло-

доносящей функции: постриженная под мальчика, в болтающихся на длинных ногах брюках, да и дохнула едким табаком прямо в щеку.

— Откуда ты знаешь?

— Каждую перемену ест яблоки... А меня Витька уже дважды просил замуж выйти. Я боюсь! Всю жизнь мать мне твердила: «Больно ты бойка, бойка — ой, в подоле принесешь! Вострая ты, Надька, смотри, родишь раньше времени!» Нагнала на меня страху...

Вчера Лидия столкнулась нос к носу с Солодкевичем. Все лето они не виделись. Как провели?.. А у вас как?.. Я с женой измучился. Так вы же давно развелись? До сих пор сужусь (победный смешок). А вы, Лидия?.. А я к подруге в Москву...

Он пригласил ее в кино.

Лидия сколько раз плакалась Юлии в Москве: почему я такая несдержанная, испинала бедного Леонида Григорьевича, а Юля добавляла: «Лёнчика бедного».

Лидия вернулась из Москвы, подбодренная мыслью, что надо брать мужика голыми руками. Юлия не только словами подбодрила подругу, но и наглядно: полтора месяца перед Лидией разворачивался роман подруги с проректором МГУ. Юлия относилась к этому, как к сложному, утонченному аттракциону: захватывает дух, небо и земля меняются местами, а потом еще наступает мгновение понимания и преданности, которое от настоящих не отличишь!

— Когда в кино-то идете? В какое? — тормошила ее Надька.

— Слушай, ты, наверное, будешь смеяться, но я забыла, какое кино. Что-то очень известное. Сегодня в семь тридцать, в Доме железнодорожника.

— Ты что-то колеблешься, Лидия? Все равно иди — там все пройдет, — Надька рассуждала, как гениальный полководец (ввязаться в битву, а там посмотрим). — Лидия, ты сейчас вся такая габаритная, красивая, я даже завидую... (Большие батальоны всегда правы).

— Ради Бога, Надька, я от родителей узнала, но ты больше никому... Леонид Григорьевич судился с женой... раздел имущества. Там столько мне непонятного: срезанная люстра, какие-то детские шапочки, которые вязала его мама. Это же для его детей? А он хочет отобрать! Одного ребенка он от жены отбирает себе. Папа сказал, что в мелочных мужчинах есть что-то смешное.

Надька пожала плечами: какая ерунда!

— Иди и ни о чем не волнуйся: Солодкевич скоро защитит докторскую — денег вам будет навалом.

В Дом железнодорожника Лидия пришла, кажется, слишком рано. А потом она вдруг поняла, что до сеанса осталось пять минут — кругом забурлили струи входящей толпы. Солодкевича не было. Вдруг из человеческих струй оформился Александр Юрьевич Грач, рядом с ним, ну

очень тесно, стояло какое-то эффектное создание в супер-модном болониевом плаще.

— Выручите меня, умоляю — на билет! Я тут случайно совсем шла мимо...

— Дорогая Лидия, разумеется!-жестом миллионера Грач протянул ей три рубля.-И упаси Бог вас возвращать! Кланяйтесь от меня Анне Лукьяновне и Льву Аронычу!

Начался ликующий мажорный киножурнал: там сеяли, плавили сталь, запускали самолеты, испытывали машины, ткачихи ткали десятки километров ситца, в общем, всеми силами старались развеселить Лидию. Но у них ничего не получилось, пока не раскрылась дверь и в призрачном трепещущем конусе лучей появился Солодкевич. Но появился он с большим добавлением: курсовички и дипломницы мерцающей стайкой потянулись за ним.

Лидия поняла вдруг, что папа прав: Солодкевич смешной человек. Какой-то малолетка, если он это вот все специально сочинил... Фильма она не запомнила. Он закончился, и Лидия первая выскочила из зала. Она направилась в общежитие к Надьке.

В комнате Надьки не было, и Лидия побрела на общую кухню. Там вся в распущенных волосах стояла Инна Разлапова и что-то быстро мешала в кастрюльке, пыхающей зеленым паром.

— Фитиль вываривaю — от примуса, — деловито пояснила она, — знаешь, какой пояс красивый будет.

Лидия заглянула в кастрюлю: там в пузырчатых слоях вилось нечто вроде плоской зеленой змеи.

Лидия хотела спросить, но тут же сама вспомнила, что Надька должна была делать стенгазету.

— А ты, Инна, почему не делаешь «Горьковец»?

— Я еще из себя-то не все сделала, — и Инна озабоченно подлила в варево что-то из уксусной бутылочки и подсыпала краски из пакета. Долго все перемешивала.

Пар побежал вверх с фиолетовыми прожилками, отбрасывая на лицо Инны размытые рефлексы.

Пылая Солодкевичем, Лидия с топотом обрушилась с пятого этажа на первый.

— Что с тобой? — искренне испугался Женя. — Бледная...

Но он тут же спохватился и добавил, набирая привычный тон:

— Словно ты попала под первый трамвай, как Гауди в Барселоне!

Лидии показалось: сердце вскочило на коня. Она замерла, надеясь, что Женя еще произнесет какое-то количество звучных красивых слов. Надька с сигаретой наготове, как мужик, переминалась с ноги на ногу: «Пойдем поговорим!».

Лидия обрушила на Надьку бурные жалобы, а та пристрастно выслушала, потом напоследок затянулась от плюгавого окурка и сказала:

— Ты, девка, не поняла! Здесь все... вообще-то ты должна чуть ли не ликовать. Солодкевич испугался, вот и набрал для уверенности этот цветник ходячий...

Вдруг Лидия резко устала: давай, Надька, ни слова больше о нем.

— Ладно. Вот тебе новость: Фая выходит замуж за Егора. Она сказала, что уже на третьем месяце.

Усталость как будто смыло этим известием.

Лидия встрепенулась: надо бежать в тихое место, домой, зализать раны, а после ванны, впечатляющего ужина и дремоты с книжкой на диване — можно посочинять поздравительные оды на свадьбу Егора и Фаи. Скорее, скорее!

Надька ворвалась в помещение, где камлали над стенгазетой, и метнулась к Бояршинову. Женя в это время стоял возле доски и вещал:

— Несчастные! Вы даже не представляете, как можно нарисовать траву! Вот так рисует Жан Эффель (заскрипел мелом по доске), это три запятых. А вот так изобразил бы Ван Гог — три змейки. На иконах, — он вознес перст, — какая-то первозданность.

Надька остановилась. Послушала немного, но на Дюрере (пантеизм, в каждой травинке Бог) безжалостно прервала:

— Слушай, философ, догнал бы ты Лидию, проводил... вы вообще очень дополняете друг друга.

— Что? Лидию? — захохотал Женя. — Эту городскую дурочку, мутирующую в городскую сумасшедшую!..

Все, кто присутствовал, растерялись. Женя и раньше говорил оригинальные гадости, но про окружающий, про отдаленный мир. Своих, которые сердцевина мира, он не трогал. И это мило всех сплачивало, делало своими в огромной мере. По неопытности они не знали, что его нужно было остановить сразу. Теперь все вдруг спохватились... Чтобы отвлечься от тяжелого перекатывания внутри — последствия слов Бояршинова, — они продолжили работу над «Горьковцем». И все они думали: как отомстить за Лидию.

Егор бормотал:

— Конечно, можно обозвать каждый атом, но...

— Но станет ли от этого мир лучше? — закончил Витька Шиманов.

4. Рюмка мести

1

— Но Лидия ничего не должна знать, а то запоет опять: «Да Женя не такой, внутри он гораздо лучше». Есть в ней это пустое интеллигентствование.

— Девочка из профессорской семьи, что вы хотите...

— На нашей с Фаиной. Свадьбе. Мы осуществим! Возмездие. Это будет операция «рюмка мести»!-Егор, конечно, был уверен, что прекрасное будущее обеспечено: мы будем работать, развиваться, и в результате... Свадьбу Егор допускал как приятный довесок к твердому сценарию грядущего. — Спирт подкрасим соком, а Женя пить не умеет... вот и будет месть.

— А где спирт взять?

— У Аллы Рибарбар, она же медик.

— У, кислогубый, — лихо подхватила Галька идею мести, когда после лекций Надька зашла к ней в магазин. — Сказать, что Лидия — сумасшедшая!

Теперь уже Галька после работы зашла к Алле Рибарбар.

— Как Вадик? — спросила подруга.

— Пишет, что соскучился, а ты как — завела кого-нибудь?

— Венера любит досуг, — степенно ответила Алла. — А где у меня досуг? Знаешь, сколько медикам задают учить... А на свадьбе Егора кто-то будет из мужчин свободный?

На свадьбе из мужчин был еще Володя Пилипенко — Вол, бывший телохранитель Егора в школе. Его взбодренное холодом лицо постепенно в квартире нагрелось и начало струиться невиданным здоровьем. А Володю поразило, как блестят гладко зачесанные волосы Лидии:

— В твою голову можно смотреться, как в зеркало!

— Слушай, меня тоже все спрашивают, что я с волосами делаю, чем их смазываю, а я ничего... Мы, Володя, с тобой поговорим после, ладно? Я должна еще поэму досочинить... Ты ведь в этом году школу закончил: куда-то поступил?

— Поступал в универ на физику, не прошел.

— Жалко, потом это обсудим, хорошо?

— Прошлое — ничто, будущее — всё! — холодно-хрустальным голосом заявил Бояршинов. — Один звонок может изменить всю жизнь, судьбу.

Он собирался звонить в редакцию журнала «Юность», куда месяц назад послал свой рассказ.

— Да ну, не может быть. Один звонок не может изменить жизнь, — возразил Вол.

Бояршинов не удостоил его ответом. Он уже со смехом показывал жениху щепотку фиолетовых лепестков, туго спеленутых ниткой: мол, купил невесте мерзкий кусочек цветов — ничего другого не нашел.

Невеста, то есть Фая, удачно скрывавшая свой токсикоз жеванием яблока, призывала всех рассаживаться. И тут Лидия заметила, что Галька с Аллой как-то странно-подозрительно хихикают вокруг Жени, накладывая ему салат в тарелку и что-то переставляя в приборе.

— Вы чего?

— Да ты, Лидия, посмотри на блюдце под лимонами. Узнаешь? Это его мы вертели здесь на спиритическом сеансе!

Мстители учли все, кроме того, что рассеянная Лидия сядет рядом с Женей. Мама Егора быстро сказала первый тост за молодых, Лидия подняла рюмку и хватанула чего-то расплавленного, но, видя, что все пьют и не морщатся, подавила кашель. Володя, сидевший справа, еще потянулся к ней чокнуться, и она еще раз глотнула спирт, закрашенный соком. Это была «рюмка мести»!

Крепясь на стуле, Лидия ощутила жажду и яростно выпила остатки.

Теперь если взять большие ножницы и нарезать на мелкие разноцветные куски все, что было, а потом кое-что потерять, остальное же склеить в произвольном порядке, получится то, что стала воспринимать Лидия после выпитого спирта.

Лидия искала в себе центр тяжести, чтобы встать и уйти домой, а там, в тиши, расставить по местам все куски сегодняшнего дня. Фая сразу же поняла, что Лидия выпила «коктейль мести». Пошептавшись с Надькой, она снарядила Володю проводить Лидию. Пришлось рассказать ему про «городскую дуру» и про план мести. И про рассеянность Лидии...

Лидия властно приказала шубе надеться на плечи, и та послушно прошелестела и легла на плечи, а шапка села на голову. На самом деле Володя в это время долго мучился, пытаясь втиснуть ее крупное тело в одежду. Калейдоскоп кусков нарезанной действительности крутился в голове Лидии. Она слышала, как Женя, захлебываясь от восхищения собой, произносит длинный тост:

— ...Я смотрю на часы-они остановились. Пусть жизнь никогда не остановит нас, как эти часы! Я вижу арбуз: он разрезан. Пусть жизнь никогда не разрежет нашу компанию на отдельные куски...

Только тут до Егора дошло, что «рюмка мести» попала не по адресу, и он восхитился непредсказуемой драматургией жизни. Но тут же слетел с высот суперменства, схватил бутерброд с ветчиной и стал совать его в рот Лидии: «Закуси!» Она лишь вяло помяла челюстями. «Вспотеет, мы пойдем», — сказал Володя и вывел Лидию.

На улице Володе пришлось в прагматических целях обнять ее. Она, конечно, статная от природы, но и он как никто силен физически! Первый снег обильно наметал пышные сугробы, и Лидия уселась в один из них:

— Ты, Володя, иди! Не задерживайся. Я уже свой дом вижу... А мне нужно многое продумать. Да и родители не должны увидеть... в таком виде. Я немного очнусь пока. Ты Жене не говори, что я купалась в сугробах тут...

Володю поразило, что она еще думала о Жене, но, впрочем, ей не известно ведь, *как* он о ней отозвался. Ему хотели отомстить, но Лидия же и подорвалась на этом спирте. И хорошо ведь, думал Володя, хватая ее чуть ли не в охапку и волоча к дому. Сначала Лидия чувствовала, что это как бы отцовские объятия. Вдруг откуда-то — обжигающе-бешеные прикосновения снега к шее: это Володя растирал ей шею и лицо, чтобы привести в сознание. И как бы по необходимости — целомудренно-обнимая Лидию, он старался сильнее прижать ее к себе. Но вот они уже возле самого ее подъезда, а Лидия снова села в сугроб:

— Всё! Сама... Спасибо, Володя! Иди. Я сама тут... Подожди! Не говори ничего никому... Жене ни слова.

Он ее тащит, весь в поту уже, а она села в сугроб и говорит только о Жене!..

— Лидия, лежать в сугробе — это бывает, но для профессорской дочки не очень хорошо. Вот кто-то мимо пойдет и увидит.

Он поднял ее и начал втискивать в подъезд, приговаривая: все будет нормально, не надо бояться родителей. Все вообще будет прекрасно: вот что означал его полубратский поцелуй. Все произошло так внезапно, что Лидию не успело даже затошнить от присутствия... от такого присутствия (потом Алла скажет: Володя — единственный мужчина, от которого Лидию не тошнит!). Это был первый поцелуй в ее жизни. Просто он ее, как спящую красавицу, разбудил! И она ответила тоже поцелуем! Тут-то она и протрезвела: ого, вот какие силы, оказывается, таятся в очень простом, нежном... нежном... хорошее средство протрезветь, надо бы сразу так. И напрасно она боялась родителей: супруги Шахетские были в восторге, когда увидели Володю, который, плотно обнимая их дочь, вошел в дверь. Они поверили, что эти подсобные объятия несут в себе много искреннего.

Лев Ароныч, как купец, потирал руки до полуночи, а Анна Лукьяновна без конца бормотала:

— Какой могучий молодой человек, с умным красивым лицом!

2

Через неделю Володя ушел в армию.

Но всю эту неделю — семь дней — каждый день встречая Лидию, он чувствовал, что его куда-то вот-вот унесет, но не про армию думал, а куда? Каждый день он твердил Лидии, что не он ее спас от мерзлого сугроба и звенящего ледяного тела, а она его — от плутаний в пустоте...

Она же видела Володю в каком-то светящемся живом изумруде.

Квартира вела себя очень деликатно, всем своим нутром подчеркивая, что дома они вдвоем: «Не бойтесь, ребята, во мне сейчас никого, кроме вас, нет!». Это выражалось дружелюбным журчанием в санузле,

пением счетчика и еще какими-то неизвестными, но не пугающими звуками. Лидия в это время мучительно боролась с яичницей на кухне (с одного края она колыхалась жидко, а с другого уже подгорала). В кабинете профессора Шахецкого Володя рассматривал побитые и склеенные горшки научно-обшарпанного вида. Но как молодой растущий организм он с интересом прислушивался к скворчащим звукам из кухни. По направлению к кабинету потянулась струйка чада, за ней ворвалась Лидия с криком: «Садись за папин стол!».

— А чем эти сосуды склеены?

— Бери ручку! — еще свирепее закричала Лидия.

Он безропотно и даже с веселым ожиданием сел в кресло (пронзительный писк моды шестидесятых: оно крутилось вокруг своей оси).

— Теперь пиши! — приказала Лидия.

— А что?

— Научный труд!

— Но я должен поднять соответствующую, очень соответствующую литературу, — и он поднял Лидию на руки.

На миг ей даже показалось, что она взлетела сама, а он только для порядка ее в двух местах поддержал.

В это время входная дверь открылась и степенно вошел Аркадий. На самом деле не замечая Лидию и Володю, хотя в это трудно поверить, он расстегнул пальто и прошел к книжным полкам. Затем метнул в сестру обличающую молнию взгляда:

— Где истории Византии? Я поспорил с Демой о монофизитах. Если ты роешься здесь, то зачем?!

Лидия увесисто-упруго спрыгнула с рук Володи, и они бежали на кухню от дальнейших обличений. Володя послушно поглощал обугленную яичницу.

— Лидия! Теперь давай поедем ко мне, — внезапно сказал он, и фраза прозвучала утонченно-развратно, как цитата из Мопассана.

Лидия задрожала и подумала: а, будь, что будет. Сегодня три пары, их побоку. И они прогромыхали через весь город к коммуналке Володи.

На подходе к дому Володя сказал: в этой коммуналке они в восьмом классе встречали новый год в ванной, в самой ванне, все дети одного возраста собрались и инсценировали книгу «Трое в лодке», там была темнота, и один лаял. А девочкам сказали, что...

Лидия не слушала. Она думала, что все должно произойти на кровати. Все, а что все?

Оно все там и произошло. Володя разложил на покрывале с нездешними жар-цветами какие-то тусклые, поломанные фотографии и документы. В общем, весь семейный архив. Хотя думали о будущем, но и прошлое по какому-то здоровому инстинкту не отбрасывали. Володя показал свое свидетельство о рождении:

— Вот видишь: отец... А вместо отца... вернули в виде справки о реабилитации. Даже лагерной пыли не осталось. Мать всегда ласковая, а я бы в детстве все отдал, чтобы иметь такого сурового, с огромными недостатками... как у тебя или у Егора.

— Ты куда? — спросила Лидия.

— Там мама оставила поесть, мы сейчас... вдвоем, я принесу. Много оставила, ты мне поможешь.

Он принес жареной картошки и суп:

— Приду из армии, закончу институт — ты у меня никогда пол мыть не будешь! А знаешь, как я хорошо умею готовить (хотя он ни разу за это не брался, но был уверен, что за три года армии да пять лет института он уже всему научится, так что это была уже и правда).

— Ну а я буду стирать, — решила не уступать Лидия. Вот что такое счастье, подумала она: когда всю жизнь Володя варит суп, я за стенкой белье полощу и мы разговариваем... о чем? Обо всем на свете! А свет большой, хватит разговоров на всю бесконечную жизнь.

Они вышли на общую кухню, чтобы трепетные коммунальные старушки не подумали чего — из жалости к этим старушкам, чтобы те не мучились своими подозрениями. Володя мыл посуду и говорил:

— Как я Егору завидую: он уже всем обеспечен, женой, ждут ребенка, когда я вернусь из армии, он уже будет четвертый курс заканчивать. А я написал «интузиаст» в сочинении, думал, что от слова «интуиция»... И вот будущее — нормальная жизнь — откладывается на три года. Егору хорошо.

— А я Фае не завидую, — сказала Лидия и с фольклорным выговором добавила: «Егорушка-то водочку понужат».

Одна из старушек радостно резонировала на последние слова:

— И твой еще будет понужать, Володька-то, — в лице ее собралась вся ее бедная, по мелочам хищная жизнь. Чувствовалось: она хотела добросовестно объяснить всем людям с улыбками, что они не правы. Бескорыстно она пыталась подготовить к злобной гармонии жизни. А то чего это: у всех хорошо, а у меня плохо! Пусть же и у всех будет нормально, как у меня.

В эту секунду Лидия думала: не для того какой-то высший дирижер сдирижировал «рюмку мести», чтобы жизнь Володи утонула в ней, в рюмке.

Другая старушка с паутинами морщинок и вся какая-то хрустящая от худобы поправила платок на голове, зорко вгляделась в просеиваемую муку (не упал ли волос):

— Куда ветер, туда и снег, — с жалостью посмотрела она на громадного Володю.

Даже Володя, который сталкивался с нею на кухне всю жизнь, ничего не понял, а уж Лидия тем более.

А старушка вслух, не замечая этого, выпустила мысли: «Отец в восемнадцать лет привел невесту, а через пять лет уже в зоне сгинул. И сын до армии туда же!» Она понимала, с одной стороны, ее жизнь пропала: муж без вести на войне, а сын допивает где-то свои явно последние литры, но горячо пекло в груди от желания, чтобы жизнь ее была светочем для всех, кто встретится у нее на пути.

Неужели так в жизни все время — из одной тяжести в другую прыгать, думала Лидия: из-под пресса родителей под какие-то вообще непонятные занозы. Она сказала тихо: Володя, пошли в комнату, мол. А старуха почувствовала горькое торжество: никому правда о жизни не нравится. Горькое такое, щемящее чувство.

— Ну я вам, баба Люся, патрон-то послезавтра поменяю, — как ни в чем ни бывало сказал ей Володя.

Так вот почему она злобная: Володя из-за меня не успел патрон ей поменять. Как хорошо! Лидия с возвратившейся легкостью снова распахнулась к миру .

— Как я тебе не оттянула все руки, как у тебя силы-то хватило нести! — в комнате продолжила невнятный лепет, не заботясь ни о каком уме.

— Каждое утро я эту гирю бросаю с чувством долга, а тебя-то я с другим чувством нес.

— С каким? — допытывалась Лидия.

— Сейчас, я должен вспомнить, — и он схватил ее снова и носил взад-вперед по комнате, приговаривая: «Что-то не вспоминается, не вспоминается... Вот сейчас вспомнится! Сейчас, сейчас».

И долго он так вспоминал, но не вспомнил, хотя Лидия ему помогала, трогая губами то одну щеку, то другую. Потом, когда им это надоело, он свалил ее прямо поверх разложенного семейного архива на китайское одеяло и возгласил:

— Ты мне напишешь расписку сейчас, что выйдешь за меня замуж после армии.

— О-о-ой, — с задумчиво-испуганным лицом Лидия протянула довольно. — А где же мы печать возьмем, чтобы заверить? Отпечатки пальцев поставим?

— Да ты что: в тюрьме, что ли? Это для тюремной картотеки... — неприятным голосом протянул он.

Она вспомнила, что отец Володи погиб в лагере. На несколько секунд ей показалось, что комната стала камерой, а голоса соседок в коридоре и на кухне — перекличкой. Отгоняя видение, Лидия тряхнула головой и весело сказала:

— Ну я пока напишу, набросаю, дай мне пять минут, только не вижу тут соответствующей литературы — в помощь начинающей невесте.

«Милый Володя! Пишу тебе сию расписку (слово «расписка» она подчеркнула). Клянусь небезызвестным тебе сугробом возле моего дома,

а также «рюмкой мести», толкнувшей нас в объятия друг друга, что выйду за тебя замуж после армии. Температура воздуха минус восемь. Лидия Шахецкая».

— Число поставь, — сварливым голосом сказал Володя. — А то знаю вас, вертихвосток. И вышел на кухню, бросив: «Я за киселем».

Он принес кисель, который своей ядовитой малиновостью вызывал ассоциации с текстильным производством . Они омочили губы и приложились к расписке. «Расписку принял», — коряво приписал Володя .

Тут оба поняли, что здесь драматургия их иссякла.

— А сейчас идем в кино, — этими словами Володя завершил эпизод.

3

На полигоне Володе нужно было по штатному расписанию проверять емкости с окислителем для ракет. Ингибиторные примеси быстро распадались, и фтор в топливе мог взорваться. Обычно, как и все в обслуживающей команде, проверку окислителя Володя делал небрежно, на бегу. А тут что-то на него нашло: надел химкостюм, натянул маску. Конечно, упарился в казахстанской жаре да еще и заслужил насмешки и упреки в суетливости: «ишь какой, хочет, чтоб начальство заметило!».

Но когда Володя влез на многослойную стенку да нагнулся над клапаном, ему в лицо ударила струя. Первый случай на полигоне. Специальная резина на маске сначала отшелушивалась чешуйками, потом начала отпадать струпьями и лентами. Автоматически сработал химдатчик, заныла сирена, так что бегали два часа, ища, где ее выключить (секретность) и старшина Лянтс развешивал в воздухе словесные загибы с приятным таким прибалтийским акцентом.

...Иногда под видом усердного несения службы они забивали на эту службу. Например, фургон, набитый аппаратурой, уезжал якобы на заранее выбранную координатную точку в степь. Для проверки связи с орбитой. Фургон обязаны были сопровождать офицеры, но чаще они забивали на все с еще более могучей силою. Так что удалившись «на точку», все во главе с Лянтсом отправлялись на озеро, оставив салагу-первогодка и строго наказав держать сигнал.

Один раз во время таких шараханий по степи наткнулись на курган. Володя первый заметил, что подножье его окаймлено идеальным кругом из повалившихся камней. Если бы они не были повалены тысячелетними силами, то выглядели бы как метровый забор. Кто его знает почему, но солдаты резво кинулись на верхушку кургана. На вершине лежал камень, оказавшийся смутно выглядывающим лицом с поджатыми под ним руками и ногами. Глубоко в кремнистое тело было врезано подобие кинжала.

— Этот идол, — сказал несостоявшийся студент Лянтс, — защитный дух захоронения. Или сам похороненный.

И что вдруг случилось со здоровыми, не совсем тупыми парнями? С громким пустым смехом они бросились выковыривать из земли каменного воина. Мечтали привезти его на полигон и свалить рядом с пусковым ракетным столом: будет контраст, как на газетном снимке под названием «Прошлое и будущее». И возились несколько часов, и надорвались, выбивая идола из земли. И решили проблему (грамотные парни!) погрузки, упаковки, разгрузки. И договорились с охранной частью... По жаре работали, не снижая темпа. Двигались, как под наркозом. И чувствовали при этом, что кого-то хитро обманывают, что-то весело и быстро тырят. А небо в степи совсем не то, что в Перми. Это какая-то сплошная дыра из голубизны, если нет облаков. И Володя, волоча вместе со всеми холодное и упрямое тело духа-хранителя, заметил это небо, а также то, что оно стало высасывать мозги из-под крышки.

Их, материалистов-атеистов-добровольцев, нисколько не ввело в ум, что первогодка Ширяев, радостно сунувшийся из двери кунга помогать, тут же стесал себе два ногтя, а через сутки проеденный клапан пропустил смертельную струю в лицо Володи. Если бы он не надел раз в жизни эту маску... Ширяев, суеверный, как все атеисты, сказал: мол, зачем мы ворочали эту... потревожили себе на голову!

Да, у этого древнего половца или гунна, оказывается, были *свои* приемы борьбы за собственное достоинство.

4

Лидия исписывала целые вороха листов, так что у самой в глазах рябило от характерных ломаных росчерков влево: «Володя, дорогой, уже почти год, как ты служишь, а я тебя по-прежнему люблю. Нет, еще больше! В твоем последнем письме, в его тоне, мне показалось: было что-то гнетущее. «Многое надоело», пишешь ты. Часто пишешь: «Но я держусь, и все держатся, молодцы». И вообще: «вдруг появились тюльпаны по всей степи». Никогда ты раньше про цветы не говорил. Может, у тебя что-то случилось? Каждую минуту я тебя здесь поддерживаю.

У Витьки Шиманова нос стал еще более луковицей, и лицо от этого еще добрее. Я опишу его подробно, чтоб тебя развлечь. Жаль, что это не кино, чтоб все показать, как на экране. Витькино сходство с луковицей увеличивается длинными волосками на верхней губе. Глазки маленькие, в них сконцентрировано желание что-то отремонтировать. Они так и рыщут по сторонам: где бы тут найти сломанный утюг или стул. И вообще вся его фигура кургузая в виде кирпича устроена так, чтобы куда-то втиснуться и что-то исправить. В руке у него всегда портфель, а в портфеле все время что-то звякает — приспособления для всякого

ремонта. А стихи он никогда не записывает, а сочиняет и закрепляет в голове. Все к нему относятся как к надежному и умелому домашнему существу. А он часто этим огорчается, особенно — в отношении Надьки. Ну, я тебе рассказывала, Витка был в нее влюблен.

Ну, теперь добрались до Надьки. Ты, может, думаешь, что она всё такая же тощая, вся из костей? Ничего подобного, хотя и тогда была в ней привлекательность Мэри Пикфорд. Она сейчас поняла, что нужно сильной половине, и вот сделала над собой усилие и расцвела... Даже волосы перекрасила и завила. Представляешь?

Ты не знаешь, наверно, но Грач пробирается через частокол девушек всю жизнь!!! Тут меня берет отчаяние, потому что можно же было ожидать: когда-нибудь время на него подействует. Но он переживает многочисленные мужские расцветы! И вот, по несчастью, следующее его возрождение совпало с расцветом Надьки (может быть, у нее — единственным, какая это несправедливость!). При этом Грач — друг моих родителей. А сейчас я заранее должна, что ли, думать, что он — негодяй? Он все равно Надьку бросит. Я и Надьке ничего не могу сказать: как же опоганить ее первую влюбленность? Не буду больше об этом писать; такая злоба накатила на дядю Сашу, хоть теперь все время его в кавычках мне писать... И вот на диалектологической практике, в деревне, представляешь, погода была отличная, Надька и Грач вдвоем все время ходят и записывают образцы местных речений. А Витька совсем потух. И на его лице написано: «Конечно, кто я — и кто Грач, доцент»... А у нас есть Инна Разлапова. Она все время занимается собой и озабочена, чтобы беспрерывно цвести. Она процессом немного через меру увлечена. Каждую свободную секунду делает или массаж, или завивку, или мимические упражнения, или обтирается холодной водой, единственная из всех моих знакомых красит ногти на ногах. Инна даже при ярком деревенском свете — словно в тени. Иногда она говорит: не пойду сегодня записывать говор — слишком влажно для моих кудрей, они разовьются. В общем, один раз Инна и Витька вместе дежурили на кухне. Это тебе, наверное, хорошо понятно: ты пишешь, что часто наряжают на кухню. Оказывается, в нашем возрасте, когда душа разорвется на кусочки, она быстро срастается. Инна на Витьку взглянула, как на продолжение самой себя. Она на него положила глаз, как на удобный орган для бытовых работ, как на кудри, которые никогда не разовьются . И вот они дежурят и жарят огромную сковородку с грибами. А собака, которая дружит со всеми филологами, Бодуэн, подошла и фамильярно выела всю середину. В это время Инна и Витька были заняты друг другом. Они очнулись: что делать? Заровняли середину жарева, и мы все съели, бедные, без всяких подозрений. А потом, в последний день, все стали признаваться в своих кухонных проступках. У одних мышь пробежала по хлебу, у других таракан утонул в супе. Ну

тут Инна и Витька про Бодуэна рассказали под общее настроение. А пес тут же махал крючковатым хвостом и улыбался. Собаки, ведь они умеют, научились от нас. А Егор всю практику пьянствовал, и это отец ребенка! Ты, конечно же, не такой! И никогда не был и не будешь. А зачем я и сравниваю тебя с ним, еще обидишься. Просто строчки так легли. Они никакого отношения к тебе не имеют. Навечно твоя Лидия».

5. Первые разломы

1

Ранним утром Надя шла по улице, стеснительная и туманная. И в то же время избыточно здоровая. Несколько минут назад она прощалась с Грачом и всеми своими поцелуями и всеми прикосновениями старалась избытки здоровья втиснуть в него, чтобы он не стеснялся, что он намного старше ее. И чтобы им вдвоем можно бы приблизительно бесконечно пробыть вместе.

На днях в общежитии один физик злодейски поразил ее своим умом: «В коллапсирующих массах время внутри течет быстрее и имеет конец. А снаружи коллапсар кажется бесконечно существующим объектом»... Надька поняла основное: хорошо бы им с Сашенькой (нет, он велел звать его Александром Юрьевичем), хорошо бы с Александром Юрьевичем прожить жизнь наоборот! Уединиться где-то внутри и бесконечно, а все, что снаружи, прошло бы, как быстрый темный сон...

Но она не знала, что у доцента Грача был свой избыток здоровья, и это преогромное здоровье заставляло его сейчас нацелиться на второкурсницу Ию Неждан. Ну что поделаешь, если она так мощно притянула к себе в университетской аллее.

— Какая у вас кофточка, — сказал он, вообще ничего не имея в виду, вот поверьте, чисто автоматически.

— Ужас — этот мохер, — чуть не со слезами откликнулась Ия. — В приличном месте раздеться нельзя — все нижнее белье в шерсти.

И это его так поразило и втоптало — в самые огнедышащие глубины! Он успокаивал себя: да в больнице она раздевается, в больнице, на медосмотре, но так и не мог несколько дней отвязаться от ярких объемных сцен. Тем более, что Надька... В общем, все сошлось против него: наглая в своем вызове Ия, яркое воображение, цепенеющая вблизи него Надежда. Нет бы Наде быть поактивнее и удержать его возле себя, а она смотрит на него, как на гения, а не как на мужчину.

И так у него происходит каждый раз. Ужасный мир!

Надька решила, покурив, избавиться от избытка здоровья. Пошарила в сумочке в поисках сигарет, но тут запах цветущей черемухи горьковато защекотал гортань. Какая я сейчас другая, поразилась Надька. Чтобы запомнить это состояние себя другой, она спрятала сигареты.

Оглянулась: не видит ли ее кто в таком слюнтяйском положении, постояла возле черемухи, глубоко дыша. Дерево было уже подобрано студентами, которые, несмотря на занятия высокими суровостями курсовых и дипломных, нуждались хотя бы в таком скудном пайке красоты как ободранный на ходу, быстро погибающий жалкий пучок белых соцветий. Но все-таки примерно в полуметре над Надькиной головой многое уцелело, и она — напрягая очень зоркие свои глаза — разглядела перламутровую внутренность каждого цветка, которая образовалась от лучей, отброшенных небом.

«Лягу спать на пару часиков, а если не встану на лекцию, так и ладно», — подумала она, взбегая на свой пятый этаж.

— Надя, тебя разыскивает Грач, твой научный руководитель, — уже минут пять повторяла Любовь Климентьевна, стуча в филенку сухой ручкой. — Иди к нему с главой курсовой работы! Он сказал, что ты пропала и не появляешься.

Надька нежно потянулась и томно простонала:

— Сашенька?.. Да я же только от него!..

Вдруг она открыла глаза и проснулась.

Как бывает: из-за внезапного прыжка после сна в жизнь все предметы вокруг нее еще не сложились в удобочитаемую картинку. Инна, которая была представлена в ассортименте: бигуди, выглаженный до блеска шелковый халат, такое же выглаженное лицо, — говорила, постепенно срастаясь своими частями в одну гармонию:

— Спасибо, Любовь Климентьевна! До свидания, Любовь Климентьевна!

Когда каблуки секретарши раскатисто отстучали вдали, Инна в ужасе зашептала:

— Что ты наделала?! Секретарь факультета — это для нас почти выше ректора!

— А что такое? — не поняла Надька.

— Ты ей сказала, что только что из постели своего научного руководителя... А он старается алиби создать, ум проявил: секретаря к тебе шлет. Я бы на твоем месте сразу все просекла.

Надька была в недоумении: чего он не предупредил-то!

Откуда ей было знать, что этим прекрасным умытым утром Грач шел на работу и встретил парткомовского дядьку, который, мучительно искривившись, процедил:

— Какой ты неаккуратный со своими студентками! Опять на тебя телега лежит...

Продолжая раскрашивать красивый железобетон лица, Инна задумалась: а не сменить ли тему... Ведь чего доброго, оказавшись в безвоздушном пространстве, Надька опять начнет притягивать к себе Шима-

нова. А притяжение у нее сейчас очень мощное. Даже Инна это чувствовала. И она резко повернула разговор в безопасную и весьма увлекательную для обеих сторону:

— Знаешь, я изобрела, как отбеливать веки... такая получается экспрессия взгляда. Намажешь сначала кремом «Вереск», потом...

Не зря ты, не зря делишься секретом. Надька слушала с очень внимательно-озабоченным видом. А Инна даже не знала (и хорошо, что не знала), что она всегда насквозь видна со своими орудиями красоты...

2

«...Спасибо за приглашение, Юля, я обязательно буду в Москве, но только 1 августа. У нас после третьего курса целый месяц пионерская практика. К тому же у вас я смогу познакомиться (через тетю Дину) с Анастасией Цветаевой!.. Побегаю по театрам. Тут, конечно, у нас Егор каждый день театр устраивает. Были недавно на дне рождения у Фаи, и он, подогретый изнутри, спрашивал жену родную: что такое «индрик». А Фая вдруг приняла свой обычный спокойно-величественный вид, словно у нее защищена кандидатская, есть дача, запланировано лето в Коктебеле, и холодно спрашивает: «Егор, а где стипендия? Мы же собирались купить дочке шубу к зиме». Мама Егора сразу закрыла-заслонила сына: мол, она купит. Вообще она сейчас говорит, что во всем виновата Фая: не может остановить мужа. Фае очень тяжело, очень. Вчера утром я только собралась в библиотеку, Егор звонит. «Лидия, сейчас утро или вечер?» — «Утро». — «А какого дня: субботы или воскресенья?» А была среда.

Я Володе за три года написала около двухсот писем. А Вадик скоро уже придет из армии, Галька готовится к свадьбе. Забавная деталь! Вадик пишет из Грузии, что все местные знают Пермь. Только скажешь, что из Перми, сразу: «Знаю. Я там сидел».

Алла Рибарбар с третьего раза сдала научный коммунизм. Лектор им заявил, что без правильного мировоззрения не овладеешь профессией медика. Алла сказала соседке: «Без марксизма зуб не запломбировать». А преподаватель услышал, и Алла чуть не вылетела из института. На нее совсем не похоже, она ведь, помнишь, такая спокойная. Папа говорит: это синдром оттепели — все слегка распрямились. Теперь отвечаю: почему не писала про Женю Бояршинова. Стало не о чем упомянуть. Он сейчас руководит всей самодеятельностью филфака (после отъезда Солодкевича в Ленинград). Почему-то ополчился на невинные выпивоны, которые мы иногда устраиваем после репетиций. При этом, Юль, поверь: мы выпиваем не больше ста граммов сухого!.. Ну, конечно, научились проводить Женю: приходим пораньше, выпивку для конспирации называем «Станиславским». «Станиславский меня хорошо вдохновил перед репетицией», «Где Егор? — Ушел за Станислав-

ским»... А первого апреля Женя меня вообще поразил! Мы праздновали этот день в общежитии. Так вот Женя тут тоже немного выпил и произнес целую речь о себе: «Я стал хуже, а дела мои идут лучше! Я стал скупее, жестче, а денег у меня стало больше, пишется здорово, и уже обещают напечатать!..» И так далее.

Наконец о Достоевском. Я с тобой, Юля, не могу согласиться! Кое-что для себя лично я взяла у него! Вот из «Идиота» я поняла, что никогда не буду встречаться с соперницей и разбираться, разговаривать даже не буду! Сама видишь, что вышло из встречи Аглаи и Настасьи Филипповны! Но подробно обсудим, когда я приеду».

3

Во время весенней сессии (третий курс кончается — значит, Володе остался год службы!) Лидия шла в магазин «Мелодия», она искала подарок брату на день рождения. Еще издали она узнала ритмически подергивающуюся походку Солодкевича. Уже больше года он жил в Ленинграде, удачно защитил докторскую, удачно женился. Лидия все отлично знала, как знала и о том, что Леонид Григорьевич приехал в Пермь, чтобы быть председателем ГЭКа в университете. Вот он уже зашевелил бровями, показывая, что видит Лидию и рад встрече. Она тоже поневоле засияла ему навстречу: на миг исчезло все время разлуки, и Лидия как бы услышала внутри тот буйный хохляцкий хохот, которым в университете приветствовала любую примочку Солодкевича.

Они кинулись друг к другу с приветствиями, и Солодкевич радостно зарапортовал:

— А я на ГЭК приехал! По-гэк-ивать на Пермь, значит. А как тут без меня Пермь поживала? — Солодкевич кинул вопрос на затравку, после чего Лидии ничего не оставалось, как хаотично изложить новости о самодеятельности: она играла Настену в «На дне», сама сочинила пародию на пермских поэтов («По-над-вдоль-за-перед ней...»).

— А вы как в Питере, Леонид Григорьевич?

— Преподаю русский язык курдам... ну, это тоже наши братья по индоевропейщине! — говорил Солодкевич. — Без сына мне трудно там. Дочь-то со мной поехала. Но и сына я заберу, когда он сможет решать сам... с кем жить!

Перед Лидией полосой пронеслись вдруг все эти детские шапочки и шарфы, которыми он тряс перед судьей во время развода и раздела имущества.

— Но значит... Зоя останется совсем одна, — низким голосом полуспросила Лидия, она даже как-то осела на своих крепких ногах, уперлась, приготовилась к защите всех матерей.

Солодкевич с вниманием посмотрел на Лидию: она начинала пугать его. Но он не сдавался: мол, чему Зоя может здесь, в Перми, на-

учить его сына! Если б Лидочка только знала всю степень Зоиной недалекости!..

«Сейчас я покажу свою недалекость, о, такую недалекость», — думала Лидия, резко останавливаясь около разверстого канализационного люка. Солодкевич остановился тоже, и оба вдруг почувствовали исходящую из дыры черную теплоту.

— Да если б меня бросил муж, сманил дочь, а потом пытался выманить последнего, второго ребенка!.. Я бы... его собственными руками в этот колодец столкнула! — И Лидия показала внутрь люка.

В этот миг Солодкевич повернулся и побежал. Поговорили! Он бежал удивительно легко, и крепкое пузцо совсем не проглядывало со спины. Он ловко уходил с линии движения прохожих. Лидия хотела догнать и извиниться, сама не ангел и не Бог, чтобы судить, но она не могла догнать: услышав ее «Леонид Григорьевич, да подождите же!», он так припустил, что скрылся из виду.

Сразу скажем, забегая вперед, что Леонид Григорьевич не успеет забрать сына: незадолго до решающего разговора с Зоей неожиданно от разрыва сердца умрет новая жена Солодкевича. А вскоре и он сам упадет прямо на скользкий лед Невского Проспекта, который как площадка для предсмертных судорог ничем не лучше, чем какая-нибудь дикая уральская улочка. В больнице он придет в сознание и расскажет, что уже знает: у него опухоль мозга. После смерти отца дочь Леонида Григорьевича уедет в Израиль. В Перми весть о его смерти будет перекатываться из дома в дом и наконец дойдет до Лидии. Она достанет из чемодана ворох старых газет «Пермский университет» и вдруг увидит себя в роли Коробочки в «шиповской» постановке «Мертвых душ», а дальше — знакомые все фамилии. Вот Женя Бояршинов пишет о концерте биологов: «Ни на одном факультете ленинская тема не была решена с такой душевной теплотой»

В университете долго еще будут жалеть: нет больше такого умного председателя ГЭКа... «Успокойся, Лидия, — будет говорить Лев Ароныч, — у Лени все прекрасно получалось: брак, первая диссертация, спектакли «Шипа», и он думал, что так же легко дадутся второй брак, докторская, устройство в Питере. Леня не хотел ничем расплачиваться за устройство новой жизни. Но что говорить, он заплатил по всем счетам».

4

Весь август Надька у родителей варила варенье, закатывала в банки огурцы, помидоры, солила грузди, которые предварительно с бесконечным упорством выискивала в ельнике, шепча: «Вот еще одно письмо от Саши, а вот еще одно — большое». Грузди приподнимали опавшую хвою, иногда выпячиваясь светлым вещим краешком. А из темноты почтово-

го ящика ничто не белело навстречу Надьке. Он обещал сразу же написать из Ялты, но, может, фронтовые раны открылись. Она вспомнила одну багровую многолучевую печать войны на бедре Грача и втянутый шрам на плече от пули навылет. Когда она представляла, что эти куски железа и свинца прошли сквозь тело двадцатилетнего пацана, хотя и командира целого стада пушек, она прощала ему отсутствие писем.

А мать, видимо, простила Надьке «уды» в летней сессии:

— Ничего, если не выучишься — лопат-то на всех хватит! — Но тут же добавляла: — То ли дело выучился. Вон наш начальник цеха — ходит руки в брюки, хрен в карман.

Последние слова она говорила уже не Надьке, а переведя взгляд в перспективу и обращаясь к невидимому, более достойному собеседнику, который поймет лучше, чем родная дочь. А отец сидел, покуривая, и медленно просчитывал: если не будет у Надежды стипендии, достаточно ли будет продать кабанчика.

Четырнадцатилетняя Вера, накручивая выпрошенные у Надьки бигуди, так и сяк примеряла судьбу старшей сестры на себя: удастся ли совместить самое главное — любовь — с другим самым главным — учебой. Причем она говорила про себя «любовь», и откликалось теплом в груди, говорила «учеба», и откликалось сильно только в голове...

А Надька, выбираясь по утрам из-под обломков мучительных сновидений, тяжело вздыхала: только бы полчаса поговорить с Лидией, только полчасика! Но та в Москве, и делать нечего.

Насилу дожила Надька до двадцать восьмого августа, до трех часов дня. Вот она сидит в комнате у Лидии и никак не может вникнуть, зачем та захотела познакомиться с Анастасией Цветаевой и почему услышала от нее: «Будьте мужественны!» Надька молитвенно сжимала ладони и пыталась найти лазейку между стремительными фразами Лидии, чтобы закричать: «Он не написал мне ничего за лето!» От одной мысли, что может сегодня его не увидеть, ее начинала бить дрожь. Эта наркотическая зависимость ее пугала. Надька это так чувствовала, как если бы она хотела курева, но только в тысячу раз сильнее. Лидия увидела вдруг, что Надька слегка позеленела.

— Лидия, — сквозь стыд сказала Надька, — принеси телефон, я ему позвоню...

Вошла Анна Лукьяновна и деликатно преподнесла грубую новость:

— У вас вся жизнь впереди, Надюша, это у нас на войне половину женихов поубивало. А что касается Грача, то у Александра Юрьевича уже новая пассия. Надюш, вы еще найдете в своем поколении...

Надька смотрела на кофточку Анны Лукьяновны: по кремовому полю бежали группы гончих псов. И они разбежались по материи так,

что сначала кажется: просто красивые путаные линии, а уж потом, при еще более внимательном вглядывании, они складываются в силуэты, а силуэты — в стаи. И поясок есть. На нем собаки то головой высовываются отрубленной, то ногой. Вот именно на пояске Надька увидела собачью голову, а потом искала на кофточке. Талия у Анны Лукьяновны еще тонкая.

...ах та ли я?
Сто сантиметров талия.

Грач любит такие языковые заковырки. У Надьки в руках появился телефон, и она начала умолять в трубку: «Только на минутку зайду!» Лидия вызвалась сопровождать, но Надька заявила:

— Я должна все сама.

— Надь, Ахматову бросали, Цветаеву бросали... — твердила Лидия. — Я только умоюсь с поезда, подожди!

— Не надо... Я к Витьке зайду.

— Зачем? Ты же его оставила! Нет, так нельзя: Инна и Витька подали заявление в ЗАГС.

Разумным тоном, как ребенку, Надька говорила:

— Лидия, спокойно, не волнуйся, я просто с ним подышу, возле него, поняла? Я собираюсь... Не собираюсь менять в его личной жизни. Ты меня за кого держишь, зачем мне это? Душно, я на Каму с ним, с Витькой, схожу, клянусь, прогуляться, подышать.

Лидия поразилась: душно? Какая в Перми может быть духота или жара?! Вот в Киеве...

Надька взбесилась оттого, что Лидия затянула: Цветаеву, мол, бросали, Ахматову бросали. Как ты запоешь, если тебя Володька бросит! Подумаешь, Витька и Инна на грани брака, а где-то уже и за гранью. Не дворянские, чай, все мы детки, великосветский скандал не грянет.

5

Грач сказал с порога, что может поговорить с ней, пока собирается в театр. Он зашел в ванную, не закрыв дверь, и стал мыть ноги... Из прихожей была видна стена с иконами — Грач был известный в городе собиратель и любитель старины. Надька слышала, что иконы могут помочь, и она хотела сейчас взять от них помощи: втиснулась взглядом в изображения двух Богородиц, висящих рядом. Но ничего не увидела, кроме золотых и коричневых пятен. Повернула взгляд внутрь себя: там плавилось уныние пополам с духотой.

— Зачем ты сказала Любови Климентьевне, что только что из моей постели? — слезливо выговаривал Грач, надевая носки. — Ты же меня подставила!

Надька вспомнила: после всего она любила лежать на большом голом теле Грача и воображать, что все опасности навсегда закончились.

Сначала он огорчался, что для нее главное — не «миг последних содроганий», а вот это замершее лежание. А потом привык и иногда использовал для примирения после редких ссор: «Ну, ладно, иди сюда, полежи, замри на мне...»

Она с минуту поплакала и пошла жить.

Надька шла быстро и даже ни разу не покурила. Два квартала расплывающихся зданий пронеслись мимо. Такое впечатление, что она стояла на месте, слегка перебирая ногами, и только притормозила, чтобы Витькин дом оказался напротив. За это время только два раза поверх бесчувствия прошло по ней тихое удивление: какая-то знакомая фигура в коричневом мелькнула по другую сторону улицы. Да нет, Лидия сейчас должна принимать ванну, она же насквозь пыльная после поезда. Не будет же она юрко прятаться за киоск «Союзпечати» — это для ее большого искреннего тела просто смешно!

Надьке открыла Витькина мать Евдокия Павловна: черты лица ее еще больше отвердели, но, впрочем, она сказала:

— Витька сейчас кончит причепуриваться к свиданке, чаю с ним попьете. Где каникулы провела, Надежда?

За столом маленькие глазки Витьки вообще спрятались внутрь черепа, бульба носа залоснилась, рука дрогнула, и Евдокия Павловна закричала:

— Куда песок-то сыплешь мимо! Я ведь не на Каме его собираю, — показывая тоном: убиралась бы ты, Надежда, побыстрее добрым путем.

Как плоскогубцы чувствовали себя в руках у Витьки, так и он сам чувствовал сейчас себя в руках у Надьки — простым инструментом.

— Вить, пойдем, я тебе должна что-то сказать. Не здесь, — тщательно произнося звуки и наполняя их силой, сказала Надька.

Они прошли оставшееся до Камы небольшое городское пространство. Надька шла по мглистому, отдающему серым светом, холодцу земли. Пасмурная тяжесть легла на дома, и они начали превращаться в желатин, расползаясь по поверхности.

Лидия увесисто скользила за ними, укрываясь между прохожими и деревьями, которых хватало на улице газеты «Звезда». Ее название пермяки, впрочем, уже сжали до просто Звезды, и получалось что-то романтически-волшебное. Серьезный идейный смысл развеялся в сияющем воздухе. Пасмурность была, но в то же время сквозь облака по всему небу светило солнце. Надькина фигура чуть ли не пропадала в висящем над городом жемчужном сиянии. Так, то подпрятываясь за ствол дерева, то глядя в сторону, чтобы не тревожить Надьку и Витьку своим горячим взглядом, Лидия подобралась достаточно близко, но все равно ничего не слышала. Но она чувствовала дрожь Витьки и какое-то его чуть ли не предсмертное томление: прежняя жизнь кончается, вот сейчас решится все.

— Если ты на мне не женишься сейчас же, я брошусь в Каму и утоплюсь. Но не бойся, никаких мучений не будет...

Он отчаянно старался лицо сохранить свое, чтобы что-то было от его собственной воли, а не от инструмента. Он сейчас думал о себе, как о мужчине.

— Я женюсь. Я всегда тебя продолжал любить... я о тебе много думал в это лето. Я понимаю, что, наверно, у тебя с Грачом все... Но ты не думай, что я тут запасной вариант, я до него любил тебя...

В этот миг Надька и Витька отчетливо разглядели Лидию, даже очень ярко — в коричневом муслиновом платье, еще слегка запыленном с дороги, лихорадочно грызущую полусухую жухлую ветку с тополя. Но они распределили свои силы так, что на Лидию внимания не хватало. И забыли про Лидию, прошли мимо нее.

— Надо резко менять свою судьбу, — Надька говорила с чувством тягучей собственной значимости. Это чувство втекло в нее сейчас и осталось с нею на всю жизнь.

Теперь она могла проявить роскошь милосердия:

— Конечно, во мне уйма недостатков. Я виновата, я металась. Ну и что я выиграла? А ты устойчив, как якорь, в этой жизни... Егор уже пропил свой хер, Фая жалуется! А Бояршинов — для него все лишь средство для каких-то стихов...

Лидия видела, что Надька что-то говорила с нежно-растерянным лицом, а такие лица, как известно, бывают у людей очень цепких. Лидия успокоилась, что конфликт перевалил через гору, а теперь идет мирный и долгий спуск — в какую там уж долину, спокойную и цветущую или опустошенную, выжженную, это уже сейчас не понять. Надо в самом деле идти домой, отмокать в ванне, пыли и грязи столько нацеплялось.

6

Уходя с набережной, Лидия услышала, что ее кто-то окликает.

— Лидия! — это был Бояршинов. — Привет! Сегодня покупал камбалу у твоей Гальки. Стоит за прилавком вся цветущая. Вадим-то пришел из армии, наверно, ее дерет. Не смотрит на весы, что там взвешивает, я говорю: «А покрупнее нельзя?» Она и выворотила мне за хвост такого дракончика. Принес домой — ни в одну сковородку не лезет.

И он замолк с понурым видом, но вдруг просиял от возникшего вывода:

— И к чему эта Галькина доброта привела?! Я чуть не остался голодным. Что это я все о себе? Когда приехала? Что так часто в Москву ездишь? — И взглядом добавил: «Может, тебя там кто-то дерет?»

Они вырулили на Компрос, и, увлекаемый упругой волной разговора, Женя, расслабившись, катился рядом еще несколько кварталов.

— ...а еще я три раза за этот месяц встречалась с Анастасией Цветаевой. Она мне столько про лагерь и про ссылку рассказала...

— И ты им всем веришь? — вскрикнул Бояршинов, затряс кудрями. — Где доказательства, что они в лагерях вели себя достойно? Она про себя сказала?

— Да ты что, Женя? Презумпция невиновности, она в самом деле существует, — Лидия вся кипела, но говорила отрезвляюще, чтобы помочь ему выйти из непонятного опьянения.

— Ты меня не поразила, — дразнил он ее...

— Меня вообще не влечет общение с позиции супермена: сегодня я тебя поражу, а завтра ты меня обязан поразить, — сказала Лидия.

7

Такие сентябри словно специально выделывают для свадеб, и хорошо, что не надо ждать три месяца — родители Лидии замкнули где-то где надо контакты с бывшими учениками, и свежие штампы солидно утвердились в паспортах Надьки и Витьки. Витькина мать смиренно шуршала вдоль стола вместе с какими-то родственниками, но про себя все время тоскливо повторяла одну и ту же фразу: «Ой, не надо было разогревать старую похлебку, нет, не надо было! Инна-то получше, ой, получше».

Лидия думала: этот промежуток времени нужно пережить и для этого сидеть тихо, чтобы своими действиями его не увеличить. А вдруг эта свадьба все-таки положит начало новому счастью.

Все чувствовали, что здесь что-то не то. И никто даже не спрашивал, почему Лидия не извергает тосты, стихи и поздравления. А Лидия раздумывала всего один миг, и уже в следующий миг готовность вмешаться и помочь засверкала сквозь волокнистые испарения раздумий. Она устремила к Надьке взгляд, полный сочувствия.

— Выйди со мной, — попросила невеста.

Никто не удивился, что невеста попросила ближайшую подругу выйти с нею подышать. Надька и Лидия спустились по деревянной лестнице, постанывающей под их ногами. Надька пошла к дровянику, возле которого была сложена поленица дров, не вошедших в сарай. Невеста подумала: все здесь может запылать от одной искры.

Она отвернулась от кричащих и пылающих окон свадьбы, словно заслоняясь от нескромных взглядов, закурила. Становилось легче, когда она едким палевым дымком окуривала окружающий студенистый мир. После этой процедуры мир можно было принимать, правда, дробными дозами, стараясь не вспоминать про Грача. Мир, пришибленный мочевым пузырем небосвода.

Вот хорошо, со вкусом мечтала Лидия, пошел бы дождь, тогда бы все заорали за окнами: к счастью, к счастью... А комары — молодцы: летают такими компаниями дружными, приятно перегруппировывая

свои клубы из квадратов в овалы, как в театре. А белое платье Надьки, как фонарь, освещает чуть ли не весь квартал. Этого не может быть, водка какая-то крепкая.

Надька выкурила половину сигареты и бросила ее. А окурок еще долго в сырой траве стрелял и шипел, из всех небольших своих творческих сил хотел поставить свою запятую в общем тексте.

Надька и Лидия ушли, а две их картины мира недоуменно всматривались в друг друга и не могли до конца решить, какая из них настоящая.

— Надюша, — сказал Витька, — хорошо, что ты быстро вернулась, а то папин шурин хочет поднять тост.

А про себя он думал: зачем такое цепляние за родство, позвали тридцать человек со стороны отца, почти столько же со стороны матери. Это все-таки всё пережитки... Я, конечно, люблю родителей, но и любых других бы полюбил... если б столько за мной ходили! И Надьку тоже полюблю! Да, полюблю, несмотря на все! На то и человек, чтобы преодолевать препятствия... Он мотнул головой, чтобы изгнать мягкий водочный шум. Вихри в голове (возникшие после поцелуя в ответ на крики «горько») начали выветриваться из висков и лба. Перед ним взбычилось пространство стола с нецеломудренными улыбками селедочниц. Гости разнообразно располагали мышцы лица и свои челюсти, чтобы показать, что все очень вкусно. Голосов было так много, что они иногда спрессовывались в тишину. Потом один гость не мог втиснуть свои слова в головоломку голосов, и они выкатились перед носом Витьки:

— Свадьба — это торжественный пуск в эксплуатацию...

Поперек этих слов шевелились руки Надьки — они отодвигали от жениха, необратимо делаемого мужем, бутылки и стаканы. И все вокруг беспечно подходили и что-то вещали. Егор снова про Канта. Надька не выдержала и врезала ему: «Кант-Кант, а Егор-то Крутывус, ты то есть, что именно сказал — сам-то?!»

— Надя, развертка сознания... э, развертка сознания.., — пьяно мямлил Егор.

А Фая слушала все это с таким видом, словно говорила: «Что ж ты, развертка, такая свернутая? Разведусь я с тобой».

Вдруг снова все вокруг закатились в тяжелый шар диаметром с кулак, транслирующий: «Горько, горько!»

После поцелуя, закончившегося на счете четырнадцать, слышались комментарии: «В такую жару, что вы хотите!» — «Это смотря с кем целоваться — кое с кем и в жару хорошо» — «А ты, Инна, покажи пример» — «А вот придете на мою свадьбу — будете считать, пока ваше знание цифр не кончится».

Все очень просто на самом деле! Такая Витькина мысль начала действовать. Все слипается со всем. И сознание его, чтобы выжить, срастило Надьку с Инной. Хотя как оно могло их срастить, когда Надькино

лицо было в светлых и темных осколках от низко светящей люстры, а лицо Инны мягко светилось, отвернувшись от света. Витька впечатал Инну в дно своих глаз и снова перенес взгляд на Надьку. Думал: трудная, кропотливая работа. Но недаром он всегда был рукастым умельцем. Луковичный его нос, шишковатые скулы изображали хитрую улыбку. Мать Витьки смотрела на сына и шептала свое: про похлебку, притом старую, которую не надо было разогревать.

Покачнувшись, с платком в руке, всем видом показывая, что надо выйти и разобраться в этом слиянии воедино Инны и Надьки, Витька подмигнул своей невесте: мол, давно надо было ей признаться, что она и Инна — одно! Теперь Надька-Инна осталась отдохнуть во главе стола, а Инну-Надьку он на руках понес по грубой скрипучей лестнице. В этих двухэтажных домишках лестница часто идет снаружи, и дожди делают ее древесину серебристо-серой. А сегодня дождь собрался, но раздумал идти, и сейчас зеленоватое небо изрядно светилось. А когда Витька внес Инну-Надьку в дровяник, где поленицы показывали мощный избыток березовых дров, от белизны коры стало еще светлее. Витька прижал Инну-Надьку к поленице и стал целовать, продолжая радоваться, что все так удачно получилось. Ему ничего не надо выбирать. Ее глаза сливались в один, подсвеченный изнутри глаз, и вдруг этот глаз от ужаса расширился.

— А он ее где-то дерет! — послышался звонкий голос Бояршинова.

Витька с Инной-Надькой посильнее уперлись в поленицу, и она начала разъезжаться. И по этому грохоту их нашли, а то бы не нашли вовсе, и непонятно, к чему бы привели эти поцелуи. Витька хотел сказать Инне-Надьке, что это все не важно, что он-то ничего не хочет видеть и слышать, но увесистый шмяк поленом поперек жениховского хребта... Еще с полминуты смутно воспринимались скачки Инны поперек двора, Надькины родители, гвоздящие его справа и слева... Погибло... все погибло! Витька из последних сил срастил внутри себя Инну с Надькой, но от каждого полученного удара Инна-Надька потрескивала, трепыхалась, раздваивалась и наконец окончательно разъехалась в стороны, превратившись в обычных Инну и Надьку. Гости тоже словно почувствовали это раздвоение и остановились:

— Давай его обмоем, усадим, да продолжим... Хватит с него, он все понял. Ты понял? — кричал один смутно припоминаемый родственник со стороны невесты.

— Понял он, — ответил за Витьку Бояршинов, боясь отрицательного ответа и продолжения боевого воспитания.— А где эта бля..га, которая нашего жениха чуть не?.. — Он даже не закончил, намекая на то, что процесс, который мог произойти, настолько чудовищен, что лучше сейчас не конкретизировать, чтобы не распалось бережно пестуемое в разных концах двора веселье (вскрикивали со смехом женщины, звенели разные склянки).

А Егор в это время возле дровеника выпивал, возле крыльца экал и бэкал перед Лидией с умными интонациями, говорил:

— А вас не существует, так о чем нам разговаривать, — и в то же время длил и длил разговор: — Напился — нет времени, отключился — нет пространства. Это очень просто (в его голосе возникли утешающие интонации). Время и пространство — моменты личной биографии... захочу: есть, хочу — нет их.

Забегая вперед, скажем, что Егор так усердно отключал от себя время и пространство, что однажды проснулся и понял на миг, что у него нет никакой биографии

— Это я виновата, — по-деловому говорила невеста жениху. — Надо было пасти тебя весь вечер, чтобы ты, милый козлик, не забредал в чужой огород...

Вот после этих слов Витька и перестал верить, что он живой. Странно, что они обращаются со мной, как с живым еще, думал он. А там, внутри меня, уже никого ведь нет.

Если к вам придет близкий друг и скажет, что он утопится (зарежется, повесится), если вы не сделаете ему то-то и то-то, никогда не соглашайтесь и не пугайтесь. Иначе импульс разрушения, которое он в себе накопил, коснется вас! И вы заскользите к обрыву...

Вот так же Надька толкнула Шиманова, как шар толкает шар, с бездушным костяным стуком. Она без всяких мыслей это сделала, лишь бы самой остановиться. А то, что он покатился к обрыву, так это уж его дело. Почему бы ему не затормозиться еще об кого-нибудь? Ума — что ли — не хватило!

...А Витька Шиманов покончил с собой. Он бросился под электричку. На похоронах, казалось, еще никто не понимал, что случилось безвозвратное. Все были заняты печальной обрядовой суетой и вообще об этом не думали.

Лидия подошла к Инне:

— Князь Мышкин тоже боялся кого-либо обидеть, огорчить, не знал, на ком жениться: то ли на Аглае, то ли на Настасье Филипповне. Лучше б он кого-то сознательно обидел, но сделал решительный шаг. А то... Витька тоже — побоялся обидеть Надьку...

— Ох, некстати ты долбанула своим идиотом-князем, — оборвала Лидию Инна. — Нашла время для изысканий!

8

Но с Надькой, к счастью, после смерти мужа ничего плохого не случилось.

Инна же поспорила на кафедре (на вечеринке по поводу 8 марта), что профессор С. — не такой уж убежденный семьянин, как все думают. На бутылку коньяка. На самом деле спор был только поводом, чтобы резко изменить, переломить свою жизнь. О цене этой ломки она не думала.

Так вот Инна разделась донага и села к профессору С. на колени, чтобы добыть наркотик власти над ним. Это напоминало разом всю западную литературу, где героиня без признаков одежды неизбежно и регулярно, как дождь, падает на колени герою. Но западный писатель встал бы в тупик от такого понимания свободы, какое было у Инны.

Когда Лидия узнала о выходке Инны, в памяти всплыл эпизод со столяром, который ремонтировал балконную дверь. Проходя через комнату, где Лидия как раз поила чаем Егора Крутывуса, столяр с одобрением сказал:

— Книг-то у вас много. У меня тоже дома есть книги — одна полка, за ними можно только одну чекушку спрятать, — он замолчал и еще раз влажным взглядом посмотрел на книги Льва Ароныча. — А в ваших шкафах сколько бутылок можно запрятать!

Когда работа приближалась к концу, Лидия понесла столяру водочки. А Егор, видя, как бутылка уплывает мимо, вскричал:

— Сейчас он выпьет, а ты ему скажи, чтобы он разломал дверь. И снова пообещай водки за ремонт. Думаешь что — не разломает, что ли?!

— Ты о чем, Егор?

— О том. Скажи столяру, чтобы все разломал, снова сделал — тогда снова ты ему стакан водки поднесешь. И он сделает! Да как миленький...

О чем он, не поняла Лидия. Неужели в самом деле Егор имеет в виду поставить эксперимент над живым человеком?

— Бога ради, Егор! Больше никогда ничего мне такого не говори! Ты что, задумал приобщить меня к чувству власти над людьми?!

— Ну, прости меня, дурака! Лидия, не сердись. Я просто сегодня сон такой видел, что снова женат...

Егора давно оставила Фая, и он жил с родителями. И вот во сне снова женат. Полнота жизни поразила его так сильно, что он поплелся в гости к Лидии. Хотелось обсудить:

— Главное, новая жена не красавица, а обыкновенная женщина. Но мы с ней все время смеемся: купили какой-то ерундовый шкаф и счастливы. Еще чего-то купили, снова смех... Я проснулся, стал вспоминать ее лицо. Ты? Нет, не ты? Да и вообще никто из знакомых... Простая женщина, понимаешь, но я был совершенно полон ею! Что за сон, к чему, а, Лидия?

...Сейчас, вспоминая эту сцену и сравнивая ее с поступком Инны, решившей доказать, что все мужики — скоты, Лидия думала: власть над мужиком имеет ли отношение к эросу? Или к политике?

Что касается Егора, его несчастий в семейной жизни, то тут была своя история. По распределению он работал в Узбекистане. Как-то вместо диктанта читал ученикам Пастернака. Потом, не стесняясь и даже хвастая, рассказывал Лидии: эти «чурки», мол, столько ошибок наделали смешных! «А ты в Навои бы ошибок не наделал, конечно», — удрученно ответила Лидия. Именно тогда Фая что-то поняла окончательно, подхватила дочь и уехала к родителям. Через некоторое время она вышла замуж за одного из братьев Черепановых.

...А Инна потом полюбила профессора С. Ну и хорошо ведь! Хорошо, да не очень, потому что у профессора была семья — та самая, из-за которой его и считали идеальным семьянином...

Грач толкнул Надьку, Надька — Витьку, Витька — Инну, она — жену профессора С. Каким образом? А они оба бросились на колени и умоляли отпустить его. Великая любовь, говорили. Но жена профессора каменно встала на их пути. Она сказала простые слова, которые тогда многим показались глупыми: «У нас долг — дети в переходном возрасте, без отца они могут вырасти подлецами».

Если б жена профессора С. послушно сказала: «Иди, дорогой, к своей великой любви», мы бы имели больше несчастных людей, или нет? Дети, теперь это доказано статистически, из разведенных семей живут меньше, чем дети из полных. Как сказал отец Лидии, ученые наконец-то думали-думали и додумались до необычайного открытия: папа и мама нужны ребенку для счастья (как будто человечество не знало об этом тысячу лет назад)...

Семья профессора С. не разрушилась. Страшный удар, нанесенный Инной, сотряс ее так, что прозрачный ее монолит покрылся трещинами, помутнел, но вынес. Однако трещины никогда не заросли.

6. Обыкновенные будни застоя

1

Перед распределением все боялись и за свою судьбу, и за судьбу студенческой дружбы — сохранится ли она. И только Егор ляпнул про Лидию:

— А что с тобой будет? По распределению не поедешь — папа спасет. В аспирантуру поступишь. Кооператив построишь... Детей нарожаешь кучу, у тебя бедра для этого подходящие.

Лидия тогда даже обиделась. К тому же угадал Егор только кооперативную квартиру — она и в самом деле строилась. А в остальном... По распределению Лидия поехала, как миленькая. С аспирантурой ничего не получалось: сын родился больной, не рос — Володя, как оказалось, облучился в армии... Дописывать диссертацию Лидия отка-

залась — малыш болел, нужно было возить его по клиникам, профессорам, бабкам, тут не до науки. Один раз — последний — ездила говорить с Риммой Васильевной Коминой, своим научным руководителем. Тяжелый получился разговор. Римма Васильевна пыталась как-то исхитриться и выкроить в жизни Лидии промежуток для поездки на предзащиту, совместив ее с обследованием мальчика. Она не видела Алешу и не понимала, что его нужно носить на руках в буквальном смысле слова. Когда Лидия уходила из дома, она укладывала сына на диван — возле телефонного аппарата, «возле нашего голубчикиного телефона», как говорил Алеша. И он ждал, когда мама позвонит.

От Риммы Васильевны она возвращалась в грозу. Ливень был такой силы, что по улицам текли настоящие реки. Транспорт встал. Лидия попыталась поймать машину: Алеша так боится грозы, лежит там у телефона и плачет, наверное: «Мама, я не умру, я дождусь тебя. Я ведь матушка». Все его выражения Лидия знала наперед. Она голосовала уже полчаса, но никто не брал ее в машину, никто даже не притормаживал. В такие минуты ей всегда вспоминались слова Анастасии Цветаевой: «Будьте мужественны!» Так много они пережили, лагерники, что даже в случайных репликах была *энергия пророчества*. А мужество Лидии понадобилось очень скоро...

Наконец остановилась «Волга» цвета «белая ночь» — целый квартиромобиль, показалось Лидии. Два молодых человека взяли ее в машину, и она сразу буквально вцепилась в спинку сиденья.

— В Америке, я читала, в грозу, так же вот один человек голосовал, его никто-никто не брал шесть часов, и он пошел повесился! — вместо благодарности выпалила Лидия.

— А вы сколько ждали?

— Да, наверное, полчаса!

— Вот видите, у нас не Америка: у нас все не так! Вы голосовали, мы вас взяли, и вот вы едете. У советских людей все по-другому, — говорил один из спасителей.

Лидия еще не знала, что эти два молодых человека, Боря и Веня, отныне каждый год в этот вечер будут приходить к ней домой, чтобы в память о счастливом знакомстве подарить цветы и бутылку шампанского. Лидия станет украшением их жизни.

Веня Борисов и Боря Ихлинский. Они уже на следующий день рождения подарят Лидии десять пар тапочек самых разных размеров — для гостей, понимая, что хотя сама Лидия покупает тапочки часто, в большом количестве и обязательно кожаные, но из-за постоянного употребления кожа быстро превращается в замшу с ошметками из порванных кусочков.

2

Молотя в голове формулы улучшения настроения («божественный настрой, божественный!»), Галька ехала в трамвае и ловила на себе усталые взгляды, в которых вдруг вспыхивал поиск. А я ничего еще, хорошо, что перешла в книготорговлю, столько успела прочесть для улучшения... чего? Себя? И себя тоже. Галька была вся в золоте: три кольца, две цепочки (одна с кулоном), сережки. И не хуже других, и вообще некую защищенность от жизни чувствуешь, когда все это на себя наденешь.

Правда, директриса магазина — старая дева, всех часами изводит. И покупательница сегодня устроила скандал. Но стоит только все дома Вадику пересказать... — откуда что берется. Галька потрогала сумочку, в которой лежал новый том детективов из зарубежной серии: для мужа. Вадик два дня не пьет хотя бы — читает!.. У него уже полная обувная коробка удостоверений: он может управлять всем, что движется — краном, экскаватором, катком, локомотивом. Да беда его в золотых руках: кому бы что ни отремонтировал, расплачиваются бутылкой. Дошло до того, что он стал коротко стричь волосы, чтобы Галька не ухватила! Только она скажет: «Вадюша!», он уже с испугом ждет обличения...

Сокращая дорогу к дому, Галька смело двинулась через гаражи, обросшие вокруг ивняком. Мелькая в оранжевом фонарном свете своей роскошной фигурой (грудь стала еще больше, а талия еще уже), краем глаза видела на гаражах свою легкую тень и надпись: «Убрать до 20 января 1971 года!» (давно он прошел, этот семьдесят первый!). Вдруг перед Галькой встал здоровяк. Галька всегда была неравнодушна к здоровякам, Вадик-то у нее — о! Она сделала несколько ритуальных отряхиваний, и тут мужик махнул рукой. От удара она вросла в стенку гаража, голова словно исчезла, а во рту будто захрустел разбитый аптечный пузырек. Галька услышала голос: «Я должен сегодня кого-то убить, должен!»

... Она вдруг отчетливо увидела сцену из глубокого детства: игрушечный мишка упал из рук. А в комнате никого, и она горько хнычет. Между первым и вторым ударом Галька успела вырасти, пойти в школу, подружиться с Лидией... Следующий удар был таков, что выпали зубы. Но Лидия! Так вот зачем она всплыла в памяти! Галька отчетливо услышала ее голос: «Я бы и в лагере стала со всеми разговаривать, как Анастасия Цветаева, даже с уголовниками — не может быть, чтобы не договориться до какой-то человечности!» Галька отбитым языком прошептала «Лида» и в это время расстегнула обе сережки.

— Господи, — прошептала она, выплевывая зуб и щепотью снимая кольца с правой руки. — Все тебе золото, все, вот!

Она еще что-то пыталась вспомнить из слов Лидии про лагерь, но не могла, потому что все корни мыслей у нее были вышиблены. А ведь читала про какие-то контрудары при нападении. Вдруг вспомнила, как родила Миньку, Минтая: пошла утром в туалет, потужилась, и сын ро-

дился, стукнувшись головой об унитаз. Ни болей, ничего. Здоровая очень она была, Галька. А маленькая гематома на голове у Миньки быстро рассосалась. «Лида», — снова прошептала Галька. Через имя «Лида» какая-то сила протянулась к ней, Гальке, и она закричала:

— Ты будешь в аду гореть! А зачем тебе это, скажи? Ты меня отпустишь, Бог тебя простит, Бог-то все сейчас сверху видит!

Она дрожащими руками расстегивала цепочки, а мужик механически повторял: «Я должен, должен, должен, должен убить тебя сегодня! Я должен убить...»

— О душе своей подумай, — плача, Галька совала ему цепочки.

Наконец от ее слов что-то заело в его механизме, и в эту техническую остановку Галька достала из сумки бумажник и тыкала им в грудь мужика: «Все, все бери! Разве мало я тебе дала?!»

Ей казалось, что она очень много говорила и убедительно, а потом могла вспомнить лишь несколько фраз:

— Господи, ты видишь все это? Помоги, Господи!

И тут пришла другая сила, похожая на Лидину, но уже не тонкой ниткой, а как бы из огромной двери. Такое ощущение, что, несомая этой силой, Галька не только может вырваться и убежать, но и что не может остановиться! Дом-то был в пятидесяти метрах! Эта сила, которая ее вырвала из рук мужика, обожгла его, и он закричал: «Ой, чё, мать твою так...!» А больше Галька про него никогда ничего не чувствовала.

Неожиданно она вспомнила самый счастливый день в их с Вадиком семейной жизни. В то время муж работал шофером на пятнадцатом автобусном маршруте. Галька пошла на обед в «Пирожковую», а Вадик стоит, колесо — запаску — меняет. Она побежала в пельменную, купила три порции, соус прямо в стакане утащила и вилку. Вадик работает, а она макает пельмени в соус и в рот ему вилкой... А по выходным горячие пирожки со сковородки таскала на остановку — под мышкой, чтоб не остыли. Вадик любил все мясное и горячее.

И Галька влетела домой — счастливая — без зубов, с лопнувшей губой и быстро отекающим лицом, а еще — с жужжанием где-то в затылке. Но совсем высоко над всем этим летало ликование. А ведь всего несколько минут назад она была счастлива, что вся в золоте, но сейчас была еще счастливее! Все отпало, как шелуха.

— Удача, редкая удача! — из-за выбитых зубов и распухших губ крик ее получился неразборчивым.

— Какая дача? — спросил из своей комнаты сын.

— Надо «скорую» вызвать? — кинулся к ней Вадик.

Он был трезвый! Галька настолько ошалела, что даже сказала: нет, не надо «скорую».

— А с тобой-то что, Вадик?

Муж рассказал: на работе был сегодня медосмотр — нашли ка-

кую-то болезнь печени, чуть ли не цирроз. Сказали: будешь пить — через три года умрешь, а не будешь — всю жизнь проживешь.

— Ну а ты?

— Я им говорю: у меня жена вот с такими титьками — не хочу, чтобы она кому-то еще досталась! Завяжу я.

И за те секунды, пока они проговаривали все насчет печени, им передалось успокоение — неизвестно чье — вне слов.

А еще перед краешком ее внимания вдруг явилась вся ее семейная жизнь сразу в виде холмистой местности. Слева был луг, и одновременно это был Вадик, разглядывающий в лупу ее гладкую кожу на колене; ивняк, кивающий пушистыми колобками по сторонам многолетней реки, — это проводы Вадика в армию и свадьба одновременно; и тут сразу потянулся пустырь дней без него; рядом, справа, весь дерн жизни перекопан и пахнет водкой и блевотиной.

...Лицо ее быстро уподоблялось пузырю. Вадик достал из морозильника полиэтиленовый пакет с пельменями и стал прикладывать к ее щекам.

Все случилось по-простому: Галька чувствовала благодарность и хотела ее как-то Кому-то выразить. Она окрестилась через неделю. Чтобы не смеялись, она ходила в Слудскую церковь к заутрене по воскресеньям, совсем затемно.

3

К лету восьмидесятого Алла перестала быть Рибарбар, и в качестве Аллы Розен вместе с мужем что-то на кухне у Лидии нарезала, шинковала, солила, перчила. И тихой сапой свершалось чудо возникновения праздничного стола. Лидия и Володя предупреждали прибывающие толпы:

— Об олимпиаде ни слова! Бьем штрафом в один рубль.

— Три штрафа — вот уже и бутылка хереса, — потирал руки Веня Борисов.

Лев Ароныч говорил с нервной веселостью:

— Да разве это толпы! О князе Куракине писали, что он приглашал на бал по пятисот человек.

— Ну, тогда у нас почти пусто, — ответил Володя, окинув взглядом пятидесятиголовую ораву.

Вошел Боря Ихлинский и сразу закричал:

— Алла Рибарбар вместо того, чтобы полюбить меня, вышла за своего Розена! Розен, почему ты бил меня в третьем классе каждый день? — плаксиво вопрошал он, нависая над сухоньким Розеном всей своей спортивной громадой.

— А чтобы Аллу отбить, — безмятежно говорил Юра Розен. — Я ведь знал, чем все может кончиться.

Но гостям Лидии веселье казалось ползущим вполсилы, пока не появлялся Алеша. К тринадцати годам он резко вырос и ходил немного искосясь, так и не приспособившись к удлинившемуся костяку.

— Милые гости! Оказывается, у собаки четыре ноги. Мы ведь взяли собаку Дженни у милого Александра Ивановича, папиного начальника. Лаборатории. Он же лег в больницу.

Егор Крутывус, надежно опередивший всех по части застолья, бесконтрольно ляпнул:

— Брунов-то? Да какое там в больнице, он же умер.

Алеша с жалостью посмотрел на Егора, как на человека, который не все понимает:

— Не умер, нет, не умер, милый Егор Егорович.

Егор побурел и убежал на площадку курить. А Алеша сказал:

— Но мы-то, милая мамочка, вместе с голубчикиным папочкой никогда не умрем!

— Да ты не обращай на Егора внимания, Леш, — загорячился Бояршинов. — Егор ведь немного глухой к языку.

— Не глухой, нет, нисколько не глухой, что вы, дорогой Евгений Бояршинов.

Алеша назвал Женю так торжественно, потому что, медленно обчитывая пермские газеты, он часто встречал подпись «Евгений Бояршинов». Женя писал о выставках, книжках местных авторов и прочих культурных происшествиях.

Забегая вперед, скажем, что во время перестройки он стал подписываться по-свойски: «Женя Бояршинов».

Вбрела почтенная Дженни, овчарка со спиной широкой, как стол.

— Дженнястик, — окликнул ее Алеша, — почему ты сегодня не такая... Ты куда подушку понесла с дивана? Она для милых гостей. И эту не бери, на которую облокачивается наша царственная Галина Васильевна. Ты ведь еще не знаешь, что много лет наша Галина Васильевна дает нам милые книжки. Из магазина.

Тут Веня обиделся, что Алеша давно на него не обращает внимания, и сказал:

— У меня, Алеша, знаешь ли, есть дог, зовут его Приск. Ох, он не любит, когда на улице наметет снега по яйца ему.

— Не по яйца, нет, не по яйца, дорогой Вениамин Георгиевич, — испуганно и громко возразил Алеша, желая, чтобы все было чинно.

Надька пьяно и растроганно посмотрела на Алешу и обратилась ко всем: мол, господа, помните, как Алеша сказал, когда его возили к экстрасенсу: «Мамочка, дай милому экстрасенсу денег!»

— Нет, не так, — сказал Алеша. — Я говорил: «Мамочка, милый экстрасенс хочет денег, дай ему, чтобы нас отпустил!»

Аркадий подходил к дому, расстроенный тем, что без него прошел кусок дня рождения, который уже ничем не возвратить. И все из-за поезда, который опоздал! На площадке ему кивнул куривший Егор. По всей кубатуре квартиры висел мельчайший пух. А в углу прихожей возле вешалки стоял Алеша, повторяя остатки своей последней реплики из беседы с Бояршиновым:

— Нет, не улитка вечности. Не вечности, нет.

Тут Алеша увидел гостя, но для себя он не расставался с ним, и не было никакого зазора между прошлогодним походом в зоопарк и этой встречей:

— Дядя Аркадий, пойдем кормить верблюда! Верблюд ведь матушка?

И тогда на Аркадия обрушилась вся родственная масса: Лидия, Володя, Анна Лукьяновна, Лев Ароныч, Евгения Яковлевна — мама Володи. Отгоняя руками пух, они обнимали, целовали и мяли его. А он только все спрашивал: чего это у вас в воздухе поразвешено? Да это Котя у нас рожает, кошка, втолковывали ему, не отменять же праздник и веселье. Дженнястик разорвала две подушки, гнездо помогает вить подружке своей.

— С каждым годом ты все больше красавец, — сказала Анна Лукьяновна.

— Седею, — отвечал Аркадий, самодовольно глянув в зеркало. — Укатали сивку крутые горки.

— Не укатали, не сивку, не крутые, не горки! — поспешно спас жизнь от распада Алеша. (Все слова были для него с большой буквы и имели свойство все удерживать. А вот такие, которые сказал дядя Аркадий, и на них похожие, сухие-больные — «смерть», «вечность», «укатали» — останавливают жизнь).

С самого рождения Алеша страдал аллергией, и у него было некрасивое красноватое лицо, слегка опухший нос. Но все, не сговариваясь, были уверены, что все это пройдет, как случайная царапина или синяк под глазом.

Забегая вперед, скажем, что во время перестройки, когда предыдущее время уже называли застоем, Алеша всегда говорил: «Не застой, нет, не застой!».

Веселье было настолько полное, что было невозможно вытерпеть его во всем объеме. Коньяк «Наполеон», привезенный Аркадием, включил какие-то резервные подъемные механизмы души, и вся обстановка начала покачиваться и возноситься навстречу спускающемуся пуху. Внутри этого подъемно-вращательного юза росли кристаллы табачного дыма.

— Там я наткнулся на стопку рефератов... — гудело среди дымных столбов.

— Лучше б ты наткнулся на стопку как таковую.

— Достоевский говорил, — поднялся Аркадий, — что... Позвольте мне тост!.. Что для счастья нужно столько же несчастья...

— А это мы пожалуйста, — блаженно сказала Лидия.

Дженни что-то с грохотом проволокла по коридору, и это было как бы сигналом, по которому веселье, переполненное самим собой, разветвилось на несколько компаний.

Егору было досадно, что все женщины друг на друга не похожи и надо каждый раз их расшифровывать, а еще — придумывать заново, о чем бы поговорить. Почему же только здесь, у Лидии в квартире, они все объявились такими красавицами? — встал в тупик Егор. — Все эти солувии... сослуживы... сослувижи... сослуживые? «Сослуживицы!» — выговорил наконец. Ну, предположим, что вот эта — самая красивая, дай-ка я ее чем-нибудь удивлю.

— У меня мама такая странная, говорит: я ей всю жизнь заел, я жизнь ее укорачиваю! А ведь жизнь не такая уж ценность, чтобы о ней заботиться, беречь! — и сквозь слой водочного наркоза удивился, что она с легкой гримасой, слегка замаскированной светскостью, отошла от него, Егора, и стала говорить с этой гнидой Бояршиновым.

Егор попытался ту же тему развить с другой, третьей, но они все реагировали не оригинально. В самом деле они из себя представляют один и тот же женский проект. Прав был Шопенгауэр со своей ненавистью к ним... Егор уже начинал понимать к этому времени, что — вместо того, чтобы набираться от него ума, все хотят его побыстрее спровадить. Хотя он и был прогрессистом, в последнее время готов был поверить, что мир постепенно ухудшается. Девушки, которые недавно ему улыбались и чуть ли не смотрели в рот, теперь глядели кисло, а в глазах их едва ли не читалось: «Пошел прочь, старый козел».

Бояршинов шел рядом с Галькой и Вадимом, наблюдая, как алкогольный лак тонко покрывает все окружающие предметы. Уже вспыхнули фонари, и вот если бы Галькину грудь аэростатную можно было воспринимать отдельно от нее самой и от ее шоферюги-мужа, то...

— На конечке пятнадцатого подождал старушку: видел в зеркало — бежит, — говорил Вадик. — А потом на Перми-второй вышла она, руки в боки и стоит, будто меня фотографирует!.. Или я дверью ее прижал? Или опоздала она на электричку и сейчас все мне выскажет. Ну, я высунулся, спрашиваю: «Что?» — «Запоминаю тебя, сын! Первые пионы пойдут у меня на даче — букет принесу!» И гляжу: через неделю в самом деле принесла охапку целую. Я с ними целый день ездил: положил на колени и ездил. Пассажиры в этот день как-то по-особенному взбесились. А с меня все, как с гуся...

— А моя мама хорошо поет, — сказал Бояршинов (он чувствовал, что переход к истине надо проводить на мягкой ноте, чтобы эта истина впи-

талась собеседником безболезненно). — А твоя бабка с пионами... наверно, всю родню свою разогнала и теперь ездит по всем автобусам — кому попало пионы дарит. С чужими мы всегда можем хорошими быть. А вот смотрите кругом: какая благодать разлита — каждая травинка уважает другую. И нет у них скучных поисков какого-то добра особого, да!..

Для Вадика в рассуждениях Жени были такие повороты и зигзаги, что — была бы такая картина местности — даже у такого, как он, шофера, машина бы не вписалась.

Галька неуверенно подумала: женился бы ты, Женя, а потом спохватилась: так он бы каждый день такие слова на плечи жены нагружал. Бог с тобой, живи, как можешь.

4

— Лидия, это Егор Антоныч Крутывус вам звонит. Вы когда в последний раз видели Егора-маленького?

Лидия схватилась за голову: покойная мамаша звала сына «Егор-маленький», теперь отец внушает седому мужику, что тот еще маленький ребенок!..

— На прошлой неделе заходил. Трезвый, — сказала Лидия.

— А вы почему говорите: трезвый? Я же не спрашивал, в каком состоянии он был... Вы что, выгораживаете его?

— Ну что вы, нам просто было приятно видеть Егора трезвым. — Он же у вас умница...

Егор Антоныч властно перебил Лидию: «умница» — а знает ли она, что семьдесят — нет, девяносто процентов того, что говорит Егор, взято из общения с отцом?!

— Да, конечно, — Лидия начала уставать от этого бессмысленного разговора. Тем более, что Алеша в этот миг лег на край гладильной доски (он считал себя все еще маленьким, хотя весил семьдесят килограммов). Доска треснула

— Алеша, ты сломал доску! — сказал Володя. — Неси эпоксидку, я сразу склею.

— Не сломал, нет, милый папочка, я не сломал, я не хотел, она сама.

— Лидия! — говорил тем временем Егор Антоныч. — Вам легко советовать! А Егор два часа назад звонил мне из вытрезвителя. Но его не было двое суток, и я заглянул в его дневник. Наверное, вам будет любопытно...

Володя, который уже держал возле уха параллельную трубку, шепнул Лидии: «Говори, что очень любопытно, пусть скорее выговорится».

— Да-да, конечно, очень любопытно.

Тут Алеша решил на замерзшем окне написать несколько раз свое имя, заклиная таким образом смерть и холод. Иногда он впадал в отчаяние: слишком сильно время все портит и разрушает, никаких слов не

хватает, чтобы его остановить. Вот состарился дедушка Лева, стал болеть, нет, нет, не болеть, нет, лежать просто...

— Вот читаю, — Егор Антоныч на том краю провода что-то листал, — «целый день был занят с больным отцом». Якобы и в аптеку сходил, и на прием к врачу меня записал. А сам на диване неделю пьяный валялся! Нет, Лидия, вы поняли?! Он наврал все! Подчищает свой образ в дневнике. В глазах потомков! А как закончил писать в дневник о себе, золотом, украл у меня денег... не скажу, сколько... и исчез. До сего момента...

— Мама, — жалобно позвал Алеша, — отойди от нашего голубчикиного телефона, посиди со мной! Сегодня холодно, как парашют.

— Алеша не позволяет больше говорить, — не удержавшись, ляпнул в трубку Володя.

— Это, наверно, Володя, да? Здравствуйте, Володя. Вот вы как человек с сильной волей уж могли бы повлиять на Егора, но не хотите, а предпочитаете смотреть, как он гибнет. Гибнет!!! И при этом вы считаете себя хорошим человеком, да?

Алеша не любил, когда родители накалялись от раздражения, а по их лицам он уже видел, что дело плохо.

— Голубчикин телефон устал, — мягко заявил Алеша. — Хватит.

Но Егор Антоныч на том конце провода быстро стал бросать в телефон такие слова: «Я. Начинаю. Вам. Завидовать. Что. У вас! Такой Алеша. Никогда не сопьется».

— Все, Егор Антоныч, пирог подгорел, я вешаю трубку, извините!

5

Конечно, в доме Лидии водилась и запрещенная литература. Сама хозяйка привозила из Москвы то от брата, то от Юли и слепые машинописные «Воспоминания» Надежды Мандельштам, и поэму Самойлова «Крылатый Струфиан», которую она переписала в тетрадку. Несколько раз Лидию спрашивали, знает ли она, кто у нее в компании стукач. Не хочу знать, отвечала Лидия. И доброжелатель смотрел на нее с сожалением: прячется от реального мира. Даже сама Римма Васильевна Комина сказала ей однажды:

— Возможно, Лидочка, ваш салон санкционирован КГБ! Им же удобно, когда не нужно гоняться за каждым мыслящим.

С работниками этой конторы Лидия общалась всего один раз. Както она была дома. В дверь позвонили.

— Наверно, царственная Галина Васильевна принесла хорошую сказку «Аленький цветочек»! И тебе, мамочка, тоже — свои книжки, — нараспев сказал Алеша, прикидывая, где будет прятать свою книжку от Коти.

Он еще продолжал говорить Коте: «не дам тебе рвать эту книжку на гнездо для милых котят...», и вдруг вошли движущиеся теплые вещи. Алеша застыл: он раньше понимал, что есть люди и есть предметы, от

которых не дождешься, чтобы они заговорили. Он с ними много раз пытался общаться — говорил — говорил, нет, не отвечают. «Милая струбцина, научи меня делать цепочку, как у соседа Генки». В общем, предметы все ему разрешали, но молча. И он их легко понимал. А здесь зашли двое... нечто среднее, похожее на людей, и даже начали говорить. Алеша не знал, как обращаться с гостями.

А они, следуя своим представлениям о деликатности, как бы невзначай показали свои красные твердые книжечки.

— Вчера вы тут, Лидия Львовна, читали нескольким друзьям Солженицына...

— Да-а, а вы что — не знаете — его на Ленинскую премию в свое время выдвигали!

Они скучными усталыми глазами посмотрели на нее:

— Но потом-то Солженицын изменился, он написал антисоветское произведение «Архипелаг Гулаг»!

— Да что вы, ребята! Дайте почитать! У вас ведь есть! Я думаю: наверняка у вас есть!

Леше не понравилось, что мама делает вид, будто она веселая, а на самом деле ей очень грустно. И он закричал загробным голосом:

— Все болит! Дай лекарство, дай, дай, дай!

— Ну, Лидия Львовна, вы очень заняты, мы вас предупредили, до свидания!

— А при чем тут предупредили! Дайте «Архипелаг»-то почитать — на ночь. Я никому не покажу! Ребята!

Гости поспешно заскользили вниз по лестнице. Их предупреждали, что эта дама не средне-статистически реагирует. Так вот как это выглядит! Хорошо, что таких мало: пока одна попалась такая. Надорвешься тут с ними, до пенсии не дотянешь!..

Через несколько дней Лидия увидела недавних визитеров в оперном театре. Оба беседовали с известной балериной. Лидия бросилась к ним с радостным криком:

— Ну что вы — не забыли о моей просьбе? Вижу не помните (они уже бежали) ...я просила в библиотеке КГБ выписать мне Солженицына...

Любители балета на миг застыли вокруг. Лидия еще рвалась догонять, упрашивать, но двое в штатском буквально растворились среди блестящего паркета, не оставив даже запаха сероводорода. Может, они воспользовались подземным ходом, который, по преданию, шел от буфета к банку?

6

Однажды встретились Надька, Грач и Фая, которая стала работать в «Вечорке». Грач подошел к Надьке и по-старому мягко и нежно взял ее под руку: «Надюш, — сказал он глубоким голосом, — я давно тебе хотел предложить — хочешь под моим руководством написать канди-

датскую?» Надька почувствовала, что все кости ее превратились в теплое ничто, но грубо ответила: «Не только руководством, но и членоводством». — «Ну, не будем торопить события», — браво ответил ее уже научный руководитель.

Грач помог написать диссертации всем своим бывшим пассиям, при этом каждая требовала возврата отношений в полном объеме. Может быть, именно это ускорило его кончину. Он умер в конце 1997-го, и на его похоронах громче всех плакала сестра из реабилитационного центра, Лиля. Лежа на спине после инфаркта,он успел ее обольстить словами— такими,которых вообще быть не может. Все плакали по Грачу— но не так горько, как Лиля: ведь им всё удалось с ним в огромном объеме. А она разговаривала с Сашей несколько дней, а потом... И теперь уже не прижаться к нему, не слиться и придется делать это с другими.

7. Свобода

1

Рулевой кафедры марксизма-ленинизма профессор Кречетов вдруг неслыханно прославился. По всему городу он читал лекции о паранормальных способностях человека. И что поражало: компетентные органы никак не реагировали! Коммунист, материалист... Раньше он исчез бы еще до первого звука первой лекции, а сейчас собирал полные залы. И всем было интересно. И люди-то всё шли особенные. Вдруг неизвестно откуда соткалось светское общество — дамы в мехах, мужчины в свежих несгибаемых костюмах, стоически переносившие каменную духоту от набившейся по углам черни.

Даже Егор как-то уговорил Лидию зайти на лекцию Кречетова. Слушал с наливающимся интересом, что-то черкнул в одной из своих многочисленных записных книжек (единственное, что он держал в полной аккуратности). Но Лидии сказал с привычно-гордым видом:

— Ничего нового! Кречетов, по существу, занимается все тем же. Сам марксизм — вид магии. И символы все из магии взяты: пятиконечная звезда, красный цвет. А хоронят шаманов как? Поверх земли, как нашего Ильича...

«Согласно некоторым исследованиям, биополе человека имеет форму яйца», — с наработанной простотой и значительностью излагал тем временем профессор. А из зала ему присылали интересные вопросы: «Правда, что Магомаев сделал пластическую операцию?». Жизнь кипела.

2

— Мамочка, вот тебе веер, когда тебе в милом Воронеже станет жарко, ты им обмахивайся, — Алеша не знал, что такое Воронеж, и не понимал,

что бумажный веер не вытащишь на научной конференции, зато он чувствовал, что Лидии веер будет нужен как часть самого Алеши.

Засидевшаяся у подруги Надька собралась уходить. Алеша встал на колени и стал помогать Надьке застегивать сапоги. Он застегнул обе молнии, потом расстегнул, снова застегнул. Надька понимала, что он уже большой мужик, и ему нужно что-то другое, и думала: «Пусть посмотрит на мои ноги». А на самом деле Алеша любовался ногами, как красивым китайским кувшином, который стоял в дедушкиной квартире.

Чтобы показать Алеше, который сейчас ждет ее в Перми, что веер пригодился, Лидия достала его и начала тихонько обмахиваться. В это время сосед слева подсунул ей лист, на котором сверху старательно было выведено: «Есть желающие поехать к домику Мандельштама? Экскурсия в три часа. Сбор возле главного входа». Подписей стояло уже более тридцати. Лидия тоже накарябала свою фамилию клиновидным почерком.

К трем часам солнце осталось на небе, только слегка перевалилось на другую сторону бездонного купола. Ветер достиг такой силы, что вымораживал всю кожу на лице. Из тридцати желающих к главному входу подошли только три красавицы со всей России: блондинка-профессор из Новосибирска, похожая на фотомодель, кандидат наук из Алма-Аты и наша Лидия. Замусоленный, но очень отважный экскурсовод-энтузиаст при виде этой тройной роскоши воспылал еще большим энтузиазмом:

— Мужики, они такие — залегли с бутылками — непогоду пережидать. Мандельштама, поди, всего вдоль и поперек обсудили. А мы сейчас сядем в трамвай и поедем к чертогам вдохновения!

Экскурсоводишка вел их по Воронежу, под степным солнцем, вцепившимся в сухую синь всеми своими лучами. И привел на край земли. Дальше не было ничего.

— Отсюда начинается улица, на которой жил Осип Эмильевич, — веско сказал энтузиаст.

Они растерянно смотрели: пустота, конец света! Обрыв вот есть. Никто из трех женщин не обладал спортивными качествами: они то и дело скользили — гололед! Несмотря на свою внешнюю мощь и крепость, они были сейчас абсолютно беспомощны. Это потом вывелись породы струнных несгибаемых шейпингисток, а тогда... Но гид вдруг упруго-сильно скользнул вниз. Отдувая усы шалашом, он кричал:

— Падайте в крайнем случае прямо на мою грудь! Не бойтесь — я сильный! — и он выпячивал вперед нечто ямистое. — Тут лестница вся заледенела.

Это, конечно, можно было назвать лестницей, потому что пара перекладин на ней была. У спутниц Лидии реакция на предложение «падать на грудь» была никакая. «Некому на грудь, что ли, падать», по-

думала Лидия, ковыряясь ногами вниз по склону, а скрюченными пальцами отчаянно царапая забор и обламывая маникюр.

— Падайте на меня! Я мужик сильный — удержу! — соблазнял снизу поводырь.

«Да лучше я зубами за забор, потихоньку... Вот и ладненько, медленно»... Но тут обломился последний выступ штакетины, зубец забора... и Лидия полетела в неизбежные костлявые объятия. Она удивилась, что вблизи экскурсовод пах какими-то цветами, чем-то напоминающим детский запах Аркаши. В мужичонке тем временем что-то хрустнуло, а по лицу разлилось наслаждение. Он перешел с речитатива на крик: «Ого, удержал!» Остальные женщины тоже решились броситься в объятия железного спутника. Мужик два раза крякнул, два раза спружинил, — с лица его не сходила улыбка, задирающая усы совсем уж на нос. Чувствовалась многолетняя практика. Быстро отдышавшись, он кивнул вдоль изношенной деревенской улочки: мол, здесь близко-близко. Лидия взглянула на свои изодранные перчатки: выбросить и только. Но ведь Мандельштам!

Временное пристанище великого поэта было почти не видно за забором. Дом — да помещался ли в нем Мандельштам во весь рост? — врос в землю. Пришедшие напряженно искали, что же от энергетических оболочек великого поэта зацепилось за углы этого сарая и вьется на наждачном ветру? Морозостойкие воронежские свиньи со смолянистыми красивыми пятнами, похожие по своей раскраске на лошадей, разнежено ходили среди рассыпчатого небесного сияния. Покормить их вышел благодушный мужик с сыном лет пятнадцати. Вдруг лицо свиновладельца переключилось в положение «ненависть», и он закричал на пришедших:

— Сколько вы будете тут ходить — нас мучить! Жизни нет! Всю лестницу проломили! Если вы любите своего Ёсю, — починили бы!..

— Он обещал меня зарезать, — грустно сказал экскурсовод. — За что он меня ненавидит?

— А наверно во время Мандельштама лестница целая была, — после длительного молчания сказала красавица из Алма-Аты. — Экскурсий-то не водили.

— А в лагерном бараке и эта развалюха вспоминалась ему, как золотой дворец.

Лидия подумала: Мандельштама-то мы уже все пожалели, и чем дальше, тем больше теперь будем жалеть, так что вся страна будет охвачена этим порывом, а на этих-то людей, живущих ...живут уже, может быть, третье поколение в этой хибаре, и никто их не жалеет...

В Перми Лидия горячо пересказывала друзьям эту смесь из Мандельштама, неореалистических декораций со свиньями и озлобленных полугорожан, живущих ...так нельзя жить. Осипа все жалеют, а их никто!

— Распятого Спасителя все замечают, а разбойников по бокам — тоже мало кто, — тихо сказала Галька.

— Молодец ты, не зря работаешь в книжном магазине, — сблагодушничал Бояршинов. — Лидия, давай сочиняй письмо в защиту простого человека. У него же должны быть свои радости. Я первый подпишу.

3

Лидия встретила Володю совершенно расстроенная:

— Звонила Алла !

— Да, милая Алла Романовна позвонила по нашему голубчикиному телефону, — комментировал Алеша.

— Представляешь: в Израиль уезжает!

— Не уезжает, — мягко осадил мать Алеша. — Не уезжает, нет.

Полным укоризны взглядом он показывал: сколько можно себя так глупо вести — уезжать, болеть, умирать!

— Мы без нее осиротеем, — вскинулся Володя, — возраст-то для лечения зубов подошел кардинальный!

— Не кардинальный, не кардинальный!

Володя схватил телефон: «Слушай, Романовна, мы тебе в Израиль будем присылать фотографии своих беззубых улыбок, поняла?!»

— Можете приезжать ко мне в гости, я вам буду восстанавливать ваш жевательный аппарат.

4

«КТО ВЫ, БОРИС ИХЛИНСКИЙ?» — визжали черные жирные буквы в газетном подвале. Володя ушибся глазами об этот заголовок. Он остановился у застекленной витрины типографии «Звезда» и стал читать. Статья с первой же фразы была удивительно мерзкая: «Помню, сидели мы с Борисом Ихлинским за столом у некогда известной Лидии Шахецкой»... Володя посмотрел на подпись: «Женя Бояршинов»! И хотя можно было ожидать, что автором окажется именно он, чувство гадливости только усилилось.

Володя как человек физически крепкий сразу захотел сделать Бояршинову очень больно. Но было раннее утро, а у него в десять лекция в политехе, и потом еще надо в лабораторию гидродинамики.

Он понял, почему все это напечатано. Боря Ихлинский во время перестройки стал очень активен. Компетентные органы хотели его скомпрометировать. Любым путем. А кого из журналистов тут нужно? Да, известное, незамаранное имя. Вероятно, Бояршинов получил солидное вознаграждение. Но эта статья поссорит его с большинством думающих пермяков.

Как он к нам теперь придет? — думал Володя, не зная, что Бояршинов уже никогда не придет: купля-продажа-то состоялась: всю жизнь Же-

ня мечтал вырваться в столицу и теперь эта мечта становилась явью. — Лидия расстроится. Он умер для нас. Хотя я, пожалуй, должен благодарить его за то, что двадцать пять лет назад его стакан водки попал к Лидии. Коктейль мести... Впрочем, он тут ни при чем.

А Женя тем временем мчался к вокзалу, сжимая единственно верный чемодан, и внутренне прослеживал, как по всей Перми разворачивались листы газеты «Звезда». И множество разноцветных глаз бежало по строкам его статьи, и все больше и больше становилось в этом городе врагов. Но раз так, прочь из этого осажденного города!

Статья Бояршинова сыграла свою роль: все в тот же вечер сбежались к Лидии — чтоб не бояться. Казалось, перестройка вот-вот отступит; вот оно — начало конца, потеря темпа, одышка общества. По тому, как горячо все кинулись защищать Борю Ихлинского, тот понял, какая он важная фигура — фетиш свободы. Боря стоял, хлопал глазами и дозревал: все это так пугающе и интересно.

— Ну, если вы все всерьез, то и я тоже буду играть по-серьезному, — наконец, заговорил он. — Даже не скажу, что Инна в четвертый раз выходит замуж и опять — не за меня.

Галька совершенно не удивилась, что «кислогубый» вдруг такое отмочил.

— Грехи, как соленая вода: чем больше пьешь, тем больше пить хочется, — туманно сказала она.

Весь вечер авторитет Бориса Ихлинского рос и разбухал почти неправдоподобно. Лидия же стала еще радостнее. Она безумолку говорила направо-налево:

— Мы должны сказать спасибо Бояршинову за его писанину — такой необыкновенно удачный вечер сложился.

«Оказывается, я не такой уж сильный, если Бояршинов вдруг черноту нагнал», подумал Володя, отогнал неприятные мысли рюмкой водки и двинулся на кухню делать тосты.

— Да, повезло Лидочке с мужем, — вздохнула одинокая Надька.

Веня Борисов в последний год очень изменился: пузо запузырилось через ремень, под челюстью отвис лоснящийся мешок — в общем капитализм ему даром не дался. Быть во главе первого в городе кооператива — это значит заключать много сделок, при этом выпивая и поедая много чего. Видно было, что душа его к этому не лежит, но ведь надо пробивать новые тропинки в экономике.

— Сейчас выпью и всю правду скажу, — трагически провозгласил Веня.

— Правду или истину? — возник со своим вечным вопросом Егор.

— Человеку в семье одному нельзя быть счастливым, если счастливы, то оба, — начал читать из воздуха Веня. — Не одной Лидии повезло, а им обоим.

— Ничего, подходящая истина, — похвалил Егор, и выпил, как выпал с высоты.

Володя с горой дымящихся тостов зашел в гостиную:

— В организме всегда присутствует полпроцента алкоголя!

— Что-то маловато, — ответила Лидия.

— Нет, не маловато, не маловато, — немедленно откликнулся Алеша.

— Давайте выпьем за то, что Лидия для нас — половина Перми! — предложил кто-то.

— Вот это сказано! Я так ни в жизнь... — восхитилась быстро окосевшая Инна.

Егор презрительно скривился: мне бы вот время выбрать, собраться с мыслями и эмоциональной сферой, я бы такой тост...

Боря сходил к соседям за гитарой, загладил струны и запел:

Нынче день какой-то желторотый,
Не могу его понять...

Голос у Бори оказался таким красивым, что все опешили. Голос этот как бы жаловался, что попал не по адресу — не в ту грудь, не в то горло, но если уж очутился, то придется жить здесь до конца.

Вадик думал: как это Боря столько стихов выучил? А я две строчки запомнить не могу!

Володя думал: Боре надо было, как родился, взять гитару и сразу петь, а он вместо этого книги читал. Думает, что книги — главное. А ведь есть кривая насыщения чтением, адиабатическая кривая: чем больше читаешь, тем меньше мыслишь.

Вдруг Боря резко прижал струны, задавив звук, и сказал:

— Этот сиреневый бант на гитаре уместен... Мы привыкли считать это пошлостью. Но пошлость — это самодовольство... А этот бант еще напоминает школьные годы, но уже говорит, что вот такие искусственные цветы будут на наших могилах.

Веня пухлым кулаком колотил Володю по груди и кричал:

— Ты скажи мне: выдержит СССР перестройку, выдержит ломку, выдержит?..

Лидия думала с опаской: страна-то выдержит, а вот грудь моего мужа... Стучал бы ты в свою грудь, а не в Володину.

5

После смерти отца Лидия съехалась с матерью. Алеше сказали, что дедушка лег в больницу. А Лидия поймала себя на том, что избегает звуковых сочетаний с МР: смерч, смердеть, мрак, даже «морда» и «море» и те казались ей словами горестными, имеющими отношение к смерти. На уроках ей трудно стало искренне воспевать трепет жизни. Она заметила вдруг, что на прежде любимую тему — «Слово о полку Игореве» — говорит механически, без искренности.

Однажды Лидия остро позавидовала коллеге, у которой сын — дворник! Та жаловалась: февралик, плохо учился. А Лидия думала: счастливая: сын у нее дворником работает! Зря я с Бояршиновым смеялась тогда над безумием Ленина — после инсульта, когда он буквы забыл... Над болезнью нельзя смеяться. Алеша вон каким родился. Если б он мог учиться в школе — хотя бы и плохо, если бы мог работать!..

С другой стороны, есть слепые на свете, им, может, труднее, чем Алеше. В секонд-хэнде вчера она наблюдала, с какой ловкостью покупал одежду слепой. Он брал в руки вещь, затем ходил пальцами по всем ее закоулкам: проверял карманы, не порваны ли, обшлага — не замахрились ли. Когда вещь оправдывала себя на ощупь, он задавал вопрос в сторону ближайшего дыхания: «Цвета какого это?» — «Темно-зеленый, очень хороший», — отвечала Лидия. Но слепого темно-зеленый не удовлетворил, он бросил куртку обратно, взял другую...

Лидию снова потянуло в секонд-хэнд, кстати, он находился в Доме культуры слепых. Сам дом был весь облеплен сверкающей крошкой, и она своим отраженным от неба сиянием словно олицетворяла идею лишенности зрения. Сбоку аккуратно висела фанерка, трафаретными буквами извещающая: «Одежда из Европы и Америки! Цены ниже всякой разумности».

В бывшем гимнастическом зале пыль искрилась, как снаружи облицовка. Люди ходили от стола к столу. У них лица грибников, внезапно поняла Лидия. Вот эту куртку хорошо бы Градусову, — Лидия с десятиклассниками ставила спектакль «Суд над Бродским». Есть фотография, где Иосиф в такой же куртке...

Около Лидии примостилась женщина с пропечатавшимся пенсионным выражением во всем облике. Она достала из сумочки маникюрные ножницы и стала быстро, ловко срезать бисеринки с рваной кофты. Крупное тело Лидии, как щит прикрывало ее от взглядов двух торговцев, которые неутомимо вспахивали своим вниманием каждую линию зала. Один из продавцов держал в руке карманный англо-русский словарь. Лидия вспомнила, как в прошлом году плыли с Володей на пароходе, где-то остановились рядом с пароходом американских туристов. С нею заговорил один американец с фотоаппаратом, и она — благодаря своей раскованности — тоже по-английски отвечала: муж (хазбент) спит в каюте (слип). Американец понял, что она хочет его в мужья, забегал по палубе, замахал: согласен, да, увезет ее в Америку! Тут вышел Володя, зевнул, обнял Лидию — американец стушевался, быстро сделал вид, что просто хотел сфотографировать...

— Внучка у меня фенички делает, — шептала женщина, протягиваясь к уху Лидии. — Набор искусственного жемчуга — три тысячи, — как буханка хлеба. Государство обворовало нас, а мне нельзя? Пенсии не хватает на прожитье.

Сияющие ножницы, совсем вросшие в пальцы, не вдавались в лишние размышления, они работали, не давая бисеру ни одного шанса укрыться.

Лидия вдруг подумала: «Я вчера купила Алеше куртку — без одной пуговицы. Завтра этот секонд-хэнд последний день торгует. Значит, эти двести курток они уже не продадут. Я возьму вот эту пуговицу». Двумя скрюченными пальцами она схватилась за пуговицу, и вдруг словно обезумела. Как бы со стороны Лидия увидела собственные руки, когтящие тисненый кругляш: к куртке злосчастная пуговица была намертво прикручена стальной проволокой. Пальцы крутили и дергали добычу, действовали совершенно самостоятельно... Лидии казалось, что ее глаза превратились в телекамеры и снимают эпизод, к которому она сама не имеет ни малейшего отношения...

Внезапная боль вернула Лидии чувство самое себя. Проволока в последнем отчаянии выставила раскрутившиеся от дерганий твердые усы — вцепилась, как верный пес собственности, вонзилась глубоко в тело, до самой кости! Лидия вернулась в себя еще раз, потерялась, снова нашлась. Гневно отшвырнув пуговицу, она принялась зажимать пульсирующий красный фонтанчик. Наконец, ей удалось соорудить на иссеченных пальцах корявый узел из носового платка и, забыв про куртку для Градусова-Бродского, Лидия двинулась к выходу. В голове стучало: « Как это я могла?! Я, человек, ставящий спектакль по суду над Бродским?!» Казалось, чернота, поселившаяся в душе, останется теперь в ней навсегда.

В первую очередь о случившемся она рассказала сыну.

— Нет, не украла, мамочка, и палец не разрезала, и кровь не полилась. Мамочка, нет! — Алеша хотел сделать все бывшее не бывшим и испуганно уговаривал ее успокоиться.

Друзьям Лидин рассказ пришлось слушать снова и снова. Володя, которому Лидия каялась чаще других, в конце концов назвал эту историю «похищением века». А Егор примерно на восьмой раз посоветовал:

— Ну, украла пуговицу, и ладно. Больше месяца переживать не стоит!

Володя сорвал уже три листовки русских неофашистов с броскими заголовками: «Россия ждет твою волю!» Он бормотал: «Уже дождались — вот она, моя воля». Они ходили с Лидией по магазинам и то и дело натыкались на эту пакость. Одна листовка была приклеена очень прочно, как-то не по-русски, хотя звала русских быть еще более русскими. Даже изображенный на ней молодой сердитый красавец с мечом был какого-то эсэсовско-нордического типа.

— Если б они поразмыслили хоть на атом, — сказала Лидия, — то нарисовали бы что-то более курносое, конопатое.

Листовка никак не отрывалась. Лидия достала из сумочки ключи и стала часто-часто зачеркивать острой бородкой.

— Помнишь, я писала в одной статье: «Вы против охаивания истории? Опровергните хоть один факт из «Архипелага»!»

— А молодежь выражается гораздо сильнее! — сказал Володя. — Просто пишут поверх листовок: «Пидоры спирохетные».

Они проходили мимо Дома культуры слепых. И Володя объявил приготовленную приятную весть:

— Ты больше не будешь бегать по секонд-хэндам. Мне предложили читать гидродинамику в Париже. На полгода!

Лидия почувствовала, что сердце ее затопило радостью. И в этот самый миг палец, который давно зажил, вдруг задергало, будто кто-то потянул за вросшую в него невидимую нитку. Но Лидия не обратила на это никакого внимания.

6

В первом письме из Парижа Володя зачем-то много написал про отсутствие красивых женщин: мол, любую пермскую работницу одень по-европейски — и она засияет на пол-Парижа. Лидия только на секунду встала в тупик от такой озабоченности, потом вспомнила, что и сама в командировках, не видя мужа какое-то время, начинала внимательно смотреть на красивых мужиков, опять-таки напоминающих ее мужа.

Веня, обыкновенно любивший и умевший истощать себя работой, пришел необычно рано — в пять вечера. Он только что купил «вольво», но знал, что Лидии об этом лучше не говорить, а то увязнешь в объяснениях, чем нехороша была «ауди».

— Поедем в какой-нибудь бар, посидим! — предложил он.

— Представляешь, — собираясь, рассказывала Лидия, — Володя пишет, что во Франции нет красивых женщин, зато одних литературных премий больше тысячи!..

Она могла говорить что угодно, у Вени все равно было ощущение, что невидимый кондиционер очищает воздух.

Некоторое время ехали молча. Лидии показалось странным, что Веня рулит рассеянно, словно вот-вот бросит руль. Наконец, как бы между прочим он спросил:

— Помнишь Наташу Пермякову? Ты должна ее знать.

Лидия вспомнила: бегущее вдоль ряда цифр и букв блюдечко, тьма, Галька, снимающая крестик, пламя свечки, сухонькие прямые пальчики — точеные такие... Это и была она, Ната.

Лидия вдруг испугалась спросить, почему Веня вдруг заговорил о Наташе. Они промолчали весь остаток пути. Лидия смотрела за окно и вспоминала, как Володя говорил ей: «В детском саду я был влюблен в одну девочку, которая писалась в постель и все над ней смеялись». А Наташа Пермякова еще в школе страдала почками. Ну и что?

В ресторане Веня заказал коньяк «хенесси», салат из креветок, жюльен и по европейской котлете. Он не спрашивал у спутницы, что именно она хочет, потому что видел: Лидии не до этого, она уже набирает обороты...

Она выпила, совсем даже не соблюдая рекомендаций: погреть коньяк в руках, подержать во рту. Она его хлобыстнула прямо в рот и жадно, без тонкостей, набросилась на закуску, чтобы хоть на секунду оттянуть предстоящий разговор.

Вене хотелось вдеть в уши Лидии — смуглые и отливающие изнутри атласом — сережки с бриллиантами, которые лежали в коробочке. Эту коробочку он терзал в кармане, не решаясь достать. Так и не смог решиться.

— Надо же, нищие ездят за границу, а мне некогда выбраться! — неожиданно ляпнул Веня.

Но Лидия никогда не считала себя и Володю нищими... Она ждала начала настоящего разговора. И дождалась.

— По Интернету сообщили, — осторожно проговорил Веня, — что видели твоего Володю в Париже.

Лидия молчала, и он поспешил пройти самое тяжелое место разговора:

— Странно, что для встречи с Пермяковой ему надо было уехать во Францию.

Внутри у Лидии росло ощущение, что она Володю никогда в жизни не видела — не было его ни в кругу друзей на фоне зеленой рощицы, ни в пустынном пейзаже зимней улицы, ни все эти долгие годы. А Веня говорил, говорил: Наташа приехала работать гувернанткой... «О пэр» — вот как это называется... Можно бы отправить Алешу в Европу... Там уже разработаны компьютеризированные способы лечения... Исправляют катастрофы интеллекта... Веня делал рассчитанные паузы для ответных реплик. Но Лидия молчала.

Она не заметила, как оказалась дома. Ей хотелось замереть, ничего не испытывать, не чувствовать. Ощущение жизни больно обдирало изнутри.

Она набрала номер переговорной станции и заказала Израиль.

— Ты размахнулась, Лида, — сказала испуганно Анна Лукьяновна. — Володя оставил нам не так много денег.

— Сейчас, мама, ты все узнаешь, о своем Володе!

— Может быть, все-таки он наш, — пыталась образумить ее Анна Лукьяновна.

— Был наш! — скандально закричала Лидия.

Лидия обрушила на Аллу: спиритический сеанс, Париж, Володя, Наташа Пермякова, ночное недержание (Алеша и Анна Лукьяновна терпеливо слушали все это), Веня Борисов, Интернет...

— Нет, мамочка, — строго откорректировал Алеша. — Не интер-нет, а интер-да.

И тут он очень испугался, потому что мама жестом руки от него отмахнулась. Такого в его жизни не было никогда. Он встал в угол между книжным шкафом и тумбочкой и завыл, призывая на помощь покойную овчарку Дженни.

— Не помню я никакой Наташи, — сердито говорила Алла. — Кто такая?

— Да какая разница! Вене по сетям сообщили, что в Париже она гувернантка.

Анна Лукьяновна заметила нервно: эти мужики так любят прогресс — Интернет, виртуал! Не видят дураки, что от прогресса мир стал, как большая деревня, — не спрячешься: не успели Ванька с Манькой загулять на том конце села, а здесь уже знают...

Из Израиля прозвучало:

— Лидия, ты же сама говорила: Цветаеву бросали, Ахматову... А мы-то чем лучше?

— Оставить меня одну с Алешей! — кричала Лидия. — А от кого я родила?! Из-за сына я не защитилась, работаю на полставки, денег нет... Даже Веня сказал, что мы нищие!

— Какой негодяй, — воскликнула Анна Лукьяновна. — А еще старый друг!

— Ну, Лидочка, давай сосредоточимся на хорошем: приезжай ко мне в гости, в Иерусалим, я тут тебя сосватаю — есть несколько кандидатур.

— Так они у тебя все в кипах, наверное, — попробовала пошутить Лидия, — мне придется гиюр принимать. Я же не могу считаться еврейкой: у меня мама русская!

Тут русская мама вмешалась не хуже экономной еврейской:

— Лидия! Время! Мы так до Володиного приезда не дотянем ...

— Завтра я тебе сама позвоню, — стала прощаться Алла, — а там уже не беспокойся! Знаешь, сколько здесь стоматологи получают!

Мир с Интернетом, конечно, стал, как одна деревня, но рядом-то с нею, деревней, течет речка, ледоход идет, и грязные тяжелые льдины разъезжаются под ногами у Лидии. И впервые за всю жизнь — никакой опоры.

Тут своим умом, невозможным, не встречающимся нигде больше, всем своим телом Алеша понял, что поступление сил от мамы прекратилось. И что ей же хуже, а она какая-то сейчас глупая, не понимает: теперь он ослабеет, сляжет и ей еще больше придется отдавать, отрывать от себя. Но есть еще милые лекарства, может, они помогут.

— Мама, дай мне аспаркам, комплевит, циннаризин и гефефитин! А главное: пантогам, — он произносил эти слова, выпрямившись на вре-

мя, торжественным голосом, словно считал, что без этой звучности названий лекарства сами по себе не много стоят.

— Подойди к бабушке, мне нужно написать письмо Юле, — сказала Лидия.

— Нашей дорогой Юле из столицы Москвы, — понимающе кивнул Алеша.

Анна Лукьяновна дала внуку все его лекарства, а дочери предложила обычное лекарство для взрослых: стопку водки.

— Ладно, найдем денег, поезжай в Израиль, развейся, раз так... А мы... Ничего, моя пенсия есть да Лешина... проживем!

8. Предварительные итоги

1

Пермь осиротела без Лидии.

Конечно, она уезжала и раньше. Но, уезжая, всё равно краешком себя захватывала Пермь. Лидия как бы присутствовала тут вместе со своими мыслями, смехом и телеграммами. Телеграммы были всякие: поздравительные, юмористические, просто дружеские. Во время перестройки они приобрели общественно-трибунный характер — во «Взгляд», в поддержку Бакланова на XIX партконференции, в защиту Сахарова и Ельцина, в поддержку Горбачева после распада СССР (Лидия считала, что Михалсергеичу сейчас плохо и надо, чтобы они с Раисмаксимной не ожесточились). На стихи к юбилею Окуджавы телеграфистка вообще смотрела как на безнадежную патологию: все сейчас деньги зарабатывают, а эта тратит неизвестно на что...

Но теперь, уехав на полтора месяца в Израиль, Лидия словно оказалась на другой планете.

— Ну все, для нас она пропала в своей Палестине, — с отчаянием говорил Боря Ихлинский.

Если Лидия выйдет там замуж, думала Галька, мы все здесь погибнем.

В общем, все без Лидии ослабели и начали как-то осыпаться...

Егор, прогуливаясь ночью в приятном водочном подъеме и размышляя в очередной раз об антиномиях Канта, был избит и попал в реанимацию. Он временно потерял речь и говорил только три слова: «да», «спасибо» и «простите».

Веня, выбегая из городской Думы, упал и получил закрытый перелом голени.

У Надьки произошел микроинсульт, и она все глаголы стала употреблять строго в инфинитиве: «Я идти на лекцию. Студенты совсем обнаглеть».

В тот самый момент, когда Надька выписывалась из больницы на Грачевке, Лидия в последний раз загорала на побережье возле Хайфы

и из Средиземного моря возле нее вынырнул необыкновенно застенчивый американец. Ей сразу бросилась в глаза обширная лысина, как у Розенбаума. Он заговорил с ней сначала на корявом иврите: «Эйфо коним по мэй-газ?» (где здесь покупают газированную воду?) По англосаксонским громыхающим шумам его голоса она поняла, что можно говорить по-английски.

— Ай донт спик джюиш.

Полчаса они выясняли, из какой части мировой деревни они происходят и на каких завалинках сидели их предки, — все это под пылающим пристальным взглядом солнца. Но американец так и не пошел за газировкой.

Джекоб (так его звали) пророкотал два раза полупонятную фразу, и Лидия предположила, что ее смысл таков: «У вас прекрасное плачущее лицо».

После таких слов ей захотелось поместить Джекоба в зеленую рощицу внутри себя, но там ветвились, как погибшие кораллы, только пересохшие бодучие сучья. На миг у Лидии появилась вера, что все это вновь зазеленеет. А вера не имеет ни цвета, ни запаха, ни образа, она только чувствуется. Дело в том, что за прошедшие полтора месяца в Израиле вся пермская колония, разбросанная по кибуцам и машавам, пыталась знакомить Лидию с одинокими евреями от тридцати до семидесяти лет (последние были чуть ли не бойчее первых), но все внутри Лидии оставалось в оцепенелой неподвижности. Только однажды, у Стены Плача, когда Лидия положила между двумя камнями записку и еще долго стояла, что-то возникло, промерцало над всеми мыслями и воспоминаниями далеко вверху. Но это кончилось раньше, чем она успела осознать (так бывает, когда блеснет в грозу молния, а ты хочешь рассмотреть ее красоту, — и вот нет ее, а лишь на том месте плавает комок темноты). Но она твердо была уверена, что все будет так, как она попросила: Алеше будет лучше. Ну и за себя она попросила, чтобы у нее тоже все было нормально. Личного счастья она не просила, но чтобы нормально-то было, ведь если она совсем развалится, то что же будет дальше с сыном...

Лия Фельд, троюродная сестра Аллы, кропотливо посвящала Лидию в тайны эротики:

— Купи в Ришон-ле-Ционе гипюровые черные шорты — у мертвого встанет. А упавшая как бы нечаянно бретелька комбинации действует безукоризненно, я сама проверяла — и не только на муже.

Что касается Джекоба, то если б не завтрашний отлет на Родину... Никакого «если» и никакого «то»! Все можно решить за пять минут, если бы было такое знание, что этот человек тебе нужен. На самом деле все было очень просто: пока ей не нужен никто.

Лидия уже решила, что Джекоб ей не нужен, но поскольку она явно была нужна ему, она решила некоторое время еще потерпеть, присое-

динив его голос к шуму хайфского прибоя и оставив на лице внимание. «Ну, выслушаю его еще пять минут... нет, пятнадцать, ведь после того, как он вынырнул из моря, во мне появилась уверенность...»

А ведь князь Лев Николаевич Мышкин тоже колебался, утонченная натура... Аглаю не хотел обидеть, и Настасье Филипповне авансы слал. Лучше бы обидел кого-нибудь своим выбором сразу. Чего бы и своему мужу пожелала.

Для того, чтобы не думать о Володе, она думала о литературе, и в конце концов получалось, что Лев Николаевич Мышкин — это Володя, а Стива Облонский — тем более Володя, ну и литература русская... Ну, а что милый Джекоб? Ты не понял, что ли, хворостиной тебя гнать? Полезай снова, ныряй, бросайся в свое Средиземное море!

2

— Здравствуй, Алеша, как тут тебе? Ты уж извини: я зашел тут в забегаловку, выпил.

— Зашел, но не выпил, дорогой Егор Егорыч!

— Завтра снова к тебе зайду.

— Нет, не завтра, а сейчас — еще раз зайдите.

— Сегодня вечером твоя мама приедет.

Алеша твердо знал, как выразить, чтобы мама сразу появилась:

— Скажите маме: мне нужны теплые носки для ног.

Он чувствовал, что его мучает не телесный холод.

Выйдя из больницы, Егор понял, что надо еще отдохнуть. Но отдохнуть было не на что. Он вдруг сообразил, что Лидия вот-вот вернется...

Дома Лидию ожидали известие о болезни Алеши и письмо от мужа. Володя страшно тревожился, что уже три месяца не получает никаких писем. «Может быть, Лидия, до тебя дошли какие-то слухи, так кругом полно кишит завистников, ведь мне предложили продлить контракт». Это был какой-то чужой язык, к тому же Володя никаких завистников раньше не замечал.

Лидия открыла дверь Егору и поспешно сказала:

— Извини, не приглашаю. Я только с поезда и сразу собираюсь в больницу.

В это время ожил телефон. Анна Лукьяновна послушала, выронила трубку, побежала по всем комнатам искать ручку. Лидия подхватила трубку, и врач повторил ей список необходимых лекарств, потому что Алеша только что доставлен в реанимацию.

— Генерализванная нейроинфекция...

— Как же так?! — воскликнул Егор. — Я ведь только что от Алеши. Он, правда, жаловался на головную боль, так у меня ведь тоже часто голова болит.

Он хотел продолжать любимую тему, но Лидия заорала «Перестань!» и топнула ногой. «Как она сдала, — с сожалением подумал Егор. — Что осталось от фундаментальной фаюмской красоты? Хлопотливая, дрожащая, растерянная...» Тем временем Лидия обзванивала аптеки в поисках лекарств, которые могли спасти сына. Везде было пусто. Она набрала московский номер брата.

Егор уже понял, что сегодня она не собирается ни общаться, ни кормить его.

— Лидия, — сказал он, — давай пятьдесят тысяч, и я достану тебе хотя бы одно лекарство, у маня сосед дилер Пермфармации.

Из скомканного вороха оставшихся мелких купюр Лидия дрожащими руками вытянула пять десяток.

— Да успокойся ты, сейчас все побежим-сделаем... — властно и тяжело проговорил Егор.

На минуту ей стало легче. Она только неуверенно бормотала: «Может, этого мало? Может, надо еще?» Егор сейчас был в образе благородного человека, который диктует свои — благородные — условия поведения: в случае чего он сам добавит денег, да и сосед может подождать, у него миллионы из кармана в карман пересыпаются.

— Это у него, помнишь, я рассказывал: захожу — на полу валяются доллары вперемешку с крупой.

— Записать названия лекарств?

— Да ты что! Если у меня что и есть, так это тренированная память!

Еще на минуту Лидии стало легче. Хотя деньги угрожающе стремились к нулю, она бормотала:

— Возьми еще хоть двадцать...

Егор круто развернулся и сказал оскорбленно:

— Я же обещал: в случае чего добавлю! Мы с соседом...

И вот Егор уже стоит во дворе, где живут братья Ч., а во рту приятно переливается и горит недопроглоченная водка. С тех пор, как Фая вышла замуж за одного из братьев Черепановых, Егор часто заходил сюда повидать дочь. И хотя дочь уже несколько лет назад вышла замуж и уехала в Челябинск, он заходил уже без повода. У него с братьями сложились взаимно-покровительственные отношения. Он считал себя их духовным гуру, а они часто помогали ему сохраниться как физически целому (давали поесть). Егор поднимался по лестнице, все время чуя аромат коронного Фаиного блюда: чахохбили. Вот она — бездуховность, горько улыбался Егор, они все время играют на понижение: вкусно едят, опустились, не читают ничего. Но зато Егор у них возьмет кое-что для сохранения своих высших потребностей, потому что оставшиеся тысячи долго в его кармане не продержатся. Егор горько вздохнул уже не по поводу денег, а по адресу братьев Ч. Что с ними

стало?! Раньше могли в любую авантюру пуститься, а теперь трясутся над детьми да внуками. И сейчас его встретил какой-то таинственный внук:

— Дядя Егор пришел, — сказал он. — Крутывус! Но вы будете на кухне, мы здесь видак крутим.

Братья Ч. выбрели на кухню, щедро расточая флюиды недовольства. Но Егору после выпитого особенно легко было объяснить этим братьям, в каком трудном мире мы все живем.

— Я собственно от Лидии. У нее Алеша в реанимации. Глупо было бы к вам не зайти по пути. Глупо ведь?

— Зато милосердно, — огрызнулись грубые братья. — Мы вчера после шабашки заехали сюда, поздравить маму с днем рождения. Объясняем тебе в сто двадцатый раз: мы здесь давно не живем.

Егор аристократически перебил:

— Право, это неважно. У вас после вчерашнего осталось?

— Если бы осталось, мы бы к этому времени уже встали, а то... легли в три часа, все допили.

Вышла Фая и удивленно посмотрела на мужа и деверя: сколько лет не могут отвадить ее бывшего!

Егор в ответ хрустнул вкусно рассыпающейся во рту куриной косточкой:

— У Лидии сын лежит в реанимации. На грани жизни и смерти. Она меня ждала: дверь за полчаса до прихода открыла. Я взял пятьдесят тысяч на лекарства.

— Так ты скажи уж: за два часа, — для Фаи было ясно, что сейчас Егор хочет завалить взятые у Лидии и уже пропитые деньги горами собственного благородства.

Егор и точно чувствовал: они, эти горы, лежат внутри него, невостребованные и неразработанные. Ему в самом деле не нужны были машины, дачи, бабы. Не мечтал он об этом никогда. А мечтал вот о чем: однажды с тяжелого похмелья услышит: кто-то диктует что-то — а он, Егор, мужественно, через тошноту, фиксирует каждое слово... И сразу бы грянуло: журналисты, микрофоны, телекамеры, бабы эти ненужные, черный фрак, «Белый аист» — и цветы, цветы. Простаки эти, братья Ч., трепетно спросят: «Как же ты, Егорыч, поднялся так быстро?» Я им, конечно, не скажу из жалости, что нужно поменьше внуков разводить. А смогу я для них сделать — скину им парочку своих ненужный баб. Вот тогда Фаина поймет, от кого она ушла. И к кому пришла!

3

Аркадий позвонил на другой день: лекарства он послал с «Камой», вагон пятый, проводницу зовут Катя. И уже через день Алеша был в сознании. Поскольку в реанимацию Лидию не пускали, она села пи-

сать статью о Набокове. Лидия считала, что от книг Набокова стало меньше тепла в мире, словно он забирает его, в результате — холоднее становится. Лидия хотела это показать, обобщив опыт спецкурса...

Когда она писала свои статьи, ей казалось, что она присоединяется к могучей силе, напоминавшей ей отца. В гимназии говорили: Шахецкая хочет пробиться, быть на виду, зачем ей это в такие-то годы. А на самом деле Лидия любила побыть с силой отца, спокойно посидеть, подумать. Она писала для отдыха, и ее статьи охотно брали столичные журналы «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и «НЛО» («Новое литературное обозрение»).

Но Лидия не могла надолго удерживать рядом эту могучую отцовскую силу. Статья, бывает, еще не кончена, а сила уже удалилась. Все равно как дорогого гостя не удержишь навсегда: рано или поздно он встает и прощается. Так и у Лидии: многие статьи были начаты, но не закончены. Она не умела копать в одну сторону, добиваясь успеха. Она копала во все стороны сразу: и повесть писала (про киевское детство), и рецензии на спектакли и книги, и научные литературоведческие статьи, и сугубо педагогические разработки, методические советы. Она копала во все стороны, еще и в небо, вверх, и круг ее интересов все расширялся.

Надька позвонила вечером:

— Привет! Ну как там Израиль? Ты почему нас не зовешь к себе? Рассказала бы все, а... Я понимаю, что Володька дурак и все такое, но мы-то тут при чем? Кстати, поздравляю тебя!

— С чем?

— Как с чем?! Ты же выиграла грант Сороса! Они там опрашивали всех пермских студиозусов: кто из школьных учителей повлиял на них, так первое место заняла Шахецкая! Тебя назвали и физики, и политехники, ну и филологи, конечно, историки...

— Ничего я этого не знала, поверь! У нас Алеша в реанимации. Только сегодня в сознание пришел.

— Вот как... я тоже с микроинсультом отлежала тут... Все расскажу! Давай завтра сходим на вечер Бояршинова!

— Кого?!

— Женьки Бояршинова, он приезжает по приглашению фонда «Татищев».

Фонд «Татищев» организовал бывший аспирант Анны Лукьяновны. Вторым браком он был женат на москвичке и, угождая жене, приглашал в Пермь лучших московских поэтов и прозаиков. Бояршинов к лучшим не относился. Правда, он усердно мелькал на страницах модных московских журналов, уверяя, каждый раз по-новому, что «зло имеет творческий характер» и все такое прочее. Раньше Лидия не пошла бы его слушать, но сейчас, когда Володя обнимается с другой, нужно как-то отвлекаться.

— Хорошо, Надь, пойдем. Спросим, есть ли у него уже вилла в Ницце...

— Жень, привет! — Надька первая подошла к Бояршинову. — Ну что: виллу-то в Ницце купил уже, нет?

— А как же! Рядом с твоей стоит — не заметила, что ли?!

Лидию прежде всего ударило, что Женю облекал громадный пиджак оттенка свернувшейся крови — как бы он тоже «новый русский», Бояршинов, но регистром покультурнее. Она не видела Женю десять лет и тотчас поняла, что он прочно ушел из области зеленого звона и теперь вокруг него какой-то пустырь заброшенный, не пустыня, нет, — пустырь. Живет в Москве, женат, говорят, на юной студентке МГУ, и все-таки на нем словно написано крупными буквами *«не додано!»*.

— Жень, ну как, Пермь изменилась за эти годы? — спросила она.

— Как вы вообще можете жить в городе, где нет конной статуи! — воскликнул он гневно, в конце переходя к интонации сочувствия.

— А как ты можешь жить в городе, где покойник на поверхности в центре города лежит? — сходу парировала Надька.

Она молодец, а Лидия ответила позже:

— Ну что такое конная статуя, Женя?! Это памятник тому, кто убивает людей... в конце-то концов...

Тема лекции Бояршинова была «Мотылькизм», и Лидия сразу прикинула: ну, начнет, конечно, с древних греков, у которых бабочка — символ души... А в это время Сережа, юродивый, похожий чем-то на Алешу (походка такая же вбок и взгляд детский), сел рядом с Лидией. Он и в прошлый раз, когда Вознесенский приезжал в Пермь, рядом сидел.

Бояршинов начал говорить, сжимая и разжимая кулак, словно некий новый Калигула, мечтающий об одной шее для человечества. Он сравнивал стадии жизни человека с таковыми у бабочки (гусеница, куколка, мотылек).

Сережа смотрел на Бояршинова с таким видом, с каким Алеша обычно говорил: «Не, мамочка, не»... И Лидия представила, как сейчас бы Алеша ей сказал: «Нет, мамочка, не мотылькизм. Зачем он говорит, что мотылькизм?»

В этот миг Сережа, видимо, решил, что нужна встряска ситуации, переключение на более интересный канал. У него засвербело в носу, и он чихнул.

— И вот я к вам приехал, не погнушался, в провинцию, хочу открыть глаза на... — говорил Бояршинов.

Сережа чихнул еще раз, и Бояршинов прервался, вставив фразу: «Я — значит — правильно говорю!». А Лидия думала: почему это правильно, нет, не так все... в стадии куколки другой раз такое сообразишь, что... она вот в шесть лет поняла, что красоту надо спасать и лишь потом

красота мир спасет! В это время Сережа, чувствуя себя обязанным вымешивать общественное тесто, чихнул снова, ибо тело послушно выполняло его заказ. «Я опять верно говорю», — откликнулся Бояршинов. Но тут Сережа начал чихать все громче и чаще. Бояршинов еще пару раз произнес: «Вот еще правду сказал», а потом — уж чего там правду — он ничего вообще не мог сказать, ни правду, ни неправду. Апчхи-апчхи, все ждали: продемонстрирует ли выступающий мотыльково-легкое отношение. Но Бояршинов посерел, посуровел, показал пример обратного превращения бабочки в куколку. Закуклился в суровости и молчании. Прошло две минуты беспрерывного чихания, и вот Сережа бессильно откинулся головой на спинку стула. Между тем Бояршинов решил повторить все: в детстве — гусеница, ползает ребенок, потом он — куколка, стеснительный отрок, наконец — мотылек, настоящий гедонист, комплексы отпали, и он наслаждается жизнью, красотой! В это время в зале появился Егор Крутывус и сходу размахнулся интеллектом:

— Какое сходство может быть, если насекомое элементарно не чувствует боли, можно разрезать осу пополам, а она как пила нектар с цветка, так и продолжает пить. А у человека боли ого сколько!

Лидия предвкушала, как сейчас трудно будет отшутиться Жене, но он даже не пытался отшучиваться. «Я над этим подумаю», — сказал он.

— Еще вопрос! — не унимался Егор.

— Э, нет! Что же это: мы с тобой — что ли — будем разговаривать! Тут есть и другие люди!

— А почему бы не разговаривать нам? Ведь ты приехал для...

— Можно мне спросить? — Лидия хотела прийти на помощь Жене и сгладить шероховатость его общения с залом. — Вот как объяснить, что иногда, наоборот, к зрелости люди закукливаются в быт, хотя в юности порхали среди высоких материй? Почему они сворачиваются вдруг во что-то невыразимо серое?

Бояршинов тут захотел, чтобы Сережа снова начал чихать, а он бы за это время нашел ответ. Он уже забыл, что сам напросился на это выступление (чтобы «Татищев» оплатил приезд к матери, в Пермь), теперь ему казалось, что его заманили. Зачем он звонил, дурак, договаривался?! Ну, ничего, он приедет в столицу и всем расскажет, как его хорошо принимали! От этой мысли ему стало легче, он порозовел и даже похорошел. И тут-то в центр его красоты и розовости угодил следующий вопрос:

— Бояршинов, скажите, почему вы написали статью «С кем вы, Борис Ихлинский?» — по заданию коммунистов или КГБ?

— Ну, нет, это вас неправильно информировали, я сам тогда пострадал и вынужден был уехать из Перми...

— Нет, вы подробно расскажите, как это вы пострадали тогда?!

Лидия подумала, ведь человек этот прав: зачем Бояршинов приехал в Пермь после того, как нагадил тогда... и как ни в чем ни бывало — о мотыльках! Тот, кто спрашивал, видимо, знал правду про тот поступок Бояршинова. Он только не знал, что правда без любви — ложь. Как и любовь без правды...

— Так как же вы пострадали, Бояршинов? И кто устроил вам прописку в столице нашей родины?! Не КГБ ли?

Жена директора фонда «Татищев» тем временем успела присесть ко многим и попросить: «Человек издалека ехал — задавайте вопросы в письменном виде, чтоб он сам выбирал, на что ответить».

Но в первой же записке, которую получил Бояршинов, было просто крупно написано: «*жопа*». Женя, глазом не моргнув, громко прочел слово вслух, заметив:

— Странные у вас в Перми обычаи: автор подписался, но ничего не спросил!

Реакция зала была разнообразная, но в целом одобрительная: зашумели, захихикали, захлопали.

Чтобы хоть как-то благопристойно завершить вечер, Лидия решила задать нейтральный вопрос:

— Как ты, Женя, относишься к Пелевину? — спросила она с места.

— Всегда я рад заметить разность между Пелевиным и мной...

Егор, услышав голос Лидии, рассердился: сын в реанимации, а она прибежала на модного автора, нет, сто раз прав Шопенгауэр! Сейчас еще увидит меня и спросит про пятьдесят тысяч. Обложили! И он поспешил из зала.

После того как директор «Татищева» с облегчением объявил о завершении вечера (никогда такого скандала не было), к Лидии подошел Бояршинов.

— Егор-то смылся. Должен мне деньги, — растерянно сообщила Лидия.

— У-у, деньги — это вам не всеобщий Марксов эквивалент труда, деньги — это энигма! Мистика! Я вот тоже приехал на деньги этого фонда, чтобы сэкономить на подарок маме.

Да, думала Лидия, он уже не изменится. А вот о маме заботится. Словно капля чего-то прозрачного на этой страшноватой глыбе. И ведь глыба эта все равно, несмотря на свою прочность, отпадет, осыпется. И сколько труда было потрачено на наращивание темного себя, а останется только одна эта почти неразличимая вечная капля...

До остановки они шли втроем: Лидия, Женя и Надька. Вдруг с той стороны улицы, едва не погибая под колесами автомобилей, к ним бросился какой-то дылда, который оказался просто здоровенным одиннадцатиклассником:

— Лидия Львовна! Я вас увидел с той стороны! — хвастаясь своей зоркостью, трещал он без умолку. — Вы куда?

Надька и Женя уже забыли, какая бывает радость в юности: она наполняет тебя всего, и чувствуешь, что уже захлебываешься, а она все прибывает и прибывает, толкая на опасные приключения и тут же спасая.

— Мне по пути с вами, — радостно сказал юноша.

— Да нет, вот мы уже здесь садимся, — ответила Лидия.

Юноша разочарованно отстал, радость мгновенно сменилась выражением «Весь мир меня не понимает».

— Это кто такой? — спросила Надька.

— Да просто из моего класса.

— Здорово любят они тебя, не то что мои неандертальцы.

— Да он, этот Носков, со мной всегда спорит — измучил меня спорами на каждом уроке, — взорвалась Лидия. — Задала сочинение «Мой Пушкин», а он написал знаешь что? — «Ваш Пушкин».

Женя сказал:

— Если этот твой Носков одаренный, то ты с ним все равно скоро расстанешься. Они все, одаренные, уедут в Москву и бросят тебя здесь.

... В это время Алеша вышел прогуляться, он захотел на воздух — трудно дышать в милой реанимации. Навстречу ему выбежала Дженни, и стало вдруг больше слов в голове. Да и где эта голова?

4

Когда все робко вошли во двор психиатрической больницы и побрели к моргу, подошел горбатенький высохший подросток, попросил у Егора закурить, выдохнул две дымные струи и сказал горестно:

— Жалко Алешу, это был настоящий друг.

— Послали Володе телеграмму? — спросил кто-то у Лидии.

Она рассеянно ответила:

— Да не имеет значения, — и грузно отошла, ведомая под руки Анной Лукьяновной и Борей Ихлинским.

Рядом прихрамывал Веня Борисов. Он стыдился своей тросточки как знака циничной силы жизни: Алешу хоронят, а тут с каждым днем легче ходить — нога отлично срослась.

Лидия думала: ну, меня ведь не могут обмануть! Начнем с того, что обмануть не могут. Подала записку в Стену Плача, чтобы Алеше было лучше. Значит, стало ему лучше. Начнем с того, что меня не обманули. Все время казалось: Алеша не умер. И Лидия гнала мысль о смерти, боясь, что разум совсем помутится: «Его же вскрыли, видела я — швы на черепе и на груди... Нет, живой!»

В реанимации Алеша очень похудел, выступили мощные отцовские кости и красивые плиты лица. Все-таки от Володи никуда не уйти, с отупением думала Лидия, мысли были как будто отсиженные .

Егор, как раненый нетопырь, дергался среди толпы, не зная, что делать с принесенными деньгами. Наконец он косо подлетел к Надьке, сунул смятые пятьдесят тысяч и попросил, чуть ли не слезно, чтобы она передала Лидии. Потом, на поминках, он внутренне резко повеселел, но внешне сохранял благопристойную угрюмость. Зато когда Егор стал звонить Надьке и узнавать, во сколько собираются на девять дней, он услышал:

— Лидия просила, чтобы ты хоть месяц не заходил. Ты вообще не понимаешь... ты хоть что-нибудь понимаешь?!

Егор обиделся: он все понимал.

Через два месяца, когда Лидия уже лежала в психосоматике, Егор написал ей письмо.

«Здравствуй, Лидия! Как у тебя дела, как у тебя все? У меня неважно: теща умерла, давление прыгает — двести десять на сто пятьдесят! Ссориться с тобой, конечно, не входило в мои планы. Возможно, в этом странном происшествии сказываются какие-то твои комплексы. Я уж знаю, чем я всем надоел и даю отчет перед собой, но перед Алешей я абсолютно чист. Деньги лежали у соседа, он все обещал достать лекарство, а я надеялся. Я Алешу навещал, даже сумел его развлечь, как раз перед его уходом! Я был последним знакомым лицом, которое он увидел в своей жизни...»

Жизнь продувала ее даже сквозь эти надежные стены психосоматики. Лидия очень удивилась, что захворал Боря Ихлинский. Ей почему-то казалось, что Боря только тогда слегка занеможет, если его уронить с большой высоты. А вот вернулся из Англии со съезда социал-демократов и не выдержал перепадов климата. Плеврит! Он лежал в этой же, кстати, больнице, на Героев Хасана, этажом ниже. От шумного дыхания у Бори катался живот — прибывший, налившийся солидностью в последнее время.

— Лидия, выходи за меня замуж! — слезливо-энергично говорил он. — У меня такое ощущение, что тогда все проблемы кончатся.

— Боря, ну ты, конечно, демократ, — начала Лидия трудную задачу разминирования ситуации. — Сколько ты сделал для Перми во время перестройки...

— Не надо! Я все понял, — грустно оборвал ее Боря, еще тяжелее задышав, показывая, что вот-вот умрет от судьбоносного плеврита (впрочем, через три дня он выписался абсолютно здоровым).

Как только Володя вошел в больницу, в глаза ему бросилось произведение живописи — какой-то винегрет из красок. Картина висела в холле на стене. Сначала даже не понять: пейзаж или натюрморт. Художник тщательно разламывал формы, выгибал их, раскрашивал. При мысленном складывании Володя в итоге с трудом получил две бутыл-

ки и одно яблоко. Значит, это натюрморт. Володя подумал: был бы врачом, ни за что такую картину в психосоматике не повесил бы...

Володю охватило странное чувство. На улице впечатление прибавлялось к впечатлению — голоса людей, цвет неба. Здесь же, в больнице, вдруг появилось труднообъяснимое ощущение какого-то тотального вычитания — всего из всего, даже воздух словно бы вычитался из пространства. Мысли, забыв многолетнюю дисциплину, забегали в беспорядке. В памяти отчетливо всплыла плас дю Руай, где он встретил Наташу. Да, это было затмение... Но оно показалось озарением... Склеивать ничего нельзя, если только само не склеится...

Володя шагнул в палату.

Первое, что сказала Лидия, донеслось до него как будто сквозь паутину:

— Если бы я была такая уж хорошая, то ты бы не сблядовал.

Она говорила каким-то кукольным голосом (он не знал, что так все говорят после нейролептиков), и от этого голоса Володя вдруг пришел в себя и ему захотелось скорее забрать ее отсюда, пока она сама себя не измучила окончательно. На тумбочке Лидии лежало письмо, написанное полумужским-полудетским почерком.

— Так вот что Егор-то пишет: оказывается, мы все в комплексах! — изумился Володя. — Представляешь: мы лежим уже в старческом расслаблении, а Егор — бодро заспиртованный — бродит по нашей квартире, все фамильные драгоценности сгребает в торбу...

— В какую торбу? — спросила Лидия.

— В любую сумку. И уговаривает нас: «Да будьте вы поспокойнее, не комплексуйте вы так!»

— Ой, ой! — захохотала Лидия, искосившись с кровати и загребая рукой по полу. — Иди ты!

Тут она подумала: он же может принять это как примирение! Надо было опять отступить в угрюмую скорлупу, но было уже поздно. Володя уже понимал: они примирились, но начерно — под влиянием тех гадостей, которых она здесь наглоталась. Надо готовиться к беловому сценарию, а это гораздо серьезнее.

Эпилог

Новые друзья не воспринимаются как новые — они словно сразу вделываются в твою биографию на много лет назад.

Андрей Шубин, директор фонда «Татищев», пришел к Лидии со своей Леной и уже на правах древнего друга привел писателя О.П., очередного гостя из Москвы. Ввалившись в обширную прихожую и заполнив ее своим тоже обширным телом, О.П. загудел:

— А в бане-то сейчас — даже никто друг друга не просит спину потереть! То ли дело раньше... — но тут Шубин его прервал и стал

знакомить, как это бывает у нас, беспорядочно, со всеми. От рукопожатий сделалось жарко, и О.П. стал шаркать толстыми мускулистыми ногами, гудеть в разные стороны комплименты — всем дамам подряд без зазрения.

Тут вошел Боря Ихлинский и по-приятельски сообщил новому гостю:

— Ленка Шубина вместо того, чтобы выйти замуж за меня, ты представляешь! Вышла за своего Андрея! — это он говорил с запанибратски-скучающим видом, как будто их отношения с О.П. уже поистерлись за протекшее десятилетие.

Женщины радостно закричали: «Знаем, знаем, все мы дуры — пропустили такого жениха!». Боря сиял и раскланивался, окруженный всеобщей любовью.

— Кексик, — позвала его нежно студенческой кличкой Надька, — пойдем на кухню, помоги мне разрезать торты! Аллы нет, придется эту часть работы делать нам с тобой!

Надька единственная из женщин рискнула в этом возрасте прийти в полупрозрачной индийской юбке, но на самом деле никакого риска здесь не было, потому что ноги у нее оставались очень красивые. Солнце пронизывало роскошную профессорскую квартиру, и Надька несколько раз грациозно пробегала с сигаретой в разных направлениях — солнечная материя наполняла юбку изнутри, и Надькины ноги светились. В общем, это напоминало последний решительный бой, прорыв из окружения.

А Боря завладел гитарой и замурлыкал:

Под зубом золотым
Есть корень весь гнилой...

— потом решительно притиснул струны своим фирменным вкрадчивым жестом и сказал: — Так и пропадут наши зубы без материнского присмотра Аллочки Рибарбар!

У Надьки слегка сбилось дыхание, когда она представила, что он так же может притиснуть кого-нибудь, но по своей дурости навряд ли это делает.

— А у нас в роду и Цветковы есть, в восемнадцатом веке породнились Цветковы и Бахметьевы... Я списалась со своим родственником из Швейцарии — все забыли о своем происхождении, — довольно сказала Надька.

Все знали о ее подвихнутости в последнее время — она восстанавливала свою дворянскую родословную. Поэтому Боря сказал:

— Очень тебя поздравляю! И ноги у тебя тоже красивые. А у меня двое сыновей растут в Екатеринбурге...

Володя вспомнил: вчера по телефону Боря упоминал только об одном ребенке.

Аркадий пришел с тихим солидным сыном, которому еще предстояло дорасти до мысли, что иногда нужно быть ребенком. Он дергал отца за

брючный ремень и повторял с расстановкой: «Папа, расскажи про поезд, папа, расскажи про поезд!»

— Заказ принят, — сказал Аркадий. — Так вот, мы ехали в купе, а соседи все с золотой грустью вспоминали время застоя. Не мог же я им сказать, что у них действует мифологема золотого века, который всегда в прошлом.

— Ну а коммунисты помещали золотой век в будущем...

Принесли телеграмму от киевского дяди Миши: «Твой день рожденья я с восторгом вспоминаю, и вот пишу, как я тебе кохаю. Кто участи хлебнул космополита, не скажет уж, что дольче очень вита».

— Удивительно, что еще на Украине терпят само слово «украина» — это же ведь значит «окраина». Назвали бы «центровина», они ведь пуп земли, или «сэрэдина»!

— Да, окраина, но какая окраина! — воскликнула Лидия. — Все садимся. Веня, ты рядом с Галькой, Вадик справа...

Надька сказала:

— Недавно на кафедре я по дурости ляпнула: «Лидия — наш нравственный идеал». «Да? — удивились некоторые кафедралы, — теперь будем за ней следить!»

— На что ты меня обрекла?! — крикнула Лидия. — Меня КГБ не трогало, а теперь вот будут следить, и не погляди пристально на кого-нибудь красивого, лишнюю рюмку не опрокинь!

Все зашумели: ну, здесь мы тебе позволяем все, мы никому не скажем! Смотри на нас, мы красивые!

Тут явился незваный Егор. Он пришел выпить, но чтобы никто об этом не догадался, выстроил тщательный сценарий — сыграть роль всеобщей больной совести:

— Отец меня не прописывает, — пожаловался он Вадику. — И вообще все катится куда-то...

А Вадик, глотнув газировки, вежливо подхватил тему:

— Вчера в пять утра выезжаем на линию, а по разметочной полосе навстречу идет совсем голая баба, только срам прикрывает рукой, прикрывает, значит, не до бессознательности пьяная. И почему церковь не борется с пьянством?!

— Если бы вино было совсем не нужно, — сказала Галька, — тогда Христос превратил бы вино обратно в воду. А это было первое Его чудо, — и Галька под столом рукой погладила колено мужа, показывая: «доберемся до дома, я тебе вдвое возмещу отказ от водки».

Прошло несколько стопок времени. Боря вскрикнул:

— Общаться, общаться и еще раз общаться, товарищи!

Он вызвал этим бурю восторгов. Вино лилось, как время, как вино. И разница божественно терялась.

Боря встал чинно, на себя не похожий, очевидно, примерял на себя какую-то неведомую роль:

— Я хочу начать свою речь с небольшого сюрприза: меня утвердили на должность директора музея политических репрессий!.. Он организуется на базе небезызвестной зоны, где сидели всеми сейчас уважаемые Буковский, Щаранский, Ковалев...

Веня перебил его:

— Будем надеяться, что наши имена в этот достойный список не войдут!

— Там же погиб гениальный украинский поэт Стус, — невозмутимо продолжал Боря.

— Боря, мы к этому относимся, как к святыне, — пробовала остановить его Лидия, — но здесь же сейчас гости, мы все выпили...

Но Боре это только добавило азарту:

— Скажу несколько слов об организации охраны зоны: там использовались новейшие электронные средства, в частности, емкостные индикаторы... Было четыре рубежа охраны, контролеры проходили тщательный инструктаж!

— Как ни расхваливай, не пойдем все равно, — сказала Надька.

— За время существования лагеря не было ни одного побега! — в слегка рассеянном после выпивки сознании Бори путались тяжесть и ужас лагерной организации с тяжкой важностью его нового демократического поприща. Кое-кому подумалось: если завтра все перевернется, Боря из директора музея безболезненно превратился в образцового начальника лагеря.

— Приглашаю всех посетить наш музей, автобусы отходят каждый день от здания областной администрации в пятнадцать ноль-ноль, для вас я это сделаю бесплатно!

— Как для Щаранского?

Конечно, выпили тут больше, чем обычно, чтобы угрюмость ушла, и даже Вадик с трудом удержался — вернее, Галька удержала его с трудом.

Московский писатель О.П., чтобы перебить впечатление, начал свой рассказ, забасил:

— Приехали японцы ко мне как лауреату премии Акутагавы с телекамерой миниатюрной, чуть ли не в моем кулаке помещается, — тут все посмотрели на его кулак, в таком и наша, русская, камера почти поместится. — Купили они водки и, что меня удивило: повели на улицу! Говорят: вы же про бомжей пишете, идите со своими героями выпейте, а мы заснимем... Японцы любят показывать, как плохо все другие живут...

— Ну, а ты что?

— Отказался я — не пошел! СПИД там можно из стакана подхватить. Это они, самураи, любят опасности...

— А я бы пошел! — сказал вдруг Веня. — Да вот я прямо сейчас пойду, пол-ларька скуплю и на вокзал, там бомжей всегда много! Куплю им всем билеты...

— Пиджак от Версаче снимут, — продолжил Егор. — Печатку вместе с пальцем утащат, дадут по голове. В общем, ты хорошо им пригодишься!

Веню сейчас ничего не страшило: Лидия за него не идет...

О.П. изумился: сказано, что широк человек, выходит, что пермяки-то еще шире.

— Хочу с наследником престола встретиться, — озабоченно говорила Надька. — В Москву к вам поеду скоро. Это ведь будет уже новая династия! Князь Владимир Кириллович был женат на княгине из рода Багратидов, а это неравноправный брак...

Надька говорила все это Боре Ихлинскому, и он наконец-то понял: она, как бешеный штурмующий бомбардировщик, делает очередной заход, чтобы обстрелять эротическими ракетами именно его. И поступил традиционно, по-русски: бежал на кухню покурить.

— Мы же еще за родителей не поднимали, — озаботилась вдруг Галька. — Ваше здоровье, Анна Лукьяновна!

— Ну, пока еще ваш тост за мое здоровье не подействовал, я буду говорить сидя, — попросила Анна Лукьяновна. — Теперь вы можете наполнить бокалы!.. Есть люди, которые работают в обществе компенсаторами. У Лидочки, в частности, такая должность. К ней все приходят со своими обидами, проблемами.

— Ура, за нашу драгоценную! За Лидию!

— Вот мы здесь веселимся в честь моего рождения, — развела руками Лидия. — А где-то Вайль и Генис мучаются друг без друга, сглупили-поссорились, а теперь, наверно, гордость не позволяет сбежаться! А давайте их помирим!

— Это разве в наших силах? Как мы их помирим!

— Телеграмму им пошлем: «Российский читатель просит русского автора Вайля и Гениса вернуться в русскую литературу!»

— По факсу я отправлю. Только куда? — спросил Веня.

— В редакцию «Иностранки», они там печатаются.

— Папа, папа, — тормошил Аркадия важный сын, — А ты когда о тете Лиде будешь говорить?

— Пожалуйста... Господа, предлагаю выпить, если есть, а если нет, то просто обсудить тезис: Лидия склеивает собой реальность, соединяет мир вокруг себя.

— Во дает! А в прошлом году, Аркадий, ты говорил, что распадающийся мир склеивает искусство!

— Ну да, Лидия с прошлого года намного уже вытеснила искусство с его места. Искусство моргает своими сонными шарами: «Ну, ни фига себе! Сколько времени я все здесь склеивало, собирало — обидно!»

— Что такое, уже полчаса удобства закрыты, кто там засел?

— Это дядя Егор закрылся, — трезво оценил обстановку племянник Лидии.

— Нам пора, — в который раз повторял Андрей Шубин.

— Ну еще пять минут, — умолял О.П.

— Хорошо. Други! «Татищев» проводит опрос: что есть Пермь для вас?

Тут посыпалось со всех сторон: место рождения, город на всю жизнь, место ссылки — это последнее сказала Лидия.

— Да? Ну, ничего, — принялась утешать Лидию вся компания. — Мы тебе скрасим ссылку-то! Побольше бы таких ссыльных было!

— Егор, выходи, тут очередь.

— Тихо, тихо! — сказал Аркашин отпрыск. — Я знаю, как нужно вызвать. — И властным тоном психоаналитика он сказал в дверь: «Дядя Егор, слушайте внимательно: правую, именно правую руку протяните к задвижке, тяните вправо...

На диво всем дверь вдруг легко распахнулась, и появился Егор, медленно наводящий порядок в одежде.

— А для меня Пермь — это хронотоп, — меланхолично сказал он.

Вдруг он осел, и глаза его повело, как у осьминога, в разные стороны:

— Сегодня... — задумчиво промолвил он.

— Что сегодня — Егор, что?

— Мы...

— Егор, кто мы?

— Все! Сделали...

— Что сделали? Ошибку, открытие, вывод, заключение?

— Один маленький шажок...

— Куда шажок? В вечность? В пропасть? К вершине?

— Один маленький шажок к большой правде о Перми.

Все слова на этот вечер закончились, остались только сигналы: «Тебе куда?» — «Егора я на такси...» — «Никак не темнеет».

ДВА РАССКАЗА

Без названия

I

Он посмотрел на часы, потом на пустое, залитое сияющей синевою окно, потом вытащил сигарету, щелкнул зажигалкой, прикурил — и придвинул к себе телефон. Нажимая упругие, коротко попискивающие в наушнике кнопки, он вдруг подумал — увидел, вспомнил, — что в комнате, куда он сейчас звонит, стоит старый бежевый дисковый телефон. «А может быть, сейчас уже не стоит», — чуть удивившись себе, тут же подумал он.

Третий длинный гудок запнулся.

— Здравствуй, — сказал он. — Это я.

— Привет, — ровно сказала она.

Он немного помедлил.

— Ну... как у тебя дела?

— Хорошо.

— Я давно не звонил.

— Да, наверное, месяца три.

— Полгода... Я был в командировке. То есть командировка была на две недели, но там нашлась работа, и нам разрешили остаться.

— Ясно. А где ты был?

— Да черт знает где, под Тюменью... Как Славик?

— Ничего. Год закончил с тремя четверками.

— А... остальные?

— Остальные пятерки. Ты что же, забыл? Он ведь хорошо учится.

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Писать начал в 1987 г. Автор романов «Господа офицеры» (1994), «Ротмистр Неженцев» (1995), повестей «Сто семьдесят третий», «Крымская осень», «Мамаево побоище», «Канон отца Михаила», «Кружка пива» («Континент» №№ 85, 87, 92, 101, 104), сборника прозы «Моя вина»(1996). За повесть «Без возврата (Негерой нашего времени)», напечатанную в «Континенте» (№ 108), удостоен в 2002 г. премии имени Ивана Петровича Белкина («Повести Белкина»), которая присуждается за лучшую русскую повесть года. Живет в Москве.

— Нет-нет, я помню... просто я подумал — ну мало ли что... Меня же давно не было. Ты деньги получала? Я посылал.

— Да, спасибо.

— Ну что ты, за что спасибо... Ты знаешь, мне бы хотелось с ним повидаться. Заодно и деньги тебе передать. Я еще привез.

— А его нет, он в лагере.

— В лагере?

— Ну да, в пионерском лагере... или как это теперь — в лагере отдыха.

— А... хороший лагерь?

— Да обычный лагерь, под Звенигородом. Кормят неплохо, я на прошлые выходные у него была.

— Ему там нравится?

— Да вроде нравится. Их на речку водят, потом всякие кружки.

— А когда он вернется?

— Двадцать восьмого.

Дверь приоткрылась, в комнату заглянул Васильченко — поднял руку: пока. Он тоже поднял руку и покивал. Васильченко закрыл дверь.

— Ты больше к нему не поедешь?

— Нет. Времени нет, я же подрабатываю. Да и чего ехать, неделя осталась.

— Подрабатываешь?..

— Печатаю дома на компьютере.

— У тебя есть компьютер?

— Да, я старый купила, незадорого. Дома печатаю, на работе распечатываю.

— Ну, а... как ты вообще живешь?

— Нормально.

— Голос у тебя бодрый.

Она негромко засмеялась. Он чуть улыбнулся.

— Мне некогда унывать.

— Ты молодец. Я рад, что у тебя... все в порядке.

— Ну, а ты все грустишь?

— Да... когда как.

— Хватит уже грустить. Тем более что все это без толку.

— Я постараюсь.

— Тут по телевизору говорили: если не можешь изменить мир, изменись сам.

— Да, наверное... Кто это говорил?

— Да я уже не помню, какая-то женская передача. Ток-шоу.

— Ты смотришь ток-шоу?

— Смотрю иногда.

Он помолчал, глядя на сизое волоконце, вытягиваемое из чешуйчатого кончика сигареты открытой фрамугой.

— Ну, а ты вообще отдыхаешь? Как-нибудь... развлекаешься?

Она рассмеялась.

— Иногда отдыхаю... иногда как-нибудь развлекаюсь.

— Ясно... Слушай, ну, раз Славика нет, давай я тебе хоть деньги пока передам.

— Ну давай, спасибо.

— Когда тебе удобно?

— Да мне все равно.

— Может быть... сегодня?

— Сегодня?.. Ну давай сегодня.

— Я тогда сейчас подъеду к тебе.

Она помолчала.

— Да нет, давай встретимся у метро.

— У метро?.. Зачем у метро?

— Мне так удобнее. Я как раз собиралась по магазинам пройтись.

— Ну, давай у метро... Я просто подумал — что тебе утруждаться. Во сколько?

— А когда ты сможешь подъехать?

— Минут через сорок... В половине седьмого.

— Давай в половине седьмого.

— У какого выхода?

— Где кинотеатр.

— Ладно... Ну, пока?

— Пока.

Он вышел из метро и сразу ее увидел — под часами, где всегда... много лет назад. Ветер полоскал ее платье. Площадь была затоплена разноцветными киосками и людьми. По шоссе, рыча и вздыхая, ползли длинные автобусы и короткие автомобили. На той стороне тянулись высветленные до меловой белизны дома с зелеными купами палисадников. Над домами было чистое небо без солнца — солнце было уже за спиной. Он пошел через площадь, глядя на голубое, крапленное желтым и белым платье. Перед платьем все время мелькали люди.

Он подошел к ней — и опустил глаза.

— Здравствуй.

— Привет, — весело сказала она.

— Ты хорошо выглядишь.

— Я стараюсь.

Он вытащил сигареты.

— Господи, что ты куришь, — вздохнула она.

— Я привык, — сказал он. — Кроме того, я экономлю.

— Бросать надо.

— Надо.

Из проехавшей мимо машины тяжко плеснуло музыкой. Он закурил.

— Как мама?

— Бегает, — улыбнувшись, сказала она. — А твои как?

— Да ничего.

— У тебя седина на висках, Матвеев.

Он покивал.

— Я знаю.

— Ну ничего, в твоем возрасте это идет.

— Ну что ты, в каком моем возрасте... Порядочные мужчины до сорока не живут.

— Не говори глупостей. Да — а ты знаешь, что Володя Рыбцов разбился?

— Знаю. Я встречал Сыркина. Помнишь Сыркина?

— Нет.

— Из отдела Вигдорчика, толстый такой.

— Нет... уже не помню. Да я у Вигдорчика почти не бывала. Это вы с Лещинским все время туда бегали. Выпить... чаю.

— Да... Послушай, а у тебя зрение не портится от компьютера?

— Да нет, я привыкла.

— Ты смотри, не надрывайся, — сказал он. — Всех денег не заработаешь.

Она рассмеялась.

— Да всех мне и не надо. А что делать? Для Славика вон кроссовки стоят шестьсот рублей.

—Да, вот деньги, Марина... Здесь три тысячи. Ты извини, мне мало платят.

— Я знаю. Спасибо. Ничего, всех денег не заработаешь.

Он улыбнулся, глядя на нее.

— Ты молодец. Ты... у меня молодец.

Она поджала губы и с печально-ироническим выражением покачала головой.

— Ты мне, пожалуйста, звони, если что, — сказал он. — Я больше так надолго не уеду. Может быть... поедем вместе к Славику, когда смена закончится? Заберем его.

— Да нет, зачем. Их же привозят на автобусах.

— Ну, тогда сходим куда-нибудь... вместе с ним, потом. В театр, или в кино.

— Ладно. Ну... я пошла?

Он протянул ей руку, и она, улыбнувшись, пожала ее. Он задержал ее руку в своей.

— До свидания, Мариночка. Я буду звонить. И... ты тоже звони.

— Хорошо, — мягко сказала она.

— Ну, иди.

— Пока.

II

«Он расстроился, что я не пустила его к себе, — думала она, медленно идя по обсаженной липами, пестрой от просеявшегося солнца аллее. — А почему я не пустила его? А потому, что я не хочу... раньше, когда он был с этой девкой и ему было хорошо, он приходил только к Славику — да я в другое время и не пустила бы его. Может быть, он думал, что я от одного намека брошусь ему на шею? Да нет, он так не думал, он не такой... и вообще я уже не сержусь на него. В сущности, он неудачник: та дрянь его бросила, семьи нет, денег нет... ничего нет. Он сказал, что я хорошо выгляжу. Я действительно хорошо выгляжу, я понравилась ему — как он смотрел, как говорил... А он тоже мало изменился, только виски поседели... он у меня интересный. У меня?.. Ха! Ну — Сергеева так всегда говорила: он у тебя интересный... и лезла к нему. Я не знаю... может быть, я как-нибудь и приглашу его к себе? Недели через две он приедет к Славику, а потом... Может быть, я как-нибудь и пущу его. Да, конечно... наверное, я пущу его. Я бы и сегодня пустила его... он так хотел прийти — «я подъеду к тебе, ну что тебе утруждаться»... Жалко его. Ну ничего, потерпи... Я столько терпела».

.....

«...Боже мой! — подумал он, проходя через гудящие турникеты. — Боже мой... какая она худая и старая!..»

Помни

Михаил Иванович Шлыков, доцент МГУ, представительный крупный мужчина под пятьдесят в светлом плаще, шляпе и галстуке, поднимался на эскалаторе со станции метро «Новокузнецкая» и напряженно думал о подступивших к нему делах. Дела эти были самого разного, порою даже ничтожного свойства, но сегодня они явились перед его мысленным взором все вдруг и угнетали и обескураживали его уже своей многочисленностью. Впрочем, два из них отчетливо стояли в особицу — сын и Люся... или Люся и сын? В самых глубоких, даже ему самому до конца не видимых потемках души таилось сознание, что Люся для него значит не меньше (если не больше...) Антона, — но уже на свету, уже не так чувствующей, как мыслящей, пытающейся противостоять бытию частью своего существа, он понимал, что нехорошо, безнравственно думать так, и спешил отогнать от себя — загнать до невидимости в глубь себя — это первое темное сознание-чувство.

Неприятность с Антоном (да что там неприятность — беда) была в том, что наступившей осенью его могли забрать в армию. На факультет, где преподавал Михаил Иванович, Антон не пошел (несмотря на многолетние усилия отца, ему так и не удалось привить сыну любовь к географии), а подал документы на юридический — пожалуй, единствен-

ный факультет, где у Михаила Ивановича не было ни одного, даже самого скромного, выхода. Конкурс туда достигал десяти человек на место: новая жизнь, которая была если и не bellum omnium contra omnes, то обманом всеми и всех, востребовала в огромном числе людей, способных обман завуалировать или разоблачить — смотря по заказу работодателя. Антон провалился; Михаил Иванович едва ли огорчился бы этим (он был ученым, всегда со странным смешанным чувством уничижения и гордости думал о себе: «я — русский интеллигент», и ему не хотелось, чтобы его сын обслуживал человеческие пороки; ссылки на Плевако и Кони не помогали: всякому овощу свое время, а сейчас было время Макаровых, а не Кони), — Михаил Иванович едва ли бы огорчился неуспехом Антона, если бы тому не грозила армия. Ни Михаил Иванович, ни Антон не были пацифистами в полном, мировоззренческом смысле этого слова — уже потому, что для решения подобных вопросов Михаил Иванович был слишком занят работой и жизнью, а Антон — еще слишком молод: но по газетам, рассказам и собственным вынужденным размышлениям Михаил Иванович знал и понимал, что в российской армии царят даже не первобытные, а уголовные нравы, что после двух лет побоев, муштры и бессмысленного труда в психике одаренного юноши произойдут изменения, которые закроют ему путь в большую науку (а Михаил Иванович не оставлял надежд, что Антон одумается и пойдет по стопам отца — и пойдет дальше его...), и, наконец, что армия воспитывает не настоящих мужчин, как всегда уверяла власть, а настоящих, до мозга костей, рабов, которые живут по втатуированному в душу закону *подчиняйся сильнейшему, подавляй слабейшего* и в своем рабстве нередко доходят уже до того, что гордятся своим положением, то есть до состояния, когда раб уже не просто раб (Михаил Иванович был настроен демократически, но со студенческой и кандидатской скамьи хорошо помнил Ленина), — а холоп, хам... Антон же был с детства застенчив, болезненно самолюбив, наверное, даже робок, и Михаила Ивановича (который с огорчением и жалостью осознавал, что сын слабее его) начинало прямо трясти при мысли о том, что над его Антоном будут издеваться в казарме. Он чувствовал, что из-за сына уже перешел черту, отделявшую его от ненависти к правящему режиму: о какой свободе, о каких правах человека *они* говорят, если каждый год сотни тысяч ни в чем не повинных людей загоняют в тюрьму — в армию?..

В довершение ко всему — к его собственным мыслям и чувствам и явному, хотя и изо всех сил скрываемому страху Антона — для Марины этот вопрос был вопросом жизни и смерти, и Михаил Иванович твердо решил этой банде (последние месяцы он только так и думал и говорил: «эта банда») сына не отдавать. Одним из простейших, широко практикуемых способов была взятка; к взяточникам офицерам, освобождавшим от службы в армии, Михаил Иванович испытывал чуть ли

не теплое чувство, но, относясь с инстинктивным отвращением к взятке как таковой, решился сначала использовать более привычное для себя и пристойное средство — связи. Бывший однокурсник Михаила Ивановича, Ленька Крымов, был депутатом московской Думы и, наверное, мог помочь; они учились не то что на одном курсе — на одной кафедре, вместе играли за факультетскую команду в футбол, Крымов не раз одалживал у Михаила Ивановича — Мишки — пятерку или трояк до стипендии: он был приезжим из какого-то уральского городка, жил в общежитии, и ему порой приходилось туго... но Михаилу Ивановичу очень не хотелось к нему идти, потому что Крымов, по общему мнению, был парень гнилой. То есть вопроса о том, идти или не идти, для Михаила Ивановича не существовало — конечно, идти; он уже созвонился с Крымовым (к счастью, после университета им не раз приходилось встречаться: Крымов сидел на Старомонетном, в академической Географии) и осторожно намекнул о своей беде — и Крымов не отказал, но предложил позвонить еще раз и подъехать к нему — потому что разговор был, конечно, не телефонный... Но Михаил Иванович всячески оттягивал следующий звонок — благо время еще терпело — и бессильно переживал: и оттого, что тяготился своей будущей ролью просителя на встрече с человеком, которого он и по студенческим делам (а многие прямо говорили, что Крымов был стукачом), и по его нынешней бурной (после не менее бурного комсомольского и партийного прошлого) политической деятельности подозревал в непорядочности, — и оттого, что уже из-за этого последнего терзался угрызениями совести: не уважаешь человека — не проси!!! — но, понимая, что не просить нельзя, изо всех сил пытался его в своих глазах оправдать — что было трудно уже потому, что почти все прегрешения Крымова за давностью лет забылись и осталось лишь одно воспоминание-чувство: *гнилой*... Но как бы то ни было, до конца этой недели Михаил Иванович твердо наметил себе позвонить, а пока, на случай отказа, — отчасти для собственного успокоения, потому что неопределенность страшно угнетала его, — заручился согласием помочь у Гриши Кушнира: его сына минувшей весной тоже хотели призвать («забрить лоб», — шутил Гриша, когда все было уже позади), но благодаря усилиям — взятке — отца комиссовали с белым билетом...

Второе важное дело, мучавшее Михаила Ивановича, было даже скорее не делом, а положением — или, вернее будет сказать, обострением того положения, в котором Михаил Иванович находился последние несколько лет. Этим положением было то, что у Михаила Ивановича была любимая женщина. При этом нельзя сказать, чтобы Михаил Иванович не любил Марину, жену: он любил ее и тогда, шесть или семь... нет, уже восемь лет назад, когда повстречался с Люсей, — любил и сейчас. Так долго они шли по жизни вдвоем, так много они пережили вместе:

и первые ночи вдвоем, и первые ночи с Антоном, и коммуналка на Богдана Хмельницкого, и новая квартира на Райниса, и его диссертация, и ее поиски работы, и первый класс Антона, и смерть стариков, и его перитонит, и ее женское... и Юрмала летом, и лыжи в Новогорске зимой, и ее вязание по вечерам, и его переплетание старых книг, и ее клумба на даче, и лопнувший Антошкин аквариум, и даже эта песня: «Миллион, миллион, миллион — алых роз...», — так много они пережили, перерадовались и перестрадали вдвоем, что Марина давно уже стала для него родным человеком — таким родным, что уже тогда, восемь лет назад, эта родственная близость в отношении к ней Михаила Ивановича начала поглощать его чувство к Марине как к женщине — и даже как будто противоречить ему; сейчас же, когда Марине было уже сорок восемь и она сильно постарела от прожитых лет и болезней, Михаил Иванович еще менее испытывал к ней физическое влечение (что она, вступая в известный возраст, по-видимому, находила вполне естественным), но при этом — казалось, еще сильнее, чем прежде, — ее любил и жалел. Восемь же лет назад, встретившись с Люсей (они познакомились на новогоднем вечере у себя в МГУ — Люся тогда только защитилась на биофаке, — потом компанией поехали к Грише Кушниру, посидели там, выпили, потанцевали (женщины — дружно, мужчины — кто попьяней; Михаил Иванович, по крупному телосложению, не танцевал быстрые танцы), потом как-то вышло, что он поехал ее провожать (наверное, она ему и понравилась, и домой они собрались в одно время, и почти полдороги ему было с ней по пути), — Михаил Иванович поехал ее провожать и, прощаясь, поцеловал: так они познакомились; потом они встретились на конференции по биогеоценозу, и Михаил Иванович отчего-то сел рядом с ней, в перерыве они вместе — вдвоем — пообедали, потом они не раз случайно встречались и однажды, когда и у нее, и у Михаила Ивановича во время случайной встречи случайно оказалось окно, два часа гуляли по университетскому парку, и после этого — без всякого плана и без всякой осознанной цели, раньше бы сказали: по неясному влечению души — Михаил Иванович попросил у нее — и получил — ее телефон; потом он стал к ней заходить в перерывах между занятиями, потом пригласил в «Октябрь» на представление легендарного, привезенного из Америки фильма «Унесенные ветром» — Марина пойти не смогла, и у него пропадал доставшийся по знакомству билет, — потом снова был вечер, уже под Первое мая (весна была ранней, все было в зелени и цвету), и он снова, и снова от Гриши Кушнира, поехал ее провожать — и она пригласила его зайти... Словами — банально и даже пошло, как у миллионов других, — но сколько сладкой тревоги, нежности, радости и разочарования воскресало в душе Михаила Ивановича при этих безликих, сухих словах!..), — так вот, восемь лет назад, встретившись с Люсей, Михаил Иванович

прежде всего увидел в ней женщину (ему не хотелось грубо говорить: «возжелал», тем более что это было очень неточно), — но скоро (наверное, и по гетевскому «избирательному сродству», и потому, что Люся оказалась очень хорошим, в глазах Михаила Ивановича, человеком) он ее полюбил — и кончилось все это естественным образом тем, что лет через пять у них тоже уже многое в жизни оказалось пережито вместе, перечувствовано вместе, близко и памятно им одним, — у них тоже была уже целая жизнь вдвоем: и теплоходная поездка на Валаам, и больная Люсина мать, которую Михаил Иванович возил на своей машине, и неизбежные университетские взгляды и сплетни, и интриги против Люси отвратительной бабы, заместительницы заведующего кафедрой, — которым Михаил Иванович, используя все свои связи, изо всех сил пытался противостоять; и четыре осенних дня у ее родственников в калужской деревне, и сломанная нога Михаила Ивановича, когда он месяц лежал в больнице и Люся не могла его навестить, и ужины перед синим окном на ее маленькой кухне, и ее любимый салат из помидоров с луком и майонезом, и кафе «Времена года» в Парке культуры, куда они ходили четыре раза — по временам года — в год, и книжные магазины с его старыми книгами и ее альбомами по искусству, и обучение ее езде на его машине, и приклеивание в ее ванной отвалившихся плиток, и ее театры, к которым Михаил Иванович был равнодушен, и вечерние прогулки с ее пуделем Тишкой... — кончилось все это естественным образом тем, что Люся тоже стала ему родной — и теперь у него было два родных человека, между которыми разрывалась его душа. Люся ничего от него не требовала, и Михаил Иванович никогда ничего ей не обещал (хотя и никогда, в отличие от многих мужчин, не избегал говорить «люблю» — а это больше чем обещание), но в глубине себя считал свое положение — свою жизнь с двумя женщинами, построенную на обмане обеих (Люсю он почти не обманывал, но жить с двумя женщинами и совершенно не лгать нельзя) и не приносящую полного — то есть хотя бы возможного с его стороны — счастья ни той, ни другой, — такое положение он считал безнравственным и ненормальным. Надо было выбирать — и муки выбора Михаила Ивановича усугублялись тем, что нравственное, в его понимании, решение было, но сам он, по низкой, себялюбивой природе своей, не мог этого нравственного решения принять. Оставить Марину было ему нельзя — дурно, очень дурно оставить женщину, с которой прожил почти двадцать лет: ты оставь ее, когда прожил с ней пять или десять и у нее еще многое впереди; расстаться ему надо было с Люсей — ей было тридцать шесть, она была красивая и молодая и могла встретить (в этом Михаил Иванович, любя и ревнуя, был совершенно уверен) хорошего человека... тем более что и человек такой был: был холостяк-однокурсник, некий Владимир, старший научный в Биохимии Баха, трогательно (да, трога-

тельно, — бичевал себя Михаил Иванович) влюбленный в Люсю вот уже почти двадцать лет, — звонивший ей каждый год в праздники и ее день рождения и не раз, еще до Михаила Ивановича, бескорыстно и безотказно помогавший ей в житейских делах... Оставлять надо было Люсю — но вот этого Михаил Иванович, со всей его волей, которой он раньше гордился, сделать не мог — на это у него не хватало сил, — и от сознания своей подлости, эгоизма, сознания, что он любит не так ее, как себя, сознания вообще своей неспособности *любить человека* — Михаил Иванович жестоко страдал...

Впрочем, все это он додумывал сейчас по многолетней инерции — сейчас все это было скорее фоном для его более ярких и тягостных мыслей, — потому что полгода назад события приняли совсем уже неожиданный оборот. Полгода назад — это случилось в марте, когда только тронулся снег, — Люся захотела — попросила, даже со слезами потребовала — ребенка.

Михаил Иванович был раздавлен, изумлен, потрясен. Изумление его, впрочем, было более чем нелогично — не стоило тратить мыслей и времени, чтобы понять, почему тридцатишестилетняя одинокая женщина захотела ребенка от любимого ею мужчины, — и проистекало лишь от неожиданности ее слов: все прошлые годы Михаил Иванович из чувства душевного самосохранения закрывал на возможность подобной, вполне естественной просьбы глаза, а Люся, наверное, полагая, что время у нее еще есть (а может быть, и надеясь на перемены в своем положении), никогда об этом не говорила... Изумление быстро прошло, и Михаил Иванович более всего по-настоящему испугался — и сразу, привыкнув с молодости оценивать со стороны свои мысли и чувства, подумал о том, что испугался он опять-таки низко, подло — не за нее, за себя. Сделать так, чтобы у Люси родился ребенок, значило взвалить на себя ответственность на всю жизнь... чудовищную ответственность, на всю оставшуюся жизнь. Дело было не в том, что будущий ребенок, его ребенок, связывал его с ней навсегда, — быть связанным с Люсей, с Люсей одной, он не боялся — напротив, он смертельно боялся ее потерять; быть связанным с Люсей *и* этим ребенком, даже просто — с этим ребенком (пока его не было, Михаил Иванович отстраненно, как о совершенно чужом, думал о нем: *этот* ребенок), — вот что до потери себя испугало его. Чудовищная даже не «ответственность», а... «обуза», — не успев оценить, хорошо или дурно то, что он думает, первым движением подумал он. Ему этот ребенок был совершенно не нужен, у него уже был Антон, — на Антона, казалось ему, уже были израсходованы все его отцовские чувства; но независимо от того, полюбит он или нет этого нового, будущего ребенка — а наверное, полюбит, это естественно для зрелого человека, но если даже вдруг нет — он все равно навсегда будет связан с ним, если не сердцем, то долгом, — но нет, всегда будет сердце,

потому что это Люсин ребенок: будет плохо ему — будет плохо и ей... Михаил Иванович путался, терялся в этих совершенно бессмысленных, непонятно для чего (в слепой надежде найти спасение?..) производимых им психологических выкладках — все было напрасно, перед ним был тупик. Пожалуй, впервые в жизни он с такой режущей, болезненной ясностью осознал, что уже далеко не молод, — и осознал не потому, что почувствовал себя старым и слабым, — он был и не стар, и силен, в будущем году ему должно было исполниться лишь пятьдесят, — а потому, что впервые ясно увидел неизбежно ему предстоящую старость и слабость... Двадцать пять лет! — пока его девочка или мальчик не встанет на ноги; двадцать пять лет! — ему уже будет за семьдесят; его охватило еще одно доселе почти незнакомое ему чувство — тревожная неуверенность в завтрашнем дне; он всегда был спокоен при мысли о будущем, но для себя, — а для себя и ребенка?.. Доценту платят гроши, пока — пока! — выручают гранты и лекции в частном колледже, — а у него Антон, который станет самостоятельным (если по своей натуре станет им вообще) самое ранее через несколько лет; у него Марина, в институте которой волна за волной идут сокращения; у него мать с пенсией в триста рублей... через десять лет и он будет пенсионером — а его дочери или сыну (он поймал себя однажды на том — и, несмотря на душевный разброд, удивился, — что почему-то упорно думает *дочь* или сын, а не *сын* или дочь, — почему-то подсознательно ставит дочку на первое место; не сразу он вспомнил, что когда-то, лет десять назад, он с какой-то до слез обессиливающей нежностью захотел, чтобы у него была дочка — маленькая, хрупкая, с прутяными косичками, с огромными белыми бантами с двух сторон... но Марина не захотела), — через десять лет он будет пенсионером, а его дочери или сыну будет тогда девять лет! Доцент... ну хорошо, лет через десять, Бог даст, профессор — географии? Шестидесятилетний профессор географии, в этой безумной стране, в конце этого безумного... ах да, уже в начале следующего — наверное, уже последнего в истории — века, — кому он нужен?! Допустить, чтобы Люся родила, было самоубийством... «ну не самоубийство, не самоубийство! — измученный и испуганный, раздраженно обрывал он себя. — Тряпка, слюнтяй, прекрати драматизировать ситуацию!..», — но это значило даже не переломить, а взорвать свою жизнь... а у него еще не дописана докторская! Профессор? Шестидесятилетний нищий доцент с пенсионеркой женой, старухой матерью, необеспеченным сыном (может быть, тоже с женой! может быть, и с ребенком!..), со старшим преподавателем — ну хорошо, пусть доцентом — второй женой и девятилетней дочерью!.. На днях вне себя — еще и глубоко уязвленный самоуничижением — он позвонил старинному приятелю Вальке, жизнь которого в глазах знавших его людей была верхом авантюризма и легкомыслия: три — и все в прошлом — жены, четверо детей, десятое

место работы, из имущества — однокомнатная квартира в трущобе — и при всем при этом — неизменно жизнерадостное, бьющее через край настроение, — позвонил, с каким-то даже самоистязательным удовлетворением ожидая: «Да брось ты мандражировать, Мишка! Все херня, кроме пчел! Рожай!», — и даже со злостью, с обидными, затрагивающими мотыльковую жизнь приятеля аргументами изготовившись дать отпор... И что Валька? Валька — негромко! устало! — сказал: «Ну, ты что, Миша... дурак?»

Михаил Иванович тяжко вздохнул и переступил гребенчатый порог эскалатора. Впереди слева, в ядовито-желтом сиянии вестибюля, с урчанием клубилась толпа, подпираемая тесными створами турникетов; справа, по ходу Михаила Ивановича, четыре рассекаемые дверными стояками потока вливались в черную уже ночь. У стены неподвижно стоял старик с бессмысленными глазами, с какой-то медалькой на лацкане и измятой шляпой в руке; чуть подальше, перед раскрытой дверью с надписью «Пост милиции», лежал кто-то грязно-серый, с красными проблесками на голове, — наверное, пьяный... «И всем на меня наплевать», — с тоскою подумал Михаил Иванович — и вышел на улицу.

На земле бесились огни и звуки, рвущиеся из тесно обступивших площадь ларьков. Михаил Иванович обогнул пунктирно светящийся павильон и неторопливо пошел по узкому, бугристому под ногой тротуару вдоль трамвайных путей. Здесь, под старыми липами с плотной, черно-зеленой в рассеянном свете листвой, было темно и тихо. «Ну, ничего, — подумал Михаил Иванович, ощущая вдруг прилив сил — в последнее время он часто замечал за собой внезапные, необъяснимые перемены и самочувствия, и настроения. — Это жизнь... Ну, а у кого счастье — у Вальки? у Игоря?..» Игорь был другом Михаила Ивановича еще с университетской скамьи — хотя сейчас слово «друг» по отношению к Игорю он произносил скорее уже по привычке: в последние годы они даже звонили друг другу редко. Жизнь у Игоря была всю жизнь бестолковая, дерганая и путаная, в тягость себе и людям — еще и потому, что он издавна сильно пил, — а в свою очередь и пил он, наверное, потому, что его вечные поиски и метания — с надрывом, с восторгом вперемежку со смертной тоской, ничего общего с порхающим поденкою Валькой — были невыносимы без хмельного забвения... Но несколько лет назад Игорь вдруг (впрочем, это Михаил Иванович думал *вдруг*) уверовал в Бога: на середине пятого десятка крестился, враз, безо всякого лечения бросил пить, оставил институт, где он так и не защитил диссертацию, — и устроился на работу в Ботанический сад, ухаживать за растениями. Прошлой весной Михаил Иванович приезжал к нему за саженцами облепихи для дачи: Игорь вышел к нему с лопатой, в черном рабочем костюме, испачканном свежей землей, в неле-

пой — петушиным гребнем — вязаной шапочке, — и неожиданно, даже поразительно для своей нервной, всю жизнь истязавшей себя и других натуры благожелательный и спокойный... «Может быть, это и есть — счастье? — думал Михаил Иванович, шагая под старыми липами в еще более сгустившейся темноте. — Да, но все-таки что это за счастье... и что это за жизнь — растительная какая-то? — Михаил Иванович чуть улыбнулся невольному совпадению: растительная жизнь — в ботаническом саду. — Да нет, он покоен и действительно счастлив, а это главное... Но счастье не платье, чужое не подойдет. Это — не для меня».

Этим «это — не для меня» Михаил Иванович, казалось, подвел черту — неожиданно для себя именно сейчас окончательно принял решение, которое созрело — или, может быть, вынудилось — у него уже неделю назад, во время его последнего свидания с Люсей, — во время ее страдающего, беспомощного и даже чуть бессильно-раздраженного взгляда, во время дрожания ее губ, во время ее торопливых слов: «Неужели ты не понимаешь, что для меня это все?.. не понимаешь, что это для меня?.. Ах да, ну конечно же, ты не понимаешь... ну, так поверь мне, послушай меня!..» Она никогда так не говорила, она очень редко плакала, — он был побежден, сокрушен, он внутренне корчился от жалости, он очень ее любил... и тут к нему пробилась насмерть испугавшая его, нестерпимая мысль: «А вдруг она оставит меня?!», — это окончательно сломило его, и он почти закричал: «Все, Люся, все! Я обещаю тебе, у нас будет ребенок!..» Но когда она прошептала, обнимая его (и каким-то необычным, волнующим сладостной новизной было это объятие): «Я хочу сегодня... сейчас...», — он вдруг... нет, не то чтобы раскаялся, поколебался в своем решении, — он скорее просто испугался того, что столь огромное *это*, долженствующее перевернуть всю его жизнь, произойдет сию минуту, сейчас, — и сказал виновато, но твердо: «Нет, Люсик, только не сегодня. Это решено, мы это сделаем, но... в следующий раз. Ну что ты, Люся! — воскликнул он, заметив в ее приоткрывшихся глазах — к счастью, уже не отчаяние, а лишь огорчение. — Для меня же это тоже... ну, как ты не понимаешь?!» И они расстались (Люся — счастливая) до следующего раза, — и до сегодняшнего дня — нет, до настоящей минуты — он подсознательно день за днем оттягивал наступление этого раза...

«Вот и все», — сказал сам себе Михаил Иванович, и грудь его задышала легко и спокойно. Ярко-белая, чуть тронутая голубизною луна серебрила трамвайные рельсы и листья растущих перед мостом тополей. — «Я приду к тебе послезавтра... завтра я не могу — заседание кафедры, будет драка за гранты... а гранты нам с тобой теперь ох как нужны», — почти весело подумал Михаил Иванович, хотя в деле с грантами, вообще говоря, веселого было мало: по его теме Коньков проталкивал своего тупицу и жулика зятя, проталкивал через декана, с которым он был хорош, а тот, в свою очередь, имел лапу в соросовской

комиссии. Но сейчас все менее важные — то есть даже вовсе не важные рядом с Люсей... с Антоном и Люсей, но, тем не менее, тревожащие дела вспоминались Михаилом Ивановичем если и без удовольствия, то с энергичным желанием ими заняться и уверенностью, что все они разрешимы. Итак, что у нас на ближайшие... два дня? — до послезавтрашнего вечера, до Люси — до Люси... Вдруг непонятно откуда скользнула мысль, доставившая ему уже почти полное — и в то же время уже подсознательно отравленное стыдом — успокоение: «А может быть, и не будет его... ребенка? С первым мужем у Люси ребенка не было... и все будет как прежде — как прежде покойно и хорошо...» Но почти сразу же Михаил Иванович подавил все поглотившее чудовище своего *я* — представил, понял, как будет несчастлива Люся, — и смутился своей нечаянной мыслью так, что у него загорелись щеки. «Нет, нет, пусть все будет хорошо, — быстро и искренне подумал Михаил Иванович — и его стыд и разочарование в себе отступили. — Как хорошо, что я думаю и делаю так... не такой уж я, получается, дурной человек... — В глубине души Михаил Иванович, часто и по самым разным поводам укоряя себя, считал себя... так сказать, в основе своей — человеком хорошим. — И зачем было столько тянуть? Мучил ее и себя полгода... Денег нет? В конце концов, я вожу машину — подработаю после лекций извозом, — подумал Михаил Иванович, уже не приходя, против обыкновения, в ярость при мысли о том, что университетский доцент вынужден *калымить* на московских дорогах. — Иисус хорошо сказал: *трудящийся достоин пропитания...*»

И, стряхнув последние камушки с сердца, Михаил Иванович вернулся к ближайшим делам. Завтра с утра договориться о встрече с Крымовым — хватит откладывать, Антон дождется повестки. Потом университет, две пары... надо сегодня перед сном почитать. Потом окно — пообедать и зайти на филфак к Бавыкину, попросить, чтобы не ставил двойки Валькиной дурочке, — потом консультация у дипломников. После дипломников заседание кафедры, гранты. Не забыть сказать, что генезисом рельефа я занимался с восемьдесят шестого по девяностый год и у меня наработки, а тупица зять в это время кропал диссертацию по экономике какого-то польского воеводства... то есть об этом не надо говорить, и так все поймут. После заседания — в Ленинку, надо просмотреть для себя Княжицкого и для Люси пару статей: у нее через месяц отчет, а там еще конь не валялся. На старости лет, хе-хе, изучаю приматологию... После Ленинки домой, по дороге зайти к автослесарю... (У Михаила Ивановича были старые, восемьдесят третьего года выпуска «Жигули», бок которых две недели назад — когда Михаил Иванович по дороге на дачу остановился и зашел в магазин — ободрал какой-то мерзавец.) И всё деньги, деньги... шестнадцатого годовщина отца — уже какая годовщина? восьмая?.. — и до сих пор не по-

ставлен памятник! На поцарапанное крыло деньги есть, а на памятник нет... мать молчит, но конечно переживает. Все, хватит тянуть: весной собери все, что есть, займи у Гриши, поставь плиту — а потом выкручивайся как знаешь... Так. После слесаря домой, дома... да позвони ты, наконец, Андрею! — Андрей был еще один старинный (в сравнении с другими можно было даже сказать: стариннейший — с детских лет) приятель Михаила Ивановича, с которым они несколько лет назад разругались сейчас даже стыдно было сказать, из-за чего, — из-за политики. Была *перестройка*, настроения кипели — как во время гражданской войны; сколько дружб поломалось!.. Сейчас Михаил Иванович ясно осознавал, как это глупо, — думал о том, что старая дружба — огромная ценность, которую ничем нельзя заменить — уже потому, что для новой старой дружбы жизнь коротка; что она уже как будто не принадлежит только друзьям, что уже не только дружба для друзей, но и они для дружбы, что дружба уже самоценна, как кантовское добро, и их долг — эту дружбу беречь... Михаил Иванович уже давно думал так и давно решил позвонить Андрею — у него даже мысли не возникало о каком-то там самолюбии, — но за делами и отчасти, наверное, оттого, что он от Андрея отвык (*отвычка* — вот страшная опасность, подстерегающая поссорившихся друзей!), все откладывал и откладывал этот звонок... уже, наверное, раз пятьдесят откладывал. Все, завтра позвоню! Хватит! Да — и завтра же поговорить с Антоном. Пусть идет лаборантом к Аркадию: это все-таки университетская лаборатория, а не в каком-нибудь ООО торговать... На завтра, кажется, все. Послезавтра. Послезавтра — Люся... Утром — пара; потом окно: зайти к Аркадию, напомнить об Антоне; зайти к латиноамериканцам, взять статью Гурвича; зайти к Малофееву, попросить для Марины путевку; зайти... все, больше уже никуда не успею зайти. Дальше — две пары подряд. И — Люся...

Михаил Иванович улыбнулся и открыл подъездную дверь. В родном парадном, даже ободранном, было уютно, тихо. «Вот бы Люсю сюда», — смутно, не зная, как это может быть — чтобы она была здесь, подумал Михаил Иванович и утопил кнопку лифта. Кнопка не засветилась, и из шахты не донеслось ни звука: лифт не работал. Михаил Иванович нажал на кнопку еще несколько раз и — без особой, впрочем, досады — стал подниматься по высоким ступенькам. Дом был старым, начала пятидесятых годов, и на третьем этаже Михаил Иванович слегка запыхался; он снял шляпу и расстегнул плащ, чтоб не вспотеть, но продолжал решительно и быстро идти наверх, думая («маниловщина», — попутно оценил он), что неплохо бы вовсе отказаться от лифта и каждый день подниматься к себе на восьмой пешком. «Ну ничего, зато я к Люсе всегда поднимаюсь пешком», — успокоил он себя: Люся жила на третьем этаже пятиэтажного дома, и у нее не было лифта. Между четвертым и пятым этажами стояла компания подростков, курила; двое

из них поздоровались; Михаил Иванович, с трудом переведя рвущееся дыхание, как можно непринужденней ответил — ему было стыдно обнаружить перед мальчишками свою слабость — и бодро зашагал на пятый этаж. Он сильно, можно сказать — страшно (и неожиданно для себя — он давно не поднимался в своем подъезде пешком) устал, и это чувство — вместе с вдруг пришедшей к нему мыслью о том, что он не узнал никого из ребят (все подростки были ему на одно лицо — верный признак старения), — огорчило и вместе разозлило его: задыхаясь, страдая от противного зуда в ногах, с мокрым от пота лицом, он зашагал на шестой этаж через ступеньку...

В сплошной темноте глубоко в груди Михаила Ивановича вот уже почти пятьдесят лет безостановочно билось сердце. Конический, с плавными обводами мускулистый насос размеренными толчками перекачивал горячую вязкую жидкость из верхней своей полости в нижнюю и дальше наружу, в тело. Две маленькие артерии, питающие самоё сердечную мышцу, у Михаила Ивановича были сужены из-за отложения вредных веществ, и мышечной ткани для полного восстановления не хватало протекающей крови. Из-за этого тугая, плотная стенка насоса в одном месте истончилась и выпятилась — и растянутой перепонкой подрагивала при каждом толчке.

Михаил Иванович, пошатываясь, пересек площадку шестого этажа и упрямо ступил на лестницу, ведущую на седьмой.

Верное сердце, изо всех сил помогая телу, судорожным жимком стиснуло заполнившую нижние камеры кровь.

Истончившаяся стенка вздулась — и лопнула, как под ножом...

Михаил Иванович придушенно вскрикнул от страха и пронизывающей боли в груди. В другой раз он вздохнуть не смог; свет в подъезде затрепетал и погас, мир погрузился в тишину, темноту, пустоту — и умирающее тело с разорванным, истекающим кровью сердцем тяжко осело на пол...

Михаила Ивановича и всех его дел — не стало.

ОСТОЧЕРТЕЛО ТЕРПЕТЬ НЕМОТУ

* * *

По Москве брожу в шубейке,
Взятой напрокат,
Окунаюсь в крупный, клейкий,
Детский снегопад.
То ль брожу я, то ли брежу,
То ли по живому режу
Десять лет подряд?

Все мечусь туда-обратно.
Но куда, зачем?
Потому-то, вероятно,
Не пишу поэм.
В тридцать строк легко вместится
Льдышка — белая косица
В мартовской Москве
И мой новый, неуместный,
Снег, что покружит над бездной
И умрет в траве.

Вспомнит кто о нем наутро?
Может, абрикос,
С головой в туман укутан,
Да сырой покос,
А еще ручей проснется,
Из объятий гор метнется,
Но зачем, куда?
Море далеко-далече,
И дотянется ль до встречи
Слабая вода?

Елена АКСЕЛЬРОД — родилась в Москве. Окончила Московский государственный пединститут им. В. Потемкина. Автор семи поэтических сборников. Последние годы живет в Израиле.

В будни на площади

У нас в городке побирушек не сыщешь,
Правда, скрипач-инвалид
Вальсы пиликает, словно нищий,
Словно не площадь, а пепелище,
Хоть худо-бедно одет и сыт.
Нет, он играет не в поисках пищи,
Не потому, что в раскрытый футляр
Походя кто-то бросает монеты
(Музыка — недорогой товар,
Вряд ли хватит на сигареты,
К тому же они с каждым днем дороже),
А потому, что осточертело
До лихорадочной боли, до дрожи
Терпеть немоту в четырех стенах.
Страх, что музыка отлетела,
Сильней, чем прилюдного срама страх.

Не пишется

В расплавленное олово,
Иль головой с моста —
Все лучше слова голого
На паперти листа.
В тряпье из рифм корячится
И молча клянчит смысла...

С ног валится раздатчица,
И варево прокисло.

* * *

И повторенные стократ
Волны накат,
Грозы раскат —
Неужто знаменье утрат
В катящем по ухабам мире,
Где небо застит дым кумирен?
Зачем же воспевал певец
То золото и тот багрянец,
Зачем не предрекал конца?
Как сохранить черты лица

Не человека, а пространства,
Унылых осеней убранство?
Кого молю, сама не знаю,
Но кто бы ни был, — заклинаю
Продлить и лиры перебор,
И неподъемный камень гор,
И послушанье, и смутьянство...

* * *

Снова с детьми прощаемся,
Бесслезные... Будто в броне.
Как быстро мы превращаемся
В фотографии на стене.

Мы смотрим из тесных рамок,
С вылинявших портретов,
Где мы зачастую моложе
Тех, кто не взглянет на нас.
Заиграна эта драма,
На нее сколько хочешь билетов,
Но кто-то из верхней ложи
Со сцены не сводит глаз.

Этому режиссеру
Порядок прощаний известен:
Текст послушать вполуха,
Небрежно взмахнуть рукой.
Все декорации впору,
Каждый актер на месте —
Комическая старуха,
Дед с реквизитной клюкой...
Кому рожать,
Кому провожать,
Кому — окаянный покой.

* * *

Как пережить, что нельзя пережить?
Оказывается, можно.
Горстку камней на плиту положить,
А после в пыли дорожной
Взглядом невидящим отмечать
Прыть суеты мышиной,

Новых гостиниц спесивую стать,
Банки, витрины, машины.
Шатаясь, войти в опустевший дом
С хлопочущими друзьями,
Неделю с гостями сидеть, а потом —
С пустыней, одетой горами.
И снова по улице молча кружить,
Как на прогулке острожной...
Жизнью пустынною дорожить,
Оказывается, можно.

* * *

Твой мир с лица земли не смыт,
С лица долины опаленной,
Глотает воздух раскаленный,
Но как стоял, так и стоит,
Температура подскочила,
А ты строчишь, как и строчила,
И даже, как всегда, больна
Растерянностью домоседа,
Самолюбивца, самоеда,
И, как обычно, влюблена
В кого, еще сама не знаешь —
В того ль, кого стихом пленяешь,
В того ль, чьим даром пленена,
Или в того, кто не читает,
Не знает ваших сочинений,
А знает, что земля Святая
Под вами, и ее ступени
Вам не под силу одолеть
И болью лишь ее болеть,
Пока ваш мир не будет смыт
Ее дождем — и с нею слит.

* * *

Косули цвета камней,
Камни цвета косуль —
Все в безвозвратность канет
Без всяких взрывов и пуль.

Но сколько дано пока мне!
Вверх смотри или вниз —
Косуля дозором на камне,
Еле подвижный бриз
В ленивое море манит,
А хочешь — в небо взберись.

В сизой, коричневой праздности,
Ко мне вполне безразличной,
Думать о безвозвратности
Пошло и неприлично.

Через двадцать лет

Улыбнулся. Взъерошил мне волосы,
Как тогда. Двадцать лет — будто не было —
В заповеданной нашей волости,
В черном Питере Достоевского,
Где раздумий твоих всласть отведала.

Ты и сам — и Рогожин, и Мышкин,
Я боялась движения резкого,
Я боялась рогожинских вспышек.
Я боялась неосторожного
И небрежного полувопроса
И похмельного, бестревожного
Глаз насмешливых черного плеса.

Улыбнулся, мне душу взъерошил,
И вперед — на великое действо.
Что тебе. Мой князь, мой Рогожин,
До Настасьи твоей иудейской?

* * *

Приезжай ко мне, не откладывай,
Нет у нас ни «пока», ни «потом».
Все прорехи меж нами не латаны,
Время тает, как снежный ком,

Утекает дождями чуть слышными,
Осыпается легкой листвой.
Голосами ненужными, лишними
Голос мой заглушает и твой.

Что же речи твои так уклончивы?
Разве мало — жизнь под уклон?
Но поверь — ни с чем не покончено —
Ни с дождями, ни с шелестом крон.

Оплачу все долги неоплатные,
На часы глядеть не хочу.
— Приезжай ко мне, не откладывай!
Через годы свое бормочу.

Екатерина ДУБИНИНА

DO YOU SPEAK ENGLISH?

Меня телефон разбудил. Должен был будильник на час раньше.

— Алло.

— Орел, у тебя как сейчас со временем? — поздоровался Ваня Глинский. — Тут такой цирк со слониками...

— Со временем туго, — вклинился я. — Здравствуй, Ваня.

Когда столь официально нас, грешных, приветствуют девушки, это может означать целую гамму чувств: от «какого черта мне звонишь» до «почему же так долго не звонил». В случае с Глинским моя формулировка переводилась всего-навсего: только быстро и по делу, Глинский, нервный ты все-таки и невежливый.

Быстро и по делу не получилось. Тыр-мыр, клин-блин, хорошо бы, Орлов, тебе к Хельге подъехать.

— Вань, ей-Богу... Ты вечером дома будешь?

— После одиннадцати.

— Я перезвоню обязательно. Пока, — я положил трубку.

Кое-как привел себя в порядок, вспоминая на ходу, что сегодня должен сделать. Как минимум, в редакцию не опоздать. В пять на Ульяновской у меня стрелка забита: Круглову я обещал словарь его суперценный вернуть. А к семи нужно быть в консерватории. В тот день выступала моя тетка.

Я вырулил на кухню.

— С добрым утром, Бог, говорит Бах, — отсалютовал я деду.

— Мама просила тебе про консерваторию напомнить, — вернул волан дед, — что-то про костюм, про галстук...

— А что про галстук? — заржал я, чуть не вывалив на себя пачку творога.

— А про галстук, Дмитрий, так: тот, который ты называешь жлобским. Вот его обязательно. Потому что он не жлобский, — дед еле сдерживал смех, — а единственно приличный из всех твоих, — он все-таки расхохотался, — галстуков.

— Хе-хе. Да. Смеху будет, если я заехать переодеться не успею, — глянул я в дверное стекло. Чует сердце хамеж, хоть из дому не выходи.

Екатерина ДУБИНИНА — Родилась в 1975 г. в Москве. Окончила Лингвистический университет им. Мориса Тореза. Живет в Долгопрудном Московской области.

И чутье не подвело. В редакции перевод мне вернули на доработку; с Кругловым мы почему-то не встретились; а в консерваторию я прикатил в красненькой футболочке со спортивной сумкой через плечо. Сказал «добрый вечер» родителям и отгородился от мира программкой. Мама что-то едва слышно втолковывала отцу, тот кивал, затем произнес: «придурок» и «не волнуйся». Когда все закончилось, я решил, что никто переживать не будет, если я затеряюсь в толпе.

Дома я появился в двенадцатом часу. Подпитался. Набрал номер Вани Глинского.

Оказалось, Глинского дернул черт навестить сегодня Хельгу. Ваня нашел ее (якобы) в состоянии острого психоза. Хельга что-то выкрикивала, ничего толком не могла объяснить. Чиркнула пару раз по венам. Требовала оставить ее в покое... Глинский полдня проторчал с этой дурой. Запорол свои дела.

Не повезло человеку. Мы попрощались.

Сегодня дурной день. Как там дальше? Сегодня дурной день. Ту-ту-ту ту-ту спит. А вот телефон звонит...

— Алло, — наш герой говорит.

Я услышал голос Леши Круглова, который предлагал съездить в одно веселое место. Кузнечиков хор спит. Все. Вспомнил. От радости я чуть было сходу не согласился, но, встрепенувшись, кастрировал свой о'кей до окх. Знаю я ваши места веселые. Круглов давным-давно вляпался в роман с Хельгой. Послать к черту истеричную подругу ему мешала трехкомнатная квартира, оставленная Хельге предками, отбывшими в Израиль. Кроме того, Хельга была красива и умела изящно льстить начинающему писателю.

— Ну что?

— Почем билетики? Глинский был на генеральной репетиции. Полный восторг.

— Так ты в курсе, — протянул Круглов. — Орел, я один туда ехать не могу, вдруг она действительно что-нибудь учудит.

— Учудит — тебя посадят.

— Привет!

— Не «привет», а «доведение до самоубийства».

— Послушай, — тихо рассердился Круглов. — У человека поехала крыша. Это смешно?

— Если у нее действительно поехала крыша, это не смешно.

— Дим, я с ней сегодня разговаривал по телефону... Это совсем не смешно. Давай съездим, а?

Круглов ждал меня на Соколе в конце платформы. Выяснив, сколько я проторчал впустую на Ульяновской в тот день, коротко извинился и заговорил о наболевшем: ты только посмотри, кого сейчас издают!

Мы вышли из метро.

— ...разве так говорят: «сомнения отравляли ей душу»?! — разорялся Лешка. — Душу травят, а отравить можно настроение. Согласен?

— Угу. Не злись, пожалуйста. Талант должен быть выше этого. Я же не злюсь.

— А ты причем? — ляпнул Круглов.

— Я очень талантлив. Это факт.

— Ты что, плохой? — прибалдел Круглов.

— Плохой. Но объективный. Не переживай, ты ведь тоже не без способностей.

Пока Лехины мозги сумели выстроить нужную реплику, произносить ее вслух было уже глупо. Так мы и топали дворами, Круглов со своей репликой в голове, я с сигаретой. Какая-то девица шарахнулась от нас, подвернув каблук. Круглов чертыхнулся ни с того, ни с сего.

— Дай сигаретку, видишь, последнюю уронил.

— Верю на слово, — я протянул ему пачку.

Подошли к нужному дому.

— Этот подъезд?

— Этот, — ответил Леха.

В подъезде целовалась парочка. Где мои семнадцать лет. Круглов свои завидки оформил цитатой из Цветаевой. Он, мол, и сейчас готов страдать под звук органа. За всех.

— Звони, — говорю. — Щас за всех и пострадаешь.

Дверь распахнула Хельга. Не настолько безумная, чтобы не удивиться визиту к ней в час ночи. Хельга с интересом нас рассматривала, не приглашая войти.

— Заходи, Дим, — наконец выговорила Хельга, — а писатель наш пусть катится.

На-армально. Кто друг, кто враг — видит четко. В порядке у нее крыша.

Круглова (прямо на пороге) спросили, собирается ли он жениться на любимой женщине. В лоб. Без излишних реверансов. Бедный Круглов, изобразив на лице нечто неопределенное, попытался пройти в квартиру. Фиг. Развлекаться в другом месте будешь, графоман.

Подмигнув Круглову, я побежал вниз. Подростки, слышавшие все это, давились от хохота. Я им бросил на ходу, что отвлекаться от поцелуев вредно, и вышел из подъезда, чувствуя себя последним идиотом.

Закурил. Остыл немного. Все равно, думаю, хорошо, что с Хельгой ничего страшного. Сейчас посидим, побазарим... Надо бы купить что-нибудь... Палатки еще работают...

Когда я вернулся, Леша уже растворился в ночи. Мое появление со снедью под мышкой было воспринято с должным юмором:

— Заходи. Отметим помолвку.

— А Круглов где?

— За кольцом побежал. Такой романтик... Вы что, разминулись?!

— Угу. Давно он за кольцом-то побежал? Ночью впотьмах еще подсунут дрянь какую-нибудь... Очень неосмотрительно с твоей стороны.

— Уймись, а то следом отправишься.

Мы прошли на кухню. Хельга поставила чайник. Стала делать бутерброды. Я сидел курил. Молча. Нам в универе читали курс психологии. Есть такая штука, перенос реакции называется. Принимая во внимание этот феномен, вместо Круглова по башке от Хельги вполне мог и я сам получить, поэтому сидел курил молча.

Хозяйка, закончив с бутербродами, вытянула из пачки сигарету и, усмехнувшись огоньку моей зажигалки, прижгла сигаретку собственноручно. Бывает.

На столе лежал томик Тургенева, рядом — флакончик лака. Хельгу я с накрашенными ногтями сроду не видел. И Тургенева она перечитывать не будет. Тоже мне кладезь мудрости.

— Тургенев лежит... У тебя гости, Хельгочка?

— Ага, — примирительно кивнула Хельга. — Анжелка. Видик смотрит. Я пойду ее позову.

Какое-то время девчонки развлекались байками об общих знакомых. Потом стали обсуждать насущные проблемы: кому во сколько завтра вставать; где взять богатого любовника; с точки зрения мужской психологии... и так далее. Я не возникал. Кушал и слушал.

Около трех мы разошлись спать. «С точки зрения мужской психологии...» Балбески. Все точно у Щербакова: мы только одиноки одинаково. Пилигрим у него в Крым намылился. Просрали Крым. Хохмач Аксенов. «Вам куда? — спросил я ее. — А вам куда? — спросила она. — Давайте все сначала.»

На другой день Хельга предложила мне поработать Дедом Морозом:

— Вот здесь кругловские шмотки. Вроде бы я ничего не забыла. Хотя этот свитер он мне подарил. Нет, держи свитер. Больно надо его вспоминать. Кстати, передай своему другу, что...

— А где Анжела?

— Уже ушла. Так вот ты ему передай...

— Это у нас что-то горит?

— Каша! — сообразила моя подружка.

За завтраком Хельга вслух подсчитывала количество месяцев и недель, потраченных на Леху Круглова.

— Самое обидное, я его книжонки чуть ли не наизусть выучила!

— Ладно, не так уж много у Круглова книжонок, не дави на жалость, — усмехнулся я.

— А переводы?! — задохнулась Хельга. — Слабо переводики его с английского на обезьяний почитать?!

— Ну, это ты не ври. Переводчик он классный.

— Ага. Burned — это у твоего друга — в романе о проститутках — не «подцепивший триппер», а «обгоревший на солнце»...

— Хельга, я все-таки ем.

— Извини, — (и без перехода). — Вот скажи, Орлов, почему вот ты у нас неженатый бегаешь?

— Я тебя любил, а ты с Кругловым роман крутила. Я страдал. Теперь такие бестактные вопросы задаешь. Держи бутерброд. Круглов тебе бутерброды делал? Не делал. Проморгала, балда, свое счастье.

— Димка, ну почему мне не везет? — простонала Хельга.

— А кому везет?

— Твоей сестре повезло. Женька молодец.

Моя младшая сестра в прошлом году вышла замуж за богатого мужика. По-настоящему богатого.

— Не страдай. Поехали к ним завтра на дачу. Они меня давно приглашали. Подберем тебе там кого-нибудь. Ты только разговоров умных не заводи. Не хами судьбе. А так... девка ты видная... Дорвешься до бабок, не оставь меня своей милостью.

— Орлов, только я туда приеду в качестве твоей женщины, — раздумчиво произнесла Хельга.

— Зачем?

— Ты красивый и наглый. У таких, как ты, женщину увести — дело чести.

— В тебе погиб великий полководец.

— Значит, мы это дело забили.

— Для любимой женщины чего не сделаешь, — подмигнул я ей. — Ну а ты в знак признательности без меня реши вопрос с Лешкиными вещами.

— Дим, мне больше не с кем передать, — строгий взгляд, глубокий вздох.

— Дай я ему позвоню.

Хельга принесла из комнаты аппарат.

— Спасибо, — я стал крутить диск. — А сама выйди. Не смущай меня. Я только что, можно сказать, друга предал. Алло, Леш, привет... О'кей. Твои извинения приняты... Разминулись просто... Она как раз рядом стоит. Передать ей трубочку?.. Понял... Все правильно... Леш, женщина обиделась, пытается всучить мне пакет с твоим барахлом... Проблема в том, что мне это на фиг вперлось... Привет тебе передает, — я обернулся к Хельге. — ...Нет, грыжи у меня нет. Ну, хорошо, хорошо... Я вижу, ты тоже обижен... А что мне, плакать? Странные вы оба... Ну, пока, — я повесил трубку. — Повезло тебе, подруга.

— Дим, но мы, правда, завтра в гости едем? — столбила удачу Хельга.

— Едем. В конце концов я тебя восемь лет знаю, а Круглова только три. Так и быть, отвезу развеяться.

Наши отношения с Юрой Малышевым, моим зятем, напоминали отношения между первым студентом курса и камээсом по дзюдо с того же курса. При виде друг друга оба испытывают легкое раздражение. В роли отличника выступал, понятно, Женькин муж. В свои тридцать пять Юра вдруг почувствовал: падла жизнь ему чего-то по-крупному не додает. Малышев сбегал к психоаналитику. Трудный случай, сказал тот. Короче, рявкнул Малышев. Вы к кому-нибудь испытываете беспричинную неприязнь? — полюбопытствовал эскулап. — Если да, то от того, сумеете ли вы перебороть себя, зависит ваше душевное спокойствие.

С тех пор я стал желанным гостем в дому бизнесмена.

В воскресенье, увидев Юркин особнячок, поймал себя на мысли, типа «Малышеву бы мой вкус тонкий...».

— Здорово, Митяй, — хлопнул родственник меня по плечу.

— Привет, олигарх.

— Да какой там олигарх, — расплылся Малышев. — Молодец, что приехал. Красавицу такую в гости привез.

— Знакомьтесь. Красавицу зовут Хельга.

Хельга улыбнулась.

— Замечательное имя. Я попроще подписываюсь. Юрий Малышев.

Я мысленно похлопал в ладоши.

— Куда жену дел, Малышев? В мешок и в воду?

Кто-то, обхватив меня за шею, повис за спиной. Через секунду сестра уже обнимала Хельгу.

— Хельга! Ура! Пошли в дом. Что ж вы Лешку не захватили? — без всякой задней мысли добавила сестричка.

— А зачем нам Лешка? — я приобнял Хельгу.

Малышев хмыкнул. Женька вообще ничего не поняла.

— Юр, у вас тут гости, — я кивнул на убойные тачки.

— А, занервничал, — гоготнул Малышев. — Отобьют у тебя Хельгу. Лично прослежу.

Хельга недоуменно приподняла бровь. Я развеселился.

Сестра увела Хельгу в дом. Меня Малышев потащил знакомиться с мужиками.

Бизнесмены изобразили максимум дружелюбия. (Расслабься, пацан: деньги не главное, — читалось на их лицах.) Женщины подчеркнуто незаинтересованно со мной поздоровались, из чего я заключил, что все они пока еще пребывают в статусе любовниц.

— Вот, — заржал Малышев, — послал Бог родственника. Не хочет деньги делать. Хоть режь. А все почему? Детство у него, понимаешь, во Франции прошло. Отрочество в Женеве. Кузен вон твой тоже из мажоров, — обернулся он ко мне. — А сориентировался верно в нужный момент. Как Герка-то поживает? Не посадили еще? Эх, плачет тюрьма по Герману Геннадиевичу, плачет. Ты, Сань, в курсе, что Герка отколол?

— Более-менее, — уважительно кивнул Саня. — А вы, молодой человек, чем занимаетесь? — обратился он ко мне.

— Вот и я про то же, — сострил Малышев. — Нет, Митяй, вот чего ты делать собираешься после своей аспирантуры дурной? А?

— Собираюсь давать советы богатым людям, — пожал плечами я.

Богатые люди на секунду закоченели. Лучше бы я сказал, что собираюсь их отстреливать.

— Это мы так шутим, — объяснил Малышев гостям мою бестактность.

Больше мне вопросов не задавали. Компания расслаблялась под музыку Кашина. Дамы вполголоса обсуждали оздоровительные центры. Наиболее продвинутые делились впечатлениями на московском английском к плохо скрытой досаде своих не столь образованных товарок. Мужиков их чириканье навело на неожиданные мысли.

— Дим, не в службу, а в дружбу, проверь, чего там Юлька за два месяца выучила, — попросил меня Юлькин мэн. — Плачу деньги и не знаю, за что. Если не трудно, конечно...

— Сделаем, Гриш, — стараясь не расхохотаться, ответил я.

— Ты главное посмотри, стоит ли ее вообще учить, — усовершенствовал задание Гриша.

— Ну... В этом уж сомневаться грех, — я одарил Юлю в меру неприличным взглядом.

— Димыч, а парой с Инной их проверить нельзя? — обратился ко мне Саня.

— Можно парой, — согласился я, дивясь людской безыскусности.

— Спасибо, Митяй, — поблагодарил за всех разом Малышев. — Вы идите в дом, а то здесь музыка... мы разговариваем...

Красотки поднялись с кресел, окинув меня насмешливым взглядом. Я, прихватив сигареты, двинулся за ними. Не желая метать бисер понапрасну, женщины предупредили, что у них американ инглиш. Я сказал, что буду иметь это в виду. Мы расположились в одной из комнат. Посоветовав девицам припомнить, чему их учили на курсах, я пошел искать сестру. «Евгения Константиновна вышла в сад с гостьей, — отчеканила горничная. — Здесь два выхода», — строго добавила женщина.

Инна с Юлей ждали меня, потягивая кьянти.

— Ну-с, приступим к даче показаний, — я плюхнулся в кресло.

Добрых полчаса ушло на поиск заученных девчонками топиков. Инна почти без ошибок перепела бонковский текст про Москву: много улиц, много площадей, еще Кремлин есть. Все верно. Кто спорит?

Юля попыталась рассказать о своем хобби — чтении детективов.

— Значит, детективы любите, — уточнил я по-английски. — А современными российскими не интересуетесь?

— I like books of Aleksandra Marinina*, — прозвучал ответ.

Если бы это слышал Круглов, он придушил бы любительницу Марининой не раздумывая. Эта баба снилась Леше в кошмарах. Тем не менее, каждую новую книгу писательницы он, матерясь, прочитывал от корки до корки, отмечая на полях стилистические ошибки.

— As for me I am fond of Aleksej Kovrin. His books are really great**, — вмешалась Инна.

Под псевдонимом Коврин творил Леша Круглов. Может, кто-то другой имелся в виду? Нет. Все точно: девушка не только назвала две Лешины книги, но и передала краткое содержание прочитанного (по-русски, естественно). Я почувствовал, что не зря приперся в гости к Малышеву. Смеха ради поинтересовавшись, что особенного Инна нашла в Лешкиных детективах, я получил ответ, что мой друг, оказывается, редкий знаток женской психологии. Принимает женщин такими, какие они есть.

— У вас есть возможность побеседовать с его литагентом, — не моргнув глазом, заявил я. — Ее зовут Ольга Викторовна.

— Подождите, подождите, — взволновалась Инна. — Это та девушка, с которой вы вместе приехали?

— Да, это та девушка, — улыбнулся я, — но Ольга терпеть не может, когда ее воспринимают, как приложение к известным авторам, ставшим таковыми не без ее помощи, — охолонул я поклонницу кругловского таланта.

— Ой! Как интересно! — взвизгнула Инна. — Дима, у меня скоро день рождения. Женю с Юрой я уже пригласила. Было бы чудесно, если бы вы с Ольгой тоже пришли, — беззастенчиво добавило дитя.

— Инночка, вне зависимости от того, придет ли Ольга, уверен, ей будет приятно проявление столь неожиданной симпатии к ней с вашей стороны, — промурлыкал я. — Мы немного отвлеклись от английского. Хотя... Нет смысла утомлять способных к языку людей дурацкой проверкой их знаний.

Красотки заулыбались. Юля даже покачала ногой, не подразумевая, впрочем, ничего дурного. Девушки высказали предположение, что коенад-чем в языке, наверное, все же надо поработать. Умилившись, я посоветовал им слушать английские радиостанции и отслеживать с зеркальцем правильную постановку губ.

За обедом Инна вовсю кокетничала с Ольгой Викторовной, вогнав ее в состояние легкой паники.

Улучив момент, я растолковал Хельге, что из трехлетнего романа с неблагодарным Кругловым можно извлечь некую выгоду.

— Какой цинизм... — молвила Хельга.

---

* Юля хотела сказать, что ей нравятся книги Марининой.

** Мне нравятся рассказы Алексея Коврина. Они замечательные (англ.)

— С паршивой овцы хоть шерсти клок, — перевел я на русский ее мысли.

— Орлов, а все богатые мужики такие? — неприязненно спросила Хельга, поглядывая на бизнесменов.

— Какие «такие»? — я почувствовал себя дилером, предлагавшим некачественный товар. — Обычные технари, только с деньгами. Ну, немного косноязычны, не без этого. Ты всю жизнь общалась или с филологами или с бездельниками, что почти одно и то же. Вот напорешься на второе такое сокровище, как Круглов, вспомнишь еще этих.

— Второго такого нет, — потупилась Хельга.

— Да уж нарыла, ничего не скажешь, — строго заметил я.

— Димка, ты же его совсем не знаешь, — дрогнул голос моей подружки.

В который раз поражаясь женской дурости, я выслушал, какое трогательное у Круглова лицо, когда он спит. Как красиво Круглов щурится, затягиваясь сигаретой. Какие у него запястья. Что-то там про нос еще...

— Господи, как мне плохо! — Хельга вытянула из пачки сигарету.

— Плохо! У Алексея, может, на нервной почве творческий кризис открылся, — обнадежил я женщину.

— Тебе все шуточки.

К нам подошла Женька:

— О чем шепчетесь, самозванцы? — засмеялась сестра. — Инна спит и видит вас на своем дне рождения. Я вас не продала, но от себя добавила, что Хельгочка не просто литагент, а женщина, в которую Леша безнадежно влюблен, поэтому и позволяет ей наживать денежки на своих детективах. Хельга, да плюнь ты на него, — добавила Женька.

— Ты, Евгения, помнишь еще, как наш Леша выглядит? — полюбопытствовал я.

— Ну, да. В общем, — насторожилась сестра.

— Какой у него нос?

— Как тебе не стыдно, — рассердилась Женя. — У каждого человека есть над чем...

— Что и требовалось доказать, — кивнул я.

Хельга нервно засмеялась. Женька стояла расстроенная.

— Все нормально, Евгения, — успокоил я сестру. — Скажи спасибо человеку, — обернулся я к Хельге. — И сходи к окулисту: ты, как выяснилось, косоглазием страдаешь.

— Перестань, — одернула меня Женька. — Круглов свое счастье проморгал, а мы завтра идем с Хельгой на презентацию.

— Ребята, я вас так люблю! — чуть не плача сообщила нам Хельга.

Во вторник вечером ко мне приехал Леша Круглов. Накануне мама с отцом улетели во Францию, поэтому некоторая пьянка подразумевалась сама собой.

Мы с Кругловым познакомились в период моего наивысшего раздолбайства. Я, помнится, нахамил отцу, и дед выпер меня на месяц из дому. В момент ссоры срок изгнания прозвучал, как две недели. Когда пай-мальчик с извинениями вернулся через две недели, ему предложили поотсутствовать еще две. Я, кстати, перекантовывался тогда у Хельги, где тусовалась чуть ли не половина всех московских придурков из так называемых хороших семей. Там мы и встретились с Кругловом. Тот после первой же брачной ночи с Хельгой почувствовал себя хозяином в доме и в два счета разогнал всю шарагу. Выметая из квартиры народ, меня он почему-то не тронул.

Я в те дни писал диплом, на собственной заднице постигая смысл слов «военный корреспондент». Круглов обеспечил мне нормальные условия для работы, хоть и впрямую такой задачи перед собой не ставил.

В общем, мы подружились.

Лешка пришел часов в девять.

— Здорово, — буркнул он, шагнув в квартиру.— Андрей Семенович дома?

— Дед работает в своей комнате. Это мне за труды презентик? — я кивнул на дорогой коньяк, который гость достал из сумки.

— Не опошляй момента, — попросил Круглов. — Сегодня с «Вече» договор подписал.

— Поздравляю. Я тебе говорил, мне на днях перевод завернули?

— А ты с кем работаешь? — уже в моей комнате спросил Круглов, имея в виду редактора.

Я назвал. Лешка хмыкнул.

— Что сказал?

— Да он сам не повторит, что сказал.

— Положи, — подбодрил меня Круглов. — Хочешь, завтра вместе взглянем? Ты свою беду как окрестил?

— «Семь футов под килем».

— Чуковскому на зависть, — прокомментировал Круглов. — А что тебе все-таки Семихолстов сказал?

— Настаивает, что не может гомосексуалист находится в гармонии с самим собой. У вас, говорит, герой больно жизни радуется. Ладно, пошли на кухню.

— Может, Андрей Семеныч присоединится, или неудобно... — замялся Лешка. — Стой. Я, кажется, забыл поздороваться.

— Иди поздоровайся. Потом на кухню приходи.

Дед составить компанию отказался — коньячок мы жрали на два рыла. Разговор, как обычно, перетек на женщин. Постепенно косея, мы с Кругловым ломились в открытые ворота, доказывая друг другу, что «чем глупее — тем милее» — в пределах разумного, конечно, хотя маслом каши не испортишь... и так далее. В тот, примерно, момент, когда

Леша возопил: «знаешь, что такое подлость», — затренькал телефон. Я поднял трубку.

Звонил мой двоюродный братец.

— Димон..

Пауза.

— Димон...

— Что случилось? — перепугался я.

— Все нормально. Ты чего? — хмыкнул Гера.

— Идиот.

— Поговорили.

— У-гу.

— В общем, Димон... Мы свои люди... В наше время...

— Пшел на хер.

Я нажал на рычаг.

В начале марта Герман, разозлившись из-за какой-то ерунды, устроил сцену: «ты всегда мне завидовал, Димон... на штуку и успокойся... мало штуки?». В таком примерно духе.

— Ну, и что такое подлость? — уставился я на Круглова.

Телефон снова зазвонил.

— Алло.

— Дим, я подъеду сейчас, — известил Герман. Конец связи.

Я набрал номер его мобилы.

— ...не фиг сюда подъезжать, — тактичный Круглов вышел из кухни, — я тебя три месяца не видел, как-нибудь переживу еще три месяца.

— Слушай, что нам делить? Ты мой брат, — напомнил Герман.

— Я серьезно говорю, что не хочу тебя видеть.

— Дед дома?

— На даче, — соврал я.

— Не гони, я туда звонил, — уличил меня братец.

— У меня в гостях Леша Круглов. ...ли перед ним грязным бельем трясти?! — просвистел я.

— Вот и не тряси. Открой мне дверь... Еб... у вас тут проблевался кто-то... Открой дверь. Дурдом какой-то...

Я впустил его в подъезд. Заглянул в свою комнату: Круглов смотрел телек:

— Ничего, что я включил?

— Ничего, что ты включил... Герман Геннадиевич вот скучает. Вы, вроде, знакомы. Наглый как...

Раздался звонок в дверь.

Гера стоял на пороге: в одной руке — сотовый, в другой — блок моих любимых сигарет. Все это было бы смешно...

— Заходи.

Брат молча покачал головой. Затем произнес:

— Выйди на минуту.

— Так. Ты или заходишь, или я закрываю дверь.

— Ну, выйди, Господи.

Я, пожав плечами, вышел на площадку.

— Так вот, — Гера выдержал паузу. — Я тогда неудачно пошутил. Будет желание — позвони,— братец горько усмехнулся. — Извини, Дим.

Герман пошел к лифту. Нажал на кнопку. Повертел в руках блок сигарет. Молча положил его на почтовый ящик. В детстве этого ...дильника в кино пару раз сняли. На всю жизнь покалечили.

Пришел лифт.

— Гер, сигареты захвати. Соседи увидят — решат бомба.

Брат с перекошенной физиономией сунул блок под мышку и, не глядя на меня, прошел в квартиру, сам себе обгадив тонко выстроенный кадр.

Гера направился к деду.

Я поспел к следующей сценке: дед, с сожалением поглядывая на огромный перстень брата, растерянно внимал восклицаниям типа «дед, только тебе я и нужен в этой жизни». Не без гадливости косясь на камень, дедушка задал наконец сакраментальный вопрос:

— Герман, что это?

— А что?

— Сними и не надевай больше никогда.

— Дед, это подарок, — нашелся брат. — Женщина подарила, — с неким вызовом сообщил он.

— Марина Цветаева. Не иначе, — подмигнул я Герке.

— Глупости, — рассердился дед.— Такую безвкусицу...

Я заржал. Герман стукнул меня слегка по шее блоком сигарет, который все еще держал в руке, утверждая тем самым наше окончательное примирение.

— Слушайте, у меня Круглов ведь в гостях, — встрепенулся я.— Пить будешь, деятель?

— Буду.

— Ну, пошли тогда.

Леша Круглов курил на кухне. Герка искренне рад был его видеть:

— Лех! Здорово! Хоть с людьми нормальными пообщаться!

— Привет, Гер, — они пожали руки.— Как дела?

— Дела в прокуратуре, а у нас так... делишки, — махнул рукой Герман.

Круглов кивнул без улыбки, отмечая по-писательски машинально избитость формулировки.

— Тэ-экс. Хорошая вещь, — брат кивнул на бутылку.

— Ну так! Круглов как чувствовал, ты приедешь.

— Чувствовал, — передразнил меня Гера. — Пятнадцать капелек от сердца. Кто из нас самый молодой?

Самым молодым был я.

— Нет, исключено. Я не пойду никуда.

— На машине... Делов-то...

— Вот и прокатись.

— Ну, съезди. У меня день был — врагу не пожелаешь.

— Гер...

— Веришь, Димон, последние нервы сегодня растерял! Пригре-ел... прости Господи, — проскрежетал Герка.

— Судьба у тебя. Разжалобил. Давай ключи.

Герман кинул мне ключи. Они шлепнулись на пол.

— Подними и не выеживайся. Ты, кстати, деньги забыл предложить, — сказал я.

— Я, кстати, об этом подумал, но побоялся тебя обидеть.

— Зря. Давай денежки и подними ключи.

Герка, ухмыльнувшись, поднял ключи от машины, протянул мне их по-человечески. Достал из кармана пару купюр.

— Купи еще одну такую и... Что еще, Леш? — обернулся он к Круглову.

Круглов деловито высказал свои пожелания. Я почувствовал себя мальчиком на побегушках.

— Пошли, Круглов. У меня склероз. Сам все и выберешь.

Круглов закатил глаза к потолку.

— Поднимай задницу. Я один не поеду, — разозлился я.

Вернувшись из маркета, я обнаружил Германа в своей комнате. Брат высыпал на диван все мои компакты. Кассеты валялись на кресле. Герман сидел за компьютером: пасьянс раскладывал.

— Ну, наконец-то, — не отрываясь от экрана, приветствовал он нас.

— Закругляйся, — как можно спокойнее сказал я, сделав вид, что не заметил устроенного им безобразия.

— Все купили? — осведомился Гера.

— Как просили, Герман Геннадиевич, — отчеканил я.

— Хэгм... Злишься чего-то... О! Мозги есть мозги! Видал?!

— Умничка. И часа не прошло.

— Ты чо? Минут десять! Я ведь музыку нормальную подыскивал.

Брат, захватив центр и пару компактов, пошел на кухню, кивком головы давая понять, чтобы следовали за ним. Я вдруг ясно осознал, почему произошла Великая Октябрьская.

На кухне Круглов, внутренне корчась, переводил Герману что-то из »Doors».

— И все? — не поверил Герман.

— Примерно так, — серьезно ответил Круглов.

— Ну-ка, Димон. А ты попробуй? — заинтересовался братец.

— Минута синхронки сказать сколько стоит?

Круглов заржал. Мы наполнили рюмашки.

— За встречу, — серьезно сказал Герман.

— ...на Эльбе, — добавил я.

Брат укоризненно покачал головой. Через несколько минут он вырубил «Doors» со словами «и так крыша едет».

— Нет ли у тебя... — Герман вкрутил невидимую лампочку.

— «Попок-жопок» что ли?

— Ну не »попок-жопок», а скажем... Никому! Ну, никому верить нельзя! — сформулировал Герка.

Вскоре его утешал Гарик Сукачев. Песенка была «Горит Огонь».

— ...про меня, — расчувствовался брат.

— Про жизнь... — поправил его Леша.

Я тряхнул башкой. Наливай, говорю.

Узюзюкались мы довольно быстро.

— Лех, давай бабки научу делать?! — рвал рубаху на груди Герман. — С людьми тебя сведу нужными. Ладно, этот, — брат ткнул вилкой в мою сторону. — Он у нас Богом обиженный. Но ты-то? Взрослый ведь мужик, а хрен знает чем на прокорм зарабатываешь! Ты не обижайся. Здесь же свои все...

— Ты себя ни с кем не спутал? — загрустил я.

— Я с Лексеем разговариваю.

— Ну-ну.

— Ты пойми, Лех. Сейчас только ленивый не ворует. Все так живут. Одни воруют — другие жопы лижут всем подряд. Для верности. Ну, скажи. Не прав я?

— Не совсем, — промямлил Круглов.

— В этой жизни, Леша, или ты... Или, пардон тебя, — развел руками Герман.

— Еще по цепочке можно, — сказал я.

— За столом же сидим, — передернулся брат.

Помолчали в философской тональности.

— Хорошо. В чем-то ты, Димон, и прав. Нет сейчас приличных людей. Краснозадые постарались. Я вчера с нашей Женни на презентации одной пересекся, — проглотил кусок брат. — Вот ведь нашла себе Кабысдоха! Замуж выскочить не терпелось. Отбери у него бабки, и что останется? А так... Важный, сука. Кивнул мне снисходительно, эдак.

— Я у них был в воскресенье.

— И чего?

— Ничего, — я пожал плечами. — Я, кстати, с Хельгой там и был, — обернулся я к Круглову.

— Это меня не касается, — прогундел Лешка.

— Ну и дурак, — сказал Герман.

— Занимайся своими делами, — хмыкнул Круглов.

— Ну, извини, — развеселился брат. — То-то я смотрю, Хельгунчик про тебя тума-анно так отвечает.

— Не понял. Вы что, общаетесь?

— Тебя это, как ты правильно заметил, уже не касается, — подмигнул ему Герман.

— Да на презентации они встретились, — пощадил я кругловскую гордость. — Женька ее в зоопарк сводить решила.

— Ты еще попади попробуй в зоопарк этот, — резонно заметил Герман. — А поэты, Леха, они всегда в пролете, — усмехнулся своим мыслям Герман. — Ты со мной, надеюсь, стреляться не собираешься?

— Я тебя «закажу», — мрачно пошутил Круглов.

— Лех, — строго покачал головой Герка. — Такими вещами... Накликать можно.

Под утро мы уже обсуждали состояние российской культуры. Леха уверял, что возрождение близко. Мы на пороге. Брат дергал щекой. Сколько ждать-то, Леша милый. Пора б вам уже... Кино не снимается. Про печатное слово я вообще молчу: одни идиоты других ублажают. (Тебя я, правда, не читал, — сделал поправку Герка.)

— И не стоит, — махнул я рукой. — ...ня Леха, твои книжки. Причем ...ня с претензией.

— Ты аргументируй. Аргументируй, пожалуйста, — потребовал Круглов.

— Да. Нам нужны доказательства, — щелкнул пальцами Герка.

— Я, Леха, читателя твоего повидал. Этим все сказано, — заржал я.

— Знаешь, ты кто?

— Кто?

— Сноб говеный.

— Ха-га, — осклабился брат. — Все правильно, Лексей. Не давай себя в обиду. Я же говорю: читать нечего.

— А что ты, Гера, вообще читал кроме «Конька Горбунка»?! — взвился Круглов.

— Вот какой ты, Круглов... — расстроился Герка. — Я на тебя даже не обижаюсь. Как там... сивка-бурка, встань передо мной... Давайте за Россию выпьем, за простой народ.

— Ебты, Герман, — перекосило Лешку.

— За простой народ, да. Терпения ему побольше, — задумался о чем-то братец.

— Скотина ж ты бессовестная, — сказал я ласково.

— Если хочешь знать, то я-то как раз к народу куда ближе, чем всякие там... не будем тыкать пальцем. Я для наших людей свой. Несмотря на мерседес. Кто-то, может, и хочет дать мне под зад и гонять на моей тачке. Но я против. И мы друг друга понимаем. А на таких, как вы с Кругловым, у народа вообще аллергия.

— Знаете, кто хороший писатель? — гаркнул я. — Каледин.

— Гос-споди, — не согласился Круглов.

— Ты, Круглов, вообще бы всем подельникам пальцы повывихивал. И с подскоком на Олимп, — покрутил головой Герман, наполняя рюмки. — Ну что, по последней и завязываем навсегда? Стой, Димон. Как ты сказал? Я Каледина этого читал?

— Читал, — почему-то обрадовался я. — «Поп и работник». Это его.

Герка выпятил грудь.

— За что пьем?

— А давайте, за мужика этого и за Леху нашего. Чтоб работали без простоев, — благодушествовал Герка. — Чего морщишься, Круглов? Мы ж тебя не абы с кем... или ты нашему вкусу не доверяешь?..

На такой примерно ноте мы закончили пьянку.

Следующие два дня я уродовался над переводом. Заменял «из сказанного он вряд ли хоть что-нибудь понял» на «он не понял ничего из сказанного». Самыми презренными людьми считались в Египте свинопасы и переводчики.

В три часа ко мне пришел мальчик, которого я готовил в иняз. Я выкладывался на этом уроке как мог, сочувствовал пацану: толковый парень, а денег на нормального репетитора у людей нет. При поступлении имеет смысл брать преподавателя непосредственно из того же ВУЗа, куда и собираешься поступать. Традиция такая.

— А если меня спросят про политику, то в каком ключе лучше отвечать? — волновался Мишка.

— Отвечай в том ключе, что политикой ты не интересуешься, но считаешь, политика и экономика взаимосвязаны, и гони свой топик про экономику. Я тебе там все выверил. В чем, кстати, разница, между «economic» и «economical»* ?

Мишка сказал.

— Теперь. Если в тексте, который будешь пересказывать, кто-то будет очень бедным, употребляй в пересказе не «poor» а «penniless», а еще лучше «absolutely broke».

— «Broke« или «broken»? — испытывая за меня неловкость, переспросил ребенок.

— Звучит и пишется как вторая форма, — четко сказал я.

— Почему?

— Поступишь в сие заведение, там тебе и объяснят, а пока не забивай себе голову.

— Дима, а это точно «broke»? — Мишка залился краской.

Зазвонил телефон.

---

* Первое слово переводится с английского как экономический, второе как экономный

— Извини, Миш. Одну секунду.

Звонила Женька.

— Жень, у меня урок. Я попозже перезвоню. Ты не помнишь книжку, где встречается «broke« в смысле «без гроша»?

Глупо хихикая, Женька сказала, что первый и последний раз видела это в тексте из гальперинского учебника, по которому ее готовили на филфак. Первый текст.

— Спасибо, — я положил трубку.

Притащил из ее комнаты красную растрепанную книжку. Ткнул ученика носом в конец страницы.

— Извините, пожалуйста, — сказал Мишка.

— You are welcome*. Слушай-ка, по этому учебничку в инязе и занимаются, — углядев штамп, хохотнул я. — Не на твоем, правда, факультете, но... В общем, «broke» им понравится. Так... Ситуации мы с тобой проверили. Держи новую порцию.

— Дима, Вы здесь исправили... — Мишка полистал тетрадку. — Вот. «You are being a child».

— Имеется в виду «ведешь себя как ребенок». Сказано это взрослому человеку. Имеется в виду его поведение в момент разговора. Хотя... Про «you are being» ты и, правда, забудь лучше пока от греха подальше. Вряд ли они на вступительных посмеют... Все остальное понятно? — я имел в виду ошибки в ситуациях.

— Да.

— Поехали дальше. У нас, помнится, квизок** намечался? Ты как? Готов?

— Готов.

— Давай тетрадку со словами, — я полистал тетрадь с выписанными словами. — Маловато будет, молодой человек.

— Можно прямо из книги, — предложил Мишка.

Книга «Born Free». Провели квизок. С русского на английский. Я проверил. Ни одной ошибки. Мне стало тошно: неужели завалят, суки? Я молча вернул парню листок. Стал задавать вопросы по тексту. Мишка перечислил бабочек, за которыми гонялась львица, без халтуры описал африканскую фауну.

Под конец урока я подсунул ему буклетку на задрилливание*** «sp», «st», «pl».

Снова зазвонил телефон.

— Алло?

— А Диму можно?

---

* Пожалуйста (англ.)

** от англ. слова quiz — проверочная работа

*** от англ. слова dril — заучивание наизусть

— Это я. Здравствуйте.

— Дима, вы меня не узнали? Это Инна.

— ??

— Хочу напомнить, что жду вас с Ольгой сегодня в гости, — стараясь не показывать обиды, пропела девица.

— Инночка... Милая... Мне так редко звонят очаровательные женщины... — рокотал я, подыскивая фразочку, с которой отхерачу прелестницу.

— Мы вас ждем, — кокетничала барышня.

— Ужасно неловкая ситуация, — застрадал я. — Сделаю все возможное... но, боюсь, просто физически не смогу... Ради Бога, извините.

— Ну, что ж, если что-то изменится в ваших планах, мы с Сашей будем рады вас видеть, — сухо попрощалась девушка.

Еще немножко пошаркав ножкой, я проохал «до свидания».

Мишка, слышавший этот разговор, смотрел на меня с уважением и завистью.

— Знаете, Дима... — вдруг сказал он. — Вы для меня идеал. Настоящего мужчины...

Я почувствовал себя идиотом. Хлопнул парня по плечу.

— Перезанимался что ли?

— Я серьезно это говорю, — злой от смущенья пробормотал Мишка.

— Хочешь секрет?

Мишка кивнул.

— Таких звонков у тебя скоро будет навалом и россыпью.

— А вы в школе кому-нибудь нравились?

— Никому, — соврал я.

На Мишке были отвратительные джинсы. Старенькая старательно выглаженная тишотка. Я в его возрасте курил исключительно «Winston», что по тем временам кое-что означало. Хотя среди школьных приятелей если чем-то и выделялся, то никак уж не маркой своих сигарет... Школа была такая. Тот еще зверинец.

Мне захотелось сказать Мишке что-нибудь хорошее. Но я побоялся его обидеть.

Мы закончили урок.

Я сварил нам с дедом супчик. Провел еще один урок. Часов в шесть я отключил у себя телефон и завалился поспать на часок.

Меня разбудил голос двоюродного братца. Я продрал глаза. Встряхнул башкой. Через секунду услышал, что дедушка уговаривает кого-то меня не будить: «он всю ночь работал, потом уроки».

— Дед, ему еще в порядок себя приводить! — раздраженно ответил на это Герман.

— Вы что, договорились о чем-то? — допытывался дедушка.

Я с удивлением узнал, что «да, именно так».

— Пусть еще поспит хоть двадцать минут, — упрашивал Герку дед. — А ты поешь пока. Тоже круги под глазами.

— Дед, я не сплю, — крикнул я. — А Герман без супчика как-нибудь обойдется, — добавил я, выходя из комнаты. — Правда, Герман? Ты чего приперся?

— Собирайся, — бросил мне брат. — Дедуль, я бы, действительно, чего-нибудь... С семи часов ведь на ногах!

— Ты чего приперся?

— За тобой, любимым, заехал. Ты что, забыл?

Я, прокрутив в башке недавнюю пьянку, очумело уставился на брата.

— Молоток, — заржал Герман. — Ну, ты пока вспоминай, а мне позвонить надо.

Я пошел в ванную. Дед пошел на кухню. Герман пошел в мою комнату. Плотно прикрыл за собой дверь.

— Димон, — проорал брат через несколько минут. — Ты как, вспомнил?

— Не ори, — гаркнул я, любуясь своей рожей.

Герман заглянул в ванную. Стал со мной рядом.

— Повезло нам с фейсами! — сообщил он нашим двойникам. — Я тебя все-таки выше.

— Я в тапках, — напомнил второй дурак.

— Все готово, ребята, — позвал нас дедушка.

Прихлебывая супчик, Герка объяснил мне, куда едем. К Инне. Я поперхнулся.

— С чего ты взял, что я туда еду?

— Женни сказала. Мы с ней встретились на презентации. Несколько дней назад.

— Она ошиблась.

— Димон...

— Влом, честное слово.

— А все-таки?

— Спина не гнется, нога трясется, денег на подарок жаль.

— Да денег мне самому жаль, — совершенно серьезно сказал Герман. — Но поехать — мы поедем. Пару веников поприличней купим и все. Чтоб не обязывать девушку, — заржал он. — Не косметику же чужой любовнице дарить. Пусть спасибо скажут, что мы вообще приехали, — с добрым юмором добавил брат.

— Так им и скажем, — хмыкнул я.

— Слушай, нам еще за Хельгунчиком заехать нужно. Я обещал. У нас, Димон, со временем туго.

— Гер... — промямлил я.

— Димон, там нормальные люди тоже будут. Типа нас с тобой.

— Ну, смотри. Мне бри-иться... душ... — продолжал ломаться я.

— Полчаса еще есть.

Я сдался.

За Хельгой мы заехали ровно в то время, как и обещал ей Герман. Герка припарковал машину. Спросил у меня номер Хельгиного телефона. Набрал по сотовому семь цифр: выпархивай, Хельгунчик... Ну а как же без него... рядом сидит... ждет тебя... в большом напряжении, — усмехнулся Гера.

Духота стояла страшная. Мы вышли из машины. Стали в тенек. Закурили... Ба! Хельга! Плывет родимая. Очень себе нравится. Герман ее окликнул. Хельга тут же растеряла всю свою загадочность. В глазах мысль появилась. Первые слова: какой я тебе «хельгунчик»? Совсем ты, Герка...

Сели в машину. Пока Герман выруливал на шоссе, я поинтересовался у Хельги, за каким дьяволом она-то едет.

— Понимаешь... Инна позвонила, продиктовала адрес... Потом еще на презентации подошла... Мне было неудобно.

— Верю, — кивнул Герман. — Каждому слову верю. Но хочу тебя предупредить, что на данном ээ... рауте... самым качественным товаром будем мы с Димоном. Так что зря ты, Хельгунчик, так не по-людски себя ведешь. Не расцеловались, не разобнимались. Я, между прочим, в восьмом классе в тебя, отравушку, влюблен был. Ты тогда в шестом была.

— Да-а? — оживилась Хельга.

— Да, Хельгунчик, да. Развела нас с тобой жизнь. Никогда ты меня не уважала, — продолжал придуриваться Герман. — А я, может, как Великий Гэтсби..

— А я, ребята, за Круглова замуж выхожу!

Мы чуть в столб не врезались. Герман ржал так, что приложился башкой об руль. Я скрючился на заднем сидении. Хельга вертела головой. Не могла ничего понять.

— Ой, Хель... Гунчик... Ящик... Коньяка... — стонал Герман. — Мне... Димон, я умру, сейчас!

Я всхлипывал. Хельга разозлилась.

— Вы что, не верите мне?

Мы мычали, что верим. Герман припарковался в каком-то переулке. Дал волю эмоциям. «Ты помнишь? — гоготал он. — Ты помнишь?» Я вообще ничего не мог произнести. Но, собравшись с силами, подтвердил, что ящик коньяка она нам с Германом выставить должна. Отсмеявшись, мы в два голоса потребовали от Хельги подробностей. Девушка, сделав загадочное лицо, сказала, что предложение ей было сделано сегодня в полдень, а все остальное нас, стрекозлов, не касается. Герман орал, что первого мальчика они обязаны просто обязаны будут назвать в его честь. Я хрипел: ни фига — Дмитрий, только Дмитрий.

— Ну не ...ак я? — процокал брат. — Сам себе на хвост нагадил.

Мы начали хохотать по новой.

— Слушай, Димон, на хрен нам туда ехать после таких-то новостей? — неожиданно посерьезнел Герман. — Я там собирался под Хельгунчика клинья бить, — чмокнул Герка в щечку чвою школьную любовь. — Да, кстати, Хельгунчик. Ты-то куда намылилась? Вот мы с Димоном возьмем и Круглову стукнем. А Круглов мужчина серьезный. Он ведь не поймет, что тебе чего-то там неудобно было. Скажи, Димон...

— Не поймет, — погрозил я Хельге пальцем. — Выйдет у него конфликт с литагентом.

Герка предложил поехать погудеть в кабак. Хельга поломалась для виду, но была в принципе не против. Я тоже был не против, но жаба душила. Герман, уловив ход моих мыслей, подкорректировал идею.

— Поехали ко мне.

Заодно, мол, и Хельгунчик посмотрит, от чего отказывается. Строго по Фицджеральду. С поправкой на российский маразм.

— К тебе? — прикидывала Хельга степень риска.

— Ты как, Димон? — напирал Герка.

— Поехали, — кивнул я. — Не переживай, Хельга. Мы тебя Круглову не заложим. Сама не проболтайся.

Герка развернул машину и вдруг резко затормозил.

— Смотри, Димон.

Трое бандерлогов допризывного возраста колошматили кого-то.

Мы с Геркой вышли из машины и пресекли беспредел в лучших традициях советского кино. Говнюки отвалили. В худших традициях советской литературы спасенным оказался никто иной, как Мишка. Хотите верьте, хотите нет. Спасенный еле держался на ногах, один глаз у него заплыл. Другой благодарно мигал нам с Геркой.

— Дима... И вам спасибо, — уставился он на Германа.

К нам подлетела Хельга. Димочка, Герочка, какой ужас. Что и говорить, ставки кузена резко поднялись.

— Вы что, знакомы? — ха-гакнул Герман.

— Миш, ты здесь как оказался? — удивился я.

Несколько раз я звонил Мишке, когда нужно было перенести занятие. Судя по номеру он жил в районе Отрадного.

— Тачка открыта, — крякнул Герка.

Мы все сели в машину. Мишка еле доковылял.

— Нужно ребенку домой помочь добраться, — чирикнула Хельга.

Герке мало улыбалось пилить в Отрадное, вообще он не любил, когда кто-то ломал ему планы. Братец предложил Мишке на выбор два варианта: либо мы довозим его до ближайшего метро, либо он едет с нами. «Советую выбрать второй вариант», — добавил брат. Герман, задница, рассчитывал закрепить таким образом факт собственного благо-

родства в мозгах Хельгунчика наподольше. То, что Мишка был моим учеником, Герке даже в голову не пришло. Знакомый и знакомый. Я же, блин, всю жизнь мечтал потусоваться с парнем, от которого мне еще месяц предстояло брать нелишние для его семьи деньги. Но не мог же я после этого Геркиного «советую» не сказать: «конечно, поехали, Миш».

Мишка, балбес, не слишком ломался, согласился с удовольствием.

Мы приехали к Герке в девятом уже часу. Сколько раз приезжаю к брату, столько раз жалею, что не занялся бизнесом. В отличие от Малышева, Женькиного мужа, у Герки были и деньги, и умение их тратить. Хельга несколько прибалдела. Нужный тон, небрежно-насмешливый, нащупала с третьей попытки. Мишка, симпатяга, восхитился просто и искренне, чем снискал себе уважение брата.

Герман изображал из себя обаяшку-интеллектуала. А бизнес, мол, это так... от жажды жизни.

Хельга, дура, тихо любовалась им.

Хороший, кстати, получился вечер.

— Герман, так вы брат Димы, — на втором часу знакомства сообразил Мишка.

— Наоборот, — подмигнул ему брат.

— Люблю остроумных людей, — восхитился мальчуган хмельным голосом.

— Кто ж их, парень, не любит, — вздохнул Герка. — Я иногда прихожу домой, с дебилами наобщавшись, встану перед зеркалом — самый остроумный собеседник передо мной. Он что-то скажет — я ржу. Я что-то скажу — он реагирует. Так друг дружку и развлекаем, — грустно улыбнулся братец.

Хельга сравнивала Герку с Кругловым. Ей-ей, брат был не глупее. М-да...

— А вы, Миша, куда поступать собираетесь? — спохватилась подлая.

— В иняз вообще-то, — покраснел Мишка. — В Лингвистический университет, — проперхал он.

— Молодец, — расстроился Герка.

Мишка был ему симпатичен. А что из себя представляет эта лавочка, Герман знал.

— Давайте выпьем за Удачу, — предложил Герка. — Чтобы все было, как хочешь, — добавил он, тяжело взглянув на Хельгу.

Выпили за мечты.

— Почитай стихи, Хельга, — сделал Герка ход ферзем.

Я чуть со стула не свалился. Quel маразм. Хельгу хлебом не корми... Она, правда, неплохо читала.

Мишка балдел. Герка, обладавший абсолютным слухом, вел себя образцово тем не менее.

— А Гумилева почитайте, пожалуйста, — влез в паузу Мишка. — «Капитаны» знаете?

Хельга не знала. Я промолчал, разумеется.

— А вы, Дима, знаете «Капитаны»?

— «На полярных морях и на южных» что ли?

— Да-да, — обрадовался Мишка. — Вам тоже нравится?

— Нет, слава Богу, уже нет.

— Почему?

— Потому что золото сыпется с кружев. Усек?

— Не совсем, — расстроился Мишка.

— Понимаешь, Миш, — неожиданно подал голос Герман. — *Бунт* обнаружить на корабле нельзя. Можно обнаружить течь, можно обнаружить на горизонте корабль с черным флагом, а у хор-рошего капитана *бунта* на корабле ни с того, ни с сего быть не может.

В метро, когда ехали из гостей, Мишка вдруг и спрашивает у меня:

— Дима, а вы считаете, вот счастье... это как?

— Счастье — это когда хочешь то, что можешь.

— А вы?

На следующий день утром ко мне пришла ученица, навострившая лыжи в МГИМО. Ни больше, ни меньше. Забавно, что в самом начале занятий я предупредил их семейку: максимум, на что здесь можно рассчитывать — это пед. «Крупской». Конечно, конечно — ответили мне. У девчонки была «железная задница», и я похвалил Татьянины успехи в английском после трех месяцев наших с ней мучений. Ребенок воспрял духом. В начале весны она мне сообщила, что «Крупской» ее уже не устроит. В МГИМО, говорит, хочу. «И не думай даже», — я попробовал вернуть дите с небес на землю. Татьяна улыбнулась своим мыслям. Посмотрела на меня с жалостью.

А... Ну раз так...

— Таня, — тем не менее счел нужным сказать я. — Мы делаем так. Я продолжаю тебя готовить к «Крупской», а дальше уж смотри сама. Передай это родителям.

Вечером в тот же день мне позвонила ее мама и с подкупающей непосредственностью объяснила, какой у них там сложился расклад. По раскладу выходило, что моими уроками им пока «пробрасываться» не стоит. Развеселившись, я, ни мало не смущаясь, взвинтил цену за урок. И меня зауважали. Самое смешное.

В общем, ко мне притопала Татьяна. Достала деньги из кармана джинсов. Протянула мне их, посмотрев весьма строго. Я люблю заниматься с детьми: все, о чем думают, на мордахах написано.

— Any problem? — раскрывая тетрадь, задал я ученице традиционный вопрос.

Танька помотала головой.

— Дурно, девушка. Очень дурно, — промурлыкал я, имея в виду перевод первого предложения в первом же упражнении.

— Понимаете, я в тот день на сейшн торопилась, — объяснила все Танька.

— It feels*, — прогнусавил я, без каких-либо эмоций исправляя ошибки. — Tell me a little about the party**, — попросил я девчушку, не поднимая глаз от тетрадки.

Танька рассказала, что много пили, много ели, много танцевали. Кто-то даже курил очень много.

— А какую музыку любят твои друзья? — полюбопытствовал я по-английски, пытаясь выудить у нее хоть слово из активного вокабуляра.

— Good music, — перехитрила меня Татьяна.

Я постучал пальцем по столу.

— We are fond of good music, — выдала ученица полный ответ.

Я объяснил ребенку, что-то про «empty-words» (на русском, естественно). Танька кивала, поглядывая в окошко. Запоздало сообразив, что у нее есть проверенный топик про современную музыку, я, не мудрствуя лукаво, потребовал его и пересказать. Танька бросила на меня укоризненный взгляд: что ж ты душу-то зазря мытарил? Учитель, мать твою!

Решив, что раз пошла такая пьянка, я, прослушав про »На-на», потребовал заодно рассказать и «Future Profession»***. Танька рассказала почти без ошибок.

— Bon, — вырвалось у меня.

— А вы французский тоже знаете?

Я кивнул.

— А вы могли бы в фирме какой-нибудь работать? — поинтересовалось чудо.

— А зачем нам фирма, Татьяна? — засмеялся я. — Ты моя фирма. И она прогорает, — добавил я. — Ты почему сегодня подготовилась так плохо? А?

— Извините, — кокетливо сказала малолетка. — А я хочу работать в фирме.

— Ты и будешь, — успокоил я ребенка. — Так... Вернемся к нашим баранам. Ты сколько глав на сегодня из «Лорны Дун» подготовила?

...Под конец урока Танька, утомившись от пересказа бандитских приключений, перешла неожиданно на русский и поведала мне, что если и выйдет замуж когда-нибудь, то только за богатого человека.

---

* Оно и видно (англ.)

** Расскажи немного о вечеринке (англ.)

*** Будущая профессия (англ.)

— Сейчас, Татьяна, богатые люди требуют от жен хорошего знания английского, — стараясь не разоржаться, сказал я. — Так что учи язык без халтуры.

Я взглянул на часы.

— The lesson is over*.

Я вернулся к работе над переводом. Поставил рядом чайничек с кипятком, банку с растворимым кофе. Не забыл про сигареты и пепельницу. Врубил «Чижей». Для поднятия бодрости духа.

Через десять минут зазвонил телефон.

— Алло.

— Дим, это тетя Света из 45-ой квартиры.

— Добрый день, Светлана...

— ...Викторовна. Да можно просто тетя Света. Соседи же. Дим, ты ведь английский в школе учил?

— Ага. А что?

— Дим, ты бы посмотрел, что там такое ребенку моему назадавали. Конец четверти, а у нас кроме английского и так две пары намечается. Как дедушка себя чувствует?

— Спасибо, более или менее. А Денис дома сейчас?

— Так и я о чем? Можно его к вам минут на пять прислать?

— Пусть учебник захватит.

— Ой, Дим... Ты построже с ним. Отец работает с утра до вечера. Я тоже верчусь, как белка в колесе.

— Пусть учебник захватит, — не очень вежливо напомнил я женщине о причине звонка.

— Все, Димочка. Он сейчас придет. Балбес!

Оказалось, Денису задали устное сочинение про Москву. »Или про любой другой город», — с отвращением добавил тинейджер.

— Сколько предложений?

— Двадцать! — возмутился Денис.

— Давай учебник. Посмотрим ваши текстики.

— Дим, а ты группу «ЭСТ» тоже любишь? — изучал сосед полку с компактами.

— Не рано тебе-то группу «ЭСТ» слушать? — намекнул я на соблюдение возрастной субординации.

— А чего «рано»? Нормально. Давай сейчас врубим? А то сидим как в склепе. Или они мешать тебе будут?

— Денис, ты, я вижу, скучаешь? Пойди ведерко помойное вынеси. Не в службу, а в дружбу, — добавил я.

— Ладно, — пожал плечами Денис.

— Ну так иди, не зли меня.

Денис вынес ведерко.

---

* Урок окончен (англ)

— Вот твой город любимый, — протянул я ему листочек.

Денис, пересчитав количество предложений, удовлетворенно кивнул. Спасибо, говорит. Только лучше бы ты по-русски писал, Дим.

— То есть?

— То же самое, но русскими буквами, — объяснил сосед. — Перепиши. А? Мне ведь вслух читать придется. И давай еще группу «ЭСТ» поставим. Ну, включи, Дим. Я их нигде найти не могу.

Поставил я ему этот компакт. Достал. Стал переписывать топик кириллицей. Денис в это время внимал хрипатым откровениям солиста.

— Верно говорит мужик? — подмигнул я соседу.

— Все точно, — был ответ.

Я заржал...

Тэ-экс. Что там дальше? А дальше было «...зэ мэуст интрэстинг плейс ин зыс сытти из...»

— Держи шифровку и не говори никому, что я этим занимался.

— Спасибо, Дим. Слушай, мне тут мыслишка одна в голову пришла... Смотри, сейчас конец года... Для тебя такое сочинение написать — пара пустяков. Давай я тебе этого добра наберу — сколько скажешь. Такса два-три бакса с рыла. Треть беру себе. Ну, так как?

— Знаешь, Денис, что в таких случаях солидные люди говорят? — как можно серьезнее сказал я.

— Что?

— Они говорят: будет договорчик — будет разговорчик. Так что приводи юриста, а там посмотрим.

— Зря ты, Дим... Спасибо все равно.

— Тебе спасибо, — с ударением сказал я.

— Ну я пошел?

— Ну так давай, шевели копытами. Мне еще сегодня есть чем заняться.

Закрыл за ним дверь. Через секунду звонок. Я решил, что Денис забыл учебник. Ни фига. Сестра в гости приехала.

— Ты чего? — спросила Женя, проходя в квартиру.

— Ослеп. Почем костюмчик?

Женька сказала.

— Без комментариев.

— Ты мне ничего сказать не хочешь? — спросила сестра, приглашая меня жестом в мою собственную комнату.

— То есть? — я сел в кресло.

— Неужели так трудно было заехать к Инне и не ставить меня в идиотское положение?! — Женька вытащила сигареты. — Ты ведь, милый мой, дал понять в воскресение, что приедешь с удовольствием! Хельга наша тоже отличилась, даже не позвонила! Знаешь, как мне неловко было!

— Жень, я сказал Инне, что приехать не смогу. Давай прикроем эту тему.

— Нет, не прикроем! — взвилась Женька. — Ты мне можешь сказать, почему тебе в такой лом было заехать?

— Я был обязан? — усмехнулся я.

— Нет, — чиркнула зажигалкой сестра. — Но мне просто самой интересно, почему.

— Потому что люди, которые там должны были собраться, мне не интересны, — спокойно сказал я. — Так же, как и я им.

— То есть **мы** тебе не интересны, — холодно уточнила сестренка.

— Мне не интересны друзья твоего мужа, Евгения, а тебя я очень люблю.

— Знаешь про Хельгу? — вдруг смягчилась сестра. — Ты за них рад?

— По барабану, честно говоря.

— А я за себя рада. Будем чаще с ней видеться. Так что наш круг не так уж и отврати...

— Причем здесь ваш круг?

— Ну как? — опешила Женька. — Герман все-таки с нашей полянки, а не с твоей. Они сегодня подали заявление.

Прошло полтора месяца.

Родители вернулись из Франции. Мне больше не надо было готовить нам с дедом.

Семихолстов похвалил перевод.

Мой научный руководитель, почитав вторую главу диссертации, брезгливо поморщился: посерьезнее к делу относиться следует, Дима, дорогой мой.

Мишка сдал в школе выпускные экзамены. Получил золотую медаль. На вступительных в «Тореза» ему нужно было ответить на шестерку.

У нас с ним был последний урок.

— Итак, Миш... Complex Subject, Complex Object. Погнали.

Мишка выдал все, что требовалось.

— Теперь, на всякий случай... Дай пример сложной именной части сказуемого.

— The only way out of the difficulty is for you to go there immediately.*

— Сложная именная часть?

— For you to go, — четко сказал Мишка.

— Вот. С модальными все ясно?

— Вроде все, — испугался Мишка.

— Тогда переведи-ка мне фразочку: «Он, должно быть, не знает этой истории».

---

* Ты можешь выпутаться из неприятностей, если только сразу же туда отправишься (англ)

— He probably...

— Запиши это в тетрадь.

— Зачем?

— Затем. Так... «Лекция, вероятно, будет интересной», — я уставился на Мишку.

— The lecture is likely to be interesting.

— Запиши.

Мишка записал.

— Дай мне три формы глагола to strike.

— Strike — struck — struck, — выпалил пацан.

— A stroke тогда что?

— Это рукой, например, погладить, ну, собаку, — объяснял он. — Правильный глагол.

— A stricken где я видеть мог?

Мишка и это объяснил. Дал три формы глаголов «врать», «лежать» «класть». Еще был «сильный дождь», «сильный мороз». «Голландец» и «датчанин». Глаголы «дуть» и «течь». Я пытался предусмотреть все, что можно. Но всего, как известно, не предусмотришь. К концу урока я возненавидел особнячок на Остоженке. Я загадал, вспомнит закавыку: just — just now — поступит.

Он вспомнил.

— Все, Миш. Завтра сразу звони. В любом случае, — выдавил я.

— Конечно. Вы тоже так волнуетесь, — засмущался Мишка.

— Так. Миш. Какой у тебя номер экзаменационного листа?

— Девять. А что?

— Да ничего. Я так... От номера ничего не зависит, но ты постарайся войти в аудиторию в начале второй пятерки. Не хлопай там ушами... и не нервничай особенно. Ты запомни: никто вас специально не валит. Сами бы не завалились! — вырвалось у меня.

Я видел, что парень на пределе. Получит не шестерку, а пятерку — еще три экзамена ему не сдать просто физически. Значит, армия...

— Спасибо, Дима, — пробормотал Мишка.

— Что-то я еще хотел сказать... Ах, да. Неопределенные артикли произноси четко. Ничего страшного. И последнее. Говори не то, что хочешь сказать, а то, что можешь. Как Владимир Ильич говорил? Лучше меньше, да лучше.

Мишка засмеялся.

— Все, ковбой. Свободен.

Мы вышли в прихожую. Мишка, залившись краской, протянул мне пакет, в котором угадывалась коробка конфет.

— Дима, спасибо вам большое.

— Слушай, я конфеты очень люблю, но давай ты мне завтра их и завезешь.

— Нет-нет, — перепугался Мишка. — Возьмите, пожалуйста.

— Спасибо, — засмеялся я, доставая коробку. — Пойдем тогда чай пить.

— Да нет... Это вам, — бормотал Мишка.

Я подтолкнул его в сторону кухни.

— Пойдем, пойдем. Много конфеток я тебе и не дам съесть. Это мои любимые. Ты, кстати, какого года рождения?

Мишка сказал.

Та-ак. Значит, если завтра разволнуется...

Ближе к вечеру мне позвонила мама Мишки. Долго благодарила за уроки. Я мычал что-то в ответ.

— Дима, вы простите меня... Но не могли бы вы сказать мне совершенно откровенно, какие все-таки у Миши шансы?

— Видите ли... Он готов. Но пятерка от шестерки отличается... чуть ли не тем, какое впечатление он произведет на комиссию. Если Миша не разволнуется, я уверен... Он как у вас засыпает? Гоните его спать в девять вечера.

— Дима, а может быть, что просто... — женщина не закончила фразы.

— Надежда Сергеевна, — как можно увереннее сказал я. — Там же нормальные люди. Им нужны хорошие языковые ребята.

Мы попрощались.

Чертова жизнь!

Я сделал все, что мог. Мишка тоже. Если б хоть... Никого же! Никого! Дед этими вещами заниматься не будет. Тэк-с... Я открыл свою старую записную книжку. Просто для очистки совести.

Ирка! Ирочка! Оттуда! Училась она блестяще... А вдруг? Ну, вдруг?

Я набрал Иркин номер.

— Да, — услышал я хрипловатый голос моей бывшей подружки.

— Привет, Ириш, — грустно сказал я.

— С кем я говорю, простите? — холодно поинтересовалась Ирка.

— Ирка! Я сейчас обижусь! — пророкотал я.

— Ор-лов! Нет. Быть этого не может. У меня просто слуховые галлюцинации, — язвила Ирка.

— Ирка! Спроси, почему я тебе звоню.

— Почему же?

— Соскучился. По тебе коварной. Ты, надеюсь, хоть чуточку подурнела?! — сколь можно серьезно сказал я.

— Все такая же красавица, — не могла не засмеяться Ирка.

— Тогда я должен повесить трубку.

— Почему? — веселилась выпускница иняза.

— Потому, что я хочу тебя повидать, но, если ты не изменилась, то...

— Орлов! Рожа ты бесстыжая. Что тебе от меня надо?

— Да, ничего не надо, — слегка обиделся я. — Просто хочу тебя повидать.

— С чего бы это?

— Ирка! Хочешь верь, хочешь нет! Наткнулся на твою кассету, вспомнил все и... Решил позвонить.

— Врешь, наверное. Ну ладно. Как у тебя дела?

— Гнию. В аспирантуре. А ты сейчас где?

— Где! Тоже в аспирантуре.

Дружно обматерили наших шефов.

— Ирка! Пошли сегодня в кабак. Я по тебе соскучился.

— В кабак говоришь? — кокетничала Ирка.

— Могу я хоть раз в жизни сходить в кабак с девушкой, за манеры которой мне не будет стыдно?! — завернул я фразочку. (Они там в инязе зациклены, какой вилкой — куда тыкать.)

Я попал в точку. Ирка растаяла и пригласила меня в гости.

— Ирка! Я ведь приеду!

— Приезжай, — спокойно сказала Ирка.

Через час я подъехал к ее дому.

Позвонил в квартиру. Открыла Ирка. Мы расцеловались.

— Где кассета? — поехидничала Ирка.

Я протянул ей недешевый отнюдь букетик, а кассетку, говорю, дома забыл.

Сидим пьем. Молодость, так сказать, вспоминаем.

— Ты чего такой смурной, Орлов? Колись давай.

— Ирка. Ты нормальный человек. Тут такое дело...

Ирка все выслушала. Спокойно записала фамилию-имя-отчество, номер экзаменационного листа.

— Дим, я в этом году не принимаю, но... Ты пойми, их же никто специально не валит...

— Ирка! Вот такой парень! Ну, Ирка...

Ирка заскучала. Поболтали о том о сем. Пора было уходить.

— Послушай, Орлов, — взглянула Ира с нагой прямотой. — Я тебе еще нравлюсь?

На другой день в двенадцать мне звонил Мишка. Орал, что получил «шесть». Орал, что поступил. Орал, что приедет и все подробно расскажет.

Я попытался дозвониться до Ирки — не берут трубку.

Часов в пять Ирка появилась дома.

— Алло? Ирка?! Нет слов! Ты борзыми щенками принимаешь?

— Ладно, Орлов... Отработал, — цинично ответила Ирка.

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ

* * *

До бетонной плиты доплыву и нырну,
раздвигая медуз, в злое царство рапанов.
Блики солнца скользят по волнистому дну,
потревоженный краб убегает за камни...
Мир безмолвия...
Вспомни книжонку Кусто,
самодельную маску из старой покрышки,
дно Невы... Интересно, да только не слишком.
Впрочем, Черное море ведь тоже не то,
что мне грезилось в детстве: стиральной доской
грязноватый песок опускается ниже.
Ни кораллов, ни рыб. Я боюсь по Парижу
точно так же пройтись и сказать: «Боже мой!
Вот о чем я мечтал»...

* * *

Целое море огней под крылом самолета.
Утром посмотришь — лишь груда нелепых строений.
Так и любовь наша — только в ночи еще светит.
А на поверку — руины — пейзаж после битвы.
Битвы, в которой искать победителя глупо.

* * *

Ночью в подъезде, где лампочки то ли разбили,
то ли свинтили, — стоишь, к темноте привыкая.
Дом словно вымер, как будто его разбомбили
и расселили уже. Тишина-то какая.
Словно полопались все заводные пружины.
Вытянув руку бредешь и бубнишь поневоле:
«Нужно б свечей прикупить, фитилей, керосину,
масла лампадного, спичек, поваренной соли...»

Виталий ДМИТРИЕВ — родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Печатался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Континент», «Октябрь», «Нева». Живет в Санкт-Петербурге.

НА ВДНХ

Е. Блажеевскому

Два по сто.
Бутерброды с сыром.
В мелком блюдечке тонет сдача.
Ну давай — за спасенье мира!
За тебя, мой друг!
За удачу!
За весенний короткий дождик,
за стихи.
за скончанье века...
За красивое слово «Подвиг»,
недостойное человека.

* * *

За то судьбе скажи спасибо,
что в карте жизни всех названий
уже не различаешь, ибо
бумага вытерлась до ткани,
до полотна, до основанья,
до непрочтенья, до зиянья,
читай — до дыр, на самых сгибах.

За то благодари фортуну,
что отрочества не случилось,
что вслед за детством — сразу юность.
А зрелость где? — скажи на милость.
Ах молодость — ты затянулась
и недоперевоплотилась...

* * *

Наконец-то добрел до ночлега.
Мокрый сад заметает следы.
Доживу здесь до первого снега,
до Покрова, до хрупкой воды.
Вот и розы укутаны в хвою,
ожидает земля холодов,
а во мне нараспашку живое,
я к разлуке еще не готов.

* * *

Если где и была помарка,
то ремарка, а не обман.
Был Матфея, Луки и Марка
откровеннее Иоанн.
Ведь свобода — всегда свобода,
а неволя — как свальный грех.
И уходит Христос по водам
аки по суху, бросив тех,
кто не истины ждал, а хлеба,
не спасенья, а правежа,
будто кто-нибудь им на небе
хоть чего-нибудь задолжал.
Не впервой нам считать утраты
и, смыкаясь, ровнять ряды.
Аты-баты, идут солдаты.
в Гефсимане цветут сады.
Распинаются словоблуды, —
никогда не закончат спор.
Подожди, потерпи, Иуда, —
Пересмотрен твой приговор.

Юрий КИРЕЕВ

ШУМЕЛ КАМЫШ

...В этом месте моих тревог, страданий, голода и унижений осталась навеки частица моей души.

А. Куприн. «Как я был актером»

Зимой 1948 года я находился на Усть-Вымьской пересылке — месте отвратном не только промерзшими бараками, голодной кормежкой и засильем блатных, но, главное, непредсказуемостью замыслов судьбы. Это ведь судьба решает: низвести новоприбывшего зэка на лесоповал и тем самым обречь его на умирание или возвеличить до бухгалтера, дневального, а то и хлебореза. Никаких реальных возможностей пролезть на высокую должность у меня не было, и я в полном унынии ожидал этапа.

Однажды после проверки (сколько раз уже описаны эти многократные путаные пересчеты на безжалостном северном морозе!) главный нарядчик — блатной с красной от сытости рожей — объявил, что к нам на пересылку приехал за пополнением руководитель лагерной агитбригады. И ежели среди арестантов есть артисты, то они могут пройти в канцелярию для собеседования. Сказано это было с ярко выраженным ехидством, поскольку с виду мы годились разве что для пьесы «На дне» — да и то в чрезмерно натуралистической интерпретации.

Мечтать в лагере об актерской карьере было для меня так же нелепо, как на воле — о должности первого секретаря райкома. Я даже в школьных концертах не участвовал по причине застенчивости и полного отсутствия актерского таланта. И все же я пошел на собеседование — без малейшей надежды на успех, лишь чтобы создать для самого себя видимость активного сопротивления гулаговскому аду.

Для приема претендентов приезжему руководителю отвели отдельную комнатушку. На ее двери был прикреплен обрывок бумаги с надписью, жирно намалеванной химическим карандашом: «Запись в агитбригаду» и внизу крупно: «Без стука не входить». Я некоторое время стоял у двери, набираясь смелости, затем легонько постучал. Не получив пригла-

---

Юрий КИРЕЕВ — Родился в Твери в 1927 г. Окончил Красноярский лесотехнический институт. Был дважды — в 1943 и 1947 гг. — арестован по 58-ой статье, отбывал срок в Экибастузе, освобожден в 1954 г. Работал в научно-исследовательских институтах Москвы, Таллина и Твери. Живет в Твери.

шения войти, постучал еще раз, немного сильнее. Ответил приятный баритон: «Кто там скребется? Заходи!» Я осторожно открыл дверь и предстал перед человеком, которому удалось стать наикрупнейшим лагерным придурком. От мысли, что этот человек в могуществе своем способен вознести на недосягаемую высоту и меня, ничтожного, задрожали колени.

Руководитель оказался человеком неопределенного возраста, с тонким аристократическим лицом, чисто выбритым — и явно не банным парикмахером. Одет он был в изящное полупальто, перешитое талантливым лагерным портным из ватного бушлата, и пушистую шапку вольного образца. Рассмотреть остальную одежду мешал стол, но по торчащему из-под него новому валенку можно было догадаться, что нижняя часть руководителя выглядит столь же богато и изысканно.

Руководителем лагерной агитбригады был московский актер Виталий Головин, зэки звали его Талочкой. Угодил Талочка в лагерь по обвинению в убийстве Зинаиды Райх. В Москве после жестокого преступления, якобы совершенного с целью ограбления, ходили упорные слухи, что таинственные бандиты никакого отношения к убийству не имеют, а расправился с женой Мейерхольда НКВД. Поскольку, вопреки ожиданиям чекистов, слухи не затухали даже во время войны, надо было зловредные измышления пресечь. Для этого нужно было найти убийцу и изобличить его по всем правилам криминалистики, желательно с вещественными доказательствами, прямо или косвенно подтверждающими обвинение. Долгое время никого подходящего на роль убийцы найти не могли. Пока наконец кто-то не донес, что видел у Головина золотой портсигар с вензелем Мейерхольда. У Талочки незамедлительно устроили обыск и портсигар нашли. Как Талочка ни доказывал, что портсигар был Мейерхольдом подарен его отцу, следователи оставались непреклонными и не только не сняли с удачно подвернувшегося актера обвинение в убийстве, но и навесили ему дополнительно 58-ю статью. И вполне резонно: с какой стати человеку убивать Зинаиду Райх, как не для того чтобы злостно опровергнуть всем известное положение о чистых чекистских руках!

В лагере Талочке повезло: благополучно миновав общие работы, вредно влияющие на состояние тонких артистических душ, он сразу же по прибытии попал в агитбригаду — сперва рядовым, а вскоре стал главнокомандующим.

Когда я увидел барина, восседавшего за столом в небрежной и в то же время величественной позе, первой мыслью было убраться по добру-по здорову, не дожидаясь, пока меня выставят за дверь. Я сделал шаг назад, а барин вдруг спросил, как самый обычный зэк: «Ты откуда прибыл, из каких дальних краев?» Я сказал, что прибыл с Кировской пересылки, а до того находился в Москве — сперва на Лубянке, а затем, после

следствия, в Лефортове. В бараке нашем всегда было шумно, и потому я по привычке говорил громче, чем принято говорить с человеком, расположившимся от тебя в трех шагах. «Ты что кричишь, как клоун в балагане?! Иди сюда, садись», — он показал на табуретку, стоящую у стола. Я сел и, потрясенный милостивым барским тоном, стал, запинаясь, рассказывать о своих тюремных и этапных похождениях. Барин слушал, не перебивая, и при этом с любопытством меня разглядывал. Мне казалось, что все его внимание сосредоточено на моем заплатанном бушлате и казенной шапке-ушанке с одним ухом. Смутившись окончательно, я замолчал и с испугом смотрел на барина, не зная, угодно ли ему еще немного послушать или я должен, наконец, извиниться за вторжение и мотать восвояси. Тем временем барин встал и принялся ходить по комнатушке, будто забыв о моем присутствии. Вдруг он остановился напротив меня и спросил: «В артисты хочешь?». От неожиданности мне показалось, что фраза произнесена с ударением на первом слове, что придавало ей смысл насмешливо-презрительный: «Ишь чего захотел!» Поскольку я молчал, режиссер повторил: «Хочешь в артисты?» В вопросе явно не было ни иронии, ни подвоха. Я вдруг понял, что сейчас решается моя судьба. И пусть этот человек в меховой шапке вскоре спохватится и выставит меня взашей, все же от общих работ я хоть ненадолго да буду избавлен, а загадывать далеко вперед зэку ни к чему. Воспрянув духом, я стал уверять своего нежданного благодетеля, что с детства мечтал о театре. И дома, и в школе все говорили, что я просто рожден для сцены, только злодейка-судьба, которой я, видимо, попал под горячую руку, определила меня, вместо театрального училища, в тюрьму. В конце я сказал, что буду в агитбригаде верно служить искусству, намекнув тем самым на покорность и преданность своему будущему начальнику и учителю. Режиссер прервал меня, причем в его голосе мне послышались нотки поощрительности: «Ну, хватит заливать. Лапшу на уши следователю будешь вешать. Давай-ка я тебя запишу». Он записал в тетрадку необходимые сведения, включая статью и срок, и сказал, что завтра мы поедем к месту постоянного базирования агитбригады. Когда я уходил, Талочка спросил: «Послушай, а у тебя переодеться ничего нет? А то всех актрис мне перепугаешь!» (Множественное число — небольшое Талочкино преувеличение: в агитбригаде была лишь одна представительница прекрасного пола — московская эстрадная певица таланта весьма среднего, но самомнения непомерного. Коронный номер ее — песенка с рефреном: «...И было три свидетеля: река голубоглазая, березонька кудрявая и звонкий соловей» — пользовался успехом у блатных и надзирателей). Услышав замечание о моем костюме, я почувствовал, как кровь приливает к лицу — проклятая привычка краснеть, непростительная для лагерника. Талочка, видимо, осознав бестактность своей реплики, сказал: «У меня бушлат есть почти новый. И с шапкой — что-нибудь придумаем. А пока — может, оторвать второе ухо? Для симметрии».

Агитбригада была небольшая. Кроме вышеупомянутой певицы Вальки Немцевой, Талочки — режиссера, директора, артиста и по совместительству конферансье — и вашего покорного слуги в ней состояли два пожилых московских драматических актера, танцор из какого-то народного ансамбля и баянист. Попав в компанию профессионалов, я сперва почувствовал себя крайне неуютно и приготовился быть тут мальчиком на побегушках. Но Талочка с первых же шагов поставил меня на одну доску с остальными, выдав за студента театрального училища — без уточнения, какого именно.

Я не знаю, был ли Талочка талантливым актером (единственным свидетельством его сценических успехов были его собственные красочные рассказы), но педагогом он был замечательным. Именно от Талочки я впервые в жизни узнал о системе Станиславского и прочей премудрости, которую, по мнению моего учителя, молодой актер должен был не только знать, но и впитать во все клеточки своего существа. Актеров Талочка делил на две категории: к первой относились «сапожники», которые изображают человеческие чувства раз и навсегда заученными жестами и мимикой; ко второй же — истинные артисты. Такой артист способен полностью перевоплотиться в своего героя, зажить его жизнью, плакать настоящими слезами, испытывать неподдельные горе и радость, если надо, быть на сцене подлецом и самому верить в свою подлость, иначе зритель не поверит. Когда я, выйдя на свободу, прочитал «Работу актера над собой» и «Жизнь в искусстве», творения великого режиссера показались мне давно знакомыми, обдуманными и осмысленными — разве что подзабытыми немного.

Вскоре я понял причину Талочкиного ко мне благоволения. Все члены труппы считали нашего руководителя выскочкой, а себя — непризнанными талантами, вынужденными подчиняться молодому проходимцу. Немалую роль в неприязни к режиссеру играли и его манеры, вызывающие недоумение: то ли Талочка в соответствии с системой Станиславского перевоплотился в блатного, то ли, наоборот, блатной изображает человека респектабельного и приятного. Я, в отличие от других, смотрел на Талочку снизу вверх, и причиной этого, кроме естественного стремления всеми силами удержаться в приятном положении придурка, был неподдельный интерес к открывшейся мне незнакомой жизни, как мне казалось по молодости, лишенной грубости и пошлости и всецело наполненной служением прекрасному.

Талочке же требовался почитатель и внимательный, покорный ученик. За все нужно платить — за сознание собственного превосходства тоже. И Талочка щедро платил мне избавлением от общих работ и поучительными беседами.

Вскоре после моего появления в агитбригаде началась подготовка к концерту на 20-м ОЛПе. Концерт предназначался для передовиков

производства в качестве дополнения к наградной хлебной пайке, выдаваемой за перевыполнение норм. Само собой, кроме награжденных зэков на концерте должно было присутствовать одуревшее от лесной дремучей скуки и жаждущее развлечений лагерное начальство. Всезнающие нарядчики сообщили Талочке, что нас намеревается удостоить своим посещением начальник лагеря — лейтенант Дубровский, старик крайне придирчивый и властный. Рассказывали, что Дубровский в свое время отбывал срок на Соловках, был за особые заслуги извлечен оттуда самим Сталиным, жалован званием лейтенанта и направлен начальствовать над одним из северных лагерей. Несмотря на скромные лейтенантские погоны, Дубровский был грозой не только зэков, но и находящихся в его служебном подчинении майоров и подполковников. Естественно, что при малейшем промахе грозному лейтенанту ничего не стоило отправить агитбригаду в полном составе на общие работы, поэтому Талочка готовил концерт с особой тщательностью, доводя исполнителей до изнеможения многократными репетициями. Однажды утром сразу же после общего развода, когда порядочным придуркам полагалось еще нежиться в постели, Талочка призвал меня в свою кабинку (так в лагере называли отдельные помещения, выделенные придуркам высокого ранга) и, небрежно поздоровавшись, спросил:

— Ты петь умеешь?

— Н-нет, — я был уверен, что мой учитель способен отличить талант от бездарности, и вопрос об умении петь показался мне таким же нелепым, как если бы Талочка поинтересовался, умею ли я укрощать тигров.

— Я тоже — нет, — Талочка в раздумье заходил по кабинке, из-за малого пространства натыкаясь то на стол, то на табуретки. Наконец, он сел на топчан и спросил:

— А слова песен хоть знаешь?

— Романсы цыганские знаю, некоторые арии с пластинок.

— Арии у тебя не получатся. Цыганщина — тоже вряд ли. А попроще что-нибудь? Повульгарнее?

— Ну, что повульгарнее... «Шумел камыш».

Талочка вскочил и снова стал метаться по кабинке.

— «Шумел камыш»? А что, пожалуй, можно попробовать. Спой-ка!

Я начал изображать «Камыш», переходя с пения на мелодекламацию и обратно.

— Стоп, стоп, — Талочка прервал меня на втором куплете. — У тебя получается не песня, а пародия, причем бездарная. Ты пой... — Талочка запнулся, видимо, соображая, как нужно петь, — пой, как классический романс, с чувством и трагизмом, без иронии. Понял?

Я попробовал спеть с трагизмом без иронии.

К моему удивлению, Талочка остался доволен:

— Знаешь, по-моему, у тебя получится. Давай-ка под гитару. И как можно серьезнее.

Я спел еще раз под Талочкин аккомпанемент.

— Еще много иронии. Вообрази, что ты поешь... — Талочка с чувством пропел первые строчки романса «Уймитесь волнения страсти», — понял?

Я ничего не понял, но пропел еще раз, напустив в пение, сколько мог, тоски, отчаяния и прочих чувств, из которых, по моему мнению, должен состоять трагизм.

После доброго десятка повторений Талочка отложил, наконец, гитару:

— Слух у тебя есть. И голос проглядывает. Поставить его мы не успеем, ну да и так сойдет. Иди, отдыхай пока. Вечером еще порепетируем.

Я ушел в барак в недоумении и страхе от авантюрного Талочкиного замысла. Первоначально предполагалось, что я выступлю в концерте с парой полуприличных «офицерских» анекдотов, и резкий режиссерский разворот меня совершенно сбил с толку.

С «Камышом» мы возились неделю. Наконец, Талочка сказал, что я почти готов предстать перед публикой, осталась лишь небольшая шлифовка, и спросил, нет ли в моем репертуаре чего-нибудь еще в этом же роде. Я сказал, что знаю «Кирпичики» и пропел не помню, где подхваченное:

На окраине вблизи города
Я в рабочей семье родилась.
Лет семнадцати я девчонкою
На кирпичный завод нанялась...

Талочке песня понравилась. Требования были те же, что и к «Камышу»: петь серьезно, без иронии. Но на этот раз надлежало еще перевоплотиться в семнадцатилетнюю заводскую замарашку и голосом и жестами передать ее переживания. Перевоплощение у меня не получалось, и Талочка, несколько отступив от системы Станиславского, решил ограничиться чисто техническими приемами:

— Ты конец куплета растяни: «наняла-а-ась». Чтобы получилось, попробуй рот пошире открыть. А там, где «Эх, за Сеньку-та, за кирпичики полюбила я этот завод», душу наизнанку выверни. Давай!

И я широко открывал рот и выворачивал наизнанку душу, пока не охрип. В конце концов меня отпустили, приказав вечером явиться для продолжения репетиции. По мнению Талочки, гитара под «Кирпичики» не подходила, и в аккомпаниаторы мне был назначен наш баянист, который, конечно, подчинился, но всем своим видом показывал, что замысел режиссера считает бредовым и в успех мой не верит.

Хотя для меня Талочка и был неоспоримым авторитетом в выборе репертуара, режиссуре и прочих актерских делах, все же номер с «Камышом» и «Кирпичиками» мне казался чересчур экстравагантным и перевод на общие работы сразу же после концерта представлялся весьма вероятным.

В день концерта я чувствовал себя относительно спокойно — как осужденный на казнь, избавившийся после оглашения приговора от

мучительной неизвестности. Я должен был петь почти в самом конце программы, перед завершающим выступлением Талочки, так что мое пребывание в камере смертников, то бишь за импровизированными кулисами из старых одеял, было весьма длительным. И когда Талочка объявил публике мой номер, я находился в состоянии тоскливой отрешенности, не испытывая ни свойственного каждому актеру волнения перед выходом, ни страха перед провалом. Талочка жестом пригласил меня на сцену, но я продолжал стоять неподвижно, полностью потеряв способность соображать и действовать. Видимо поняв мое состояние, Талочка вернулся за кулисы и подтолкнул меня в спину: «Иди смелей. А на публику наплюй».

Я выполз на сцену и застыл в томительном ожидании. Талочка, видя, что пауза затягивается, со всей силы ударил по струнам, надеясь вывести меня из столбняка. Собрав, наконец, все силы, я пропел первый куплет, до краев наполнив его не требующим перевоплощения трагизмом собственного положения. И вдруг моя апатия сменилась приступом злости — на публику с ее жаждой дешевого удовольствия, на Талочку, ввергнувшего меня в опасную авантюру, на самого себя, по глупости Талочке поддавшегося. И слова: «... не одна трава помята — помята девушки душа» я прокричал с таким злым драматическим надрывом, что аккомпаниатор сбился с ритма, а надзиратель из первого ряда воскликнул громко: «Во, дает!», выразив тем самым начальственную благожелательность к моему искусству. Когда я пропел последнюю фразу, зал разразился аплодисментами. Аплодировали все: блатные и надзиратели с искренним удовольствием, интеллигенты из пятьдесят восьмой снисходительно и даже лейтенант Дубровский, восседавший на отдельном стуле у самой сцены, наградил меня несколькими милостивыми хлопками. Окрыленный неожиданным успехом, я хотел было сразу же спеть «Кирпичики», но Талочка утащил меня за кулисы: «Не лезь! Выйдешь на бис!» Толпу Талочка знал хорошо и вторично выпустил меня на сцену, лишь когда публика от нетерпения стала угрожающе топать ногами.

«Кирпичики» я спел, в точности следуя Талочкиным указаниям. Не знаю, насколько мне удалось перевоплотиться в заводскую девчонку, но успех был несомненный, правда, не такой бурный, как у «Камыша». За кулисами Талочка похлопал меня по плечу и воскликнул с благожелательной иронией: «Смотри-ка, какие аплодисменты схватил! Талант, талант!»

К следующему концерту мы расширили мой репертуар, включив в него романс об отвергнутом, но не отчаявшемся любовнике: «Эх, быстрей летите, кони, разгоните прочь тоску! Мы найдем себе другую раскрасавицу жену!» Сперва Талочка, возможно из зависти к моему успеху, решил петь сам, но потом мудро рассудил, что выпускать на эстраду двух безголосых певцов подряд слишком нагло даже для лагерной самодеятельности. Романс публике понравился, правда, на этот раз

аплодировала в основном пятьдесят восьмая, блатные же и надзиратели неизменно требовали «Шумел камыш». Специально для этой публики к следующему выступлению мы собирались подготовить «Мурку». Но в наши планы вмешалась сама судьба.

После неожиданного успеха «Камыша» и «Кирпичиков» я не только почувствовал себя полноправным членом агитбригады, но даже стал смотреть на других артистов с некоторым превосходством: они-то со своим однообразным и занудливым репертуаром награждались весьма умеренными аплодисментами. Лагерное будущее рисовалось мне теперь в самых радужных тонах, а общие работы казались уделом серой массы, ни к чему, кроме грубого физического труда, не приспособленной.

Но Бог, видимо, решил наказать меня за непомерную гордыню, а заодно и напомнить всем нам о тленности благ земных. Лагерное начальство вскоре пришло к выводу, что привольная богемная жизнь для пятьдесят восьмой не допустима. Агитбригада была расформирована, и я нежданно-негаданно попал на погрузку под начальство блатного бригадира. И хотя зэкам, вкусившим прелести лесоповала и воркутинских шахт, работа на погрузке представлялась раем, я, изнеженный пятью месяцами артистической деятельности, чувствовал себя попавшим на самое дно ада. Оставалось лишь надеяться на повторение чуда, которое вновь превратит меня из полудоходяги в преуспевающего придурка.

И чудо произошло. Начальник подразделения механизации, помня о моих блестящих выступлениях в концерте, взял меня к себе учетчиком, а в скором времени перевел в чертежники. Однако и на техническом поприще благоденствие мое продолжалось недолго: волею высшего начальства осужденные по пятьдесят восьмой как совершившие неслыханные преступления и никакому перевоспитанию не подлежащие были отделены от уголовников и оправлены в Особые лагеря. Так я попал в казахстанский лагерь Спасск, известный самодурством начальства, рекордной смертностью заключенных и скоплением интереснейших людей, выловленных как на территории нашей необъятной родины, так и за ее пределами.

ГУЛАГ — страна парадоксов. Интенсивное вымирание на общих работах и сочинение романов (мой хороший знакомый по ссылке Роберт Штильмарк написал своего «Наследника из Калькутты» в лагере, а после выхода на волю, то бишь, в ссылку, только шлифовал свое творение и устранял исторические неточности), лютующие надзиратели, отправляющие в БУР любого зэка, недостаточно подобострастно посмотревшего на какого-нибудь кретина в погонах, и вечерние концерты в итеэровском бараке для избранных. Никакой официальной агитбригады в лагере не было. Концерты устраивали бывшие артисты и музыканты, кому посчастливилось попасть в придурки и тем самым сохранить способность думать о чем-либо, кроме миски баланды и неразмок-

шего окурка. Постепенно сложилась труппа, способная удовлетворить вкусы самой придирчивой публики. В составе артистов были скрипач с мировым именем Берковский, певец Венской оперы, солист Большого театра и несколько драматических актеров из европейских столиц. Естественно, что в такой блестящей компании делать было нечего не только мне со своим «Камышом», но и самому Талочке. И все же благодаря своей кипучей энергии и нахальству Талочка примазался к артистам и вскоре занял в труппе место директора, время от времени читающего со сцены классические произведения вроде «Графа Нулина». Днем Талочка работал мелким придурком, вечера же всецело отдавал искусству, с увлечением выполняя свои директорские обязанности.

Господь, наконец, смилостивился надо мной и определил на работу в механические мастерские. Я таким образом оказался в ранге производственного придурка со всеми вытекающими из этого приятными последствиями. Одной из обретенных мною привилегий было переселение в барак ИТР, где и давались вечерние концерты. В такие дни после отбоя, когда барак запирали на замок, Талочка в сопровождении дневального обходил будущих зрителей. В шапку, которую нес дневальный, клали кто что мог: папиросу, щепотку табаку, кусочек хлеба — посильный сбор в пользу занятых в программе исполнителей. Начальство — надзиратели и выше — относилось к концертам благосклонно и охотно их посещало, так что иногда зэкам оставались лишь места на «галерке» — верхних полках вагонок. Понять начальство можно: других бесплатных развлечений в поселке не было. Начальники старательно слушали и аплодировали, но не всегда оставались довольны репертуаром. Для этой придирчивой публики Берковский после какого-нибудь сложного скрипичного произведения играл музыкальную картинку собственного сочинения под названием «Утро в колхозе», виртуозно изображая крик петуха и хрюканье свиньи. Очевидно, слушая это «Утро», Талочка вспомнил о нашем «Камыше» и решил включить в концертную программу меня. Поскольку существование труппы и табачно-хлебные сборы во многом зависели от организационных способностей Талочки, спорить о моем участии в концертах никто не стал, только Борковский предложил сменить мой репертуар, поскольку считал, что после моих «Камыша» и «Кирпичиков» его Григ будет звучать бледно и невыразительно. После длительных раздумий Талочка решил, что я смогу спеть несколько ариеток Вертинского — в угоду бывшим эмигрантам, которых в публике было подавляющее большинство.

О Вертинском я впервые услышал от Талочки еще на севере. Обстоятельно же познакомиться с творчеством знаменитого шансонье мне довелось в Спасске — среди здешних эмигрантов был некий Петушков, одно время, как говорили, состоявший аккомпаниатором при Вертинском. Сам Петушков о своем прошлом рассказывать не любил, и был ли он близко знаком с Вертинским, мне неизвестно. Тем не менее, творчество Вертинского он знал отлично, помнил десятки его песен, но само-

го певца ненавидел. Причиной ненависти была явная несправедливость судьбы, отправившей в Особый лагерь Петушкова, а не Вертинского, который, сумел «хитро и тонко» подольститься к большевикам.

Мне нравились песенки Вертинского. Его таинственные сероглазочки и утонченные принцессы, в жилах которых текла голубая кровь, были противоположностью грубого и уродливого мира, окружавшего меня в лагере и раньше, за его пределами. Память у меня была хорошая, я знал слова и мелодию полутора десятков ариеток и потому в самонадеянности своей принял сумасбродную Талочкину идею как технически вполне осуществимую.

Для консультации мы пошли к Петушкову. Приняв подношение в виде десятка посылочных папирос, эксперт попросил меня исполнить что-нибудь из Вертинского. Я спел «Маленького креольчика». Петушков долго думал, оценивая неожиданно открывшийся ему талант, затем сказал:

— Голоса у вас, конечно, нет... — и, сделав паузу, добавил: — Впрочем, у Вертинского тоже нет. Мелодию вы, дорогой, перевираете безбожно... Но если с вами как следует позаниматься, возможно, у вас получится.

Мы договорились, что Петушков будет заниматься со мной по вечерам до тех пор, пока не подготовит меня к выходу на эстраду... или не признает полную бессмысленность дальнейших занятий. За труды Петушков должен был получать от нас папиросы и через день — полпорции пайковой каши.

Начали мы с отработки «Креольчика», который, к нашему общему удивлению, получился почти сразу. Особенно хорошо у меня вышло: «... Как бледен ваш паяц, как плачет он порой». В строчки о страданиях несчастного паяца я вложил столько трагизма, что присутствовавший при репетиции Талочка провел ладонью по глазам, будто бы вытирая невольные слезы.

После «Креольчика» мы взялись за «За девчонку в голубых пижамá»:

На солнечном пляже в июне
В своих голубых пижамá
Девчонка, звезда и шалунья,
Она меня сводит с ума...

Петушков остановил меня на первой же строчке:

— Ну как вы произносите «пижамá»! У вас звучит — как «штаны». Попробуйте еще раз. После десятка повторений «пижамá» прозвучали вполне приемлемо. Но когда я стал петь:

... Под синий *берсез* океана
На желто-лимонном песке...

Петушков замахал на меня руками:

— Ну, опять... Дорогой мой, вы подумайте, кто вас будет слушать! Ведь почти все они знали Вертинского, он — их утраченная молодость, их навсег-

да потерянный мир. Они простят вам голос... не совсем хорошо поставленный, даже неточно переданную мелодию. Но в манере петь они должны узнать Вертинского. Ваши слушатели прекрасно владеют французским. И Вертинский тоже. А как вы произносите berceuse? Коробит слух! У вас же нижегородское произношение! Этого вам не простят.

Мы целый вечер бились над берсезом, пока, наконец, я не освоил французский прононс. Петушков сказал, что до парижского акцента еще далеко, но поскольку эмигранты располагаются на «галерке», где из-за низкого потолка плохо слышно, с моим произношением можно смириться. Что же касается начальства, занимающего «партер», то оно ни о берсезе, ни о прононсе ни малейшего представления не имеет. Талочка берсезом также остался доволен, только заметил, что, изображая прононс, вытягивать по петушиному шею не обязательно.

Пытаясь исполнить ариетку целиком, я споткнулся в самом конце. Мне никак не удавалось спеть последние строчки:

...Я вас слишком долго желала,
Я к вам никогда не приду! —

с капризно-злой интонацией и ударением на последнем слове, как требовал Петушков. Под конец, обозлившись, я пропел строчки с такой злостью и так подчеркнул «не приду», что наставник мой сказал с удовлетворением:

— Ну, кажется, у вас выходит, как нужно... почти.

Третья песенка — про маленькую Лю-Лю далась мне без особых трудов. Если не считать небольшой заминки с переменным ритмом. Куплет, в котором Лю-Лю стремиться охладить пыл своего не в меру назойливого друга:

Ну погоди, ну погоди, Минуточка,
Ну погоди, мой мальчик-пай,
Ведь любовь наша только шуточка,
Это выдумал глупый май —

Вертинский, как утверждал Петушков, пел скороговоркой, а затем повторял две последние строчки в прежнем неторопливом темпе.

Я был полностью согласен с Вертинским: именно так должны были звучать слова шаловливой Лю-Лю — смесь скромности, многообещающего намека и желания. Но, видимо, перевоплощение в Лю-Лю было мне не по зубам. В конце концов, мы договорились, что во время концерта Петушков будет мне дирижировать с «галерки», задавая нужный темп.

Шумного успеха, как при исполнении «Камыша», у меня не было. Возможно, сказалось отсутствие костюма Пьеро или фрака с белоснежной манишкой. Да и привилегированная часть публики в партере отнеслась к Вертинскому довольно сдержанно. Все же я сорвал умеренные аплодисменты, а один престарелый эмигрант в дополнение к закон-

ной доле от Талочкиного сбора вручил мне после концерта полпачки махорки — награду за несколько минут приятного забвения.

Мой старший товарищ Сем Лившиц, учивший меня мудрости жизни, в том числе — лагерной, сказал, что помнит несколько пародий на песенки Вертинского, и предложил включить их в мой репертуар. Идея нам с Талочкой показалась стоящей. Но, к сожалению, Сем помнил из пародий только отдельные куплеты и строчки, а этого для полноценного эстрадного номера было недостаточно.

Утвердившись в придурках, то есть, избавившись от изматывающих тело и опустошающих душу общих работ, я иногда писал стихи (точнее, не «писал», а сочинял и хранил в памяти, поскольку доверять в лагере что-либо бумаге — дело опасное). Посовещавшись, мы с Семом решили дополнить пародии моими стихами, которым Сем должен был придать аристократический лоск. В результате появился целый пародийный цикл. Наиболее удачные, с нашей точки зрения, пародии были отобраны для моего репертуара. И вот на вечерних концертах я уже пел:

Где вы теперь, кто вам щекочет нервы,
Куда пропал ваш чисто южный пыл...
Вы взвизгнули тогда — быть может, я был первый,
А может быть, комар вас укусил...

Отношение публики к пародиям было неоднозначным. Одни считали их весьма остроумными, другие же воспринимали как кощунство, по отношению к Вертинскому не допустимое.

Моя артистическая карьера была, как и в первый раз, прекращена неугомонным начальством, перемещающим зэков по своему капризу из мест насиженных в края неизведанные, где приходится заново устраивать свою жизнь, отделываясь всеми правдами и неправдами от общих работ, заводя полезные знакомства и связи, стараясь при этом не нарваться на ретивого стукача, и помнить, что малейшая ошибка может превратить тебя в жалкого доходягу с начисто выветренными из головы изящными ариетками Вертинского и способного лишь тратить остаток физических и духовных сил на выклянчивание или воровство в столовой миски со следами недолизанной каши.

Экибастуз, куда я попал, был лагерь серьезный, созданный для освоения огромного углеразреза, и лагерная интеллигенция в нем состояла в основном из технарей, целиком поглощенных мыслями о сохранении в условиях жестокой конкуренции своих должностей. Кроме того, производство располагалось за зоной, что отнимало у зэков, простых работяг и начальников, дополнительно почти три часа в день на разводы, шмоны и путешествия к месту работы. Так что для культурного времяпрепровождения времени не оставалось. Не было здесь и талантливого антре-

пренера вроде Талочки, не было и исполнителей типа Берковского. Так что вечерние концерты в Экибастузе не устраивались.

Молодости свойствен оптимизм, и я, вопреки инструкции, начертанной, по свидетельству очевидцев, на вратах ада, иногда тешил себя надеждой выбраться когда-нибудь из лагерной преисподней и, забыв о своем незаконченном техническом образовании и приобретенных в лагере скучных профессиях, вроде учетчика-счетовода, поступить в театральное училище.

Актером я не стал. Но иногда мне кажется, что в восклицании Талочки после моего дебюта: «Талант, талант!» иронии было лишь девяносто девять процентов, а один процент — искреннего признания.

Владимир ТОРЧИЛИН

ПЕРЕЛЕТ

(Из цикла «Невыдуманные истории из недавнего прошлого»)

Сегодня многое из того, внутри чего мы все жили каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад, по своему полному идиотизму кажется почти невероятным. И вполне может случиться, что скоро все позабудут значение терминов «выездной» и, соответственно, «невыездной»; забудут и то, как можно до судорог в спине трястись над незатейливой синей книжечкой с надписью «Служебный паспорт» и испытывать инстинктивную неприязнь ко всем официальным представителям собственной страны за границей. Люди быстро привыкают к хорошему (или хотя бы напоминающему хорошее) — так что еще через десять лет все тогдашнее станет казаться не то что «почти», а просто невероятным.

История, которую я хочу рассказать сегодня, случилась где-то в начале восьмидесятых, когда достреливал свои последние охотничьи тро-

---

Владимир ТОРЧИЛИН — родился в 1946 г. в Москве. Окончил химический факультет МГУ. Доктор химических наук, профессор, лауреат Ленинской премии. С 1991 г. работает в Гарвардском и северо-восточных университетах (США). Как прозаик печатался в «Авроре», «Волге», «Континенте», «Севере», а также во многих американских журналах и газетах. Автор книги «Странные рассказы» (1995, Москва) и сборника прозы «Повезло» (1997, США). Живет в Бостоне.

феи генсек Брежнев, ограниченный контингент советских войск в Афганистане мужественно крепил и без того нерушимую дружбу народов и когда в силу естественных при таком раскладе политических обстоятельств самолеты самого лучшего в мире Аэрофлота в Америку временно не допускались. Не будь последнего обстоятельства, не было бы и всей этой истории.

Так вот — наши самолеты в Америку, повторяю, не летали, и немногочисленные советские визитеры добирались до логова империализма на перекладных: сперва Аэрофлотом до Канады, а оттуда — уже на местных авиалиниях — до нужного города на территории США. Московский самолет (самостоятельных ленинградских и других тогда еще не было) садился в монреальском аэропорту Мирабель, откуда пассажиров автобусами перебрасывали в монреальский же аэропорт Дорваль (или наоборот — садился в Дорвале, а перебрасывали в Мирабель — теперь уже и не вспомнишь, да не в этом и дело), и путешествие в запредельно звучавшие чикаги и вашингтоны продолжалось на таких же запредельных «дельтах» и «норсвестах». Домой всё шло в обратном порядке.

Заметим, что при всей тогдашней взаимной неприязни Союз и Штаты окончательно отношений все-таки не прерывали. Более того — несмотря на всякие демонстративные отмены рейсов, поддерживали даже некое научное общение — разумеется, в сугубо мирных областях, и в обе стороны тянулся вялый, но непересыхающий ручеек специалистов, направлявшихся на двух-трехмесячные стажировки в заграничные лаборатории. Один такой ручеек соединял Институт, где работал наш герой — а звали его Игорь, — с близким по тематике институтом около Балтимора.

Советский научный работник тех лет за границей (а тем более в Штатах) — это особая тема. Настолько грандиозная, что здесь мы ее даже касаться не будем. Забавная, почти анекдотичная история, о которой пойдет речь в этом рассказе, на такую серьезность, конечно, не тянет. Но в ней есть своя репрезентативность для тех не таких уже давних времен, и, может быть, напомнить о ней тоже будет небесполезно.

Итак, речь пойдет просто о перелете, об обратном перелете — из Балтимора в Москву. Что же до темы советского научного работника в Штатах, то из нее напомним разве только такой штрих, нужный для понимания дальнейшего. Дело в том, что в соответствии с установившейся процедурой все научные визитеры из России, куда бы они ни направлялись, обязательно должны были сначала появиться в надлежащем вашингтонском министерстве и объяснить местным чиновникам, чем они, собственно, собираются в Америке заниматься. Точно такая же процедура обязательна была для них и на обратном пути — с той лишь разницей, что теперь они должны были доказывать, что поездка прошла не зря и они кое-что в копилку американской науки

бросили. Понятно, что в связи с таким распорядком командированным и на обратном пути, в каком бы месте ни происходила сама работа, приходилось на полдня заезжать в Вашингтон. А уж оттуда на перекладных добираться до Москвы.

Игорь в такой командировке оказался уже вторично и был кое-чему учен, а вот его коллега, с которым они встретились в Вашингтоне и должны были вместе лететь в Москву, возвращался только из первого набега.

Вашингтонским бытом большинства советских ученых (гостиницы, билеты, встречи, проводы и все такое прочее) постоянно занималась одна и та же министерская дама. Было известно, что отличается она исключительной говорливостью, горячим вашингтонским патриотизмом и полным безразличием к показаниям часовых стрелок. С этой дамы все и началось.

Расписание у них на последние сутки было такое. С вечера паковаться — та еще работа, когда все накупленное для дома и семьи надо впихнуть в два багажных места, да еще чтобы по весу и размеру они не превышали аэрофлотовских норм. Единственным резервом тут служила ручная кладь, в которую плотнейшим образом вгонялось все что потяжелее. При этом выглядеть эта самая ручная кладь должна была на разрешенные пять кило и нести ее надо было, не сгибаясь, а элегантно и даже поигрывая. Далее по расписанию: упаковавшись — спать, сколько получится. Потом завтрак и отчет. А там прощальная прогулка (точнее, проездка) по Вашингтону в сопровождении упомянутой уже говорливой дамы. С прогулки — в гостиницу за чемоданами и сразу в аэропорт. Перелет до Монреаля — часа три, там еще час на переезд из одного аэропорта в другой, где необходимо оказаться за два неизвестно кем положенных, но неукоснительных часа до отлета московского рейса. Ну а там, считай, и дома. Такой вот простой, четкий и вроде бы легко выполнимый план.

Однако, как ни гладко все было на бумаге, без оврагов, да еще каких, не обошлось. Осложнения начались вечером предотчетного и предотлетного дня. Первая запятая объявилась с багажом. Довольно скоро выяснилось, что как ни примеряйся, но у обоих налицо явный перевес и каждый из четырех (по два на душу) чемоданов тянет заметно выше положенных аэрофлотовских килограммов. По официальным правилам это означало, что необходимо вполне прилично доплатить, о чем и речи быть не могло по причине полной вытраты всех имевшихся долларов (по нескольку центов каждый увозил в кармане в качестве сувенира). Правда, бывалые путешественники уверяли, что сами американцы на мелочи вроде пятикилограммового перевеса вообще внимания не обращают. Стало быть, на пути из Вашингтона до Монреаля бояться нечего, а в Монреале на регистрации и загрузке нашего рейса, наряду с соотe-

чественниками, попадаются и простые канадцы, которые к стремлению советских гостей прибарахлиться относятся вполне сочувственно. Так что — на кого нарвешься; но могут и без звука пропустить. На это и решено было надеяться — тем более, что о частичной разгрузке ни один из наших героев и не помышлял. Однако в душах обоих некое томление все-таки поселилось.

Следующая неприятная неожиданность ждала их в министерстве. Когда подошла пора прощаться, американский чиновник, руководивший допросом (в американской версии — дебрифингом), неожиданно вынес из соседнего кабинета довольно большой картонный ящик, на редкость красиво и мощно засургученный со всех возможных сторон. «Вот о чем я вас попрошу, господа, — сказал он таким тоном, что стало ясно: об отказе и речи идти не может. — Передайте, пожалуйста, этот пакет вашему директору. Здесь ничего особенного — разные памятные фотографии о его недавнем визите. Но передает их наш министр, так что в некотором роде их можно рассматривать как межправительственную почту». Поставил ящик рядом с Игорем и откланялся.

Ящик был легким, но само его наличие означало, что у них появилось пятое место — да еще место, требующее особого внимания! И как с ним в самолет — один Бог знает... То есть оба отлично понимали, что при перелете от Вашингтона до Монреаля вышняя помощь им потребуется вряд ли. А вот что будет при посадке в самолет родного Аэрофлота, предсказать было трудно. Вернее, впрочем (чего уж там!), очень даже легко было предсказать, что ничего хорошего от встречи с аэрофлотовцами в этом случае ждать не придется.

Очередная заминка вышла во время экскурсии по городу, на которую их повезла говорливая дама из министерской службы встреч и расставаний. Ведомая мастерской рукой гидши, машина катала и катала наших героев от одного квартала к другому, а восторженный монолог вашингтонской патриотки вколачивал им в головы разные исключительно бесполезные мелочи, о которых можно рассказывать до бесконечности. Робкая попытка Игоря напомнить, что скоро вылет и времени осталось только-только заехать в гостиницу за багажом, разбилась о категорическое заявление опекунши, что всех и всегда она возит именно так и до сих пор все было хорошо. Игорь все больше мрачнел, ибо твердо знал, что опоздание к отлету на Родину означало возможное невозвращенство со всеми положенными последствиями. Наконец, он железным голосом заявил, что если они сейчас же не повернут к гостинице, он попросту возьмет такси. Дама нехотя согласилась, и экскурсия прервалась на полуслове.

В аэропорт прибыли минут за двадцать до вылета. Трясло уже не только улетавших (трудно даже представить было последствия возможного опоздания, кто бы ни был в нем виноват!), но и опекуншу, кото-

рая тут же ринулась заглаживать свою вину. Увидев за компьютером здоровенного черного человека, из-под ног которого в темную дыру уходила лента багажного транспортера, дама бросилась к нему. С трудом волоча непомерной тяжести чемоданы, туда же подтащились и наши герои. Подвывая от нетерпения, дама искательно лепетала, что вот, дескать, ученые господа из России опаздывают и жизненно необходимо поскорее отправить их багаж в самолет, а их самих к выходу на посадку.

Черный человек неторопливо взглянул на всю группу, и, встретившись с ним глазами, Игорь как-то нутром понял, что если до сих пор жизнь негра текла вполне уныло, то теперь она озарилась достойной сверхзадачей — сделать все возможное, чтобы багаж ученых господ из России на нужный рейс не попал, а еще лучше, чтобы и сами господа к посадке опоздали.

С тупым, доходящим до безразличия отчаянием Игорь следил, как черный человек неспешно переносит на транспортер их чемоданы, как долго и внимательно читает билеты, что-то отрывает, что-то штемпелюет... Негр работал как во время итальянской забастовки, но зато к перевесу и лишнему месту в кабине (выпустить из рук начальственную коробку они не рискнули) он и не подумал придираться (что показывает, насколько изобретательнее отечественная сфера обслуживания). Наконец, он протянул нашим героям билеты и посадочные талоны, и оба помчались на посадку. В салон влетели последними, несказанно радуясь, что посадка в самолет в Америке мало чем отличается от посадки в автобус и продолжается чуть не до самого взлета.

Часа через три они уже были в Монреале и, с некоторой тревогой вспоминая выражение лица черного регистратора, ожидали свои вещи у здешней черной дыры. Наконец, дыра выплюнула на транспортер десяток-другой чемоданов, баулов и коробок. Вещей Игоря и его коллеги здесь не было. Транспортер остановился, показывая, что выдача закончена.

Некоторое время наши герои продолжали бессмысленно ждать, пока не догадались обратиться к канадскому дежурному и не выяснили, что их багаж остался в Вашингтоне, откуда его благополучно отправили следующим рейсом, так что всё барахло уже в воздухе и прибудет сюда через два часа. Коротко и ясно! Когда же Игорь забормотал что-то о пересадке, транзите и всем таком прочем, дежурный довольно безразлично ответил, что и в этом он никакой проблемы не видит: они могут оставить адрес, и багаж именно туда и отправят, а если рейс из Канады в Москву бывает только два раза в неделю, это значит всего-навсего, что свой багаж они получат не в день прилета, а еще через три дня, делов-то!

Одно слово — сытый голодного не разумеет... В реальности же это простенькое дорожное происшествие Родина обставила бы самым драматическим образом. Начать с того, что наши герои никак не смогли

бы лично встретить следующий монреальский рейс, поскольку к тому времени сдали бы уже загранпаспорта, превратились бы в простых советских граждан, и заветная конвейерная лента находилась бы для них за надежной стеной родных погранвойск и таможни. И кто его знает, сколько и каких бумаг из самых серьезных инстанций понадобилось бы им, чтобы добраться до собственного багажа. Во-вторых же, как всем было очень хорошо известно, остающийся хоть на миг бесхозным багаж загранрейсов шустрые работники Аэрофлота обчищали со скоростью и умением совершенно необыкновенными, ничем при этом не брезгуя.. А при таком раскладе — что сулило бедолагам предложение живущего в счастливом заграничном неведении канадского дежурного?!

Поблагодарив его, они направились к своей ручной клади: две спортивных сумки в ожидании хозяев сиротливо стояли у стены, и только начальственная коробка нагло подмигивала сургучными печатями. На ней и задержался взгляд Игоря. Внезапно в голове у него что-то щелкнуло и отчетливо послышался голос вашингтонского чиновника: «В некотором роде вы можете рассматривать это как межправительственную почту». А ведь о том, что их генеральный директор связан личными и довольно близкими отношениями с одним из тогдашних лидеров на самом-самом верху, знали не только американские начальники! У наших героев была коробка, адресованная лицу исключительной значительности!..

Пока еще не сильно, но запахло спасением. И в ответ на безнадежное «Что же нам теперь делать?» своего товарища по несчастью Игорь решительно сказал:

— А мы сейчас позвоним в представительство Аэрофлота. Главное, стой и не вмешивайся!

Коллега посмотрел на него, как на идиота: а то неизвестно, какого совета или сочувствия можно ждать от нашего чиновника, всегда и во всем остающегося на своем трудном заграничном посту советским человеком!

Но, сказано — сделано. Получив от канадского дежурного номер аэрофлотовского представительства в Монреале, Игорь начал скармливать автомату отложенную на память мелочь. Он выяснил, что главный аэрофлотовский представитель в настоящий момент находится во втором монреальском аэропорту и лично наблюдает за подготовкой к рейсу того самого самолета, на котором им предстояло вылетать. Игорю удалось даже узнать телефон стойки, за которой уже шла регистрация на московский рейс. Позвонил туда. После не особенно долгих переговоров атмосфера неясной подозрительности слегка рассеялась, и в трубке зазвучал, наконец, нетерпеливый начальственный голос:

— Ну, что там еще у вас?

Игорь представился, в нескольких словах обрисовал положение и совершенно невинным тоном спросил, что теперь делать. От такой на-

глости и собственного возмущения аэрофлотовский начальник сперва просто онемел. Но чуть только немота его отступила, обрушил на Игоря целый водопад гневных, захлебывающихся, бессвязных выкриков. Игорь узнал, что это хамство беспокоить по пустякам... людей такого уровня!.. кого интересует?!... советские люди не барахольщики, а представители!... наплевать!... как штык, быть к самолету!... никакие провокации не помешают своевременному!... никто рейс задерживать не будет!.. как вообще таких выпускают?!...

Ну и все такое прочее, закончившееся традиционным «Да я вообще о вашем поведении сообщу куда надо!».

Выслушав все это, Игорь с нежностью глянул на засургученную коробку и подумал, как хорошо знать что-то, о чем не известно другим.

— Видите ли, — задушевно и вместе с тем почтительно перебил он трубку, — я, разумеется, готов плюнуть на эти чемоданы, век бы их не видать, но сложность в том, что среди личного багажа находится пакет документов, переданных американским министром для товарища Н! И когда я спрашиваю, как нам получить отставший багаж, то имею в виду именно этот пакет.

Чиновник, который никак не мог видеть стоявшей у ног наших авантюристов коробки, а поверить Игорю — хотя бы из чувства самосохранения — был просто обязан, снова онемел. Но теперь это была не немота возмущения, а молчание высокой трагедии! Игорю даже показалось, что он слышит, как собеседник хватает воздух внезапно пересохшим ртом. Ведь по всему выходило, что теперь уже ему, представителю Аэрофлота, надо было думать, что делать с этим чертовым багажом и перед кем и как объясняться в случае осложнений. Так что теперь в лице представителя Аэрофлота на выручку личного багажа наших героев должно было придти само Государство. Правда, первая реакция Государства после очередного приступа немоты была с явным обвинительным уклоном.

— Да как вы смели, — прошипел чиновник, — отдать такой пакет в багаж?!.

«Клюнуло», — ликовал Игорь. — Но на всех инструктажах нам тысячу раз повторяют, — отчеканил он, — что недопустимы никакие нарушения местных правил и лучше не сделать работу, чем попасться на какую-нибудь провокацию. Разве не так?

— Так, — обреченно подтвердил голос в телефоне.

— Ну вот, — неумолимо продолжал Игорь, — в Вашингтоне от нас категорически потребовали сдать коробку в багаж. Слишком большая — наверное, документов очень много... Что нам было делать — срывать печати и рассовывать правительственные документы по карманам?! Так что нечего на нас зря шуметь (тут он придал голосу некоторую обиженность с элементом строгости), давайте лучше вместе подумаем, как выкрутиться из этого положения.

Это было беспроигрышно. И голос сдался на милость победителя.

— Хорошо, — смиренно произнес он, — как вы сказали, ваше имя-отчество?

Игорь повторил.

— Перезвоните мне минут через пятнадцать, а я прикину, что можно сделать.

Игорь положил трубку и взглянул на напарника. Тот, побелевший было от ужаса, немного ожил и смотрел на Игоря с проснувшейся надеждой. Жизнь начинала слегка улыбаться.

Через пятнадцать минут Игорь перезвонил. Голос откликнулся немедленно. На этот раз он звучал так, как и положено руководящему советскому голосу — решительно и делово.

— Так, слушайте внимательно. Долго задерживать наш самолет я не смогу (надо же — задерживать — самолет!) Будем действовать так. Вы дожидайтесь багажа — самолет будет вовремя. Сразу хватайте чемоданы и бегом (ха, «бегом» — видел бы он эти чемоданы!) на выход. В автобус не садитесь. Вас встретит лимузин (значит, успел мужик переговорить с посольством — такую бы энергию... да уж ладно...) Шофер будет гнать на предельной скорости. Прямо из машины бегом на посадку. Я вас встречаю у входа в аэропорт. Таможня вас смотреть не будет (а когда это канадская или американская таможня вообще смотрели? — да им плевать глубоко!). Если все будет нормально стыковаться, то должны успеть. Багаж погрузим прямо в самолет — там будет ждать наш работник. Коробку с почтой разрешаю взять в салон (а где ее раньше везли, а?) Зарегистрирую я вас прямо сейчас — давайте номера ваших билетов и паспортные данные. Все, действуйте, как договорились.

Дальше пошло по плану. Под спасительной сенью коробки с «документами» они дождались прилета своего барахла. Разумеется, их чемоданы появились на транспортерной ленте в самом конце — отставший багаж с предыдущего рейса был погружен в первую очередь, так что теперь увидел белый свет последним. Согнувшись под грузом, они проследовали мимо безразличных таможенников к выходу для транзитников и увидели прямо напротив двери огромную черную машину и смуглого парня в красивой униформе. В руках парень держал табличку, на которой почти правильно было написано имя Игоря. Не успели наши путешественники толком утонуть в прохладных кожаных креслах-сиденьях, как машина уже мчала их (и коробку!) к московскому самолету. Канадский водила знал свое дело, и когда они прибыли к месту назначения, до отлета московского рейса оставалось еще прорва времени — минут двадцать. У входа ждал здоровенный мужик в темном официальном костюме и при галстуке. По тому, как ринулся он к их лимузину, наши герои сразу узнали материализовавшийся голос из телефонной трубки. Спеша навстречу, чиновник как пароль громогла-

но выкликал Игоревы имя-отчество, а они в ответ радостно махали руками, как киношные полярники на киношной же льдине — родному самолету. Такая вот встреча друзей.

— Бегом на контроль — третья стойка, — деловито произнес встречающий, с заметным отвращением покосившись на джинсы и кроссовки, натянутые на тела наших путешественников (кто таким вообще что-то доверить мог?!).

— Извините, но у нас тут маленькая проблема с перевесом, — совершенно несвоевременно решил вдруг вступить в разговор напарник. Игорь стремительно пнул его ногой, чтобы заткнулся. К счастью, аэрофлотовцу было не до их лепета. Он мгновенно выдернул из лимузина два самых больших чемодана и, взяв по одному в каждую руку, действительно бегом двинулся к стеклянному входу. От такой грузоподъемности (объяснявшейся, судя по всему, экстремальной ответственностью перед вышестоящими) Игорь и его коллега остолбенели. Впрочем, тут было не до размышлений и обобщений. Схватив остатки багажа (и коробку!), они ринулись догонять своего благодетеля. Это удалось им не вполне, и, когда они дотопали до заветной третьей стойки, представитель Аэрофлота уже давно стоял там, громко крича в их направлении: «Паспорта! Паспорта готовьте!».

Паспорта были извлечены со скоростью ковбойских кольтов, и с такой же скоростью в них появились потребные штампики. Похватав багаж, наши герои рванули к выходу на поле. В те годы даже в Канаде подвесные коридоры прямо к двери самолета подавали еще не везде и не всегда, поэтому сначала их ждал автобус. Они сами, так и не взвешенные чемоданы и коробка мгновенно оказались внутри, и автобус двинулся к самолету.

Аэрофлотовский благодетель, склонившись над плечом водителя, смотрел на темное поле с видом пиратского капитана перед абордажем. Ехать было две минуты. Они вывалились из автобуса с кучей багажа, который (но не коробка — ее схватил сам аэрофлотовец) был мгновенно подхвачен двумя стоявшими у самолета парнями и тут же влетел в очередную черную дыру, на этот раз — открытого багажного люка. А наши герои уже поднимались по трапу. Все происходило в абсолютном молчании. Еще через минуту они были в салоне. До официального времени отлета оставалось пять минут!

Аэрофлотовец тронул Игоря за плечо:

— Коробку я пристрою у экипажа. Спокойнее будет. В Москве вам ее отдадут.

С этими словами он повернулся и куда-то пошел. Игорь решил, что эпопея закончилась, и двинулся вглубь салона, чтобы выбрать места поудобнее — в билетах они не обозначались: народу по этому маршруту летало немного и с местами проблем не было. И тут послышалось

первое «здравствуй» Родины. Оно пришло к ним с криком мордатой стюардессы, перегораживавшей проход где-то на уровне десятого ряда:

— Дальше нельзя! Занимайте свободные места! Садитесь по трое! Так надо для центровки!

Разумеется, двух мест рядом на плотно упакованных рядах уже не было. Разбалованный лимузином и заботой аэрофлотовского начальника, Игорь забылся и начал взывать к разуму барышни:

— Послушайте! Двух мест рядом уже нигде нет, а нам с коллегой хотелось бы сидеть вместе. Тем более, что лететь десять часов и нам есть, о чем поговорить. Давайте мы сядем на следующем свободном ряду.

Кубическая барышня задохнулась злобой:

— Ты чего это меня поучать вздумал?! Сядешь, как сказала. Приказ командира. Дома наговоритесь!

Все еще отравленный разнузданным духом Запада, теперь уже опрометчиво вскипел Игорь:

— Во-первых, с чего вдруг вы мне тыкаете? А во-вторых, не считайте меня за дурака — вам просто лень еду по всему салону разносить. И не пудрите мне мозги вашей центровкой и приказами! Где нам удобно, там и сядем. Пустите!

Это прозвучало сильно. Куб чуть растерялся и слегка сдвинулся. Но тут же спохватился, и дальше пошло привычное:

— Умнее всех, да? Так вот я в Москве куда надо сообщу, как вы тут (все-таки «вы», хотя, может быть, она просто имела в виду сразу обоих и два отдельных «ты» в русскоязычной сумме стали почти приличным «вы») нарушаете. Управа найдется!

Неизвестно, чем бы закончилось это столкновение, но ситуацию разрядил появившийся, словно бог из машины, аэрофлотовец, который, как оказалось, никуда пока не уходил и последнего «прости» еще сказано не было.

— Где же вы? — окликнул он Игоря. — Мы вам уже в первом классе стол накрыли, а вы все не идете и не идете...

— О, спасибо, — не растерялся Игорь, — как-то от всей этой нервотрепки голова кругом, забыл в какую сторону идти. Но ничего, нас и здесь любезно встретили.

Последнюю часть фразы он нарочито отчетливо проговорил, в упор недобрым взглядом глядя на остолбеневшую стюардессу. Ее и без того бесформенное лицо прямо-таки стекло побелевшей от ужаса массой куда-то под черный форменный галстук. В остановившихся глазах без труда читалась незатейливая мысль:

— Господи, кого же я облаяла ?! Не видать мне больше загранок! Хана!

Но Игорю было не до ее переживаний. Они с коллегой развернулись в проходе и проследовали в первый класс, где приобщившийся

посредством злополучной коробки к важным правительственным делам аэрофлотовец постарался не ударить лицом в грязь и распорядился накрыть вполне приличный по тем временам стол: хлеб, колбаса, икра, лимоны и коньяк. Самолет уже явно отставал от графика, но представитель покинул наших героев не раньше, чем выпил вполне приличную рюмку коньяка за их счастливое путешествие и три раза повторил, где именно находится заветная коробка и у кого им надо ее получить по прибытии в Москву. Уже почти уходя, он все же не сдержался и вроде бы в шутку, но на самом деле еще как всерьез попросил:

— Вы уж там дома не забудьте директору своему сказать, как мы тут его почту выручали. Аж самолет задержали!

— Не сомневайтесь, — заверил Игорь.

И благодетель исчез навсегда.

Но, как оказалось, и это был еще не конец приключения. Самолет уже выруливал на взлет, они с напарником, победительно глядя друг на друга, разливали по второй, когда Игорь почувствовал некое легкое поглаживание в районе правого предплечья. Он обернулся и увидел почтительно приникшее к его рукаву и совершенно умильное лицо стюардессы, о которой Игорь уже успел позабыть. Девица явно шла ва банк. Ва банк ее был прямолинеен и прост, как правда. Безо всяких вступлений она негромко проворковала:

— У меня тут, кстати, от предыдущего рейса осталась упаковочка баночного пива и коробочка кока-колы. Я к посадке ее вам заверну, ладно? Себя побалуете и детишек, а?

Хотя искушение и было, но Игорь решил ограничиться моральной победой.

— Забудьте об этом, — свеликодушничал он, — я вижу, что вы умеете улыбаться и разговаривать нежным голосом. Этого вполне достаточно.

Мир был заключен. Кубическая стюардесса облегченно удалилась. Они же принялись наслаждаться перелетом по высшему разряду. Больше до самой столицы никаких приключений не было. Да и выгрузка в Москве прошла почти гладко, если не считать того, что из чемодана Игорева спутника (который не послушал мудрого совета и не положил поверх всех вещей чего-нибудь вроде пальто) шустрые шереметьевские разгрузчики через щель между двумя замками вытащили все, до чего только могли дотянуться их тренированные пальцы. Коллега было огорчился, но вспомнил, как всего десять часов назад мысленно прощался со всем своим барахлом, и успокоился.

Да, заветную коробку им, разумеется, почтительно вручили, и уже на следующий день Игорь лично, а не через секретаршу, отнес ее Боссу, чтобы иметь возможность кратко рассказать, что эти драгоценные фо-

тографии были по вине чужеземной авиакомпании почти утеряны, но спасены благодаря самоотверженной помощи советского аэрофлотовского представителя и вот доставлены по назначению. К рассказу Игорь приложил визитную карточку монреальского аэрофлотовца.

Через несколько недель генеральный, случайно столкнувшись с Игорем в коридоре, остановился, чего-то повспоминал и, наконец, сказал:

— А! Вот — я в Канаду летал. Тому парню, что мою посылку выручил, спасибо сказал. Он меня встречал там и провожал. Доволен был, что я вспомнил. Тебе привет.

Редкий случай, когда все остались довольны.

ГДЕ И НЕ ЛЕЖАЛО...

* * *

Отшкольничав, отшкодничав,
отпев и отлюбив,
пришла к тебе, угодниче,
в поклонах лоб отбив.

Глаза твои — как уголья
и жгут, не разрешить.
Такая уж заслуга ли
на старость отгрешить,

отпить вина и выплюнуть,
когда нутро неймет,
и горьки слезы выплакать
в сухой янтарный мед?..

* * *

Сражаться? Бороться?
Оттачивать жало?
Беру, где берется,
где и не лежало.

Восторг? Вдохновенье?
Бессонные ночи?
Без жара и рвенья,
между дел, между прочим.

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ — родилась в 1936 г. в Москве, окончила ЛГУ. Автор четырнадцати поэтических сборников, последний «Последние стихи того века» — Тверь, 2001. В настоящее время в издательстве ОГИ готовится сборник «Русско-русский разговор. Избранные стихотворения. — Поэма без поэмы. Новая книга стихов». С 1967 г. активная участница правозащитного движения, одна из основателей «Хроники текущих событий». В 1986–1992 гг. — зам.главного редактора «Континента». Живет в Париже.

Усердие? Это уж
последнее, что
пришло бы мне в голову,
да не пришло.

* * *

Где она, эта дощечка,
чернильная, школьная щёчка,
а строчка виляет, как речка,
рваная, как сорочка.

И грека в ладье через реку
туда, где не водятся раки,
где ластиком стерты огрехи,
где нам за грехи на орехи
достанется.

Вот и дощечка,
до донышка и до точки
исчерканы мелко, как сечка,
ее восковые цветочки.

* * *

И правя, и починяя,
и задним числом сочиняя
не биографию — жизнь,
сожмись в недрожащий комочек
и порох, когда не подмочен,
зажги, но не обожгись.

* * *

И снова я слышу «нет» и «нет» говорю,
но теперь гляжу в Интернет и уже не горю
стыдобою, злобой на рот, не прошепчущий «да»,
ничьею зазнобой не быть — не была — никогда,
ничьею ручейной русалкой, ничьей Лореляй,
не жалко? нет, не жалко, поди погуляй,
мерцает экран, протекает кран, за окном не метель,
убери постель, постели себе тень на плетень.

* * *

Спасти или спастись?
Спасать или спасаться?
Стою прихлебываю пастис
с подергиваньем паяца.

Проклятые вопросы
немодны, как отбросы
атомной энергетики,
их возят из страны в страну,
из моря, в море, на луну,
чтоб там их не заметили.

А круглая луна
на сизом небосводе,
вопреки цитате, не так неумна,
как думают в народе.

* * *

Если пущены под склады
келья, храм и царский терем,
как известно, виноваты
господа Руссо с Вольтером.

А мы, бравые ребяты,
мы ни в чем не виноваты.
То Руссо на колокольне
пилит крепкие канаты.
То Вольтер огня пущает
под узорчаты палаты.

Мы ни в чем не виноваты,
мы ни в чем не виноваты,
повторим (а то забудем):
мы ни в чем не виноваты.

* * *

Страшный вчерашний день
у́жели прочно забыт?
У́жели мирно злодей
спит и во сне сопит?

У́жели, неужель
спит он и видит сны?
Ружья стреляют в цель,
снятые со стены.

* * *

Не за людьми, а за безлюдием
бегу, как фуга за прелюдией,
а иногда и за токкатой.
Которое тысячелетие
бегут по небу тучи летние
и тенью — по земле покатой.

Бегу, и на бегу бежима,
и движима, но недвижима,
и потираю переносицу.
Но выше дерева стоячего
и выше облака ходячего
сквозная тень моя проносится.

От редакции

Этот текст мы извлекли из того потока приходящих в журнал рукописей, который на редакционном языке называется «самотеком» и из которого, как правило, если что-то в журнал и попадает, то чрезвычайно редко. Но, вопреки скепсису многих авторов, уверенных, что на страницы столичного издания пробиться «просто так», «со стороны», невозможно, все же — попадает, и «Хроника чеченских будней» Ильи Анпилогова — еще одно тому подтверждение. Кстати — не единственное даже и в одном только нашем журнале и даже за один только этот год: так же, из «самотека», мы напечатали прозу А.Астанина (111), В.Мухарьямова (111), Ю.Киреева (114) и Е.Дубининой (114), статьи Д.Ратнер (111) и В.Томачинского (114), сочтя, что каждый из этих текстов может быть чем-то интересен нашему читателю.

В основе рукописи Ильи Анпилогова — подлинные дневниковые записи автора, сделанные им, когда он проходил службу солдата-срочника в Чечне в 2000-2001 гг. Текст этих записей (в отрывках они публиковались в «Комсомольской правде» летом этого года) свидетельствует о том, что автор обладает, несомненно, литературными данными, способными открыть ему дорогу и в иные, не только документальные жанры словесного творчества. Но как развернутся в дальнейшем эти способности и будут ли они реализованы, покажет время, а текст, предлагаемый вниманию читателя, привлек нас прежде всего именно своей документальной подлинностью — как живое свидетельство нашего молодого современника о том, что он увидел на чеченской войне и сумел передать в совершенно бесхитростных, действительно *дневниковых* зарисовках, сделанных, однако, человеком, умеющим и наблюдать, и рассказывать о своих наблюдениях, и размышлять над ними. Особый же поворот всему эту рассказу придает, как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, то, что автор отслужил свой солдатский срок в зенитной батарее — то есть, как пишет он сам, далеко «не в самом страшном месте на войне». Тем, на наш взгляд, по-своему выразительнее и показательнее картина, которую рисуют нам его записки, — картина, увиденная с этого «не самого страшного места»...

Ради того, чтобы предельно сохранить колорит подлинности документального свидетельства, мы применили к рукописи лишь самую элементарно необходимую редакторско-корректорскую правку, полностью сохранив авторскую стилистику и подвергнув текст разве лишь некоторому сокращению, дабы вместить его в возможные для нас рамки журнальных публикаций подобного типа. Того же колорита ради мы оставили в тексте и несколько стихотворений, написанных автором в Чечне, хотя собственно поэтические их достоинства и оставляют, как говорится, желать лучшего. Но зато они способны донести до читателя нечто такое, чего не донесет иной раз и самая отменная поэзия. Каждому — свое.

Надеемся, читатель поймет, почему мы поместили это документальное повествование в разделе «РОССИЯ...», обычно предназначенном для публицистических статей, и даже сочли возможным отдать ему почти все пространство этой рубрики.

УРОКИ АРМИИ И ВОЙНЫ, ИЛИ ХРОНИКА ЧЕЧЕНСКИХ БУДНЕЙ

Из дневника солдата-срочника

I. «Духанка» (начальная школа)

Курск

23.05.00 г. ...На сборный пункт в областной военкомат нас привезли довольно быстро. Так как народ надо чем-то занять, нам приказали побросать мешки — и на плац. К концу второго часа мы уже прилично ходили и даже инструктировали прибывших позднее.

Потом дали время поесть, отправили смотреть «видак» и — спать. Но спали мало. Среди ночи приехали «покупатели» из Владикавказа. Рассказывали о тамошней сладкой жизни, но охотников туда идти оказалось мало.

Поутру нас, злых и невыспавшихся, погнали на уборку территории, но мы проделали это слишком быстро, и начальство не знало, чем нас занять еще. Так и сидели на лавках с редкими перерывами на построения и еду.

После шести вдруг заявились и за нами. Мы, оказывается, давно сбиты в команду и ехать нам предстоит в Краснодар, где стоит полк МВД.

25.05.00 г. Стали свидетелями грандиозного события. Стояли мы на плацу с вещами. Вдруг завыли милицейские сирены, послышались командирские матюги, и выехали на плац два автобуса. Из автобусов повалил весьма упитанный народ и давай на плацу строиться! Получилось так, что мы у них с фланга оказались. А все это и еще и на камеру снимали, и нас заодно. Мы пригляделись, а это главы районов, мэры и прочие «пэры». Затем вышел генерал и стал что-то с пафосом рассказывать. Как стало понятно, это у них военные сборы.

Когда начальники в «войнушку» наигрались, за нас поп взялся: освящал и раздавал маленькие иконки, вроде медальонов, но я не стал подходить, так как надо было крест и руку попу целовать, а я не хотел.

28.05.00 г. Выехали мы 25-го в 11 дня. Ехали поездом «Санкт-Петербург — Адлер» вместе с обычными пассажирами. Капитан, который нас вез, насчет водки смотрел строго, поэтому поначалу все ехали трезвые, но на Украине ослабли-таки и границу переползали уже с трудом. Продуктов нам выдавали по полбанки тушенки и по банке каши на один прием пищи. Да и своего еще было немало. Так что ехали сытые, довольные и нос в табаке.

Илья АНПИЛОГОВ — родился в 1982 году на побережье Баренцева моря, в Заполярье. Окончил среднюю школу в г. Шигры Курской области. В 2000 году был призван в армию. Служил в Чечне. Живет в г. Шигры.

В поезде познакомился с молодой женщиной из Питера. Она рассказывала, что в Питере работу можно найти запросто. По три-четыре тысячи в месяц у них чернорабочие получают, а шоферы — по восемь. Главное, говорит, чтобы не пил и наркотой не увлекался. Что ж: отслужу — поработаем.

Приехали мы в Краснодар, привезли нас в полк. Капитан, который нас вез, был командиром разведроты, вот нас и отправили ночевать к разведчикам. Они, как дети свои игрушки, притащили каски, штык-ножи, пулеметные ленты, бронежилеты. Фотографиями стали хвастать. Мы сразу загорелись идти в разведчики. Однако, после того, как утром с ними сбегали на зарядку, всем как-то быстро расхотелось.

Потом поехали на электричке в Ахтырск. А оттуда нас машиной повезли прямо в учебную часть, которая находится уже в горах, в долине. Место очень красивое: вокруг покрытые густым лесом горы, горная речка бушует. В этой речке, как нам сказали, мы будем теперь купаться.

Нас сводили в баню и выдали форму, правда, без знаков различия: камуфляж «американской» расцветки, сапоги, кожаную портупею. С тем и спать выпали.

Сегодня учились подшиваться заводскими подворотничками, нашивали шевроны и нашивки. На правом плече наш символ — белый конь с развевающейся гривой.

Сформировали из нас взвод и тут же похвалили, что умеем ходить в ногу. Не зря, значит, в Курске потели. Объявили, что присяга у нас будет через месяц, по окончании КМБ*.

Есть тут телевизор, вечером «видак» крутят. Так что очки я зря не взял. В наряды же нас будут ставить только с завтрашнего дня. Поэтому сегодня отдыхаем и учимся мотать портянки. Дело непростое.

Ахтырск

31.05.00 г. У нас тут дела идут потихоньку. Научились уже подшиваться, койки заправлять, в строю «вертеться». Вчера же на разводе объявили, что присяга будет уже 11 июня. До присяги надо провести две боевые стрельбы. Поэтому нас спешно учат. Автомат вчера «проходили»: выдали нам на всех один АК-74М, и стали мы с ним строевые приемы выполнять, а он непривычный, как бревно.

Все идет у нас по распорядку. В шесть часов — подъем (я, кстати, раньше и не представлял, что одеться можно за сорок пять секунд, а теперь успешно с этим справляюсь), потом бежим на зарядку, после которой сразу на речку. Там умываемся, бреемся, ноги моем. Потом — на завтрак. На завтрак дают тушеную капусту, салат из тертой красной свеклы и чай с маслом. После завтрака идут занятия. Сегодня, например, притащили восемь автоматов и народ их разбирает, мучается.

После занятий опять построение, потом на речку — ноги мыть — и на обед. То кашу дают с подливкой, то суп, а то и все вместе. И обязательные чай, хлеб, масло.

---

* Список сокращений и Словарь армейского сленга приведены в конце текста. Имена собственные, названия населенных пунктов, а также стихи представлены в авторской редакции. — *Прим. ред.*

После обеда отправляют на работы, кого — куда, а то бывает, что и не отправляют, тогда так просто в казарме сидим, размышляем.

Вечером поверка и ужин. Ужин тоже по-разному. Вчера, например, молочный суп давали и по два яйца.

Сейчас выдали каждому по автомату и приказали их чистить. Я с этой задачей справился довольно просто, поэтому сижу и пишу на законных основаниях.

06.06.00 г. Только что пришли с тактической тренировки. На эти тренировки гоняли нас уже два раза. Вчера выдали лопаты, автоматы, подсумки с магазинами и гоняли нас по полю. «Вспышка справа!», «Вспышка слева!», «Воздух!» По этим командам надо накрывать собой автомат, чтобы не расплавился. Такой тут юмор.

Потом копали окопы для стрельбы лежа. Сначала копали, как и было приказано, лежа, но вместо земли здесь сплошная глина и камни, да еще жара. Так что вскоре все копали, стоя на коленях, да еще и кители поскидывали.

А сегодня объявили, что послезавтра будут стрельбы. Поэтому нас после завтрака выгнали в поле, правда, уже без лопат, и мы часа два отрабатывали подготовку к стрельбе: как вставать, как ложиться. Потом посбрасывали сапоги и кители да с полчаса загорали.

Когда пришли в казарму, то оказалось, что меняют портянки и сигареты выдают. Я некурящий, но сигареты получаю исправно, а потом раздаю их ребятам. Не Родине же их оставлять.

Вчера же комбат сказал, что учиться нам тут осталось три недели, а потом либо в «учебки», либо в часть

12.06.00 г. 8-го и 9-го у нас были стрельбы. Понавесили на нас лопаты, противогазы, подсумки с магазинами и выгнали в поле, на стрельбище. Там сначала показали, как на огневой рубеж выходить, а потом выдали патроны. И пошли мы палить. При этом нам забыли показать, как теми патронами снаряжать магазин, поэтому каждый запихивал, как сумел. Это был и смех и грех.

Стреляли три патрона по грудным фигурам, остальные — очередями по ростовым. И из «мелкашки» с 25 метров по обычным круглым мишеням. Я, естественно, никуда не попал. Даже из «мелкашки». Ощущения от стрельбы были не самые приятные: первым же выстрелом заложило левое ухо, да и пороховые газы воняют. Но, в общем-то, ничего. Тем более пока ждали, когда отстреляются первый и второй взводы, мы успели и поспать в теньке. «Солдат спит — служба идет», а во сне она это делает быстрее.

Абинск

12.06.00 г. Вчера мы принимали присягу, для чего нас возили в райцентр — город Абинск. Привезли нас в центр города, в парк. Там памятник и вечный огонь горит. Здесь же прямо на земле стоит танк ИС-2. Возле этого памятника мы присягу и принимали. Дело это довольно скучное и какое-то механическое: бум-бум-бум... Словом, обычная формальность с потугой на торжество момента.

Народа набралось на это дело поглазеть довольно много, и даже оркестр нашелся. После присяги был небольшой концерт. Ребята бросились танцевать,

да не тут-то было: автоматы мешают, а передавать нельзя — они уже не учебные. Нам про это с утра талдычили. Так что потанцевать не пришлось, но песни послушали.

Я же еще и интервью успел дать местному телеканалу. Разговор был небольшой, но главное было перед телекамерами покрасоваться: автомат поперек груди, руки по-рейнджеровски небрежно на него брошены, усталый взгляд «старого» вояки... Жаль только, что наш телевизор в ремонте, а то было бы интересно на себя со стороны посмотреть.

Уже в части нам в честь присяги выдали по мороженому и устроили концерт. Выступала местная группа «Эдельвейс». Правда, песни они пели все про Бога, только в современной аранжировке.

Как я заметил, если раньше в армии коммунизмом долбили, то теперь — Богом. Устраивают всякие лекции, фильмы крутят соответствующие, но что интересно: упирают на православие, а куда же податься, скажем, католику или иудею? Похоже, что даже богов в строй поставить норовят по ранжиру.

Опять «Ахтырка»

13.06.00 г. Только что вернулись после тактической тренировки. Наступали. Проутюжили по-пластунски половину поля. Потом коротким, но решительным броском выбили второй взвод из его позиций. Обошлось без жертв, только в азарте рукопашного боя одному парню вывихнули руку. А потом выяснилось, что пока ползали, потеряли рожок от автомата. Еле-еле нашли, прочесывая местность туда-сюда несколько раз.

18.06.00 г. Пошли слухи, что нашу роту скоро расформируют и отправят кого в полк, кого в «учебку». Просился в «учебку» связи, но это как повезет, а то было бы неплохо: говорят, что из солдатских должностей «связист» — самая лафовая. Правда, жаль, что письма, которые сюда из дома идут, теперь пропадут. Четверых ребят уже увезли в полк, а письма им все идут и идут, но их выбрасывают почему-то, хотя переправить в полк — плевое дело: каждый день туда машина ходит за продуктами.

Служба идет по-старому: то занятия, то на работы гоняют.

Недавно наше отделение работало на хоздворе. Я попал коров пасти. Мой напарник по крупно-рогатому мероприятию — парень из Волгограда. Он мне ровесник, но уже «нарик» со стажем. Говорит, что пошел служить в надежде, что армия поможет «соскочить с иглы». Перед медкомиссией глотал какую-то гадость, чтобы раны на венах пропали. Вообще-то «нариков» тут порядочно. Их сразу видно по серым морщинистым лицам, как у сорокалетних мужиков.

Вчера же не повезло: суббота, выходной, а я в наряд попал. Так всю субботу и продневалил. Сегодня же воскресенье. С утра дождь льет, как из ведра, поэтому из казармы никого не выпускают. Сидим, пишем письма, да дремлем втихаря. Просто поспать в честно заслуженный выходной здесь почему-то нельзя.

Недавно при полной выкладке в лесу в «войну играли». Весь наш взвод в лесу с непривычки так рассеялся, что потом еле-еле собрались вместе. Когда же наступали, то мимо «противника» проскочили и долго потом разобраться не могли, где свои, а где чужие.

По случаю жары выдали фляжки и теперь все время проверяют, чтобы вода была. Я полную не наливаю, а так — лишь бы булькала, так как в казарме попить всегда можно, а на зарядке и тактических пить нельзя: сердце может не выдержать. Поэтому уж лучше потерпеть. Тем более, когда пьешь, только пить больше хочется.

Из-за жары стараемся при каждом удобном случае мыть ноги, чтобы не подхватить грибок. К ногам в армии отношение бережное: солдата, как волка, ноги кормят.

26.06.00 г. Перед самым отъездом из «Ахтырки» успел получить письмо из дома, так даже засветился. Ребята подумали, что я, когда на работы ездил, умудрился там водки выпить, а мне было просто хорошо: от письма домом пахло.

В полку про Чечню говорят, что отправят туда только тех, кто прослужил полгода и напишет рапорт о таком желании. Желающих довольно много. Уже при нас из полка десять «черпаков» туда уехало, чтобы пораньше демобилизоваться. Словом, желающих пострелять хватает.

Краснодар

03.07.00 г. У нас новости: скоро будем заступать в караул. Это плохо, так как караул тут несут в бронежилетах и касках. Так что придется попариться.

В общем, служба идет помаленьку. Сейчас народ готовится к вечерней прогулке и поверке, а я уже побрился, подшился и изготовился к выполнению своих служебных обязанностей.

04.07.00 г. К нам перевели четверых парней из разведки. Пришли они заморенные физически до последней степени. Ведь разведчики бегают каждый день по нескольку раз в бронежилетах. И чуть что у них: «Упал! Отжался!» Так что я очень даже рад, что мне со своей близорукостью удалось от разведки отделаться.

С распределением было бы гораздо проще, будь у меня водительские права или строительная профессия. С правами сразу забирают в автороту, наших парней там уже на машины посадили. А со строительной профессией берут в РМО. Я туда тоже просился, говорил, что я столяр (я же отцу в столярне помогал и уже многое умею делать), но туда не берут без диплома об окончании училища. Обидно, РМО — место сытное.

Вчера начался летний период обучения. Теперь до обеда идут занятия, а на занятиях нам все уставы долбят, по которым мы все время кому-то должны и что-то обязаны. А право имеем только на то, чтобы «применять оружие без предупреждения в случае явного нападения на пост».

Записался на стройку караульного городка. Все лучше, чем в душной вонючей казарме париться. Тем более, что старшим на стройке свой человек и, как только начальство с глаз долой, мы все работы бросаем и садимся дремать в теньке. «Только сон приблизит нас к увольнению в запас». Заметил за собой одну особенность: засыпаю теперь мгновенно при любой возможности, но так же мгновенно и просыпаюсь при малейшей опасности. Помню, еще в «Ахтырке» после присяги заснул на концерте даже под «тяжелый металл». Проснулся, когда стали брошюры про Бога раздавать, — и очень вовремя: заметь мой сон «рашпиля» — они бы расслабухи не простили. Это их святая обязанность.

17.07.00 г. Была медицинская комиссия и отбор в сержантскую «учебку», но я не прошел. Туда нужна первая группа здоровья, а у меня из-за близорукости только вторая. Однако я рад, что не попал в сержанты — собачья у них жизнь: рычи да гавкай, как цепной кобель.

Те, кто не прошел медкомиссию, остались в АЗДне, и нас тут же раскидали по батареям. Их три: минометная, зенитная и противотанковая. Назначение минометной понятно — подавлять мятежные населенные пункты, а вот для чего в ВВ зенитки и противотанковые средства? Неужели давить восставшие гарнизоны? Ну дела. Я даже не знаю, в которой из них я состою, потому что живем мы по-прежнему вместе и называемся «сводная батарея АЗДн», а используемся для караулов (ходим через день), работ и нарядов по столовой, так как ни вооружения, ни техники в дивизионе нет — все в Чечне воюет.

В караул заступаю уже в пятый раз и каждый раз удивляюсь его здешним особенностям. Во-первых: связь между постами просто фантастическая: можно дозвониться куда угодно, но только не в караулку! Да и аппараты еще помнят Ленина. Во-вторых: за все время, что мы здесь, я ни разу не видел, чтобы оружие чистилось! Старший призыв этого тоже вспомнить не мог. Автоматы изнутри такие ржавые, что вряд ли смогут выстрелить. Словом, остается «действовать штыком и прикладом», как в уставе говорится, а устав для солдата — это...

Вот такая наша служба. Идет, как по картинке: ровно и гладко.

Если сильно прижмет, то можно и денег добыть и купить что-либо. Для этого в части и ларек есть. Да и сама часть расположена хотя и на окраине, но все-таки в городе, а тут и базарчик рядом.

Вообще-то службой голову стараемся не забивать. Как в армии говорят: нельзя «грузиться», а то тяжко. Одно плохо: уже целую неделю стоит сумасшедшая жара.

27.07.00 г. Жара стоит страшная. Ходим совершенно мокрые. В карманах нельзя носить ничего бумажного, все мгновенно раскисает. А тут еще караул. Когда приходим с постов, снимаем каски и «броню», вода течет с нас в буквальном смысле ручьями. Однако привыкаем и к жаре. Только с ногами у некоторых проблема: сапоги-то сутками не снимаем.

Сегодня, пока бегал по делам, обнаружил в полковом клубе библиотеку, и, говорят, она даже иногда работает. Но здесь некогда читать, с досугом напряженка. Фильм последний раз еще в «Ахтырке» смотрел, после присяги. Правда, в караулке есть телевизор, но смотреть его некогда, так как я заступаю вместе со старшим призывом, а значит — после смены поста мне положено вымыть всю караулку, перемыть всю посуду, да еще успеть поспать перед следующим заступлением.

Вообще-то здесь и без книг есть с кем поговорить о чем-то интересном. Есть для этого очень даже интересный народ. Например, парень, что работал адвокатом по гражданским делам. Ему уже 25 стукнуло, семья есть, а его вместе с нами, пацанами, забрили. Парень грамотный, по правам человека так и чешет, да только права те для нас, как жизнь на Марсе...

В город нас тоже не пускают, так как увольнения запрещены командующим СКВО, а офицеры и рады стараться. Всё побегов боятся, хотя здесь побеги

редкость. Это из «Ахтырки» бежали косяками. Их ловили, стращали и возвращали обратно: Родине нужны солдаты. Но народ упорно хотел воли.

Одного парня ловили четыре месяца. У всех его родственников засады расставили, а попался совершенно случайно в Краснодаре. Он, оказывается, никуда и не уезжал, а нашел в городе хорошую работу, снял квартиру, купил подержанную машину. На машине и попался: гаишник остановил за нарушение правил движения и обнаружил, что у водителя нет не только прав, но и паспорта, а сам он призывного возраста. Парень теперь в казарме мается и все сокрушается по поводу упущенных возможностей. Хочет в Чечню ехать, чтобы поскорее эту бодягу закончить и за дело взяться.

Так что город и вольную жизнь мы видим, только когда едем на работы. Народ сразу начинает вспоминать про доармейскую жизнь. Как много, оказывается, в ней интересного было!

Недавно выяснил, что попал я в зенитную батарею, и на вооружении у нас должны стоять то ли 27-ми, то ли 22-миллиметровые спаренные установки, но все они где-то воюют. Вообще из техники в полку только один БТР, да и тот на ладан дышит.

Сформировалась группа добровольцев в Чечню, и 26-го они туда должны поехать. Вообще желающих ехать туда много: говорят, там день за три идет и платят чуть ли не полторы тысячи в день! Весь юг, оказывается, с этого живет. Позавчера же (я как раз в карауле был) в пять часов вдруг команда: «Караул! В ружье!». Мы, как положено, убыли на усиление постов. Смотрим: полк строится и командир начинает что-то говорить. Потом выяснилось, что пришла «телега»: в Карачаево-Черкесии тоже «компот» начинается, и если до 26-го придет команда, то добровольцы поедут не в Чечню, а в эту Черкесию. Это сообщение вызвало у народа бурную, но непонятную мне радость.

Из разговоров с теми, кто был в Чечне, выясняется, что мародерство — вещь обычная. Я еще не знаю, как к этому относиться, но удивляюсь все меньше.

05.08.00 г. Все так же через день хожу в караул, где и нахожусь в данный момент. Дело это довольно скучное. Караул у нас небольшой, но я, сам того не желая, умудрился тут выделиться. Благодаря хорошей памяти, устав выучил за один вечер и в караул пошел в числе первых. А теперь нас троих, самых «шарящих», поставили по трем сменам старшими. Теперь хожу с караульными на посты, показываю и рассказываю, что и как делать. Словом, народ натаскиваю.

Когда был еще обычным часовым, заступал на охрану автопарка и однажды увидел там гигантские машины — бронированные, все в брандспойтах. Эти машины называются «Лавина» и предназначены для разгона демонстраций. Приберегают у нас, стало быть, и такую технику.

Недавно попал работать на склад вооружений. Насмотрелся там оружия всякого до тошноты: АКСы, ПКСы, РПК, РПГ, СВД, ПТУРСы и подствольники, прицелы всякие. И даже 82-мм миномет 1941 года выпуска, но вполне пригодный к действию, а еще самодельный чеченский миномет. Мастеровые ребята.

Из-за жары в полку объявился «дизель», и теперь нам, как когда-то в «Ахтырке», выдали фляги, а в столовую ходим со своими кружкой-ложкой-котелком. Сами же их и моем. Фляги выдали новенькие, а котелки, видимо из тех

еще, что в 41-ом на границе бросили, а теперь подобрали. Мы их два дня мыли, чистили, красили, приводили в пригодный вид.

Один из ребят, которых увозили в Шахты на сержантов учиться, на днях вернулся обратно. Не прошел там медкомиссию. Много чего плохого про это место поведал. Говорит, что строевой и физической подготовкой мучают, а воды мало: ни попить, ни помыться. Про воду — это мне знакомо по каникулам у бабушки. В Шахтах сначала пьют шахты, а потом — все остальные. Так что я и раньше не жалел, что туда не попал, а теперь тем более.

13.08.00 г. Приехали «дембеля» из Чечни на увольнение. Ребята нормальные, много чего интересного рассказали о чеченском житье-бытье, а как только они получили «боевые» (за боевые действия рядовые срочники получают 810 рублей в день), то купили нам в батарею телевизор и «видак». Так что теперь смотрим и радуемся. Сегодня — воскресенье, и как постирались, полдня «видак» гоняли.

У меня же грандиозная новость: попал в санчасть! Произошло это неожиданно даже для меня самого. Пошли, как обычно, на медосмотр перед караулом, и начмед спрашивает: «Кто болен?». Меня же с утра канюдило, думаю, скажу, чтобы таблетку дали, как раньше ребятам давали и отпустят. Начмед же меня осмотрел внимательно и вдруг приказал положить в санчасть.

Первое, что меня в санчасти ошеломило, это то, что здесь можно днем спать! Я как-то уже отвык от того, что днем можно вот так запросто на койке валяться! Я этим незамедлительно воспользовался, а отоспавшись, тут же книгу себе нашел: «Божественная комедия» великого Данте. Давненько я книг в руках не держал. Обследовав санчасть, обнаружил еще несколько книжек и потрепанный «Военно-исторический журнал». В общем, есть что почитать.

19.08.00 г. Получил из дома сразу четыре письма. Пришли они сюда в разное время, но пока почта раскачивалась, они все вместе и собрались. Почта работает отвратительно: письма постоянно теряются, а потрошат почти все подряд. Однако «благодаря» почте теперь могу представить жизнь дома сразу за целый месяц.

За всеми армейскими напрягами я совершенно запамятовал, что вырос среди черных шинелей, матросских бушлатов и стреляных гильз, и чуть не проворонил свой любимый праздник — День ВМФ! Хотя фильм «Командир счастливой «щуки» я смотрел, но как-то не задумался, что его на День Флота показывают. Я так обрадовался, родные сопки увидев, что и спать не пошел. Весь фильм до конца досмотрел, еще и комментировал его в рекламных паузах другим зрителям как специалист по флоту и Заполярью.

Быт здесь организован вполне нормально. Есть душевая, куда нас каждое воскресенье водят мыться. Можно и в будни, но мне по статусу «не положено» еще. Умывальниками же (один — в казарме с холодной водой, другой — на улице с горячей) можно пользоваться в любое время. Стираемся мы тоже по воскресеньям, а если сильно надо, можно и ночью постирать. Форма наутро уже сухая и можно надевать. Правда это пока лето, а вот зимой... Но не будем о плохом.

26.08.00 г. Позавчера выписали из санчасти. Лежал там полторы недели. Правда, как выздоравливающего стали гонять на работы в Краевую больницу,

но мне и там повезло: попал работать на пищеблок, а там добыть вкусностей всяких ничего не стоит. Да еще между делом и деньжат смагарычил, отремонтировав зубоврачебное кресло. Накупил себе лезвий, ручку, конвертов, а остальное зашкерил про запас.

Теперь же я в своей «горячо любимой батарее», где людей, как всегда, не хватает. Народ, не сменяясь по нескольку суток, стоит, поэтому я тут же попал опять в караул.

Погода стала меняться: днем еще жарковато, а к ночи холодает.

04.09.00 г. Получил перевод из дома, но процесс получения его — целая поэма. Вообще, как я заметил, в армии очень любят из пустяка делать большую проблему, а потом ее «героически» преодолевать.

Извещение на перевод я получил еще в санчасти. По возвращении в часть выяснил, что для получения денег надо идти на почту обязательно со старшим, но заниматься этим, естественно, никто не хотел. Так и оставалось все на прежних местах, пока нас с переводами и посылками не набралось целое отделение. Только тогда мы уломали-таки командира отвести нас на почту. Перво-наперво нам выдали военные билеты, что тоже не так-то просто: начальство боится, что мы из армии разбежимся в одночасье, поэтому наши же документы держат от нас подальше. То есть по своему положению мы стоим где-то между колхозниками и проститутками, так как и тем, и другим для работы документы не полагаются. Когда же нас повели, наконец, на почту, то оказалось, что находится она в десяти минутах ходьбы от части! Готовили же нас так, будто собирались высадить на обратной стороне Луны.

На почте выяснилось, что многие переводы и посылки уже отправили обратно, так как все сроки их хранения вышли, но мой оказался еще на месте. Получая деньги, я впервые смог рассмотреть свой собственный военный билет. Смотрю, а там написано, что стою я на должности «разведчик-наблюдатель». Это с моим-то зрением! Мы с ребятами вволю посмеялись по этому поводу.

Вся эту неделю шли дожди, резко похолодало: днем градусов 10-15, а ночью и того меньше. Из-за этого в караул стали давать на ночь бушлаты. Так что на посту стоять терпимо.

Вся территория части засажена грецкими орехами. Сейчас они поспели и валятся к нам на посты. Я их тут же колю штык-ножом и поглощаю в невероятных количествах, нагло и беззастенчиво нарушая все запреты караульного устава.

10.09.00 г. Сегодня у меня великий облом: должен был идти на переговоры, но все сорвалось. Дело в том, что на переговорный пункт надо ехать в центр города. Я провел массу мероприятий: «отмазался» от караула, увильнул от наряда на работы, два дня бегал за командиром, пока он клятвенно не пообещал, что обязательно отведет. Когда же время пришло, то все оказались дико заняты. Это в воскресенье-то?! Так меня никто и не повел. Сволочи, короче говоря.

С письмом отправляю домой справку, которую нам писарь раздавал. Сам он про эти справки ничего не знает толком. Пытался узнать у кого-нибудь еще, но бесполезно. Как всегда, никто ничего не знает. Выяснил только, что дальше числа, указанного в справке, меня не имеют права держать на службе. Так что 22 мая 2002 года — моя светлая «дембельская» дата.

На днях мне в караул дневальные принесли сразу кучу писем. Тайно, потому что ни перед караулом, ни в карауле письма получать не положено, так как считается, что, прочитав те письма, мы тут же застрелимся. Вот дурдом-то! Когда же нам их еще получать, если мы в карауле практически каждый день?

Куча же писем потому, что они почти месяц валялись где-то, хотя из дома шли всего семь дней.

24.09.00 г. Пишу снова в карауле. Это, пожалуй, единственное место, где можно спокойно писать, никто тебя не дергает и не пытается какую-нибудь работу придумать

За эту неделю произошло целых два события. Во-первых: были стрельбы, во-вторых: впервые за всю службу выдали зарплату или денежное довольствие, как это в армии называется.

На стрельбы ездили в Казазово. Там находится полковое стрельбище и дислоцируется 3 БОН нашего полка. Расположено Казазово у знаменитого Кубанского водохранилища и напоминает собой «Ахтырку»: те же бараки беленые да аллеи ухоженные. Вот сюда мы на КАМАЗе и приехали.

Я немедленно произвел рекогносцировку, и лишний раз убедился: до чего же красивые у нас на земле места! Однако красота красотою, а «война» — согласно плану БП. Стреляли десятью патронами короткими очередями по трем мишеням. Первым появлялся «пулеметный расчет» на пятнадцать секунд, а затем два раза грудная мишень выскакивала. Я, честно говоря, даже мишеней толком не видел, поэтому все десять отстрелял в «молоко», лишь взвихрив кубанскую пыль на бруствере, но что удивительно: стреляли мы из своих же караульных автоматов! Я даже не предполагал, что моя ржавчина еще и стрелять может. Что ни говори, а автоматы и танки мы делать умеем. Факт.

Потом, пока ждали машину, выяснили, что в 3 БОНе у нас много знакомых. Это, во-первых, те ребята, что попали в госпиталь, когда расформировывали нашу учебную роту, а во-вторых — это наши «рашпиля» — сержанты из «учебки». Им-то мы особенно обрадовались и на радостях «случайно» одному, самому ретивому, приклад на голову уронили. Остальные успели разбежаться или, как здесь говорят, рассеяться на местности.

Ребята из 3 БОНа рассказывают, что поначалу служить было тяжело, пока не уехал на выезд «отмороженный» призыв 2-9*, а теперь полегчало, так как в батальоне остался только наш призыв под присмотром нескольких сержантов. Жалуются только, что бушлатов не дают даже в караул. Так и бегают в одних «комках», мотая сопли на кулак.

Словом, не зря съездили, хотя дивизион и плохо отстрелялся, что нас не очень-то и огорчило.

Теперь о зарплате. Строго говоря, один раз нам ее уже «выдавали», но весьма своеобразно: старшина купил на июльскую зарплату мыло, мыльницы, зубные щетки и пасту, что на армейском сленге называется «рыльно-мыльными принадлежностями». Тогда мы были даже не против, так как у многих уже действительно ничего не было, но в этот раз за август нам должны были выдать полностью наш заслуженный тридцатник. Однако, не тут-то было: стар-

* Призыв 2-9 — осень 1999 года; 1-0 — наш призыв, весна 2000.

шина поднял вой, что половина народа мыльницы растеряла, в батареях веников нет... ну, и тому подобное. В результате нам выдали только по десятке.

Помнится, отец рассказывал, что его старшина перед зарплатой тоже выискивал разные предлоги, чтобы народу денег не выдавать. Видимо, старшины российских войск ничем друг от друга не отличаются, что на севере служат, что на юге, что в ВВ, что в ВМФ.

С деньгами же мы поступили просто: помянув старшину нехорошими словами, скооперировались с земляком Андрюхой Парамоновым и на двадцать рублей купили в «чефане» орешки с начинкой из сгущенки, точно такие же, что мы дома пекли. О доме они нам и напомнили.

Замечаю за собой некоторые изменения. Раньше, на «гражданке», я драться не любил, да и сейчас, признаться, тоже, но стал бить, особо не задерживаясь с разговорами. Иначе нельзя: свои же на шею сядут. Примеров тут много. Как там у Солженицына: «Самый страшный враг зэка — свой брат зэк»? Вот-вот, к солдатам это тоже относится.

02.10.00 г. В казарме заканчиваются последние приготовления к зиме и ремонт. В этом принимал посильное участие и я, уже и белил, и красил. Умеет армия учить таким вещам. Вообще, когда ездим на работы, то вижу, что весь юг — сплошная стройка. Словом, главное, чтобы руки были и голова, а они у нас с братом есть. Вот отслужу, и поработаем.

Служба же идет как обычно: через день в караул, в промежутках — работы, но это даже хорошо: не замечаешь, как дни летят. Пошел уже пятый месяц моей службы. По армейской иерархии считаюсь уже «бумажным слоном», о чем и печать имеется, ведь в «слоны» нас перевели, как положено, солдатским ремнем по всем правилам. Словом, развлекаемся, как можем. А первый этап службы уже, считай, прошел.

15.10.00 г. Сегодня воскресенье, и хотя свободное время было, пишу по привычке в карауле. В одном письме из дома обнаружил припрятанные деньги. На них, как тогда на зарплату, накупил орешков с начинкой, наложил их в подсумок рядом с патронами и, стоя на посту, смачно их порешил, млея от удовольствия, но лучше к ним не привыкать — расслабляют.

На днях опять обещают на стрельбы погнать. Честно говоря, надоели они уже порядком. Намерзнешься там за полдня, а потом еще и в караул заступать. Да результат-то нулевой: весь дивизион стреляет строго на «двойку».

Во время командирской проверки караула начальство заметило, что в общей комнате караула имеется книжная полка, и возмутилось отсутствием книг на ней, а у нас во всей батарее из книг только общевойсковой устав, да и тот сильно потрепан. Командиры тут же прытко притарабанили с десяток книжек. Я сразу же самые интересные отобрал и спрятал, а то ребята их быстро на сортир изведут. Из выбранных мною книг пара про войну, одна — приключения, а самое интересное — сборник стихов древнего узбекского поэта. Занимательно будет почитать, что писали древние поэты.

22.10.00 г. Пришли письма из дома, а в них мамина фотография. Я ее вклеил в свой солдатский блокнот и так с собой постоянно ношу. Мама все пе-

реживает, что я тут «в глаз получаю», но напрасно. В солдатском коллективе достаточно (только сразу!) себя поставить и больше ничего не надо: авторитет будет работать на тебя. А на рожон я никогда и не лез. Слабых не обижаю, на сильных не наезжаю, поэтому и меня никто особо не трогает. Словом, вооруженный нейтралитет.

А еще мама спрашивает: ем ли жирное? Отвечаю: теперь я ем все.

Во вторник опять были стрельбы. Я, как всегда, бодро и весело отстрелялся в Краснодарский край и с интересом наблюдал, как стреляют другие. У народа уже вырабатывается определенный навык и даже вкус к стрельбе. Матереют воины. Поболтали с корешами, обменялись новостями и домой — караул ждет. Только «рашпилей» своих мы больше не встречаем. Прячутся где-то. Как-то их зачем-то в полк привозили, так их в спортзале заперли и не выпускали всю ночь. От нас прятали.

Вчера же вместо развода нас вдруг погнали в клуб. Оказывается, скоро будет итоговая проверка полка, и командир настойчиво призывал нас: «Учиться, учиться и учиться». После этого сборища народ высказал единодушную мысль: будут теперь «доставать» приборками и строевыми занятиями.

Это плохо, так как строевой я уж и не помню, когда мы занимались. Помоему, еще в «славные ахтырские» времена. Мы же постоянно или в карауле, или на работах. Поэтому «основа основ военной службы» у нас практически на нуле. Никто строевым шагом ходить не может, козырять не умеет, как к начальнику обращаться, — не знает, а некоторые феномены до сих пор и погоны-то не различают, так как всю свою сознательную жизнь проводят в наряде по столовой.

Позавчера же нам выдали-таки теплое белье: зимние портянки и «белки». Портянки толстенные, как полотенца, и греют хорошо. «Белки» тоже, слов нет, хороши, однако, думаю, намучаемся мы с их стиркой. Правда, когда похолодало, мы стирать перестали даже портянки, так как сушилка в казарме не предусмотрена. Наверное, и с «белками» вопрос отпадет сам собой.

Пошли слухи, что на подходе уже новый призыв. Раньше осенние призывы проходили КМБ здесь в полку, а теперь выясняется, что их тоже в «Ахтырку» повезут. Я им не завидую. В «Ахтырке» хорошо летом. Она и устроена как летний лагерь: неутепленные строения, да и с водой все время проблемы. Нас-то речка спасала, а как они умываться будут? Не представляю. Погода-то уже и сейчас почти зимняя: дует холодный пронизывающий ветер, а по утрам кругом иней.

29.10.00 г. Приехала из Чечни партия на увольнение, а среди них земляк из Знаменки Щигровского района. Там еще, помнится, брат церковь строил. Передал с ним письма домой. Все быстрее дойдут, чем через полковую почту.

Он был зенитчиком на позиции Эрсиной под Ведено. Говорит, служить можно: артиллерия — не самое страшное место на войне.

Служба идет сама по себе: караул да работы.

Недавно ездили получать зимнюю форму, и скоро все это должны нам выдать и поменять сапоги. Мои-то еще держатся, а у некоторых ребят уже совсем разваливаются, только портянки и спасают. Правда, сейчас резко потеплело, в караул даже без бушлатов ходили, но по ночам такой плотный и густой туман,

что на расстоянии четырех-пяти метров ничего не видно. Я такого тумана не помню даже по Северу.

05.11.00 г. Недавно смотрели по НТВ передачу про осенний призыв, и там Явлинский выступал с изложением позиции «Яблока» по отмене срочной службы. Но что срочную могут отменить, я очень сомневаюсь. Совсем наоборот: в народе ходят упорные слухи, что скоро будем служить два года и восемь месяцев, так как такому количеству командиров, что постоянно болтаются по части, явно не хватает солдат. Я надеюсь, что под это не попаду, а осенний призыв — очень даже может быть.

А я опять попал в санчасть. Вернее, не попал, а сам забрался: на днях простыл немного, и даже горло заболело. Я и решил под этим предлогом «закосить» в санчасть, а то постоянный караульный недосып стал вместе со службой сильно доставать.

Сейчас уже отоспался и проглотил за один день Фадеевскую «Молодую гвардию», но, прочитав ее, так и не понял, почему она раньше была такая популярная. И в школе, говорят, ее проходили.

Была и печальная встреча. Из госпиталя «на комиссию» привезли земляка. Мы с ним знакомы еще по сборному пункту и в «Ахтырке, в одном взводе были. Только его при расформировании учебной роты забрали в разведку. Я не знаю, что произошло с ним за эти четыре месяца, но это был уже совершенно другой человек, и смотреть на него было жалко и жутко. В тот же день его увезли обратно в Курск.

В полк стали возвращаться те, кто учился на водителей БТРов. Из их рассказов выяснилось, что там сплошная физическая и строевая подготовки. Помню, отец рассказывал, как его друг, будучи в армии водителем танка, на всех занятиях учился передвигаться «пеший по-танковому», а наших ребят, значит, учили «пеший по-БТРовски». Сколько лет прошло, а в армии ничего не изменилось.

Казазово

12.11.00 г. Пишу уже из батареи. В санчасти я пролежал ровно неделю, совместил приятное с полезным: здоровье поправил, отоспался и отъелся немного. Пока я отдыхал, в полку началась итоговая проверка. Она заключается в том, что все, от солдата и до полковника, сдают зачеты по физо и стрелковой подготовке. И я прямо с корабля попал на бал — на эти зачеты.

Сдавать мы ездили в Казазово. Подтягивались, бегали стометровку и кросс на три километра. Вообще-то не сложно, только мне после недельного неподвижного лежания пришлось туговато, но еще интереснее было смотреть на наших командиров. Мы ведь одной толпой бегали. Бежим, а у них животы в разные стороны болтаются, но надо отдать им должное: они еще и нас умудрялись матюгами подгонять.

Потом были стрельбы. Самое удивительное, что даже я отстрелялся на «отлично», повалил и грудную мишень, и «пулеметный расчет». Правда, командир корректировал, но стрелял-то я! Приятно, черт побери!

На стрельбах не обошлось без армейского дебилизма, так как стрельбу у нас принимал генерал-майор еще советской закалки. Про людей такого типа

здесь говорят: «Мозгоклюй». Он действительно довольно долго нам на мозги капал, рассказывая, как на рубеж открытия огня выходить, да с какой ноги на какой бок ложиться. Мы, оказывается, не с той ноги все время ложились! Спасибо генералу, просветил.

А мне вообще повезло. Только залег, получил команду «Огонь», дослал патрон в патронник, прицелился, а тут проверяющий в «матюгальник» орет: «Газы!» Мы же на стрельбы ездим только в «бронниках» и касках, а противогаз я последний раз видел еще в «Ахтырке». Тут уж наш командир не выдержал и заорал на генерала, что противогазов у нас нет и быть не может! В общем, пока они, таким образом это дело решали, мы дружно открыли огонь. По мишеням, конечно. Потом долго смеялись, вспоминая, как крутили во все стороны головами и стволами, туго соображая: что за газы такие? Так я до сих пор и не знаю, что надо делать в такой ситуации: стрелять по мишеням или защищаться от газов. Вот проблема-то...

Краснодар

21.11.00 г. Вовсю идет проверка, поэтому и в казарму, и в караулку приходят всякие чины, чтобы сказать нам, что все не так, все неправильно, все плохо. Одно непонятно: такие проверки проходят каждые шесть месяцев, но почему-то никто не может сделать все правильно и хорошо. Прямо какая-то перманентная проверка получается. Постоянно шастают проверяющие генералы (как их, оказывается, много-то!) и орут, что мы на корню загубили святое воинское дело. Весь этот ор уже всем порядком надоел.

Здесь на глаза попадается много разных полезных вещей, и поначалу я даже прикидывал, куда это можно пристроить, но потом вовремя опомнился: девать-то мне все это некуда. Ведь мы живем по принципу: «Все свое ношу с собой». Я это выражение из одной книги переписал на латыни (Omnia mea mecum porto) и теперь оно является заглавием в моем солдатском блокноте. Очень оно нам подходит.

Погода у нас здесь держится: днем 0°С — немного минус, а сегодня ночью даже крупа сыпала. Так что по-местному вовсю началась зима. Ведь снега здесь вообще не бывает. Словом, «дикие» люди эти местные: и зимы-то не знают.

Сегодня приехал старшина. Ездил за молодыми аж в Омск. Мы их, правда, не видели, так как их сразу в «Ахтырку» увезли, от нас подальше. Так что какие они эти сибиряки, мы не знаем. Хотя у нас есть ребята из Тюмени, но это уже не то, они уже свои, и мы про них знаем. Да и мерзнут они так же, как и мы, а еще сибиряками называются.

28.11.00 г. Вчера утром нас подняли по тревоге в пять часов, и мы как дежурное подразделение, согласно боевому расписанию, убыли на охрану передвижного КП. Прибегаем в парк, где уже формируется колонна, в которую входила машина связистов, несколько грузовиков и легковушек, а также БТР. На нем-то нам и предстояло ехать. БТР этот ремонтировали на моих глазах целый месяц, а до этого он год стоял в парке под открытым небом.

Мы быстро погрузились в эту жестянку, на нее даже КПВТ поставили, и тут-то узнали, что вся эта колонна сейчас двинется в Казазово. Мы сразу приуныли: ехать в промерзшей замазученной коробке — удовольствия мало.

Да еще и в Казазово мерзнуть. Однако пугались мы напрасно: все пошло чисто по-русски, то есть наперекосяк.

Во-первых, проехав сто метров от ворот части, мы выяснили, что БТР наш не то что в Казазово, а и в парк не сможет вернуться. Где-то там что-то лопнуло, и масло потекло из боевой машины широкой пенистой рекой.

Во-вторых, у БТРа спустило колесо и отказала рация.

В дополнение ко всему заглох один УАЗ, и машина связистов испуганно хлопала поздним зажиганием. Техника тоже явно не жаждала до Казазово трястись. Тогда подполковник-посредник принял командирское решение: проверять нас на месте, на глазах у изумленной краснодарской публики. Всех выгрузили, построили, и началось...

Связисты развернули свою установку и первыми сели в лужу. Сначала у них не завелась переносная электростанция. Потом выяснилось, что они не могут связаться со своим собственным штабом по причине незнания кодов, частот и позывных. «Подпал» плюнул и перешел к саперам.

Однако у саперов дело оказалось не лучше. Мой земляк Сашка Бокалдин долго и безуспешно пытался собрать миноискатель, но давалось ему это с трудом, поскольку видел-то он его второй раз в жизни (первый — на картинке). Когда же с помощью командира взвода ему это все-таки удалось, выяснилось, что никто толком не знает, как с ним обращаться дальше. Их же минно-розыскная собака совершенно не реагировала ни на мины, ни на «подпала», а все норовила сбежать на близлежащую свалку, чтобы погонять табунившихся там воробьев. Расстроенный «подпал» перешел к нам.

Здесь он еще больше потерялся, увидев наш издыхающий БТР. В придачу из-за БТР вдруг появился упакованный в ОЗК боец, слепой от запотевших очков противогаза, и стал тыкать флажками во все стороны. Это где-то химики «воевали» и потеряли своего разведчика.

Когда же очумевший от всего этого «подпал» узнал, что охраняет все это не стрелковое подразделение, а какие-то зенитчики-минометчики, которые своих пушек не видели даже на картинке, то душевно так матюгнулся и уехал. Мы же потопали пешком обратно в казарму, а БТР взял на буксир вызванный из части трактор.

Такие вот учения. Вроде и смешно, но в тоже время и очень грустно.

Моздок

30.11.00 г. 28 ноября, как только мы возвратились из караула, нас всех, кому исполнилось шесть месяцев службы, быстро экипировали и на вокзал. Экипирование состояло в том, что одели мы на себя по две «белки», по два «комка», ватные штаны и бушлаты. Обещали нам еще поменять разбитые за полгода сапоги, но «забыли».

Набралось нас человек с полсотни. На следующий день в половине одиннадцатого дня мы сошли с поезда Москва — Владикавказ где-то в Осетии, а оттуда электричкой до Моздока. Там же, отмахав несколько километров в обход города, прибыли на Моздокский аэродром.

Идти было бы совсем легко, поскольку у нас своих вещей никаких не было, даже солдатских сидоров. Однако командиры от души нагрузили нас своими

сумками, мешками, ящиками. Мне же досталось колесо от зенитки, которое кому-то понадобилось на выезде. Все машины, проезжавшие мимо, тут же останавливались, и водители, горя глазами, мое колесо осматривали, ощупывали и предлагали его тут же обменять на что-нибудь солдату нужное. Как сознательный боец, я от всех предложений стойко и категорически отказывался.

Когда же мы оказались на Моздокском аэродроме, то выяснилось, что транспорты на ПВД не летают из-за плохой погоды, и нас направили в «отстойник-накопитель» — это обнесенная колючкой площадка, где стоят несколько армейских палаток, бочка на колесах с водой и туалет.

Офицеры с «контрабасами» тут же оккупировали палатки и начали усиленную борьбу с «зеленым змием», видимо перепутав его по пьяни с «зеленым знаменем исламского фундаментализма». Вернее, они это дело просто продолжили, так как начали, едва поезд от Краснодара тронулся. К вечеру все палатки уже были завалены «синюхами», а мы, натащив досок и распалив костры из покрышек, улеглись спать прямо под открытым небом.

Чтобы кто-нибудь во сне не свалился в костер, назначили дневальных, но они не досмотрели, и у меня сгорела подошва на одном сапоге. Пришлось облазить все ближайшие свалки и найти себе что-нибудь пригодное к носке. Попался однако, лишь сапог облегченного образца. В нем-то я и ходил, приволакивая другую ногу, обутую в тяжелый «кирзач».

Исследуя свалки, я обнаружил на одной из них два «цинка» 30-мм снарядов. Вечером рассказал всем, что до войны еще не доехали, а БПы уже под ногами валяются. Сидевший у нашего костра комендант лагеря, солдат-срочник, тут же упросил меня то место показать. Внимательно осмотрел находку и тщательно спрятал. Видимо, здесь все имеет цену.

Утром выяснилось, что из-за плохой погоды наш вылет задерживается на неопределенной время, а посему вводится жесткий режим экономии сухого пайка, что на практике выглядит очень просто: господа офицеры и приближенные к ним лица продолжают «давить синьку», смачно закусывая ее нашим сухпаем, а мы переходим на подножный корм.

Поскольку пастись на вытоптанном пятачке земли да еще в ноябре затруднительно, мы стали прочесывать палатки, как только командиры роняли «усталые» головы на «боевые карты». Добывались остатки нашего же пайка, но однажды ребята притащили ящик, увесистость которого дополнялась тросовой увязкой. Вскрыв его, мы обнаружили громадные куски перченого сала, консервы, колбасу, конфеты. Чтобы досталось всем поровну, добычу мелко покрошили и сварили в подобранной на свалке жестянке. После того как варево было выпито через край, в жестянке сварили кофе, банку которого нашли в этом же ящике. Остатки ящика и упаковок уничтожил огонь. Утром «контрабасы», обнаружив пропажу (оказалось, что этот ящик — посылка лично для замполка), затеяли следствие. Один из «следователей» взялся за меня, но только-то и успел повредить мне зуб и получить в ответ, как гревшийся у нашего костра милиционер свистнул своих, а они, оттеснив нас, быстро и умело того «контрабаса» замесили. Выбежавшие на шум наши «профи» подобрали на земле то, что осталось от «контрабаса», и утащили в палатку.

Зуба, конечно, было жаль, но еще жальче, что «менты» не дали поплясать на сытой и наглой «контрабасовской» морде.

После этого отцы-командиры сообразили, что нас все-таки надо кормить и стали водить в столовую аэродромной обслуги, где мы доедали то, что от той обслуги оставалось. Хотя две ложки каши, размазанные по дну крышки от котелка, сложно назвать пищей, но это было уже кое-что, а тут еще установилась погода, и мы «коровой» вылетели в район СБЗ на ПВД.

II. Чеченские будни

Дышне-Ведено

07.12.00 г. Я уже в Чечне. Хотелось бы написать, что попал сюда из-за нежелания прятаться за чужую спину или что-то подобное, но все гораздо проще: оказался здесь по разнарядке. Прилетели мы 4-го, и с этого числа защелкал мой «боевой счетчик».

Чечня встретила нас прекрасной, почти летней погодой. Места здесь удивительно красивые: вокруг поросшие густым лесом горы, а южнее — заснеженные вершины, за которыми, говорят, уже Грузия, но это вряд ли, еще Дагестан должен быть.

Веденское ущелье представляет собой широкую долину, а по нему на много километров растянулось Ведено, которое делится на несколько частей. Перед нами — Дышне-Ведено. Село большое, есть мечеть, электричество. Ночью — прямо Лас-Вегас, а днем никого не видно. Даже собаки не лают, но школа работает, и по утрам видно, как дети туда ходят.

Прямо за Дышне-Ведено видно селение Джаной-Ведено, а справа на склоне большой горы — Ца-Ведено, над нами же села Эрсеной и Курчали. Слева за «взлеткой» — селение Центарой. Самое интересное из окружающих селений — это Эрсеной: дома стоят на абсолютно голых камнях горной вершины. Даже удивительно: как туда воду доставляют?!

В бинокль виден знаменитый дом Басаева. Вернее, его остатки: комендатура его взорвала зачем-то. Один забор кирпичный остался.

По прибытии нас сначала поселили при штабе АЗДн, а меня назначили посыльным. Вдвоем с командирским денщиком обеспечивали дровами штабную печку и бегали фельдъегерской связью. Ночью же у меня обязанность особая: отоспавшийся за день замполит с вечера начинал «квас», а, «насинившись», изливал мне душу, рыдая о разваленной державе и «опущенной» армии. Однажды замполит рассказал о своей мечте. На огромном полотне нарисовать свинью, загрызающую волка, и вывесить на забор «чехам».

Волк — это эмблема боевиков. Она так и осталась нарисованной на БМП, которая вкопана в позиции полка недалеко от нас. Это, говорят, трофей уже этой войны. А свинья...

Вот вскоре нас, свиней, по позициям и раскидали.

Позиции нашего полка тянутся по сопкам вдоль ущелья и делятся на РОПы и ВОПы, представляющие собой маленькие крепости, которые расположены довольно близко друг от друга и соединены рокадной дорогой.

На моем ВОП-9 нас чуть меньше взвода, но вооружение мощное: АК, ПКМС, СВД, АГС, РПГ. Артиллерию, помимо гранатометов, представляет наша зенитка: автоматическая 23-мм спарка. В расчете нас трое: один старшего призыва,

я и мой друг Леха Гостев из-под Волгограда. Здесь же, но уже в пехоте, оказался и мой одноклассник Олег Крюков.

Честно говоря, я теперь даже рад, что попал сюда. И деньги нам платят, и «день за два» идет. Получается, что я уже в августе уволюсь. Все эти льготы — за тяжелые условия службы, которые, по-моему, ничем не отличаются от условий деревенской жизни: те же дрова, та же вода, грязь непролазная. Одно удручает: почты нормальной здесь нет, письма привозят попутным грузом из Краснодара, а мы свои отправлять будем с оказией.

Живем мы все в одной большой землянке, в которой есть даже электричество от генератора, что стоит на КП, но включают его только на ночь; днем и так светло. С нами живет и командир ВОПа, совсем еще нестарый старлей.

Перед тем, как разбросать нас по ВОПам, отвезли на ВОП-6, где стоит минометная батарея. Минометы батальонного и полкового калибра — 82 и 120 мм, — но 1939 года выпуска, все войны прошли, однако стреляют исправно. Моя зенитка тоже не молодая: 1967 года изготовления.

На ВОП-6 нам показали, что и как стреляет, побросали гранаты и дымовые шашки, а остальному будем учиться уже на месте.

20.12.00 г. Служба уже установилась, набрала ровный темп. Дни идут одинаково, ничем друг от друга не отличаясь. За работой и службой не замечаем, как время летит, а подумаешь, что «день за два идет», — сердце радуется.

Кормят здесь лучше, чем в Краснодаре. По Виктору Суворову: если солдата кормить разными деликатесами, он горы свернет. Правда, за пищей приходится ходить на КП полка, что делать по грязи не очень-то приятно, да еще в полном снаряжении. Хотя передвигаться приходится по территории, контролируемой противником. Гораздо большей опасности мы подвергаемся в расположении полка: обязательно нарвешься на какого-нибудь придурка в должности с его идиотскими приказами типа «побрить голову». Или однажды, когда я пришел с напарником за обедом, кому-то из РМО приглянулись мои штаны. Я дико возмутился: дескать, со стволом тут хожу, а вы наезжаете! Этим нарушил свой собственный принцип — надо было сразу бить. Чья-то рука ловким ударом по защелке выбила магазин из гнезда автомата. Я двинул ближнему в зубы и, работая автоматом, как саперной лопатой, эту тыловую шушеру стал окучивать, а от столовой, вращая тяжелыми артиллерийскими кулаками, уже бежали ко мне КПешные АЗДнщики.

Драка получилась грандиозная, и зажравшихся РМОшников мы раскатали, как пельмени. Однако магазин с патронами они успели спрятать. Тогда я пообещал им, что задержусь здесь, благо БК при мне, и сытая теплая жизнь у них кончится. Что-то в моих глазах было такое, что они сразу поверили, и магазин быстро нашелся. Больше к моим штанам никто и никогда не приставал.

Погода все эти дни стояла теплая, мы даже без бушлатов ходили. Когда мне брили голову, я вообще сидел на позиции при форме одежды «голый торс». Но вчера из ущелий полез туман, а вместе с ним и снег. Так что поутру вид вокруг был, как на Новый год. К нему мы тоже готовимся, но только елку не можем найти: не растет тут ничего игольчатого.

Зенитку свою знаю уже неплохо, уверенно разбираю механизмы, заряжаю. Что самое интересное и смешное: по книжке для разборки полагается куча

инструментов (вещь все-таки сложная), но на практике обходимся шомполом от своего же автомата и кувалдой. О, безотказная кувалда!

При обучении не обошлось без курьезов. Оказалось, что никто, включая командира дивизиона, не знает, как пользоваться дальномером и стрелять по воздушным целям. Привыкли пользоваться прицелом для неподвижных наземных целей.

Служба особо не обременяет, только становится заметно скучнее. Новые впечатления блекнут, привезенные книжки и газеты дочитываются. Остается одно развлечение: с поста в бинокль разглядывать Ведено. Как раз напротив нашего ВОПа находится мечеть, откуда в строго определенное время разносятся призывы муллы на молитву, больше похожие на жалобные завывания.

Интересно заметить, что мечеть построена из того же красного кирпича, что и часовня на привокзальной площади в Щиграх. Да и проект тот же, только у щигровской часовни купол золотистый, а у мечети — серебристый.

Хотя село начинается прямо у подножия сопки, на которой стоит наш ВОП, с местным населением мы практически не встречаемся. Только когда спускаемся вниз за дровами, местная детвора сбивается в стаи и громко кричит от домов, обзывая нас «русскими свиньями». Мы смеемся и шутливо грозим им стволами. Ребятня разбегается, и дразнят нас уже из укрытий.

Связь с селом осуществляется только через КАМАЗ, который каждые два дня ездит туда за водой. Через него же те, у кого есть деньги, заказывают покупки на местном базаре. Деньги же сердобольные родители присылают в письмах, и, хотя их сильно потрошат, некоторые купюры все-таки доходят. Других денежных поступлений у нас нет, так как никакого денежного довольствия нам уже давно не платят.

Еще для связи с селом у нас есть и «чех» Саид, который тайно ходит к нам на ВОП для коммерции: выполняет заказы на покупки, делает обменные операции. Человек он немногословный, но однажды рассказал, что тоже служил в армии — только пятнадцать лет назад и на Дальнем Востоке. Минеры специально для Саида оставили проход в минных полях, лишь утыкав его «спотыкалками».

Я однажды спросил Саида, как относятся в селе к его походам к нам, на что он ответил: грозятся, мол, убить, но семью-то кормить надо.

Однажды Саид принес на обмен «НАТОвский комок». Ношенный, но еще в хорошем состоянии. На подкладке фуражки была надпись: «Шамиль». Мы смеялись: не с царского ли плеча самого Басаева «комок»? Кто-то из «контрабасов» его купил.

Нам здесь даже не верится, что где-то сейчас магазины завалены елками, гирляндами и прочей новогодней мишурой, народ суетится в подготовке к празднику... Но мы сильно не расстраиваемся: главное — службы осталось всего-то восемь месяцев!

30.12.00 г. *Из хроники:* В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПРОИЗВОДИЛСЯ АРТОБСТРЕЛ ВЕДЕНСКОГО УЩЕЛЬЯ АРТИЛЛЕРИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ.

02.01.01 г. Новый год мы отметили громко и красиво. Правда, и в новогоднюю ночь, конечно же, пришлось свое время отстоять на посту.

Погода здесь стоит совсем не новогодняя, снега нет совершенно. За два дня до праздника с гор вдруг подул очень сильный и теплый ветер, который не только мгновенно растопил снег, но и тут же высушил землю. Так что даже грязи не было. А в новогоднюю ночь небеса разверзлись и хлынул дождь. Поэтому утро нового года застало меня в затопленном окопе, где я пытался спустить воду через стоки.

Накануне нам выдали подарки. Это коробка на двоих, в которой были банка консервированных персиков, банка шпрот, палка колбасы, плитка шоколада, три пакетика растворимого кофе, три пакета сушеных абрикосов, пачка печенья и жевательная резинка. Вообще-то все это пошло на общий стол. Да еще командир купил у «чехов» пять «полторашек» лимонада, и наш повар расстарался. Словом, кое-что на столе было, на наш маленький гарнизон вполне достаточно.

Однако главным подарком для нас были письма из дома! Я получил только одно, хотя, судя по содержанию, их должно было быть больше. Видимо, сволочи-писаря в Краснодаре их потеряли! У них там к письмам отношение самое безалаберное. Сам видел.

А Миллениум мы отметили так: до двенадцати посидели за столом, послушали Москву (нам ее «связюки» транслировали через полевой телефон), а в двенадцать поднялись наверх. Там же черт-те что творилось! Били в воздух из всего, что стреляло, — по всей Чечне, наверное! Светло было, как днем, так как минометчики пускали осветительные мины-люстры, а все остальные стреляли трассерами. И с БТРов били, и из танков. Мы тоже не остались в стороне от святого дела: ребята из взвода прикрытия стреляли из автоматов и пускали ракеты, а мы, зенитчики, высадили два короба трассирующих снарядов в гулкое чеченское небо, что вообще-то при нашей скорострельности — сущий пустяк. Словом, было дико красиво.

Потом немного погрустили, что не дома такой праздник встречаем (новое тысячелетие, как-никак!), попредставляли, как этот праздник выглядит дома. И по постам.

Ну а сейчас праздник кончился и начались обычные трудовые будни: чистим осыпающиеся окопы, таскаем воду, пилим дрова. Дрова здесь пилят совершенно по-варварски. Валят дерево и в дело идет только та часть, где нет сучьев (сучковатые трудно пилить, а еще труднее колоть), остальное отбрасывается. Я пытался было исправить дело, но потом махнул рукой. Что мне, больше всех надо?

А леса здесь немереные. И деревья-то замечательные: орех, бук, граб. Но граб для дров самый неподходящий — пилить твердо, колоть вязко.

Вообще, как я понял, на войне пила, топор и лопата дороже и ценнее любого оружия. Тем более, что оружия здесь навалом.

В нашем расчете теперь все три человека одного призыва: командир расчета мой друг Леха, я — наводчик, а заряжающий — боец Маркелов из Самары, только-только приехал. Служим исправно и часто стреляем.

Иногда от нечего делать лупим по консервным банкам. Ими, простреленными, вокруг постов все завалено. Вообще после военных остается одна большая помойка. Столько мы всякого мусора создаем!

Бывает, стреляем и по волкам. Они тут толпами бродят вокруг застав. А чтобы не тревожить начальство лишними выстрелами, ставим на автоматы

самодельные глушители из пластиковых бутылок с множеством отверстий. На два-три выстрела хватает.

Пока писал, с севера пополз густейший туман. Надо повысить бдительность, а то среди ночи прибежал ко мне на пост весь в панике АГСник с соседнего поста и рассказал, что к нему в окоп заглянул кто-то на длинных ногах, в черной накидке и с волчьей мордой. Привиделось, наверное, спросонок, однако к себе он больше не пошел, до самой смены у меня прятался.

06.01.01 г. Погода сейчас какая-то неустойчивая. Днем так тепло, что ходим в одних тельниках, а к ночи из ущелий наползает такой плотный туман, что буквально в двух шагах уже ничего не видно. Сразу становится промозгло и холодно. Из-за этого приходится, идя на посты, поверх бушлата и «брони» надевать еще и бараний тулуп. Прав Суворов (тот, который Резун, а не тот, что через Альпы): тулуп — оружие стратегическое, без него нам было бы не до войны.

Еще и обувь сегодня поменяли, а то я до сих пор, еще с Моздока, ходил в разных сапогах, а половина «местного населения» носила резиновые, выламывая из них примерзшие портянки. Это на днях прилетела «корова», под завязку набитая сапогами.

Сегодня погода сделала все наоборот: весь день был жуткий туман, думали, дождь пойдет, но к ночи туман убрался обратно в ущелья и низины и лежит там, освещенный полной луной, будто озеро. Изумительно красиво!

Вообще природа здесь отчаянно красива, и горько становится, что все загажено войной. В лес нельзя сунуться без миноискателя, потому что мин и растяжек там уйма. И наших, и чеченских. С обеих войн накопилось. Недавно, например, завалили дерево, я полез обрубать сучья, но прямо под ногами сверкнула на солнце серебристая нить. Осторожно раздвинули ветки и обнаружили прямо под стволом ребристый корпус мины. Так и лежит дерево на месте, никак ту мину не взять.

Прямо же напротив моей зенитки, метрах в шестидесяти, находится чудная поляна, а на ней стоит еще с той войны сгоревшая БМП. Досталось тут ребятам. А недавно при рытье хода сообщения наткнулись на могилу. Судя по остаткам амуниции, кто-то из наших. И не старый еще: зубы крепкие.

Да и само Ведено носит следы войны. Село как село, а в бинокль видно, что половина домов без окон и крыш, от школы одни руины остались. Но народ живет.

На ВОПе служба протекает ровно и спокойно. Все срочники теперь одного призыва, так что живем дружно. Правда, сегодня привезли сержанта 2-9 и он поначалу стал было «пальцы загибать», но мы ему быстро объяснили, что здесь не Краснодар. Он моментально успокоился и теперь душа-парень.

Сержант привез с собой радиоприемник, так что теперь хотя бы новости слушаем, а то были совсем в отрыве от цивилизации. Раньше книжки были, но их уже прочитали. Привезли нам, правда, пару номеров «Красной звезды», но мы их быстро прочитали, и народ тут же пустил их на самокрутки.

Пропадая без культурной жизни, мы пытались у «чехов» продукты на книги выменять, но оказалось, что в Чечне чтением не увлекаются и во всем селе книжек просто нет.

08.01.01 г. *Из хроники.* В райцентре Ведено местные жители, собравшись у комендатуры, требовали освобождения арестованных и прекращения обстрелов.

17.01.01 г. В начале месяца все пугали отменой «боевых», но теперь все успокоилось. Говорят, что платят по-прежнему. Да и не «боевые» для нас главное, а то, что «день за два» идет. Это уж никак отменить не могут, так как условия службы у нас ничуть не изменились и стреляем мы с той же интенсивностью. Но на ВОПе, как каждый вечер докладывает командир, — «без происшествий». Дни идут настолько одинаковые, что даже маленькое событие становится значительным.

Например, после теплого Нового года и Рождества наступили сильные холода, а у нас, как назло, заполнился «туалет типа сортир». На общем собрании было решено, что вычерпать старый легче, чем долбить мерзлую землю под новый. Теперь я с уверенностью могу сказать, что видел Авгиевы конюшни — как Геракл. Работа, конечно, не из приятных, но насмеялись на неделю вперед.

Еще одно заметное событие — затмение Луны. Как только оно началось, в лесу вдруг страшно завыли волки (вообще-то они здесь часто воют), заорали дурными голосами птицы, а в Ведено на мечетях муллы так заголосили, что всем чертям тошно стало, а на наших стриженых головах волосенки встали дыбом, приподнимая каски.

Большую часть суток провожу в одиночестве на посту, поэтому много вспоминаю, что раньше было, да мечтаю, что впереди будет и как жизнь устроить. Помню, когда маленьким был, все мечтал пострелять из чего-нибудь, а теперь на оружие и смотреть не хочется. Настрелялся уже из всего, что есть на ВОПе. Вчера, например, опробовал РПГ. Штука мощная оказалась. Однако уже в руки брать не хочется, даже собственный АКС надоел до чертиков. Капитан, который нас из Курска вез, говорил, что после Чечни никакое оружие в руки брать не захочется. Прав капитан: становлюсь пацифистом. Видимо, меняет нас все-таки армия.

23.01.01 г. *Из хроники.* В Веденском ущелье обнаружено несколько отрядов боевиков, по которым нанесены артиллерийские удары в окрестностях Ведено.

31.01.01 г. По ночам армейская артиллерия бьет куда-то в горы. Там десантники и «спецназ» воюют. Нас, возможно, тоже сорвали бы на операции, но у нас такой дикий некомплект в людях и технике, что себя-то еле-еле обслуживаем. Во всем полку лишь несколько исправных БТРов и две БМП, а с машинами вообще кошмар. Правда, ходят слухи, что полк будут переводить или на равнину, или вглубь ущелья, но нет средств нас отсюда выдернуть, а мы и рады. Там же придется все строить заново. А здесь мы даже собственный ПХД отстроили, и теперь никуда ходить не надо. У нашего ВОПа полная автономность.

Среди пехотинцев у нас здесь оказались целых три дипломированных повара, и они теперь изо всех сил стараются. Было бы только из чего, а с этим стало туго: несколько «вертушек» подряд пришли без продовольствия.

Недавно перевели к нам трех ребят из Грозного. Рассказывают, что город весь в руинах, но народ помаленьку налаживает жизнь. И удивительно мало стреляют.

Погода установилась на удивление теплая, как летом, а еще совсем недавно стояли жуткие морозы и снега было очень много. Сейчас же все потаяло. Осталась одна непролазная грязь. От сырости началась «стряпуха». И «бэтээры» зажрали. Довели, гады, до того, что в ярости спалил в печке новую «белку» (они в ней буквально кишели), о чем потом сильно жалел.

05.02.01 г. *Из хроники.* В Веденском ущелье отмечается усиление активности боевиков, участились случаи нападений на военные колонны и объекты.

Хатуни

08.02.01 г. В начале февраля поступил приказ 1 БОНу и нам — «мине» и ЗУкам, поскольку мы батальону приданы, — сниматься с насиженных мест и отбыть в Хатуни. И вот все ВОПы 1 БОНа со всем своим вооружением и скарбом погрузились на УРАЛы и выехали колонной.

Имущества набралось много, потому что, не зная, что нас ждет на новом месте, мы разобрали здесь все, что только можно. Даже доски, которыми были обшиты стены блиндажа, забрали с собой. Мы бы и накат разобрали, но не было времени землю с него убирать, да и сил не было тоже: на ВОПах вовсю свирепствовал голод. Еще месяц назад я, играючи, один поднимал пятидесятипятикилограммовые ящики со снарядами. Теперь же один ящик мы тащили вчетвером, да и то часто отдыхали, дожидаясь, пока перед глазами перестанут мельтешить разноцветные круги.

Примечательно, что машины для переезда дали «чехи», они же были и водителями, так как ни машин, ни путёвых водителей для горных дорог в полку нет. Разговаривая с шофером, я вдруг вспомнил о «великой замполитовской мечте»: плакате со свиньей и волком. Рассказал ее «чеху» и спросил о возможной реакции. Тот посмотрел на меня тяжелым взглядом и сказал, что этим плакатом мы бы «заказали» себе большую войну, поскольку большего оскорбления для «чехов» трудно придумать. Поэтому все, способное двигаться, осталось бы у наших постов и не ушло бы, пока плакат и его создателей не закатали в «чеченский асфальт». Так здесь называется грязь.

Хатуни находится километрах в сорока от Ведено, но ехали мы туда целый день из-за частых остановок. Мы ехали на бронированном УРАЛе веденской комендатуры. Дорогу через бойницы было не рассмотреть, да мы особо и не стремились: упластавшись с погрузкой, завалились плотной кучей на груду ящиков с БП и спали. Однако одно место я все-таки успел рассмотреть: на фоне разбитых домов и искореженных заборов красовалась стрела, на которой почему-то по-английски было написано: «Добро пожаловать в Зелемхан-Юрт!» Ниже шел русский перевод.

По дороге к нам со своей зениткой присоединился расчет ЗУ из Харачой. У них там была совсем крохотная застава, охраняющая отдел милиции, а стояли они рядом с десантским ВОПом, который «чехи» полностью вырезали в прошлом году.

К вечеру прибыли в Хатуни и разместились в помещениях бывшего совхоза «Прогресс», о чем свидетельствовала уцелевшая вывеска. Тут раньше делали сливовый сок, поэтому все углы развалин были завалены этикетками и крышками для закатывания банок.

Само село Хатуни довольно большое, но много пустых и разбитых домов, что для нас не так уж и плохо: стройматериалы всегда под рукой. Вместе с 1 БОНом в Хатуни переехала наша минометная батарея, два расчета СПГ и зенитка, что стояла под Харачой, нас присоединили к «минометке», и дальше мы действовали вместе. В помещениях совхоза мы стали строить РОП, КП 1 БОНа, ПХД и все прочее, что должно составить основную базу 1 БОНа.

Мы открыли позицию и установили харачоевскую зенитку, отстроили позицию СПГ и посты для их расчетов. Поначалу от голода мы просто качались на ломах и апатия давила к земле, но вдруг на «взлетку» одна за другой стали садиться «коровы»! Это пришла еда!

Впервые за долгое время увидел книгу. Это было «Самоубийство» Виктора Суворова. Почитать, конечно, не дали, но фотографии посмотреть успел. Похоже, он все ту же тему «роет»: начало войны 41-го года, но теперь с той, с немецкой, стороны.

17.02.01 г. Работая, как звери, день и ночь, отстроив все необходимое для жизни батальона, пристреляв установленную ЗУ, оставив одно СПГ с расчетом, мы в составе минометной батареи, 1МСВ, СПГ с его расчетом и нашей зенитки, отправились в Киров-Юрт строить новую заставу. Везет же мне на фортификацию!

Там же, на РОПе, осталась и основная масса продовольствия, поэтому, по опыту зная, что голод — не тетка, мы прежде всего забили всех собак, которые рискнули попасть в поле нашего зрения, а однажды ночью дозорные засекли движение в ближайшем лесочке и обработали его пулеметами. Утром разведка обнаружила там свежезастреленную лошадь. Поскольку кровь не была слита, а значит, мясо не годилось для заготовки впрок, лошадь съели в один день. Это был, конечно, праздник живота, но потом мы крепко болели.

Остались в Хатуни и те ребята, что служили с нами на 9-ом ВОПе в Ведено. Жаль, конечно, расставаться, сжились уже как-то, хотя Киров-Юрт находится всего в километре южнее Хатуни. Нам, с наших новых позиций, видны их мечеть и тополя.

С населением на новом месте дислокации установились поначалу «мир — дружба — фестиваль», и глава местной администрации в знак этого подарил нам новую двуручную пилу. Мы его тоже чем-то отблагодарили. Однако быстро выяснилось, что под звон бокалов и речей на выезде с заставы был установлен фугас, который тут же контузил водителя нашего КАМАЗа (повезло, что из четырех снарядов, входивших в состав фугаса, сработал только один), а глава местной администрации (который, кстати, мгновенно исчез) находится во всероссийском розыске. Отношения перешли в привычное русло — через прицелы.

22.02.01 г. *Из хроники.* У села Хатуни задержана корреспондент Анна Политковская после посещения ею селений Махкеты и Товзини.

Киров-Юрт

13.03.01 г. Произошло великое событие: поменялся командир 1 БОНа, с одним из взводов которого мы стоим. Новый комбат заезжал и к нам на заставу. Привез в минометную батарею 120 мм миномет, продуктов на месяц и,

главное, письма, которых мы не получали уже месяца полтора! Новостей из дома — море! Все они трехмесячной давности, мы же рады и таким, ведь пока читаешь — будто дома побывал.

На службе изменений мало. Уже месяц зарываемся в землю днем и сторожим себя ночью. Хотя за работой и службой время летит довольно быстро, но от службы и войны уже начинаю уставать. Автоматы ржавеют, бронежилеты рвутся... Мы «броню» заколебались штопать — заплата на заплате. Да и вся эта военно-полевая жизнь надоедает уже на второй день.

Вообще-то мне, родившемуся на краю гарнизонного стрельбища, научившемуся говорить сначала «стреляют», а потом «мама», армия была не в диковинку и относился я к ней как к долгу, который Родине лучше отдать — все равно с живого не слезет. Но уже с «Ахтырки» меня все чаще посещает мысль: «А на кой черт мне это надо?!!»

Не зря, значит, офицеры здесь больше трех месяцев стараются не задерживаться: нервы не выдерживают. Нервы у них действительно слабоваты. Старлей Мозгунов по прибытии на заставу выяснил вдруг, что наша боеготовность никуда не годится и в «свободное» от рытья окопов время стал устраивать нам тренировки. Однако уложиться в его нормативы мы все никак не могли... Изумившись нашей бестолковости, он (наконец-то!) отправил нас спать. Среди ночи над заставой вдруг раздался страшный грохот! Мы мигом слетели с нар и разбежались по ячейкам и позициям, но, изготовившись к бою,.. проснулись и быстро выяснили, что это грохочет «Град», которым десантники среди ночи решили поработать поверх наших голов.

Чертыхнувшись, мы пошли досыпать, но в палатке обнаружили корчившихся от смеха дневальных, которые рассказали, что, во-первых, мы перекрыли все нормативы; во-вторых, грохот сбросил нашего «боевого» командира под койку, откуда он махал нам ручонкой и «командовал» трясущимися губами: «Скорее... Скорее...»

Мы снисходительно ухмыльнулись: «Учись военному делу настоящим образом, товарищ». Так что бывают здесь и светлые минутки.

18.03.01 г. Ждем прибытия вертолета с КП полка. Он должен забрать двух «дембелей», с которыми мы и отправим письма. Поэтому все сейчас только тем и заняты, что строчат их.

Новости у нас прежние: копаем, строим да на постах стоим.

Недавно приезжал командир АЗДн старлей Злобин из Ведено и довел до нас президентскую бумагу, по которой будут идти «день за два» и «боевые». Там двенадцать пунктов, и мы, здесь находящиеся, попадаем под один: «Несение боевого дежурства». Правда, комдив добавил, что эта бумага действует до 15 мая, а потом будут пересматривать и «боевые», скорее всего, урежут, но «день за два» никак отменить не могут, так как условия службы у нас прежние, а стреляем мы намного больше, чем когда под Ведено стояли...

25.03.01 г. Сегодня воскресенье. Начальство «смилостивилось» и объявило выходной, выделив нам даже час для написания писем, хотя отправить их скоро не получится. Говорят, что к нам придет колонна, она письма и заберет, а может, даже и привезет письма из дома.

Здесь же у нас настоящее горе: позавчера получили телефонограмму, в которой говорится, что с 1 мая мы, оказывается, служим «день за день». Пилюлю сразу подсластили, увеличив «боевые», да только нам от этого не легче. Уж лучше бы деньги совсем отменили, но «день за два» не трогали, сволочи! Ведь, всего четыре месяца служить оставалось!

Мы сначала даже не поверили, но к вечеру приехал комбат и все подтвердил. Поначалу, конечно, растерялись. Потом была буря протестов. Теперь кто как. Кто решил, зная, в какой стране живем, беречь нервы и не дергаться. Кто рапорта пишет об отправке в Краснодар, но насчет этого нам отцы-командиры прямо сказали: номер не пройдет, для того-то «день за два» и отменили, чтобы нас здесь побольше было и мы бы подольше задерживались.

Расстройства, конечно, много, но сам-то я уже вроде успокоился, а вот домашним еще тяжелее станет ждать. Любит Родина «под дых» бить. И умело.

В остальном же служба идет по-прежнему: днем работаем, ночью на постах стоим. В расчете нас осталось двое: я — наводчик, а Леха — командир. Так что мы полновластные хозяева зенитки. Новый комбат распорядился передать наш расчет и два расчета СПГ из ведения минометной батареи в подчинение первому взводу. Минометный старшина был рад от нас избавиться, а пехотный никак за нас браться не хочет — своих обалдуев хватает. Мы этим незамедлительно воспользовались и теперь над нами никакого контроля, а снабжение двойное. От работы то у «гансов», то у «мины» прячемся, а сигареты и там, и там получаем. Чуть старшины нас прижмут, мы командиру заставы плачемся: мы бедные да несчастные, да никому не нужные... Словом, живем обычной солдатской жизнью.

Как говорится в одном солдатском стишке: «Масло съели, рыбу съели — две недели пролетели. Что б такого навернуть, чтоб до «дембеля» заснуть?» Правда, ни масла, ни рыбы здесь солдаты не едят. Как-то привезли плесневелого сливочного масла, и повара его растопили вместе с плесенью для заправки каши, а вместо рыбы у нас страшно соленая дагестанская килька в томате. Спасибо Родине и за это, а то собаки в округе уже кончились.

Погода стояла в последние дни прямо летняя. Мы уже раздетые ходили и загорать пытались, но вчера внезапно пошел дождь, а к утру и снега насыпало. Одно слово: Северный Кавказ, черт бы его побрал. А тут еще у народа водянка началась, как у блокадников. Фельдшер пытается ее лечить, но даже я знаю, что лечить надо не болезнь, а ее причины (это уже что-то с почками, по-моему, связано), но медицине виднее. На то она и медицина.

02.04.01 г. *Из хроники.* В МЕЧЕТИ СЕЛЕНИЯ КИРОВ-ЮРТ ОБНАРУЖЕН БОЛЬШОЙ СКЛАД ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ БЕЗ СЛЕДОВ КОНСЕРВАЦИИ.

14.04.01 г. Наконец-то случилось великое счастье: пошел проливной дождь. Поэтому все работы прекращены, сидим в палатке, просушиваемся. Еле-еле нашел кусочек чистого листа, и сейчас все выпали спать, а я пристроился писать по всем правилам армейской романтики — на каске.

У нас все по-прежнему: работаем, работаем и еще раз работаем. Тем более, что все работы пришлось начинать заново. Дело в том, что новый комбат усмотрел, наконец-то, непорядок. Наша застава была расположена в низине, прямо на

берегу речки Басс и прекрасно просматривалась с окрестных высоток. Тут както три ночи подряд воевали, так «чехи» настолько близко были, что головы было не поднять, а по селам было не шарахнуть толком, так как Махкиты хотя и лежат впереди за речкой, но лесистый берег их скрывает, а Киров-Юрт вообще позади за полем. На кой черт нас сюда с самого начала загнали — ума не приложу.

Комбат приказал подняться выше, и теперь мы расположились в здании бывшего РСУ, но уже над обоими селами. Кроме того, с нового места нам видны Хатуни, мост через речку Басс, а на склонах гор за селением Махкиты виден Сильментаузен. Слева в сотне метров от нас стоят десантники 119 Тульской дивизии ВДВ, а на горе справа — их ВОП.

Позиция, конечно, гораздо лучше, но ведь могли бы об этом и раньше догадаться. Там-то, на старом месте, все окопы отрыты, все посты отстроены. А здесь все надо начинать сначала.

Да еще свое заставное начальство мозги пудрит: по их приказам позицию зенитки уже три раза меняли. Только окопаемся, посты отстроим — приказ: передвинуться на новое место! А ведь это еще и саму зенитку поднять, перекатить, на тарелки опустить. Был бы у нас полный расчет, конечно, полегче было бы, а то мы с Лехой вдвоем паримся.

Вчера еще прапор привязался: надо, мол, зенитку почистить, а чистить-то и нечем. Масла ружейного я с Краснодара не видел. Как-то я почистил свой автомат растительным маслом, так механизм и проворачиваться перестал, а патроны из рожка выпадали плотно склеенным кирпичиком. Еле отмыл.

Поэтому для зенитки пришлось по-тихому солярку с десовского УРАЛа слить, благо на нем водилой мой земляк из Железногорска. Да я еще полцинка литола спер. С тем и приступили. Провозились целый день! Ведь полную разборку делали первый раз. Разобрать-то еще разобрали, а собрать — никак! Нас ведь никто ничему никогда не учил, да и спросить не у кого. Кругом такие же «спецы». Однако к ночи все-таки управились.

Из служебных новостей только одна, да и та плохая: вслед за «день за два» отменили и «боевые». Правда, обещают ввести какие-то «президентские», но это все нас уже мало трогает. Уставать я стал от всего этого вранья, да и по дому соскучился. Пришедшие еще в начале марта письма уже наизусть выучил, постоянно их перечитывая. Это у нас здесь любимое занятие. Тоска, словом, но: Мы были выше и упрямей своей зачуханной судьбы... (Заболоцкий, кажется, — в вольном переложении).

Здесь наступила уже настоящая весна. Погода — теплая, деревья и трава — зеленые, «чеховские» коровы пасутся возле наших минных полей, а по утрам в селах петухи поют. Словом, полная деревенская идиллия, если бы не чертова «броня» и каска с автоматом! Надоели до чертиков. Все бы повыбрасывал под обрыв! Наша зенитка теперь как раз над обрывом стоит, а внизу река. Все окрестности как на ладони. В общем, для пикника место, а не для войны...

Не буду про это больше писать. А то духом ослабнешь. И так гроблю свои молодые силы впустую на рытье окопов.

22.04.01 г. Сегодня знаменательный день: ровно одиннадцать месяцев, как я в армии. Как все-таки время летит! Кажется, не так давно и на СБЗ приехал, а уже без недели пять месяцев!

На прошлой неделе к нашим соседям-десантникам приезжал Путин. Мы, правда, об этом узнали только на следующий день, а тогда все удивлялись: что это столько «вертушек» над нами крутится?

У десантников ему задали вопрос насчет выслуги и «боевых», но он ответил, что сейчас сказать ничего не может, а будут этот вопрос решать в Кремле. Вчера на КАМАЗе приехали офицеры из Хатуни, они говорят, что по телевизору передавали и в полк «телега» пришла о том, что «день за два» и «боевые» нам оставили до 1 июня, а потом посмотрят. У всех сразу настроение резко подскочило, и даже за работу мы взялись куда с большей охотой и воодушевлением. Как мало солдату для счастья надо! Еще бы: «дембель» в октябре!!!

В общем, живем надеждою, что все это правда.

Приехала долгожданная партия новеньких. Нам в расчет подкинули двоих. Один — мой земляк Андрюха Парамонов из Фатежа. Мы и призывались, и на СБЗ вместе приехали. Только он был в расчете той зенитки, что стоит на КП полка, а как привезли новеньких, его и перебросили на дальнюю заставу. Второй же — волгоградец, из молодых, только-только приехал.

Они нарассказывали множество новостей. Например, что многим из тех, с кем мы на СБЗ вместе приехали, ко Дню ВВ надавали ефрейторов и сержантов, а про нас забыли. Как говорится: с глаз долой — из сердца вон. Ну, и черт с ними! И без лычек проживем, тем более, что их здесь никто не носит. Однако, честно говоря, обидно.

Еще рассказали, что двое из нашей партии уже успели и здесь из армии сбежать. Одного я хорошо знаю. Мы с ним, помнится, не одну тележку грязной посуды в наряде перемыли. Парень вроде ничего, нормальный был, что же это его на побег-то могло толкнуть?

По веденским горам они бегали недолго. Их сами «чехи» отловили и поменяли у комполка на соляру. Теперь у ребят не служба, а сплошной зиндан, из которого их выпускают только для вычерпывания сливных и выгребных ям, а их в полку много. Им не позавидуешь. Уж что-что, а издеваться у нас умеют. И с удовольствием.

Новости привезли, но не привезли главного — писем. Как оказалось, писем с этой партией шло очень много, но чертов «дух» потерял их в Моздоке во время погрузок-перегрузок. Тут небеса содрогнулись от раскатов самого отборного мата: ведь мы так этих писем ждали! Они наша единственная психотерапия. Хотя, если разобраться, тот парнишка и виноват-то меньше всех: загоняли, поди, стригунка командирское барахло таскать. Вот он письма из виду и упустил.

У нас же все по-старому: окапываемся, обустраиваемся... Правда, этому сильно мешают частые проливные дожди. На Северном Кавказе сейчас сезон дождей. Так бы все ничего, ведь в дождь работать не надо, но как только начинается ливень, мы проклинаем полевые условия жизни: палатка течет, растяжки лопаются, дров нет... Но как только дождь пройдет, выглянет солнце — и настроение сразу поднимается. Кругом такая красота! Чисто вымытые горы все в зелени, речка Басс сразу водой наполняется и шумит круглые сутки.

Вместе с листьями на деревьях вокруг заставы прет крапива. Наш старшина это дело просек и сегодня на обед обещает крапивные щи. Подозреваю, что кормить ими будут часто. Как говорится, продукт дешевый и всегда в изоби-

лии, но лучше крапива, чем осточертевший овес. Да и от недостатка витаминов становятся рыхлыми пальцы на руках, гниют и выпадают ногти.

С некоторых пор наших ребят стали брать на «зачистки». Ездили уже три раза человек по десять. Что представляет собой «зачистка», сейчас опишу. Вооруженная толпа во главе с командиром окружает дом в селе и начинает переворачивать все в нем вверх дном. Естественно, к рукам бойцов многое прилипает, и хотя начальство устраивает потом несколько обысков, многие уже обзавелись ножами, фонариками, инструментом и прочей мелочью, так необходимой в солдатской жизни, но первым долгом «чистильщики» поменяли свои корявые солдатские ложки на нержавеющие с красивыми витыми узорчатыми ручками.

На последней «зачистке» заодно зачистили и соседний магазин. Бойцы добывают конфеты да сигареты, а отцы-командиры — телевизоры и магнитофоны. Как-то с одной «зачистки» мимо нашей заставы БТРы проволокли на буксире еще и две легковушки — «Волгу» и иномарку какую-то.

Из боевой же добычи за три дня нашли: гранату, коробку с лентой от ПКМС да охотничье ружье. Вот тебе и «зачистки» знаменитые.

02.05.01 г. *Из хроники.* В селении Маххиты обнаружен тайник с оружием.

06.05.01 г. Сегодня воскресенье, и начальство объявило нам час письма. Правда, и так целый день идет дождь и ночью даже гроза бушевала с молниями. Это первая гроза в этом году. А во время обеда жгут молнии ударил в землю прямо перед нашей столовой (это ржавый, обгорелый строительный вагончик с дырявой, как решето, крышей). Не выпуская котелков из рук, народ мгновенно упал и затаился, оценивая обстановку. Однако быстро успокоились, сообразив, что небесный снайпер тоже, бывает, промахивается. Только у парня, что сидел у самого выхода, коротко стриженые волосы встали пушистым ежиком, и по ним голубыми всполохами бегали искры...

07.05.01 г. Вчера так и не удалось дописать. Начальство нашло-таки работу — под дождем дрова рубить. Хорошо, что живущие с нами «менты» привезли бензопилу, и теперь основная наша забота — чурбаки колоть. Вообще-то благодаря «ментам» у нас и жизнь лучше пошла. Они и «гапчик» привезли, и теперь мы со светом.

Новостей особых нет: все копаем и копаем. «Солдат — это маленький трактор, который не рычит, а тихо пашет», — говорит солдатская пословица.

Недавно перешли наконец-то на летнюю форму одежды, а то жара стоит, мы же в зимних шапках паримся. Выдали «комки», сапоги, кепи, а вот тельников нашему расчету не досталось. Мы — приданое подразделение, и снабжение у нас в последнюю очередь, что от взвода осталось. Но это, как говорится, мелочи жизни.

Правда, они-то жить и мешают. После первого же дождя «комки» развалились, так как были предназначены для одного раза — похорон. Старшина где-то по дешевке раздобычил «разуху» и нам ее впарил. Куда же делись комплекты обмундирования на почти целую роту — ищи-свищи... Черный, однако, у старшины юмор.

«Чехи» прямо перед нашей позицией, за речкой, распахали огород и сажают картошку, но сомневаюсь, что им что-то достанется от урожая. Ребята уже сейчас предвкушают аппетитные блюда из той картошки.

А так «чехов» в селе видно редко, хотя село большое и, видимо, богатое было. Все дома здоровенные, крыты железом, настоящие дворцы.

Погода сегодня замечательная. От вчерашней грозы не осталось и следа, земля высохла моментально, но жары сильной нет, ветерок обдувает. Даже работа в удовольствие. Я покопал окопы и заступил на пост, где и пишу.

Посты здесь нечто вроде ДОТа. С его постройкой мы в свое время упластались. Вот в нем мы с напарником и сидим. Я пишу, напарник окрестности осматривает, а из амбразуры горячий ветерок дует, как из калорифера, выгоняя из наших костей зимнюю стужу.

Сегодня приезжал БТР из Хатуни, и ребята рассказали, что на РОПе ждут какую-то большую шишку с проверкой, поэтому спешно делают клумбы цветочные, дорожки гравием посыпают, трамбуют их кувалдами... И все это на фоне окопов, ходов сообщения, огневых позиций. Смех один. Неужели все эти «проверяйки» не могут просто по нормальной земле несколько метров пройти? Или наши лизоблюды уже остановиться не могут? Тем более, что дармовая рабочая сила всегда под рукой. Солдат — он же не только трактор, но и лошадь, судя по рациону.

Сейчас, наверное, ко Дню победы по телевизору множество военных фильмов крутят, а у нас хотя и есть телевизор, но из-за окружающих гор почти нет никакого приема. Сами-то мы находимся на высоте восемьсот семьдесят метров, но горы вокруг еще выше.

19.05.01 г. Наконец-то пришла партия из Краснодара и привезла письма! Целую пачку! Настоящий праздник души!

Единственное, что его омрачает, это устные новости. Все мутят что-то с выслугой. В Краснодаре ребятам перед отправкой «полкан» клялся и божился, что «день за два» идет, как и шел, а в Ведено сразу «обрадовали», что все давно уже отменено. Никто ничего толком не знает, а кто знает — не говорит или врет.

Продолжаем строить заставу: копаем окопы, траншеи, позиции, капониры, КХБ, строим ПХД, баню, рубим дрова, таскаем воду, а в промежутках между всеми этими делами стоим на постах и «обрабатываем местность». Стреляем, значит.

Метрах в ста от нас стоит полк Тульской дивизии ВДВ. Они нам каждый день воду привозят, но тесно с ними не общаемся, хотя и живем рядом. Мы же разной ведомственной принадлежности, а это у нас в стране, сами понимаете, очень важно. Даже на войне.

Основная же задача нашей заставы — это охрана и содействие поселковому отделению милиции, которое представлено небольшим отрядом милиционеров. Раньше «менты» были из Перми, а недавно их сменили самарские. Пермские были все молодые, только и делали, что жрали водку да в футбол играли. Самарские же люди солидного возраста, все какими-то своими милицейскими делами занимаются, но и водку жрут исправно.

Наши командиры с самарскими «ментами» водиться не любят, потому что, хотя и пьют вместе, но все под пьяную руку сказанное «менты» заточковыва-

ют. Службу бдят, словом. Иногда «менты» берут наших ребят в качестве охраны на выезды да на «зачистки-обчистки» гоняют.

На прошлой неделе при рытье хода сообщения откопали самозарядный карабин 1954 года выпуска. Карабин вполне исправный, только снаружи ствол слегка ржавчина тронула, а внутри все даже в масле. Правда, штык откручен, а в остальном к бою годен, но испытать мы его не смогли, так как на него нужен автоматный патрон калибра 7,62 мм. У «чехов», видимо, такие патроны тоже кончились, потому карабин и зарыли, и явно уже в эту войну. Про запас, наверное.

С этой партией нам привезли еще одного зенитчика. Он рассказал, что в Краснодаре нашего призыва осталось всего два человека. На выезд отправили даже тех, на кого список в медсанчасти вели, что им оружие ни в коем случае доверять нельзя, и кого в караул не допускали. С 28 мая на выезд поедут ребята уже следующего за нами осеннего призыва. Здесь же старшего призыва не осталось никого. Мы — ветераны.

24.05.01 г. Каждый день — точное повторение предыдущего. Все те же работы, те же посты. Даже погода повторяется: до обеда — дождь проливной, потом — жара, как в парилке, а бывает и наоборот. Ходим вечно мокрые, грязные, от пота липкие, сами себе противные. Окопы тоже сырые, осклизлые. И так каждый день. Может, это однообразие и к лучшему: дни идут незаметнее, и позавчера был уже год, как я уехал из дома. Подумать только — целый год! Все так хорошо помнится, будто только вчера уехал, а последний день до мелочей помню... Грустно. Это, наверное, из-за ЧП: на заставе застрелился солдат.

Дело в том, что из-за тяжелой работы днем и куража пьяных «шакалов» ночью с нами начали происходить странные вещи: кто засыпает стоя и с открытыми глазами, кто вдруг с каменным выражением лица начинает нести какую-то околесицу, а я, например, как-то принялся издавать ни с того, ни с сего просто какие-то утробно-тукающие звуки, пока напарник не возвратил меня к действительности. Я где-то читал, что это мозг, пытаясь спасти психику от перенапряжения, отключает сознание. Однако у парнишки, который застрелился, напряжение продолжало расти, вот он и сломался. Написал: «Прости меня, мама. Я больше не могу»...И нажал на курок...Несмотря на страшную рану, он жил еще долго и умер у десантников, когда они пытались перебросить его своим транспортом в госпиталь.

Поначалу командиры хотели свалить все на «чехов», но десантники не стали покрывать чужие грехи — своих хватает. Поэтому дело получило огласку, и даже началось следствие. Однако скоро командира заставы по-тихому уволили из ВВ и с повышением звания направили «укреплять милицию». Так что, обращаясь в милицию, уточните: не майор ли Осипенко спешит к вам на помощь? А может, уже и полковник. Такие люди быстро идут вверх.

Десантники потом поставили нам в укор легкость, с которой капитан отсюда свалил. Сказали, что такие вопросы надо решать здесь. И предложили патроны.

05.06.01 г. Со сменой командира заставы резко поменялся режим. Работаем теперь только до обеда, после которого все отбывают спать до ужина, а потом уж кто на посты топает, кто дальше спит: им ночью стоять. Теперь-то жить можно, но в первый день у меня была дикая «ломка». Дело в том, что я уже не

помню, когда я спал без «брони» больше двух часов. По-моему, еще в краснодарской санчасти. Поэтому в первую же ночь после двух часов сна меня разбудила страшная боль в шее, спине, боках. Как я потом узнал, это кости, не ощутив привычной тяжести бронежилета, стали вольно и безмятежно располагаться в суставах, а мне пришлось весь остаток ночи их по местам раскладывать. Ощущения были такими, будто по телу палками целый день колошматили. Теперь-то сплю хорошо, и это — хорошая новость.

Однако есть и неприятные. Сначала от нас уехали «менты», которые забрали с собой и «гапчик» и бензопилу, но это еще полбеды, а беда в том, что ходят упорные слухи о переброске нашей заставы в селение Сильментаузен. Это неподалеку (здесь вообще все села на расстоянии один-два километра друг от друга), но рыть-то придется все снова. Опять окопы, позиции, капониры... Мы как-то замерили: за время, прошедшее с момента нашей переброски из Ведено в Хатуни, ломы стали на пять сантиметров короче! Здесь же не земля, а смесь глины, песка и щебня. Да и обидно бросать такое обжитое место. Мы сделали здесь даже газоны и посадили деревца.

Позавчера впервые за все время пребывания в Чечне ходил в чеченское село. Дело в том, что после отъезда «ментов» с генератором нашему начальству очень не понравилось жить без света, вот мы и тянули линию до поселкового трансформатора. Я же ходил боевым охранением.

Село красивое, очень похоже на бабушкино: широкие, обсаженные деревьями улицы, большие кирпичные дома, просторные дворы. Ворота у всех железные и витые заборы к ним.

После шестимесячного пребывания в блиндажах и палатках все это, а также коровы возле домов, люди в штатском, было непривычно. И вдруг так захотелось домой, что хоть волком вой! Но как только ушли оттуда — враз полегчало. Дом нам пока лишь может сниться. Что он и делает, но редко...

На днях при колке дров у парня сорвался топор и начисто снес ему большой палец на левой руке. Руку мы ему быстро зажгутовали, но поскольку димедрол в войсках существует лишь теоретически, то командир влил в раненого полполторашки чачи, а остальное отдал сопровождающему, чтобы доливал по мере надобности. Первое, что спросил пришедший в себя парень — отправят ли его назад, в Россию?..

Погода у нас весь май была какая-то нестабильная: день жара стоит, а на следующий — дождь или туман. Сразу становится холодно, как осенью. Последнюю же неделю стоит жара за тридцать, но только днем, а ночью холодно, на постах стоим в бушлатах да еще о горячем чае мечтаем. Пробовали из тубусов от «Градов», пластиковых бутылок и песка делать термосы для чая, но они тепло плохо держат.

27.06.01 г. *Из хроники.* В селении Сильментаузен обстреляна позиция федеральных сил.

29.06.01 г. Сегодня погода, как в Заполярье: туман и мелкий промозглый дождик. А вчера еще была жарища. Все сразу вспомнили про бушлаты и мечутся, ищут, куда подевали. Мне все эти метания побоку — мой всегда на штатном месте. Поэтому я тихо и тактично слинял на пост, где и пишу.

Пост для нас — второй дом, ведь здесь мы проводим бóльшую часть суток. У нас здесь есть и шашки, и карты, а в данный момент напарник трудится над вырезыванием шахмат. Правда, все это делаем миниатюрных размеров, чтобы в случае проверки моментально спрятать. Здесь же прячем газеты и книги, какие удается достать. Словом, живем, как полагается, своей солдатской жизнью, стараясь как можно меньше пересекать ее с офицерской.

Вчера у нас была баня. Мы здесь построили шикарную по полевым понятиям баню. Правда, она из шлакоблоков, но с парилкой, предбанником, мыльной.

Парилка, правда, крохотная, а народа набивается много, и толком-то не попаришься. Тогда я придумал способ «выкуривания». Захожу в парилку с котелком горячей воды и начинаю поливать каменку... Меньше минуты надо на то, чтобы в парилке стало просторно: народ вываливается вон.

Так что я вчера попарился от души, помылся не спеша, да еще и постираться успел. Сразу вкусно запахло жизнью, и стала она бесконечно огромной. Да и служба идет помаленьку. Медленно, но верно.

Стрессов тут, конечно, хватает, но снимать их водкой или «наркотой» что-то не тянет, хотя мог бы: от мака все луга вокруг красные, а конопля прямо у нас перед постом растет. Как-то «десы» за то, что попались на «наших» угодьях, притащили целый ящик «Беломора». Радости наших курильщиков не было предела.

Вообще в поле сейчас хорошо. Мы недавно копали через него ход сообщения, так будто дома на покос вышел. Цветы разные под ноги стелются, бабочки порхают, мятой пахнет... Мятой мы постоянно чай завариваем, только с сахаром в стране напряженка.

В понедельник прямо с поста в пойме реки подстрелили двух зайцев. Оба тут же пошли в общий котел...

Пока я писал, напарник сел в каску и тихо спал в уголке, но вдруг как вскочит и давай метаться по посту, дико озираясь, странно подвывая и шарахаясь по углам. Немного придя в себя, он рассказал, что приснилось ему, будто нас всех прямо с заставы в том виде, в каком мы есть, погрузили в машины и куда-то повезли. Никто не знает куда, но все уверены, что на «дембель». Эта мысль тихо греет нас изнутри, и мы блаженно дремлем, покачиваясь в такт движению машины... наконец машина останавливается, все с интересом смотрят вперед, и видят плакат «Добро пожаловать», а под ним... «родные» ворота «Ахтырки»! «Господи!!! Неужели опять КМБ!!! И служба по новой?!!» — трясясь всем телом, рассказывал напарник... Я долго хохотал, а он все тряс головой, и недоверчиво осматривался, не до конца веря, что кошмар ему просто приснился. Видно, досталось парню по «духанке». Хотя, обсудив вечером этот сон, народ прищел к единому мнению: это действительно было бы настоящим кошмаром.

А недавно был у десантников. Наша тайная тропа к ним проходит мимо знака 6-й роте, что погибла у Сильментаузена в полном составе. Его поставили здесь только лишь потому, что там, на месте гибели, его «чехи» обязательно взорвали бы. Да и здесь его обязательно взорвут, как только десантники будут на новое место передислоцироваться. Так делают всегда. Может, это и правильно. Не знаю.

01.07.01 г. *Из хроники.* Российская авиация уничтожила базу боевиков в лесном массиве вблизи селения Махкиты.

08.07.01 г. Вчера приехала смена командиру минометной батареи. Новый комбат сказал, что партия от АЗДна поедет в конце июля, а значит, к нам они попадут лишь в середине августа. Так что писем нам ждать еще целый месяц. Сам же комбат наши письма не захватил. Не возжелало «их благородие» свои рученьки утруждать. Бог ему, может, и судья, а по мне он... «Шакал» он и есть шакал.

На службе все по-старому: работа да посты, но недавно произошел довольно забавный случай.

Поскольку наша зенитка произведена в незабвенном 1967 году и прошла не одну войну, то теперь она постепенно сыплется. То одно сломается, то другое, но все-таки мы с поломками справлялись. А недавно накрылись оба бойка. Как оказалось, запасных в природе не существует. Даже у «десов» ничего подобного нет, хотя по снабжению они гораздо лучше нас.

Тогда мы сломанным напильником из двух ржавых гвоздей, которые выдернули из ближайшего забора, выточили бойки сами. Поставили, проверили и ведь работают! Но гвозди не каленые, поэтому быстро затупились. Тогда мы выбили две шпонки из механизмов, что остались еще от РСУ, и выточили бойки снова. Правда, напильник от такой работы стал абсолютно гладким, но теперь зенитка молотит на наших самодельных бойках и не кашляет. Прямо мастера-оружейники, а еще недавно не знали, с какой стороны к зенитке и подходить. Гордость прямо распирает, черт возьми!

Как-то летчики работали по окрестным горам, и одна «сушка», заходя на бомбежку, уронила бомбу прямо напротив нас, за речкой. Мы сначала хотели долбануть по бомбе трассером, но потом раздумали: черт ее знает, куда она свои осколки бросит? Так и лежит она во славу Родине, на страх врагам.

Погода сейчас установилась комфортная: не особо жарко, но и не холодно. Правда, три дня назад вдарил ливень с очень крупным градом, и думаю, что у наших «чехов» на огороде все побило. А жаль.

15.07.01 г. Обстановка на заставе стала намного спокойнее. Мы дошли до того, что разбиваем газоны, сажаем деревья, трамбуем щебенкой дорожки, выкладываем бордюры и белим их. Не для «проверяек», а для себя. Сейчас со стороны посмотришь и не скажешь, что мы на ПВД. Рядом с нами живут десантники, и они, когда приходят к нам, буквально выпадают в осадок. Сами-то они живут фронтовой жизнью, то есть где живут — там и... Но они воюют по-черному: из «зачисток» не вылазят, и «чехи» их колонны постоянно рвут. Хотя и танки, и САУ, и авиация их поддерживают по первому требованию, а их «Грады» снабжают ведрами всю округу (из тубусов от градовских снарядов получаются отличные ведра).

У нас же на весь 1 БОН — дышащий на ладан БТР и битый-перебитый КамАЗ. Правда, новый комбат «минометки» рассказывал, что наш полк расформируют, а на его базе создадут полнокровный горно-егерский батальон. Про это даже писали в окружной газете «На посту». Егеря мы, конечно, еще те: я-то хотя бы в детстве по заполярным сопкам побегал, а большинство наших ребят выше бугра за околицей никаких восхождений не делало. Но Родина прикажет, мы ответим: «Есть!».

В промежутке между ужином и вечерней проверкой мы стали собираться на «песенные посиделки». Репертуар в основном тюремный. Например, «Таган-

ку» я даже «на бис» исполняю. Хорошо слушается чапаевский «Черный ворон», а от расторгуевского «Коня» народ впадает в тяжелую мужицкую тоску. Ведь большинство ребят здесь из деревень или очень маленьких городков.

Для коллективного пения хорошо идут речевки типа:

Служили мы в войсках ВВ.
Это вам не ВДВ:
С полной выкладкой в грязи
Хоть и в падлу, но ползти...

или «Народные приметы»:

Солнце светит прямо в глаз —
Значит, Северный Кавказ.
«Град» по крышам «тихо» бьет —
Значит «чех» нас «достает».
Если жира в каше мало —
«Мусульмане» съели сало.
Коль в окопах много люда —
ДМБ нас жмет отсюда!!!

Пробовали еще петь «Бумбараша», но кроме «Наплявать, наплявать, надоело ваявать» слов никто больше не помнил, а то, что мы пытались досочинить по ходу, было дичайшей нецензурщиной.

Но несомненный хит заставы — песня еще времен афганской войны:

Взвоет ветер над бараками,
И БМП вдруг лязгнет траками...
Домой, домой... Пора домой...

18.07.01 г. *Из хроники.* В Веденском ущелье обстреляна застава полка оперативного назначения внутренних войск МВД.

19.07.01 г. Сегодня приехала смена командиру заставы и старый приказал нам срочно писать письма. Он их и заберет. А вчера прилетела, наконец, долгожданная партия от 1 БОНа. Нам, зенитчикам и минометчикам, она писем не привезла, но привезла сигареты и спички. Сигарет народ не видел уже недели две. Даже табачный мусор из всех карманов повытряхивали. А уж про спички я вообще молчу. Когда нужен огонь, то разбираем патрон и поджигаем порох линзой от оптического прицела. Такая, вот, фронтовая экзотика в полном объеме. Тем более, уж чего-чего, а солнца тут много.

Дождей уже давно не было. Даже речка стала пересыхать. Я практически все время на воздухе, загорел не хуже негра. Жара здесь переносится гораздо легче, чем дома. Из-за высокогорья, наверное. Горы за день так раскаляются, что в мареве и дымке кажется, будто они качаются.

Из-за жары я непроизвольно, но точно воспроизвел сюжет из фильма «Блокпост» в жизни. Заступил на пост днем и, чтоб не утруждать себя лишней сбруей, развесил ее на зенитке, а сам стал озирать окрестности в поисках супостата. Вдруг вижу: в неурочный час от Хатуни подъезжает КамАЗ, выгружаются из него какие-то «проверяйки» и топают прямо ко мне на пост. Я быстро сгребаюсь в кучу и замираю, поедая начальство глазами. Однако командир

заставы почему-то хмурится, а «проверяйка» странно пучит глаза. Только тогда я соображаю, что из одежды на мне лишь каска, бронежилет, автомат и тапочки из «кирзачей»! Как выяснилось потом, аналогичную ситуацию наблюдали проверяющие и на всех остальных постах. Командир издал приказ: «Впредь перед проверяющими надевать хотя бы штаны».

Недавно проводили ночью «обработку местности», и в самый разгар боя вдруг ломается ручка вертикальной наводки нашей древней зенитки. Командир заставы орет благим матом: почему, дескать, не стреляете? Ухватились мы тогда вдвоем за ограждение стволов и двигали их таким макаром, пока добивали два короба снарядов. Оглушило сильно, однако к утру все прошло. К утру мы и зенитку отремонтировали из подручных материалов. Так что и в армии можно кое-чему научиться. Я один могу теперь управляться за весь расчет, и любую поломку мы устраняем быстро, даже в темноте. Все-таки самому себе приятно...

С этой «вертушкой» улетают последние батальонный «дембеля» 2-9, что приехали на выезд вместе с нами. Очень грустно и завидно смотреть на них. С ними же улетает и парень нашего призыва. У него от водянки полностью разложился большой палец на правой руке. Если не сумеют вылечить, придется ему менять профессию: он — гитарист.

Написал *«Письмо солдата из Чечни своей сверстнице»*

Что такое война?
Война — это в дымке
Качаются горы.
Здесь разом стихают
Нелепые споры.
Война — это курева
Неделями нет,
А мерою счастья —
Блок сигарет.
Война — это письма
Приходят не часто,
А те, что доходят,
Стареют ужасно...
Здесь лопатой ворочают
Тонны земли.
Здесь «вертушки» жужжат,
Как в полете шмели.
Здесь грязь непролазная
Вяжет нам ноги
И хриплая рация
Просит подмоги...
Романтики мало
Работать войну.
Я лучше тебя
Про нее
Обману.

30.07.01 г. Стало больше свободного времени, поэтому и пишу чаще. Дело в том, что на прошлой неделе сменился командир заставы. Старый командир только-только отпраздновал свое 25-летие, как ему и смена пришла. Мой напарник как раз ко дню его рождения подстрелил зайца, который и пошёл на праздничный стол. Несмотря на молодость, командир уже успел понюхать пороху не на одной войне и был единственным боевым старлеем среди шакало-синюшного околовоенного сброда. Правда, от пьяного куража его спасало то, что по молодости лет он отключался быстрее, чем до него доходило.

Новый командир оказался еще моложе. Ему всего 23 года. Сам еще не так давно был курсантом, и эта командировка у него первая. Работой он нас не напрягает, да и делать-то собственно уже нечего. Только и работы, что дрова заготовить для кухни и бани, а этим весь взвод не займешь. Поэтому все, кому не нашлось полезного дела, выходят с лопатами в окопы и делают вид, что работают. Так продолжается до обеда, а после него все отбиваются спать.

Так что свободного времени предостаточно, и я теперь даже книги почитываю, хотя достать что-либо чрезвычайно трудно. Мне попался сборник рассказов и повестей Пришвина. До армии я, помнится, подобные книги (про природу, охоту и прочее) не очень-то жаловал, а тут каждой страницей упиваюсь. Как я заметил, ребята все поголовно стали «читалками». Даже те, кто и «Букварь» до конца не дочитал. Взрослеем, наверное. Не мудрено: день за два живем. Даже если и отменили.

Особенно мне понравились отрывки из романа Пришвина «За волшебным колобком». Там о Лапландии, побережье Кольского полуострова и Норвегии. В общем, родные места. Жизнь и быт лопарей Пришвин очень интересно и забавно описал. Жаль, что во времена моего детства лопарей уже не было: уничтожила их советская власть плюс военизация Заполярья.

А в повести «Женьшень» вообще одна философия. Раньше и читать бы не стал, а теперь после армейского идиотизма любая умная мысль вызывает интерес.

Кстати, об идиотизме. На нашей заставе у часовых появилась дополнительная обязанность: следить, чтобы старшина не вынес за территорию части продукты и не загнал их «чехам». Дело в том, что у старшины уже второй месяц запой, но ни пресечь его, ни отправить старшину в Россию командир не может. У него, видимо, еще с курсантских времен при виде старшины онемение организма. Вот он и пустил все это дело на самотек. В результате на старшину уже и смотреть страшно. Опух, как черт, да еще и продать готов все что угодно, лишь бы водки достать. Страшное все-таки дело — запой. Был мужик как мужик, а теперь даже на рожу смотреть противно.

К нам на заставу поселили «фейсов». Оружие и оборудование у них — одно загляденье. Правда, почему-то импортный «Магнум», а где же родные отечественные «родственники АКашникова»? В то же время они были в шоке, когда узнали, что нашей зенитке уже почти 40 лет, а запчасти для нее мы вытачиваем сами. В общем, удивили мы друг друга.

«Фейсы» выискивали по округе снайперские лежки и ставили там фугасы. Как-то один из них сработал. Взрыв был настолько мощным, что развалины, где фугас был установлен, подпрыгнули и с грохотом ссыпались в образовавшуюся воронку. Разбирать завал с целью установления причины взрыва разведка не стала. Так и числилась у нас эта груда камней так: «ориентир — могила воина ислама».

На досуге «фейсы» учат нас минному делу. Показывают, какие мины у «чехов», и наши МОНы. Учат ставить и снимать растяжки, фугасы обезвреживать. Мне, надеюсь, не понадобится, но интересно.

Погода у нас — жара под сорок, а дождей за весь июль не было ни разу. Поэтому, выставив боевое охранение, мы иногда купаемся в речке напротив зенитной позиции, но вода такая ледяная, что долго в ней не поплещешься. Здесь же в речке берем воду, когда надоедает пить голую хлорку, что нам «десы» поставляют. Иногда пополам с солярой.

А недавно или ребята «заказали войну», или действительно дозорные засекли движение, но как бы то ни было, среди ночи на нескольких постах одновременно затрещали автоматы, а это здесь — сигнал тревоги. На одиночные-то выстрелы никто не обращает внимания.

Мы заняли позиции по сигналу «Застава! В кольцо!» и начали обработку местности. Однако по нам неожиданно и довольно плотно ударили с Киров-Юрта, а потом и от Махкиты. Не то чтобы нас это обескуражило, а скорее обрадовало: противник виден, ясен и понятен. Быстро разобрав сектора и цели, мы обрушили на них всю нашу огневую мощь.

Как выяснилось потом, за время боя мы высадили 11.000 единиц БП. Правда, половина наших автоматов заклинило, у моего расплавилось цевье, а у РПК оно просто загорелось, и в разгар боя его пришлось срочно тушить.

На нашей зенитке поначалу забивало звеньеотвод, но с этим мы справлялись быстро, а когда, несмотря на смену стволов, она стала просто выплевывать снаряды за бруствер, мы уже ничего поделать не смогли.

Еще в начале боя командир заставы связался с Хатуни по портативной рации, стал докладывать обстановку, но вдруг грохнул полковой миномет 120-мм калибра. От неожиданности командир рацию выронил и в темноте не смог ее нашарить. Полночи включенная рация гнала в эфир грохот боя и матюги минометной обслуги, сильно напоминающие звуки рукопашной схватки, но ни одна застава, ни одно армейское подразделение даже не дрогнуло, чтобы разобраться в ситуации и оказать помощь. Более того, как рассказывали потом ребята из Хатуни, — когда рация, захрипев, наконец смолкла, все были уверены, что нас добивают.

Правда, ребята-десантники кричали из окопов своего боевого охранения минометчикам: «Менты! Что случилось? Помощь нужна?» Но это была обычная солдатская солидарность. «Мина» гордо ту помощь отклонила: сами, мол, с усами.

Только когда совсем рассвело, от Хатуни осторожно подъехал КамАЗ, и прибывший с ним народ был сильно удивлен, обнаружив, что застава, выставив посты, мирно и безмятежно спит.

Днем разведка прочесала местность, но «чехи» умеют за собой «подметать», поэтому ничего не нашли. Только 82-мм минами утыканы все «чеховские» огороды. Эти мины произведены в тысяча лохматом году, поэтому часто дают осечки или не взрываются.

Неразорвавшиеся снаряды и мины мы потом собираем и загоняем «ментам», которые формируют из них «бандитские схроны» и получают благодарности от своего начальства. Если же кто-то хочет слупить с «ментов» больше, то эти боеприпасы разбираются и из их компонентов изготавливается фугас. Благо, «фейсы» нас этому неплохо обучили. Фугасы «менты» хватают, не торгуясь. На выручку покупаем кто хлеб, кто водку.

А командира заставы за тот бой сняли, обвинив в перерасходе боеприпасов, хотя их тут отродясь никто не считал. Клима жалко — неплохой мужик, но «не жилец»: комбат на него с самого начала наезжал, даже нас, солдат, не стесняясь, а тут вдруг удобный повод.

05.08.01 г. *Из хроники.* На дороге, ведущей в селение Махкиты, расстрелян из гранатомета БТР внутренних войск.

08.08.01 г. Прилетела «вертушка» из Ведено, а на ней два солдата и офицер. Привезли письма, но только на 1 БОН, а для нас — ничего. Только о себе и заботятся, паразиты! Привезли еще и денежное довольствие, но на руки выда-

ли только офицерам и «контрабасам», а срочникам купили «рыльно-мыльных» рублей на 20, а остальные деньги растворились. Но это проблемы батальона. Нам-то, артиллерии, ничего не привозят даже для видимости. И без нас пропить есть кому.

Позавчера колонна десантников недалеко от Киров-Юрта напоролась на засаду и целый час долбилась с «чехами» возле моста. Мы тоже изготовились, но «десанты» просили огня не открывать, чтобы не попасть под наше же молотилово. Поэтому мы лишь наблюдали за ходом боя. Зрелище довольно захватывающее и по-своему красивое.

Вчера же получили информацию, что в Киров-Юрт пришел Хаттаб и привел много боевиков. Наши самоходчики утверждают, что видели даже арабов в платках. Поэтому всю эту ночь мы простояли в усилении, а «десы» нам подбросили подмогу: несколько БМД и роту пехоты.

БМДехи упарили своим грохотом. На них, видимо, стоят приборы ночного видения, вот они и лупили по любой теплокровности, что попадала в поле их зрения. Наше же ПНы падали в грязь, ныряли в затопленные окопы, чахли от столетних батареек, поэтому лишь обозначили свое присутствие на постах. Мы же, выставив пару бдительных ушей, всем своим усиленным составом тихо спали, сидя в касках.

А сегодня с утра весь наш 1 МСВ вместе с батальоном «десов» уехали на «зачистки» в Махкиты и Киров-Юрт. Под прикрытие наших огневых средств на весь день перебрался штаб десантного батальона, а на позиции взвода прикрытия вступила их разведрота. Все ребята на подбор: здоровенные, как трактора. Мы с ними сошлись быстро. Благо все одного с ними призыва оказались. Тут же по дружбе выпросили у них две «эфки», а то у нас с этим слабо (мужикам уже в самоход ходить не с чем стало), у них же этого добра — без счета. Они же и сигарет нашим ребятам подогнали, а то мужики уже месяц без курева пухнут.

Вообще-то отношения с «десантами» у нас установились давно, а начались с собаки. Когда мы только начали земляные работы, то нашли гвардейский знак, что остался, видимо, от «десов», которые стояли тут раньше. Мы тут же «наградили» им собачонку, что по причине своей маломерности до сих пор не попала в наши котлы и безмятежно жила на заставе. Так и бегала она, весьма своей наградой довольная, пока не попала на глаза «десу»-водовозу. Тут же у нас в расположении появилась делегация десантников с настоятельной просьбой собачонку «разнаградить», усмотрев в этом приколе намек на себя. Просьбу мы, конечно же, исполнили, хотя обе стороны согласились с тем, что Родина лучше б нас кормила посытнее, одевала потеплее, а потом бы уже могла и значками озаботиться.

С тех пор мы и стали ходить друг к другу по разным солдатским делам. Однако командование обоих родов войск было почему-то категорически против этого, поэтому ту стометровку, что разделяет наши окопы, мы преодолевали так, будто по ней без передыха садят «чеховские» пулеметы. Попав же в «располагу» друг к другу, мы тут же смешивались с такими же замызганными и оборванными парнями так, что некоторые умудрялись получать приказания от «не своих» командиров и по-уставному быстро спешили их «выполнять», радуя такой исполнительностью командирские сердца. Только оружие в гости ни

мы, ни «десы» никогда не брали: по автоматам легко можно установить нашу принадлежность.

Вечером ребята, приехав с «зачистки», рассказали, что оружия нашли очень много (автоматы, пулеметы, ПЗРК), а задержали кого или нет — не знают. Задерживают «спецы» — это их работа.

Сейчас наступил сезон созревания конопли, и теперь любая заготовка дров в лесополосе превращается в анашекос. После такой косьбы на заставе сплошное веселье. Употребляют ее в разных видах: и просто курят, и через «кальян», и «кузьмича» делают, но чтобы у народа начало «крышу рвать», до этого не доходит. Понимает братва «нариковская», что не на курорте, а как раз наоборот: на днях ребята ходили снимать запчасти с БТРа, подбитого возле Махкиты. Взрывом разворотило пол-БТРа и парнишке-водителю снесло голову. Поначалу ребятам было не по себе работать в месиве из крови и металла, но солдат привыкает ко всему. Привыкли и к этому. Хотя погибший водитель был из 2 БОНа, но КМБ и присягу мы должны были проходить вместе, а я сколько ни пытался, так и не мог его вспомнить. Как быстро исчезают люди!

11.08.01 г. Из хроники. *Возле селения Хатуни произошел встречный бой разведгруппы ВДВ с отрядом боевиков.*

16.08.01 г. Пришла «телега» из полка: в деле распределения войны наведен революционный порядок, и теперь ее всем будет хватать, как колбасы при Советах. Схема простая: на полк выделяется определенное количество «боевых дней» и их делят сверху вниз. При этом командиры-единоначальники огребают, естественно, по максимуму. Не отстают от них и близлежащие структуры. Словом, когда эта «колбаса» доходит до окопов, от нее остается с гулькин нос. Или что там еще на три буквы есть? Нам, на 70 с лишним солдат-срочников, выделили... шесть дней. Поделили их по братски: четверым — по дню, а одному минометчику — сразу два. Мы их поздравили, а они нас утешают: война, дескать, большая. Может, еще и другим что-нибудь достанется.

Война действительно заканчиваться не собирается: «чехи» нервничают. Недавно после обработки местности заявился на первый пост раздосадованный на что-то «чех». Попадись он «десам», давно бы на ТАшке вытряхивал все, что надо и не надо, но «добросердечные» ВВэшники лишь отгоняли его выстрелами, чтобы не нарушал спокойствия. «Чех» же оказался упорным, как танк КВ-2 на линии Маннергейма, и вынудил действовать решительно: был обезврежен и брошен в зиндан. Тут же на заставу пошли атакой его родственники. Атакующая толпа четко организована: впереди детвора под руководством подростков, за ними с визгливыми криками разновозрастные женщины с младенцами на руках, а уже за их спинами мелькают папахи и небритые лица.

Командир по рации запросил инструкции из РОПа, на что получил совет: «чеха» выпустить, толпу при необходимости рассеять. «Чеха» выпустили. Толпа рассеялась сама. Мы облегченно выдохнули.

У соседей-десантников была стычка с боевиками, и погиб парень нашего призыва. Погиб глупо. Да и как еще можно вдруг умереть в 19 лет! По словам десантников, дело было так. Отряд боевиков, не заметив в сумерках разведку, вклинился между разведгруппой и ее авангардом. Десантники в обстановке

разобрались быстро и стали крошить «чехов», при этом авангард, чтобы не попасть под огонь своих, залег и затаился у боевиков за спиной, и, откатываясь, боевики перебегали буквально в двух шагах. Видимо, у парня не выдержали нервы, он вскочил и был срезан автоматной очередью...

01.09.01 г. Сегодня до обеда была баня и стирка, после чего я на пост заступил весь вымытый и выстиранный. Сейчас я пишу, а напарник, Димка Чернышев, разрезает парашют осветительной мины на подшиву. Эта мина вчера ночью, уже прогоревшая, плюхнулась прямо к нам на позицию. Так что мы теперь надолго обеспечены франтовской подшивой из парашютного шелка.

Димка Чернышев по штату водитель тягача, который должен таскать нашу зенитку, но поскольку никаких тягачей вокруг нашей родимицы нет, мы учим его зенитному делу, так как Димка, хотя и нашего призыва, но на выезде недавно, а значит, ему тут долго отстреливаться.

Приезжал комендант Веденского района. По слухам, боевики пытались взять Ведено, и теперь он выясняет, почему это чуть было не случилось. Чтобы мы не раздражали его своим недокормленным видом, нам было приказано исчезнуть в ходах сообщения, постах и окопах. Однако самый худой и бледный не успел и сумел-таки попасться ему на глаза. Командира заставы драли так, что было слышно на всех постах, лишая его всех званий, привилегий и 13-й зарплаты. Мяса в наши котлы это, конечно, не добавило, но парню маленько повезло: в наряд по кухне поставили — для откорма.

А сегодня еще и праздник — День знаний! Все только и вспоминают, как Первое сентября проводили там, в России. Где-то сейчас линейки в школах, цветы, речи, лупоглазые первоклашки, девчонки в коротких юбчонках... Здесь, в Махкиты, почти напротив зенитки тоже есть школа. Она даже служит ориентиром на карте огня. Однако там никаких шевелений не слышно и не видно. Да и какие там могут быть шевеления, если я сам за эти месяцы не один короб осколочных туда всадил? Там и стены-то ни одной целой нет...

Вообще все окрестные села живут своей независимой жизнью. Днем там еще сохраняется видимость «советской власти», а ночью туда лучше не соваться. Да мы, собственно, и не стремимся. Только изредка по воскресеньям большой вооруженной толпой ходим на местный базар. А так там только «менты» на своем УАЗе носятся. Недавно доносились: налетели на фугас. Слава богу, что никого не убило, но многих ранило. Съездили, называется, за водкой. Хорошо еще, что в поездке за «бухалом» они, чтобы не делиться, не берут для охраны наших ребят.

У нас на заставе тоже есть искатели приключений. Повадились самоходом в село бегать. В «гражданку» переодеваются, гранату в карман и туда. Недавно к одному такому самоходчику прицепились в селе четыре «чеха» нашего возраста. Чего хотели, наш не понял, так как действовал весьма решительно: двинул гранатой одному по лбу, остальные и разбежались. Да и наш самоходчик после этого инцидента не стал там долго задерживаться, а ноги в руки и рысью на родную заставу.

Может, «чехи»-то ничего плохого и не замышляли, но уточнять здесь както не принято. Да, собственно говоря, и зачем?

07.09.01 г. Вчера приехала партия от 1 БОНа. Партия — это громко сказано. Просто очередная смена офицеров. Они же приезжают в Чечню только на три месяца, а на большее у них не хватает здоровья. Да оно и правильно — так пить, как они тут пьют, никакого здоровья не хватит. Рядом с господами офицерами наши деревенские пастухи и трактористы отдыхают — не та закалка.

Но главное: они привезли письма из дома, что шли через батальон, а те, что шли через «родной АЗДн», опять канули в неизвестность. Лучше всего письма доходят через Саню Слесарева — это мой друг из взвода прикрытия. Он родом из Волгограда и там до армии работал ди-джеем на одной из волгоградских радиостудий. Парень он ничего, но, видимо, профессия накладывает отпечаток. Ни о чем не может говорить серьезно, все со смехом.

А так круг моих знакомых и друзей достаточно широк. Ведь служба в армии тем и интересна, что знакомишься с массой людей всех слоев и профессий. Здесь можно встретить и юриста, и тракториста. Стараюсь общаться со всеми в равной мере. Мне в этом здорово помогает то, что я жил и в городе, и в деревне. Поэтому в любом вопросе понемногу понимаю — и в тракторах, и в юриспруденции. Так что с любым нахожу общий язык.

Нас, срочников, на заставе семьдесят пять человек: пехотинцы, минометчики, гранатометчики, зенитчики. Есть еще два повара и один писарь, но они тоже стрелки и по боевому расписанию у них свое место в окопах.

Кроме солдат-срочников, есть два офицера (командир заставы и командир минометной батареи) и один контрактник — старшина «минометки». Был еще прапорщик — пехотный старшина и контрактница — фельдшер, но старшина уехал в Россию без смены, а фельдшера забрали в Хатуни на РОП. У нас же медициной занимается солдат-срочник, но аптекой заведует лично командир заставы, так как «колеса» нам не доверяют. Правда, о назначении тех или иных таблеток командир все равно консультируется у наших «нариков». Они в этом деле «спецы».

«Дедовщины» у нас нет, так как здесь собран только наш призыв. Есть еще, правда, три сержанта 2-9, но они теряются на фоне солдатской массы, так как лычки по местным полевым понятиям носить не полагается. Да и «на выезде» они меньше нас. Один сержант как-то пытался показать свою принципиальность, но когда ему влупили возле ног очередью из автомата, сообразил, что Россия далеко, а здесь все под одним аллахом ходим.

Есть еще у нас «золотой дух» — парень «2-0», но он в единственном числе, поэтому претензий к нему никаких, а скорее наоборот: он нам душу греет. Когда его привезли, народ все дела побросал, а я даже спать не пошел, чтобы на живого «духа» посмотреть! Он «даг» и родом из Дагестана, но когда наши мусульманские братья по разуму еще только начали хвататься за стволы, сбежал в Сургут. Однако Родина его там отловила и пригнала воевать в родные места. От Родины разве скроешься?

Отношения на заставе нормальные, армейские: кто посильнее, давит тех, кто слабее, но большинство относится к категории средних. Это те, кто и себя в обиду не дает, и других не трогает.

Да и споры тут решаются быстро. Например, в ожидании противника роем мы как-то окопы в полном снаряжении. Одному бойцу что-то не понрави-

лось в поведении другого и он стал на него «наезжать». Парень, не долго думая, со всей дури ребром БСЛ его по голове и хрястнул. Каска выдержала, только погнулась немного: БСЛ — штука серьезная. Хозяин же каски долго потом сидел на дне окопа, сводя глаза к единому знаменателю. Спорить стало не о чем.

Живем мы в палатках, которые разбиты прямо в зданиях бывшего дорожно-строительного управления, о чем говорят наваленные вокруг румынские экскаваторы и советские бульдозеры, поставляющие нашей боевой технике необходимые запчасти.

Правда, от зданий остались одни стены и бетонный пол. Стены спасают нас от обстрелов, а пол — от грязи. За лето мы тут так все обустроили, что и зимовать вполне можно. Но уж я-то к тому времени дома буду!

Разговоры здесь только о доме. Кто как до армии жил, как дальше жить будет. Хотя за эти месяцы рассказали мы друг другу все, что только знали, так что даже в курилке все большей частью сидят молча.

Вообще-то в основной массе ребята здесь из южных губерний: волгоградские, ростовские, краснодарские, но сильно разбавлены средней Россией, есть и тюменские, и самарские, и даже один москвич. Однако его Москва уж лучше бы себе оставила. Ворюга несусветный! Народ уже все кулаки поотшибал, его воспитывая, а он все за свое. Наверное, такой уж это московский менталитет.

В зенитном расчете нас сейчас пятеро. Трое курских и два волгоградца. Командир расчета по-прежнему Леха Гостев, я — заряжающий левого автомата, но у нас полная взаимозаменяемость и стреляет тот, у кого есть настроение, хотя конечно, есть и штатный наводчик — Санька Поляков из Медвединки.

Леха Гостев родом из-под Волгограда. Рвался во флот, но военкомат обнаружил у него недостаток веса для флота. А скорее всего у военкомата была разнарядка на войну и то, что Леха — рулевой-моторист по профессии, никакой роли уже не играло.

Моя зенитка представляет собой два автомата калибра 23 мм с двумя коробами по бокам на полсотни патронов каждый. Патроны скобами сшиваются в ленты по схеме: четыре осколочно-фугасных — один трассер. Чтобы поражение целей было эффективнее, вообще-то трассеров в ленте должно быть больше, но у нас их мало и приходится экономить.

Установлена зенитка на колесной платформе, но в боевом положении колеса выворачиваются горизонтально и платформа опирается на тарелки. Здесь же, на платформе, крепятся запасные стволы, которые мы меняем при перегреве установленных.

Патриотизмом и героизмом здесь никто не озадачен. Все, кто на контракте, воюют за деньги. Мы же, срочники, — за ДМБ, хотя деньги нам тоже не помешали бы. Самое интересное, что, по моим наблюдениям, «чехи» тоже «на контракте»: платит им Хаттаб — они боевики, платят наши генералы — они становятся ополченцами. По-моему, местные сами больше всех в этой войне заинтересованы. Они же с нее и живут, а работать кому охота?

Опять написались стихи...

Чеченская строевая

Здесь вам — не там,
Здесь всё — не так.
Здесь каждый сам
Себе ислам.
Здесь пуля решает
Любой вопрос
И на патроны
Дикий спрос.
Рыдают все:
«Ах, боже мой,
Что делать
С этою войной?»
А мы встаем
Под «...гроба мать!»
Войну чеченскую
Решать.

Нам нет еще
И двадцати,
Но нас заставили
Пройти
Сквозь все круги
И через ад,
Куда шлет Родина
Солдат.
А нам бы всем
Скорей туда
Где нету
Ратного труда...
Пусть генерал
Орет за всех
Про новый Родины
Успех...

11.09.01 г. *Из хроники.* Террористы, захватив пассажирские самолеты, обрушили их на небоскребы Нью-Йорка и здание Пентагона в Вашингтоне.

Эту новость нам привезли «камазисты» из Хатуни. У них с цивилизацией больше связи. Не надо быть политологом, чтобы понять: началась новая война. Скорее всего мировая и на этот раз — Третья. Чеченских войн столько же.

Часто стал сниться один и тот же сон: на позицию лезут «чехи», я в них стреляю, а они скалят свои небритые рожи и все лезут и лезут... Самое удивительное, что многим на заставе снится тот же сон! Только небольшие вариации: у одних при стрельбе заклинивает автомат, у других — кончаются патроны, а у меня пули, вылетая из ствола, тут же падают «чехам» под ноги, не причиняя вреда. Просыпаемся же мы все одинаково: сердце колотится, выламывая ребра, зубы сжаты так, что ломит челюсти, еще и рычим при этом от бессильной ярости.

Что-то с нами происходит, но спросить об этом не у кого. Поэтому нам остается одно — стрелять. И не важно, во сне это или наяву.

На заставе 2 БОНа в Махкиты опять потери: боевики обстреляли и двух ребят положили. Застава ответила шквальным огнем по селу, а наша артиллерия оказывала им огневую поддержку. Минометчики неплохо помогли, накрыв пулеметную точку, расположенную прямо в жилом доме. Правда, одной миной долбанули-таки и по заставе, но ребята тогда уже в окопах были, и вреда та мина принесла немного.

Мы же били, обрабатывая лесополосу и развалины фермы, а также пути отхода из села в горы. Да и сложно из зенитки бить прицельно. Она же предназначена для стрельбы вверх, а при работе по горизонту прыгает, как сумасшедшая. После каждого боя мы ее ломами возвращаем на место.

Пока работает зенитка, все свободные номера расчета бьют из автоматов, но вообще-то это не наша работа, а взвода прикрытия. Да и магазинов у нас мало, поэтому их постоянно приходится набивать. Сначала даже мозоли на большом пальце натирались, но потом десантники научили снаряжать магази-

ны, ударяя их нижней крышкой о ящик. Дело пошло, конечно, быстрее, но для нас не это главное, а обслуживание зенитки: смена коробов, стволов и наводчика, если он вдруг из строя выйдет, поскольку сидит открытый всем ветрам и смертям. Такая у нас работа. Что поделаешь — какая есть.

Заметил одну особенность: мы совершенно разучились считать, все меряем в БК. Хотя, кроме патронов, у нас и считать-то нечего.

Еще стихи.

Солдатская курилка

Длинная лавка да ржавый обрез
Редко с окурками, чаще что без.
Прост интерьер и доступен всем вход.
Вот почему сюда тянет народ.

Курят здесь мало, а больше сидят,
Долу потупив задумчивый взгляд.
Каждый, что знал, уж успел рассказать.
Теперь им есть о чем помолчать.

Всю свою жизнь всем поведал солдат.
Да много ль ее у безусых ребят?
Им жизненный опыт еще наживать,
Но каждый умеет уже убивать.

Крутится-вертится шарик земной,
И вечно воняет он новой войной.
Для жизни нормальной и места уж нет
Ребятам простым девятнадцати лет.

19.09.01 г. В очередной раз сменился командир 1 БОНа, и новый командир привез с собой «новую» идею: перебросить нас на новое место. На этот раз в Махкиты. Народ в ужасе! Ведь это будет уже четвертый переезд, а память о трех предыдущих самая кошмарная: множество тяжелой, зачастую бессмысленной работы, холод, голод и дикий недосып. Недосып — самое страшное. Из-за него даже погибают.

Сейчас с этим, слава богу, поутихло — никуда не едем. «Пока пьют командиры — спокойно спит солдат». Да и вообще, самый лучший командир тот, который невидим. Командирский идиотизм поражает.

То вдруг попадет под его «заботу» наш наводчик. Для его безопасности приказано нам насыпать вокруг зенитки огромные брустверы, хотя снайперы работают, как правило, от села и эти брустверы им побоку. Сектор же обстрела у зенитки сужается настолько, что в цель мы сможем попасть лишь в том случае, если боевик заглянет к нам в ствол и спросит: «А че вы тут делаете?»

А то вдруг получаем приказ: стрелковые ячейки красиво обложить дерном. На фоне выбеленных солнцем брустверов яркие зеленые края ячеек становятся прекрасным ориентиром для снайперов, но эта очевидная мысль — не для командирской головы. Мы еле-еле от такой красоты свой КХБ отстояли. Там под хлипким накатом целая гора снарядов, и один прицельный выстрел из гранатомета...

Еще интереснее — это «сушка боезапаса». Для этого ящики со снарядами надо из КХБ вытащить, цинки из них вытряхнуть и на солнышке разложить.

Это чтобы разведка противника не сомневалась в наличии у нас боезапаса, его количестве и уточнила его местонахождение. Заодно проверяем: взорвутся ли снаряды, если их на солнышке разогреть?

Я не знаю — их в академиях этому учат или по стране специально таких отлавливают, но если бы не наша «исполнительность», то «чехи» давно бы нами огороды удобряли. Понятно, что вид безработного солдата вызывает у командиров приступ яростного идиотизма, но не до такой же степени!

Получили усиление от 2 БОНа. Дали еще один СПГ-9, БТР-80 и «кашелку» — фургон с мощной радиостанцией и аппаратурой радиоперехвата.

«Связюки» хотя и относятся к солдатской элите, снобизмом не страдают, да и оба оказались нашего призыва, поэтому всю электронно-техническую сторону нашей жизни они взяли на себя, и у нас теперь нет проблем с ремонтом нашей видавшей виды аудио-, радио— и телеаппаратуры.

Кроме того, как выяснилось, у них есть машинка для стрижки, поэтому при «кашелке» тут же был торжественно открыт постоянно действующий «парикмахерский салон». Прически — чаще всего беспроблемная лысина, но некоторые делают и «таблетки», хотя они только спецназерам «положены», но «спецы» здесь не ходят. Одно время пошла мода на чубы: чем круче характер — тем длиннее должен быть чуб. Здесь все имеет свое значение.

Водитель БТРа тоже нашего призыва, а со стрелком-наводчиком повезло уже нашему «золотому духу». Его корешок — призыв 2-0. Гранатометчики же так быстро влились в нашу солдатскую массу, что скоро уже никто не отличал, где «свои», а где «чужие».

БТР нам достался ничего, еще бегает, хотя мы уже успели порвать на нем сцепление, таская бетонные блоки, и теперь его экипаж, водитель и наводчик, матюгая своего БТРовского бога, вторые сутки заняты ремонтом.

Самое смешное, что БТР потаскал блоки и сломался, а мы вручную их двигали и поднимали на ломах, выкладывая стену полутораметровой высоты. Теперь-то я понимаю, как строили египетские пирамиды. Нужен всего лишь один горластый начальник и толпа его подчиненных. Стена же нас несколько успокоила: видимо, отложили все-таки переезд.

Раньше в Махкиты стояли РОП 2 БОНа, а застава нашего типа была в Сильментаузене, но в августе их всех начали перебрасывать в Ведено гасить там большую заварушку, и оттуда они уже не возвращались.

Авиация часто долбит по окрестным горам, но это не воспринимается как война. Недавно, например, чтобы не сидеть в душной столовой, вынесли мы столы и лавки на наш обрыв и сидим обедаем. Тут вдруг налетают «сушки» и долбят ракетами по ближайшей горе. Мы же сидим, едим и со своего обрыва наблюдаем, как в кинотеатре. И такая картина довольно часто: то самолеты, то вертолеты, то «ГРАД» соседей-десантников начинает работать, а в то, что они в кого-то там стреляют, не очень-то и верится.

А на нас стремительно накатывается осень. До 15-го еще была жара, а теперь задождило, похолодало, туманы пошли. Верхушки деревьев уже начали желтеть, и недели через полторы-две, как говорят «чехи», все начнет неудержимо осыпаться. Так что время идет своим чередом, несмотря ни на что, приближая ДМБ.

«ДМБ неизбежно, как крах социализма!»

По Пушкину и Лермонтову

Уж небо осенью дышало.
Гранате пролетать мешала
Толпа небритых рож.
Лесов таинственная сень
Со страшным шумом облетала:
Их авиация ласкала
И наша пушка тож...
А ДМБ вокруг витала,
Вгоняя командиров в дрожь.
Ведь им под:
«... бога душу мать!»

«Учить» опять
Ребят стрелять.
А нам до «фени»
Эти «бени».
Нам жизнь сулит
Прелестных встреч.
И чемодан, вагон, Россию,
Министр, нам быстро обеспечь!
Мы дело сделали. Отбой.
Теперь все дело
За тобой.

23.09.01 г. *Из хроники.* В Веденском ущелье обнаружены передвижения боевиков. Блокпосты и заставы усилены бронетехникой.

28.09.01 г. Опять приехали самарские «менты» и парню из Самары привезли посылку. Несмотря на ее небольшой объем и множества народа, поделили ее поровну. Может, у парня было и другое мнение относительно дележа, но кто б его спрашивал: здесь «военный коммунизм».

На сей раз «менты» прибыли совсем юные. Даже палатку ставить пришлось их учить. Однако, «адреналинщики» — повадились лазать по округе, собирать неразорвавшиеся боеприпасы, таскать мины с «чеховских» минных полей. Нашито поля существуют лишь на схеме обороны заставы, которую каждый раз с приездом нового командира писарь красиво рисует на планшете для «проверяек». Не полезет же «проверяйка» в их наличии убеждаться. «Чехи» тоже одно время пытались их найти, подгоняя по ночам лошадей поближе к заставе, но дозорные их вовремя засекали и отгоняли выстрелами.

Так вот, «менты» и повадились «чехов» обескураживать. Мало того, что они своими необдуманными действиями подрывали экономику заставы, но и свою жизнь подвергали опасности, а за их целость и сохранность отвечаем мы. Поэтому нам не составило труда убедить командира их действия пресечь. На посты поступил приказ: «Милицию за пределы заставы не выпускать!» В первый же день произошла стычка. Когда утром бодрые и веселые «менты» топали проторенной тропой, дозорные попросили их вернуться обратно. Не привыкшие к послушанию юные охранники правопорядка продолжали движение, бурно выражая свое отношение к солдатам вообще и к часовым в частности. Пулеметчик спорить не стал, а тщательно прицелился, взяв как можно ниже, и длинной очередью мгновенно уложил их всех носом в грязь, откуда «менты» быстро согласились с его неопровержимыми аргументами.

Так были сохранены в незыблемости налаженные рыночные отношения на вверенной нам территории. Мы на радостях даже пытались загнать «ментам» и «нашу» авиабомбу, но они засомневались, что начальство по достоинству оценит их служебное рвение. Так и лежит та бомба в ямке за речкой, гордая в своем одиночестве. Жалко. Хорошая бомба пропадает.

04.10.01 г. Сегодня уже десять месяцев, как я сижу в Чечне, а по поводу увольнения никто ничего не знает. Мутят, как хотят, только бы нас здесь подольше задержать. Но ничего, скоро приедет партия, вот от них и узнаем, как обстоят дела. Они уже в Ведено сидят, так как по новым правилам молодых теперь десять дней обязаны там выдерживать, как будто подготавливая. Мы по рации выходили на Ведено, и тамошние «связюки» доложили, что партия большая. Едут от всех БОНов и от АЗДна. Все — призыв «2-0». Если все будет хорошо, по-видимому, они нас и сменят. Ничего. Потерпим. Уж чему-чему, а терпению армия выучила. Кто бы и где бы, например, изготавливая мундштук, стал лезвием перепиливать гильзу? А здесь это запросто.

В остальном же все по-прежнему: работаем, на посты заступаем, заряжаем, стреляем — и опять по кругу. Такой ритм выработался, что внутри будто часы тикают. Могу определять время почти со стопроцентной точностью.

Сейчас у нас идет сбор урожая шиповника и боярышника. Благо их здесь — заросли. Мы ими чай завариваем, как дома. А черный боярышник поедаем на месте, так как хранению он не подлежит. Правда, дерево для этого приходится спиливать. Может, это и варварство, но боец на ветке — отличная мишень. По пути прихватываем грецкие орехи. Их в этом году, по словам «чехов», очень много. Так что мы их наелись на десять лет вперед. Близко к селу есть сливы и виноград, но туда лучше не соваться.

Во время одной из таких вылазок наткнулись на пожилого «чеха». Он привычным движением вытащил пачку документов. Мы, ничего в них не понимая, с интересом рассматривали. Кроме советского паспорта там была еще целая пачка справок с их, чеченскими, печатями. На наш вопрос: как им жилось при тех властях? — старик ответил фразой, смысл которой я осознал много позже. «Тогда ТОЖЕ всех бандитов из тюрем выпустили», — ответил старик. Среди документов была фотография чеченца нашего возраста, но в военной форме старого образца. Лицо с фотографии ни у одного «спеца» не вызвало бы сомнения: бандит. «Мой брат. Командир взвода. Погиб в Белоруссии. В 41-м еще...» — успокоил нас дед.

Кроме обычных дел занимаемся еще и заготовкой мяса для своей кухни, а проще говоря, бьем «чеховских» коров и лошадей. Что поделаешь, очень хочется есть. Делается все просто. Создается «штурмовая группа», отбивается от стада животина, загоняется в лесок неподалеку... Если пастухи что-то замечают, то претензий предъявлять не решаются. Многие уже побывали в руках «комендачей» и «спецов», да и безбашенная разведка «десантов» работает круто, поэтому все, кто выжил, держатся от наших постов подальше. Хотя мы и не «десы» и в части у нас висит плакат «Внутренние войска — войска порядка», относимся к тому же непредсказуемому сообществу — Российская Армия. Мы тут тебе и «право», мы — и «порядок».

Погода сейчас разная: то жара стоит, то наползает туман и сразу становится сыро и холодно, но это все днем, а ночью уже ниже 0°С. Даже БТРщики перебрались из своей промерзшей коробки к нам в палатку. Холодно.

16.1.01 г. *Из хроники.* В одном из сел Веденского ущелья произошло нападение боевиков на подразделение федеральных сил.

18.10.01 г. Пришла долгожданная партия, но привезла она одни неприятности. Во-первых, они не привезли ни одного письма. Те письма, что шли через АЗДн, новый командир минометной батареи по пьянке забыл в Ведено. Отцы-командиры как от баб своих оторвутся, сразу водку жрать начинают и пока их опять под юбку не засунуть — не просыхают. А те письма, что шли через 1 БОН, непонятным образом потерялись уже в Хатуни.

Во-вторых, подтвердились слухи о том, что «день за два» уже давно и полностью отменен. Отменен и боевой отпуск за шесть месяцев Чечни, и «боевые выплаты». То есть, согласно высочайшим распоряжениям, войны в Чечне быть не должно, а если народ и гибнет, то по своей дурости.

В-третьих, до конца этого года наш ПОН будет расформирован, а вместо него будет отдельный горно-егерский батальон, где БОНы станут ротами, а батареи — взводами. Хотя от перемены мест слагаемых сумма не меняется, но как бы эта реорганизация при увольнении нам боком не вышла.

В-четвертых, командование недовольно нынешним положением дел. Раньше, когда полк стоял вокруг Ведено, то более-менее справлялся со своими задачами, а теперь, когда его заставы разбросаны по всему Веденскому ущелью, не только не выполняет своих функций (охрана общественного порядка и содействие поселковым отделениям милиции), но и собственных тылов обеспечить не может. Поэтому передислокация нам все-таки грозит. Да еще зимой, так как с наступлением холодов «чехи» по теплым хатам сидят, а значит и не надо большой охраны колонн.

Словом, ни одной хорошей новости эта партия нам не привезла.

На прошлой неделе четверо отморозков из «минометки» и один из взвода устроили нам веселую ночку. Раздобычив у пастухов водки, они ночью принялись употреблять ее «под занюх». Однако «горючее» быстро кончилось, а душа требовала еще, и тогда в их головах созрел хитроумнейший план: прихватив с собой автоматы с подствольниками, они отправились в село.

Первым делом ломанули магазин, но там, к их разочарованию, водки не оказалось. Тогда они стали обходить дома, но в одном из домов им вместо водки предложили очередь из ПКМ...

Услышав пальбу и взрывы гранат, наши дозорные подняли тревогу, и только тогда обнаружилось отсутствие «героев». Мы развернули свою артиллерию, а командир «минометки» с сержантами выдвинулись на окраину села, чтобы вывести придурков из боя. Хорошо, что «чех» попался «вежливый»: не стал бить сразу на поражение, а дал предупредительную очередь. Иначе было бы им «ДМБ в консервной банке», а мы бы еще и полсела разнесли. Пока же все обошлось для охламонов неделей зиндана. Это сооружение у нас здесь редко пустует.

05.11.01 г. *Из хроники.* В районе селений Хатуни и Махкиты уничтожен полевой командир, имевший в своем подчинении до 70 боевиков.

08.11.01 г. Возбужденно-напряженное ожидание новой партии сменилось тупым равнодушием после того, как прибывшая партия никаких наших надежд не оправдала. Все дни проходят в пилке и колке дров. Тем более, что ближние рощи мы уже извели и теперь таскаем бревна чуть ли не за километр. Можно было бы использовать нашу потрепанную, но еще ходовую технику, однако нет горючего.

Соляры нет даже на заправку осветительных ламп, и мы делаем коптилки из консервных банок, наполняем столовым комбижиром — это что-то среднее между солидолом и парафином. Мы на нем готовим еду и смазываем сапоги, чтобы они не сразу промокали. Света такая коптилка дает немного, поэтому живем наощупь. Например, на сапогах у меня сделано пять зарубок, чтобы на сушилке их было легко опознать, а то происходит постоянный круговорот сапог в природе.

Дрова тоже создают проблемы. Сырую древесину приходится колоть МПЛом на тонкие лучины, сушить их на печке, переворачивая как блины, и только потом отправлять в печь. Только тогда они худо-бедно горят, но больше греемся собственным теплом, укладываясь поплотнее на нарах, как патроны в обойме. Первобытной пещерностью веет от вида плотно спрессованных на нарах человеческих тел, забросанных сверху различным тряпьем, но — было бы тепло.

С едой опять напряженка: «чехи» коров больше не пасут, хлеба давно уже не возят. Любимое блюдо — гороховая каша, но варят ее нечасто, а в основном — раскисшая лапша из муки и распаренный овес. Как-то приходила «чеховская» машина с продуктами, но большая их часть по дороге была разворована, поэтому рацион наш от нее не изменился.

Правда, эта машина привезла из Ведено наши военные билеты, хотя мы понять не можем: зачем их возят за нами в Чечню? Никаких записей делать нельзя, так как нет полковой печати. Идентифицировать нашу личность в случае чего тоже невозможно, поскольку лежат они всегда в командирских сейфах.

Кстати, об идентификации. Начальство, «озаботившись» слишком большим количеством неопознанных потерь, приказало нам самомаркироваться. Кто посноровистее, точит медальоны из стали, вырубив их из пластины от бронежилета, на которых местные умельцы электродугой выписывают данные владельца. Основная же масса делает проще: на клочке бумажки пишет свои фамилии и адреса, куда надо сообщить о безвременной кончине, закатывают это послание в пустую гильзу, дульце которой обжимают плоскогубцами, и зашивают в одежду на правом плече и левой ноге. Это на тот случай, если от человека вдруг останутся одни фрагменты. Словом, и здесь Родина решила на нас сэкономить.

Мы тоже теперь сил понапрасну не тратим, да и осточертело уже железо. Поэтому мы его стараемся без надобности не трогать. В лучшем случае расчистим грязь на позиции. Правда у «десантов» на ВОПе, что стоит за селом на горе, была недавно большая заваруха, но у нас с ними связи нет.

26.11.01 г. *Из хроники.* В Веденском районе произведен призыв молодежи в Российские Вооруженные Силы.

28.11.01 г. Как-то с одной из «зачисток» ребята притащили разбитую магнитолу. Наши мастера, поколдовав, напитали ее от аккумулятора и установили мощный динамик. Эта магнитола стала нашим самым стабильным источником информации.

Самой популярной передачей была у нас «Полевая почта «Юности», но она в одночасье потеряла свой рейтинг полностью и окончательно. Дело было так. После вечерней поверки вваливаемся мы в палатку с целью захватить спальник поновее да местечко потеплее, но дневальный осаживает нас, рявкнув: «Тихо!» Стоим, слушаем. По «Юности» зачитывают письмо матери солдата, воюющего в

Чечне, в котором она спрашивает: долго ли ему тут отстреливаться? Ди-джей бодро и весело отбарабанила в ответ, что день службы в Чечне идет за два и очень скоро солдат будет дома. Мы взревели, как стадо непоеных бизонов! Большинство из нас находилось здесь уже по году, и никаких слухов о нашей отправке домой не появлялось. Летала как-то «фанера», что в середине февраля будет смена, но на нее уже никто не реагировал. Мы привыкли, что нам все время врут и никак не ожидали этого же от любимой передачи. Видно, вранье заразительно.

А недавно нас здорово развеселило сообщение о призыве молодежи из Чечни в армию! Видимо, боевики дело подготовки молодого поколения решили переложить на плечи Красной Армии. Учиться воевать парням все равно придется здесь. Под пулями. Как и нам.

В остальном наша жизнь идет по обычному графику. Вот только недавно устроили большую утиную охоту. Над заставой часто пролетала в Грузию перелетная дичь, и хоть у наших охотников загорались глаза, она быстро покидала пределы видимости. А тут послышался над нами свист крыльев, и волна за волной над заставой пошли утки!

Первыми не выдержали «менты»: выскочив из своей палатки, они стали палить в усыпанное птицами небо из своего табельного оружия. Посты вмиг, как по команде, ощетинились стволами. Удобнее всего охотиться на уток из ПКМ: уперев сошки в бруствер, пулеметчик самозабвенно садил в небо очередь за очередью из глубины окопа. Несмотря на обилие уток и большую плотность огня, добыли всего три птицы, но восторгов было море, и долго еще не стихали на заставе охотничьи рассказы.

Погода сейчас самая мерзопакостная, какую только можно придумать: низкое хмурое небо, серые туманы. Одежда волглая, сапоги постоянно мокрые, сырые осклизлые окопы. Тоска, словом. У многих опять началась «стряпуха».

А голод заставляет быть изобретательным: порох от «граника» имеет приятно-кисловатый вкус. Почти как у монпансье.

Товарищ полковник

Полковник Путин, ты большой ученый:
Во всем ты видишь смысл и знаешь толк,
А я простой солдат, весь запыленный.
Под Ведено стоит мой сводный полк.

Ты всем твердишь: войной здесь и не пахнет.
Ну, а у нас все время куча дел:
То вдруг фугас с обочины бабахнет,
То «чехи» ночью нам устроят беспредел.

Ты шлешь Указ, один страшней другого,
Чтобы бандитов по сортирам всех «мочить»,
А мне от корма «калорийного» такого
Давно в сортир уж незачем ходить....

02.12.01 г. Сегодня до нас дошли новости из России о бунте в Ростове солдат-срочников, недавно выведенных из Чечни. Говорят, что подавлять мятеж прибыл лично командующий СКВО, о чем потом сам же и поведал в те-

леновостях. Из его речи перед телекамерами можно сделать лишь один вывод: нас опять «кинули». Теперь до весны. А все эти разговоры о «день за два» и прочие обещания — это так... Вообще-то этого стоило ожидать — наша Родина всю жизнь на «кидалове» держится.

По словам «победителя Чечни» мы наших командиров просто неправильно поняли. Такие мы, стало быть, бестолковые. Что ж, какие есть. Других солдат им все равно брать негде. Одно поражает: как много усилий тратило наше героическое командование на то, чтобы нас обманывать! И главное — зачем? Ведь под присмотром боевиков нас можно держать здесь всю оставшуюся жизнь. И без каких-либо последствий для их карьеры.

Вообще сейчас в полку создалась самая сволочная ситуация: из-за расформирования офицерье разбегается кто куда, а уж если они друг друга всеми способами стараются «кинуть», то что тут говорить о нас, солдатах... Черт с ними! В любом случае осталось меньше, чем прослужил. Прорвемся, гады!

Я вернусь

(стихи сквозь стиснутые зубы)

Я вернусь, когда яблоки будут в цвету,
Когда капля, дрожа, побежит по листу,
Когда девушки с трепетом смотрят вокруг,
Когда сердце щемит в ожидании: «Вдруг...»
Когда солнечный зайчик запляшет в окне...
Только штопанный «бронник» прильнул мне к спине.
Исцарапанной каской накрыт этот мир,
И вся наша жизнь —окоп, капонир...

17.12.01 г. Прибыла партия, а с ней и новый комбат «минометки», который привез кучу писем из дома и, как это ни странно, список «дембелей»! Согласно этому списку, срок моей службы заканчивается 8 февраля, а значит, вывезут нас с ребятами из Чечни где-то в конце января. Спасибо ростовским «дембелям»: пробили-таки «шакалов».

Самое интересное, что ребята, которые прилетели в Чечню вместе с нами, но остались в Ведено, уже давно в Краснодаре, а нас задерживают лишь из-за того, что скоро передислокация в Ведено и командование хочет, чтобы мы все барахло на своем горбу перетащили, а потом только уволились.

По этой причине командование 1 БОНа спихнуло на нас обратно минометную батарею, чтобы не возиться при переезде. Ведь у нас одних только БП целая гора, на три войны вперед завезено. Нам-то разницы нет, где жить, но мы «не ихние», а прикомандированные. Правда, и палатка у «мины» — один голый брезент, нет ни «тепляка», ни «белки». И прострелена еще пьяным комбатом.

В остальном же все у нас по-прежнему: работа да посты. Правда, вся работа теперь — это заготовка дров и чистка окопов от снега. Ведь позавчера у нас наступила настоящая зима. Навалило снега, мороз ударил, а до этого была сплошная слякотная осень. Сегодня же погода прямо зимняя. Новогодняя сказка: на деревьях снег и иней искрится, яркое солнце. Солнце мы сегодня увидели впервые после очень длительного перерыва, так как с конца ноября над нами стояли туманы.

От мороза поспела «мачмала», которую мы таскаем из леса целыми касками. Однажды из-за нее чуть бойца не потеряли. Валим деревья недалеко от «десовских» постов и видим, что у самых их амбразур «чехи» коров гонят. Решив, что наличие коров указывает на отсутствие мин, мы тут же снарядили туда команду за «мачмалой». Только они ушли — взрыв! Один из прибежавших обратно был весь в крови и внутренностях. Мы думали, что его разворотило, а бегает он лишь потому, что в шоке. Когда мы его очистили, то выяснилось, что это бренные останки бедной коровы. Это просто «десы» с помощью управляемых фугасов за говядиной охотятся.

20.12.02 г. *Из хроники.* В селении Хатуни проведена спецоперация по обнаружению и задержанию лиц, причастных к боевым действиям.

21.12.01 г. Ребят опять гоняли на «зачистку». Наших «гансов» используют в основном для оцепления района операции и прочесывания местности, но теперь, видимо, подпустили поближе, потому что с операции ребята приволокли целый мешок аудиокассет. ВВ — самые выносливые войска: вечно что-нибудь выносят.

Там брали все впопыхах и только в палатке произвели ревизию. Розенбаум полетел в печку. Его здесь не любят. «Предохранитель вниз до упора и очередь от живота!» — звучит красиво, но крайнее нижнее положение предохранителя предназначено для ведения одиночного огня. Романтикам военной службы неплохо было бы для начала изучить азы.

Да и «комбат-батяня» только для тех, кто в армии никогда не служил. У нас оценки куда более сдержаннее.

Остальное — ничего, слушать можно. Однако «золото-платиновым альбомом» заставы окончательно и бесповоротно стала кассета, где молодой и печальный голос с чеченским акцентом пел об осточертевшей войне, погибших товарищах, заплеванной родине и тоске по мирной жизни. Это было нам настолько близко, что периодически возникающие в песнях «наезды» на «русских свиней» нас абсолютно не трогали. Мы же понимаем: пропаганда — она и в Чечне пропаганда.

Вообще-то она здесь сильно буксует. Как-то комбат привез телевизор с видиком и, согнав нас в палатку, стал крутить нам трофейную пленку, где была заснята казнь «чехами» пленных. Зрелище, конечно, жуткое и многих рвало, но «ярость благородная в нас» не «вскипала как волна», так как мы прекрасно понимали, что если бы там все вдруг поменялись местами, то изображение не изменилось бы.

На кассету с «чеховскими» песнями, как шакалы на чужую добычу, потянулись офицеры, но по нашему хмурому виду поняли, что нас легче расстрелять, но кассету живыми мы не отдадим. Вопрос тихо отпал сам собой. Вообще, по-моему, командиры все больше начинают осознавать, что среди этого разливанного моря «синюхов» только мы и являемся основной боевой силой. Не всегда у нас все получается, но, как бы то ни было, на нас настойчиво и упорно наседают с контрактной службой. Однако мы думаем больше не о контрактной службе, а как бы согреться, так как стоят сильные морозы, каски примерзают к шапкам, смерзаются портянки в дырявых сапогах, а палатка изнутри покрыта толстым слоем инея. С Новым годом! Так хотелось его дома встретить, но увы...

Самое страшное в мороз — это последние полчаса до смены. Почему-то именно на них тепла и не хватает.

Грозный

10.01.02 г. *Из хроники.* В районе селения Киров-Юрт обстрелян вертолет-разведчик. Как ответная мера был произведен минометно-артиллерийский обстрел горно-лесистой местности возле селения Махкиты.

11.01.02 г. Новый год встретили довольно скучно. Во-первых, на заставе вовсю стоял голодай. Съели даже «фейсовскую» собаку, огромного породистого стаффора, пока они по делам отлучились. До сих пор не знаю: стаффор — это была кличка или название породы? А выданная одна на двоих коробка с набором продуктов, что нам по традиции к празднику дали, лишь ненамного уменьшило чувство голода. Так что и стол-то накрыть было нечем.

Во-вторых, командир заставы строго-настрого запретил палить в небо, чем окончательно испортил нам настроение. Так бы хоть душу отвели. Правда, очень мы его слушали и вполне могли бы «войну заказать», но для этого дела надо «чехов» привлекать, — а зачем людей в праздник-то тревожить?.. У них же этот праздник тоже отмечают, хотя в Коране его нет.

Поэтому в новогоднюю ночь мы с постов посмотрели только, как бесились «менты», распарывая трассерами темное небо, да «десы» лениво о себе напомнили. Такого зрелища, как в прошлый Новый год, уже не было. Устали все, наверное.

«Ментам» оружие выдали только перед праздником (их табельные пистолеты здесь за оружие не считаются). Дело в том, что как-то они выпили больше, чем могли, но меньше, чем хотели, и подались в село устанавливать там «советскую власть». «Чехи» их встретили столь гостеприимно, что назад они прибежали вмиг протрезвевшие и с квадратными от удивления глазами. На следующий день прибыл для разбора инцидента какой-то милицейский чин и разоружил наших «ментов», сдав автоматы под охрану дежурному по заставе сержанту-срочнику. Командир же приказал выдавать «ментам» оружие только в случае крайней необходимости.

Сменившись с постов, умяли мы по котелку праздничной ячневой каши, да «менты» приволокли «от нашего стола вашему столу» полведра винегрета. Спать с таким набитым животом было невозможно, поэтому я просто сидел в палатке и слушал по телевизору фильм «Белый клык». Смотреть же я не мог: и прием плохой, и не с моим зрением автомобильный телевизор смотреть.

5-го января день начинался как обычно: подъем, дрова, окопы. Часов в 10 прибежали «связюки» и доложили, что командиру заставы пришла замена и ему приказано вывезти всех, кто «на выезде» с позапрошлого года! Вскоре и нам поступила команда: сдать зенитку остающимся номерам расчета. Это не составило большого труда, так как у нас полная взаимозаменяемость, а свеженазначенные ребята из взвода не были новичками на войне, поскольку были тоже нашего призыва. Остаток времени мы посвятили себе. Извлекли из тайных «затарок» новые «комки», которые сэкономили еще летом, памятуя старую солдатскую поговорку: «Солдат должен быть всегда готов к двум вещам:

войне и отпуску». Слегка помылись, хорошо побрились. Раздали остающимся свои «белки», свитера, подстежки, лыжные шапочки. Словом, все то, что нас худо-бедно, но спасало от холода. Теперь будет греть ребят.

Однако пересдача у командиров затягивалась, и вскоре мы поняли, почему. Дело в том, что всего нас набралось человек пятнадцать (сначала было больше, но спецтелеграммой из Ведено список сократили), но все равно вывозить всю эту голодную, безденежную и безоружную толпу старый командир явно не горел. Максимум, на что он соглашался, это два-три человека. Мы напряглись — ДМБ был в опасности, но комбат громыхнул условием: «Либо вывозишь всех, либо остаешься без смены». Старлей затих, решив, видимо, бросить нас где-нибудь по дороге.

Первые два дня в ожидании «вертушки» мы просто отсыпались. Даже заслышав рык дневального: «Смена! Подъем!» — мы блаженно мурлыкали. Нас это уже не касалось. Однако вертолет задерживался, и мы начали нервничать.

Хотя ни на работы, ни на посты нас уже не напрягали, чтобы не сбивать отработанный график, мы сами стали добровольно наниматься на пилку и колку дров, а одного поставили днем на пост, так как голодное безделье было мучительно и тяжело.

На шестой день ожидания я, оглядев утром синеющее небо, взмолился: «Господи! Дембельни — покрещусь!». Честно говоря, подобными просьбами я тревожил небеса не раз на протяжении службы, но или Бог был занят кем-то другим или, на Его взгляд, просьба была неискренняя — результата не было. А тут вдруг, как черт из табакерки, выскакивает из-за горы «вертушка» без всякого прикрытия и плюхается к нам на «взлетку». Завидев на ее хвосте белую «перебинтовку», мы поняли, что это своя, ВВешная, поэтому едва аппарель коснулась земли, мы уже были внутри и рассаживались на корточках вдоль бортов. Тот, что стоял на посту, даже не переоделся, а так и остался в грязном рваном обмундировании.

Правда, распорядитель полетов пытался загрузить сначала каких-то армейских «спецов», а потом только нас, но оценив количество барахла у «спецов» и возможности «восьмерки», мы сгруппировались и молча и решительно пошли на загрузку. Мешавшие нам мешки со «спецовским» барахлом мы просто выбрасывали. Поняв, что мы загрызем любого, кто встанет на нашем пути, распорядитель полетов махнул рукой, и больше никто против наших действий не возражал. Тем более в своей «вертушке» мы — хозяева.

Последним прибежал командир и, выбрав почему-то меня, согнал с насиженного места. Осмотревшись, я увидел, что возле закутанного в меха бортстрелка напротив пулемета пустует сиденье. Я ткнул в него пальцем, на что стрелок утвердительно кивнул.

«Куда?» — перекрывая шум двигателей, спросил меня стрелок, когда я устроился у пулемета.

«Домой», — ответил я.

«Домой», — продублировал стрелок в переговорное устройство. «Вертушка» тут же взмыла. Горы в амбразуре испуганно бросились куда-то под ноги... У ребят запрыгали губы и сверкнули слезы на смущенно спрятанных глазах. Подрастрепали нам тут нервишки-то.

Рассматривать горы прощальным взором я не стал: из амбразуры сильно несло холодом. Поэтому я просто кутался в свой жиденький бушлат и невпопад улыбался на попытки стрелка развлечь меня анекдотами.

Через час «вертушка» села, и мы спрыгнули вслед за «спецами», которые все-таки загрузились вместе с нами в Хатуни. Осмотревшись на новом месте, мы обнаружили бетон под ногами, разбитое здание аэропорта и надпись над ним: «Северный». Это был знаменитый грозненский аэродром! Вот это нас занесло!

Нас окружили какие-то «менты» с недоуменными лицами, стали выяснять, что мы за воинство, откуда и как попали сюда? И тут разразился скандал. Оказывается, эта «восьмерка» летела забирать милиционеров с какого-то дальнего ВОПа, но штурман промахнулся и вывел «вертушку» на Хатуни. Мы такому обороту радовались, как дети! Ведь не окажись эта «вертушка» на нашей «взлетке» случайно, плановая могла бы лететь целый месяц! Да здравствуют двоечники! На их крыльях летает удача.

Как ни интересно было осмотреть Грозный, но осторожность брала свое. Видели только, что с одной стороны к аэродрому подходит голое поле, увитое колючей проволокой, с другой — трубы и остовы зданий, а за ними угадывается город. По всему периметру летное поле было усыпано обломками самолетов, но почему-то гражданских. Словом, город как город. Только мертвый. Милиционеры, обвешавшись гранатами, весело фотографировались на его фоне.

Когда-то давно-давно, в Моздоке, мы видели выгрузку из «вертушек» алтайского ОМОНа и, раскрыв рты, смотрели с восторгом на рейджерские перчатки, «берцы», разгрузки и прочую амуницию круто экипированных парней, но теперь-то мы знали цену всем этим «наворотам», а потому смотрели на возню таких же разэкипированных «ментов», как мудрые старцы на расшалившихся юнцов.

После нескольких часов ожидания на лавках под стеной мы увидели приземлявшуюся «корову», и тут же со всех сторон потянулись к ней люди. Во вместительном брюхе вертолета разместились ОМОНовцы с грудой ящиков, утыканные антеннами, ножами и оружием армейские «спецы», милиционеры, какие-то важные тетки (из пакета одной из них торчали почему-то автомобильные номера), а рядом со мной пристроился телеоператор с зачехленной камерой, которую он опекал, как наседка единственного цыпленка.

Словом, «вертушка» вскоре стала напоминать колхозный автобус в базарный день, но нам было все равно. Главное — она летала!..

Через некоторое время нас принимала модзокская земля.

III. Расписание уроков

Возвратившись домой, я с удивлением узнал, что войны в Чечне нет, а если там кто и стреляет, то только профессионалы: «спецназеры» разных мастей, агенты спецслужб и другие «крутые» ребята. Солдаты-срочники там в лучшем случае подтаскивают патроны, а остальное время крутятся возле кухонных котлов...

А мне снится Чечня. Поначалу все от «чехов» бегал и в БТРе прятался, а теперь вижу, будто я летаю. Подо мной чеченские горы, покрытые густым лесом, который слегка тронула осень, лечу почти у самых верхушек деревьев, повторяя изгибы ущелий и лавируя между вершин, как «вертушка», когда от

обстрелов прячется, но вдруг взмываю над перевалом, и дух захватывает от изумительной красоты, которая распахивается перед глазами! Я немею от восторга и... падаю, ломая сучья, ударяясь о стволы деревьев... Мне не больно, но очень обидно за внезапно прерванный полет.

1. Урок географии
2. Урок истории
3. Урок литературы

См. главы I. Начальная школа и II. Чеченские будни

4. Урок граждановедения (День призывника в Шиграх)

На привокзальной площади в Шиграх гром оркестровой меди, звон ветеранских медалей, пафосные речи уполномоченных лиц, невнятное бормотание священника и гавкающие команды военных в лихо загнутых фуражках. Все как положено: День призывника.

Я смотрел через улицу на стриженные макушки парней, неловко топтавшихся в центре всеобщего внимания, и мучительно думал: кому из них судьба начала отстукивать последние дни?

Вряд ли нам суждено узнать когда-нибудь страшную статистику армейских потерь «мирного» времени, но без всяких бумаг с грифом секретности это видно уже и так.

Из весеннего призыва 2000 года «навек девятнадцатилетним» остался один. Он был вместе со мной на сборном пункте. Из предыдущего призыва — тоже один. Он жил на моей улице, и его отец ждет до сих пор возвращения сына. А мать моего одноклассника только и знала из его писем, что встретил он свое 20-летие где-то под Шали, но что с ним стало потом, Родина ей рассказать так и не удосужилась, трусливо спрятавшись за номер полевой почты: Москва-400. Только ценой титанических усилий и нервов она вытащила его больного, с поврежденным позвоночником, когда срок его службы уже три месяца как прошел.

«Это же единицы», — скажет кто-то, но в городе Щигры вместе с близлежащими деревнями, согласно последней переписи населения, всего 21 тысяча жителей. И в армию идут единицы.

Кроме погибших, есть еще и сошедшие с ума, как парнишка-разведчик, которого на моих глазах отправляли обратно в Курск из Краснодарского госпиталя. А сколько спилось, как сосед моего отца — красивый работящий парень, которого после службы в морской пехоте все чаще накрывают тяжелые и мерзкие в своей безвыходности запои?

Сколько изувечено холодом, голодом, антисанитарией, кулаками и другими «прелестями» казармы?

Наверное, из-за того, что я все это знаю, в бравой «Славянке» слышатся мне трагические нотки. Наверное, из-за этого поп стыдливо-виновато опускает глаза.

Нам все время твердят, что в пороках армии виновато общество, но если у нас ТАКОЕ общество, то зачем нам ЭТА армия? Только не надо «заливать» мне про чужую армию, которую мы вынуждены будем кормить. Мы свою-то отродясь не кормили.

5. Урок биологии

Шакалы — кровососущие насекомые из офицерского семейства. Когда-то, еще в лейтенантские времена, прочитали они в Уставе, что «военнослужащий обязан стойко переносить трудности военной службы» и «беспрекословно ПОВИНОВАТЬСЯ командирам». Всю свою дальнейшую службу они посвящают созданию все новых трудностей для своих подчиненных, а замену в Уставе слова «подчиняться» (соотноситься по чину) на «повиноваться» они поняли как надо: солдат с момента своего появления становится тут же ВИНОВАТЫМ — уже тем, что он солдат.

Поражает прямо-таки патологическая ненависть Ш. к солдатам-срочникам. У них даже поговорка на этот счет есть: «Куда солдата ни целуй — у него везде задница». Когда 22 марта мы, раздавленные президентским указом об «отмене войны», заступили на охрану заставы, ко мне на пост прибежал командир и, сверкая глазами, брызгая слюной и трясясь от возбуждения, кричал радостно мне в лицо: «Так вам и надо! Есть, значит, бог на небе, а президент на земле, если смогли наконец поставить на место вас, ленивых зажравшихся бандарлогов!!!»

Я долго размышлял о природе этой ненависти и пришел к парадоксальному выводу: они просто боятся нас потерять! Ведь вся эта свора, от лейтенантов до генералов, значима лишь на фоне солдат-срочников. За всю свою жизнь ничему не научившись, они и в своих военных делах далеко не «спецы». Поэтому-то они просто не в состоянии организовать ни обычной службы, ни приличной войны. Замаскировать же свое неумение они могут лишь нашими телами, которые Ш. к тому же еще и безбожно обдирают.

За всю свою службу я встретил лишь одного офицера, принципом службы которого было: солдату надо выдать все, что положено, и еще чуть-чуть. Однако делал это отнюдь не из-за беззаветной любви к солдату, а из чисто практических соображений: с такого солдата можно смело драть три шкуры и еще чуть-чуть. И его принципы не мешали ему давить батальон голодом, требовать от ребят выполнения спущенного сверху плана по заключению контрактов. И комбат Кубаевский его выполнил.

Рядом с матерыми «шакалами» вьется рой мелких «шакалят» — их обслуга. Эти летают только сворой и рвут по живому.

Гориллы — узколобые тупые приматы из семейства «контрабасов». Безусловный инстинкт у них один: была бы водка, а к водке глотка. Даже о животе они не шибко заботятся, а уж о голове — тем более.

Однако среди них встречаются индивидуумы.

Начальник нашего фельдшерского пункта — тетка пудов на пятнадцать. Самым страшным наказанием для нее было разворачивание внутри БТРа медпункта согласно боевому расписанию. На войну пошла от нищеты. Она чистила наши облепленные «стряпухой» ноги, резала гниющее мясо на руках, рвала зубы и вообще делала всю грязную, гнойную, кровавую работу медика на войне. Мы ее ласково звали: «Наша Годзила». Однако, стирая одной рукой свои заляпанные гноем и кровью бинты для перевязки другой, я вдруг понял, что относится Годзила к нам, как мы к снарядам своей пушки: пока цел — он

нужен, но после выстрела снаряд превращается в ненужную и всем мешающую гильзу. Так и Годзиле мы живые нужны. И «чехи» тоже. Ведь только ей позволяли они по ночам ходить в село и живой возвращаться обратно.

«Контрабас» Пахом — большая добрая «горилла». Деньги его не интересовали, а захватывал сам процесс службы, фанатом которой он был. Не лишен интеллекта: единственный на заставе без труда щелкал уравнения из школьного учебника алгебры, что притащили с «зачистки» «гансы». До Чечни он уже воевал то ли в Осетии, то ли в Абхазии (он и сам толком не помнил), но о всех войнах у него самые восторженные впечатления. Загостившись как-то у старшины «десов» допоздна, при возвращении на заставу заблудился, был схвачен их разведкой и брошен в зиндан до выяснения личности, но, будучи связанным, ухитрился выбраться из ямы, обезвредил часового и ушел. Однако напоролся на «десовский» секрет, опять был схвачен и водворен обратно, но уже под крышку. Причем «десанты» уже ни секунды не сомневались, что Пахом — арабский наемник славянской наружности, и для того, чтобы отправить его к аллаху, нужны лишь кое-какие формальности... Когда утром «десовский» командир по рации установил его личность, то удивленно спросил: «Куда ж ты рвался?! Ведь пристрелили б!» «К своим», — не моргнув глазом, ответил Пахом. Даже после своего отъезда по окончании командировки Пахом долго был еще «десовской» легендой.

Белки — самые опасные представители военной фауны из семейства «синюхов». Если обычный российский алкаш допивается до «белой горячки», то просто берет в руки топор и гоняет чертенят заодно с домочадцами. Военная же «белка» хватается за автомат, занимает круговую оборону и крошит «наступающих» со всех сторон «чехов». Тем более, что их оружие в отличие от нашего, несмотря на войну спрятанного в пирамидах КХО, всегда под рукой. Однако одних автоматов им бывает мало, и тогда нам приходится вести тяжелые бои за свою артиллерию. Когда у старшины, которого прозвали «Шутка Природы», дневной «квас» плавно переходил в ночной запой, народ в палатке не смыкал глаз: обязательно среди ночи будет стрельба, и наша реакция на нее должна быть незамедлительной.

Принимает «белка» и другие формы.

У накрытого «белкой» капитана ОСО (для тех, кто не знает: ОСО считают себя вправе прореживать население страны) стекленели глаза и обрамленное благородной сединой лицо каменело в мертвом оскале. Дослав патрон в патронник автомата, он начинал нас среди ночи «строить» и «тренировать», не убирая палец со спускового крючка и тыкая во все стороны заряженным стволом...

У капитана И. самая «безобидная» «белка»: выстрелом в полог палатки он поднимал свою минометную батарею, выгонял их в ночь на строевые занятия и прохождение с песней. Ночной холод скоро приводил его в чувство и тогда он объявлял в батарее выходной день. Или два. Пока его будет мучить совесть... Поэтому заслышав среди ночи из «располаги» минометчиков нестройное пение, мы завидовали: завтра у «мины» выходной. За три месяца его командировки «белка» придет к капитану еще не раз.

Один лишь выстрел мог бы навек «вылечить» от алкоголизма любую «белку», но ни одному трибуналу и в голову не придет мысль, что солдат имеет право на самозащиту. Поэтому приходится проводить сложнейшие мероприятия, чтобы в борьбе с «белкой» не попасть под ее огонь и, обезвреживая, не повредить ей шкуру.

Есть «белки», о которых народ складывает баллады. Например, в полку очень популярна «Сага о капитане Михее». В ней воспевается командир разведроты, по пьяни разогнавший на краснодарском рынке «Казачок» целую казачью сотню и милицейское отделение, которое пыталось сотне помочь. Утихомирить его смогло только вызванное из полка подкрепление. Молва утверждает, что прототип этой легенды — тот самый капитан, который вез нас из Курска.

Бэтээр ВАСЯ — мелкий зловредный грызун, любимое место обитания которого под «бронником». Свое название получил от совпадения количества собственных ножек с количеством колес БТРа и сокращения слов: Вошь Армейская, Серая, Ядреная. Познакомился я с ним сразу по прибытии из «Ахтырки». Поймав неизвестное мне животное, я показал его старожилам и получил исчерпывающий ответ: «Бэтээр. Ребята из Чечни на развод привезли». Лежа в санчасти и испытывая книжный голод, я часто перебирал в памяти прочитанные книги и однажды наткнулся в этой своей «библиотеке» на «Россию, кровью умытую» Артема Веселого, где описывалось старое солдатское развлечение — вшивые бега. Вскоре вся санчасть была озабочена этой игрой больше, чем лечением, а на тут же возникшем тотализаторе проигрывалось огромное количество булочек... В Чечне игра тоже прижилась, но «рысаки» быстро дохли от бескормицы.

В санчасти обнаружилась и Васина подружка — «Машка-монашка». Любой мальчишка, прошедший уличный курс сексологии, знает, что распространяется она лишь естественно-половым путем. Поэтому мы поначалу были очень удивлены ее появлением на своих телах и только потом сообразили, что просто санчасть не утруждает себя стиркой санитарных одежд.

Когда в казарме общая масса вшей и клещей начинала превышать солдатскую, все койки заливали какой-то гадостью, от которой дохли даже мухи, но «бэтээр» откатывался на запасные позиции и пережидал там тяжелые времена. В Чечне же основным способом борьбы с Васей было кипячение. В любое время на печке можно было видеть цинк с чьей-нибудь одеждой. На некоторое время это Васю отпугивало.

Крокодилы — вертолеты огневой поддержки МИ-24Е. Они действительно напоминают маленьких веселых крокодильчиков из телепередачи «В мире животных». Их непринужденное кувыркание в синеве завораживает. Существовали мы с ними в параллельных мирах, но два раза наши боевые пути-дороги все-таки пересеклись.

Первый раз летом.

Мы наблюдали с заставы прохождение колонны, как вдруг «крокодил» сопровождения, сделав разворот, долбанул ракетами по горе, а затем, завис-

нув над нами, стал бить в гору короткими жалящими очередями трассеров, явно призывая нас к тому же. Напарник сбросил маскировку, я прыгнул в кресло наводчика, так как от палаток уже летело: «Застава! В кольцо!!!» Я начал быстро ловить в прицел то место, куда бил «крокодил», и когда командир прибежал с целеуказаниями, пушка уже деловито работала, превращая тот квадрат в кипящий котел. «Крокодил» удовлетворенно кивнув, улетел «крокодилить» дальше. «Десантская» разведка потом прочесала ту гору, но нашла что или нет — нам не докладывала, да мы и не спрашивали: обычная работа.

Второй раз — осенью.

Как-то среди холодной осенней промозглости выглянуло солнце, и я вылез из поста погреться под его скудными лучами. В это время на «взлетку» села «восьмерка», и «крокодилы» сопровождения стали барражировать над окрестностями. Один из них выбрал почему-то нашу заставу и, развернувшись носом к земле, внимательно осматривал окопы и позиции. Грохот его двигателей не только отдавался в гудящей от простуды голове, но и бил тупой болью по застуженным почкам. Дикое бешенство вдруг буквально захлестнуло меня: «Завалю гада!» Сбросив маскировку, я моментально развернул зенитку. «Крокодил» уловил движение и тут же уставился на меня своей 30 мм пушкой. «А кто круче?» — бесшабашно весело прыгало у меня в голове, а нога привычно нашла педаль... Несколько длинных секунд мы рассматривали друг друга в прицелы, но «крокодил» оказался умнее: плавно развернулся и ушел обнюхивать горы.

Бандарлоги — самые бесправные представители животного мира Чечни. У всех есть выбор: ехать или не ехать. Есть выбор и у «чехов»: можно быть боевиком, ополченцем, мирным или беженцем. У «бандарлога» выбора нет. Его привозят, когда надо, и вывозят, когда захотят. Ареал обитания «бандарлога» — это узкая полоска суши между стволом боевика и дурью шакала, вооруженного всей мощью государственного аппарата принуждения. Чтобы сохранить интеллект, психику да и саму жизнь, «бандарлоги» просто обязаны нарушать все придуманные для них запреты и ограничения. Принужденные вести стадный образ жизни, они постоянно строят «шхеры» и «затарки», поиском и разрушением которых заняты «шакалы» основную часть своего служебного времени. Единственный раз я почувствовал себя человеком, когда мы через обдираловку, багажные полки и голодные спазмы добрались-таки из Моздока до «родной» части. Едва мы, грязные и небритые, ступили на ее территорию, все «духи» бросили свои дела и с уважительным благоговением смотрели на нас. По их лицам было видно, что для них мы — люди из другого мира, где делается суровая мужская работа. Глупые мальчишки. Они еще не знают, в каком дерьме та работа утоплена.

Основной инстинкт. То ли из-за очень малого женского контингента в армии вообще, а на войне — тем более, то ли оттого, что «голодное брюхо к сексу глухо», но основной инстинкт имеет здесь чисто созерцательный характер.

Правда, в армии ходят упорные слухи, что для подавления сексуальности солдатам в пищу добавляют какие-то медпрепараты, но про это все знают, однако никто никогда не видел.

Как бы то ни было, но чуть расслабятся командиры, сразу на всех стенках блиндажей, постов и ДОТов, на столбах нар и оружейных пирамидах появляются обнаженные женские тела в аппетитных позах. Приезд каждого нового командира обязательно знаменовался «борьбой с порнографией», и голые красотки тут же исчезали в дальних солдатских «затарках», чтобы появиться вновь, как только пройдет командирский выпендреж. Живую же натуру видеть приходилось довольно редко, поэтому в Хатуни, например, любимым занятием у ребят было сидеть на крыше и задирать проходящих по улице молодых «чешек». Девчонки на такие «приставания» реагировали хмуро, но на заставе под Киров-Юртом мы были лишены и такой возможности. («Наша Годзила» по причине возраста и чрезмерной полноты интереса для нас не представляла, да и перевели ее скоро). Женский пол появлялся в пределах нашей видимости лишь на «чеховском» огороде за речкой, но это были закутанные в черное старухи. Только однажды на нем появились две молодые особы. Хотя их длинные черные хламиды не давали никакой возможности увидеть хотя бы кусочек обнаженного тела, но сам изгиб женского стана был настолько волнителен, что вся имеющаяся на заставе оптика перекочевала на КП «минометки» (оттуда лучше видно), где уже находился весь личный состав заставы согласно списку. Даже громоздкую буссоль, которая век не доставалась из-под командирской койки, была мигом установлена и нацелена в нужный сектор. Девчонки долго терпели такое «дистанционное раздевание». Наконец одна не выдержала и стала тыкать в небо незаслуженно популярным «фак ю». Насмотрелась, дуреха, «ихних» фильмов. Сделала бы по-нашему, по-российски: правую руку в кулак и вверх с ударом левой по сгибу локтя. Реакция была бы оглушительной, а так лишь сдержанное ржание обездевичившихся за время службы парней.

6. Урок арифметики

Согласно уставу паролем и отзывом к нему могут служить только названия городов страны, начинающихся с одной буквы, но поскольку воинский контингент Чечни в основном деревенского происхождения и в географии не силен, то делают следующим образом: назначают числовой пароль.

Например, на разводе объявляют: «Сегодня пароль — 5». Значит, всех лиц, приближающихся к посту, дозорный окликает: «Стой! Два (1,3,4,5)!» На что приближающееся лицо должно быстро вычесть это число из суточного пароля и доложить остаток. Если с ответом задержка, или вычислено не верно, по нарушителю незамедлительно следует очередь. Туго приходилось тем парням, кто по дороге в школу вслед за «Букварем» искурил в посадках и «Арифметику».

Как-то довольный собой и жизнью самоходчик, возвращаясь под вечер из села, напоролся на свежевыставленный «секрет». «Стой! Два!» — крикнули ему из окопа. От неожиданности у самоходчика выпали из рук — добыча, из головы — суточный пароль. Кроме того, у него не было уверенности, что этот «сек-

рет» родной заставы, а не соседей, где и пароль, естественно, другой. Понимая, что еще доля секунды, и его искромсает очередь, самоходчик, задрав руки к небу, плюхнулся в грязь и заорал благим матом: «Не стреляй, ребята! Я считаю!».

Озадаченные таким поведением нарушителя «секретчики» задумались и позвонили на заставу: «Какой-то придурок лежит мордой в грязи и кричит, что что-то там считает...» В ответ с заставы раздался гомерический хохот, который было слышно даже без телефона.

7. Урок ОБЖ (основы безопасности жизни)

1. Отправляясь в армию, не забивай голову «патриотическим долгом» и «священной обязанностью»: столкновение с реальностью тебе может дорого обойтись.

2. Относись к армии как к стихии, которую надо пережить:

а) не бери тяжелое в голову, плохое в руки;

б) чтобы с тобой в армии ни случилось, помни: все проходит;

в) не рви службой анус: благодарностью она тебе не ответит, но дополнительных проблем создаст много.

3. Получив задание, не спеши его выполнять, ибо:

а) оно может быть преступно, и ты — крайний;

б) оно может быть отменено;

в) выполнив одно, ты тут же получишь другое;

г) оно может быть опасно для твоей жизни, а потому проси, чтобы тебе показали, **как** это надо делать: только отправляясь вместе с тобой в опасную зону, командир удостоверится, что там нет ядовитых паров, отравляющих газов или высокого напряжения, иначе индикатором будешь ты.

4. При решении казарменных проблем:

а) надейся только на себя;

б) помощь друга принять можно, но и ты ему будешь обязан тем же;

в) оказывая сопротивление, бей сразу, не ослабляй себя разговорами;

г) не можешь сопротивляться — подчинись, но знай: это ты будешь делать всегда;

д) «включив бычку», держись до конца: в армии важен результат, а если его нельзя получить — от тебя отвалят;

е) если владеешь приемами рукопашного боя, никогда никому этого не показывай — это твой стратегический резерв, иначе сгоришь в «гладиаторах»;

ж) никогда не защищай слабых: свою защиту они сделают твоей обязанностью, а при малейшей возможности — сдадут;

з) с наркоманами, алкоголиками, шулерами, садистами держи вооруженный нейтралитет, не давай втянуть себя в их дела;

и) меньше всего при решении казарменных проблем надейся на командира: он в казарме служит, ты — живешь.

5. Инициатива необходима лишь при добывании пищи и времени для сна. Во всех остальных случаях она — себе дороже.

6. Попав под какое-либо разбирательство,

а) никогда ни в чем не сознавайся, как бы ласково тебя ни уговаривали, помни: коллективное наказание в армии ВСЕГДА мягче индивидуального;

б) не пытайся обрисовать ситуацию своими словами, а подбери подходящую статью устава и талдычь ее: лучше прослыть тупым недоумком на свободе, чем остроумным дураком в тюрьме;

в) никогда не ссылайся на чьи-то устные приказы: обнаружится, что их никогда не было, «офицерская честь» им это позволяет;

г) если в твоих руках что-то сломалось, то виноват тот, кто тебя учил или должен был это делать;

д) никогда не оправдывайся: ты принял решение, значит, ты прав, иначе сожрут.

7. Береги здоровье: армия — на время, здоровье — на всю жизнь.

8. Как можно чаще пиши письма, пиши обо всем, что придет в голову, потому что:

а) письма — это в армии **единственная** психотерапия;

б) не бойся перепугать чем-то родных: самое страшное с ними уже случилось, когда ты получил повестку;

в) может так случиться, что твои письма будут единственными свидетельствами твоей защиты в суде или ориентирами при твоем поиске.

9. Попав в зону боевых действий:

а) не сатаней от фанатизма и не теряй головы от страха;

б) помни: противник такой же, как ты, он тоже устал, замерз, хочет есть, спать и скорее сделать свою работу, а ствол вас уравнял в правах, в живых будет тот, кто лучше этим правом воспользовался;

в) меньше сомнений и колебаний: граната или очередь прояснит ситуацию быстрее и лучше, чем твое личное присутствие;

г) хорошо знай и умей делать свое дело, но не лезь в чужое: на войне у каждого свое место;

д) война — дерьмовая работа, и в ней нельзя не испачкаться, но ты не рвись в «лучшие ассенизаторы» — «Трактористом» станешь.

10. Не спеши себя убивать. Это и без тебя есть кому сделать.

8. Переменка

Житейские советы

1. Военкомат призывает туда, куда ему дали план, но судьбу подправить можно, сдавшись приглянувшимся «покупателям».

2. Попроси родных, чтобы в каждое письмо вкладывали по паре лезвий и пластинку бактерицидного пластыря — это избавит тебя от многих проблем.

3. Первое средство от грибка: в сапоги налить уксуса, а самому босиком походить по росе.

4. Вши выводятся только кипячением, поэтому не ленись — кипятись

9. Заключительный урок — русского языка

Словарь армейского сленга

АГС — автоматический гранатомет, станковый.
АЗДн — арт-зенитный дивизион.
АК — автомат Калашникова.
АКС — автомат Калашникова, складывающийся.
Балабас — добытая пища, 1,5 литровая бутылка с содержимым.
Бегунок — погон.
Без палева — тайно.
Белка — 1) накрытый «белой горячкой» боец;
2) полог внутри палатки;
3) нижнее белье.
БК — боекомплект.
БМД — броневая машина десанта.
БМП — броневая машина пехоты.
БП — 1) боевая подготовка;
2) боеприпасы.
БСЛ — большая саперная лопата.
БОН — батальон оперативного назначения.
БТР — бронетранспортер.
Бухало — водка.
Бэтээр — паразит.
ВВ — внутренние войска.
ВДВ — воздушно-десантные войска.
Вертушка — вертолет.
Взлетка — 1) площадка для вертолета;
2) проход в казарме.
Включить бычку — стоять на своем, упрямо.
ВОП — взводный опорный пункт.
ВМФ — военно-морской флот
Восьмерка — вертолет МИ-8.
Гансы — пехота
Гапчик — генератор.
Гладиатор — боец, участвующий в «гладиаторских» боях для развлечения старослужащих.
Град — установка залпового огня.
Граник — гранатомет.
Давить синьку — пьянствовать.
Дембель — 1) увольнение в запас;
2) солдат, доживший до этого дня.
Десы — десантники.
Димедрол — обезболивающее лекарство в шприц-тюбиках.
Дизель — дизентерия.
ДМБ — то же, что дембель.
ДОТ — долговременная огневая точка.
Дух — 1) призывник;
2) солдат младшего призыва.

Духанка — первые полгода службы.
Зиндан — земляная тюрьма.
ЗУ — зенитная установка.
Кашелка — командно-штабная машина; фургон связи.
Квас — пьянка.
КМБ — курс молодого бойца.
Крокодил — вертолет огневой поддержки МИ-24 Е.
Колеса — таблетки лечебные.
Комок — камуфляж.
Контрабас — контрактник военной службы.
Корова — вертолет МИ-26 Т.
КП — командный пункт.
КПВТ — крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый.
КПП — контрольно-пропускной пункт.
КХБ — комната хранения боеприпасов, блиндаж с боеприпасами.
КХО — комната хранения оружия, отгороженный сеткой угол в палатке, где стоят пирамиды с оружием.
КШМ — то же, что Кашелка.
Лифчик — разгрузочный нагрудник с карманами для гранат и обойм.
Матюгальник — мегафон.
Мачмала — (правильно: мушмала) местная ягода, кустарниковая.
Менты — 1) милиционеры;
2) солдаты внутренних войск.
Мина — минометная батарея.
МОН — мина осколочная направленная.
МПЛ — малая пехотная лопатка.
МСВ — минно-саперный взвод.
На выезд — командировка в Чечню.
Нарик — наркоман.
Насиниться — ужраться водки.
Облом — разочарование.
ОЗК — общевойсковой защитный комплект.
ОСО — особые судебные органы
Отмазаться — уклониться от каких-то дел.
Пальцы загнуты — парни, которые считают себя «крутыми».
ПВД — пункт временной дислокации.
ПЗРК — переносной зенитный ракетный комплекс.
ПКМС — пулемет Калашникова модернизированный, станковый.
ПКС — пулемет Калашникова станковый.
ПН — прибор ночного видения.
Подпал — подполковник.
Подрыв — тревога.
Покупатели — отборщики призывников для своих частей.
Полкан — полковник.
Полторашка — 1,5-литровая бутылка.
ПОН — полк оперативного назначения.
Проверяйка — военный чин, как правило орущий.
Профи — профессионалы.
Прошаренный боец — умный, сообразительный боец.

ПТУРС — противотанковый управляемый ракетный снаряд.
ПХД — продуктово-хозяйственный двор, короче: кухня и столовая.
Разгрузка — жилет с дополнительными карманами для магазинов и гранат.
Разуха — одежда одноразового пользования (для похорон).
Рашпиль — сержант в учебном подразделении.
РМО — рота материального обеспечения.
РОП — ротный опорный пункт.
РПГ — ручной противотанковый гранатомет.
РПК — ручной пулемет Калашникова.
Самоходчик — воин, который сам ходит, куда хочет.
САУ — самоходная артустановка.
СБЗ — служебно-боевые задачи.
СВД — снайперская винтовка Драгунова.
Связюки — связисты.
Секрет — боевое охранение, выдвинутое далеко вперед.
Синюх — пьянь.
Слон — солдат, отслуживший первые полгода.
СКВО — Северокавказский военный округ.
СОЧ — самовольно покинувший часть.
Спарка — спаренная автоматическая установка.
СПГ — станковый противотанковый гранатомет.
Спецы — спецназовцы.
Спотыкалки — (спотыкачи) заостренные колышки на тропах.
Стряпуха — стрептодермия.
Сушка — самолет-штурмовик СУ-27.
ТАшка — телефонный аппарат.
Таблетка — 1) прическа;
2) офицерское кепи.
Телега — телефонограмма.
Тепляк — байковый полог в палатке.
Тракторист — кличка боевика, осужденного за расстрел пленных.
Фейсы — эфэсбэшники.
Цинк — 1) коробка с патронами;
2) гроб.
Чача — самогон.
Черпак — солдат, отдавший родине год жизни.
Чех — чеченец.
ЧОН — часть особого назначения.
Шакалы — офицеры.
Шарить — соображать, хорошо разбираться в каком-то вопросе.
Эфка — граната Ф-1.

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике второго-третьего кварталов 2002 г.

Сегодняшнее состояние России **И.Кондаков** определил как «смуту» (**«"Смута": эпоха безвременья в истории России»** — «Общественные науки и современность», № 4). Условия принципиальной пограничности (Европа — Азия, Восток — Запад) определили ***главное качество российской цивилизации*** — «смысловую неопределенность», символом которой стал знаменитый русский «авось». «Смысловая неопределенность» соединяет любые противоположности в «невозможное единство» (нераздельность и неслиянность), в некий «взаимоупор», который держит российскую цивилизацию постоянно на грани срыва или взрыва. В «смутные» эпохи этот механизм обеспечивает ментальное самосохранение культуры. Так было в смутные времена XVII века, во времена революционной смуты 1905-1917 гг., так и сейчас, в постсоветский период, когда Россия переживает раскол и резкое расслоение общества, особенно болезненное после монолитной целостности тоталитарного строя в СССР.

В условиях плюрализма постсоветской культуры сталкиваются несовместимые силы, нетерпимые друг к другу. Ситуация осложняется вседозволенностью средств борьбы. Смута рубежа XX-XXI вв. не менее опасна, чем предыдущие. Она грозит полным распадом и саморазрушением российской цивилизации. Однако автор, вопреки им самим нарисованной картине, в «смуте» как специфически российском феномене усматривает продуктивные потенции обновления. Чем мутнее смута, тем ближе благие перемены.

Журнальные материалы выдают общую обеспокоенность тем, какой путь развития выберет Россия. Недовольство, в частности, касается ***глобализации***.

А.Белошапко убежден в том, что нашел альтернативу глобализации. В своей статье он провозглашает **«Возвращение евразийцев»** («Ученые записки Академии народного хозяйства при Правительстве РФ». Фк-т эконом. и соц. наук, вып. 5). В версии автора, евразийство — и мировоззрение, и философия, и геополитический проект, и экономическая теория, и духовное движение, и ядро консолидации политических сил. Главная идея этой версии евразийства — многополярная глобализация, программа планетарной общечеловеческой значимости, а не только форма национальной идеи для посткоммунистической России. Исходя из принципа многополярности, евразийство предполагает организацию стран и народов по признаку географической, культурной, ценностной и цивилизационной близости. По этому признаку образуются четыре геоэкономических пояса: Евро-африканский, Азиатско-тихоокеанский, Евразийский континентальный и Американский. В пределах этих поясов предлагается автономия государств. В отличие от суверенитета автономия, не затрагивая территориальных вопросов, предполагает независимость только в сфере органи-

зации коллективного бытия. Территориальные вопросы должны находится в прямом ведении центра стратегического управления. Российскую Федерацию и СНГ автор видит прообразом будущего политического образования — «Евразийского Союза». Залог гармонического развития общества эта версия евразийства усматривает в верности духовному наследию предков. Каждая, даже самая незначительная, локальная религиозная традиция должна поддерживаться стратегическим центром. Противодействие оказывается только экстремистским религиозным сообществам, тоталитарным сектам, проповедникам нетрадиционных вероучений.

Либерализм как выбранный ***путь развития России*** по-прежнему вызывает горячую критику. **Н. Ларионова** задается вопросом **«Уготован ли России "либеральный рай"?»** («Москва», № 7) Нет, отвечает автор, ибо суть либеральной стратегии заключается в распродаже российских национальных ресурсов международным финансовым корпорациям. Разрушительная модель свободного рынка, небескорыстно навязанная России извне, на Западе уже не работает. Частному регулированию рынка там противопоставлена сила общегосударственного регулирования и с либеральным капитализмом покончено навсегда. Прекратить либеральные затеи следует и здесь. Спасение России — в отказе от либеральных утопий, возвращение к своим традициям и использование своего богатейшего исторического опыта государственного устроения, в том числе накопленного в Советском Союзе и выразившего главное качество россиян — обостренное чувство социальной справедливости, чему Россия учит, учила и будет учить весь остальной мир.

В контексте нескончаемых споров ***о российской интеллигенции*** интересна статья **Г.Шпета «Источники диссертации Чернышевского»** («Новое литературное обозрение» , №53). Написанная в 1928 году статья публикуется впервые и вызывает ассоциации с «Даром» В. Набокова, но выглядит гораздо убедительней. Собственно, на источники диссертации указывает сам Чернышевский: передать на русском языке идеи Фейербаха. Однако, по мнению Шпета, не только не сделал этого, но и сами идеи понял превратно. Шпет полагает, что Чернышевский по складу своему академическим ученым не был, результат интересовал его больше, чем процесс и метод, важнее же всего было непосредственное практическое приложение учения к решению какого-нибудь насущного жизненного вопроса. Он сильно преувеличивал собственную образованность, принимая широту интересов за полноту знания. Чернышевский не обладал никакой дисциплиной ума. В его «мечтательном» сознании все положительное меркло и не заслуживало внимания. Но он не был скептиком по натуре, — скорее догматиком категорического отрицания (нигилистом).

Свою статью Шпет написал к столетнему юбилею Чернышевского, а через несколько лет был казнен наследниками его идей.

Обзор подготовил Александр Денискин

От редакции:

В этом номере мы начинаем печатать цикл очерков В.Шульгина «1921 год». Он достаточно велик по своему объему, и это исключает для нас возможность полностью опубликовать его в одном номере журнала. С другой стороны, очерки, на наш взгляд, настолько интересны, что досадно было бы предлагать их вниманию нашего читателя в урезанном виде. Поэтому мы решили сделать в данном случае исключение из нашего обычного правила — не печатать материалов с продолжением. Разбив цикл на три более или менее равные части и публикуя в этом номере первую из них, две остальные мы предполагаем напечатать в будущем году — в 115 и 116 номерах (соответственно — в 1-ом и 2-ом за 2003 г.).

От публикатора:

На протяжении всей своей жизни Василий Витальевич Шульгин (1878-1976) писательство совмещал с политической, партийной деятельностью и остался в русской культуре прежде всего политиком.

Зигзаги его партийной карьеры достаточно круты — и совпадают с вехами в истории страны.

Лидер фракции русских националистов в Государственной Думе (с 1907), он расколол фракцию и ушел в Прогрессивный блок вместе с видным кадетом П.Н. Милюковым (1916). Принимал отречение Николая II (1917), уступил эсеру А.Ф. Керенскому пост во Временном правительстве. Был одним из организаторов Добровольческой Армии (1918), эмигрировал, ездил в СССР (1925-1926), как оказалось, под надзором ГПУ. Арестованный в 1944 г. в Югославии, с 1947-го по 1956-й был заключенным Владимирской тюрьмы, а в 1961 г. — гостем XXII съезда КПСС... Многие их этих «этапов» и «зигзагов» Шульгин описал в своих книгах: «1920», «Годы», «Дни», «Три столицы»...

Цикл очерков «1921 год», никогда ранее в России не публиковавшийся (он печатался в эмигрантской «Русской газете» с декабря 1923 по май 1924), также связан с определенной вехой и в жизни Шульгина, и в истории России — России Зарубежной, т.е. эмигрантской.

...Вместе с 120 тысячами человек, остатками Русской Армии П.Н. Врангеля, Шульгин эвакуировался из Крыма в Константинополь в ноябре 1920 г. 24 декабря он выехал на п-ов Галлиполи, где был размещен 1-й Армейский корпус ген. А.П. Кутепова, и вернулся в Константинополь в начале 1921 г. С этого и начинаются его очерки, заканчивающиеся июнем того же года. Все это время Шульгин готовился к участию в вооруженном десанте в Советскую Россию.

Врангелевские круги интересовало положение на Юге России, где в связи с Кронштадтским восстанием также могли начаться волнения. Был у Шульгина и лич-

ный интерес: его волновала судьба среднего сына, оставшегося на родине. Однако в сентябре !921 года в Севастополе, Одессе и Киеве побывал не Шульгин, а журналист Вл. Лазаревский, описавший свою поездку в очерках «На том берегу». Вот эти-то очерки, вместе с очерками самого В.В. Шульгина: «На Босфоре», «Inter partes» (о неудаче его высадки на берег) и частью очерков некоей М.Д. (вероятно, М.Д. Седельниковой) «По Черному морю» — и должны были составить книгу «1921 год». Шульгин писал о готовящемся издании: «1921 год» есть попытка записать кусочки жизни на «обоих берегах». А эта цель могла быть достигнута, в данном случае, только совместными усилиями» (ГАРФ. Ф. 5974. Оп. 3. Ед.хр. 9. Л.1).

И хотя опубликована была, под названием «1921 год», только часть книги Шульгина «На Босфоре» (она и печатается ниже), внимательный читатель увидит в тексте и указания на подготовку к поездке и ее, так сказать, «идейно-художественное» обоснование. Очерки кончаются описанием Черного моря, по которому через несколько месяцев отправится белый десант... Кроме того, на всем их протяжении обсуждаются с разных сторон, с разными доказательствами (в том числе и от противного) идеи активной антибольшевистской борьбы и поддержки ген П.Н. Врангеля. Глава «Из дневника моей соседки» в рукописи называлась «Галлиполийцы и пероты» (от Pera, главной улицы Константинополя). Шульгин прославлял офицеров, оставшихся в армии, его называли даже «монархистом-бонапартистом». Он считал П.Н. Врангеля последним законным правителем России и вел кампанию в его поддержку на страницах многих изданий: константинопольских «Зарниц», софийской «Руси», парижской «Русской газеты» (хотя здесь его позиция несколько расходилась с мнением редакции). Сам он прямо писал о публицистичности своих очерков: «Сначала там идет больше, так сказать, легкого чтения, а потом немножко тяжеловесной артиллерии (переписка друзей). Эти вещи усвояются совместно» (ГАРФ. Ф. 5974. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л.1). Одним словом, Шульгин выступал в амплуа страстного пропагандиста, практически партийного публициста; профессионального журналиста, через художественные образы проводящего свою политическую линию.

Ведя явную проврангелевскую агитацию, Шульгин в своих очерках касался всех событий 1921 г., так или иначе связанных с судьбой Русской Армии и уже упоминавшегося Кронштадтского мятежа (март 1921), который эсеры, возглавляемые в эмиграции А.Ф. Керенским, считали своим достижением. И политики былых «союзников» по Первой мировой войне, войска которых оккупировали Константинополь после поражения Османской империи. Французское правительство, первоначально оказывавшие материальную поддержку Врангелевской армии (за что, впрочем, реквизировало все корабли и имущество, вывезенное из России), с весны 1921 г. всячески стремилось расформировать армию. Европа всерьез боялась того, что врангелевцы, соединившись с турецкой армией Кемаля Ататюрка, захватят Константинополь.

Описывает Шульгин и положение дел в самой русской эмиграции. П.Н.Милюков в докладе «Что делать после Крымской катастрофы» (дек. 1920 г.) выдвинул так называемую «новую тактику»: левые кадеты отказывались поддерживать правительство П.Н. Врангеля и провозгласили курс на сближение с правыми эсерами. Январское «Совещание» 1921 г. организационно оформило это сближение, а милюковская газета «Последние новости» (1920-1940) всячески проводило идеи «новой так-

тики» в жизнь... П.Н. Врангель же выдвинул идею своего правительства, организовав так называемый «Русский Совет» (апр. 1921), в который вошли и военные и штатские лица (в том числе и Шульгин)...

То есть «1921 год», как и предыдущие произведения Шульгина, — летопись важнейших политических событий, которым писатель был свидетель. Но не только политических. Все происходящие события (за исключением открытия «Русского Совета») описываются опосредованно, через восприятие рядовых беженцев, их разговоры, настроения, размышления. Беженская жизнь русского Константинополя — основной предмет изображения Шульгина. И — не побоимся этого слова — действительно блестящего изображения.

Центральная улица европейской части города, легендарная Пера, заканчивающаяся Галатой, его торговой частью... Непрерывный поток автомобилей, яркие витрины магазинов, толпы народа... Турки, греки, французы — и среди них русские беженцы, которых, как утверждает Шульгин, можно узнать сразу... Они обивают пороги посольства, выпускают газеты, работают в кафе, ресторанах и барах, служат шоферами, чистильщиками сапог, продают книги и открытки... Все это точно, подробно, с драгоценными деталями описывает Шульгин. И рестораны, и мансарды, и двор посольства, и съемные квартиры, и лестницы...

За инициалами, краткими именами скрываются реальные люди, описываются реальные судьбы. Так, Н. Н. Ч. — публицист Н.Н. Чебышев, издававший проврангелевскую «Великую Россию» в Севастополе, глава «Бюро русской печати» и соиздатель еженедельника «Зарницы» в Константинополе. «Моя соседка» — очевидно, Мария Дмитриевна Седельникова, дочь генерала и будущая жена Шульгина. Многолетним парижским адресатом Шульгина был бывший русский посол В.А. Маклаков, с 1917 г. живущий во Франции. Не эта ли переписка послужила основой для главы «Из переписки друзей»? «1921 год» — настоящее свидетельство современника, исторический документ, «мемуар», по словам самого Шульгина. Вроде воспоминаний и рассказов о русском Константинополе, оставленных А.Т. Аверченко, И.Д. Сургучевым, А.Н. Вертинским, Дон-Аминадо, Н.Н. Чебышевым, П.Д. Долгоруковым, Н.В. Савичем...

Но Шульгин выходит за рамки мемуаров. И город, и люди под его пером — оживают. Замученные, растерянные, опустошенные войной беженцы, страшные бедствия, выпавшие на их долю... Их отчаяние, готовность покориться — и, напротив, мужество, чувство товарищества, умение противостоять истории. Истории вообще. Судьбе вообще. Это книга о человеке в истории, смятом историей и противостоящем истории. Это книга о страдании — вообще.

...Да, русские люди, на константинопольской мансарде, в начале 1921 года... Без отечества, без денег, без сил... Пьют, поют, плачут, надеются... Но почему так знакомы их интонации, почему так понятны их чувства, так отчетливо слышны голоса...

Шульгин был и политиком, и мемуаристом, и писателем. Но не пора ли переставить определения? Писателем он был прежде всего. И прекрасным писателем. «1921 год», ныне возвращающийся к отечественному читателю, — еще одно тому подтверждение.

Е. А. Осьминина

1921 год

Глава первая. «Что делать?»*

Вступление

Это было «между Европой и Азией», это было почти в Евразии, проще сказать, — это было на Босфоре...

Всю эту ночь, т.е. ночь на 1 января 1921 года, сирены в сплошном тумане ревели славу «русскому» Новому Году. Теперь туман смылся, взошло солнце, и было очень красиво. Кто видел Константинополь — тот это знает...

* * *

Вчера мы пришли из Галлиполи. Пассажиров всех национальностей сейчас же спустили на берег. Русских нет, ибо для русских — особый закон... Что же, это естественно. Ведь мы, — действительно особый народ: без отечества, без подданства, без власти, — которая могла бы за нас отвечать или за нас заступиться. Собственно говоря, мы — «вне закона».

* * *

Кроме — законов природы. Закон же природы таков, что это великолепное зрелище — между Европой и Азией — действует на нас, русских, ничуть не меньше, чем на французов и англичан, которые присвоили себе этот пролив... А может быть, и больше...

«Проливы»...

«Как много в этом слове для сердца русского слилось».

* * *

Как, в сущности, это все мало продумано! На что нам эти проливы? Что бы мы с ними делали? И как бы мы их «удержали»?

Пришлось бы занять Константинополь, то есть навязать себе вражду со всем мусульманским миром. К чему? В России двадцать миллионов мусульман, мы с ними очень хорошо уживались... Так нужно поссориться?

Надо идти назад. «Турция для турок» — вот заповедь для будущей русской политики.

* * *

«Крест на Ай-Софию!..»

Вот она, Ай-София... красивая пирамидообразная громада, — тяжелая среди ажурного стремления минаретов...

На ней нет креста...

Но ведь крест нельзя водружать мечом. Христианство не ислам.

---

* Все названия газет, учреждений и т.п. оставлены в авторском написании. — *Ред.*

* * *

Не будучи философом, философствуешь, когда «мысль парит» над этим городом. Вспоминается: «по делам их узнаете их»...

* * *

Вот — «дела».

Когда сто тысяч русских упало на Константинополь... жалкие, голодные, больные, с бледными женщинами и умирающими детьми...

Кто оказался больше христианами по отношению к ним? Христианская ли Пера и Галата, одуревшая от фокстрота, или этот исламийский Стамбул, сгрудившийся около древней Ай-Софии?

* * *

«По делам их узнаете их»... Увенчанный полумесяцем Стамбул на заре XX столетия, может быть, ближе к Христу, чем оскверняющая крест Пера и Галата...

* * *

Эти бессвязные мысли бежали. На азиатском берегу, высоко на горе, было очень большое здание — желтое, но казавшееся красным от солнца. Я насчитал несколько сотен окон, у меня зарябило в глазах и стало тошнить...

Это от голода. Мы не ели уже двое суток. И совершенно неизвестно, сколько еще времени французы будут заставлять нас любоваться красотами Constant... натощак...

Что делать?

* * *

Что делать?.. Этот вопрос висит над этим необъятным городом. Что делать с ним, с Константинополем?..

О Константинополе, впрочем, можно было бы и не думать: пока он вне нашей компетенции.

Но я знаю, что об этом все же думают некоторые русские и довольно оригинально: они мечтают, чтобы его «взял» Врангель и «отдал» Кемалю.

* * *

Но не в этом дело. Не нам заниматься теперь такими вопросами.

Что делать нам самим, русским, этой мятущейся стихии, словно снегом запорошившей берега Босфора. Этот вопрос висит над каждым из нас и над всеми вместе.

Тревогой и страданием вычерчены эти слова там, на голубом небе:

— Что делать?

* * *

Те, что там, в Галлиполи, или на Лемносе, или в Четалджи, — словом, «в армии» — те знают.

Они лишили себя свободы и тем освободились... Освободились от забот.

У них один долг и одна обязанность — повиноваться...

Они избрали благой путь: они веруют.

Они верят, что единая воля и единый разум лучше выберут путь, чем беспорядочные усилия разрозненной массы... Они верят, что этот путь, намечен-

ный их Главнокомандующим, они, армия, проложат своим тяжелым весом, потому что все вместе — они сила, они — масса, они — глыба...

Им трудно, но им беззаботно. Все заботы о будущем переложены на маленькую яхту, которая приютилась вот там, где-то за поворотом Босфора.

Выдержит ли «Лукулл» этот груз?..

* * *

Но остальные?.. Не галлиполийцы, не лемносцы, не армия — словом, все те, кто не захотели или не могут быть в рядах.

Над ними неотступным вопросом висит «что делать?» Над каждой русской снежинкой, мятущейся по Константинополю, вьется неотступным москитом этот жалящий вопрос...

* * *

Я знаю, что делать! По крайней мере, что делать — мне, в данную минуту!

Кругом парохода снуют «кордаши», босфорские лодочники. Один болтает у трапа. Надо воспользоваться этим... Довольно в самом деле, «попили французы нашей кровушки»... Сбегу на берег!

* * *

Сбежал... на сегодня вопрос, что делать, разрешен: надо найти себе ночлег и приют в этой огромной абракадабре, которая называется Константинополем, другими словами, надо прибиться к какому-нибудь из друзей...

Уходящие

«Я живу в посольстве». Это пишется гордо, но выговаривается несколько иначе. Точнее — я живу у бывшего члена Государственной Думы Н. И. Антонова, который в свою очередь живет у генерала Мельгунова, а генерал Мельгунов живет у генерала Половцова, а генерал Половцов, собственно говоря, живет в посольстве, получив разрешение от посла А. А. Нератова... Но теперь это так принято — «дедка за репку, бабка за дедку»...

Итак, послы и посольства существуют... нет только державы, от которой они посольствуют...

* * *

Спал я очень хорошо. Без простыни и подушки, но теперь это тоже в высшей степени принято.

У меня, слава Богу, никаких вещей нет. И это тоже «очень прилично»... Неприлично иметь что-нибудь.

* * *

Утром я был еще в постели. Генерал Мельгунов уже встал и брился, а Николай Иванович одевался, когда пришел А. С.

Он уселся на диване, в пальто, держа тросточку в руках, и завязался один из тех разговоров, которые сейчас ведутся.

Он: Я глубоко уважаю барона Врангеля! Но послушай! Его антураж! Это что-то невозможное! Эти люди! Я не знаю! Может быть, я ничего не пони-

маю... Но это они погубили, они! Когда вы делали «правыми руками левую политику»...

Я: Отчего ты говоришь «вы», а не «мы»?

Он: Потому что я в этом никакого участия не принимал! Извини, пожалуйста!..

Я: Но ведь и я тоже. И все-таки я думаю, что надо говорить «мы».

Он: Это почему?

Я: Потому что все качества, которые были причиной... они наши общие... И если бы ты и я принимали участие... то, может быть, было бы только хуже.

Он: Ты так думаешь?

Я: Я так думаю... И очень давно так думаю... Потому что... Потому что все мы очень хорошие люди, очень милые, очень деликатные, очень воспитанные, но властвовать мы не можем... Старый режим пал не почему иному, как потому, что мы уже не могли быть властителями! Конечно! Разве ты не замечал, разве ты не видел?.. Вот, например, в прошлый раз, когда мы собрались както... ну, комитет какой-то...

Он: Неудачно! Это верно! Это не то!.. да, ты прав! Это не то!

Я: Это не то, потому что мы не те... Не те, что надо...

Он: Ну, допустим! Допустим, ты прав! Какая же причина?

Я: Причина простая: греческое слово «abulia»... Это значит — отсутствие воли... атрофировалась воля. Что такое знаменитая русская застенчивость? Это и есть отсутствие воли... Волевой человек не может быть застенчивым. Волевой человек постоянно принимает решения... Постоянно... В каждую данную минуту... сказать слово... вмешаться... потребовать... настоять на своем... А застенчивый — жмется под стенку...

Он: Что же мы, трусы, по-твоему?

Я: Ничего подобного! Наоборот! Застенчивость очень легко совмещается с героизмом. Я много видел таких, которые были удивительны под пулеметами и крайне робкими в обращении с людьми... Много таких русских, которые герои в смертном бою, а в обыкновенной жизни — подстеночники...

Николай Иванович: Это верно. Это правильное наблюдение. По-видимому, надо признать, что ежедневное, ежеминутное напряжение воли — это нечто иное, чем вспышки, порыв. Порыв — это даже отрицание воли. Порыв нужен тому, у кого нет воли...

Я: Государь наш был болен тем же. Он умер героически.

Он: Несомненно! Еще бы!

Я: Он был непреклонен в основном, там, где требовался героизм. В Его решении не покориться немцам. И это Он запечатлел героической смертью. Но в обыденной жизни... Разве все не знают, что Он никогда никому не сказал неприятности в глаза... Он был застенчив. Он не мог раскричаться, рассердиться, заставить дрожать перед собой. Он был *застенчив на троне*. Это его и погубило. А с ним и нас... И мы такие же, как наш Государь. Умирать? Сколько угодно! Но без всякой церемонии убрать от государственного дела такого-то, не обращая внимания на то, что он «наш милейший и симпатичнейший», — на это мы не способны. Властители — иные. Они ступают по людям... Они побеждают. А мы? Мы умираем...

* * *

А. С. задумался на минутку. Потом:

— Ты знаешь, бедный Николай Николаевич...

— Что?

— Застрелился...

— Как? Отчего?

— Перспектива нищеты... ничего в виду... он уже давно был в меланхолии. Не выдержал бедняга...

* * *

Не выдержал бедный Николай Николаевич...

Ах, ведь он был символом...

Обломок прошлого... безусловно, порядочный человек — традиционно порядочный, «от старого» порядочный... Не способный к измене ни в каком виде... Добрый, страшно добрый... Человек, абсолютно лишенный честолюбия, тщеславия. Всегда готовый броситься на помощь ближнему или общему делу... Живо чувствовавший свою связь с государством, Россией, и какой-то свой долг перед нею... К тому же человек самобичующийся, вечно твердивший «я дрянь, я дрянь — ну, конечно!»... Это все потому, что какой-то остаток жизнерадостности иногда пробивался в нем...

Но никчемный был человек, дорогой Николай Николаевич, и путаник... Виртуозный путаник... При это он обладал «охотой к перемене мест».

Он вечно носился. Во время Великой войны он был уполномоченным Красного Креста. И вот он бешено вечно мчался по фронту, и ему, очевидно, казалось, что он делает дело... Не успев куда-нибудь приехать, он уже спешил в другое место... При этом даже то время, которое можно было урвать у него, проходило во всяких «переулочных» разговорах, а на главную улицу, на проспект, никак его нельзя было вывести...

За пять минут до отъезда начинались решаться дела, за которыми он собственно приехал. Разумеется, в диком сумбуре... Тут же писались какие-то документы, принималась отчетность, давались деньги... Последние самые важные указания давались уже сидя в автомобиле. Вдруг вспоминалось главное... Тут же на коленях раскрывались чемоданы, доставались печати, бланки...

Все это было если не хорошо, то, во всяком случае, кое-как шло, пока было свое состояние и свои автомобили... Недочеты покрывались из своего кармана, а за забытым делом мчалось вторично, за двести-триста верст, по бешеным дорогам, благо своя машина.

Но когда все это кончилось, революция поставила вопрос «сурово», — не выдержал Николай Николаевич... Он мог только метаться во все стороны, этим метаньем и хлопотаньем обманывая себя, что он делает дело. Но делать настоящего дела он не мог...

И вот кончил...

Он был символом этих милых, идеальных людей, выросших на старой хорошей еще тургеневской закваске, которые живо чувствовали свой какой-то долг перед Россией, но ничем не могли ей помочь, ибо были великими... «путаниками»...

Мир вам, милые «путаники»...

Вечная память...

Вечная, вечная память, ибо из вашей среды, из вашей глины, вылепились Пушкины, Тургеневы и Толстые, которые не умирают, ибо создали «жизнь бесконечную».

* * *

Во всяком случае, Николай Николаевич ответил на вопрос «что делать»... Он ушел.

Но мы, остающиеся, какой ответ дадим мы?..

Grand'rue de pera

На вопрос «что делать» очень хорошо отвечает Grand'rue de Pera...

Если пройтись по этой улице, можно приблизительно узнать, что уже делают некоторые русские в Константинополе.

Первое и, кажется, главное занятие — это ходить по улицам. Ведь русские вечно чего-нибудь или кого-нибудь ищут... Ищут пропавших жен и мужей, исчезнувших детей, сгинувших родных; ищут друзей или однополчан; ищут приятелей, которые могли бы занять денег; ищут занятий или должности; ищут, где можно подешевле или бесплатно пообедать; ищут пристанища, квартиры; ищут завести знакомства; ищут, где выдают пособия, костюм или вообще что-нибудь выдают; ищут, где «загнать» это что-нибудь выданное; ищут что-нибудь «вообще», сами не зная чего, — счастливого случая; ищут, чем бы обмануть голод, и, наконец, бесконечно ищут страну, которая согласилась бы дать «визу»...

Русских так много, что иногда кажется, что их больше всех... Конечно, это обман — просто они очень заметны... Конечно, их выделяет прежде всего внешность: несчастная военная форма, говорящая без слов о симфонии походов, или же «штатский» костюм, поющий «песнь торжествующей эвакуации»... Но и те, кому удалось раздобыться чем-нибудь более приличным, сохраняют свой особый отпечаток, по которому вы сразу узнаете русских.

Здесь в моде среди русских какое-то очень легкое пальто зеленого цвета, такое легкое, что его с первого взгляда можно принять за шелк, но со второго определяется, что на шелк совсем не похоже... Эти пальто с поясами одинаково носят мужчины и дамы, причем у молоденьких женщин это выходит довольно «тонно»... К этому обязательно должен быть шарф, обязательно полосатый, обязательно синий с белым или черный с белым... Шарф «изящно» обкручивается вокруг шеи, причем один конец запускается за пояс, спереди, а другой забрасывается «грациозно-уверенным» жестом за спину. На голове («головке») какая-нибудь маленькая шапочка, чаще вязаный шелковый колпачок, именуемый здесь «чулком», иногда повязка из платочка... Зеленое пальто, полосатый шарф и «чулочек» — эта форма, которую создали себе русские беженки и которая избавляет их от многих затруднений: сразу видно — русская, для которой, значит, законы не писаны... В таком виде они беспрестанно мелькают среди толкотни на Пера, а эта улица своей стремительной гущей порой доходит до интенсивности скетин-ринга на Марсовом Поле в Петербурге в воскресный день. И их почти так же легко узнать среди всей остальной толпы, как бродящих гаремными стайками женственных турчанок. Турчанки являют непривычному глазу диковинную

смесь монашествующего шелка с ажурными чулочками... Эти последние весьма определенно кокетничают из-под модных коротких юбок. Это, пожалуй, естественно, раз лиц им не позволяют открывать...

Я, впрочем, не позволил бы себе коснуться этого предмета, если бы это не играло такой роли в Константинополе в 1921 году, — я хочу сказать не о чулках, а о ногах...

Бог его знает — по какой причине, но некоторые национальности на Балканах (не турчанки) не могут похвастать красивыми ногами, очень они уже серьезной комплекции, точно «ножки рояля»... Существует даже ученая теория, что это... «наследие веков»; да, последствие тяжелого физического труда — ношения тяжестей. Может быть... факт тот, что русских узнают сразу, если не по лицу, то по ногам... И Бог мой, как они этим гордятся!.. Так гордятся, что даже это стыдно. Ибо следовало бы помнить, что, кроме Балкан, существуют и другие страны. И что великой нации надо равняться по внутренним апартаментам цивилизованного мира.

* * *

По существу же, когда русские беженки толкаются по улицам Константинополя — это зрелище довольно жуткое...

Прежде всего, вы чувствуете, что они, русские, какой-то другой породы, чем все остальные. Сами про себя они думают, что они более «утонченны», но еще правильнее было бы сказать, что более изнеженны... У них тонкие, слабые кости и безмускульное тело... «Культурная жизнь», т.е. отсутствие физической работы, наследственно ослабило их костяк (это и есть «утонченность»), но спорт, могучий помощник действительно цивилизованного человека, не дал им «благоприобретенных» мускулов. Цивилизация их коснулась только одним крылом. Они научились играть на роялях, знают языки, как ни одна нация в мире, читала каждая русская столько, сколько не прочли все константинопольские дамы вместе взятые. Все они курят, иные много пьют, некоторые кокаинизируются, другие занимаются флиртом, и в таких видах и формах, какие не снились старым культурным расам, флирт изобретшим... словом, в некоторых отношениях они, пожалуй, опередили все нации на, так сказать, «эстетно-любовном» поприще... Но ведь все это одно крыло культуры... Крыло, между прочим, разрушающее физическое здоровье, крыло, изнеживающее и атрофирующее наше тело, разбивающее нервную систему. Другое же крыло цивилизации, ее сторона целительная, оздоровливающая — спорт с его лучистой любовницей-природой, умеренный, правильный образ жизни, гигиена физическая и моральная — русской жизни почти не коснулось. Русские женщины этой стороны культуры не знали... Вот почему-то и жутко, когда они ходят тут по улицам, где их толкают, (а ведь они привыкли, что им уступают дорогу), жутко, потому что они не понимают этой толпы, а толпа — их... Они идут, хрупкие, слабые, неумелые, но презирают в душе эту толпу, презирают, потому что чувствуют у себя за плечами крылья... Они презирают этих тератеристых людей, для которых мало доступны «любовь, и песни, и цветы»... И не замечают, что толпа этих земных людей смеется над ними, ибо прекрасно видит, что у «русских чаек» только одно крыло за спиной, а вместо другого крыла смешной маленький зародыш... Смеется, ибо прекрасно знает своим «мещанским» чутьем, что для того, чтобы

лететь, нужно два крыла, и что пока этого второго крыла у русских не выросло, должны они вариться в «евразийской» каше полувосточного варварства... И нечего так важничать, что они знают Бетховена и читали Ницше. Этого недостаточно, чтобы владеть «проливами». Для этого надо иметь, кроме всего прочего, сильное здоровое тело и крепкие нервы... И нечего так гордится маленькими ножками, а надо больше стыдиться своих сутуловатых от слабости спин, безмускульных икр, бессильных рук и, прежде всего, стыдиться своих отцов и дедов, которые были вечно заняты «оздоровлением всего мира», а собственного здоровья и здоровья своего знакомства уберечь не смогли... А затем и больше всего надо стыдиться своих детей, если они физически так слабы, что древние римляне сбросили бы их с Тарпейской скалы. Ибо наступили суровые времена, более суровые, чем времена «борьбы патрициев с плебеями»...

Вот что говорит тератеристая толпа Перы, если расшифровать ее «перистый» язык...

* * *

Впрочем, я вовсе не это хотел сказать. Трагедия для меня — мужские русские лица.

Мужские русские лица, на мой взгляд, отличались от мужских лиц больших наций Европы своим, как это сказать, расхлябанным выражением... Это «несобранные» лица. Мускулы лица у нас всегда как-то распущены, в то время как в истинно европейских лицах мускулы подтянуты. Это выражение происходит от постоянного напряжения воли. Человек, постоянно делающий волевые усилия, постоянно «собирает» свое лицо — так, как под мундштуком «собирается» лошадь... Маска «собранного лица» — признак долговременных усилий воли.

И вот я вглядываюсь в русские лица, силясь понять, что с ними сделали бедствия гражданской войны. Есть ли теперь на них, столько перенесших, «печать воли»?

Увы...

Горько мне это сказать. Печать я вижу... Но только...

Как это сказать? Чтобы это было не так жестоко...

На многих лицах видна «печать страдания»... Но насчет «воли» — увы...

Правда, есть лица, которые «собрались»... Но «как» собрались?

Жутко собрались... Не так, как собирается цивилизованная лошадь под мундштуком — орудием культуры... А так, как тот степной конь, той страшной ночью, когда перевалил дикий горный хребет человек «Страшной мести»...

Вы помните Гоголя?

Вдруг «собрался» конь... повернул голову к всаднику... посмотрел ему в глаза... и засмеялся...

Вот этой оскаленной дико-конской улыбкой смеются теперь некоторые русские...

О, у этих лица — «собранные»!..

* * *

И только иногда в глаза бросится благородное лицо, на котором мучения походов и эвакуаций провели не борозды отталкивающей злобы, а выгравировали красивый рисунок воли...

Это лица истинных патрициев... И хотя бы они были сейчас последними, они будут первыми...

* * *

Бросим эти высокие и тяжелые материи... Пойдем по Grand'rue de Pera и будем читать вывески... Нет, не пугайтесь: только русские...

Начнем от «Тоннеля»... Тоннель — это Альфа... Сюда окончательно офокстротившаяся Галата (она там внизу) ежеминутно при помощи подъемного трамвая выбрасывает сотни людей, спешащих в Пера... Прежде чем идти дальше, купите газету у этих молоденьких женщин — это русские... Какую газету? Она сама вам даст...

— Вам «Общее Дело»?..

— Да... но как вы знаете?..

— О, это видно!.. По лицу!..

Ну, вот видите... Она прекрасно знает, что мы читаем только Бурцева, а милюковские «Последние Новости» в руки не берем, что, между прочим, напрасно, ибо надо знать, какую очередную гадость про Врангеля и Армию он написал.

Так и есть! Ну, ладно — сочтемся когда-нибудь.... Вы любопытствуете, какие вообще русские газеты существуют... Вы будете наказаны, потому что я сейчас заставлю вас прочесть одну справку, которую прислал мне один писатель, известный писатель, который был, ну, я не знаю чем, ну, словом, — «социалистом», а теперь стал монархистом и... Впрочем, вы сами увидите — читайте...

«Вот что и кем издается теперь в важнейших центрах Европы, представляя замученную, окровавленную Россию.

В Праге «Воля России» — Минор и Ко.

В Праге «Правда» — Гиклстон и Ко.

В Берлине «Голос России» — Шклявер.

В Берлине «Время» — Брейтман.

В Берлине «Руль» — Гессен и Ко.

В Берлине «Известия» — Конн.

В Берлине «Родина» — Бухгейм.

В Берлине «Отклики» — Звездич (еврей).

В Риме «Трудовая Россия» — Штейбер.

В Париже «Последние Новости» — Гольдштейн.

В Париже «Свободные Мысли» — Василевский (еврей).

В Париже «Еврейская Трибуна».

Вот представители русской национальной идеи заграницей: Шклявер, Брейтман, Гольдштейн, Бухгейм, ни одного чисто русского имени. А если оно кое-где в составе редакции и встречается, как, например, в «Руле», то кадет П. И. Новгородцев стыдливо прячется где-то, а у руля русского корабля садится все-таки еврей — Гессен. Томящаяся вдали от Родины русская эмиграция — это по преимуществу национальная и государственная часть русского культурного общества, а обслуживают ее преимущественно евреи и социалисты. Евреи и социалисты имеют преимущественное право быть представителями погубленной интернационалом России...

Неужели же это недостаточно красноречиво, русские люди?»

Вы хотите знать, что я об этом думаю... Вот что... Всему «приходит час определенный»... Мне кажется, он, этот прозревший писатель, опаздывает на много лет. В 1905 году все политическое еврейство было едино в своей ненависти к исторической России. Тогда мы с ним боролись безраздельно, огульно, ибо они сомкнули свой фронт. Но уже во время мировой войны положение изменилось, и надо было себе сказать: «есть еврей и еврей»... Теперь же, когда большевики выучили многих, надо в особенности остерегаться обобщений... Иная слава Троцкому, иная слава Винаверу, иная слава Пасманнику... Да... Я куплю вам «на последнюю пятерку» первые фиалки у этой хорошенькой девочки... Она — русская, т.е. я хотел сказать... она русская еврейка... Чего она здесь? Вы думаете, она любит большевиков? Она ненавидит их больше, чем мы с вами, потому что она страстнее вас по природе своей... Но все равно... пойдем дальше...

Хотите русскую прессу? Ну, вот вам...

Видите — шикарная витрина, где портрет генерала Врангеля и великолепная карта (по старо-осважной привычке)... Раньше на этих картах отмечали фронт. Теперь отмечать нечего. Впрочем, вы можете изучать современную карту Европы, все новые государства, образовавшиеся на развалинах Австрии и России... Тише. Я скажу стихотворение в прозе...

«Вы жертвою пали в борьбе роковой... Двуглавые Орлы!.. наследие Византии! Вы разорвали друг друга в клочья, а мы... мы перышки орлиных крыльев, занесенные бурей... Мы окровавленный пух... Мы — последний привет городу Праматери. А ты, наследие Рима! Одноглавый Орел! Ты еще держишься, еще жив, но тебе обрезали крылья... А над миром властвует конкубинат Льва и Женщины... Льва и женщины, укрытых полосатым покрывалом... Полосатым покрывалом с Тридцатью Девятью Звездами... И это так, и это не иначе. Но никто не знает, что скажет великое, всесильное, торжествующее «Завтра»...»

Словом, мы стоим перед витриной Bureau de la Presse Russe. Во главе бюро стоит Н. Н. Чебышев — memento «Великая Россия» в Севастополе... Вы можете прочесть «бюллетень», а кроме того, сообщается вам, что будут скоро издаваться «Зарницы», еженедельник...

«Не бойся ночи. Огни, мелькающие с неба, то здесь, то там, — отражения отлетевшей от земли ничем неистребимой духовной мощи, зовущей тебя в темноте, к далеким, великим целям... Это зарницы... Это может быть заря»...

Это из первой статьи первого номера... Читайте нас, пожалуйста, не браните очень, потому что... Потому что, видите ли, раньше мы звенели миру «под лиру», а теперь будем бренчать «за лиру», а это разница... Я хочу сказать, что гонорары «Зарниц» пока единственный источник существования, который намечается... Если хотите почистить обувь, то вот чистильщик...

— Combien?

— Пять пиастров будет стоить...

— Вы русский?

— А как же... тут на этом углу все чистильщики — русские.

— Как же вам приходится?

— Да тут вроде, как не поймешь... всего бывает... А скоро в Рассею?

Ну вот, теперь вы знаете, о чем думают русские чистильщики сапог. Если вы хотите знать, что русские читают, кроме газет, то вот русская библиотека. Там вам скажут, что Андреева и Горького не читают, а вообще больше всего читают классиков, а из классиков больше всего Достоевского. Если же вы хотите есть, то вот направо русский ресторан «Яр»... Видите, плакат: «Уютно. Весело. Зал отапливается. Обед из двух блюд — 60 пиастров»... Нет, знаете, мы лучше когда-нибудь придем сюда вечером: здесь цыгане — Суворина, Нюра Масальская...

— Как, вы любите цыган?

— Господи, ведь нет ничего более русского, чем цыгане... Вы знаете, что такое «евразийство»?.. Евразийство — это помесь Европы и Азии — это мы... Европа создала шантан, Азия создала — гарем, а мы создали — цыган... И если вы не знаете, какая разница между цыганкой и шансонеткой, то вы никогда не поймете Достоевского... А я вам говорю, что если я когда-нибудь прийду в отчаяние и захочу плакать по России великим плачем, неутешным, неутолимым и последним, то не надо мне ни Бородина, ни Корсакова, ни даже Глинки и Даргомыжского, а вот — цыганок...

«Спойте мне, спойте песню родимую...
Песню последнюю, песню любимую...»

С ней и уйду...

* * *

Осторожнее. Здесь могут раздавить — слишком узко. Напротив Русское консульство. Если мы зайдем туда — все равно не выйдем. У вас и у меня будет столько знакомых, что нет спасения. И все будут спрашивать одно и то же: скоро падут большевики? Тоже не имеет смысла сниматься у этих уличных фотографов. Мы ведь пока не хлопочем виз...

Вы хотите купить эту гигантскую открытку. На что вам какая-то ангорская кошка? Только русские могут покупать такие вещи!.. У нее печальные глаза? А, Господи... Мало вам еще печальных глаз...

Опять же в эту уличку налево заходить не надо: бар на баре — ну, словом, — это для американских матросов...

Давайте лучше — взгляд направо: улица вниз, очень крутая и узкая, — от стены к стене переброшен плакат: «Русская Морская Аптека» и «Русский Кооператив». Кооператив, действительно, здесь (это улица Кумбараджи), а Морская Аптека... Морская Аптека составляет часть поликлиники, которая не здесь, которая приютилась в самом котле Галаты, где среди совершенно одуревших от фокс-тротта кабаков вы найдете Андреевское Подворье... Там и поликлиника. Там много русских врачей, и хороших врачей. Здесь — ценят наших врачей...

Тут на углу Кумбараджи и Пера неизменно стоят два русских офицера — один постарше (наверное полковник) кричит:

— Presse du Soir!.. Сегодня фельетон Аверченко!

А другой, помоложе, наверное поручик, продает цветы...

* * *

Ну, — дальше по Пера... Направо еще русская библиотека и еще ресторан «Медведь», ничем не напоминающий своего петербургского тезку. Против

«Медведя» еще ресторан — «Кремль». У «Кремля», на тротуаре, продают русские книжки — всякие, поддержанные, — все, что хотите, и масса новых изданий старых авторов. Подождите, я вот только куплю вот эту маленькую книжку и прочту вам несколько строчек:

«Ах ты, гой еси, Киев, родимый наш град,
Что лежишь на пути ко Царь-Граду.
Зачинали мы песню на старый лад,
Так уж кончим по старому ладу...
Ах ты, гой еси, Киев, родимый наш град,
Во тебе ли Поток пробудится не раз,
Али почвы уже новые ради
Пробудиться ему во Царь-Граде?»...

Конечно, во Царь-Граде!.. И именно теперь... Кто знает, может быть, он уже и проснулся и ходит вместе с нами... Вот насмотрится...

* * *

Пойдем дальше...

Это вход в Русское посольство. Поэтому здесь протолпиться нельзя. Гуща из входящих и выходящих и мешающих выходить заполнила тротуар. Полиция делает попытки:

— Passez, messieurs!.. Circulez, messieurs!..[1]

Но русские — всегда русские. Им и здесь непременно надо устроиться так, чтобы мешать уличному движению. Впрочем, что сейчас с нас требовать...

Войдем...

Человеческая гуща. Каша, в которой преобладает грязно-рыже-зеленый цвет русского англохаки... Солнце светит и греет сегодня. Слава Богу. Этой иззябшей и полуголодной толпе нужно тепло.

Кого тут только нет, в этом дворе!.. Осколки Петрограда, Москвы, Киева, Одессы, Ростова, Екатеринодара и Севастополя...

Здесь клуб на свежем воздухе... Здесь можно встретить кого надо... И все те же лица, которые давно уже мелькают на экране русской жизни...

Все те же... Combinaisons, permutations, arrangements...[2] Все те же, что еще с незапамятных времен так или иначе крутили русскую политическую алгебру. Вокруг них толпа более или менее политически «безымянная». Но сколько дорогих «имен» для каждого в действительности. Как много и как мало... Скольких нет...

Посольский двор силится сохранить свои традиции элегантности... Но новая жизнь, стиль — refugies russes[3] или «мир голодных буржуев» — ломает старые рамки. И какой-нибудь из истинных представителей старо-дипломатического сословия, моноклизированный и гантированный в стиле «Georges», мог бы с известным правом прокартавить:

---

[1] Проходите, господа!.. Не задерживайтесь, господа!.. *(франц.)*

[2] Согласования, перемещения, соглашения...*(франц.)*

[3] русские беженцы *(франц.)*

— Послушайте... не делайте, enfin, как это сказать? «дом Отца моего домом торговли»!..

Торговля идет во всю... Можно сказать, что от четырех сословий российской Империи, соответствовавших четырем кастам древнего востока, осталось одно: торговое. Торгуют здесь все и всем. И даже чаю можно выпить... Самовары стоят по обе стороны ворот, как львы сторожевые. Самовары, в Ambassde de Russie! О, mon Боже!..

* * *

Дальше...

Дальше еще русский ресторан... «Золотой Петушок», «Гнездо Перелетных Птиц», «Большой Московский Кружок», «Русский Уголок», «Киевский Кружок» и еще там — всякое... Весело от русских вывесок! А вот на этом доме, ночью, на стене, бывают световые эффекты в русском вкусе.

«Водочный завод бывшего поставщика Высочайшего Двора Петра Смирнова с сыновьями». Требуйте везде столовое вино № 2 и Смирновку № 40...» И т.д.

И требуют... Пьют водку в Константинополе жестоко...

«Родное нам вино
Петра Смирнова...
Когда ты пьешь его,
Захочешь снова...
Всегда свободно и легко
Я водку пью, а не Клико...»

Это переделка французского солдатского вальса (un petit verre de Clicot[4]), я вспоминаю эту тошнительность, когда русские «тоску по водке» почти отождествляют с «тоской по России»...

* * *

Осторожно. Здесь так называемый — «сумасшедший угол»... Тут если вас не разъедет автомобиль, не раздавит трамвай, то просто затолкают... На самом углу цветочный магазин... Нет, он не русский... Но какая прелесть...

Пустяки, что нет ни пиастра в кармане... Разве нужно непременно взять в руки эти цветы? Да и если бы и были деньги, ну, сколько бы я их взял?.. Ну, в крайности, букет, который сейчас бы и отдал кому-нибудь... А все эти неистовства красок, форм и аромата ведь не возьмешь же себе в квартиру. Да и нужно ли это? Только голова бы болела. Вся эта красота и так — моя. Никто не может отнять у меня права всякий раз, когда я захочу, прийти сюда — «столбить» около этой витрины... И тогда они — мои... Мои в тысячу раз больше, чем той добродетельной бездарности или шикарной кокотки, к которой их понесут. Разве они могут их понять?..

Как глупы завистники! Как они не понимают, что через зеркальные витрины можно пользоваться предметами роскоши, «назначенными для богатых», гораздо более, чем пользуются ими сами богатые... Все зависит от «силы ощущения»... Я иду по Пера и чувствую: все, что здесь доступно оку — цветы,

[4] стаканчик «клико» *(франц.)*

картины, драгоценности, — мое... Я ими «любуюсь!» Но что же больше можно делать со всеми этими objets d'art?[5] А ведь «произведения искусства» и составляют сущность современной «роскоши»...

Ах, те, кто не жил в Совдепии, этого не поймут... Они не поймут, какое лишение, какая грусть, какая тоска, когда исчезает эта «уличная роскошь». Когда умирают эти сверкающие витрины, сквозь которые «песнь торжествующей красоты» звучала ежедневно всем и каждому — до последнего бедняка. Только, когда их нет, начинаешь понимать, что их отняли, не только у тех, чью собственность они по закону составляли, а их отняли у всех — у каждого прохожего, что ими любовался.

Работайте же «делатели красоты», работайте, чтобы она была, — красота, чтобы она не исчезала... Заливайте витрины этого и всех городов мира «роскошью», чтобы мы, бедняки, могли жить среди нее. А кому она пойдет — «в квартиры» — это не важно... Если находятся самоотверженные люди, которые расходуются на то, чем мы любуемся даром, — это их дело — смешняков... Скажем им спасибо — они платят за нас!

* * *

Пойдем дальше... За «сумасшедшим углом» русский продает акварели... Как много оказалось среди русских хорошо рисующих... Но почти все с выкрутасами — «ищут новых путей»... Здесь им пришлось подсократиться... Рисуй, чтобы было понятно, — во-первых, а кроме того «попикантнее». Напротив русская барышня продает какая-то диковинные брошки, ручная работа шелком, иногда просто художественная... Рядом, разложивши книги на подоконниках, — офицер торгует русско-эмигрантской литературой. Дальше шикарный русский ресторан «Паризиана». Здесь любят бывать иностранцы. Здесь... впрочем, помолчим... Напротив — наискосок, еще русский ресторан, «Америка». И еще один русский рест...

— Нет, довольно, — я не могу больше! Я хочу есть, наконец!

— Но это — дорогой...

— Все равно! Надо же в самом деле все узнать!.. Вот Поток-Богатырь — он, наверное бы, знал...

— Ну, была не была, — зайдем!

* * *

Маленькие столики... белоснежные скатерти... цветы. Хорошенькие барышни с белыми повязками. В черных шелковых платьях. Красиво, «тонно», дисциплинированно...

Да, барышня очень мила и входит в наше положение... Она деликатно предлагает нам то, что мы можем выдержать. Цены убивающие...

Вам нравится? Да, иностранцам тоже... Вы говорите: приятно, что так прилично. Да... да... Я скажу только один секрет... Если иностранцы начинают меньше посещать ресторан, кое-кому из этих барышень отказывают от службы. Да. Да... Конечно, самые хорошенькие русские женщины — в ресторанах. И самые здоровые... слабые — умерли...

---

[5] произведения искусства *(франц.)*

Ну, вот — ваше здоровье! Смотрите в окошко. Видите там, на этой стороне, оригинальная фигура. Женщина средних лет в тяжелой обуви с палкой, а на груди вывеска. Да, — объявление... Эта дама — ходячая контора по найму квартир. Это на ней и написано. Если вам нужно квартиру, она сейчас же вас сведет... И берет 30 пиастров «за указание» и 10%, «если наймете...» Эта дама — русская... Это княгиня N. Ее муж — князь N, генерал русской службы... ничего — она бодра... и даже весела... твердый характер...

Вы спрашиваете, не подает ли нам какая-нибудь графиня X? Может быть, но вряд ли... Русские аристократки редко бывают «хорошенькими». Изящными, утонченными, distinguées[6] сколько угодно — но «хорошенькими» — увы! Это, между прочим, одна из причин, почему погибла Россия... Не смейтесь — в понятие «хорошенькости» входит здоровье и свежесть. Если этого нет, болен и дух. Так и случилось. Больная, а потому «не хорошенькая» русская аристократия была слишком слаба, чтобы удержать власть. Вот посмотрите — на этой стене картина Маковского. Там изображены русские красавицы XVI или XVII века... И до сих пор, когда мы говорим о «русском типе», мы представляем себе вот этих чудо-здоровых девушек. Кто они по социальному своему положению?.. Это аристократия — это «боярышни»... Их отцы и братья, которые, как и они, — «кровь с молоком», сколотили Царскую Россию... Их сыновья и внуки сколотили Императорскую. А затем произошел крах... О, задолго до революции, не только второй, но и первой!.. Революции были следствием этого краха... Революции произошли оттого, что «чудо-здоровых» боярышень Маковского не стало... Их заменили чахлые, выродившиеся женщины, в которых не осталось и тени Маковского... Вы говорите, что так и должно было быть: это следствие цивилизации! Нет, так не должно быть. *Здоровая цивилизация не разрушает сделанного прежними веками.* Она совершенствует... Арабская лошадь была прекрасна. Но англичане, окультурив ее на европейский лад, сделали из нее скакуна — превзошедшего властителя Сахары. Если бы боярышень Маковского утончить и «онервозить», но сохранить им здоровыми сердце, легкие, желудок и зубы, то получился бы новый тип — но тип красоты, а не вырождения... Если хотите, такой тип даже есть. Вот на другой стене вы увидите «жеманности Соломко», которые и представляют собою «опариженную» Московщину... Вы можете находить «конфетным» этот тип, но скажите, видели ли вы когда-нибудь «красавец» в Москве или Петрограде? Я что-то не замечал... Их скорее можно встретить в мещанских предместьях провинциальных городов. В столицах же вы увидите только больных, угасающих... Но если красота переселилась в мещанство, как вы хотите, чтобы не было социальной перестановки?.. Во главе наций должны стоять лучшие.. *Больные не могут быть лучшими*... Если класс властителей заболевает, то... vae victis!..[7]

— Значит, революция была неизбежна?

— Ее можно было бы избежать, если бы правящий класс смог усилить свои ряды... То есть путем эволюции. Это не удалось. Очень нужно подумать: отчего не удалось? Если не удалось, несмотря на то, что обновляющие элементы были в стране, то воскрешение вопрос времени... Новые здоровые роды,

[6] изысканные *(франц.)*

[7] горе побежденным *(франц.)*

перемешавшись со старыми, образуют известный melange, который даст новую аристократию. Если же не удалось потому, что «обновляющие элементы» были еще менее стойки, чем старые, еще скорее разрушались под дыханием цивилизации, то дело хуже. Это будет обозначать, что русская раса не выдерживает прикосновения культуры, не ею созданной...

— Как же быть?..

— Если это так, то произойдет, вероятно, сильное нагнетание в русскую расу западной крови, более стойкой к цивилизации... Вероятно, немцы...

— Боже мой, какие страшные вещи вы говорите!..

— Очень... А не страшно разве, когда цивилизация так действует на людей, что внушает им одно желание уничтожить эту цивилизацию?! Сто лет русский культурный класс боролся за то, чтобы уничтожить культуру...

— Как?! Он боролся, наоборот, за то, чтобы скорее пришла эта западная культура.

— На словах! Западничество, в том числе и социализм, было только выражением «ненависти русских к своей власти», к той власти, которая единственно насаждала в России культуру. Бороться с этой властью — это значило «работать на дикость». Но если «культурные» русские так ненавидели свою просвещенную власть, значит, им было плохо оттого, что их из дикарей сделали полу-европейцами... И это правда, что им было плохо. Доказательство налицо. Крайнее вырожденчество русской интеллигенции... А если это так, то значит надо как-то *усилить нервную силу русских*, чтобы цивилизация не сжигала их, как сожгла дикарей Северной Америки...

— Как же это сделать?

— Если не примесью иных кровей, более иммунизированных к болезням цивилизации, то другими мерами... Я думаю, что Россию могло бы спасти стремление женщины к красоте...

— ?!

— Да, если бы только они поняли, в чем красота... Если бы они *эллинизировались*...

— То есть...

— Красота с эллинской точки зрения — есть высшее достижение здоровья. Эта красота давалась настойчивым трудом поколений для Олимпийских игр... Много поколений, состязавшихся на физическое совершенство, дали совершенную красоту. Мало того, они дали радостную душу, любившую мир и людей, светлое миросозерцание, подготовившее к истинному христианству... Истинное христианство после долгих извращений должно восторжествовать... Истинное христианство — в стремлении к совершенству. «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть». Человек, который создан из тела и духа, не может быть совершенен, надругавшись над своим телом... Через совершенство тела приходит совершенство души. Передовые нации это поняли... Впрочем, довольно об этом...

Может быть, вообще довольно — здесь?.. Пойдем дальше!..

* * *

Вот rue de Brousse. Здесь русская портниха — очень дорогая — такая дорогая, что русским нельзя шить, лучший хирург в Константинополе проф. Алексинский и Русский Маяк.

О, Русский Маяк — это нечто!.. Маяк что-то вроде клуба... Там четыре залы — буфет, концертная зала, гостиная, где валяются в креслах, библиотека... Все это делается на американские деньги с легкой «прожидью», как говорят наши «искатели масонов». Эти же последние утверждают, что Маяк — масонское учреждение... Это не мешает этому учреждению приглашать в качестве постоянного лектора моего друга Валерия, который на масона что-то не похож... Надо ли прибавлять, что в Константинополе (да и в одном ли только Константинополе) все ныне ищут масонов... Впрочем, появилась теория о том, что существуют «правые масоны»... Правые масоны находятся в контакте с иезуитами... Иезуиты, действительно, кое-что делают для русских и «совращают»... Пока совратили только князя Волконского, да ведь у них это в роду... Но вообще тяготение к мистике у русского беженства такое, что его можно сравнить только с тяготением к Петру Смирнову...

Тут, кстати, благо он рядом на Кулу-Глу, учреждение другого рода... «Русский Лицей». Во главе стоит Н.В. Стороженко, быв. директор знаменитой Киевской Александровской *Императорской* гимназии...

Сколько в 1917 году это слово «Императорская» вызывало бурь!.. Мальчики не сдавали это слово... И не сдали и не сдадут... И некоторые из них доживут... Пусть тогда вспомнят тех своих товарищей, кто... не дожил...

* * *

Секиз Агач. Здесь единственная мечеть на Пера... А там, за ней, в уличке русская почта... Впрочем, больше похоже на толкучку... Тут от русских не пройти, не проехать... Цвет? Грязно-хаки... Стиль? Телеграмма: «six joux baisent glos chat» — прочтите по-русски...

Дальше по левой стороне знаменитый «Pele-Mele». О нем нечего распространяться. Достаточно прочесть афишу.

«Pele-Mele» — театр-ресторан. IV цикл. Беспрерывное веселье. Новая программа. Все оригинально. Кабаре неожиданностей. Уголок Востока. Бар Американ. Исключительный успех «Три аршина морали» (цензурованная нагота) Юрий Морфесси. Цыганские и русские песни — Анна Степовая. Песенки мистера Алли: Юлия Герман. Итальянский ансамбль и т.д. Два оркестра. Конферансье мистер Алли. Съезд к 5 часам вечера. Оркестр Жана Гулеско. Цены умеренные. Вход бесплатный».

* * *

Ну, довольно, вот мы дошли до конца. Это — Омега. Вот площадь Taxim, где митинг автомобилей. Немало здесь служит русских офицеров шоферами... А вот там на пригорке, на площади, это тоже русское нечто.. Так себе — кафе... для шоферов больше... Но держит его бывший русский губернатор...

* * *

Итак, мы прошли эту большую артерию Константинополя, эту знаменитую Пера, хребтом лежащую между пьяно-фокстротной Галатой и Тихим Стамбулом. Пера, где сосредоточивается европейская культура в Константинополе... Мы старались рассмотреть, какой налет образовали здесь русские снежинки...

Увы... Мы видели, конечно, и газету, и книгу, и школы, и искусство, и тяжелый труд всякого рода...

Но главное острое впечатление: русские в Константинополе оказались главным образом «кабаретных дел мастера».

Вспоминается, как Пуришкевич когда-то сказал о румынах: «это не нация — а профессия»...

Как бы о нас не сказали того же...

«Пели-Мели, Пели-Мели, Пели-Мели — без конца...

Из-за массы ресторанов не видать «ее» лица...»

Лица русской эмиграции... Ах, не будем строги! — хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Что говорят звезды . . .

В начале 1921 года немецкий генерал Гофман тоже отвечал на вопрос «что делать» и приблизительно так:

— Надо составить коалицию из всех держав, выставить полторамиллионную армию и раздавить большевиков.

* * *

«Чем ночь темней — тем звезды ярче»....

Я давно переселился из Посольства. Я живу в комнате, откуда виден Босфор. По вечерам над ним зажигаются звезды...

Чтобы не попасть в болото, я иногда читаю книгу звезд... Ибо звезды имеют одно несравнимое преимущество, которое однажды отметил П. А. Столыпин: это звезды, а не болотные огни...

* * *

Я читаю в книге звезд следующее:

Есть люди удивительно честные и порядочные... в личных отношениях. Аккуратные, пунктуально добросовестные, безусловно презирающие мошенников всех национальностей. Нетрудно узнать этих людей, этот народ: это — немцы.

Есть страна удивительно... «неразборчивая в средствах». Однажды ее повелитель назвал подписанный им договор «клочком бумаги». Его генералы и дипломаты, безупречно порядочные, как люди, совершали невозможные дела в качестве патриотов. Чудовищные обманы, неслыханные жестокости, тайные убийства были их средствами...

— «Украина»! Никакой Украины нет и никогда не было... *Украину создал я!!!*

Так вдруг объяснил изумленному миру... генерал Гофман.

Изобрести страну! Целый народ! Однако весь мир поверил этому чудовищному обману. Меж тем генерал Гофман, пустивший эту гигантскую ложь, наверное, честнейший человек и офицер.

«Русский народ» убивает Верховного Главнокомандующего генерала Духонина. Вспышка народного гнева? Ничего подобного... «Русский народ», убивший Духонина, оказывается переодетым *немецким офицером*...

«Большевики». «Коммунисты»... Какой вздор! Есть только наши агенты — провокаторы и шпионы... *Это мошенники, которых бы следовало перевешать!!!*

Так говорят *теперь*... немецкие генералы и дипломаты...

Но именно при помощи таких «мошенников» действовали эти лично безупречные люди. Нет таких поступков, которые бы они не совершали «ради Родины».

И вот тут-то я и хотел бы поставить свой первый «звездный» вопрос.

Правильно ли это? И не произошло ли это мировое несчастье, от которого неизвестно кто пострадал больше — победители или побежденные, именно потому, что в *международных вопросах забыты основные принципы морали.*

Этот вопрос хотя и «звездный», но мне кажется практический...

Что собственно надо сделать, чтобы мир мог спокойно существовать? *Надо найти выход для Германии.* Такой выход, при котором ей не было бы надобности изобретать всякие вельзевуловского типа махинации.

Но для того, чтобы найти такой выход, надо, чтобы Германии, как таковой, можно было верить. Верить настолько же, насколько можно верить отдельному немцу в его частных делах.

Разве мы знали в свое время о хитроумных изобретениях Гофмана и Людендорфа? Ничего не знали. А ведь они готовились на наше горе.

Разве кто-нибудь может поручиться, что и теперь, в то время, как Гофман и Людендорф проповедуют Белый Поход на *восток,* какие-нибудь немецкие генералы не готовят Красное Нашествие на запад?

Это *отсутствие доверия к Германии есть страшная мировая беда.*

* * *

Есть Нечто, что выше Германии, что выше России, что выше родины...

И это Нечто?..

Это Нечто самая простая вещь — честность...

Пока Германия не даст достаточных доказательств, что подписанный ею договор — не «клочок бумаги», до тех пор мира не будет в Европе.

До тех пор Франция будет насиловать Германию, а Германия одна могла бы раздавить боа-констриктора, пущенного ею в Кремль.

Но, чтобы раздавить большевистского гада, надо, прежде всего, чтобы Германия сама перестала быть... змеей...

* * *

Впрочем, это — мое мнение, которое я изложил в «Зарницах»... Оно весьма мало сходится с мнением некоторых моих соотечественников.

Удивительно, как в самое короткое время «союзники» сумели восстановить против себя русских.

Нас действительно очень много оскорбляют. Нехорошо только, что свои личные «беженские обиды» мы переносим в вопросы большой политики. Ведь Столыпин предупреждал нас, что нельзя идти за болотными огоньками, а нужно идти по звездам...

Ближе к земле

Он сидел у меня и писал... Я уже не жил в посольстве. Я жил у своего друга и бывшего секретаря, Б. В. Д., который в свою очередь жил у своих друзей и т.д.

Квартира эта была «роскошная». Какая-то француженка, уезжая, сдала ее русской семье Т-аль. Русские «сдавали комнаты»... Кому? Кто мог платить сто лир за комнату? Все это были красивые женщины всех национальностей. Служившие в разных «театрах». Самые удобные квартиранты. Они приходят очень поздно и встают поздно, и было их не слышно. Но иногда они проскальзывали через столовую, выставочно-красивые...

— Bonjour, messieurs... dames...

Приличный, степенный поклон...

Я в таких случаях думал о том, как трагично-глупо поступает человечество: самые красивые экземпляры животных отбираются «на племя», т.е. для продолжения рода, а самые красивые экземпляры людей идут «на убой», то есть отдаются на «немедленное съедение» в кафе-шантанах... Ленин — несчастный «меньшевик»... Если уже насиловать человеческую волю, то до конца... надо бы делать вот как. Декрет: «ни одна красивая женщина не может поступить в кабак, не давши государству ребенка от государством указанного отца». Дала ребенка — продавайся кому хочешь... Сделал дело — гуляй смело. Но сколько женщин, родив ребенка, не пошли бы уже в кабак? Большевики, в сущности, «жалкие соглашатели»... Я реформировал бы мир куда рациональнее...

В этой квартире, где было тихо, как в монастыре, было хорошо работать. Я начал писать...

* * *

И в один прекрасный день он ворвался ко мне... в «роскошь»...

Боже мой — это был, конечно, он!.. Но в каком виде.

Лицо такое «налившееся», что серо-голубые глаза казались совсем маленькими... К тому же они бегали во все стороны, точно у затравленного зверя. Вид шинели устрашал, обувь — нечто неопределимое, голова — точно в перьях, брит — в прошлом веке... Потискав меня в объятьях, он стал говорить, говорить бесконечно... И все тыкал куда-то пальцем, кого-то обвиняя... Все большей частью ругал какого-то «коменданта»... Эта ругань прерывалась взрывами радости, что он меня нашел, и огорчения, что жена осталась в Крыму, и расспросами о матери...

Я видел, что ему надо делать... Ему прежде всего надо было подлечиться, успокоиться... Когда через две недели он пришел в себя, он написал письмо матери...

* * *

Начало письма пропускаю...

«...Померили температуру — 40,9... Тут я помню не все вполне ясно, так как сознание временами покидало меня. Сначала распространился слух, что Перекоп прорван, затем на другой день, что положение восстановлено. Наконец, уже приказ генерала Врангеля об эвакуации...

Сколько дней, точно не помню, кажется два, шла лихорадочная погрузка. Из моей комнаты в квартире К., я видел только последнюю ночь огромное зарево: то горели разграбленные и загоревшиеся склады Американцев. Тишина в моей комнате была особенно жуткая. Наконец, пришли и за мной: меня погрузили.

Довели и положили на палубу; это был интендантский корабль, трюмы были забыты консервами, а каюты были только для команды. Я сквозь сон помню, что мы еще куда-то шли, где-то грузились. Наконец, отплыли... Я лежал на палубе. Был изрядный мороз. Очевидно, у меня кризис (воспаление легких) совершился за это время, потому что я все стал ясно сознавать на другой день посреди Черного моря. Жара не было, но — страшная слабость. Останавливались, подходили корабли и брали у нас консервы. Я хоть и сильно беспокоился за жену и ребенка, но все же думал, что они сели на другой корабль. Погода была великолепная, море — как зеркало.

На третий день, рано утром, мы подошли к Босфору... Возле нас засуетились французские контрольные катера и, совершив формальности, мы прошли красавец Босфор, мимо Золотого Рога и маяка на башне Леандра и стали в бухте Меда, наш корабль одним из последних. Тут начинаются мои злоключения...

Я сидел около месяца с небольшим на корабле. По ночам — страшный холод, на железной палубе, иногда дождь, сменяемый морозом. Днем тоже дрожишь. Но можно хоть найти где-нибудь более теплое место, а ночью спать хочется. Ночь — это прямой кошмар... Под самый конец, когда трюмы освободились, там можно было спать; там была вопиющая грязь, но немного теплей. Голодать не приходилось, потому что консервов было сколько угодно, но недоставало хлеба, а иногда воды, и эти консервы стали скоро ненавистными.

Ездили какие-то типы из В. З. С.[8] и производили перепись. Я еще некоторое время надеялся найти жену, но постепенно эта надежда угасла. Дни тянулись мучительно однообразно. Приходили постоянно моторные лодки, отыскивали разных лиц, мы узнавали новости, все безотрадного характера. Сидеть на этой проклятой палубе то под дождем, то на морозе, это хуже всякой тюрьмы, начинается особого рода мания: мания о крыше. Хоть где угодно, лишь бы не под открытым небом. Все мечтали, как о рае, о возможности попасть в Галлиполи. На земле все же лучше спать, чем на железной палубе, под свирепым ветром, все же на земле не так дует, как посреди моря. На земле можно, хоть руками, вырыть себе какую-нибудь нору. Чтобы понять эти мечты, нужно просидеть месяц на железной палубе под норд-остом. Тюрьма представляется счастьем, так как все же есть там крыша, и ветер не пронизывает до костей. Когда я еще теперь вспоминаю эту палубу, мне становится холодно.

А дни все шли за днями, уходили пароходы один за другим, а мы все стояли и стояли... Должен добавить, что публика на корабле была весьма неприятная. Хамство, воровство, начиная шинелями и кончая столовыми ложками, грубость к женщинам, женщины с маленькими детьми на палубе, а знаменитая караульная команда, не караулившая, а кравшая консервы! — Командир корабля был хороший офицер-лейтенант М. Были там два бронедивизиона... Хотя я поручик инженерных войск, но они держались враждебно... Были отдельно следующие между нами несколько кавалеристов, с которыми я совершал дальнейшие скитания. В один прекрасный день явился к нам французский офицер с солдатом и стал забирать консервы для передачи другим кораблям. Так как я был единственным человеком, владевшим французским языком,

[8] В. З. С. — Всероссийский земско-городской союз *(Примеч. Ред.)*

то пришлось быть переводчиком. Нужно отдать справедливость этому французу, он был со мною очень любезен, возил с собою на берег, где я мог съесть человеческий обед, а не консервы. Это, скажу прямо-таки, белая ворона среди французов, которые вообще были с нами грубы... Пришлось объездить с этим французом много русских кораблей. Но скоро забрали весь груз. Французы перестали приезжать. Стало еще скучнее...

Мое здоровье стало еще хуже, стали пухнуть ноги. Это, как выяснилось потом, началось воспаление почек. Наконец, пришел катер и забрал всех «строевых», значит и меня (я не думал тогда, что скоро стану инвалидом).

Поехали на один корабль, но почему-то поздно ночью, там ночевали в трюме. На другую ночь поехали на «Саратов». Здесь я встретил капитана О. нашей роты и подпоручика З. и поручика Т. моего выпуска училища. Тут кормили довольно порядочно, спать было не так плохо, но я совсем распух, еле мог ходить. Просил врача меня отправить в госпиталь. Не могут.

У меня было с собой еще немного денег и я решил бежать на берег. С подпоручиком З. на турецкой лодке, заплатав 3 лиры, мы бежали на берег. Тут я думал найти шт.-кап. Ч. нашей роты, адрес которого знал подпор. З. Искали, искали, не нашли. Но нашли одного простого русского человека, уже двадцать лет живущего в Турции и устроившего меня ночевать в баню. Это покажется странно, но в это время бани были гостиницами для русских, так как русские не имели права схода на берег, в гостиницах требовали паспорта, а в банях — нет. Там я пробыл три дня. Платил по лире в день...

Я все больше опухал, я уже не мог пройти больше, чем несколько шагов, чтобы не отдыхать. Подпоручик З. по моей просьбе отправил срочную телеграмму тебе с просьбой выслать денег.

Обеспокоенный состоянием своего здоровья, я позвал греческого врача, который определили у меня нефрит и прописал пить только одно молоко. Но запас денег быстро таял. Я решил сократить расходы за ночевку и перешел с подпор. З. в «Пантелеймоновское подворье». Мы взобрались на второй этаж и нашли пустую кровать в коридоре и улеглись. Меня предупредили лежавшие в коридоре, что на ночь комендант здания всех выгоняет. Я спросил, кто комендант. Мне сказали, что чиновник. «А, шпак, — пусть попробует», — говорю. К вечеру комендант попробовал. Я ему заявил, что я болен, никуда, кроме госпиталя, не уйду. Добавляю, что утром с великим трудом ездил в Русский Госпиталь Св. Николая в Харбио, где врач, осмотрев меня, нашел острый нефрит, но старший врач не принял меня, так как, по его словам, у него уже в три раза выше комплекта, а потому он советовал мне идти во французский госпиталь, но сил у меня не хватило добраться туда. Поэтому я решил оставаться на кровати. Молоко принесла мне жена этого русского, который меня устроил в баню. Он же мне дал свои галоши, так как мои ноги так распухли, что не могли влезть в огромные английские ботинки.

Комендант ушел, потом опять пришел увещевать, но тщетно. «Я принужден обратиться к иностранной полиции», — сказал он и ушел. Через некоторое время, действительно, пришел с целой толпой французских полицейских, англичан, итальянцев, а с ними неизменные дети природы — улыбающиеся чернокожие. Но тут его постигло жестокое посрамление. Я объяснил французскому

жандармскому офицеру, что я больной русский офицер и что я бы очень хотел попасть в госпиталь, но комендант, вместо того, чтобы отправить меня в госпиталь, ночью выгоняет на улицу. Француз возмутился: «Конечно, вы правы. Это его обязанность, как он смел вас выгонять. Передайте этому каналье, что если он когда-нибудь еще раз придет к нам, чтобы мы кого-нибудь выгоняли, то мы его упрячем... под арест». И ушли...

Комендант повесил нос. Я торжествовал и спал на завоеванной постели.

На другой день комендант опять ко мне. Я ему: «Дурак, как с офицером разговариваешь? Руку под козырек, — морду тебе набью, каналье»... и взялся рукой за бутылку от молока, чтобы из последних сил набить мерзавца... Он удрал...

Тогда он увидел, что дело плохо, и через полчаса приходил ко мне сначала какой-то турок, живший внизу, посмотрел меня и говорит: «Неврит». Затем пришел доктор Кофели из Андреевского подворья, осмотрел меня и попросил перейти к нему в подворье, соседний дом, пока за мной приедет дежурный французский санитарный автомобиль. Скоро прибыл автомобиль, и меня повезли в госпиталь. Ехали бесконечно: автомобиль часто портился. Приехали. Тут нас ожидал сюрприз — так называемый душ. Несколько капель из трубки холодной, холодной воды, нос не помоешь в такой воде. От одного такого душа заболеть можно. Тут мне пришлось вступить в резкое пререкание с французским санитаром за грубое обращение. Что за возмутительная манера говорить всем «ты» и толкаться. Я по-французски распек солдата, заявив, что я буду на него писать рапорт за грубость с офицером иностранной армии. Подействовало сразу, стал вежлив и все время при обращении «monsieur le lieutenant» и «vous», а не «tu».

После душа нас положили спать в длиннейшем коридоре на тюфяки с соломой. Холод адский, из дверей дуло, из окон тоже, со стен капало. Только на другой день, после полдня нас осмотрел врач, и я попал в залу «А» (палату). Тут было тепло, хорошие кровати. А главное — покой, мне больше ничего не надо было. Я почувствовал, точно я попал в рай...

Поправлялся я медленно. Врач француз, узнав мои злоключения, сколько я лежал на корабле, с воспалением легких, сказал: «Нужно быть русским, чтобы все это вынести»...

Когда я стал поправляться, меня стал беспокоить вопрос, что я буду делать. Сколько я ни писал, ни слуха, ни духа... Деньги мои мне приходилось тратить на подкармливание, так как французы кормили очень скудно, а для выздоравливающего особенно. Я спешил скорее выписаться, чтобы, пока есть деньги на дорогу, уехать в Сербию. По правилу, из французского госпиталя в Мальто-пе отправляли в русский пункт для выздоравливающих, находящийся возле французской морской базы. Там было, по рассказам, полно насекомых, и царил тиф. Я решил бежать.

Когда французский часовой отвернулся за будку, я перелез через низкое место в стене и скрылся в ближайший овраг вместе с моим компаньоном, пор. Р. Мы остановились первые два дня в гостинице и платили по 50 пиастров за кровать. Я пытался устроиться в общежитие в Бьюк-Дере, но после напрасных хождений пришлось отказаться от этой мысли. Мы, я и пор. Р., наняли за 3

лиры в месяц комнату в Касим-Паше, изрядной дыре. Комната эти помещалась над парикмахерской, и в нее подымались на приставной лестнице. Парикмахер, уходя на ночь, давал нам ключи до утра, мы оставались одни. Спали на полу, в этом чердаке было небольшое окно. Было тепло, потому что у парикмахера целый день горела мангалка, на которой он любезно разогревал нам чай.

Парикмахер сразу возымел к нам доверие, и мы пользовались его услугами. Мы начали искать службы. Напрасно — все занято. Деньги таяли. Пробовали, по совету нашего знакомого русского, торговать колбасой, но это оказалось весьма убыточным: приходилось в видах экономии огромные концы, верст по 10, ходить пешком, аппетит у выздоравливающего колоссальный, а колбаса так соблазнительно пахнет, нет сил удержаться от искушения, и как начнешь, так больше съешь, чем наторгуешь. Деньги стали приходить к концу, а все же требовалось 10 пиастров в день на квартиру и на самую голодную еду 25 пиастров, итого 35 пиастров. В это время третий, присоединившийся к нам, хорунжий, нашел бесплатный обед, вернее, милые люди, повар и кухарка, давали нам остатки того, что не было подано на стол в одном детском приюте. Давали много. Полведра борща, много мяса, хлеба, мы наедались, как удавы, и забирали остатки: в свою посуду, про запас, с собой и уходили. Добрые люди — прямо, это были мои спасители. Но задолго перед нахождением этого сокровища, когда мои деньги окончательно иссякли, я продал свое обручальное кольцо. Дали 5 лир.

Теперь бесплатный обед давал нам передышку. Через несколько дней я должен был получить мой паспорт, и мы решили, так как выяснилось, что никаких виз русским не дают, отправиться пешком в Болгарию — в Варну, где у Р. был знакомый русский помещик. Там думали переждать и, получивши известие из Сербии, двинуться в Сербию. Все, конечно, по способу пешего хождения, — контрабандой. Но утро вечера мудреней... В один прекрасный день я встречаю подпоручика нашей роты А., и он мне говорит: «А вы разве не читали в «Presse du Soir», что разыскивают вас». Я пошел с ним в редакцию и, получив номер, нашел дядю.

Дядя меня устроил в общежитие в Терапии, я получил от тебя деньги и полоса моих мытарств окончилась... Теперь я знаю, что делать!!.»

* * *

Мы возвращались (это было 9-го января 1921 года[9]) в трамвае с могилы покойного В. А. Он похоронен на греческом кладбище: на могиле — простой деревянный крест с надписью: «Василий Александрович Степанов». Сверху написано: «Ныне отпущаеши, Владыко, раба твоего с миром»...

Так как меня еще не «отпустили», то приходится излагать проекты... в трамвае... Может быть, потому, что многими проектами я делился с ним... с В. А.

Вот проект: — он у меня записан в «тетрадке». Кстати, это еще один ответ на вопрос: «Что делать?»...

Издревле были народы без территории. Таков был всегда гонимый еврейский народ, за грехи рассеянный Богом по всем странам мира. Теперь мы по-

[9] Прошу обратить внимание на эту дату и не придавать последующему характер рецепта для современности. *(Прим. Автора)*

менялись с евреями ролями. Мы — как евреи, т.е. скитаемся по всем Европам и Америкам, а евреи — в Московском Кремле... Правда, православие при этом несколько в загоне, но зато «самодержавие» в полном расцвете... Что же касается русской народности, то она раздвоилась...

Русских во всех «заграницах» имеется два миллиона. Это — целый народ.

Слабые стороны этой народности: это — народ сравнительно немногочисленный. Кроме того, он имеет, хотя и в притушенном виде (до лучших времен), все исконно русские капризы. Захочу — полюблю, захочу — разлюблю...

Сильные стороны этой национальности: процент безграмотных очень низкий, ибо бежали из Совдепии если не всегда культурные, то в подавляющем случае — грамотные. Словом, это все-таки сливки русского народа в смысле интеллигентности.

Отчего не может быть народ без территории, но с правительством? Скажут, это беспримерно.

Во-первых, это не верно. Когда Алларих или Атилла двигался со своей ордой на Европу, какая у него была территория? Ведь потому это и называлось «великим переселением», что народы бросили свою территорию. Но тем не менее правительство они имели, и даже очень серьезное.

Но если этот пример не нравится, то можно обойтись и без примеров. Почему непременно нужны примеры? Вот Ленин ни к чему не примеривался, и ему удалось сколотить Великую Бессмыслицу только потому, что вследствие воспаления мозговых оболочек или по другой причине, он этого захотел так, как «десять тысяч теософов» и «сорок тысяч братьев» хотеть не могут.

Имейте веру в горчичное зерно — и гора сдвинется с места по слову вашему...

Здесь же даже этого не требуется. Тут совершенно достаточно, если Магомет пойдет к горе.

Необходимо для этого вот что. Во-первых, для этого русского народа, живущего за границей, — для краткости назовем его «эксфенестрированным русским народом» (известно, чтобы все поняли, надо употребить всем понятное слово) для этого русского народа № 2 (для обидчивых — № 1) — надо признать «необходимой и достаточной»... четыреххвостку.

Какой может быть «избирательный ценз» у беженцев? Имущественный? Так ведь все одинаково нищи. Образовательный? По счастью, за ничтожным исключением, все достаточно образованны. Остается выбросить женщин? Но это было бы глупо: они умнее нас.

Следовательно — четыреххвостка. При ее помощи выбрать во всех странах почетных людей, которые образуют почтенное собрание.

Название? Нельзя же называть их Государственной Думой. Но, может, называть их Русской Думой, Русским Советом, русским Сеймом, Русским Кругом, Русской Радой. Следует только избегать названия «Русское Вече», ибо... Винавер не согласится...

Что должно сделать это учреждение? Вещь совершенно непозволительную. Оно должно повергнуть к стопам Лиги Наций проект об учреждении «народа без территории, но с правительством», и требовать немедленного проведения этого проекта в жизнь во осуществление «прав малых народностей».

Какое имеет право Лига Наций отказаться от рассмотрения этого вопроса? Неужели «самоопределение народностей» стало пустым звуком? Разве не доказала «наука», что ни кровные, ни языковые, ни территориальные, ни религиозные признаки не исчерпывают существа понятия наций? Только личное ощущение человека, выразившееся в его заявлении, определяет принадлежность индивидуума к тому или другому народу...

Да. До сих пор существовал просто русский народ. На наших глазах из него выделились, с одной стороны, «украинцы», а с другой — «красные» русские. Каким же образом можно помешать выделению из массы прежнего русского народа «трехцветных» русских? Les russe tricolors?

Это звучит даже совсем импозантно.

С одной стороны — Les Russe des Soviets, и с другой — Les Russe Tricolors.

Трехцветная Россия, правда, не имеет территории. Зато она имеет армию и даже флот. Кроме того, она имеет превосходный литературный язык и несомненную культуру.

Правда, она не имеет денег, но этого вопроса вообще не следовало бы касаться. Нельзя же говорить о веревке в доме повешенного. Как-нибудь обойдемся.

Если бы Лига Наций вняла голосу «самоопределившегося» и притом «малого», а значит имеющего все «права» на великое внимание народа, то немедленно было бы создано правительство, которому юридически должны были быть подчинены все русские, выселившиеся из Совдепии, — хотя бы в наказание, так сказать: не бегайте, мол, подлые буржуи, из социалистического рая!

Для всех держав было бы гораздо удобнее. Что это, в самом деле, за какие-то «безотечественные» люди. Ни паспорта, ни подданства. Старой России нет, Советской не признают, в подданные других держав их не принимают: кто же они, наконец, такие? Масса неудобств.

А тут очень просто.

— Какой страны вы подданный?

— России...

— Какой России? Красной?

— Нет, трехцветной...

— Russie tricolore? Parfait... votre passeport?

— Voici...

— Tres bien... Passez, monsieur...

Все довольны. Державы довольны, мы довольны. У нас есть подданство, у нас есть консул, у нас есть даже флаг и печать. Ну, а если есть печать, то чего же больше желать. Мы будем «граждане», хоть и маленькой державы, но все же не какие-то «подчеловеки», хуже, чем парии, потому что парии — существует все-таки на твердом основании закона. А мы — подданные его величества Недоразумения.

Но этого мало, что все довольны. Есть кое-что и поважнее.

Допустим, что при помощи этого самого Национального Комитета или Русской Думы мы добываем себе человека, который некоторое время мудро, счастливо и благоденственно правит со министрами своим двухмиллионным народом.

Какое впечатление это будет производить «там»?.. в юдаизированном Кремле?

Пока там будут сидеть крепко Ленин и Троцкий, или кто-нибудь из сородичей их, кроме некоторой раздражительности, благоденственное житье русского народа № 2 других последствий вызывать не будет. Но если дело пойдет к развалу? А ведь это когда-нибудь неизбежно.

На кого прежде всего обратятся взгляды вырвавшейся от большевиков и не знающей, что с собой делать, России?

Ведь сказано — над малым поставил я его, и благо было. Поставлю его же над великим, и будет благо.

Человек, который управился с двухмиллионным народом, рассеянным по всем краям и странам земли, управится и с двухсотмиллионным, собранным вкупе.

И будут призваны варяги. Только не из Фиордов, а, допустим, из Парижа. И не шведы, а русские.

Ведь издали мы будем представляться более правильно, чем сами себя мы оцениваем. Ведь потому-то и были призваны варяги, что они были «подальше», Издали виднее...

И для республиканцев и для монархистов все это одинаково соблазнительно.

Республиканцы призовут правителя «триколорной» России — в качестве президента. Монархисты-бонапартисты в качестве Наполеона.

А монархисты-легитимисты? Здесь и для них нет волчьей ямы. Ибо: 1) если эмигрантская русская стихия действительно монархична, 2) если среди старой династии не угас царственный дух и найдется не только «Великий Князь», но и «Великий русский», то в правители триколорной России будет избран кто-нибудь из лиц... «Императорской фамилии»...

И тогда посмотрим...

(Продолжение следует)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы

(сентябрь – ноябрь 2002 г.)

(Краткий обзор)

1. К вопросу о создании католической митрополии в России

В последние месяцы стало окончательно ясно, что в споре между Русской Православной Церковью и Ватиканом светская власть приняла сторону первой. Об этом свидетельствует, в частности, новая волна лишений виз католических священников. Без своих настоятелей остались общины в Ярославле, Ростове-на-Дону и на Сахалине.

Олег Недумов в статье «Кому заказан путь в Россию» (**«НГ-Религии»**, 18 сентября) высказывает предположение, что «власть, как и руководство РПЦ, не устраивает тот факт, что большая часть католического духовенства — иностранцы в основном польского происхождения, которые вольно или невольно занимаются полонизацией своей российской паствы». Российские власти, по мнению автора, сознательно идут на конфликт с руководством российских католиков (его представляют в основном поляки и белорусы), зная, что их влияние в Ватикане заметно ослабнет. В заключении делается вывод: «Цель нынешнего антикатолического демарша состоит в том, чтобы дать понять будущему руководству Ватикана, как надо, а, точнее, как не надо строить свою политику в отношении России».

В газете **«Время новостей»** (27 сентября, «Вера под роспись») **Кирилл Василенко** говорит о попытках римской курии вывести из-под удара своих священников, 90% которых в России являются иностранцами. В регионах меняются методы работы, западные христиане пытаются уйти от обвинений в прозелитизме. «Теперь без письменного разрешения родителей несовершеннолетним россиянам будет невозможно пройти первое причастие в костеле или прийти на занятие по катехизису. Кроме того, католики намерены в обязательном порядке приглашать к соучастию во всех благотворительных проектах в детских домах, школах и больницах православных священников», — пишет он.

Осенью РПЦ провела ряд антикатолических акций. Об одной из них рассказала **«Газета Дона»** (25 сентября, «Православные поперек католиков взмыли в небо»). По сообщению корреспондента этого издания, 19 сентября над Ростовом-на-Дону около часа кружил боевой вертолет. На его борту находился «десант» из 5 священников, которые совершили молебен «Об избавлении православного люда от католического прозелитизма».

Газета **«Известия»** (6 сентября, «Реванш Сусанина») поведала читателям о готовящейся в Костромской епархии канонизации Ивана Сусанина. Автор очерка ушел от политических оценок возможного прославления, но они и так очевидны.

В начале октября ряд российских СМИ распространил информацию о том, что квартира в Москве, принадлежавшая общине францисканцев, была пре-

вращена в подпольный притон. Большой материал на эту тему появился, к примеру, в газете **«Комсомольская правда»** (7 октября, «Московский монастырь оказался борделем»). Ватикан, по сообщению газеты **«The Guardian»** (15 октября, «Спор вокруг миссионерских поз францисканских монахов») расценил эти сообщения как жалкую попытку дискредитировать Католическую Церковь. «Ничего не подозревающие монахи обнаружили, что принадлежащая им квартира — она была сдана частному лицу, утверждавшему, что он собирается заняться благотворительной деятельностью, — была превращена в публичный дом», — заявил пресс-секретарь Папского престола Навarро Вальс.

Не осталась не замеченной прессой и одна некруглая дата — 24-я годовщина понтификата Иоанна Павла II. В газете **«Время МН»** (16 октября) появилась аналитическая статья **Валерия Мастерова** «Слово Папы», в которой, впрочем, о православно-католическом противостоянии не говорится ни слова. **Сергей Бычков** в **«Московском комсомольце»** (16 октября, «Уйдет ли Иоанн Павел II на пенсию?»), напротив, педалирует эту тему. По его словам, папа-славянин изрядно «достал» римскую курию, а образование четырех епархий на территории России — неудачный ход понтифика. Хотя, утверждает автор, православные зря обвиняют славянского папу — он охотно жертвует на Русскую Церковь. За 10 лет на самые различные проекты в России истрачено около 20 миллионов долларов.

2. Проблема реституции церковных земель

Вопрос о возвращении Церкви земель, конфискованных в XX столетии, продолжал оставаться в поле общественного внимания. **«Независимая газета»** (2 сентября) обращает внимание на то, что в правительстве нет единой точки зрения относительно предложения главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике И. Старикова о передаче РПЦ 3 млн. гектаров угодий. «Если заместитель руководства аппарата правительства Алексей Волин сразу раскритиковал эту идею, то министр сельского хозяйства, вице-премьер РФ Алексей Гордеев не видит ничего дурного в том, чтобы Церковь стала крупным земельным собственником», — пишет газета.

В самарском периодическом издании **«Пульс Поволжья»** (№ 36) и в еженедельнике **«Время МН»** (9 сентября) появились публикации об Иверском женском монастыре. Точнее, о нелегком труде насельниц, о беспокойном хозяйстве, о том, что земля щедро расплачивается за нелегкий труд людей.

О роли монастырских хозяйств в социальном служении РПЦ говорится в **интервью патриарха**, размещенном на сайте **«Седмица.Ру»** (2 октября). По словам Святейшего, «ставропигиальные монастыри имеют огромные, хорошо отлаженные хозяйства и подают в том добрый пример не только для других монастырей, но и для сельского хозяйства в стране в целом».

«Время МН» (15 октября) поместило большую статью **Владислава Крыштановского** «Монастырский передел», где критикуется попытка «вновь завязать гордиев узел крупного монастырского землевладения». Автор с одобрением говорит о позиции патриарха, заявившего, что церкви не нужны 3 млн. га, которые она не сможет обработать. «Нужно лишь законодательно закрепить за церковью те земли, которыми она сейчас реально располагает, причем закрепить, по возможности, безвозмездно», — цитирует Крыштановский слова первоиерарха. И доба-

вляет: «В настоящее время процесс обсуждения возможных поправок к закону о землепользовании идет полным ходом: Советом Федерации и Патриархией создана рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта».

3. Всероссийская перепись населения

Перепись населения по праву можно назвать самым масштабным социологическим исследованием года. И хотя в опросные листы не был включен вопрос о вероисповедании, религиозный фактор оказал определенное влияние на характер мероприятия.

В газете **«Россія»** (8 октября) появилось пространное **интервью с патриархом** Алексием II, который рассказал о том, что священнослужители стараются разъяснять верующим значение переписи. По мнению предстоятеля РПЦ, «полнота информации о количестве приверженцев различных религий и конфессий помогла бы лучше понять наше общество». «Однако мы понимаем, что государство вправе само решать, какие вопросы включить в переписную анкету», — подчеркнул патриарх.

В некоторые труднодоступные районы переписчики отправились за несколько недель до официального старта переписи. К числу таких медвежьих уголков относится и Валаам со своим знаменитым Спасо-Преображенским монастырем. **Алексей Коробов,** корреспондент еженедельника **«Время МН»,** побывал на архипелаге и описал жизнь островитян («Валаамский пересчет», 19 сентября). Как явствует из статьи, никаких проблем во время переписи у монахов не возникло.

Однако не везде все проходило так гладко. По сообщению **«Комсомольской правды»** (10 октября) старейший в Пензенской области женский Троице-Сканов монастырь всем составом отказался участвовать в мероприятии. Монахинь смутили номера на переписных листах. «Чтобы все-таки переубедить монахинь, пришлось вмешаться епархии», — сообщает газета.

4. Захват заложников в Москве

Трагические события с захватом заложников в Москве вызвали немало вопросов. Не спровоцирует ли этот теракт обострение межнациональных и межрелигиозных отношений в России? Как могут повлиять на ситуацию духовные лидеры? Следует ли ожидать в будущем новых терактов?

Пытаясь найти ответы на эти вопросы, **Марк Смирнов**, главный редактор **«НГ-Религий»** (№ 10, «Джамаат уходит в небо»), приходит к выводу, что террористы по-своему прочли Коран: «Если мы по своей наивности полагаем, что нет никакого противостояния между западной цивилизацией и фундаменталистским, радикальным исламом, то мы жестоко ошибаемся, потому что представители воинственного ислама эту войну уже начали и уже ведут».

Религиозные лидеры России единодушно осудили террористов. На официальном сервере Московского Патриархата **«Русская Православная Церковь»** (www.orthodox.org.ru) появилось «Заявление» **патриарха**, а также многочисленные телеграммы соболезнования от лидеров христианских церквей.

В то же время некоторые православные священники выступили с заявлением, что захват заложников не связан с проявлением исламского терро-

ризма. Так, в частности, считает протоиерей Георгий Митрофанов. По сообщению **портала «Credo.ru»** представитель РПЦ подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы религиозный фактор использовался для выяснения отношения на таком нецивилизованном уровне».

«Московский комсомолец» (31 октября, «Сердце Патриарха болело за заложников») обращает внимание на то, что ни митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, ни архиепископ Истринский Арсений не только не приехали в оперативный штаб, но, считает газета, даже не отважились в эти трагические дни выступить по телевидению.

Впрочем, по сообщению сервера **«Русская Православная Церковь»**, близ захваченного террористами здания сотрудники ОВЦС в священном сане молились об освобождении заложников. Учитывая тяжелое психологическое состояние родственников захваченных людей, руководство оперативного штаба по освобождению заложников разрешило открыть в здании реабилитационного центра молитвенную комнату и совершать в ней православные богослужения.

5. III Всецерковный миссионерский съезд

С 31 октября по 2 ноября в подмосковном комплексе «Поляны» прошел очередной, третий по счету, Всецерковный миссионерский съезд. В его работе приняли участие более 250 епархиальных миссионеров из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, а также гости из Японии, Австрии, Венгрии, Германии и Ирана.

Открывая пленарное заседание, митрополит Солнечногорский Сергий зачитал послание **патриарха**, который в то время находился на лечении в больнице. Текст этого послания вывешен на сервере **«Русская Православная Церковь»**.

Газета **«Время новостей»** (1 ноября, «Православие — норма жизни») обратила внимание на то, что председатель Миссионерского отдела архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн выступил с редким в устах современного церковного иерарха заявлением, что между приверженцами разных религий не может быть договора о разделе сфер влияния. Полный текст доклада архиерея также вывешен на официальном сервере Московского Патриархата.

Перед началом съезда известный журналист **Максим Шевченко** опубликовал на интернет-сайте **«Kreml.org»** статью, в которой подверг критике некоторые отрицательные стороны миссионерской работы Церкви. «Православные миссионеры действуют зачастую руками силовых органов», — сетует он.

Столкновение двух тенденций — контр-миссии и собственно миссии — выявилось на съезде со всей очевидностью. Оно нашло свое отражение в итоговой «Декларации». В ней — наряду с замечательными словами о необходимости воцерковления «крещеных, но не просвещенных», об обязательности серьезной и последовательной подготовке к крещению, о важности строительства общинной жизни в церкви — выражена жесткая позиция по отношению не только к представителям новых религиозных движений, но и к «традиционным» для России религиям.

Многообразие отношений к миссии, ярко проявившееся на съезде, отметил сайт **Свято-Филаретовского института** (www.sfi.ru): «Даже сейчас, через двенадцать лет после отмены антицерковных законов, в некоторых епархиях, по офи-

циальному заявлению правящих архиереев, «миссионерской деятельности нет», в других, находящихся в таком же положении, существуют лишь официально назначенные епархиальные миссионеры, пока еще не знающие, ни чем заниматься, ни как это делать. Есть регионы, где ведется та или иная работа в виде личных инициатив, есть опыт организации мирянских структур для осуществления решений о миссионерской работе, принятых на уровне епархии. Наконец, в Японской Автономной церкви ведется активная, продуманная миссионерская деятельность — обязательно годичное оглашение перед крещением, проводятся постоянные миссионерские и просветительские встречи».

6. Конференция «Духовные движения в Народе Божьем. История и современность»

Со 2 по 4 октября в Москве состоялась богословская конференция «Духовные движения в Народе Божьем. История и современность», организованная Свято-Филаретовским институтом совместно с журналом «Вестник РХД» и Институтом человека РАН. Ее работу освещали информационное агентство **«Благовест-инфо»** и сайт **Свято-Филаретовского института** (www.sfi.ru).

В работе конференции приняли участие многие известные богословы и ученые — такие, как С.С. Аверинцев, епископ Серафим (Сигрист), архимандрит Августин (Никитин), Д. Поспеловский и другие. Краткое изложение тематики докладов пленарного заседания размещено на сайте Свято-Филаретовского института.

Агентство **«Благовест-инфо»** рассказало читателям о проведенном в рамках конференции «круглом столе», посвященном актуализации наследия преп. Серафима Саровского. Цитируются выступления свящ. Владимира Зелинского (Брешия, Италия), который считает, что «русская святость была выражена, прежде всего, отторжением от общества, и этим она и питала общество», и свящ. Георгия Кочеткова. По словам о. Георгия, если отбросить «все недостоверное», то наиболее аутентичным движением, связанным с именем преп. Серафима, является движение «беседников».

В рамках конференции прошли три секции: историческая, богословско-культурологическая, а также секция «Духовные движения: опыт XX века». По сообщению **«Благовест-инфо»**, на исторической секции прозвучали доклады о духовных движениях, упоминаемых в Священном Писании; сообщения по истории старообрядчества, о духовных движениях на Западе в эпоху Ренессанса; прозвучал доклад о киевской общине о. Анатолия Жураковского.

Участники богословско-культурологической секции коснулись вопросов существования молодежных движений, «нецерковности псевдодвижений» (в частности, конфликта вокруг принятия ИНН), а также сложностей взаимоотношений между представителями духовных движений и церковной иерархией. Докладчики говорили также о необходимости актуализации опыта Поместного собора 1917-18 гг.

На заключительном пленарном заседании, по сообщениям того же агентства, с докладами выступили директор Института человека Российской академии наук О. Генисаретский, священник Владимир Зелинский, главный редактор журнала «Вестник русского христианского движения» Никита Струве, протопресвитер

Виталий Боровой. Во второй половине дня состоялся круглый стол «Духа не угашайте», на котором участники вновь обратились к решениям Поместного собора 1917-1918 годов. По завершении дискуссии с заключительным словом выступил ректор Свято-Филаретовского института священник Георгий Кочетков. Кратко подведя итоги конференции, он отметил, что в ее работе приняло участие около 600 человек из 17 стран, в том числе 27 священнослужителей.

Конференция завершилась презентацией сборников международных научно-богословских конференций «Язык Церкви» и «Предание Церкви и предание Школы», изданных Свято-Филаретовским институтом. О сборнике «Язык Церкви» уже появились рецензии в приложении к «Независимой газете» «Ex libris» и в журнале-обозрении **«Библио-глобус»** (№ 10 за 2002 г.).

7. Дело митрополита РПАЦ Валентина (Русанцова)

12 ноября портал **Credo.ru** сообщил, что судебное заседание коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда оставило в силе приговор по «суздальскому» делу. Кассационная жалоба была принята во внимание, но смягчила лишь часть формулировок. Это сообщение, видимо, поставило точку в обсуждении одного из громких скандалов, связанного с деятельностью главы Российской Православной Автономной Церкви митрополита Валентина (Русанцова).

В конце августа в Суздале, по сообщению сайта **«Мир религий»**, лидер РПАЦ Валентин Русанцов, именуемый в РПАЦ «митрополитом Суздальским и Владимирским», был признан виновным по статьям 132, часть «д» (изнасилование несовершеннолетних) и 133 УК РФ и приговорен к 4 годам лишения свободы условно, с отсрочкой приведения приговора в исполнение на 3 месяца. «Фактически это первый в постсоветской России случай, когда церковному иерарху такого уровня, пусть даже и не связанному с Московской Патриархией, выносят столь суровый судебный вердикт», — сообщается в информации, размещенной на сайте **РТР**.

Сайт **«Лента.Ру»** напоминает историю образования РПАЦ: «В 1990 году архимандрит Анатолий Русанцов, настоятель Цареконстантиновского храма Суздаля, покинул свой пост и перешел сначала в Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), а затем, через пять лет, основал собственную церковь — Русскую автономную православную (РАПЦ)».

По мнению портала **«Credo.ru»**, дело Русанцова имеет отчетливые политические коннотации. «На ближайшие годы духовной монополии РПЦ МП на «массовое» Православие в России более ничто не угрожает», — считает автор опубликованной в начале сентября статьи «Долгожданная неправда».

8. Уход епископа Илариона (Алфеева) с поста викария Сурожской епархии

Осенью на **официальном сайте Киево-Печерской лавры** появилось интервью с епископом Иларионом (Алфеевым), главой представительства РПЦ при европейских международных организациях. В интервью затрагивалась тема конфликта, предшествовавшего его уходу из Сурожской епархии. Цитируя письма митрополита Сурожского Антония и прихожан, епископ Иларион опровергает

предъявленные ему обвинения. Интервью заканчивается мыслью о том, что «нынешняя история, происшедшая в епархии, «аукнулась» дискуссией в русской православной диаспоре относительно роли Московского Патриархата на Западе». Это действительно так, и, судя по всему, конфликт будет иметь продолжение.

Освещение этого вопроса в прессе имеет краткую предысторию.

Первая информация в СМИ в связи с проблемами, возникшими в Сурожской епархии после начала служения епископа Илариона в качестве викария, появилась 18 июня на **сайте «Библиотека Якова Кротова»**. Это был английский текст слова, произнесенного митрополитом Антонием 19 мая на приходском собрании в лондонском Успенском соборе. Выступление содержало очень резкие и горькие слова: «Если он неудовлетворен, как и мы, тогда мы разойдемся по обоюдному согласию. Это будет очень больно для него. Это будет больно и для меня, потому что, как я уже говорил, он *был* моим духовным сыном и личным другом. Но для нас принципиально, что он должен узнать, что представляет собой Сурожская епархия и каковы ее особенности. Особенности епархии для меня вкратце представляются следующими: прежде всего это епархия народа, клир которого и епископ которого воспринимают себя как служителей. Мы знаем из Евангелия, что кто хочет быть первым, должен быть последним» (курсив и перевод наш. — *А.К., Б.К.*). Одновременно в тексте звучала и надежда на примирение.

Однако эта надежда не оправдалась. В июле, накануне заседания Св. Синода РПЦ, появились первые сообщения о том, что епископ Иларион добровольно уходит со своего поста. 19 июля сайт **«Религия в России»** опубликовал статью Ольги Ганюшкиной «Илариону не мил Альбион». В ней, в частности, говорилось: «Причиной разногласий по нашей информации стала сама суть деятельности епископа Илариона: его нацеленность на работу исключительно с русской частью прихожан и излишняя самостоятельность. Это вызвало внутреннюю напряженность внутри Сурожской православной общины, рост противоречий между коренными англичанами и усилившей свои позиции русской диаспорой епархии». Статья сопровождалась публикацией еще одного документа — заявления Епархиального совета «О создавшемся положении в Сурожской епархии», которое было зачитано 16 июня в Успенском соборе в Лондоне.

Вскоре на официальном сервере Московского Патриархата **«Русская Православная Церковь»** (www.orthodox.org.ru) появился текст решения Св. Синода, из которого стало известно, что Священный Синод Русской Православной Церкви учредил представительство Московского Патриархата при европейских международных организациях и что главой Представительства, которое находится в Брюсселе, назначен епископ Иларион (Алфеев).

Через месяц, 21 августа, в газете **«НГ-Религии»** появились две большие статьи: одна — митрополита Антония (Блума), другая — епископа Илариона, — где вновь поднималась тема причин и последствий конфликта.

Конфликт затронул немало проблем, в частности, о степени возможного вмешательства центральных учреждений РПЦ в повседневную епархиальную жизнь, о путях воцерковления третьей волны русской эмиграции.

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

Александр ЖУРАВСКИЙ

ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Что такое религиозное учебное заведение? Только ли место, где конфессия готовит свои кадры в той парадигме ценностей, которая отличает именно эту конфессию? Могут ли религиозные учебные заведения представлять интерес для государства или конфессиональное образование — есть исключительно внутреннее дело Церкви? Насколько безразличен для государства и общества уровень образования в духовно-учебных заведениях, где воспитываются будущие религиозные лидеры и будущие религиозные элиты? Какова степень гражданской лояльности этих будущих элит России, насколько они способны, будучи искренними верующими, сохранять свою гражданскую идентичность? Обладают ли они религиозным иммунитетом против чуждого иностранного влияния? Будут ли воспитанники религиозных учебных заведений защитниками традиционных для России форм религиозности или станут проводниками импортируемого из-за рубежа деструктивного влияния экстремистских культов?

Примерно такие вопросы возникают у светской власти, когда начинается обсуждение проблемы религиозного образования. При этом мало кто скрывает, что наибольшее беспокойство вызывает система (точнее, ее полное отсутствие) исламского религиозного образования в России.

В то же время, мало кто осознает, что без решения проблем православного религиозного образования едва ли можно разрешить проблемы образования исламского.

Во-первых, уже потому, что Русская Православная Церковь — религиозная и социокультурная доминанта российского религиозного пространства. Ассоциирующих себя с православной традицией — большинство в современной России. Во-вторых, ей принадлежит ведущая роль и в вопросах государственно-церковных отношений. Все остальные конфессии (в том числе и мусульмане) следуют в фарватере тех инициатив и договоренностей, которые реализованы здесь российским православием.

В области религиозного образования ситуация аналогичная. Именно Русская Православная Церковь выступила главным инициатором как внутрицер-

Александр ЖУРАВСКИЙ — родился в Казани в 1970 году. Окончил Казанский авиационный институт им.Туполева и Православный Свято-Тихоновский богословский институт. Работал проректором Казанской духовной семинарии, в 2000 году защитил в Институте российской истории РАН диссертацию на степень кандидата исторических наук, в ПСТБИ — кандидата богословия. В настоящее время работает в Большой российской энциклопедии и в Церковно-научном центре «Православная энциклопедия». Живет в Москве.

ковных образовательных реформ (здесь главную активность проявляют Учебный комитет РПЦ, Отдел по катехизации РПЦ, Православный Свято-Тихоновский богословский институт — ПСТБИ), так и реформ в области светского религиозного (теологического) образования (опять же — ПСТБИ и Учебно-методический отдел МГУ по теологии — УМО). Таким образом, именно православное экспертное сообщество определяет форматы и новые контексты развития религиозного образования в России. Нравится это кому-то или нет, но это именно так. И поэтому — а также потому, что автор этих строк особенно хорошо знает систему светского теологического и православного религиозного образований, — именно этим типам образования и будет уделено основное внимание в настоящей статье, оставив обсуждение исламской системы религиозного образования для другого раза.

Образовательная проблема, как она есть

Очевидно, что важнейшей церковной проблемой современности является кадровая проблема. Без ее решения бессмысленными становятся все церковные реформы. А кадровая проблема всегда решалась при помощи эффективной системы образования.

В настоящее время существует две системы православного образования — традиционная, т.е. конфессиональная (духовно-учебные заведения, которые, например, в Русской Православной Церкви подчиняются Учебному комитету) и только нарождающаяся светская (теологические факультеты и кафедры, находящиеся в подчинении Министерства образования РФ и имеющие лицензию на преподавание «Теологии»). Причем в России, последовательно не ищущей легких путей, *богословская* и *теологическая* системы образования и по существу разведены именно как *разные* системы. По нашей российской методе богословие — это то, что преподается в духовно-учебных заведениях (они же — по терминологии Министерства образования — *учебные заведения профессионального религиозного образования*), а теология — это та светская наука, что преподается в светских вузах.

Так в России появились науки-клоны: богословие и теология. Очень пикантная ситуация для страны, где серьезные богословские исследования были прерваны на семь десятилетий.

Однако богатая красками палитра отечественной образовательной системы была бы описана нами неполно, если бы мы упустили еще одну новую в России науку, появившуюся одновременно с теологией — религиоведение.

Фантасмагоричная история распада СССР и образование на части постсоветского пространства государства под названием Российская Федерация, так и не нашедшего своей национальной идеи, ознаменовали не менее фантасмагоричный *синкретический* этап государственно-церковных отношений. На этом этапе (который, как мне представляется, близок к логическому завершению, а, скорее, даже уже завершен) государство стало питать к религии смешанное чувство, состоящее из религиозного невежества, религиозной всеядности, неосознанной вины за былые преследования и дремучего атеизма, стыдливо скрываемого за секулярной терминологией просвещенного гуманизма, и так называемой «светскости». Религиозным невежеством, всеядностью и, отчасти, рус-

ским «авось» да чиновничьим «интересом», объясняется беспрепятственно осуществленное «нашествие иноплеменных» религиозных движений, значительная часть которых оказалась деструктивной по отношению к традиционным устоям российского общества и государства. А вот смешанное чувство вины и рудиментарного атеизма породило в сфере российского образования сиамских близнецов — два совершенно идентичных образовательных стандарта, написанных, словно под копирку — по религиоведению и теологии. При этом разработчики стандартов, уклонившись от возможности использовать мировой религиоведческий и теологический (православный, католический, протестантский, исламский и пр.) опыт, как всегда в России, «пошли своим путем», произведя на свет нечто такое, что оказалось весьма далеко от традиционного представления об этих дисциплинах.

Одновременно с новыми дисциплинами и образовательными направлениями появились и специалисты. В религиоведы пошли преимущественно бывшие преподаватели научного атеизма, в теологи — представители гуманитарных наук (философы, филологи, историки) и священнослужители.

История вопроса. О теологии и религиоведении: в цифрах и фактах

Как уже сказано, история развития образовательного направления «Теология» тесно связана с историей возникновения образовательного направления «Религиоведение».

В 1993 году одновременно были утверждены нормативные акты, регулирующие требования к новым направлениям по «Теологии» и «Религиоведению».

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 520200 — **«Теология»** (нормативная длительность обучения при очной форме — 4 года) были утверждены 30 декабря 1993 года Заместителем Председателя Госкомвуза России В.Д.Шадриковым и объявлены действующими в качестве **временных** требований **до введения государственного стандарта** с 01.09.1997.

Одновременно 30 декабря 1993 года В.Д.Шадриковым были объявлены действующими в качестве **временных** требований **до введения стандарта** с 01.09.1997 и «Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 522400 — **«Религиоведение»** (второй уровень высшего профессионального образования)». А 23 сентября 1996 года им же были утверждены и «Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по *специальности* 022200 — **«Религиоведение»** (третий уровень высшего профессионального образования — нормативная длительность обучения при очной форме — 5 лет, присуждаемая квалификация — «Религиовед»).

В отличие от религиоведения стандарт по специальности «Теология» ожидала более печальная участь. Только 2 марта 2000 года был подписан приказ №686 (приказ, но не стандарт) министра образования России В.М.Филиппова, в соответствии с которым специальность «Теология» была включена в перечень направлений подготовки бакалавров и магистров, а также в перечень специальностей подготовки дипломированных специалистов. Приказ предпо-

лагал поэтапный переход системы образования на новый перечень специальностей. Однако ждать введения государственного образовательного стандарта по специальности «Теология» пришлось два года.

Возникла коллизия: «Теология», как специальность, приказом министра образования РФ была утверждена, направления бакалавриат и магистр теологии — существовали, а государственный образовательный стандарт по **специальности** «Теология» — нет.

Причин тому было несколько. Во-первых, из-за пылких дискуссий, разгоревшихся по вопросу о возможности преподавании теологии в светских вузах. Проект, разработанный специалистами ПСТБИ и УМО по теологии, был подвергнут критике со стороны части экспертного истеблишмента. Это были, прежде всего, религиоведы, чье прошлое было тесно связано с научным коммунизмом; правозащитники и последователи постсоветского атеизма, выступавшие за сохранение их понимания «светского характера» системы высшего образования. Во-вторых, часть ученых подвергли сомнению научность теологического исследования, как такового. Светским и церковным сторонникам теологии как научной дисциплины пришлось доказывать собственную правоту.

Теология и религиоведение в России: война стандартов. Комментарий к «Истории вопроса»

При сравнении определений деятельности бакалавра теологии (образовательный стандарт по направлению 520200) и бакалавра религиоведении (образовательный стандарт по направлению 522400) выявляется их почти совершенная идентичность.

«Деятельность **бакалавра (теологии)** направлена на анализ религии как одной из сфер жизни общества, изучение истории ее развития, различных направлений и конфессий религии, теологического обоснования религии, особенностей проявления религии в современном мире».

«Деятельность **бакалавра (религиоведения)** направлена на анализ религии как одной из сфер жизни общества, истории ее развития, изучения различных направлений и конфессий религии, особенностей проявления религии в современном мире».

«Деятельность **специалиста (религиоведения)** направлена на изучение религии и свободомыслия как одной из сфер жизни общества в ее историческом развитии, анализ различных направлений и конфессий, особенностей эволюции религии и свободомыслия в настоящее время, их место в духовном развитии личности».

Итак, бакалавр теологии отличается от бакалавра религиоведения только тем, что изучает «теологическое обоснование религии», а специалист по религиоведению от бакалавров теологии и религиоведения тем, что изучает историю свободомыслия. Такова концепция современного постсоветского религиоведения в России!..

Появляющийся в определении деятельности **специалиста религиоведения** (образовательный стандарт по специальности 022200) новый термин **«свободомыслие»** понимается разработчиками весьма своеобразно. В списке общепрофессиональных дисциплин имеется предмет «История свободомыслия» (ОД.13,

в образовательном стандарте по направлению бакалавр теологии — ДН12, по направлению бакалавр религиоведения — ДН11), на который отводится 170 часов. Любопытны «формы свободомыслия»: «богоборчество, религиозный индифференцизм, скептицизм, нигилизм, антиклерикализм, атеизм и т.д.» Можно подумать, что в атеистической Советской России верующий человек не проявлял свободомыслия!..

В образовательном стандарте по специальности религиоведения есть еще специальная дисциплина (СД 02) «Свобода совести», на которую отводится 136 часов. Этот курс по своей антирелигиозной направленности есть логичное продолжение курса «История свободомыслия». На эти два курса тратится 206 академических часов. Между тем, на общепрофессиональный предмет (ОД.03) «Христианская теология (богословие)» специалисту по религиоведению отводится всего лишь 142 часа, причем сюда включена как история теологии, так и «система теологии (богословия): основное, догматическое, нравственое, пастырское, патрология, гомилетика, экзегетика, литургика; особенности содержания теологии (богословия) в разных христианских конфессиях». Кстати, бакалавру теологии на предмет «Введение в системы теологии» отводится и вовсе 136 часов, причем, за это время необходимо изучить не только православную, католическую и протестантскую, но и буддистскую и исламскую системы теологии. При таком поверхностном подходе полноценное теологическое образование получить сложно.

Итак, требования к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки бакалавра по направлению «Теология» и «Религиоведение» практически совпадают. Более того, оба документа разработаны, исходя из **религиоведческого** (и исключительно **материалистического)** подхода.

Теология: легитимна везде, кроме России

Дискуссии о легитимности светского теологического образования в России, разгоревшиеся на страницах религиозной и светской прессы, обнаружили, что несмотря на правовую оформленность теологического образования в России, в этом вопросе существуют две непримиримо оппонирующие друг другу группы, условно именуемые «теологами» и «религиоведами» (у мусульман — разделение на «богословов» и «востоковедов»). Похоже, что такая ситуация является своеобразным российским феноменом, поскольку на Западе такого явного конфликта нет: религиоведческое и теологическое как образование, так и научные исследования часто одновременно присутствуют в стенах одного университета.

Известно, что теологические факультеты в Европе — самые древние (древнее юридических). И это естественно, поскольку европейские университеты возникли в средневековье как богословские школы при епископских кафедрах. Однако Россия и здесь идет своим путем — теологические факультеты в России возникают тогда, когда на Западе они приходят в упадок. Тем не менее, оказывается, что светское теологическое образование в стратегическом отношении способно решить важную государственную задачу — разрушить средостение, порог недоверия между государством и религиозными организациями, дать образованные верующие кадры и религиозному сообществу и самому

государству, испытывающему серьезный дефицит квалифицированных молодых специалистов в области церковно-государственных отношений. Хотя для самого государства гораздо важнее задача по созданию религиозной системы образования, политически лояльной светской власти и конкурентно-способной по отношению к нетрадиционным (и, подчас, явно деструктивным) иностранным формам религиозности. И поскольку часто с распространением инокультурной религиозной традиции привносится и чуждая политическая тенденция (как это происходит с импортируемым ваххабизмом, туранизмом, некоторыми псевдорелигиозными и квазихристианскими движениями), государственный контроль за развитием религиозного (особенно, исламского) образования в России становится задачей национальной безопасности.

На фоне этой все более явной заинтересованности светской власти в структурированной и эффективной системе религиозного образования, теряют свою актуальность споры о том, быть теологии в светских вузах или не быть. Да и проблема правового разрыва между конституционным принципом отделения Церкви от государства и преподавания религиозных дисциплин в школах и вузах представляется не столь катастрофической, если обратиться к опыту зарубежных демократических государств.

В таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Япония и т.д., в государственных общеобразовательных школах и государственных вузах преподаются религиозные предметы, несмотря на наличие в конституциях большинства этих стран принципа отделения Церкви от государства. Причем права верующих *получать религиозное образование за государственный счет* зафиксированы на законодательном уровне. Например, в параграфе 3 статьи 24 Конституции Бельгии говорится: «Все учащиеся, подлежащие обя́зательному школьному обучению, имеют право на духовное и религиозное обучение за счет сообщества». Пункт 3 статьи 7 Основного Закона Федеративной Республики Германии признает религиозное обучение обязательным в государственных школах: «Преподавание религии в государственных школах, за исключением неконфессиональных, обязательно. Без ущерба для права надзора со стороны государства религиозное образование проводится в соответствии с принципами религиозных общин». В Германии, также как в Великобритании, Греции и др. государствах, существует государственное финансирование теологических факультетов.

Даже в США принцип отделения Церкви от государства не является общенациональным, поскольку 1-я поправка к Конституции США не нашла единодушной поддержки всех штатов: в конституциях Пенсильвании, Нью-Гемпшира, Джорджии, Коннектикута и Массачусетса специально оговариваются привилегии религии и содействие со стороны штатов, в частности, в области религиозного образования.

Таким образом, опыт зарубежных демократических государств свидетельствует, что право граждан на религиозное образование не только неоспоримо, но и может быть закреплено в конституциях. И это с позиции западного правоведения никак не противоречит принятой на Западе общей светской направленности образования. Поэтому и введение, например, теологического образования в государственных вузах России не может противоречить светс-

кому характеру российского образования, закрепленному в Конституции РФ и Законе РФ «Об образовании», если, конечно, под «светскостью» не понимать антиклерикализм и атеизм.

Несомненно, что точно так же и «теология» с «богословием» только в России разведены как разные понятия, дисциплины и науки. Причем искусственно и недавно.

Конечно же, «теология» и «богословие» — понятия идентичные, и «богословие» — славянская калька-перевод греческого термина «теология». Сущностного различия в этих терминах нет. Вместе с тем, существует еще дореволюционная традиция именовать в России *конфессиональное* теологическое образование именно *богословским* или *духовным*. Термин «теология» в дореволюционной России употребляли исключительно по отношению к западному богословию, различая отечественную богословскую и западную (католико-протестантскую) теологическую традиции.

Но реалии современной российской светской системы образования настаивают на внесении различений между **светским религиозным** (как это ни дико звучит) образованием, т.е. теологическим, и конфессиональным, духовным, т.е. богословским. В терминологии Министерства образования богословское (духовное) образование именуется *профессиональным религиозным образованием*. Таким образом, даже на уровне терминологии проводится различие между целями светского теологического и духовного (богословского) образования: профессиональное религиозное образование готовит священно- и церковнослужителей, а теологическое образование готовит кадры для государства, для светских вузов и светской науки. При этом очевидно, что подобное различение носит исключительно формальный характер, поскольку никто не может запретить выпускникам теологических факультетов принять сан или преподавать в духовно-учебных заведениях.

Что же до Запада (Германия, Великобритания, Греция, Италия, Польша), то там светское теологическое образование имеет не только глубокие традиции, но и определяется иначе, чем в России. В этих странах государственное (!) теологическое образование не означает *религиозного индифферентизма, внеконфессионализма,* поскольку теология (учение о Боге) не может быть *адогматична*. В Европе существует множество католических, православных, протестантских, иудейских, исламских теологических факультетов, институтов и даже университетов, имеющих государственные дотации (не говоря уже о признание государством дипломов подобных факультетов) как в тех странах, где религия не отделена от государства, так и в тех, где отделена.

В качестве одного из наиболее убедительных примеров светского теологического образования в системе государственного высшего образования на Западе можно привести теологический факультет Оксфордского университета в Великобритании. Преподаватели факультета преимущественно православные и англикане. В то же время для чтения спецкурсов и отдельных дисциплин, связанных с историей развития протестантизма, иудаизма, раннего христианства приглашаются лучшие специалисты в этих областях, представители Католической Церкви, традиционных форм протестантизма (баптисты, лютеране, методисты), иудаизма. Однако среди преподавателей нет атеистов.

На официальном сайте теологического факультета Оксфордского университета говорится, что «Теология в Оксфорде — это главным образом Христианская Теология. Оксфорд традиционно концентрирует свои ресурсы на изучении происхождении и развитии Христианства». Изучается новозаветная история, история и развитие христианских идей с древности до настоящего дня. Но на факультете изучается также и литература, история и идеи древнего Израиля и иудаизма. В то же время «несмотря на благоприятствование исследованиям других религиозных традиций и самого феномена религии, — говорится на официальном сайте, — оксфордские курсы остаются *в пределах основного контекста христианского понимания религиозной веры*». Последнее утверждение позволяет и нам четко дифференцировать *теологический* и *религиоведческий* подход к исследованию религиозных идей и религиозной истории.

Теологический подход необходимым образом предполагает *веру в Бога* и, чаще всего, определенную конфессиональную идентичность лектора, студента, исследователя. *Религиоведческий* подход предполагает следование принципу *религиозной индифферентности* и рассмотрения религии исключительно как социального феномена.

Обе эти традиции в современном западном обществе нашли себе место и государственную поддержку, поскольку среди ученых, преподавателей, студентов, являющихся гражданами этих государств, имеются как верующие, так и люди в религиозном отношении индифферентные.

Боль и реформы православной духовной школы

Впрочем, судьба теологического образования в России представляется более или менее прогнозируемой. Гораздо сложнее обстоят дела с духовным образованием.

Система православного духовного образования в новой России до 1996-1997 гг. состояла из трех уровней: низший уровень — двух-трехлетние духовные училища и пастырские курсы, средний уровень — 4-летние духовные семинарии, высший уровень — духовные академии. Выпускники духовных училищ поступали на второй или третий курс семинарий (в зависимости от качества образования, полученного в училищах), лучшие выпускники семинарий по конкурсу поступали в духовные академии. Была система как очного, так и заочного образования. Последняя — преимущественно для приходского духовенства и монашествующих, не имеющих возможности очно получить духовное образование. Подобная система сложилась на рубеже 80-90-х годов XX века, когда появилась возможность открывать новые духовно-учебные заведения, в том числе духовные училища.

В СССР существовали только два уровня — средний (семинарский) и высший (академический). Отсутствие низшего объяснялось просто — в СССР законодательно было запрещено вовлечение несовершеннолетних в религиозные учреждения. Естественно, что в средних духовно-учебных заведениях (семинариях) обучались совершеннолетние, уже имевшие светское среднее (или средне-специальное) образование, большинство — отслужившие в рядах Советской армии.

Советская система православного духовного образования ведет свое начало с июня 1944 года, когда в Новодевичьем монастыре открылся Православный богословский институт (высшее духовно-учебное заведение) и Богословско-пастырские курсы (среднее заведение), которые в августе 1946 года были преобразованы, соответственно, в Московскую духовную академию и Московскую духовную семинарию. В октябре того же 1946 года были открыты Ленинградские духовные академия и семинария. Кроме того, в 1946-1947 гг. были учреждены духовные семинарии в Киеве, Одессе, Саратове, Луцке, Ставрополе, а также в Жировицком Успенском монастыре. Все семинарии, кроме Московской, Ленинградской и Одесской, не пережили «хрущевской оттепели». Преемственность прежних семинарско-академических традиций в наиболее сильных Московской и Ленинградской духовных школах была обусловлена приходом в эти образовательные учреждения выпускников дореволюционных духовных академий. Основной проблемой семинарий в СССР была богословская непросвещенность и неподготовленность абитуриентов. Отсутствие низшей ступени духовного образования — духовных училищ, недоступность в СССР религиозной литературы, даже Священного Писания, когда даже Словарь атеиста печатался небольшими тиражами, поскольку весь тотчас скупался «религиозниками» — все это объясняло низкий уровень выпускников семинарии, едва возвышавшийся над уровнем дореволюционного духовного училища. Естественно, что при таком положении дел уровень выпускников духовных академий едва превышал уровень выпускников дореволюционных семинарий. Сама методика преподавания учебных дисциплин была устаревшей, воспринятой, фактически без изменений, от дореволюционных духовно-учебных заведений. Обучение в советских духовных семинариях и академиях по системе «4+4» (4 года в семинарии, 4 — в академии) осуществлялось преимущественно по дореволюционным или адаптированным к уровню учащихся пособиям. Учебные программы курсов не пересматривались десятками лет, образовательная деятельность была вторична по отношению к воспитательным задачам, причем, не только в семинариях, но и в академиях. Академические курсы лишь незначительно отличались от семинарских и студенты, уже имевшие высшее светское образование, обычно без особых усилий экстерном сдавали экзамены за семинарию и академию, причем некоторые — за 3-4 года. Уровень духовных учебно-учебных заведений в советский период серьезно отставал от уровня светских вузов. Конечно, это являлось целенаправленной и осознанной политикой советского руководства. Кому в СССР были нужны сильные и конкурентноспособные религиозные вузы, если даже в те духовные семинарии и академии, которые были, конкурс составлял иной раз десятки человек на место?

Основной целью семинарий в СССР была подготовка пастырей, академий — подготовка епископата и преподавателей семинарий. Научные задачи академией практически не ставились. Научные исследования если и велись в стенах духовных академий, то не благодаря, а вопреки условиям внутреннего академического уклада. Не способствовало развитию церковной науки и фактическая научная изоляция академий от светской вузовской системы и системы АН СССР, а также отсутствие нормальных научных связей с зарубежными богословскими и церковно-научными учреждениями.

Система богословских ученых степеней была заимствована у дореволюционных духовных академий. Выпускники академий, как и до революции, писали **курсовое сочинение** (так называлась дипломная работа за весь курс обучения), за которое могла присуждаться степень кандидата богословия. Далее следовала магистерская диссертация, затем — докторская. Это было калькой с дореволюционной богословской системы, но ведь тогда для системы духовно-учебных и церковно-научных заведений такое положение дел было естественным, поскольку и в светской научной среде была принята трехступенчатая система ученых степеней — кандидат, магистр, доктор. Проблема заключалась в том, что до революции церковная образовательная система развивалась совместно со светской (новые уставы духовных академий и светских университетов принимались почти одновременно), а после 1917 года — автономно, причем, церковная образовательная и научная среда были намеренно изолированы от коммуникации со светской научной и образовательной системой. С Академией наук СССР первые контакты у представителей духовных академий появились только в 1987 году, в преддверии грядущего празднования 1000-летия Руси и организации научных конференций, посвященных этому событию.

К церковно-научным степеням сама церковная среда испытывала огромный пиетет. Ведь раньше считалось, что магистром богословия может стать только очень талантливый церковный ученый, а доктором богословия — только сделавший церковно-научное открытие. Об этом напоминала слава великих дореволюционных авторитетов — тех профессоров духовных академий, которые обучали будущую профессуру академий советских. Но именно потому, что к ученой степени доктора богословия привыкли относиться чуть ли не как к ученому званию академика или член-корреспондента, подавляющее большинство докторских ученых степеней присуждалось не за диссертацию, а «по совокупности трудов». При такой возможности получить столь почетную регалию без систематического научного труда едва ли было мыслимо ожидать научных открытий и плодотворной научной деятельности. Да и мотиваций в таком труде в Советском Союзе не было. Поэтому духовная школа словно бы застыла в своем развитии. В кандидатских, магистерских и даже докторских диссертациях раздел библиографии и источников был представлен преимущественно (или даже исключительно) дореволюционными изданиями, как будто церковная наука ничего не привнесла за последующие за 1917 годом десятилетия. Большинство церковных ученых не знало (а то и не признавало) требований ГОСТов и ВАКа по оформлению научных работ, четко проводя границу между светским научным исследованием и церковно-научным исследованием. Понятно, что отторжение было взаимным.

Таким образом не только уровень образования, получаемого в духовных академиях, но и уровень научных исследований духовных академий был несоизмерим с уровнем светского образования и светской науки. В этом была трагедия и печальная закономерность духовной школы, загнанной в образовательно-научное гетто.

Между тем, так было не всегда. И даже рискну предположить, что так будет не вечно. Конечно, нельзя надеяться, что за десятилетие образовательных реформ духовно-учебные заведения преодолеют 70-летнее отставание, но сегод-

няшняя дистанция между уровнем духовных и светских вузов не столь уже велика, как была в советские годы.

Исторический опыт показывает, что духовные школы не всегда были в роли догоняющих высшие светские школы. На рубеже XIX-XX вв. уровень духовного образования и церковной науки не только сравнялся, но по некоторым наукам и превзошел университетский. Даже «провинциальная» Казанская духовная академия воспитывала выдающихся ученых, которых с большим радушием принимала университетская наука. Выпускник академии литургист А.А.Димитриевский прославился в Новороссийском университете, канонист А.С.Павлов — в Московском. Один только профессор канонического права Илья Степанович Бердников воспитал целую плеяду ученых, преподававших в шести высших учебных заведениях России (Казанском, Харьковском и Томском университетах, Институте гражданских инженеров, Московской и Казанской духовных академиях).

Обе — светская и духовная — образовательные системы развивались по законам внутренней логики и целесообразности, но при этом нельзя сказать, что совершенно не было никакой зависимости духовной школы от светской. Напротив, процесс институционального развития духовной школы вплоть до октябрьского переворота 1917 года находился в русле общероссийских реформаторских и контрреформаторских процессов. Поэтому реформы духовной высшей и средней школы осуществлялись почти одновременно с реформами светского образования. Так, новые уставы духовных академий вводились в 1814, 1869, 1884, 1910-1911 и 1917 гг., т.е. почти одновременно с введением новых университетских уставов, знаменующих собой новые этапы образовательных реформ. Каждый из этих академических и университетских уставов нес в себе «дух эпохи», являлся плодом реформаторских или, напротив, контрреформаторских устремлений того или иного российского императора, политической и церковной элит России.

Анализируя научную деятельность духовных академий на рубеже XIX-XX вв., можно прийти к выводу, что период с 1884 по 1910 гг. (время действия устава духовных академий 1884 года) явился периодом наибольшего расцвета академической науки в России, а период 1910-1917 гг. (когда действовал устав 1910 года) был переходом к новому, еще более высокому уровню академической науки, чуждому эпигонства, компилятивности и зависимости от науки западной. Преимущественно схоластический, школьный характер русской богословской и церковно-исторической науки, характерный для периода до 1869 г., в эпоху либеральных реформ и действия либерального академического устава меняется в лучшую сторону, обретает формы научного исследования, основанного на новейших достижениях мировой науки. Уже в 80-90-е годы XIX в. отечественная церковная наука настолько окрепнет, что начнет выдвигать из своей среды ученых практически мирового уровня. В Петербургской академии — историка В.В.Болотова, литургиста и исследователя церковной археологии Н.В.Покровского; в Московской — историков А.П.Лебедева, Е.Е.Голубинского, Н.Ф.Каптерева, патролога И.В.Попова; в Киевской — еще в 60-70-е годы В.Ф.Певницкого, в Казанской — А.С.Павлова, литургистов Н.Ф.Красносельцева и А.А.Дмитриевского, канониста И.С.Бердникова, библеиста П.А.Юнгерова, патролога Д.В.Гусева, историка Ф.А.Курганова. Статьи этих ученых переводятся на иностранные языки, монографии становятся явлением в отечественной на-

уке. Все чаще в публикациях профессоров и доцентов академии встречается аргументированная критика западных исследований, полемика с ними, причем эта полемика не остается односторонней, в ней участвуют и западные ученые (А.Гарнак, А.Пальмиери, епископ Никодим (Милаш) и проч.). Переписка отечественных и западных теологов публикуется в российских и зарубежных журналах, демонстрируя отсутствие языкового барьера и каких-либо искусственных границ. В отечественной церковной науке делаются научные открытия (исследования В.В.Болотова по церковной истории Египта, Эфиопии, Сирии; доказательство А.А.Спасским авторства Дидима Слепца в отношении «Четырех книг Евномия против св.Василия Великого»[1] и проч.). Переводы наиболее авторитетных зарубежных статей и монографий осуществляется практически сразу после выхода этих изданий на западе, научные поездки за границу становятся естественным и обычным явлением для отечественной науки. На рубеже веков и, особенно, в начале XX века отечественная наука вообще, и академическая, в частности, переживает невиданный прежде творческий расцвет..В Петербургской (Петроградской) академии работают историк и богослов Н.Н.Глубоковский (воспитанник Московской академии, под его редакцией продолжала выходить «Православная богословская энциклопедия»), историки И.С.Пальмов и А.И.Бронзов, византинист И.И.Соколов, библеист Е.И.Евсеев, исследователь христианской аскетики С.М.Зарин; в Московской — богословы и философы о.Павел Флоренский, М.М.Тареев, архимандрит Илларион (Троицкий); в Киевской — литургист М.Н.Скабалланович, в Казанской — философ В.И.Несмелов, патролог Л.И.Писарев, этнограф Н.Ф.Катанов, историк И.М.Покровский, догматист П.П.Пономарев.

Одновременно светская наука — университетская и развивавшаяся в системе Российской академии наук — также сделали на рубеже XIX-XX вв. серьезный прорыв в области церковно-научных исследований. Основоположник художественного византоведения и российской научной школы иконоведения Н.П.Кондаков был академиком РАН, профессором Новороссийского и Петербургского университетов. Русское византоведение, имевшее значительную церковно-историческую компоненту, развивалось такими выдающимися светскими учеными, как профессор Петербургского университета В.Г.Васильевский, профессор Киевского университета Ю.А.Кулаковский, профессор Петербургского и Юрьевского университетов А.А.Васильев, директор Русского Археологического института в Константинополе академик Ф.И.Успенский и т.д.

Стоит помнить, что многие профессора духовных академий преподавали в университетах и наоборот. Так, профессоры МДА историки В.О.Ключевский А.П.Лебедев, Е.Е.Голубинский были и профессорами Московского университета, профессоры КазДА философ В.А.Снегирев, канонист И.С.Бердников, историки П.В.Знаменский и А.Ф.Курганов преподавали одновременно в Казанском университете. Это был явлением нормальным и вполне естественным. И вовсе не потому, что Русская Церковь являлась государственной, а потому, что на рубеже XX и XXI столетий выровнялся уровень высшей духовной и светской школ.

[1] Гумеров Афанасий, священник. Три четверти века академического богословия. — Богословский Вестник. № 1, Вып.1, 1993. — С. 34-35.

Более того, многие выпускники духовных школ и вовсе преподавали исключительно в университетах, и даже становились впоследствии академиками. Было и взаимное признание образовательных стандартов (хотя к дореволюционным школам термин «стандарт» следует применять с известной долей условности).

После такой славной ретроспекции, приходится обратиться к периоду нашей церковной современности, куда менее богатой выдающимися именами и учеными достижениями. Конечно, и сегодня среди выпускников духовных вузов, православных институтов, лиц, имеющих духовные ученые степени, есть весьма авторитетные исследователи, чья компетенция не подвергается сомнению. Кто-то из них имеет светское образование (и даже светскую ученую степень), кто-то — нет, но все они, безусловно, участвуют в развитии современной церковной науки, являясь и для светских исследователей авторитетными специалистами.

Вместе с тем бессмысленно скрывать, что значительная часть обладающих учеными богословскими степенями светской научной общественностью за ученых не признаются. Таким образом. на неформальном уровне уже произошла **избирательная легатимация** богословских ученых степеней. Было бы вполне естественно узаконить этот процесс нострификации (признания) ученых степеней тех церковных ученых, чья компетенция не вызывает сомнений у светской научной общественности.

Однако вернемся к истории реформ современной образовательной системы Русской Православной Церкви.

В середине 90-х годов Учебным комитетом РПЦ во главе с епископом (ныне — архиепископом) Верейским Евгением были выработаны основные принципы духовно-учебной реформы. Семинарии объявлялись высшими православными духовно-учебными заведениями с пятилетним сроком обучения. Академии — своеобразной аспирантурой, местом, где в течение трех лет студенты получали специализацию и писали кандидатскую диссертацию. Затем они могли остаться еще на два года, чтобы работать над магистерской диссертацией. Таким образом, время обучения в семинарии увеличивалось с четырех до пяти лет, но образование признавалось высшим. Академии же становились двухступенчатым высшим богословским учебным заведением.

Реформа эта для консервативного церковного общества оказалась слишком прогрессивной, между тем как была непоследовательна и имела ряд существенных недостатков. Прежде всего: духовно-учебная система не становилась *системой*. Провинциальные училища и семинарии существовали автономно, по своим внутренним установлениям. Даже введение единого (типового) учебного плана некоторым ректорам и правящим преосвященным казалось вторжением Учебного комитета в сферу епархиальных интересов. Можно было только посочувствовать епископу Евгению, который оказался меж двух огней — Священный Синод и сама жизнь требовали реформ, местные церковные власти — их саботировали. Многие епископы, являвшиеся одновременно ректорами семинарий, увы, не желали активного реформирования духовно-учебных заведений: на это необходимы были значительные средства, а изыскивать их приходилось исключительно из епархиального бюджета. Кроме того, необходимо было менять привычную и проверенную поколениями семинарско-академическую систему на непонятную,

бакалаврско-магистерскую. И если уж российские университеты с большой неохотой принимали новую (весьма, кстати, несовершенную) западную модель высшего образования, то что говорить о духовно-учебных заведениях?

Между тем, система единого православного образовательного пространства была необходима. Причем, систему следовало выстроить от духовных училищ до академий. Вероятно, было бы логично создать учебные округа с центрами в тех городах, где существовали необходимые условия для развития духовного образования и церковной науки. В этих обязательно университетских городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань или Нижний Новгород, Новосибирск и т.д.) должны были быть духовная академия или имеющие серьезные ресурсы для внутреннего развития духовные семинарии. К академиям следовало бы приписать конкретные семинарии, к семинариям — конкретные духовные училища и пастырские курсы. Не грех было бы обратиться к опыту дореволюционных академий и семинарий, когда существовал набор казеннокоштных студентов, своекоштных, когда существовала добрая традиция выделения стипендий на обучение и проживание для студентов из малообеспеченных семей, для занимающихся научными исследованиями и т.д. Внутренний уклад дореволюционных духовных вузов интересен и с точки зрения деятельности преподавательских корпораций.

Несмотря на необходимость и важность реформаторских начинаний, реформа оставляла невыясненным уровень различных ступней высшего духовного образования и их соотнесенность с уровнем отечественного светского высшего образования. Еще менее внятной была ситуация с тем, как соотнести новую духовно-учебную систему с системами зарубежного православного и инославного богословского образования. Этой работы и вовсе не было проведено, несмотря на то что в Русской Православной Церкви имеются ученые, успешно окончившие западные православные и инославные учебные заведения или, во всяком случае, интегрированные в западную церковную науку и имеющие представление о функционировании крупнейших богословских учебных и научных центров.

Но и это еще не все недостатки. К внутренним проблемам, существующим в духовно-учебных заведениях, следует присовокупить еще и проблемы внешней среды.

С одной стороны, возросшая степень коммуникации с университетской образовательной и научной средой позволила достаточно быстро и эффективно в ряде семинарий решить проблему педагогических кадров. В духовные семинарии пришли профессора и доценты светских вузов, привнеся в семинарскую атмосферу интерес к языкам и гуманитарным наукам, ясную методику преподавания, свободу дискуссии. Там, где семинарское и епархиальное начальство обладало тактом и стратегическим чутьем, эти кадры остались и продолжают содействовать качественному росту духовного образования.

Но во многих случаях, светские педагоги столкнулись с особенностями закрытой системы образования, наследием той «бурсы», которую столь зло и часто несправедливо осмеивал Помяловский. В любом случае светская профессура не сможет охватить преподавание предметов специализации, богословских дисциплин. И здесь у большинства духовных школ — серьезные проблемы, поскольку мало надежды даже на сегодняшних выпускников — у них отсутствует мотивация для совершенствования в области педагогики или науч-

ной деятельности. Мизерная зарплата преподавателей семинарий и академий невыгодно отличает их от любого настоятеля, а то и рядового священника приходского храма. Совмещение же преподавания и священнического служения, как показывает практика, не содействует повышению квалификации преподавательских кадров семинарий и академий.

Да и как повысить квалификацию? Вопрос о защите богословских диссертаций до сих пор решается бессистемно. Отсутствуют даже сформулированные требования к уровню, объему и оформлению кандидатских, магистерских и докторских диссертаций. Периодически возникающие справедливые призывы привести богословские ученые степени в соответствие со светскими, а требования к церковным диссертационным работам — в соответствие с требованиями ВАКа, так и остаются призывами в пустоту. Если прежде на это находились возражающие, то в последнее время уже и не возражают. Просто никто не предпринимает реальных действий. К тому же, церковные ученые степени присуждаются только в трех духовно-учебных заведениях России — МДА, СпбДА и ПСТБИ, и у каждого церковного вуза свои требования и подходы. Ближе всего к требованиям ВАКа — защиты диссертаций в ПСТБИ, но зато здесь не могут защищать свои диссертации выпускники духовных академий. Духовные академии отвечают Свято-Тихоновскому богословскому институту тем же.

Никто не ждет выпускников духовных академий и в светских аспирантурах, поскольку здесь открывается другая, уже малоприятная сторона коммуникации духовно-учебных заведений с внешней средой: правовой статус духовного образования по-прежнему остается неопределенным, а потому образование, полученное в семинариях и академиях, не признается государством в качестве полноценного. С середины 90-х годов XX века духовно-учебные заведения получают лицензию на преподавание в сфере профессионального религиозного образования по направлению «Богословие», но ни государственного стандарта, ни подобного бакалаврского или магистерского направления по «Богословию» не существует и в список специальностей или образовательный направлений, утвержденных Министерством РФ, «Богословие» не внесено. Таким образом, полученное в семинариях и академиях образование признается только церковными организациями. Возникает проблема *социализации* выпускника духовно-учебного заведения: с этим образованием он не может продолжить обучение в светской аспирантуре (если, помимо духовного не имеет светское высшее образование), он не может (во всяком случае, с юридической точки зрения) преподавать в светских вузах и светских школах, не может работать там, где от работника требуется обязательное высшее образование.

Так что в правовом отношении выпускник семинарии и академии остается своего рода «лишенцем», что часто сопровождается возникновением комплекса социальной неполноценности. Возникает разрыв между задачами, которые ставятся обществом, государством и самой Церковью перед церковным человеком (выпускником семинарии или академии) и теми фактическими возможностями, которые предоставляются этому человеку. Церковь призывает к миссионерскому служению, активному преподаванию образованными священнослужителями в школах и вузах; государство и общество ожидают активного социального партнерства, в том числе и в области образования, но ни та, ни другая сторона долгое

время не давали реального инструментария для решения этой проблемы. Отчасти вопрос снимался созданием теологических факультетов, которые будут готовить людей, обладающих хорошим теологическим образованием (но не обязательно с религиозным сознанием). Но при этом недопустимо, чтобы выпускники духовно-учебных заведений (прямой задачей которых является формирование церковных элит) оставались — в правовом смысле — общественными изгоями, а в образовательном отношении — уступающими клирикам других конфессий.

Таким образом *проблема православного духовного образования становится проблемой*, как это принято ныне говорить, *«духовной безопасности», проблемой сохранения культурной традиции, проблемой способности русского православия быть адекватным постхристианским вызовам современности*. Без конкурентноспособного православного образования трудно ожидать и требовать от православного духовенства достойного ответа инокультурной экспансии или готовности преподавать теологические дисциплины на теологических факультетах светских вузов.

Выход из создавшегося положения теперь уже и большинству церковных деятелей видится в лицензировании духовно-учебных заведений по бакалаврскому и магистерскому направлению (или по специальности) «Теология». Для этого, конечно, придется скорректировать учебные планы семинарий и академий, сделать систему духовно-учебных заведений более открытой современным тенденциям в области гуманитарного образования, нести ответственность за уровень образовательного процесса. Многие семинарии, вероятно, не способны справиться на данном этапе с такими задачами. Таковые, следовательно, и не будут пролицензированы, оставаясь в том состоянии, в каком пребывают. Просто из пяти духовных академий, 31 духовной семинарии, 32 духовных училищ и 4 пастырских курсов несколько церковных учебных заведений, уровень образования которых будет действительно соответствовать вузовскому, получат лицензию на преподавание по стандарту «Теология». Но что тогда будет с самой системой православного духовного образования, с системой несовершенной, но обладающей унификационным образовательным ядром, внутренним образовательным стандартом (типовым учебным планом и программами) для семинарий и академий? Не обернется ли погоня за качеством образования утратой важной воспитательной составляющей духовного образования? Именно такие вопросы встают перед теми, кто разрабатывает церковные реформы.

И здесь возможны различные пути.

Путь первый — лицензирование семинарий по направлению бакалавр теологии, а академий — по направлению магистр богословия. При этом в семинарии действует схема «4+1», в академии — «2+1». Таким образом, в семинарии после четырех лет обучения по направлению бакалавр теологии, студент, желающий принять сан, остается еще на один семинарский год для прохождения пастырской программы и богослужебной практики, а уже затем принимает решение поступать в академию для продолжения образования и получения специализации или нет. Желающий же заниматься исключительно научно-педагогической деятельностью (без принятия сана) после четырех бакалаврских лет в семинарии поступает в академию, где обучается два года по магистерской системе. При этом в академии возможен еще один год пастырской программы, в случае если мирянин обучавшийся в семинарии по четырехлетней программе,

пожелает все-таки принять сан. Таким образом духовные академии становятся магистерской ступенью высшего теологического образования, где студенты специализируются по какой-то одной из церковно-научных дисциплин.

Иногда тут возникает, правда, вопрос: в чем же тогда специфика духовно-учебного заведения? Что, кроме года пастырской программы, остается в нем? Но ответ очевиден, хотя, возможно, и не удовлетворит многих противников «теологической» реформы духовно-учебных заведений. Прежде всего, остается специфический внутренний уклад духовных школ — участие в богослужениях, послушаниях, следование в своем внутреннем укладе *церковному* календарю и церковной традиции. Во-вторых, что не маловажно, остается *закрытый* характер заведения и исключительно *православный* состав обучающихся. Напомним, на теологические факультеты светских вузов обязаны приниматься студенты любого вероисповедания и даже атеисты, хотя бы факультет и являлся факультетом *православной* теологии!

Конечно, этот вариант при его кажущейся логичности, таит в себе и некоторые скрытые проблемы — прежде всего проблему аккредитации церковных вузов. Но и эта проблема, и вопрос о судьбе богословских научных степеней могут быть разрешены — было бы на то добрая воля. Трудности здесь не носят принципиального характера, и мы здесь не будем на этой теме задерживаться.

Принципиально другой вариант, который для сторонников сохранения обособленности православных духовных школ выглядит более предпочтительным, — это вовлечение духовно-учебных заведений в процесс **нострификации**, т.е. признания государством эквивалентности диплома семинарий (даже с особенностями церковного образовательного стандарта) диплому бакалавра теологии. В этом случае, духовно-учебным заведениям не нужно будет лицензироваться по стандарту теология, а желающие продолжить образование по светской специальности должны будут досдать необходимые экзамены. Не нарушается здесь и принцип отделения религии от государства, не происходит сращивания двух образовательных систем — светской и церковной, каждая из которых преследует собственные задачи и цели.

Такой вариант, несомненно, хорош, но в нем в нем вряд ли заложена мотивация для внутреннего качественного развития системы духовно-учебных заведений. Действительно, зачем что-либо менять, осуществлять образовательные реформы, если диплом семинарий и академий и так признают? Конечно, эта легкость нострификационной процедуры — кажущаяся легкость. Без изменения внутреннего семинарского образовательного стандарта, без увеличения блока гуманитарных дисциплин и т.д. государство на нострификацию дипломов духовно-учебных заведений не пойдет. Да и сама методика нострификации, утвержденная 9 января 1997 года Министерством общего и профессионального образования РФ применительно к документам иностранных государств об образовании и ученых степенях, не вполне подходит к ситуации с дипломами о духовном образовании. Необходимо заново и применительно к данной ситуации выстроить процесс нострификации. Тем более, что и здесь возникнет вопрос о церковных ученых степенях. Но и при этом варианте реформы он вполне может быть разрешен. Докторов богословия, которых вместе взятых в Русской Православной Церкви не более 10 человек, можно было бы

через процедуру нострификации признать соответствующими докторам исторических, юридических или философских наук (в зависимости от специализации диссертационной работы). Еще более правильным представлялся бы вариант внесения теологии в перечень (номенклатуру) научных специальностей ВАК. В этом случае докторов богословия можно было бы уже без всяких сомнений приравнять к докторам теологии. Магистров же богословия, которых в Русской Православной Церкви и 15 человек не наберется, вполне можно было бы признать кандидатами теологии. В любом случае нострификация — процесс индивидуальный, а не коллективный, и всегда можно будет получить авторитетное экспертное мнение на предмет соответствия той или иной диссертации научному уровню светских диссертационных работ.

Наконец, возможен и третий вариант, уже освоенный некоторыми духовно-учебными заведениями: лицензирование по еще одной — светской — специальности — например, педагогика, филология или история. В этом случае, выпускники получают государственный диплом по светской специальности и религиозный диплом по богословию. Этим путем шли не только духовно-учебные заведения, но и все Православные университеты и институты. Этот же вариант использовал Российский исламский университет. Но и здесь возникают свои проблемы: во-первых, возрастает нагрузка на студентов, поскольку им необходимо овладеть двумя специальностями (светской и богословской), а это неизбежно снизит качество подготовки специалиста по каждому из этих направлений; во-вторых, не решается проблема со статусом духовного образования, оно так и остается отторгаемым государственной образовательной системой.

Итак, любой из трех этих вариантов возможен, хотя первые два — предпочтительней. Но в том-то и дело, что реализация любого из них требует достаточно серьезной концентрации административных усилий и кадровых ресурсов, выстраивания единой координированной образовательной системы, а пока что каких-либо обнадеживающих подвижек в этом направлении не видно...

Можно предположить, что из читателей этой статьи найдутся и те, кто выскажет сомнения если не в необходимости, то в самой возможности реформ в системе высшего православного образования. Могут заметить, что нет кадров в области богословия, патрологии, византологии, греческого языка и т.д., а без них семинариям не дотянуть до уровня вуза. Но где же эти кадры взять, ответим мы, если толковые и способные выпускники семинарий не имеют легальной возможности продолжить образование в системе светского образования или поступить в аспирантуру. А ведь до революции многие выпускники академий поступа́ли в университеты для продолжения образования или защищали там научные работы. Не секрет, что лучшие современные церковные историки (как по общей церковной истории, так и по российской), византологи, исследователи церковного права не из духовных академий вышли и, увы, не в духовных академиях работают. Более того, уже после возникновения нескольких десятков духовно-учебных заведений, после нескольких лет духовно-учебных реформ следует признать, что не в академиях и семинариях воспитываются сегодня новые молодые церковные историки, патрологи, археологи и византологи, а в светских вузах.

Не в академиях формируются новые направления в области церковно-научных исследований, а в светских университетах. Показатель тому — после-

дние церковно-научные премии имени митрополита Макария, присужденные исключительно светским ученым. Да и в предыдущие годы только два собственно церковных ученых — архимандрит Макарий (Веретенников) и протоиерей Владислав Цыпин (причем, дважды) — удостаивались этой премии.

* * *

Очевидно, что не все согласятся с авторским видением религиозно-образовательных проблем в России. Далеко не все верующие (и в православной среде, и, тем более, в мусульманской) разделяют уверенность в необходимости содействия государства процессу реформ в сфере духовного образования. Как со стороны государственных структур, так и со стороны структур церковных существуют взаимные опасения, что государство претендует на контроль над закрытой системой религиозных учебных заведений, а конфессии через реализацию теологических программ «внедряются» в систему светского высшего образования. Существуют и взаимные претензии друг к другу: религиозные лидеры заявляют, что государство-де не рассматривает конфессии как часть гражданского общества, проводит политику изоляции религиозных общин; а государственные деятели и эксперты говорят об угрозах светскому характеру и стабильности государства.

Однако сегодня вызовы религиозной активности таковы, что их игнорирование способно взорвать изнутри любую государственность. Одними разговорами о политкорректности, веротерпимости и светскости ситуацию не изменить.

Можно, конечно, и дальше не замечать очевидных процессов политизации религиозных сообществ, попыток использования их некоторыми политическими элитами и международными экстремистскими сетями (особенно это актуально по отношению к российской исламской умме) в качестве каналов трансляции деструктивных идеологий. Или попытаться решить их с позиций силы.

Но тогда Россия очень скоро столкнется с ситуацией непрогнозируемости и неконтролируемости религиозных вызовов, с кумулятивным характером политизированной национально-религиозной активности. Может оказаться, что традиционные формы религиозности, воспроизводившиеся в отечественных духовно-учебных заведениях, не конкурентоспособны по отношению к импортируемым извне и нетрадиционным для России формам христианской и исламской религиозности. Может получиться так, что не обозначая приоритеты в своей образовательной политике, государство нанесет непоправимый ущерб не только традиционным российским конфессиям, но и самому себе. Таким образом, эта необъявленная война взаимного изоляционизма «светских» и «клерикальных» структур, ведущаяся все постсоветские годы, но сегодня, кажется, уже близящаяся к логическому концу, может привести не к миру в обществе, и даже не к победе одной из сил, а к такому противостоянию, которое способно завершиться победой третьих сил извне. А это, в конечном счете, противоречит интересам и государства, и российского общества, и Русской Православной Церкви, и традиционных конфессий России.

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
в российской периодике второго-третьего кварталов 2002 г.

Статья немецкого профессора Н Лобковица «Иоахим Флорский и миллениум» («Вопросы философии», № 3) написана до начала третьего тысячелетия, но редакция «ВФ» полагает, что хилиастические ожидания у читателей еще не угасли. Иоахим Флорский (1132-1202) — монах-цистерцианец, разработавший ***теологическую концепцию истории***, будоражащую умы и по сей день. История человечества делится на три эры, соответствующие трем лицам Троицы. От Адама до Христа — эра Отца (Ветхий Завет), когда люди поклонялись Богу из страха. Эра Сына (Новый Завет) — поклонение Богу из чувства сыновней любви. И наконец — эра Святого Духа и Вечного Евангелия. С наступлением третьей эры настанет время Завета не буквы, но духа, а преображенное человечество перестанет нуждаться в Церкви как явлении в мире тела Христова. Срок наступления этой эры от века к веку откладывался (сам Иоахим предрекал, что это случится в 1260 г.), а к концу второго тысячелетия ожидания обрели особое эсхатологическое значение. Учение Иоахима Флорского находило распространение всякий раз, когда ослабевала старая вера и начинались поиски нового благочестия, когда вызревали мечты о постхристианстве и религиозности без конфессиональных различий. В увлечениях подобного рода автор усматривает реальную опасность для христианства (имеется ввиду католицизм), — ведь получается, что последователи Иоахима Флорского видят в Христе Того, Кого всемирная история на определенном этапе может оставить позади, считая Его Откровение хотя и важной, но преходящей стадией нашего миро— и самопонимания. Это теология некой «религии вообще», приводящей к смешению, хаосу и неверию. Интересно, что главным носителем этой опасности назван Папа Римский Иоанн-Павел II с его, как считает автор, экуменическими намерениями в третьем тысячелетии заново евангелизировать мир и сблизить все религии.

Целый ряд статей рассматриваемого периода посвящен ***русской религиозной философии***.

Н. Плотников, автор статьи **«Философия для внутреннего употребления»** («Неприкосновенный запас», № 2), отмечает, что умы религиозной России перестала волновать тема русской (религиозной) философии. История русской философии сохранилась лишь как университетская дисциплина — и то с малоубедительной научной легитимностью. Автор находит сомнительными все три слова: «философия» — «история» — «русская». Он считает, что туманное образование мировоззренческо-нравоучительно-исповедального характера нельзя назвать философией. Применительно к такому учению слово «история» тоже неуместно, т.к. история философии имеет дело с нескончаемым процессом философской рефлексии, в данном же случае рассматривается некий минувший, завершенный феномен и пересказываются тексты, не перева-

денные в термины современных философских концепций. Сопоставима эта дисциплина разве что с египтологией или византинистикой, т.е. науками, изучающими мертвые культуры. Наконец, национальный предикат этой науки. Ни исследования русскости в рамках многонационального государства, ни изучения специфики русского философского языка, ни анализа взаимодействия православия со светской культурой рассматриваемая наука не дала, а трактовала свой предмет как некую «мистико-поэтическую тайнопись». Как пишет автор статьи, основные ее формулы скроены по архаической модели немецкой постромантической идеологии XIX в. с ее «народным духом» и «национальным характером». Таким образом, утверждает Плотников, складывается своеобразный «паразитический дискурс», живущий за счет высокомерного отвержения западной мысли, но использующий ее терминологию и весь строй идей.

А. Кырлежев в статье **«Русская религиозная философия: около церковных стен»** («Неприкосновенный запас», № 2) возвращает внимание читателей непосредственно к предмету русской философии, в отличие от предыдущего автора, употребляя определение «религиозная» без осторожных скобок, ибо другой — философии европейского типа — Россия не дала. А «религиозная философия» в своей русской версии являет собой суррогат богословия. Исторически автор оправдывает это тем, что христианское богословие, родившееся в контексте греко-римской культуры, использовало философию для создания собственно богословского языка и всецело подчинялось ей как культуре мышления. Не будучи ни философией, ни богословием, русская религиозная философия могла лишь временно заместить собой беспомощное русское церковное богословие. Она была призывом к церковному богословию — восстановить свою интеллектуальную топологию и снова (подобно патристике) стать синтезом, качественным сплавом веры и разума. Эти черты русской религиозной философии и предопределили ее историческую смерть. Она сделала свое дело. Настал черед церковных богословов, и не ее вина, что ей никто не наследовал.

Несмотря на скорбную весть об исторической смерти русской религиозной философии, иные продолжают черпать из нее как из живого источника. Например — **И. Загарин**, автор статьи **«Место и роль религиозного культа в антропродицее П.А.Флоренского»** («Ученые записки Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Ф-т экономики и социальных наук», Вып. 5). Культ, пишет автор, — особого рода духовно-практическая деятельность, из которой вырастает вся человеческая культура. Культ упорядочивает естественную человеческую природу в соответствии с Божественным замыслом, позволяя человеку, оправдать свое существование перед Богом (это и называется антроподицеей). Обоснование семи церковных таинств — одна из основных задач, которые ставит перед собой философия культа Флоренского. Таинства классифицируются в соответствии с видами человеческой деятельности. Сначала выделяется группа, относящаяся непосредственно к телесной природе. Причащение (как функция питания), крещение (функция очищения), миропомазание (функция проявления жизненных энергий). Далее следует группа таинств, относящихся к словесной деятельности: елеосвящение (процесс слушания), покаяние (процесс говорения), священство (единство слушания и говорения). Синтез и венец обеих групп — таинство брака. Хри-

стианские таинства, таким образом, утверждаются как фундамент человека и основы антроподицеи.

Каноническое Предание (т.е. творения отцов церкви, патристика) и его значение для религиозной философии — в центре внимания **Л. Хачатуряна**, автора статьи **«Канонические тексты и правило авторитета в оценке религиозной философии: А. Хомяков — В. Соловьев — И. Ильин»** («Общественные науки и современность», №4). Хомяков считал, что Предание не менее авторитетно и столь же абсолютно, как Писание, и тоже выходит за пределы человеческого опыта. Теологию Хомяков рассматривал как систему познания, далеко не всегда совместимую с правилами логики. Для Соловьева Предание есть оптимальное знание в пределах человеческого опыта, авторитет Предания подобен абсолютному. Ильин религиозный опыт считал универсальным знанием и Предание использовал как основной источник своего философствования. Предание — комментарий к Писанию, т.е. комментарий к Откровению. Однако комментирование предполагает человеческий опыт, а к нему вполне применим критический анализ. Следовательно, Предание может быть дополнено и переосмыслено и авторитет его относителен.

В церковной периодике появляются свидетельства того, что православные богословы не чураются ***методов инославных теологий***.

Диакон **Г. Завершинский,** автор статьи **«Хиазм как богословский метод Евангелия от Иоанна»** («Церковь и время», № 1) считает весьма полезным усвоение и разумное применение методов либерально-протестантской теологии. Так, анализируя отдельные литературные компоненты в свете общей композиции текста, толкователь получает возможность максимально приблизиться к пониманию книг Священного Писания. Анализ структуры книг Нового Завета показывает, что они в значительной степени основаны на хиазмах (риторическая форма, в которой ключевые слова и понятия выстраиваются в синонимическом, антитетическом или обратном параллелизме вокруг центральной темы). С помощью хиазма читатель вовлекается в течение мысли автора, как в водоворот, и его внимание фокусируется на самой сути. В статье приведены результаты хиастического анализа семи глав Евангелия от Иоанна.

Статья священника **Д. Сысоева** называется **«Теологумены в современном богословии»** («Благодатный огонь», № 8). Термин «теологумен» в обиход русского богословия ввел историк церкви В. Болотов (1854-1900), позаимствовав его из западного лексикона. Обозначает этот термин частное (не имеющее достоверности и общепризнанности догматов) богословское мнение. Ортодоксальные теологи, а с ними и автор, считают совершенно недопустимым относиться к богословию как к сфере творческой активности человека. Богословие решает слишком важные вопросы, чтобы в нем было место человеческому произволу. С догматической точки зрения, теологумены — результат отклонения человеческой мысли от Откровения. Слово — не безразличное сотрясение воздуха, а действенная сила, и попытку заменить теологуменами свидетельства Предания автор называет фальшивомонетничеством. Здесь необходимо непрестанное бодрствование церковной власти и немедленное принятие мер для исправления и ограждения паствы. Богословские споры — печальная

необходимость в защите достояния Церкви. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (2000 г.) по этом поводу заявил: «Недопустимо ограничивать согласие в вере узким кругом необходимых истин, чтобы за их пределами допустить свободу в сомнительном. Неприемлема сама установка на толерантность к разномыслию в вере».

Светские журналы охотно предоставляют возможность высказать свои ***соображения о религии и вере*** свободным художникам. Например, **М.Чулаки** в статье **«Разные боги под общим брендом»** («Нева», № 8) восстает против попыток некоторых российских ученых произвести «конвергенцию науки и религии» («конвергенция» в данном случае понимается как взаимопроникновение, взаимообогащение). Попытки эти кажутся ему неудачными — и прежде всего потому, что противоречат логике. Ведь религии разные, а наука одна, значит, конвергировать ей придется разных богов. В этой связи возможно даже возникновение особых христианской, мусульманской или буддийской наук. Автор полагает, что религиозные искания современных ученых — своего рода психотерапия: человек (в том числе и ученый) слаб и ему тоже хочется дать своей душе шанс жить после телесной смерти. Примитивные мифы о воскресении и непорочном зачатии в ученых дискуссиях о конвергенции науки и религии стыдливо замалчиваются, а догмат о Троице для ученого человека и вовсе неприемлем. Короче, все эти душеспасительные вымыслы — устаревший миф дряхлеющей религии. Читая Чулаки, поражаешься устойчивости другого мифа — мифа о всемогуществе научного познания.

Чтобы оправдать серьезное ***отношение ученых к христианским догматам***, приведу в пример статью философа **А.Чусовитина «Сущностное взаимодействие»** («Философские исследования», № 2). Она касается догмата Троицы, динамического соотношения трех лиц в единой сущности Бога. Автор считает, что триадология была необходима, чтобы объяснить возможность взаимодействия реальностей, различных по своей сущности. Например, взаимодействие Бога и человека. В повседневной жизни люди воспринимают хаотическое множество обособленных друг от друга объектов и явлений. И весь этот умственный материал остается разрозненным до тех пор, пока не появляется некая объединяющая идея. Религиозные мыслители полагали, что только при восстановлении связи с Богом появляется целостность человеческого мышления. На языке же секулярных философов это называется диалектикой многого и единого. Эта диалектика нашла отражение в религии: с одной стороны, люди взаимодействуют между собой потому, что каждый взаимодействует с Богом, а с другой стороны, взаимодействуя между собой, люди взаимодействуют с Богом. Отпадение человека от единого в религии называется грехом, а в науке — игнорированием диалектики многого и единого, что так же недопустимо и пагубно, как грех.

Обзор подготовил Александр Денискин

Ольга СЕДАКОВА

ГЕРМЕС
Невидимая сторона классики*

Вот он идет, бог странствий и вестей...
Р.М.Рильке. Орфей, Эвридика, Гермес

Переписка Томаса Манна и Карла Кереньи *по поводу* мифа и гуманизма сама по себе, как не раз отмечают оба корреспондента, представляет собой «мифическое событие», так же как событие «духовно-гуманистическое». Можно было бы говорить о нем и как о попытке события политического, ибо, словами Т.Манна, «сама политика есть не что иное, как нравственность духа, без которой он разлагается»[1]. Не стоит напоминать, что в эти годы, в годы восхождения и зенита нацистской идеологии, миф был самой актуальной политической реальностью. Да, такова была *политическая* надежда обоих корреспондентов: «возвращение европейского духа к высшим мифическим реальностям»[2]. Иначе, глядя с другой стороны, со стороны мифа, они называют свой замысел «гуманизацией мифа».

Почему именно эти две вещи взяты как полюса: *дух* и *миф*? «Образцово переданное (или: «переданное как образец», das musterhaft Überlieferte) — а это и есть подлинный миф в его историческом значении — приходит из глубины, лежащей внизу, и это то, что нас связывает. Но Я — от Бога, и оно принадлежит духу, который свободен. По-настоящему воспитанная жизнь — та, которая восполнит почву, связующую нас и передающую нам образец, божественной свободой Я, и не бывает человеческой воспитанности без первого (т.е. мифа или предания) и без второго (т.е. духа личной свободы)»[3]. Отметим в этой формуле

* Переписка одного из ведущих в XX веке исследователей классической и сравнительной мифологии Карла Кереньи и Томаса Манна — писателя, который чрезвычайно интересовался проблемой мифа, изучал миф как науку и использовал в своих сочинениях, — помимо собственно культурного, несомненно, имела и общественно-политическое значение, поскольку проблема мифа была весьма актуальна для Европы 30–40-х годов.

[1] *Th. Mann.* Kultur und Politik (1939), 297.

[2] Все ссылки на переписку даются по изданию: *T.Mann–K.Kerenyi.* Gesprach in Briefen. Rhein-Verlag. Zürich, 1960. S. 12. В дальнейшем: Переписка.

[3] Переписка, 24.

Ольга СЕДАКОВА — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук. Автор многих книг, в том числе поэтических сборников, собрания сочинений в 2-х тт. и тома избранного «Путешествие волхвов».

«гуманистического равновесия» Т.Манна тему воспитания и воспитанности. К.Кереньи, предпринявший издание переписки, сообщает, что делает это ввиду заключенного в ней воспитательного значения. Гуманизм вообще непредставим без своей воспитательной, педагогической перспективы — своей доминанты, если угодно. Ведь для классического гуманизма человек не рождается человеком: им требуется стать, и не каждый становится. Только homo humanus, человек воспитанный и не перестающий воспитывать себя, входит в «человечество» гуманизма. Что же касается мифа, и он в свою очередь предполагает, что для того, чтобы стать человеком, недостаточно родиться один раз, биологически, и необходимо некоторое второе рождение. Для этого порога уместнее слово другого смыслового — или стилевого — регистра, чем воспитание: посвящение, инициация.

Итак, в равновесии духа и мифа должен был бы открыться культурный, исторический, политический выход из тупикового выбора между «черным мифом» неоварварства (называющего себя неотрадиционализмом) — и оторванной от глубины и силы природного широтой «свободного» гуманизма. Иначе, и совсем упрощенно говоря, между энтузиазмом (как теперь сказали бы, пассионарностью), «глубиной» и «поэтичностью» фашизма — и скепсисом, поверхностностью и прозой либерализма. Между двумя катастрофами. Но мы забегаем вперед. Непривычное для русского читателя значение «духа» и «духовности» в употреблении Т.Манна и Кереньи мы выясним в дальнейшем. Требует комментария и «гуманизм», значение которого для обоих собеседников самоочевидно, но оно совершенно не совпадает с ходовым употреблением этого слова в русском языке, смутным и эмоциональным — смутным прежде всего потому, что в российской истории гуманизма не было[4].

---

[4] Имеется в виду гуманизм в узком, то есть строго историческом смысле: renovatio studiorum, гуманитарная ученость в области римской и греческой классики прежде всего, развивающая культуру критического, «объективного» отношения к текстам и смыслам — и уважение к человеческой личности как субъекту такой способности суждения и его членораздельного выражения. Критицизм как культура никогда не развивался в России самостоятельно и в общем-то вплоть до нынешних дней остается непонятным в своем существе. Плоды его, современные науки и просвещение, усваивались и развивались. Но позиция независимой мысли, когда ее перенимали русские «передовые люди», в их исполнении превращалась в пародийный цинизм и уродливые выходки «петиметров» XVIII века или вольнодумцев Лескова и Достоевского в XIX веке. Свобода суждения как культура с собственными правилами и логикой, а не самодурское смутьянство; независимость, а не крамола — вот это осталось неизвестным. Один из современных европейских исследователей русской культуры заметил, что все ее своеобразие — в том, что в России не было классической античности. Это не совсем точно: классической античности не было ни у кого, кроме древних греков и римлян. Но в определенном смысле это справедливо: в России не было *своей*, то есть, второй, гуманистической античности. Обыкновенно, говоря о «чертах гуманизма» (например, в эпоху Андрея Рублева) или о «гуманизме Достоевского», имеют в виду смутное значение «присутствия личного начала» в первом случае и «любви к человеку» во втором. Ничего связывающего эти употребления с характерностью классических гуманистов вроде Эразма Роттердамского здесь обнаружить нельзя. «Эллинизм» русской культуры, о котором пишет Мандельштам, это нечто другое, пришедшее не через гуманистические двери.

Итак, переписка как своего рода миф. У этого эпистолярного гуманистического «мифа» есть герой (ведь «просто мифа», замечает Кереньи, нет: миф — непременно миф *о чем-то*). Это Гермес, образ, странно, таинственно знакомый обоим, и писателю Т.Манну, которого Кереньи именует doctor Hermeticus, и мифологу К.Кереньи. Свою новую историю Гермес разыгрывает в пространстве *между* ними, как и подобает богу-вестнику, посланцу, связующему множество полярностей. Присутствие Гермеса дает о себе знать не только там, где речь идет непосредственно о нем, о Третьем боге или боге Третьего (так, Кереньи предупреждает, что «тема Гермеса» в сочинениях Т.Манна не может быть сведена к реестру его гермесоподобных персонажей — реестру огромному, нужно заметить, от Тадзе из «Смерти в Венеции» до Феликса Круля[5]). Герметической стихией проникнута мысль собеседников. Ее можно узнать прежде всего в волнующей обоих теме *связей* или *отношений* (Beziehung), начиная с «предустановленного родства» самих корреспондентов: глубоко интуитивного художника, развившего в себе «холодное», рефлектирующее, дистанцирующее начало (его собственно и называет Т.Манн «духовным») — и ученого, в котором на исследуемый смысл (исторический, культурный, мифологический) отзывается «не только сознательное, но и бессознательное в существе интерпретатора»[6], то есть тот орган *причастности* собственному материалу, которым по преимуществу работает не исследователь, а художник.

Миф и гуманизм; природа и дух; вневременное, существующее в образах (Gestalt) и преходящее; священное и обыденное; серьезность и игра... Каждое из этих ключевых слов переписки требует комментария, но пока важно другое: усилие собеседников связать, *поставить в отношение* все эти полюса антитез — в духе Гермеса, психопомпа, проводника в загробье и пастуха душ, дружелюбного к человеку (philanthropotatos) божества. Центральная и многократно повторенная календарная точка нашего эпистолярного сюжета — ночь солнцеворота в промежутке между Рождеством и Новым Годом, «время космического поворота, естественная точка равновесия, время выдоха и задержки дыхания»[7]: момент вполне герметический. Он глубоко пережит собеседниками («в это время хочется писать только самым близким», замечает Кереньи) и отчетливо отрефлектирован — то есть само отношение к нему герметично.

Кереньи утверждает, что в их переписке с Манном был впервые преодолен ницшеанский дуализм аполлонического и дионисийского. Герметическое — Кереньи предупреждает, что не следует путать его и манновский символ Гермеса с вырожденным, гностическим или алхимическим; он также не связан с «герметизмом» как направлением новейшей лирики — герметическое в античном, мифологическом смысле предстает как искомое третье начало, отменяющее безвыходный и уже ходульный к этому времени контраст «просветленно-разумного» (аполлонизм) и «экстатически-ночного» (дионисийство).

---

[5] В юбилейном слове к 60-летию Томаса Манна Кереньи именует его Doctor Hermeticus, «чьи труды и самая сущность — откровение этого божества» (Переписка, с.14).

[6] Переписка, с.31

[7] Переписка, с.92

Впервые ли? Великая тень герметического художника и герметического человека — Гёте — осеняет переписку. (Кстати, и ночь солнцеворота — гётевское время, кайрос Гёте). Позитивное — «образцовое» — присутствие Гёте оказывается, в конечном счете, существеннее для исторического разговора в письмах, чем полемика с коллегами (для Кереньи это классический академист Виламовиц[8], для Т.Манна —иррационалисты типа Лоренса[9] или Клагенса[10]). Гёте (и в этом сходятся оба собеседника), «совершивший прыжок из литературы в миф», с его глубоким чувством символов, его протеизмом, его живостью и глубиной (как бы Сократ и Алкивиад из строф Гёльдерлина в одном лице: «Кто глубочайшее знал, любит живейшее, И склонится мудрец, чтоб почтить красоту» — ср. мучительную неразделенную любовь «глубокого» Тонио Крегера к «простой жизни»), Гёте, посещавший тьму пифического безумия и при этом друг здравомыслия, Гёте — любимец неба и земли, благословленный материнской беспечностью (Frohnatur) и отцовской основательностью — наверное, самая герметическая фигура европейской легенды. Любимая формула искусства у Т.Манна — «серьезная игра» — несомненно, цитата из Гёте. В афористическом четверостишии Гёте «игра», das ernste Spiele, рифмуется с «многим», viele: «Ничто живое не одно, оно всегда — многое» (Kein Lebendiges ist ein Eins, Immer ist's ein Viele). «Откровение Гермеса» и состоит в обнаружении множественной подвижности, *игры*[11] на месте какого-то «окончательного

---

[8] Говоря о своем разрыве со школой У. фон Виламовица-Мейендорфа (см. *U.von Vilamowitz–Meyendorf.* Der Glaube der Hellenen. B.1,2. 3Aufl. Basel 1959), Кереньи имеет в виду свое стремление продолжить начатое В.Ф. Отто «теологическое», а не предметно-академическое изучение античности.

[9] David Herbert Lawrens, известный своей «апологией плоти», для которой он прибегает к мифу «священного брака». В переписке обсуждается его Glastonbury Romance (1933).

[10] Л. Клагенс (1872-1956) со своими призывами к современному человечеству «спасти душу от духа», вылечиться от духа как «болезни жизни» , вернувшись к первому, наивному, раскованному состоянию через дионисийский экстаз, «космогонический эрос», «ритм» (см., напр.: *L.Klages.* Vom Wesen des Rhytmus 1944, Der Geist als Widersacher der Seele 1954 и др.) был, естественно, чужд Т.Манну. Однако само это противопоставление *души* (жизни, ритма) — и *духа* (разума, исследующего начала) вполне совпадает с манновским и происходит из Ницше. Каким образом сложилось это представление о *духе,* совершенно чуждое христианской традиции (где дух — Дух Святой — не только не противопоставлен жизни, но является ее источником: «дух животворит»)? Тем не менее, оно устойчиво, и не только в германской традиции (ср. Вас. Розанова).

[11] Не нужно уточнять, что речь здесь идет не о той унылой «игре», которую предлагает постмодернизм — игре в поддавки или в дурака, и не об «обучающих играх» современной педагогики. Игру, в которой в каком-то смысле больше правды, чем в серьезности, потому что в ней — исполненность бытия, его полная полнота, которой больше ничего не не хватает, — такую игру замечательно описал Б.Пастернак, играя богатством русской фразеологии:

«Сколько надо отваги, Чтоб играть на века, Как играют овраги, Как играет река, Как играют алмазы, Как играет вино, Как играть без отказа Нам порой суждено, Как игралось подростку При народе простом В белом платье в полоску И с косою жгутом». Другое название этой игры — красота, поскольку и для той, и для другой требуется одно условие: отвага. «Но корень красоты — отвага».

смысла» и «последнего слова»[12]. Мы можем добавить, что черты герметического художника можно заметить и в Пушкине (естественно, не обсуждаемом Манном и Кереньи и едва ли им знакомом), и в пушкинском образе Моцарта. Вообще, не будучи совсем неизвестным в истории Нового времени, герметический тип художника никогда не был преобладающим. Одной из отличительных его черт, помимо знаменитого протеизма и своеобразной «нецельности» («Пока не требует поэта»), можно считать благосклонность и почтение к *норме*, к обычному и рядовому — «добрый малый, как вы да я, как целый свет» — вот уж чего не встретишь ни у аполлонийских, ни у дионисийских гениев.

Что же касается «герметического ученого», то здесь прецедент в Новое время найти труднее...[13]

К своему Третьему, к Гермесу, Кереньи (и в лице его классическая филология) и Томас Манн (и в лице его словесное искусство эпохи) пришли с противоположных сторон: от «аполлонийского» отстраненного академизма «предметной учености», Fachwissenschaft (Кереньи)[14] — и от «дионисийского» ночного неоромантизма (Манн). Соответственно, от «середины», в которой они сошлись, их влекло в противоположные стороны: Манна — все дальше в сторону «духовного», то есть отчетливо морального и критического, Кереньи — в сторону «природного» и его реабилитации (ср. их знаменательное расхождение в оценке неомифологического сенсуализма Лоренса и Пойса[15]).

Сам этот диалог, как мы заметили, стал возможен благодаря внутренней диалогизации каждого из двух собеседников (теперь я имею в виду не персонально Манна и Кереньи, а то, посланниками чего они предстают): искусства и гуманитарной науки. В какой-то точке искусство (и это не исключительный случай Т.Манна) сочло необходимым проститься с «неведеньем о себе», стать собственным аналитиком, диагностом, критиком. Наука же включила интуитивно-жизненный опыт исследователя в само интерпретаторское усилие, т.е.

---

[12] Ср. совсем другой образ игры как служения в «Часослове» Р.М.Рильке: Das ist das wundersame Spiel der Krafte/ dass sie so dienend durch die Dinge gehn: in Würzeln wachsend, schwindend in die Shafte/ und in den Wipfeln wie ein Auferstehen. (Вот чудесная игра Сил, то, что они так служебно идут сквозь вещи: в корнях разрастаясь, исчезая в стволах и в вершинах — как воскресение).

[13] Ср. определение науки у Кереньи: «У науки есть та особенность, что она не существует и не пребывает в наличии: Наука по существу *случается (geschieht)*. Другое — уже ремесло, techne». Umgang, 152. Но так обычно говорят об искусстве или о философии, о вещах, зависящих от озарения!

[14] Таким отношение к античности стало в XIX веке, замечает учитель К. Кереньи В.Ф.Отто: «Во всех предшествующих открытиях или возрождениях античности новая человечность узнавала себя в зеркале греков и строила по нему свой образ» (*F.F. Otto*. Die Wirklichkeit der Gotter. Von der Unzerstorbarkeit griechischer Weltsicht. Rowohlt ..., 45). В XIX столетии греческое наследие становится чистым объектом академического исследования по образцу естественных наук.

[15] John Couper Powys. В своем понимании культуры как целиком репрессивной системы («The Meaning of Culture», 1930) и противопоставлении ей «естественного» ничем не сдерживаемого биологизма («The Art of Happiness», 1935) Пойс — один из родоначальников контркультуры.

стала отчасти художеством идей (прекрасный пример тому — другой великий собеседник Кереньи, К.Г. Юнг). Но что, может быть, еще важнее: общим пафосом такого рода науки и искусства стало внимание, Achtung, и слушание, Gehor (а не инвенция, конструкция, концепция и другие виды интеллектуального активизма[16]); объектом же этого внимания стало то, что можно назвать *целым* или *миром в его единстве* — причем говорящим, самораскрывающимся целым[17]. Это целое, как мы увидим дальше, говорит языком *образов,* то есть того, что приводится в движение мифом.

И в этом пафосе «активной послушности вселенной» мы, конечно, узнаем старого Гёте с его заветами вроде «никогда не форсировать» или «не брать высоту, а падать вверх». Но не только Гёте. Дух Гермеса витал в воздухе эпохи. Он был одним из духов времени — тех духов предвоенного времени, которые противостояли неоромантизму, стремясь к динамично-уравновешенному, таинственно-разумному, множественно-цельному началу: к полусвету-полумраку Гермеса. Вспомним хотя бы «мифически-полноценное» явление бога-вестника в элегии Р.М.Рильке «Орфей. Евридика. Гермес», да и всю поэзию «Dottore Serafico»[18], которую никак не привяжешь ни к одному из двух ницшеанских полюсов. Невозможно отождествить с пресловутым «аполлонизмом» прозрачную и темную одновременно мысль и письмо П.Валери — или русских акмеистов, «преодолевших символизм» как своего рода мифическое ради реабилитации «здешнего»: но таинственно-здешнего. В особенности здесь приходит на память О.Мандельштам с его темами «божественной физиологии» или искусства как «игры с Богом». Чудесная мандельштамовская интуиция мифических связей, его скачки в глубину досознательного, невозможные для классицизма, — и, одновременно, критическая, историческая, филологическая отчетливость, чуждая романтизму, вместе создают мерцающий облик «герметического искусства». Острая и чистая гармония, без психологической мути. Светотеневой ландшафт, играющий между резкими перепадами темноты и света («как светотени мученик Рембрандт»). К напряжению обеих полярностей, сознательного и бессознательного, интеллектуального и чувственного (чувственного в смысле быстрого, чуткого и очищенного от «психологических тривиальностей» восприятия: слухового, осязательного, зрительного и т.п.), можно добавить и такое свойство «герметического» художника, как его гуманистически открытое приятие реальности, «антидемонизм», своеобразное нецерковное благочестие, religio.

О возрождении этой religio, нецерковного, недогматического, неконфессионального благоговения в европейской цивилизиции как о *политической* зада-

---

[16] «Правильное отношение к мифологии состоит в том, чтобы дать самой мифологеме говорить — и просто слушать ее. Слушать значит здесь и со- трепетать с ней (mitschwingen) и со-изливаться (mitergiessen): «Кто, как родник, изливается, тот и знает познанье». *C.G. Jung, K. Kerenyi.* Einführung in das Wesen der Mythologie. Amsterdam — Leipzig 1941. S. 12. Ср. постоянный призыв Отто в воспоминаниях Кереньи: «Wenn wir aufmerksam sind!» — «Будем же внимательны!» — *K.Kerenyi. W.F.Otto.* Erinnerung und Rechenschaft. 152.

[17] «Бытие в акте его само-раскрытия (в образе); акт знака как само-означение бытия» (ibid.).

[18] Так Рильке подписывал письма друзьям: шутка, но серьезная шутка.

че думают Кереньи и Манн. Противоположность religio для них — бездумная дерзость, бесстыдство, небрежность, орудование (Handhaben) вещами, смыслами, человеком. Утрата дистанции почтения и бережности[19]: «Держание дистанции, верное восприятие и передача воспринятого — внимательно (achtsam) и значит: религиозно»[20]. «Непосредственная бытийная связь с этой тонкостью (нежностью, чуткостью — Feinheit: в других случаях Т.Манн предпочитает французское Finesse): что же такое religio, если не это?»[21]

Кереньи, в отличие от Манна, толкует латинское religio, связь, не в привычном значении «связи *между* божественным и человеческим», обоюдного договора, завета, а в смысле связи как «связанности», то есть обузданности человека (ср. такие значения лат. religio как «совестливость», «тщательность», «опаска», «воздержание», т.е. соответствие греч. eulabeia) : связанности мысли и действий «стыдом» и «честью»[22], глубинными интуициями запретов и дозволений, которые не требуют рациональной аргументации и значат просто: Deo concedente, Божьим попущением, если Бог позволит. В утрате такой «религии», в забвении того, что всякий новый шаг делается Deo concedente, оба собеседника видят разрыв цивилизации с собственными корнями и моральную катастрофу[23], за которой неизбежно последуют катастрофы вещественные. Третье, интроспективное истолкование «религии» как «связи» мы встретим у Юнга: «Религия — это живая связь (сношения, контакт) с теми событиями в душе, которые не зависят от сознания, но обретаются по ту сторону его, в темноте душевной подпочвы»[24]. Разрыв этой связи также, по Юнгу, грозит катастрофой. В данном случае, катастрофой личности, оторвавшейся от собственных корней. Вероятно, все эти три смысловых аспекта «связи», religio, не исключают друг друга, а восполняют.

Классический гуманизм искал в античности освобождения от доктринально-религиозной регламентации душевной жизни и мысли, «распрямления человека» (мучительный жест фигур Микельанджело, разрывающих на себе замкну-

---

[19] Того, что воплощает платоновский «благородный конь» души, который останавливается перед возлюбленным.

[20] Umgang, 5. Ср. любимые П.Целаном слова Малебранша: «Внимание — природная молитва души».

[21] Переписка, 191.

[22] Греч. Aidos, богиня стыдливости и чести — и любви к богам, «целый мир, обнимающий всё», как описывает греческую религиозность учитель Кереньи В.Ф.Отто (*W.F.Otto.* Theophania. Der Geist der Altgriechischen Religion. Hamburg 1956).

[23] «Религия как противоположность небрежности и нерадивости, как добросовестность, умеющая быть внимательной, почтительной, осмотрительной, как metus (лат. благоговейный страх) и, наконец, как заботливая внимательная восприимчивость против духа мира сего — чего мне еще нужно?» (Gesprach, 75). В том, что современная культура утратила религиозность такого рода, Кереньи склонен видеть вину традиционного церковного христианства, «секуляризующей религии». Ср. ядовитую эпиграмму Гёте: «У кого есть...». «Религия», которая «пусть будет» у того, у кого нет разума и чувства, несомненно у Гёте — доктринальное институционализированное христианство.

[24] *Jung, Kerenyi,* 109.

тое пространство, как цепи: мучительный и надорванный — видно, что, вырвись они на волю, им останется только упасть без сил). Неогуманизм Кереньи, Отто, Юнга, Т.Манна, отталкиваясь от секуляризованной, обезбоженной действительности XX века, ищет в классической мифологии средство «связать» современного человека, впавшего — скорее, провалившегося — в безудержность, в слепой утилитаризм, в невнимательную спешку, вернуть его к религиозной глубине и благому страху (metus, священный трепет) перед тем, что недоступно сознанию[25] и в мире, и в себе самом: перед *началом*, перед непочатым — где *еще* возможно *все*, и потому страшно шевельнутся, чтобы не разбить этой возможности. Пластического образа нового движения, сопоставимого с микельанджеловским, мы, кажется, не вспомним... Впрочем, вот он: фигуры и группы Родена, которые как будто на глазах зрителя вписываются в некое замкнутое пространство, которое сами же они и создают. Эти фигуры уходят в свою глубину, как улитки. Имена скульпторов как самые наглядные символы двух гуманизмов (первый мы будем называть классическим, второй, о котором думают Манн и Кереньи, — новым; послевоенное движение гуманизма — новейшим[26]) приходят в голову не случайно. Веками первым образом эллинской классики в Европе были ее мраморы с их необъяснимой, непобедимой красотой. И та (микельанджеловская) и другая (роденовская) монументальная пластика гуманизма наследуют и развивают многие качества своего классического прообраза, кроме разве что первого и последнего: его бессмертной улыбки (той улыбки, о которой говорит Сафо в своей «Оде Афродите») , улыбки ясного, как день, и простого, как вода, блаженства: блага, победившего всякую тяжесть и тяготение, всякую заботу. Эту улыбку мы еще встретим, но совсем не там, где «возрождают античность»: в линейности и цвете некоторых византийских образов, икон и фресок, в сверкающей зелени мозаик Равенны. Улыбка всадника, пронзающего копьем змея; ангела, сидящего на могильном камне. Прошу простить мое дилетантское искусствоведение.

Однако вот что интересно: в исходной ситуации, которую требуется поправить, новый гуманизм, как и первый, обвиняет христианство. В первом случае в нем видели источник закабаления личности догматикой, символикой, иерархией; во втором — его объявили ответственным за развязывание рук человеку, за создание такого совершенно секулярного пространства, какого не знали архаичные культуры[27]. В опустошении обыденной жизни — да, в общем-

[25] Речь идет не о «еще не осознанном», настаивает Юнг, но о бессознательном по существу, концентрация разума на котором невозможна. Все его расшифровки, все приписываемые ему смыслы — не более чем «как бы» (als-ob). Именно так, через «как бы», hos, описывает апофатическое богословие Свят. Григорий Палама! *Бессознательное* в терминологии Юнга очень напоминает *мистическое* в церковном богословии, с той разницей, что вся эта не поддающаяся разуму реальность у Юнга интровертирована.

[26] Его пластическим символом будет «акция» публичного разрушения пластики: сожжения, разрубления и т.п.

[27] В наши дни этот укор часто повторяют в связи с экологической катастрофой, видя в ее истоке «освобождение» человека от почитания природы, совершенное христианством. И одновременно обскурантизмом называют выступления Церкви против клонирования и других необратимых шагов вперед!

то всего мироздания — от ореола божественности, «святости» (не в терминологическом смысле, а в том античном, в каком Гёльдерлин называет «святым» Рейн или свою Диотиму) Кереньи видит результат действия христианства, вынесшего «священное» в особую, специальную сферу[28] и всему остальному оставившего смиренный статус «всего лишь» твари, которая сама по себе не свята, и только может быть освящена. Для античности, и тем более для архаических культур, рассечение мира на «сакральное» и «профанное» весьма затруднительно[29]. О возрождении такого положения вещей, о чувстве «святой реальности» мечтают новые гуманисты. Мечтают — слово, уводящее не в ту сторону: они решительно утверждают, что без этого цивилизация обречена. «В новой религиозности, религиозности познающего и творческого человека, будет нечто от греческого природного благочестия (Naturfrommigkeit)»[30]. Античная religio должна вернуть божественное в обыденный мир, «разбожествленный» христианством. В этом состояла надежда не только Т.Манна, Кереньи, Отто, в каком-то смысле Хайдеггера; великие лирики девятнадцатого века возвещали возвращение Греции в пустую и мелочную современность:

Они еще придут, твои родные боги:
Земля исполнилась пророческой тревоги...

Это «Дельфика» Жерара де Нерваля — и почти теми же словами у себя в Тюбингене пророчествовал новую епифанию эллинства Гёльдерлин. Что же это была за «олимпийская» — или «парнасская» — вера, вторая квазивера христианской Европы, сокровище ее души[31]? Можно сказать определенно: эта преданность была не по обязанности, ex officio, и не по наследству (как, увы, часто случалось с церковным христианством), а по свободному выбору самых творческих и одаренных людей Европы. Она была пленительно неформальна, не связана ни с государством, ни с институциями, ни с какой-нибудь жесткой иерархией, кроме иерархии таланта и учености. Это была религия не в службу, а в дружбу: мы можем принять это русское присловье в буквальном смысле. Прежде всего, потому что вообще *дружбе* здесь отводилось священное место как лучшему и

---

[28] Другой соавтор Кереньи, Юнг и вся его школа идут еще дальше, видя вину в крушении природной religio и в разлуке человека с собственной душой и ее образами (см. дальше) в монотеизме, в библейском иконоклазме.

[29] Ср. парадоксальное утверждение Отто: «Великие эпохи греческого (и римского) язычества несомненно были благочестивее (frommer), чем христианские (сравни гомеровский эпос — и Нибелунгов)». Theophania, 10.

[30] *K.Kerenyi.* Umgang, 45.

[31] Забавный эпизод из «Итальянского путешествия» Гёте хорошо иллюстрирует эту «веру». Смотрительница в римском музее, указывая Гёте на какую-то изумительную античную статую, сообщает: «Вчера здесь были англичане, это их Бог: они перед ним вставали на колени». Характерен и комментарий Гёте, быстро представившего себе, как растроганные английские путешественники совершали этот невольный жест преклонения: «Бедная женщина знала только один вид набожности. Ей было неизвестно это восхищение человеческим гением».

божественному роду отношений между людьми[32]. Но кроме того, сами античные боги — «друзья людей» (конечно, «мудрых, чистых людей», не «черни», vulgo), а философы и поэты — «друзья богов»[33]. В.Ф.Отто, стремясь объяснить «облегчающее» впечатление, которое всегда рождают в нас греческие божества, в отличие от богов других языческих пантеонов (Вотана или Осириса), связывает его именно с этим обстоятельством: с характером отношений богов и людей в «эллинской вере». Эти боги несравненно ближе к человеку, они не «совершенно иное», ganz Andere, как говорят богословы о Боге Св. Писания: они не творцы человека, не законодатели, они — бессмертные друзья смертных[34]. Они зна-

---

[32] В этом тоне звучат пушкинские похвалы дружбе: «нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское село». И еще сильнее: «Друзья мои! прекрасен наш союз. Он, *как душа*, неразделим и вечен». Ср. его же прозаические высказывания о том, что он хочет соблюдать церемонность с ближайшими друзьями никак не менее, чем с посторонними. В дружбе стыдливость и честь не преступаются.

В историческом христианстве «святыне дружбы» не нашлось места ни в монашеском, ни в мирянском благочестии, ей бесконечно предпочитаются кровные семейные символы, такие, как братство: а ведь друг — это евангельское слово!

[33] Изумительно описывает это переживание как собственный опыт детства Гёльдерлин (Da ich ein Knabe war):

Когда я мальчиком был,
Спасал меня некий бог
От шума и вздора людей,
И вдали, на воле играл я
С луговой травой,
И ветерки небес
Играли со мной.
И как сердце
Полевого злака ты веселишь,
Когда он к тебе
Нежные руки тянет,
Так ты веселил мое сердце,
Гелиос — отец! и как Эндимион,
Был я любимец твой,
Святая Луна.
О вы все,
Дружелюбные верные боги,
Если бы знали вы,
Как душа моя вас любила!
Впрочем, ваших имен
Я тогда не знал, и вы
Не называли меня, как люди зовут,
Когда знают друг друга.
Но знал я вас лучше,
Чем я узнал людей,
Я понял молчанье эфира,
Слов человека я так и не понял.

[34] Ср. обращение Сафо к Афродите в ее знаменитой оде! А ведь это религиозная инвокация и храмовая молитва, как полагают новейшие исследователи.

комы человеку изнутри как его собственные душевные движения или феномены — ведь они и представляют собой фигуры, образы этих феноменов (Эрос, Айдос). Их «равнодушие» и «беспечность» отвечает некоторой глубинной человеческой потребности — потребности в существовании ничем не смущаемого бытия[35]. Это бывает нужнее, чем прямая помощь: гераклитовская вечность-дитя, переставляющее шашки, дитя дитятствующее.

Греческое благочестие Кереньи, вслед за Отто, описывает как свободное и бескорыстное: богов почитают за то, что они боги и за то, что они есть. Их почитают из сродства: «И почитает раб только могущество, Веруют в божество те, в ком есть божество», сочувственно цитирует Кереньи Гёльдерлина. Отто приводит слова Гете против расхожего представления об «антропоморфизме» греческой религии: «Дух и устремление греков в том, чтобы обожествить человека, а не очеловечить божество. Здесь теоморфизм, а не антропоморфизм»[36]. Соучастие же человека в божественном, его приобщение к блаженной области бытия, к «дому Муз, в котором нельзя плакать» — это сказывание и пение, Sagen und Singen. В интуиции божественности человека Отто и Кереньи видят уникальность греческого, то, что отличает его и от библейской веры, и от других языческих религий.

Легко различить, что темный фон, по которому здесь прописывается светлый образ эллинского благородного благочестия, — это традиционное церковное христианство (Т.Манн воспитывался в протестантской традиции, Кереньи — в католической). Догматы тварности и первородного греха, по мнению упомянутых нами мыслителей, делают такую облегчающую, соприродную человеческой душе religio невозможной.

Можно заметить, что некоторые из приведенных нами возражений христианству и библейскому монотеизму происходят из недоразумения (почему сотворенность непременно унижает человека и мир? она может быть, напротив, источником восторга и вдохновения, как это видно из стихов псалмов: «Руки Твои создали меня»! или: разве тема божественности человека чужда христианству? странно даже напоминать известные слова: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» и др.), из довольно поверхностного знакомства с христианской традицией (однако не удивительно ли, что такие любознательные и многознающие люди, как Гёте или Манн, совсем не интересовались его мистической или аскетической традицией? что Юнгу, обращавшемуся к экзотическим восточным религиям и алхимии, не пришло в голову познакомиться с «глубинной психологией», выработанной веками монашества? нужно было, видно, сильно отбить вкус ко всему этому у «познающего и творческого человека»). Другие точки сопротивления христианству связаны с его исторической практикой, с неизбежными последствиями его положения: государственной и общеобязательной религии. Можно говорить и о том, что никто из них не пережил личного призвания, подобного клоделевскому на рождествен-

[35] «Но в искре небесной приняли мы жизнь, Нам памятно небо родное» (Е.Баратынский).

[36] Theophania, 60.

ской мессе в Нотр-Дам. И тем не менее, вопрос о религиозной тоске творческих людей христианской Европы по «святой Греции» и ее божествам, призывающим человека к «пению и сказыванию», а не к посещению лазаретов[37], стоит пред христианской апологетикой. Если, конечно, не остановиться на известном положении о том, Царство Небесное — для малых и убогих, а гордым гениям вроде Гёте делать там нечего[38]. Они будут «петь и сказывать» в своем Лимбе, как это изображено у Данте.

Историко-критический взгляд, несомненно, деконструировал бы созданный Отто и Кереньи идеальный образ классической греческой religio как ее тенденциозное отражение в новоевропейском зеркале: а в действительности, а в разные эпохи, а в разных слоях... Да и без историков: разве мы не знаем, за что убили Сократа? Где же тогда была эта афинская свобода свободно чтить божественное? Однако Отто пишет не о Сократе, а об Эпикуре, которого *не* убили за его «атеизм», за «веру Эпикура», в которой Отто видит квинтэссенцию античной religio. Тем не менее, как бы ни относилась картина Кереньи и Отто к гипотетическому оригиналу, именно такое эллинство было верой души творческой Европы. Верой в «блаженную сферу бытия», на христианском языке — в рай, из которого человека и его мир не изгнали окончательно[39]. Оттуда призывали «девственных Муз». Да, теперь, по всей видимости, мы можем сказать: было...[40] И за железным занавесом самого передового учения кончилось

---

[37] Имеются в виду злые слова Гёте о том, что мир в христианской перспективе — это лазарет, в котором калеки ухаживают за калеками. Что в нем делать здоровому? А человек на земле знает минуты здоровья: бессмертия и невинности. «Нас не изгнали с тысячи небес», как пишет об этом Эзра Паунд. И стоит задуматься о том, что в высказываниях такого рода обычно звучит вызов христианству.

[38] Великий современник Манна и Кереньи Дитрих Бонхеффер в своих тюремных записках тоже думал о скрещении двух начал, гуманизма и христианства, о «вере для взрослых», то есть христианском гуманизме. Существенно то, что для него речь при этом шла не о «демифологизации» христианства, а о более глубоком восприятии гуманизма в веру: о взрослой благородной вере, которая уже не ищет личного спасения, а хочет одного: «исполнить правду Божию». Среди того, что упущенно историческим христианством и теперь встает как актуальная задача, Бонхеффер говорит о почтении к качеству (мы долго учились почитать малое и убогое мира сего и забыли о почтении к дарам и качеству): имена Гёте и Баха постоянно возникают в его размышлениях. При этом «мифическое», замечает он (называя, в частности, любимого им до тюрьмы Рильке), меркнет в той крайней ситуации, в которую он поставлен, а «простое реалистическое», XIX век, оживает.

[39] Кереньи приводит слова Шопенгауэра: «Греческое (Griechentum) значило для нас то же, что святые для католиков».

[40] См. наблюдение американского поэта об исчезновении Музы в современной поэзии (или таких замещающих ее вестников from beyond, из вечности и величия, как Западный Ветер Шелли или Соловей Китса). — *Robert B. Shaw.* The Muse at Loose Ends. Poetry VCLXXYII, 4. February 2001.

позже, чем в других местах, где свободные неомарксисты обличили традиционную культуру как ворованную у бедных интеллектуальную собственность, нечто вроде классовой привилегии и рыночного товара. Да, сам Маркс был в этом отношении еще не таким последовательным гуманистом, как Бурдье. Но мы Бурдье еще не знали, и в воздухе «священной культуры» прошла молодость людей моего поколения. «Россия, Лета, Лорелея». За железным занавесом мы пропустили еще один необратимый шаг гуманитарной культуры вперед, в гуманистическую деконструкцию. И пустились, как всегда, догонять и перегонять, сочиняя такое, что не снилось Бурдье и Деррида. Похожее мне приходилось слышать от польских, венгерских, албанских друзей...

Но вернемся к Гермесу, если не божеству, то ангелу моей юности. Итак, сам по себе «дух Гермеса» — не исключительная находка наших корреспондентов. Они следуют Гете, они окружены творческими современниками, ищущими чего-то сходного. Но дело не в приоритете. Последовательное, живое и *политически* понятое (вот чего не было у всех тех, о ком мы говорили выше!) выращивание «мифа Гермеса» на смену наличному аполлоно-дионисийскому мифу культуры, которым заняты в своей переписке Манн и Кереньи, и составляет ее значительность. Гермес должен был стать мифом гуманизма, у которого недоставало не то чтобы своего мифа — таким мифом традиционно был Прометей, богоборец и друг людей[41], — но не было общего *чувства* мифического как смысла, как содержания (об этом дальше). Само это чувство и этот смысл открылся только в двадцатом веке, вдруг, как взрыв, сразу во многих эпохальных трудах историков религии и антропологов, решительно изменяя просвещенческую картину человека.

Миф Гермеса, как уже говорилось, — это миф срединности и посредничества, связывающего «небо» и «землю», «миф» и «дух», «природное» и «разумное», близкое и отдаленное. «В духе Гермеса» можно говорить об ответственности искусства и о духовной обоснованности академической науки. «В духе Гермеса», бога связи и обмена, бога торговли и странствий, вообще говоря, только и осуществим продолжительный, понимающий и взаимозаинтересованный диалог: ведь и аполлонический, и дионисийский гении — радикальные монологисты.

Поскольку симпатии художников и мыслителей в посленицшеанскую эпоху по преимуществу принадлежали «дионисийскому» началу[42], возрождение «культа Гермеса» в неомифологии — точнее, метамифологии или даже свободной

---

[41] Тем более что и сам Прометей был истолкован иначе: сущностью его образа, в исследовании Кереньи, стало не тирано- или богоборчество, а *учреждение жертвы*. Prometheus. Die menschliche Existenz in griechischer Deutung. Zürich, 1959.

[42] В России начала века «дионисийствовать» полагали своим долгом не только такие мало склонные по природе к безумию и стихийности художники, как В.Брюсов и Вяч. Иванов: молодой П.Флоренский, по воспоминаниям Н.Ельчанинова, с одобрением наблюдал в себе «дионисийские силы». Впрочем, когда Бетховен сравнивал себя с «Дионисом, выжимающим виноградную гроздь для людей», никакой примеси декадентского дионисийства в этом не было.

теологии[43] европейской культуры означало бы прежде всего разрыв с иррационализмом, с эротической тягой к «бездне» и «силе». Чудовищную обезьяну неоромантического дионисийства европейские интеллектуалы с ужасом узнали в национал-социализме: ср. беспощадный опыт самоанализа в «Брате моем Гитлере» Т.Манна. Но Аполлон, «бог дали, бог дистанции и объективности, бог иронии — то есть эпического взгляда, взгляда в высшей мере свободного и спокойного, видящего никаким морализмом не замутненную предметность», как описывает его в 1939 году Т.Манн[44], холодный и «правильный» бог, не мог составить соперничества дионисийскому эросу. Стоит заметить, что об Аполлоне к этому времени знали больше, чем во времена Ницше: темная хтоническая подкладка «бога света и разума» была выведена на свет исследованиями того же Кереньи о «волчьем Аполлоне»[45]. Дистанция и смерть, дистанцирование и убийство (изначальная функция Аполлона — демона смерти) — повторяющиеся темы Кереньи. В образе Гермеса открывался как будто более дружелюбный, более соразмерный человеку житель Олимпа, его помощник в Аиде.

Итак, Гермес несет с собой мягкую, укрощенную мифологию. Если посмотреть с другой стороны — он укрощает и гуманизм, замещая Прометея, традиционный символ самоотождествления гуманистов. Тем самым мотив богоборческого нарушения космического порядка в пользу человека оказывается отодвинут. Не героическая воля, а чуткость — главное достоинство нового гуманиста, заключившего мир с мифом: мудреца, умеющего вовремя поддаться воле момента, или «таинственному», или бессознательному — и при этом остаться собой (вспомним гётевское: не брать высоту, а падать вверх, Fall nach oben). Лучший образец такого героя «герметического мифа», любимца небес и земли, которому все обращается во благо, и старое, и новое, — Иосиф из библейской эпопеи Манна. Вот образец гуманизации мифа или возвращения гуманизма к мифу, о чем как о главной задаче времени постоянно идет речь в переписке. В каждой из составляющих — и в гуманизме, и в мифе — происходит определенный сдвиг, модерация, смягчающая их исходную несогласуемость.

---

[43] Теологом (в первичном, т.е. не церковном смысле слова) Кереньи называет своего учителя В.Ф.Отто: «единственное исключение среди филологов, истинный теолог мифологии». *K.Kerenyi.* Vom Wesen des Festes. Paideuma 1938. Теологичны в этом смысле и его исследования. Память о греческой дохристианской теологии позволяет обсуждать в качестве теолога и такого мыслителя, как их современник М.Хайдеггер, в каком-то отношении близкий им, хотя отстраненный от классического греческого пантеона со всеми Гермесами, Аполлонами и Дионисами не меньше, чем от христианской топики. В терминах Переписки Хайдеггер, конечно, более «мифичен», чем Кереньи и Манн, поскольку совсем, без тени игры и иронии, не «по-гуманистически» серьезен и жречески торжественен в своих постулатах — и поскольку язык его — мифологический язык, язык последних властных слов (об этом см. дальше).

[44] Die Kunst des Romans, S.282.

[45] *K.Kerenyi.* Apollon. Studien über antike Religion und Humanitat. Unsterblichkeit und Apollonenreligion. 1937.

На все, что миф, на все, что близко мифу, «дух» или гуманизм (это, в общем-то, синонимы у Кереньи и Манна) привык смотреть глазами Евгемера и Вольтера: он демифологизирует, он производит деконструкцию «суеверий» и «предрассудков» — ради «божественной свободы личности»[46]. Мифическое в такой духовной трактовке — тьма, которая должна быть просвещена разумом, тень, которая исчезнет при свете дня[47]. Впрочем, нельзя упустить того, что классический гуманизм, враг мифической тьмы и «сверхъестественного», то есть чудесного, усвоил основную мифическую интуицию античности: интуицию божественного достоинства и свободы человека. Это и в самом деле таинственная, мифическая, никакими рациональными аргументами не обосновываемая интуиция.

Кереньи и Т.Манн, истинные наследники европейского гуманизма и Просвещения, знают о мифе нечто другое, чем Евгемер и Вольтер. Они знают не только то, что мифическое не преодолимо светом разума, который может только загнать его в подполье, откуда оно будет выбрасывать грозные разрушительные протуберанцы. Они знают и то, что его вовсе не следует «преодолевать» и «вытеснять». Они знают красоту, силу и смысловую глубину мифического.

Один из серьезнейших исследователей классической, а затем и общей мифологии К.Кереньи понимает мифическое как «идееподобное», ideenhaft: «нечто более непрозрачное, чем идея, и тем не менее, подобное ей в сравнении со слепым чувством: откровение какого-то нераскрытого, как бутон, смысла»[48]. Тем самым главным в мифе оказывается не его иррациональная *сила*, подчиняющая себе личность (то, что привлекало фашизм), не обсуждаемая, не анализируемая, враждебная разуму, индивидуальности, свободе, различению добра и зла. Миф (вначале классический, а затем и экзотический) предстает прежде всего как особого рода познание, родственное эстетическому[49]: он, как гово-

---

[46] Так, если «Иосифа и его братьев» Кереньи считает истинно мифическим произведением, то другую манновскую обработку библейской темы — «Закон» — уже «немифическим», «особым духовным (т.е. гуманистическим, дистанцированным) образом отмеченным пост-мифическим созданием» (31). Вообще традиционно гуманистическое отношение к мифологии (классической мифологии) не знает мифа в смысле Кереньи, т.е. особого восприятия мира, знаками которого являются сюжеты и фигуры. Достаточно было самих этих знаков: ими оперировали как аллегориями, как стилистическими подцветками, которые сути дела не меняют (так Данте именует библейского Бога «нашим Юпитером» в своей христианской поэме, ни в малейшей мере не придавая этому конфессионального смысла).

[47] Впрочем, есть более мягкое отношение к мифу — плутарховское, о котором оба корреспондента вспоминают как об оптимальном гуманистическом подходе. Толкуя экзотическую для него египетскую религию через призму греческой («Моралии. Об Исиде и Осирисе»), Плутарх видит и в греческом, и в египетском мифах выражение некоторых более универсальных представлений философски-богословского порядка. При этом, что импонирует Манну и Кереньи, позиция Плутарха равно удалена и от евгемерической демифологизации, и от наивного буквализма народного восприятия.

[48] Переписка, с.151

[49] «От гносиса или теологии ее (мифологию) отличает творчески-художественный характер». «Образы (Bilder) составляют ее материю, как тоны — материю музыки» (Переписка, с.9).

рит Кереньи, есть «первая встреча космоса с самим собой»[50]. «Мифология не форма, она содержание. Миф держится или рушится вместе со своим содержанием»[51]. У мифического мышления, как мы теперь хорошо знаем, свои законы; выяснением этих законов занимались многие мифологи двадцатого века. Но не это интересует Кереньи: его мифическое не размещено в историческом ряду смен форм мышления человека (предшествуя понятийно-логическому и «развиваясь» в него, как детское восприятие мира сменяется взрослым). Оно универсально и присуще человеку всегда, во все исторические эпохи и во все его личные возрасты. Оно определяется своим предметом, отвечает ему. Этот предмет иначе как мифически схвачен, понят быть не может. В этом смысле мифология в высшей мере *нормальна*[52]. «Бутоноподобные смыслы» вспыхивают в сознании всякий раз, когда оно встречается с бытием в его парадоксальности, не схватываемой рассудком, — в его неразделимой смерти-и-жизни, пребывании-и-становлении, девственности-и-рождении и т.п. Миф, тем самым, не просто особый род мышления: это мышление об особом ракурсе бытия, которое — относительно его зрителя — можно назвать *изумляющим*[53]. Это мышление о бытии как о чуде. Словесный миф и ритуал, две формы существования мифологического мира, первичность каждой из которых отстаивают разные школы антропологов, Кереньи (в своем исследовании Элевсинских мистерий) представляет как два рода высказываний о таком чудесном бытии: ритуал, мистерия (и в этом ее основной смысл) утверждает, что нечто *есть*, слово (миф) — что нечто обладает силой, или *значит*. *Быть* и *значить*, пустые связки в логических утверждениях типа: «А *есть* то-то», «А *значит* то-то», переживаются в мифологическом универсуме — независимо от того, *чем* конкретно быть и *что* конкретно значить — в своей таинственности или, что то же, в точке своего вечного возникновения. Или — в своем образе (Gestalt, Bild)[54].

Содержательное понимание мифологического отличает Кереньи от других исследователей XX века, которых в мифе интересовала прежде всего особая «прелогическая структура» (Леви-Брюль) или «символическое мышление» (Кассирер) — и дальше, тот же интерес к «другой мысли» в структурной антропологии К.Леви-Стросса, в культурном номогенезе О.М.Фрейденберг.

---

[50] Переписка, с. 33.

[51] *Kerenyi.* Umgang... 31-32.

[52] Тезис Кереньи о нормальности мифологии противостоит позднеантичной и просвещенческой критике мифа как выдумки и невежественной фантазии — и, одновременно, неомифологизму, в котором миф связан с экстраординарным, психоделическим состоянием или неврозом.

[53] Здесь вновь невозможно не вспомнить Гете, его мысль о «прафеномене», знак встречи с которым — изумление: вершина и предел познавательного движения. Нам уже не нужно знать, *что* это: достаточно того, что это *есть*. В утверждении того, что нечто *есть*, Кереньи видит основной смысл мистерии (ритуала вообще).

[54] Ср. сходную тему образа (в искусстве), говорящего прежде всего о *собственном рождении*, в современной переписке Манна и Кереньи «Охранной грамоте» Б.Пастернака.

Однако *какой мир* познает это «другое сознание», эта «pensée sauvage», эта «архаическая метафора»: тот же ли, что понятийно-логическое сознание, или другой? Если тот же, оно закономерно им сменяется, если другой — оно сосуществует с ним как вторая и необходимая человеку возможность отношения к вещам (как, для сравнения, умение думать отвлеченно не отменяет необходимости слушать конкретные звуки: это простое сравнение уместно в связи с постоянным уподоблением мифологии музыке у ее исследователей). Для того, чтобы задаться таким вопросом, и нужно было быть, видимо, не только ученым, но «герметическим ученым», собратом Гёте. Нужно было быть «посвященным в бытие». Кереньи изучает не «миф», а «миф о чем»: миф о божественном бытии[55], о «блаженной области существования»[56].

Как другие исследователи мифологии двадцатого века (в России А.Ф.Лосев[57]), Кереньи хочет проникнуть за поверхность пластичных хрестоматийных образов олимпийцев и героев, к которым европейская культура веками прибегала как к словарю готовых сюжетов и аллегорий. Открытие классической мифологии «как она есть» происходило параллельно перевороту в психологии, открытию бессознательных зон личности. И там и здесь требовался отказ от рационалистических схем, не позволявших видеть человека и его создания в их реальном составе. Вновь открывшиеся возможности интерпретации и образного творчества поражали своим богатством. «Психологические тривиальности» развеивались, как дым. В своей глубине, там, где мифология переживается реально (то есть религиозно, в обсуждавшемся выше смысле), хрестоматийные антропоморфные персонажи ее рассыпаются на те составные, которые Кереньи называет «идееподобными» образами, «смыслами-бутонами» (О.Фрейденберг — архаическими метафорами, структуралисты — системами оппозиций), или объединяются как вариации одного сверхобраза (в таком общем образе Девы — Коры Кереньи объединяет Анадиомену, Гекату, Деметру, Персефону). В конце концов, все олимпийцы — это нечто Одно, играющее своими разными гранями, одна «блаженная сфера бытия», как называет это Отто: бытие в модусе чистоты — Аполлон, в модусе мудрости — Афина... Каждый бог-персонаж — только «зерно своего образа», целый же образ этого бога составляет его «мир» («мир Гермеса», «мир Афродиты»)[58]. Сюжеты оказываются множественными, и существеннее всех действующих лиц и их историй становится живая система *связей*

---

[55] Образ, в котором Кереньи, вслед за Отто, видит сущность мифа, характеризуется своей отграниченностью. Однако границы образа — не «нечто другое», но все, Alles. Таким образом границы образа не столько отделяют его от чего-то другого: они привлекают к рассмотрению вместе с ним *всё* и «позволяют увидеть всё во всём. Так становится очевидным, что бытие, которое хочет заключить себя в образе, божественно» (*Ommo*, 152). Эту мысль Кереньи развивает в своем исследовании Прометея как парадигмы человеческого существования.

[56] Die glückhafte Sphare des Daseins — *W.F. Otto*. Theophania, 61. Эта беспечальная, не знающая морализма сфера существования, по Отто, представлена особенно символом Гермеса.

[57] *Лосев А.Ф.* Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.

[58] Umgang, 41.

целого, связей неожиданных и для понятийного рассмотрения необъяснимых: совсем им забытых (таких, например, как смысловое тождество образа младенца — и геометрических фигур шара, круга и под.[59] или символическое единство стола и неба). Исследователь попадает на родину человека, в мир первых смысловых универсалий, столь очевидно общий, что материал классической Греции, занимающий такое привилегированное место в европейской культуре, здесь не слишком отличается от какого-нибудь совершенно экзотического (индонезийского, например, у Кереньи) — при том что ни о каких заимствованиях, бродячих сюжетах и подобных вещах из арсенала старой гуманитарной науки речи идти не может[60]. Путь Кереньи от классической мифологии к всеобщей совершенно естественен. Естественен и его приход к сотрудничеству с глубинной психологией Юнга: универсалии, которых он коснулся в своей интерпретации классического наследства, — универсалии человеческой психики, говоря по-гуманистически, а по-мифически — Психеи человека[61]. «О каких началах — archai — говорит миф? о началах органического бытия человека»[62]. Это область «общечеловеческого, пред-индивидуального, пред-монадного. Там творят великие художники»[63]. Это мир *души*, Психеи (характерно отсутствие самой такой вещи, как душа, в рационалистской материалистической картине мира; известно, с другой стороны, и традиционное недоверие к «душевному» в христианской аскетике: с «душевным» здесь умеют обходиться не менее жестко, чем с «плотским»).

Путь симпатического приобщения к мифу как смыслу в каком-то смысле уравнивает интерпретаторские возможности ученого эрудита и художника, если взгляд их направлен на прообразы, архетипы, идееподобные смыслы. Поэтому манновская художественная интуиция важнее для гипотез Кереньи, чем суждения его академических коллег, неспособных освободиться от «психологических тривиальностей» (один из примеров мифологической проницательности Манна — угадывание им метафоры смерти и воскресения в спуске в колодец и выходе из колодца в «Иосифе и его братьях»). И если ученому Кереньи прорыв в мир мифических монад позволяет читать в позднейших жанрах их древние прообразы, то художнику Манну «прыжок в миф» позволяет просвечивать в обыденной бюргерской реальности ее символическую подкладку. Чего стоит, например, финал его «Тристана» с внезапным появлением перед униженным героем смеющегося ребенка в коляске: младенца вполне реалистического — но так явно *значащего* для читателя со вкусом к архетипам. И дело здесь, как

---

[59] «Мотив младенца — символ единящего, делающего цельным. Его выражают также круг, крест, шар, квадрат — формы цельности» (*C.G.Jung und K.Kerenyi*. Einführung in das Wesen der Mythologie. Gottkind mythos. Eleusinische Mysterien, 123).

[60] Прикоснувшись к мифической магме, исследователь начинает распознавать ее и в позднейших явлениях. Интересно, что для Кереньи, как и для О.Фрейденберг, едва ли не ключом к архаике оказался поздний жанр греческого романа: ему посвящены начальные работы обоих исследователей.

[61] Сходая идея одушевляла замысел Symbolarium'a П.Флоренского.

[62] *Jung, Kerenyi*. Op.cit. 32.

[63] Там же.

всегда в случае с мифическим, не в специальной эрудиции. Можно не обладать никакими особыми познаниями в области плутовского романа (и тем более его мифических корней, сюжетов о божественном плуте), и при этом в каждой авантюре Феликса Круля уловить вспышку чего-то «давно знакомого», чего-то более многозначительного, более интимно связанного с общей человеческой участью, чем это могло бы следовать из того же сюжета, прочитанного прозаически. Интересно, что Кереньи-исследователь ставит такие поздние и авторские («литературные») сочинения, в которых раскрывается потенция мифических смыслов, наравне с древними источниками: для него это один ряд епифаний мифа. В способности Т.Манна просвечивать мифическую реальность за предметами современного быта Кереньи видит «возвышение человека» — или возвращение искусства на его родину.

Мифическому здесь противопоставлено обыденное: отчужденное социальное существование, «совсем секулярное», из которого все выходы в мир образов наглухо закрыты и все «последние вещи» удалены — и прежде всего, Смерть. Миф же всегда — слово о жизни-и-смерти, о жизни в виду смерти (как это представлено в «Волшебной горе»: существование в виду смерти в горном туберкулезном санатории делает каждую деталь происходящего с героями образом; они стали «избранниками» благодаря болезни; болезнь, затемнение на рентгеновском снимке наделяет «маленького буржуа» «духом»). Еще точнее можно сказать: миф говорит о *жизни как границе смерти*. Дело в том, что греческая, как и всякая мифология, чрезвычайно противоречиво описывает пространственное расположение «иного мира», «мира умерших», Аида: входом в него может быть море, река, гора... но при этом он может объявиться в любой точке здешнего мира. *Границей* загробья в сущности оказывается *весь здешний мир*; вся человеческая жизнь — граница смерти (это более сильный образ, чем известное «бытие-к-смерти»). В этом заключена основная мысль Кереньи о ситуации человека как ее представляет миф. С этой темы начинается переписка Манна и Кереньи. Мифическая реальность для обоих — это реальность, которая вспыхивает в виду смерти, и *потому* ее образы — это не просто вынесенные из потока времени в его исток, очищенные от случайного образы вещей: это образы «благочестивые» (fromm), окруженные аурой святыни — *природной* святыни человека, предметом врожденного благоговения «смертного».

Однако иррационалистическая волна европейской культуры (то, что Кереньи и Манн называют «интеллектуальным фашизмом»), возвращаясь — точнее, рушась — в миф, как известно, достигла эффекта прямо противоположного «возвышению человека», и тем более возрождению «благоговения» в смысле Кереньи. Быть может, речь шла о другом мифе? Можно представить себе различие «опасной мифологии», практический предел которой составляет неограниченная манипуляция человеком, и «проясняющей вселенную» мифологией Манна-Кереньи в мифических же образах. Первую мифологию населяют Горгоны, Пифоны, Немейские львы и Лернейские гидры, вторая включает в себя и Пифона, и поражающего его Аполлона (см. в переписке восторг Кереньи по поводу «алмазно острого рассекающего серпа, который Зевс заносит над Тифоном:

Он разит чудовище в пах!»[64]. То есть претворение хаоса в космос происходит не за пределами мифического, а внутри него и его же средствами.

Несомненно, неоварварство, «враг человечности», словами Т.Манна, избрало иной ракурс мифологии, чем Манн и Кереньи. Но опасность имманентна любому мифу[65]. Его до-личная глубина, которую многие исследователи характеризуют как «дорелигиозную» (в другом смысле «религии», чем у Кереньи: в смысле институционализованного культа с отчетливой доктриной) и «доэтическую», предполагает поглощение отдельного человека чем-то более обширным, родовым, коллективно-бессознательным, «природным»-беспредельным; поглощение человеческого поступка космической фатальностью. Спуск в эту глубину требует жертв: в жертву приносится разум, ответственный выбор, способность различать, историческое чувство (все ценности гуманизма). Мифическое позволяет своему адепту единственное отношение к себе: слияние, полную самоотдачу. Ни о каких возможностях дистанции и критики речи уже быть не может. В этом смысле «мифическим» Манн может назвать и ветхозаветный рассказ и определить цель собственной обработки его как «гуманизацию» («Иосиф и его братья»). Гуманизировать миф, объясняет автор «Иосифа», европейского «романа воспитания», действие которого перенесено во времена библейских патриархов, значило для него увязать сакральную реальность с секулярной[66]: с конкретной бытовой психологией действующих лиц, конкретными «натуральными» мотивировками событий, благодаря которым герой перестает быть чистым медиумом высшей воли, а происшествия — разыгрыванием по нотам готовой небесной партитуры. У манновского Иосифа-«гуманиста», нового человека в сравнении со своим почти целиком «мифическим» отцом Иаковом (хотя и тому одержать верх над простоватым братом помогает нечто «гермесовское» или «гуманистическое»: собственное хитроумие — и благословение неба), всегда есть зазор между предрешенным свыше — и предпринятым им самим. Его не ведут за руку, как мифического героя: он каждый раз *угадывает*, что ему *здесь* положено делать. Он «падает вверх», тогда как его братья и другие незадачливые персонажи романа карабкаются вверх и падают вниз.

«Гуманизация» библейского повествования, мягкий комизм, в котором нет ничего от деструктивной иронии, окутывающий у Манна невероятно деталь-

---

[64] Переписка, с. 178.

[65] См. слова Кереньи об опасности мифа в современности: мифическое слово опасно, поскольку это слово авторитарное, слово откровения, тем самым предоставляющее говорящему право личной безответственности. (*K. Kerenyi.* Umgang mit Gottlichem. Über Mythologie und Religiongeschichte. Göttingen.1961, 36). «Рассказывающий не отвечает за то, что говорит. Авторитета некоей смутной традиции для него достаточно» (там же, 37). Начиная с софистов и Сократа *мифу* противопоставляется *логос* как слово ответственное.

[66] О внесении представления о секулярном в библейский сюжет как об анахронизме см. выше. Выделение saeculum как чисто профанного (иррелигиозного) пространства и секуляризация, т.е. выведение определенных зон жизни из круга действия неких абсолютных, сверхъестественных сил, — достаточно позднее явление. См. альманах Saeculum, Freiburg — München, 1951, 1952.

ное изложение событий, занимающих в Книге Бытия 13 глав, едва ли не в первую очередь происходит благодаря словесной ткани романа, Sprachwerk.

Заметим, что именно ссылками на «языковой статус» (а не на «художественность», «воображение», «творческую переработку» и т.п.) Манн оправдывает анахронизмы своего повествования. За этим стоит определенное представление о языковой реальности как о мире значений и именований, не слишком жестко (в случае Манна, а у более радикальных модернистов и вовсе свободно) связанных с реальностью того, что они именуют.

Здесь мы касаемся одной из важнейших тем переписки, темы *языка* в ее отношении к мифу и гуманизму. У двух этих миров, мифического и гуманистического, разные языки: настолько разные, что перевод с одного языка на другой невозможен. В переводе мы получим другую реальность. Переводя с мифического на гуманистический, мы получим нечто вроде вольтеровского изложения преданий. Переводя с гуманистического на мифический, мы получим, например, на месте современного политического лидера «Зверя из бездны».

С гуманистическим полюсом связывается все более и более остывшее слово, уже не язык, а метаязык, язык о языке, рассмотренном с критической дистанции. В такой бесплотной негативной словесности (Sprachwerk) уже неосуществим образ — и, тем самым, поэзия.

С мифическим полюсом связано слово, расплавленное, как магма, теряющее свои смысловые очертания, значение которого возникает ad hoc: это слово не столько значаще, сколько значительно. Значительна его пифическая тьма, его необыденность, его магическая сила. Говорящий такими словами не обязан отчитываться за свои употребления: речь, которую он говорит, как бы не его, она выше его собственного понимания. На таком языке невозможна мысль — мысль не как внезапная вспышка смысла, догадка о смысле, его короткое замыкание, а как движение и развитие смысла. А ведь протяженная, длящаяся мысль, мысль как проведение смысла — не только дань внешним обязательствам логики: это одно из лучших наслаждений человека.

Мифическое захватывает и мысль такого рода, и словесное общение: его невыразимость в словах, несказанность провоцирует распад языка, явление нового или «совершенно своего» слова (крайний случай такого слова — «Манч, манч!», слова умирающего Эхнатона у Велимира Хлебникова), слова, которое скорее заклинает, чем называет свой предмет (такой язык Т.Адорно назвал «жаргоном произвольности», das Eigentum). Ведь мифическое, как это ни странно, в своем существе не соприкасается с наличным языком. Мифическое не только «дологично»: оно вообще до речи, до слова. В каждой отдельной жизни мир мифических связей, младенческий мир, уходит и забывается параллельно усвоению языка. Мифологию часто сравнивают с музыкой; Кереньи помещает ее между поэзией и пластикой. Однако самая суть мифа, говорит он, еще проще, еще ближе: это внутренний жест, осанка (Haltung): такая, например, как поклон или торжественная прямизна «как по струнке», «шаг навстречу и предстояние божественному»[67]. При этом «уже первичным и внутри помысленным

[67] Umgang, 48. При этом то, перед чем человек склоняется или выпрямляется, может быть и Ничто, как в буддизме, уточняет он.

религиозным жестам присущ стиль (стиль телесности). Так, устремленная к небу осанка человека есть первый знак мифа о небе ... он не в словах, а в позе, в держании тела»[68]. Только странное, неразгадываемое, властное слово может хоть как-то передать этот смысл-жест, как часто и случается в поэзии двадцатого века. Такое слово, как все мифическое, требует нерассуждающего доверия к себе. На месте общения и свободного обмена смыслами (к чему, казалось бы, и призван язык) устанавливается магическое, властное воздействие, непосредственная передача некоей *силы*[69].

Парадоксальным образом, язык, как мы говорили, не способный без потерь передать «жестовое» содержание мифа, и сам может переживаться как миф, как вторая реальность, существующая в форме слов — и исключительно в форме слов: другого мифа, чем мир имен, и не предполагается. Так, по определению П.Валери, «миф — это все то, что существует исключительно в форме слова».

Т.Манн — создатель своих Sprachwerk и здесь ищет герметического третьего пути. Сила мира имен, создающего отдельный и не соотносимый с «действительностью», то есть с опытным переживанием вещей, названных этими именами, ему хорошо знакома: одно из самых ранних его сочинений, «Разочарование» (1896) посвящено трагическим ножницам между названием и названным (герой новеллы надеется, что хотя бы последнее, что ему осталось пережить, собственная смерть, не разочарует его в сравнении с тем, что обещает ее имя). Но выработанная Т.Манном языковая стратегия — ясное и классически правдоподобное слово. Его романное письмо кажется последним, странно поздним образцом большого реализма, «нормального» письма, настаивавшего на том, что оно «отражает» жизнь. При ближайшем рассмотрении эта классичность иллюзорна: в действительности это герметическая игра с классикой, поскольку — как сказано в «Избраннике» — не «реальность», не «то, как все было взаправду», а «дух повествования» раскачивает колокола в Риме раннехристианских времен, о котором идет речь. Дух повествования, *почти* самоцельная игра с языковыми образами событий и персонажей. Особенного блеска эта игра у Т.Манна достигает в Sprachwerk комического регистра: в многоязычных, многостилевых повествованиях «Избранника» (которого сам Манн в переписке называет своей сатировой драмой после трагедии «Доктора Фаустуса»[70]) и «Феликса Круля». Да, это игра, и повествователь не скрывает того, что перед читателем «реальность языка», и не больше — и только в реальности языка существуют сочинения Адриана Леверкюна: но кто, читая, усомнится в том, что ему описывают то, что есть на самом деле! Это слишком правдоподобно, слишком дотошно, слишком детально прописано для выдумки (стоит сравнить, в каких смутных очертаниях обычно писатели передают содержание произведений своих героев, если те сочиняют музыку, пишут картины или иссле-

---

[68] Там же, 50.

[69] Как попытку гуманизировать (в обсужденном смысле евгемеризма) язык герметичной лирики, предложив «расшифровки» того, что там «зашифровано», можно понять критические опыты М.Л.Гаспарова, в частности, его фраппирующие комментарии к Мандельштаму.

[70] Переписка, 24.

дования!). И сама эта «немецкая основательность», «в духе» которой Манну не лень было всерьез изучить музыкальную систему Шёнберга, египетскую мифологию, средневековые хроники или клинические описания развития сифилиса, — не что иное как игра: игра всерьез, das ernste Spiele. Внятное и отстраненное, остроумное, афористичное слово повествователя у Т.Манна играет на грани того бездонного мифического, власть которого над человеком он прекрасно знает (см. «Марио и волшебник»).

Решение Т.Манна своеобразно, но в большом обобщении язык многих значительных авторов первой половины двадцатого века можно назвать «герметическим», в каждом случае по-своему «гуманизирующим» мифический по своему происхождению и по своему существу язык поэзии, «язык богов». Самый простой путь такой гуманизации — прозаизм; но в своей окончательной последовательности это путь евгемерческий: «мифа» вообще не остается. Возможны и куда более сложные и тонкие пути «укрощения» или «отрезвления» или «взросления» языка поэзии: риторические стратегии Рильке, или Элиота, или Мандельштама, или Джойса (подробнее аргументировать тезис о «герметизме» языка каждого из названных и многих других авторов здесь нет возможности).

Итак, о *мифе*, как его видят Кереньи и Манн, пожалуй, довольно. Добавим немного к тому, что по ходу дела уже говорилось о *духе*. Мы уже говорили, что этот *дух*, противостоящий *жизни,* как его понимают и Кереньи, и Манн (и Клагес, и Вас.Розанов, и, видимо, вся посленицшеанская эпоха) совершенно отличен от *духа* христианской традиции. Это исключительно человеческое, субъективное и индивидуальное начало (отсюда синонимия «духа» и «гуманизма» у корреспондентов), свобода дистанцирования, предметного рассмотрения и анализа, систематическое сомнение, просвещенческий esprit. Это то, что отличает человека в живом мире. «Духовное» в таком понимании, критичное по преимуществу, то есть судящее и рассуждающее, холодное, близко рассудочному и ироничному (во всяком случае, умственному и никак не сердечному). «Божественность» такого «духа» (см. начальную цитату из Т.Манна), отдаляющего его носителя от наивной «жизни» и тоскующего по ней (частая тема тоски духовного по живому у Т.Манна: «Тонио Крегер»), единственно в том, что он сообщает свободу человеческому Я. «Я вам не игрушка!» — как бы говорит такой «человек духа» всем надчеловеческим и недочеловеческим стихиям. Без «духа» он отдался бы им с потрохами (что и предлагает «философия жизни»). С «духом», однако, он становится как бы иноземцем среди людей и изгоем космоса. «Дух» — это его высокая болезнь; здоровье «недуховно», простота «недуховна», сердечность и чувствительность «недуховны». Произведения искусства создаются не «духом», а гением (инстинктом, манией и т.п.). Каким путем из Жизнеподательного Духа получилось это странное, почти садо-мазохистское, отнимающее нас от «природы» начало, может проследить историк идей. Мы же в Переписке застаем его уже таким, готовым.

Это употребление, хотя и подхваченное в предреволюционные годы в России, тем не менее расходится с обиходным (тоже совсем не церковным) употреблением слов «дух», «духовный», «духовность» в русском языке. Здесь «духовным» называют творчески-культурное — и конечно, не критическое, а пози-

тивное. Обобщение этого представления мы найдем в трудах Я. Голосовкера: «Слово «дух» и означает высший инстинкт культуры, который живет в воображении, сидит в нем и через него развился и развивается, то есть проявляет себя как знание»[71]. Иначе он называет «дух» «Имагинативным Абсолютом» (с.75) и противопоставляет его отвлеченному разуму, ratio, «рассудку-контролеру» — то есть «духу» в значении Т.Манна! Порождения «духа» у Голосовкера — «культуримиганации», иначе «смыслообразы» (такие, как Прометей и Демон, но также и такие, как Красота, Благо, Истина)... Все, что описывает Голосовкер и что так привычно в русском употреблении, совпадает с *мифом* Кереньи! Это отступление в сторону российского современника — и коллеги — Кереньи и Манна я делаю для того, чтобы подчеркнуть, как трудно представить нам другое, негативно-критическое, именно «контролирующее» (как это возмущает Голосовкера!) представление «духа». В конкретно духовном контексте православной аскетики этот, немецкий «дух» отчасти близок «духу трезвения», который и в самом деле — враг *воображения,* понятого как «мечтание» и «соблазн» (впрочем, Голосовкер противопоставляет воображение фантазии , хотя все его попытки определений своих основных терминов совершенно неудовлетворительны: еще бы, зачем «контролировать»!).

Но вернемся к *духу* Кереньи и Манна. Оставаясь собой, «духовность» такого рода вряд ли может гуманизовать миф: она его просто упразднит, переобъяснит, деконструирует (так в последние десятилетия мы видели множество деконструкций таких вещей, которые во времена Манна к мифу или мистике еще не причисляли). Но, как мы говорили, речь и не идет об одностороннем просветлении *мифа* рациональным адогматичным *духом*. Речь идет об укрощении и возвышении этого духа: о восстановлении почтительного внимания к преданию, к древним прообразам, о доверии к ним (подобном отношению юного Иосифа к отеческим преданиям или — в комическом варианте — уважении авантюриста Круля к природе), о благоговении перед неразгадываемой глубиной традиции и космоса. Homo humanus нового «религиозного гуманизма», о котором думают Манн и Кереньи, осуществляет себя не через «победу над природой» (в том числе над собственной природой, физической и психической), но через дружеское сотрудничество с ней, через почтительное исполнение ее законов. Чтобы исполнить эти законы, их нужно услышать: и такой гуманистический человек более всего занят познанием и самопознанием, медитацией и рефлексией, вслушиванием в то, что говорит через него. Исполнить законы надличного и остаться при этом свободной личностью — задание парадоксальное. И здесь Т.Манн предлагает стратегию *игры* с прообразом, игры серьезной и самозабвенной: так играет с преданием его Иосиф.

Таким образом должна была бы смягчиться прирожденная антидогматичность гуманизма, ставшая его собственным догматом — и часто более жестким, чем все позитивные догматы религий. Миф, как мы помним, то «что нас связывает» (связывает между собой; связывает с Иным; связывает с собственной

[71] *Я.Голосовкер.* Имагинативная эстетика. Публикация Н.В.Брагинской. — «Символ» 29, сентябрь 1993. Париж. С. 76.

молчащей глубиной; связывает руки нашей дерзости). Тогда, в примирении с мифом, с общим и глубинным, должен был бы смягчиться индивидуалистический идеал гуманизма — и казалась бы не безнадежной перспектива гуманистической «соборности», «своего рода гуманистического католицизма», как называет это Кереньи, «всемирного Веймара». Казалось это, впрочем, только Кереньи: Т. Манн ясно видит утопичность такого проекта: «Веймара больше нет, мирового правительства (при котором только и была бы возможна такая наднациональная внеконфессиональная «церковь» гуманистов), еще нет»[72], замечает он.

Мы уже говорили, что от «среднего мира» Гермеса пути Кереньи и Манна идут в разные стороны. Т. Манн проницательно видит реальность «нового варварства», явление «расчеловеченного человека (entmenschente Mensch)», одичавшего или вообще не знавшего воспитания, в роли главного действующего лица истории. В это время и в ответ на это, полагает он, и «дух» вступает в свою «эпоху упрощения и мужественного различения добра и зла ... не усматривая в этом (различении) никакого ущерба нашей тонкости (Finesse)»: «Это его (духа) способ одичания и омоложения. Да, мы вновь знаем, что такое добро и зло»[73]. Не удивительно ли? Не только *мифическое*, но и *дух*, начало дистанции и различения, оказывается, в своем зрелом, утонченном состоянии не различал добра и зла! Ему нужно «упроститься», чтобы их различать! И мы не можем не чувствовать, что это правда о *духе* и гуманизме. Что этот свободный и освобождающий дух каким-то образом избегает такого элементарного различения. Оттого ли, что это недостаточно культурно? Или оттого, что это более чем мифично: в том смысле, что это различение глубже человека, раньше его? Но что же тогда различает эта воспитанная столетиями культурной работы Finesse? Она различает — так мне представляется — упрощение, незаконную генерализацию. Она сигнализирует о таких ложных утверждениях, как миноискатель. И всё. И разве этого мало? В иные времена вполне достаточно. Но добро и зло, жизнь и смерть различает, видимо, другой прибор. И кажется, мы даже знаем, как называется этот прибор: в Библии он называется сердцем. Мерцающая связь, которую осуществляет Гермес между полюсами духа и природы («маятник, колеблющийся между духом и природой, — вот закон Гермеса», Переписка, 30), между двумя началами, как выясняется, равно не знающими различения добра и зла, — это все же не Третье. Третье — что-то совсем другое. В блаженной зоне бытия играет безучастность, в мире смертных различает сердце, как это говорит над погибшим протагонистом «Доктора Фаустуса» матушка Помалкивай — Швайгештиль.

Наш Doctor Hermeticus, обратившись к «расчеловеченному миру», неожиданно принимает образ, близкий простодушному средневековому хронисту, который описывает «историю несчастной души человеческой, соблазненной диаволом» («Доктор Фаустус»), — историю, которая по существу своему не мифична и которую «гуманизировать» невозможно[74]: это шаг за пределы мифа

---

[72] Переписка, 140.

[73] Kultur und Politik, 1939.

[74] Естественно, реалистическая мотивировка продажи души дьяволу действием бледной спирохеты — в определенном смысле секуляризация сверхъестественного. Но, пожалуй, она только приближает, а не дистанцирует мистический сюжет.

и гуманизма, классического и неоклассического, герметического — перед лицом реальностей вины, греха и совершенно неведомого ни мифу, ни гуманизму дьявола. Таким путем, говорит Т.Манн, «дух вернется к вечно замысленной для него роли: роли Давида против Голиафа, к образу Святого Георгия против змея лжи и власти» («Культура и политика»). Но не другой ли уже это *дух*? Это уже не дух дистанции, а дух, ввязавшийся в битву с небытием, то есть дух творчества.

Итак, мифическое событие Переписки закончилось как будто без последствий. Во всяком случае, без исторических политических последствий. Герметического гуманизма, гуманистической внеконфессиональной религиозности эллинского образца как культурно-политической реальности не получилось. Homo humanus этого замысла — в конечном счете, это человек-художник. Это он соединяет в себе миф и дух, и делает это всегда, когда создает вещь, просто потому, что этого требуют законы искусства, законы соблюдения одновременно дистанции и вовлеченности, глубочайшего почтения и острого недоверия, «хищного глазомера». Искусство XX века с новой ясностью явило этот двойственный герметический образ. Мы можем сказать, что это и в самом деле была, быть может, последняя епифания античности, последнее явление классики, в которую верят, явление ее нового лица. На этот раз не эстетические, логические, этические нормы, как бывало прежде: явилась невидимая сторона классики. Гермес снял свою шапку-невидимку, скрывавшую его даже от всевидящего Аргуса. Или даже в этой шапке он вдруг стал видимым, как в элегии Рильке:

Вот он идет, бог странствий и вестей.
Торчит колпак над светлыми глазами.
Бьют крылья по суставам быстрых ног.

Явилась неуловимая зрячим разумом мифическая глубина классики — и ее гибкое сознание, знающее свой путь к этой невидимой глубине. Путь ума на ощупь: словами Мандельштама, «зрячих пальцев стыд». Бог толкователей, Гермес. Без него художественная удача стала вряд ли уже возможной.

Маленький эпилог

Заметим существенную деталь. Почтение к природе, к мифу как органике человека, к бессознательной глубине личности предполагает уверенность в каком-то исходном благородстве предмета нашего почтения. И это действительно так для Манна, для Кереньи, для Юнга. Их «глубинное» и бессознательное, какие бы сомнительные с точки зрения расхожего морализма мотивы туда ни вплетались, по сути своей благородно и позитивно (так наличие бога воров Гермеса *в каком-то смысле* освящает воровство; таким образом в пантеистической religio освящено может быть все существующее, потому Кереньи ценит в Льюисе способность пережить «черную Афродиту» как позитив) — ведь это живое зеркало божественного космоса. Бессознательное, утверждает Юнг, вообще более этично, чем поздние рационально установленные системы этики: оно непосредственно, как инстинкт, отзывается глубинным законам ми-

роздания; оно чувствительно к таким порокам, которых поздняя мораль не сочтет злом, но именно они влекут нашу цивилизацию к катастрофе[75].

Совершенно ясно, что мыслителям и художникам, не обладающим этой первичной интуицией космического и психического оптимизма, «религиозный гуманизм» (включивший в себя прежде чуждое ему мифическое и бессознательное) не скажет ничего. Там, где под культивированной поверхностью личности предполагаются лишь разрушительные или сексуальные инстинкты, ни о какой «гуманизации мифа», то есть о приятии сознательным бессознательного, речи идти не может. Остается только «деконструировать» бессознательное, все более и более «духовно». Или, не анализируя, выплескивать его в устрашающие и омерзительные создания, занимаясь таким образом автотерапией собственных неврозов (популярное понимание творчества в последние десятилетия), собственной паники смерти. Это движение с большой последовательностью и совершает послевоенная культура Европы. Гуманизм, продолжая отстаивать свободу человека (от языка, от пола... уже почти от всего), утрачивает свою изначальную веру в его благородство: человек новейшего гуманизма — весьма непривлекательное создание. Воспитывать его бесполезно. Знаменательна в этом отношении книга Андре Глюксмана «Одиннадцатая заповедь»: ее можно считать манифестом новейшего гуманизма. Одиннадцатая заповедь, по Глюксману, состоит в том, чтобы не забывать, что человеку присуще зло. И что это зло он неизбежно внесет в самые благие свои проекты. Поэтому лучше ничего позитивного сообща не предпринимать. Но и такой, ничтожный, злой человек достоин свободы: в том числе в осуществлении своей мелкости и зла.

За этим отрезвлением гуманизма (иначе говоря, за «смертью человека» вслед за «смертью Бога»), не признававшего реальности грехопадения[76] и перекладывавшего вину с человека на обстоятельства, воспитание и т.п. , стоит, как об этом пишет сам Глюксман, травма ГУЛага, в который вылилась гуманистическая утопия. Новейший пессимистический гуманизм по-прежнему защищает человека: но защищает он нечто совсем другое, чем то, что на этом месте видели Гёте или Кереньи. В человеке новейшего гуманизма осталась, кажется, одна ценность: его телесное биологическое существование. Это не человек-художник, человек-мыслитель классического и нового гуманизма: это человек-пациент. Недаром пос-

---

[75] «Современный человек смеется над христианской надеждой на потусторонний мир — а сам срывается в хилиазмы, которые в тысячу раз неразумнее идеи блаженного потустороннего мира смерти». «Идеал движения вперед, прогресса (идеал сознательного) более абстрактен, неприроден и тем самым «неморален», поскольку требует предательства традиции. ... Более древнее понимание вещей знало, что каждый шаг вперед возможен лишь Deo concedente. Полный отрыв от корней наступает там, где это Deo concedente забыто». *Jung, Kerenyi*, 121.

[76] В личной беседе с Глюксманом в Париже в 1993 году я заметила, что его одиннадцатая заповедь избыточна: если бы зло не было присуще человеку, ему не нужно было бы давать и Десяти Заповедей. Глюксман ответил, что моя критика либеральна: некий раввин сказал ему, что он счел себя Господом Богом, дающим новые заповеди. На мой вопрос, кто ему близок в современной философии, он ответил, что ему близки не философы, а люди действия: Врачи без границ.

леднее движение гуманизма, в котором дышит высота и героический пафос гуманистической классики, — это движение «Врачей без границ». Никаких параллелей в творческой гуманитарной культуре (то есть там, где дело идет не о телесной, а о душевной сохранности человека) этому движению представить невозможно. Да и телесность человека, ради которой жертвенно трудятся «Врачи без границ», в новейшем искусстве иначе как с крайним омерзением не изображается: эта телесность есть, собственно, сплошное тление. Не вернулись ли мы таким кружным путем к ненавистному для Гёте «лазарету»?

Другая историческая травма, Аушвиц, сделала совершенно невозможным, запрещенным, политически некорректным любой разговор о мифе, попытку любого рода «приобщения к мифу». Вместе с мифом оказался элиминирован и образ. Изысканные и совсем не церковные теоретики искусства напоминают о библейском запрете создавать образы и в нарушении его видят все беды нашей цивилизации. Искусство — «актуальное искусство» — уже давно и не создает образов, а разрушает их, и часто самым немудреным, физическим образом, поджигая, рубя, уродуя разнообразные вещи на глазах зрителя (акция, перформанс) или выставляя уже изуродованные и разрушенные (инсталляция). Творческая акция понимается как по преимуществу — или исключительно — разрушительная акция. «Мифическое», «мистическое», а заодно с ними часто и «метафизическое» в современном культурном контексте могут прозвучать лишь в резко отрицательных рецензиях и быть не только эстетическим, но и политическим приговором. Трудно представить себе круг, в котором теперь всерьез можно было бы говорить о епифании Гермеса: разве только в кружке юнгианцев. «Эллинская вера», о которой мы говорили, со всей очевидностью кончилась. Богов Гёльдерлина больше не ждут и Муз не призывают (см. прим. 31). Место греческой легенды в качестве «области блаженного бытия» или Имагинативного Абсолюта отчасти заняла буддийская: там для современного художника еще светит что-то «неотмирное» и откликающееся в его глубине, что-то размыкающее обыденность, что-то посылающее образы и ритмы — но как далеко это от Аполлона, Диониса, Гермеса и «святой дружбы»! Как традиционное застолье от шприца с «дозой». Это другое, одинокое опьянение... Как ни странно, буддизма пока не деконструировали. Об античности мы теперь слышим только в окончательно гуманистической трансляции (такой, как античность И. Бродского), где никакая епифания Орфея в духе Рильке уже невозможна[77].

Что же касается изгнания «последних вещей» и смерти и памяти о Deo concedente, послевоенная цивилизация ушла в этом направлении далеко вперед от той точки, которую застали Кереньи и Манн, и идет дальше, к технике изготовления человека. С исчезновением «последних вещей» патриарх современной поэзии Чеслав Милош связывает конец лирики. В мире непредельного поэтическое слово не звучит.

---

[77] Мне известно единственное исключение: поэзия Елены Шварц, где Музы являются во всей своей реальности, и совсем иначе, чем у Рильке или Мандельштама. Но что делают эти Музы? Они в конце концов в позднейшей поэме Шварц заказывают по себе панихиду в православном храме.

Все эти печальные и слишком хорошо известные — фельетонные — вещи о «наших временах» как будто целиком зачеркивают значение переписки Манна и Кереньи, значение их мысли о воспитании «энтелехии» или «срединного начала» человека, в котором бы сообщались ум, воля и чувство, сознательное и бессознательное, ночное и дневное, глубина и ясность. Да и само право «воспитывать» давно уже поставлено либеральной педагогикой под вопрос: воспитывать — значит репрессировать; человеку нужно дать следовать своей «природе» (как это согласуется с тем, что в природе этой ничего хорошего нет, трудно понять).

И если теперь, в виду новой цивилизационной конфронтации — на этот раз не мифа и гуманизма, а интегризма и либерализма — в виду шока 11 сентября заходит речь о каком-то поиске смягчения противостоящих начал, о какой-то модернизации фундаментализма и упорядочивании либерализма, как обыкновенно убоги и слабы эти рассуждения в сравнении с богатством обсуждаемого Манном и Кереньи! Это богатство растрачено. Богатство первой половины двадцатого века уже не доступно. Мы в бедном мире (недаром эта тема так популярна в последние десятилетия: «бедное искусство», «слабая мысль» и под.). Бедном и опасном, как опасно все скудоумное. И что же нам делать в этом бедном и опасном мире?

Разве что просить помощи — не у вечно блаженных богов души и Греции, а у нашего страшного, ревнивого, страждущего и милующего Господа. А возможен ли христианский гуманизм — это уже начало другого разговора.

ФИЛОСОФСКАЯ, ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ

в русской периодике второго-третьего кварталов 2002 г.

О ***трудностях обретения исторической памяти*** в статье **«Память и тоталитаризм: французские дебаты»** пишет **Ж.-Ш. Шурек** («Неприкосновенный запас», № 2). Многих публицистов Франции удивляет, почему так памятны преступления фашистов, в то время как преступления коммунистов забыты почти полностью. Автор объясняет это и былой популярностью коммунистической идеи на Западе, и тем, что жертв коммунизма там как раз и не было. Геноцид по отношению к евреям приобрел парадигматическое значение и осознается как уникальное преступление фашизма благодаря энергии самих носителей памяти. Бывшие же коммунисты из бывших стран «народной демократии» превратились в частных предпринимателей и социал-демократов и получили признание на Западе. Но вопрос «отчета о прошлом», по мнению автора, остается открытым. Ссылаясь на философа П. Рикера, Шурек пытается провести границу и найти правильную меру между «памятью-идентичностью» и «назидательной памятью». Первая — «долг памяти» (по Рикеру) — связана с самоопределением и чревата предвзятым самоутверждением. Вторая — «работа памяти», и если такая работа сделана однажды, не следует поддерживать в себе память о травме. Шурек полагает, что создание институтов типа Международного трибунала представляет неоспоримую угрозу для будущих диктаторов, но мало эффективно для прошлых. К тому же разрыв между поколениями судимых и судящих обнаруживает анахроническую несообразность такого суда. Подобные процессы создают скорее друзей правосудия, чем судей.

К. Фрумкин пишет о новом движении в российской мысли — ***традиционализме*** (**«Традиционалисты: портрет на фоне текста»**, «Дружба народов», №6). Автор возводит русский традиционализм к Рене Генону (1886-1951) и считает, что это крайне эксцентричное и порою выходящее за пределы здравого смысла философское движение оживляет унылый пейзаж современной российской философии. Традиционализм — это беспощадная критика современного мира, но основана она не на «гуманистических» и «прогрессивных» ценностях, а на некоей «интегральной традиции», которая представляет собой эзотерическое сакральное знание принципов всех вещей. Частным проявлением этого знания были основные религии и мистические учения прошлого. По учению традиционалистов, мир есть манифестация Абсолюта. Манифестации создают иерархическую лестницу реальностей. На нижних ступенях этой лестницы находятся реальности материальные (т.е. данные в ощущениях). Так же трактуется и история. Если мир есть результат последовательного выведения из Абсолюта все менее божественных реальностей, то и человеческая история — процесс той же самой деградации. Мир циклично развивается в сторону упадка, теряя свое сходство с первоначалом. Когда достигается максимум деградации,

происходит мгновенная реинтеграция, возвращение отторженной реальности в лоно Первоначала. Итак, мир деградирует, однако общество бессильно этому противостоять. Только индивидуум, благодаря прозрению или инициации, может подняться до понимания божественных принципов и вывести свое сознание из-под действия законов деградации. Автор довольно подробно описывает умственную деятельность наиболее значительных фигур рассматриваемого движения: А.Дугина, Гейдара Джемаля, В.Штепу, С.Корнева, К.Крылова, всех скопом классифицируя как «новых славянофилов» и «русских фашистов».

Кто бы подумал, что ***политологии*** придется оправдывать свое существование! В статье **О. Митрошенкова «Мир политического: проблемы научного постижения»** («Личность.Культура.Общество», т. 4, вып.1-2) указывается, что диапазон ответов на вопрос ***о пользе политической науки*** чрезвычайно широк: от абсолютной универсальности до абсолютной никчемности. Автор считает, что истина лежит между этими крайностями. Политология дает не универсальную отмычку или всеобъемлющую схему, а методологию применения конкретных знаний в политической практике. Наиболее продуктивным принципом этой дисциплины автор считает отношение к политике как к процессу. Рассматривая политику в контексте причинно-следственных связей, процессуальное мышление способно как минимум дать внятные объяснения, а как максимум — понять саму сущность, политики.

По-прежнему обсуждаются ***несовершенства демократии***. Она, как считает **А.Керимов**, автор статьи **«Изъяны демократии и возможные пути их преодоления»** («Право и политика», № 4), вопреки обыденному представлению, не есть власть народа или власть большинства. Демократия — это лишь технология обретения и осуществления власти. Осуществляется она меньшинством, но при помощи большинства. Во всех без исключения демократических странах власть принадлежит меньшинству. Такое положение вещей обусловлено объективно, ибо олигархическое устройство в различных формах имманентно присуще всем социумам и всем социальным организациям. Драматизм ситуации заключается в том, что народ может поддержать самых чудовищных и бесчеловечных властителей. Да и сама демократическая выборность часто оказывает на государственных мужей негативное воздействие, превращая их в рабов толпы, в заложников ее непостоянных предпочтений и настроений. Другой недостаток демократии автор связывает с тем, что она вмешивается в те сферы, где это не представляется необходимым ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения общего блага (религиозные и национальные конфликты, научные споры и т.п.). Демократия не уважает интеллектуальное и нравственное превосходство и, доведенная до абсурда, стремится навязать произвольно трактуемую волю большинства и обеспечить преобладание примитивных запросов толпы. По мнению автора, усовершенствовать демократию можно путем внедрения элементов аристократической формы власти. Для этого необходимо, чтобы в государственном управлении участвовали наиболее достойные представители нации. Отбор и назначение лучших автор готов доверить президенту, а также «истинной интеллигенции» — полагая, видимо, что существует такая каста.

По мнению **А. Нестеренко**, автора статьи **«Демократия: проблема субъекта»** («Общественные науки и современность», № 4), народовластие определенного субъекта не имеет. Народ — всего лишь абстрактная теоретическая конструкция. Любая концепция демократии при ее реальном воплощении вынуждена прибегать к фикции и подменять идею власти всего народа (не достижимую в принципе) практикой власти большинства. Тоталитарная версия демократии предполагает власть большинства, организованного по одному признаку (классовому, национальному, партийному), и вполне допускает бесконтрольное насилие и над меньшинством, и над отдельными гражданами, входящими в состав большинства. Самостоятельная роль гражданина в политической системе исключается. Либеральная версия демократии — власть большинства свободных граждан, самостоятельных субъектов политической системы. Осуществление государственной власти предполагает поиск компромисса, консенсуса, причем большинство не может ограничить в правах меньшинство больше, чем себя. Эта «лучшая из худших альтернатив», по мнению автора, ближе к идеальному пониманию демократии как формы правления всего народа.

Глазами биолога смотрит на политический мир автор статьи **«Таков наш безначальный мир... Биологические модели человеческих обществ» В. Хлебович** («Звезда», № 5). Он считает, что из всех систем существования материи самой сложной и разнообразной оказывается не социальная, а биологическая. Причина этого в том, что человеческие общества и биологические виды развиваются по общим принципам, но биологические виды эволюционируют в миллионы раз дольше, чем человеческие сообщества. Многоклеточный организм — точная модель закрытого общества, где каждой особи-клетке предопределено производить по способностям, а потреблять по потребностям, где интересы целого диктуют функцию индивида (клетки), где нарушение регламента репрессируется. Тоталитаризм для коммунистического общества так же неизбежен, как неумолимый закон органики для живого организма. Капитализм и свободный рынок представлены другой биологической моделью — биоценозом, когда много видов растений, существующих в одном ареале, борются за существование. Единственное отличие биологического и социального — в том, что человеческое общество само определяет для себя один из двух путей развития (организм или биоценоз). Грядущий глобализм автор рассматривает как многоклеточный организм и не сомневается в образовании мощного централизованного идеологического и административного аппарата (центральная нервная система) и аппарата репрессивного (неизбежный аналог иммунитета).

Изложенное есть своего рода биологический фатализм или биологическое предопределение. Только здесь человек бессилен не перед могуществом Бога, а перед законами природы.

В контексте ***проблем международной политики*** обсуждаются события 11 сентября 2001 года (**А. Салмин «На Манхэттене завершилась эпоха «Манхэттенского проекта»? (11 сентября 2001 года в контексте дискуссии о столкновении цивилизаций)»** — «Полития», №1). 11 сентября закончилось великое противостояние США — СССР, которое по исторической инерции имитировала постсоветская Россия. Появился общий противник, и это сплотило прежних

недругов (неизвестно, надолго ли). Создавшаяся ситуация неизбежно должна сказаться на внешней политике России. Вряд ли она вступит в коалицию с США, но приглашение на роль жандарма получить может. Отказываться, принимая во внимание чеченский терроризм, не следует; однако наша дипломатия должна выговорить себе мир и свободу действий. Российские войска не должны «сдаваться в аренду», а самой России не следует демонстративно отворачиваться от прежних союзников. И, наконец, нельзя забывать, что терроризм это не синоним ислама. Трактовать же борьбу с терроризмом как знамение войны цивилизаций автор считает непродуктивным.

О ***борьбе с терроризмом*** после 11 сентября 2001 года в статье **«Заметки о четвертой мировой»** размышляет **М. Эпштейн** («Звезда», № 5). В среде американских интеллектуалов автор отмечает возникновение симметричного исламскому демократического фундаментализма. Демократические фундаменталисты во всем винят свою страну и опасаются свертывания гражданских свобод на волне патриотизма. Правда, в отличие от исламских, они не готовы жертвовать жизнью. Но, ставя правительство собственной страны на одну доску с убийцами, тем самым приносят американскую демократию в жертву собственным идеалам демократии. Автор напоминает о большевистской позиции пораженчества в Первой мировой войне: пусть лучше Россия будет разгромлена, чем останется царской и отсталой.

По мнению автора, судьба цивилизации трагична. Зерно своего разрушения (террор) она носит в самой себе. Современная цивилизация боится сама себя, потому, что любые ее достижения могут быть использованы для ее разрушения. Мера ее совершенства есть мера ее хрупкости. Единственным гарантом всеобщей безопасности могла бы стать добрая воля всех людей, но это недостижимо, пока остается свободной воля, способная ко злу. Торжество гуманизма возможно только в отсутствии самих гуманоидов.

По мере легализации свобод ***политика как род деятельности*** потеряла черты достоинства и благородства, считает **Л. Ферри**, автор статьи **«Философ и политическое»** («Неприкосновенный запас», № 2). С приходом либерализма она даже лишилась своей магии. Возвращение политике этих качеств способно разрешить парадокс взаимоотношений гражданского общества и государства. Решить эту задачу призваны интеллектуалы. Автор предлагает и собственную версию решения, разворачивая ее в утопический проект «Политики любви». Он предлагает интерпретацию известного принципа Макиавелли и считает, что власть должна утверждаться на неких «демократических страстях». Вот тутто и может произойти оволшебствление политики. Политика устанавливает связь между целями государства и мотивами, побудительными для народа, частные проблемы становятся проблемами национального масштаба и попадают в ведение государства. Священное воплощается в человеческое. С воцарением либерализма государство растет и хорошеет. Частное в гражданском обществе становится коллективным как никогда прежде. Парадокс разрешен, и гражданское общество сыто, и государство цело, а главное, сбывается чаяние автора — политика обретает магические качества.

В сфере ***общих вопросов гуманитарного знания***, обсуждаемых в журналах полугодия, обращают на себя внимание, в частности, вопросы философии истории.

В своей статье **«О новой философии истории» М.Кукарцева** и **Е.Коломоец** («Личность. Культура, Общество», т.4, вып. 1-2) определяют философию истории как критику истории, как осознание смысла истории — то есть в конечном итоге как само историческое знание. Способов осознания может быть множество, и один из них называется *новой философией истории*. Существует несколько модификаций этого названия. Наиболее приемлемым авторам кажется словосочетание *«новая интеллектуальная история»*. От старой она отличается взглядом и на природу исторического текста, и на историческую реальность, и на самые отношения между этим текстом и этой реальностью. По мнению адептов новой истории, исследователь должен полностью исчезнуть из текста, а текст — быть своего рода откровением прошлого, которое чудесно появилось ниоткуда без вмешательства историков. Подобный подход выдает влияние философии деконструктивизма, которая считает, что чтение и понимание исторического текста предполагает множественность интерпретаций, так что найти единственно правильную невозможно.

Новая философия истории стремится разрушить традицию исторического познания, а также выйти за пределы классической философской традиции, как бы разомкнуть сферы ее разумности и порядка. Авторы статьи указывают на желание новых историков изобразить мир очень похоже, но при этом глубоко иначе, чем это делали старые историки. Если новые победят, апробированная веками интеллектуальная традиция будет разрушена, пошатнется представление об истории как инвариантной структуре. А это повлечет за собой изменение культурных ориентиров и даже стиля мышления. По-видимому, это означало бы расставание со старой доброй сказкой.

Академической элите как социальной группе посвящает несколько статей «Новое литературное обозрение».

О немецкой интеллектуальной элите, объединенной определенным комплексом идей и чувств, даже способами аргументации и языком, повествует книга американского социолога **Ф. Рингера**, избранные главы из которой под заголовком **«Закат немецких мандаринов»** опубликованы в № 53 «НЛО». Автор представляет эвристическую модель — идеальный тип интеллектуала. Европейские «мандарины» (по ассоциации с образованными чиновниками Китая) — это социальная и культурная элита, занявшая высокое положение благодаря своему образованию, а не унаследованным титулам или богатству. Согласно гипотезе автора, главенствующего положения в обществе такие люди достигают только при определенных условиях. Их время кончается, когда, по мере индустриализации и урбанизации, предприниматели и промышленный пролетариат начинают оспаривать лидерство культурной элиты, а интересы общества все больше концентрируются в сфере практического и утилитарного. Некоторые из интеллектуалов-мандаринов ради осязаемых благ отказываются от воспитания духа. Удел же остальных — ужасаться новому, упрощенному, пустому и материалистическому веку.

А.Куондам, автор статьи **«Академии в итальянской литературной жизни XVI-XVII вв.»** («НЛО», № 54), указывает, что академия как институциональная модель и особая форма интеллектуального объединения родилась в Италии. Именно

здесь глубинные основы ее структуры оформились и проявились во всем разнообразии своих типов и разновидностей. Академия — это особый микромир, республика словесности, царство универсальной культуры, опирающейся на ренессансный гуманизм и классическую древность. Это место диалога, место обмена позитивными ценностями, место сублимации и вытеснения «низких» телесных ценностей. Преодолевая силу сословных различий, академические идеалы одинаково действенны на всей национальной территории. Опознавательный знак всякой академии — ее имя собственное. Увы, со временем названия академий, как и сами эти учреждения, утратили прежнее значение и вступили на поле исключительно дисциплинарно-профессиональных занятий.

А. Виала в статье **«Академия во французской литературной жизни XVII века»** («НЛО», №54) определяет Итальянскую академия лишь как сообщество образованных людей, имевшее целью прославлять государя. Французский исследователь утверждает, что по-настоящему серьезным делом была занята лишь Французская академия.

Статья из архивов российского исследователя **А. Шебунина** (1887-1940) **«Основание Академии наук»** («НЛО», № 54) дает емкий обзор истории академических институтов в Европе Нового времени. Марксистский подход, объясняющий всякое общественное явление экономическими причинами, вынудил автора поставить развитие научных институтов в зависимость от степени развития капитализма. Однако это не помешало внятности изложения фактов. Стоит ли говорить, что здесь в числе прочего тоже идет речь об Итальянской и Французской академиях. И о Российской, разумеется.

Судьбам книг и библиотек посвящена подборка статей в журнале «Интеллектуальный форум».

М.Бэттлс в статье **«Сожженная библиотека»** («ИФ», № 10) опровергает факт сожжения Александрийской библиотеки. Такая версия, по мнению Бэттлса, была сочинена в XII веке историком-суннитом Ибн Аль-Кифти для того, чтобы оправдать развернувшуюся в городе торговлю книгами. В ту пору суннитский правитель Саладин стал распродавать библиотеку для покрытия расходов на войну с крестоносцами. Эта легенда исламского происхождения пришлась по вкусу западным ориенталистам, издавна сетующим на печальную судьбу европейского знания на варварском Востоке. Автор полагает, что на самом деле библиотека медленно распадалась, по мере того как изменялось отношение людей к содержащимся в ней книгам. Александрия, в эпоху раннего христианства представлявшая собой город с «вавилонским смешением языков» (коптский, арамейский, еврейский, латинский, греческий), постепенно опрощалась, и многие свитки становились для ее граждан чем-то вроде китайской грамоты. Кроме того свитки погибали от сырости, от чрезмерной сухости, их пожирали грызуны и насекомые, их воровали, портили и сжигали люди. Итак, книги Александрии пали жертвой всепожирающего времени.

Не застрахованы от уничтожения и современные библиотеки. Им угрожают разные виды варварства: от простых бомбежек до изощренных ликвидаций сверхсовременными средствами. В статье **«Расправа над книгой»** («ИФ», № 10) **Р. Дарнтон** обсуждает проблему сохранения газет в американских библиоте-

ках. Злодеи-библиотекари ради сохранения газет подвергают их уничтожению. Именно так автор воспринимает микрофильмирование газет и уничтожение бумажных оригиналов. Политика микрофильмирования, замечет автор, привела к утрате миллионов книг и газет. И это при том, что микрофильмы не способны воспроизвести самый дух издания, а портятся значительно быстрее бумаги. Чтобы остановить энтузиазм нынешних и будущих ликвидаторов, автор предлагает ряд мер, предполагающих сохранение без уничтожения.

Микрофильмирование кажется детской шалостью по сравнению с угрозой всеобщей компьютеризации. Многие вообще опасаются изгнания книги из современной культуры. Печали консерваторов утоляет **Д. Эпштейн** (**«Оцифрованное будущее»** — «ИФ», № 10). Конечно, замечает авторитетный издатель, тем, кто привык к традиционному литературному рынку компьютеризация может показаться такой же опасной, какой клерикалам XV в. казалась поголовная грамотность. Но что же плохого в том, что за несколько минут будут изготавливаться недорогие одиночные книги — неотличимые от типографских? В том, что освободившиеся от ненужных функций издательства будут выплачивать авторам более высокие гонорары? В том, что Интернет создаст многоязычный каталог и будет способствовать более тесному общению продавца и покупателя? Итак, утверждает Эпштейн, с возникновением электронной книги прошлое не отменяется, просто актуализируются некоторые ранее не реализованные возможности.

Коллизии политики и культуры не умаляют внимания журналов к вечной проблеме рода человеческого — ***проблеме пола***.

В мировой пейзаж после битв сексуальной революции с ужасом вглядывается **В. Кутырев**, автор статьи **«Сумерки любви»** («Москва», №6). Пол утратил свою сущностную природную роль. Репродуктивная функция вытесняется рекреационно-гедонистической эксплуатацией сексуальной энергии. Новая сексуальность (автор использует термин «парасексуальность») формирует особый тип сознания. Это сознание безответственного индивидуума, не связывающего свою судьбу с судьбой человеческого рода. Получают признание гомосексуализм, транссексуализм, садомазохизм, аутоэротизм и виртуальный секс. Любовь как духовное состояние становится анахронизмом. Устарело даже само слово «пол», сплошь и рядом его заменяет «гендер», а гендерная идеология утверждает, что сущность человека может искусственно конструироваться. Автор указывает, что половое деление знаменует собой границу между высшей и низшей формами жизни и современное общество должно поставить перед наукой социально-гуманитарные фильтры. Следует принять мораторий на любые опыты про бесполовому размножению человека. Человечеству необходима экология пола.

Совсем другого мнения о бесполовом размножении **А.Сирис** (**«Философия противодействия исследованиям по клонированию»** — «Философские исследования», №2). Правда, вопреки названию статьи, автор не столько занят анализом и критикой философии противодействия (которая сводится к тезису — что противоестественно, то неразумно), сколько философией оправдания исследований по клонированию. Так как фундаментальной наукой, в частности

генетикой, занимается ничтожное количество людей, а судит о ней невежественное большинство, автор полагает, что демократические способы решения подобных проблем неприемлемы и противоречат здравому смыслу. А просвещенное меньшинство, и автор в том числе, считает, что запрещать исследования в этой области нельзя. Вполне вероятно, что открыв биологический механизм записи духовной информации на генном уровне, мы добьемся духовного бессмертия живущих и телесного возвращения к бессмертной духовной жизни уже умерших. Обрести бессмертие или нет — проблема частная, а в цивилизованном обществе права человека — святыня. Кстати, если истина принадлежит Богу, то зачем противиться бессмертию человека, открывающему дорогу к вечному познанию этой истины. В таком квазибогословском ключе автор заканчивает свою апологию клонированию.

С мерками постмодернистского дискурса к половому вопросу подходит **И.Осиновская**, автор статьи **«Эрос в свете иронического»** («Философские исследования», №2). Материалом рассуждений здесь служат тексты, где ирония и эрос соотносятся умами весьма почтенными (Платон, Шлегель, Кьеркегор, Т. Манн, и др.). Авторы, связавшие эрос и иронию, никакой ответственности за это не несут, им нет нужды обосновывать свои гипотезы. Но уже одно то, что они обращаются к определенным понятиям (ирония и эрос) для исследовательницы означает, что они пишут некий единый текст. И все тут!

Тело, презираемое в прошлых философиях, в нынешней оказывается единственно подлинной реальностью, не способной лгать ни в пользу, ни в ущерб человеку. Телесность превращается в центральный сюжет постклассического философствования. То и дело в философских работах упоминаются «кровообращение в культуре», «осязание мысли», «метафизика раны», «семантика плевка». Последнему находим пример в эссе **М. Лейрисса «Слюнки текут»** («Иностранная литература», № 6). По словам французского мыслителя, плевок близок к эротическим проявлениям, ибо подобен любовному истечению; он сексуален, словно половой акт на виду у всех. Оттого плевок — худшее из кощунств. Им изо дня в день оскверняется божественность наших уст. Чего стоит речь, коль происходит из того же органа! Наконец, плевок символизирует бесформенность, не поддающуюся никаким определениям. И это признак человека, который мнит себя значительным существом, тогда как в самом деле он ничто, хилое, безволосое животное и сам является бредовым плевком демиурга. Но вернемся к последствиям сексуальных катаклизмов XX в.

Э. Викторов, автор статьи **«Феминизм и сексуальная революция»** («Философские исследования», № 2), рассматривает сексуальную революцию как программу-минимум феминистского движения в общей канве идеолого-эротического развития человеческого рода. Феминистки восстают против культа фаллоса — символа мужского шовинизма и неограниченной власти над женской природой. Эротическое угнетение возбуждает в них желание духовной свободы. Наиболее популярна сейчас идеология гуманистического феминизма. В ее основе метафизика единства, призванная преодолеть распад на противоположности всего явленного. Будущее эротической жизнедеятельности за материнским первоначалом, которое покончит с враждой и ненавистью. Низшие формы мужской энергии (огонь — ян) уравновесятся утешительной женской (вода — инь) и

это принесет в мир гармонию. Через царство секса — в мир Духа. И путеводную роль в этом великом переселении играет феминистская теология.

В. Суковатая («Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой духовности» — «Общественные науки и современность», № 4) отмечает, что в современной западной феминистской теологии общепризнаны четыре направления. Ревизионистский феминизм предполагает либеральную критику богослужения, где язык и ритуал строго ориентированы на приоритет мужчины. Это направление требует гендерного равенства. Реформистский феминизм тяготеет к выявлению антипатриархальных идеалов в основаниях традиционных религий. Требуется лишь изъять тексты, подтверждающие гендерное неравенство; включить в церковную службу ритуалы, свидетельствующие о женском духовном опыте, и ввести женщин в церковную иерархию. Революционный феминизм выдвигает идею построения новой женской спиритуальности в пределах существующих традиций и разрабатывает собственную концепцию бесполого Бога. Реджектионистский (отвергающий) феминизм — самое радикальное направление. Его приверженицы считают, что ни одна из существующих религий не позволяет женщине выразить свое истинное «я». Поэтому необходимо создать альтернативные формы веры и обряды, основанные на потребностях женского духовного развития.

Вероятно, достоинства женщины способна обосновать не только теология, но и ***физическая антропология***. Ее общие итоги за прошедший век в статье **«Физическая антропология на рубеже XX-XXI вв.»** подводит **А. Зубов** («Этнографическое обозрение», № 3). Данные этой науки, говорит автор, свидетельствуют о том, что Дарвин прав и человек действительно произошел от высокоразвитой обезьяны. Случилось это более 140 тысяч лет назад в Африке (в начале XX века считалось, что возраст человечества всего 40 тысяч лет), а в Европу Homo Sapiens проник лишь через 100 тысяч лет после возникновения. В XX веке научно обосновано полное биологическое равенство и генетическое единство человеческих рас. Собран богатый материал по генетике, биохимии и физиологии человека, что проясняет шансы индивидуального развития и торможение процессов старения организма. Все это вместе взятое дает автору право считать антропологию наукой, достигшей к концу XX века триумфа, хотя равенства полов ею пока не доказано, и вести свое происхождение от Адама многим кажется значительно почетней, чем от обезьяны.

Не остались без внимания и ***некоторые культурологические открытия***. Homo sapiens — обязательно еще и **«Человек пирующий»**. Именно так называется статья **Н. Хренова** («Традиционная культура», №2), где утверждается, что застолье — значимый акт не только в архаических и традиционных, но и в современных культурах. Автор раскрывает архетипический смысл застолья. Одна из важнейших его функций — объединяющая. Любая форма социальности начинается с застолья. Оно стирает различия между индивидами и классами, создает почти религиозное чувство братства.. Игровая атмосфера праздничных трапез предохраняет от возможных вспышек жестокости и кровопролития. Процесс поглощения пищи в компании может рассматриваться и как сакральный акт. Не обходится без понятий «жертвоприношение» и «архетип на уровне коллективного бессознательного», последний актуализируется, когда пьют за здоро-

вье. Словом, застолье — это как раз тот случай, когда человек возвращает себе ощущение полноты бытия, свойственное древним.

Ключевые моменты русского застольного обряда анализирует **И. Морозов** (**«Структура и семантика традиционного застолья: обычаи, верования, магия, связанные с его началом и завершением»** — «Традиционная культура», №2). От того, кто за трапезой ест первым, зависит благополучие семьи, урожай, плодородие скота. Важное значение имеет церемония приглашения гостей за стол, их рассаживание и потчевание, порядок чествования, важна также начинающая и завершающая молитва или песня. Последний кусок и последний глоток следует доедать и допивать, чтобы не «оставлять бесам». В общем виде глубинный смысл традиционного застолья — это общение с духами-покровителями, задабривание их. Гости выступают тут в качестве обрядовых заместителей этих духов.

В традиционной культуре, давно утраченной нами и напоминающей о себе в отдельных мифах и обрядах, с помощью пищи осуществлялось магическое воздействие на жизненные процессы, пишет в статье **«Магические функции еды» М.Валенцова** («Традиционная культура», №2). Понимание того, что все в мире взаимосвязано и взаимообусловлено, приводило к осознанию важности каждого элемента еды — и того, что едят, и того, когда и с кем. Для носителей традиционной культуры мед, например, обеспечивал сладость жизни и любовь ближних. Кислые и квашенные продукты, сами не подвергаясь порче, обладали магической способностью оберегать и лечить. Существовала и обратная связь: к ним не должна была прикасаться «нечистая женщина», их следовало защищать от вредоносных влияний, сглаза и порчи. Поэтому после захода солнца не давали взаймы уксус, соль, хлебную закваску, кислую капусту. Дополнительные магические свойства еде можно было придать ритуальным действом — например, кражей. Повышение ритуального статуса еды происходило в сакральное время. Автор сожалеет, что магический характер еды полностью исчез из современной культуры, и это открыло дорогу всяческим недомоганиям и болезням.

Обзор подготовил Александр Денискин.

Владислав ТОМАЧИНСКИЙ

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ГОГОЛЯ

Уже в раннем творчестве Гоголя ясно видно стремление к созданию русского национального стиля, к очищению языка от инородных привнесений (чужое воспринимается как фальшь, а свое — как правда). Своей задачей Гоголь поставил гармоничное сочетание высокого церковнославянского стиля с простонародным, разговорным. Ярче всего эта программа проявилась именно в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Это подтверждается и собранными Гоголем «Материалами для словаря русского языка». В них представлены равным образом слова народные, просторечные (головач, дерьмо, малявка, ненаеда) и церковнославянские (благозрачие, благозданный, негли, присносущный). Многие из слов этого словаря (например, «захламостить», «громозд») встречаются и в «Выбранных местах...». Гоголь подчеркивал, что под русским языком он разумеет «не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей русской земле, несмотря на чужеземствованье наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык». Любопытно, что в наши дни похожий словарь с подобными же принципами составил А. И. Солженицын.

И на пути поиска этого языка Гоголь приходит, в отличие от В. И. Даля, в отличие от романтической риторики и других направлений, к осознанию необходимости соединения «живой простонародной стихии» с церковнославянским языком, ибо они, по словам писателя, «сливаются органичнее всего». По Гоголю, характерное свойство русского языка — «самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи».

Если проследить историю русского литературного языка, мы увидим, что споры о значении для него церковнославянских и разговорных элементов велись задолго до Гоголя. Петр I, который инициировал создание нового литературного языка, выступал за последовательное отмежевание от всего церковного. Его линигвистический заказ воплощали «ранний» Тредиаковский и Адодуров, чья концепция строилась, по словам Б. А. Успенского, «на сознательной ориентации на западноевропейскую языковую ситуацию». Они требовали «писать, как говорят» и протестовали против «глубокословныя славенщины». В дальнейшем главным апологетом этой идеи стали Карамзин и его последователи,

Владислав ТОМАЧИНСКИЙ — родился в 1973 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Кандидат филологических наук. Живет в Москве.

которые, впрочем, выступали за очищение разговорной речи для придания ей культурного статуса.

«Поздний» Тредиаковский занял диаметрально противоположную позицию: литературный язык должен отталкиваться от разговорного и ориентироваться на церковнославянский. Такую же программу предлагал впоследствии Шишков и его сторонники.

Как видим, все эти концепции радикально отличаются от гоголевской. Отличается от нее и ломоносовская «теория трех штилей», где лишь в среднем стиле допускается смешение «славенских» (то есть церковнославянских) и «российских простонародных» слов. Как подчеркивает Успенский в своем «Кратком очерке истории русского литературного языка (XI–XIX вв.)», у Ломоносова «средний стиль оказывается принципиально макароническим по своей природе, однако в будущем он должен стать нейтральным — иначе говоря, это стиль еще не существующий, идеальный».

Резюмируя, можно сказать, что все эти программы объединяет стремление к чистоте стиля, и разным оказывается лишь содержание этого понятия. Совсем другую задачу ставил перед собой Гоголь: его волновала сила воздействия слова, а не отвлеченные концепции сами по себе. Он говорил, что возможно «в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека».

В чем-то подобную же цель ставил перед собой Пушкин, который «шел по пути сочетания стилистически разнородных элементов». Однако для него использование церковнославянской стихии является каждый раз проблемой данного конкретного произведения: «Славянизмы становятся у Пушкина знаками той или иной культурно-идеологической позиции, которая определяет перспективу повествования», — объясняет Успенский. Ученый выделяет несколько мотиваций использования славянизмов (или «библеизмов», по словам самого поэта) у Пушкина: 1) для создания восточного колорита (например, «Бахчисарайский фонтан»); 2) в противопоставлении «древнее — новое» или «классическое — современное» («Памятник»); 3) как средство исторической стилизации («Борис Годунов»); 4) при реминисценциях русской поэзии высокого стиля («Полтава»).

Как бы то ни было, Пушкин сумел осуществить органичный синтез двух дотоле разнородных стихий: церковнославянской и разговорной. В отличие от Гоголя, его не интересовали ни риторический аспект этого объединения, ни его концептуальная ценность. Любопытно отметить, что ни одну из перечисленных мотиваций Пушкина Гоголь в «Выбранных местах...» не использует.

Гоголь ставит перед собой задачу соединить высокий церковнославянский язык с просторечием, он, по словам В. В. Виноградова, «выдвигает лозунг синтеза «ветхого и нового», взамен хаоса, произращенного «романтическими смельчаками»». В «Выбранных местах...» писатель говорит: «Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие на-

звания из бесчисленных своих наречий...». В этом отношении у Гоголя существуют предшественники и в древнерусской литературе.

Книжный церковнославянский и разговорный древнерусский во многих памятниках XI — XVII веков соединялись в границах одного текста, как смешиваясь, так и чередуясь друг с другом. Некоторые ученые пытались определить принципы их разграничения. Например, Успенский писал, что использование обоих языков в рамках одного текста служило для обозначения меняющейся установки: от объективного содержания (церковнославянский) — к субъективному (русский). Сходную мысль высказывал в своей «Исторической поэтике русской литературы» и Д. С. Лихачев: «Легко заметить различия в языке одного и того же писателя [древнерусского]: философствуя и размышляя о бренности человеческого существования, он прибегает к церковнославянизмам, рассказывая о бытовых делах — к народнорусизмам».

Так, в своих посланиях князю Курбскому (см. «Переписка Ивана Грозного с Курбским») и других сочинениях царь использовал две языковые стихии: разговорную и книжную. Каждая из них маркировала определенное отношение автора к герою или событию. Например, Иван Грозный пишет: «Тако святии подвизахуся Христа ради, а у всех тех свои Шереметевы и Хабаровы были», — соединяя церковнославянский с русским в одном предложении. Успенский отмечал, что в данном случае подлинные монахи противопоставлялись монахам, нарушающим иноческое правило. Даже ругательства в адрес Курбского могут соседствовать у Грозного с церковнославянским: «... яко же подобно тебе, бешеной собаке, князь Семен Белской да Иван Ляцкой оттекоша в Литву и камо ни скакаше бесящеся?». Таким образом, «когда автор говорит как бы не от своего лица, употребляется церковнославянский язык; там же, где речь идет о предметах личного характера, о личных впечатлениях, находим русский язык, то есть противопоставление церковнославянского и русского соответствует противопоставлению объективного и субъективного содержания».

Нечто подобное мы находим и в «Житии протопопа Аввакума, написанном им самим». Как подчеркивает Успенский, здесь «различие в употреблении церковнославянского и русского языков — это различие между подлинной (высшей) и лишь эмпирически наблюдаемой реальностью». Так, Аввакум пишет: «Адам же и Ева сшиста себе листвие смоковичное от древа, от негоже вкусиста, прикрыста срамоту свою; и скрыстася, под древо возлегоста. Проспались, бедные, с похмелья, оно и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, со здоровных чаш голова кругом идет». Нетрудно заметить, что Аввакум переходит на разговорный язык, домысливая детали картины, лаконично нарисованной в Книге Бытия.

Впрочем, вопреки утверждению Успенского, довольно часто смешение высокого стиля с низким не несет у Аввакума никакой смысловой нагрузки; автор не пытается держаться ни книжной, ни разговорной стихий, он пишет, как пишется. Большинство книжных оборотов (например, «во един от дней», «от смерти к животу» и проч.) являются устойчивыми выражениями, позаимствованными из Священного Писания или богослужебных текстов. «И колико дорогою нужды быть, тово всево много говорить, разве малая часть помянуть», — здесь мы видим в рамках одного предложения смешение элементов книжного

стиля с элементами разговорного, которое вообще не выражает никакой специальной идеи (такие случаи встречаются и в посланиях Грозного к Курбскому).

Намеренное смешение книжной и разговорной стихий — это яркая особенность аввакумовского стиля, которую мы обнаруживаем и у Гоголя. Именно схожесть стилистических приемов позволила А. И. Иваницкому сопоставить «Выбранные места...» с «Житием протопопа Аввакума». Так, ученый отмечает обилие скрытых библейских параллелей у обоих авторов. «Происходит как бы скрытое, незаметное внедрение библейских эпитетов, по словам как бы подмена одних героев другими», — выделяет одну из важных черт Иваницкий. К примеру, у Аввакума его мучитель, Пашков, говорит словами Иуды: «Согрешил, окаянный, пролил кровь неповинную». У Гоголя же есть такая фраза: «уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавиц». Иваницкий подчеркивает: «Употребление в современном контексте вместо «танцовщиц» или «балерин» библейских «плясавиц» высвечивает на заднем плане контекст плясок Саломеи и соответствующую цепь символических ассоциаций».

Однако в творческих методах Аввакума и Гоголя существуют и серьезные различия. Аввакум идет по пути снижения, «опрощения» церковнославянского, тогда как Гоголь, наоборот, стремится возвысить до его уровня простонародную стихию. Причем он делает это не только в «Выбранных местах...», но и в обычных письмах друзьям. Так, 2 января 1845 года Гоголь пишет Языкову: «...блажен тот, кто, оторвавшись вдруг от разврата и от подлой пресмыкающейся жизни, преданной каверзничествам, неправдам, предательствам, особачившим дни ее и заплевавшим его человеческую душу, как бы вдруг пробуждается в великую минуту...». Ясно, что «блажен» и «особачившим» принадлежат противоположным стилистическим ярусам.

Церковнославянский — это язык, во-первых, Ветхого и Нового Заветов, во-вторых, богослужебных текстов, и, в-третьих, духовной литературы (святоотеческие труды, проповеди и т.д.). Сам Гоголь называет его «церковно-библейским». Именно этот язык в органичном соединении с разговорным призван был, по мысли писателя, дать совершенно новую гармонию.

«Церковнославянский язык, язык богослужебных книг и церковно-учительной литературы, становится идеологическим центром публицистической стилистики и риторики Гоголя», — заключает Виноградов. Сам Гоголь 8 июля 1843 года пишет Н. М. Языкову: «В продолжение говения займись чтением церковных книг. Это чтение покажется тебе трудно и утомительно, примись за него, как рыбак, с карандашом в руке, читай скоро и бегло и останавливайся только там, где поразит тебя величавое, нежданное слово или оборот, записывай и отмечай их себе в материал. Клянусь, это будет дверью на ту великую дорогу, на которую ты выдешь! Лира твоя наберется там неслыханных миру звуков и, может быть, тронет те струны, для которых она дана тебе Богом». Как мы показали, Гоголь первым шел в этом направлении: стилистические программы других литераторов, хотя порой и схожие с гоголевской, решали совсем другие задачи. Недаром, видно, такой придирчивый стилист, как Владимир Набоков, назвал Гоголя «самым необычным поэтом и прозаиком, каких когда-либо рождала Россия».

* * *

В «Выбранных местах...» Гоголь говорит, что «в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому». Несомненно, эти слова можно отнести и к творениям Гоголя: его проникнутость библейским духом столь велика, что находит отражение не только в идеях или образах, но и в самом языке.

Это проявляется, во-первых, в лексике. Рассмотрим некоторые выражения из книги, явно имеющие своим источником Священное Писание: «облекается величием» (ср. Господь воцарися, в лепоту облечеся. Пс. 92:1); «становясь превыше» (ср. Хвалите Его небеса небес и вода, яже превыше небес. Пс. 148:4); «многоочитые пословицы»; «благодарственная песнь»; «помыслю»; «отрок» (и отрок исцелился в тот час. Мф.17:18).

Другой яркой чертой, сближающей стиль «Выбранных мест...» со стилем большинства библейских книг, является использование однокоренных слов, повторений, тавтологических сочетаний: «может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт», «безлюднее самого безлюдья», «живой как жизнь», «выбирая на выбор», «недоумевает ум решить», «дело стоит того, чтобы о нем толково потолковать» (ср., например, «былие травное, сеющее семя по роду и по подобию, и древо плодовитое, творящее плод» — Быт. 1:11; или «Се изыде сеяй, да сеет; и сеющу ему...» — Мф. 13:3-4; «... а друг женихов<...> радостию радуется за глас женихов» — Ин. 3:29)[1]. В учебнике иеромонаха Амвросия «Краткое руководство к Оратории российской» (1791) этот прием назван фигурой произвождения. Именно по этому учебнику скорее всего Гоголь учился в лицее (первое издание «Риторики» Кошанского вышло только в 1829 году). Автор пишет в нем следующее: «Надлежит учиться из чтения древних и новейших книг писателей, каковы суть С.<вятые> Отцы греческие, а особливо творцы канонов, панегиристы; более же всего С.<вященное> Писание в повествованиях, песнях, псалмах, пророчествах, нравоучениях...».

Излюбленным гоголевским приемом является фигура усугубления или тождесловия. Так, в главе «О том, что такое слово» в 6 предложениях, следующих одно за другим, «слово» встретилось 8 раз; и таких случаев множество. Гоголь, к примеру, пишет: «Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состояния душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку». Любой редактор с негодованием вычеркнул бы, по крайней мере, два повторения из этого отрывка. Набоков, говоря о подобном же примере в «Мертвых душах», называл его «одним из тех повторов, свойственных стилю Гоголя, от которых его не могли избавить годы работы над каждым абзацем». На самом деле, Гоголь и не собирался от него избавляться — скорее наоборот. Ведь тот же прием мы находим в Священном Писании: например, «Вы есте

[1] Конечно, эти приемы, например тавтологические сочетания, характерны и для фольклорного творчества, о чем пишет А. Н. Веселовский в своей «Исторической поэтике». Однако в данном случае есть серьезные основания, указанные самим писателем, сопоставлять стилистические приемы Гоголя с библейскими и богослужебными (так, выражение «недоумевает ум» прямо заимствовано из церковных песнопений, где оно весьма частотно).

соль земли. Аще же соль обуяет, чим осолится?» (Мф. 5:13). В стиле «плетения словес» Лихачев выделяет «повторение однокоренных слов, или одних и тех же слов, или слов с ассонансами». Причем «повторяются и сочетаются не случайные слова, а слова «ключевые» для данного текста, основные по смыслу».

Прием повторения одного и того же слова, характерный для «Выбранных мест...», использовался Гоголем еще в «Арабесках». Современный ученый П. Г. Паламарчук приводит пример, когда глагол «дышать» Гоголь «четырежды употребил от восторга на тесном пространстве печатной страницы в статье о картине Брюллова». Фигура тождесловия особенно широко используется в богослужебных текстах: стихирах, тропарях, канонах. Возьмем для примера стихиру из службы святителю Николаю, небесному покровителю Гоголя, выписанную им в тетрадку: «В Мирех живый чувственне, Иерарше, миром разумно духовным явился еси помазан, Отче Николае. Темже миры чудес твоих мир облаговонил еси, миро приснотекущее проливая, мирными твоими благовонными словесы и памятию твоею».

Широко употребляет Гоголь однотипные конструкции с повторяющимися частями — «покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставь каждого <...> поцеловать самую книгу, в которой это написано». Фигура единозаключения, или эпифоры, часто встречается у Гоголя: «Все перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками...». На этом приеме целиком построены некоторые псалмы, например 135: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его. Исповедайтеся Господеви господей, яко век милость Его... (Пс. 135:1-3 и далее).

Что касается синтаксиса, построения фразы, то здесь влияние Священного Писания может быть самым неожиданным. Так, в главе «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» Гоголь пишет: «Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму». Сравним ритмику, синтаксис этого отрывка с «выбранным местом» из 1-го Послания апостола Павла к Коринфянам (в Библии, принадлежавшей Гоголю, напротив этого отрывка им было написано на полях: «Любовь»):

Любы [любовь] долготерпит, милосердствует; любы не завидит; любы не превозносится, не гордится,

Не безчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла,

Не радуется о неправде, радуется же о истине;

Вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит.

Любы николиже отпадает; аще же пророчествия упразднятся, аще ли языцы умолкнут, аще разум испразднится (1 Кор. 13:4-10).

Отвлекаясь от содержания, мы видим, что структура этих отрывков почти полностью совпадает. В обоих случаях — единоначатие, или анафора (хотя у

апостола Павла неполная), сгущение синонимов. В данном случае идентичность построения призвана усилить смысловое наполнение слов Гоголя: односторонний человек далек от любви.

Обнаруживается у Гоголя и «стилистическая симметрия», характерная для псалмов и описанная Лихачевым. «Сущность этой симметрии состоит в следующем: об одном и том же в сходной синтаксической форме говорится дважды; это как бы некоторая остановка в повествовании, повторение близкой мысли, близкого суждения, или новое суждение, но о том же самом явлении». В псалмах: Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя (Пс. 58:1). У Гоголя: «На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после». Или: «С такою нежною душой терпеть такие грубые обвиненья; с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей»[2].

Часто Гоголь пользуется цитатами из Священного Писания, вкрапляя их в свой текст без всяких ссылок. Так, он пишет: «Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших!». Второе предложение — цитата из Послания апостола Павла к Ефесянам (Ефес. 4:29). Заметим, что, во-первых, Гоголь цитирует церковнославянский текст, а не русский, и, во-вторых, не ставит кавычек, как бы показывая свое полное согласие, растворение в этой мысли. И, действительно, она настолько органично вписывается в ткань повествования, что человек, не знакомый с посланиями апостола Павла, и не заподозрит цитирования. Этим приемом Гоголь показывает «апостольское» предназначение своей книги, ее истоки и ориентиры. В другом месте той же главы Гоголь приводит цитату из библейской Книги Иисуса сына Сирахова, однако не дословную, хотя и в кавычках. Скорее всего, перед нами «толковательный перевод» с церковнославянского самого Гоголя или же воспроизведение по памяти. В «гоголевской» Библии остались следы особенно внимательного чтения Книги Иисуса Сираха писателем.

Итак, Священное Писание оставило заметный след в творчестве Гоголя. Об этом влиянии можно было бы сказать словами Р. В. Плетнева: «Библия и, главным образом, Евангелие, властно вторгаясь в душу человеческую или тихо и незаметно просачиваясь в темную глубь сердца, задерживалось, отпечатывалось и в памяти. Сознательно и подсознательно писатель пользовался его мыслию, цитатой, а иногда даже отдельными словами. А если это так, то надо, изучая творчество писателя, найти все эти элементы, эти отдельные мысли, слова, выражения и сюжеты».

* * *

Еще одним источником поэтического вдохновения Гоголь называет «слово церковных пастырей». Вот отрывок из главы «О том, что такое слово»: «Зачем же ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим долж-

[2] Называя риторические приемы, мы, разумеется, далеки от мысли, что Гоголь каждый раз сидел и придумывал, какой бы троп или фигуру использовать. Гоголь, напротив, разрушал один из главных принципов традиционной риторики — строгое разделение стилей. Усвоение им определенных приемов скорее шло непосредственно от конкретных текстов.

ностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие...». Возьмем теперь изречение св. Иоанна Златоуста, выписанное Гоголем в тетрадку, с которым перекликается эта глава из «Выбранных мест...». «И ты, когда увидишь, что кто-либо нуждается в душевном или телесном врачевании, не говори сам себе: почему такой-то и такой-то не излечил его, но сам избавь больного от недуга и не требуй от всех отчета в их небрежении о нем...» («О слове»).

Обороты фразы, обращение на «ты», внутренний диалог — эти и другие риторические приемы позаимствовал Гоголь из церковной литературы. При этом самая возвышенная речь может перемежаться высказываниями вроде «Все это пустяки» или «Это просто вздор». Причиной тому не неряшливость или небрежность — ведь Гоголь подчеркивает: «Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще», — но сознательный прием. «Златоуст, имея дело с народом-невежею, принявшим только наружное христианство, но в сердцах оставшимся грубыми язычниками, — пишет Гоголь, — старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к нашему мужику, и он поймет». Гоголь явно воспользовался этим наблюдением в своей книге (отметим, кстати, его выражение — «места из проповедей» — не очень ловкое, но очень не случайное).

Замечательное свидетельство оставил уже упоминавшийся Паламарчук. Оказывается, некоторые статьи «Выбранных мест...» производят несравненно более сильное впечатление при чтении вслух. «Однажды нам довелось слышать выступление литературоведа, в котором содержалось несколько довольно пространных выдержек из этой книги — и даже при внешне бесстрастном произнесении с трибуны они сразу захватывали слушателей целиком, так что на этих словах зал совершенно замирал». И далее Паламарчук так объясняет это впечатление: «Дело в том, что статьи во многом построены на испытанном тысячелетиями искусстве нравственной проповеди — гомилетики». По мнению исследователя, Гоголь узнал эту традицию через церковные проповеди. «Вне сомнения, стиль Гоголя питался не только книжными, но и живыми истоками — постоянно слышимыми им проповедями церковных пастырей».

Виноградов заключает, что «совмещение торжественных церковно-славянских слов с простой разговорной лексикой, с вульгаризмами просторечия — есть признак общенародного языка и могучее средство риторического воздействия». Гоголь «ищет образцов такого смешанного стиля в языке святых отцов и находит их в проповедях Златоуста». Автор «Мертвых душ» считает, что задача великого художника — привести эту полноту русской речи («все ее изворотьі и обороты», «все переходы и встречи противуположностей») к благозвучию и структурному единству. Это, по мнению Гоголя, удалось осуществить Жуковскому: ««Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка». Гоголь ставит поэту в заслугу то, что «весь труд многолетних обдумываний сокрыт под простотой самого простодушнейшего повествования». Ясно, что к этой же цели стремится и он сам.

Другой поэт, заслугу которого высоко оценивает Гоголь, — это Державин. «Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми:

И смерть как гостью ожидает,

Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково крученье усов?».

Впрочем, осмеливается сам Гоголь. Вот, к примеру, он говорит о «верховном источнике лиризма — о Боге», о том, как поэт «облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека», и тут же: «любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастанием», «квасные патриоты», «только плюнешь на Россию». И тут же снова — «слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России». Чуть дальше — «сокровенный ужас», «прозрение нового здания», «духовидец» соседствуют с «глупыми ребенками».

Важно отметить, что стиль Гоголя меняется в зависимости от того предмета, о котором идет речь. Так, в главах «Завещание», «Значение болезней», «О лиризме наших поэтов» и некоторых других лексика и синтаксис преимущественно церковнославянские. Например: «но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников», «тот из людей, на рамена которого...», «благоухающими устами поэзии навевается на душу...» и проч.

Если же взять главу «Русской помещик», то здесь куда больше элементов разговорного языка: «Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божьим; попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат, середи их же, зажил собакой...». Или в главе «О театре...» мы в изобилии находим такие просторечные выражения, как «бумажная кропотня»; «из-за скотинства секретаря»; «пристегнувшийся сбоку чиновник» и др. Использование разговорного стиля может также выражать отношение к тому человеку, о котором идет речь. Так, о «приятеле П....не» Гоголь пишет, что он «имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал», т. е. поступает неразумно.

Соединение высокого стиля с разговорным может происходить, как у Ивана Грозного и Аввакума, даже в пределах одной фразы. Например, Гоголь пишет: «Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято». Высокий стиль требовал бы от автора более изящного выражения, нежели «плюнет» (например, «отринет эти драгоценные строки»), однако последнее призвано усилить эмоциональное воздействие.

Противоположный прием использован в другом месте: «...оно [несчастье] послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое...» (ср. двумя предложениями раньше: «...он не может вести жизнь, как прежде»). Здесь церковнославянское «житие», с одной стороны, напоминает о призвании человека к святости, с другой — обозначает проповеднический пафос этой мысли. Иногда, разрушая автоматизм восприятия, писатель переделывает устойчивые выражения: «Зачем же ты был ребенком, а не мужем..?» (ср. «не мальчиком, но

мужем»). Усиливая таким образом контраст между двумя словами (русским и церковнославянским), Гоголь добивается более глубокого воздействия образов на человека.

У Гоголя все подчинено единой цели — доходчивости и убедительности. Так и Евангелие написано на языке, понятном всякому человеку, образованному и простецу (другое дело — глубина постижения, которая зависит не от ума, а от духовного развития), и в нем встречается множество просторечных оборотов[3], простых, зримых образов — пастух и овцы, потерянная монета, заквашенное тесто и т.д. И Гоголь не ради оригинальности или «нового слова» пишет так, его, по мысли Виноградова, больше всего интересует в русском языке «внутреннее его существо и выражение», «меткость и разум».

Народные песни, пословицы, поговорки — еще один источник поэтического вдохновения, по Гоголю. Он говорит: «Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов».

Впрочем, с этим большинство было согласно, а вот лиризм церковной поэзии для многих продолжал оставаться тайной — лиризм, «который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни». Сам Гоголь переписывал богослужебные песни, каноны в толстые тетради, открывая в них для себя безмерные глубины. Следы этой работы можно найти в «Выбранных местах...».

Если же к этому разряду относить и псалмы царя Давида, то следует сказать, что в «Выбранных местах» целые пассажи и даже главы соотносятся с ними. Так, например, глава «Чей удел на земле выше» ощутимо проникнута духом 83-го псалма. В другой главе Гоголь пишет: «Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу Ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась». Эти строки соотносятся сразу с двумя псалмами — 150-м и 52-м:

Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех;
Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе;
Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания. *Всякое дыхание да хвалит Господа.* (Пс. 150:3-6)

А также: *Внегда возвратит Бог пленение людий своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль* (Пс. 52:7). Такое свободное цитирование говорит о достаточно хорошем знакомстве Гоголя с Псалтирью.

Эта особенность также роднит книгу Гоголя с древнерусской традицией. Так, в переписке Ивана Грозного с Курбским и тот, и другой не просто цитируют Псалтирь, но свободно используют многие ее выражения и образы в своих размышлениях. Например, Иван Грозный пишет: «Понеже бо еси положил яд

---

[3] Это видно и по греческому тексту; сохраняется и в переводах. Например, на русском: *И спросили его — что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты?* (Ин. 1:21-22).

аспиден под устнами твоими, наполнена убо меда и сота по твоему разуму, горчайше же пелыни обретающеся...» (Ср. «Изостриша язык свой яко змиин; яд аспидов под устнами их». Пс. 129:3). У Андрея Курбского подобное свободное цитирование встречается еще чаще, например: «И воздал еси мне злая воз благая и за возлюбление мое — непримирительную ненависть» (Ср. «И положиша на мя злая воз благая, и ненависть за возлюбление мое». Пс. 108:5). Кстати, в обоих приведенных случаях (оставленных без внимания исследователями) тексты псалмов подразумевают Иуду-предателя.

* * *

Библейские образы вплетаются у Гоголя в живой разговорный язык. Например, в главе «О помощи бедным» он пишет: «Большей частию случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на сухую руку, в которой нет ничего».

Казалось бы, образ сухой руки рождается из сравнения помощи с жидкостью и не требует дополнительных толкований. Однако в текстах Гоголя всегда имеется несколько смысловых ярусов, прослоек, и в данном случае основной, хотя и скрытой, идеей является мысль, навеянная Евангельским рассказом об исцелении сухорукого[4]. *И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая* (Мф. 12:10-13).

В этом рассказе речь идет о помощи, и Гоголь, используя образ сухорукого, показывает, что человек, который не помогает «нуждающемуся», сам нуждается в исцелении, как имеющий сухую руку. (ср. у Феофилакта Болгарского: «Многие и ныне имеют сухие руки, то есть не милостивые и не простирающиеся к требующим».) Таким образом, перед нами пример использования Гоголем Евангельского образа на простом языке, даже просторечии («какая-то», «расхлещется» и проч.). К подобным случаям вполне применимы слова Лихачева: «Обычные, «средние» сравнения в древнерусской литературе иного типа: они касаются внутренней сущности сравниваемых объектов по преимуществу».

Другой пример: «...только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои». Здесь используется сразу несколько Евангельских образов. Во-первых, образ вождей — *Горе вам, вожди слепии*, — говорится в Евангелии от Матфея (Мф. 23:16). Во-вторых, образ козлов: *и соберутся пред Ним вси языцы* [народы]*; и разлучит их друг от друга, якоже пастырь разлучает овцы от козлищ; и поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю* (Мф. 25:32-33). И, наконец, чрезвычайно существенный для Евангелия и часто по-

[4] Приводим его по-русски для большей понятности, поскольку в данном случае важен не язык, а образ.

вторяющийся образ стада — *И будет едино стадо и един пастырь* (Ин. 10:16). Кроме того, Евангелие говорит о заблудшей овце (Лк. 15:4-7), а Гоголь — о заблудшем стаде. Очень важен для Евангелия и образ пастыря доброго, который заботится об овцах и противопоставляется наемнику, который о них не радеет. Таким образом, выстраивается цепочка не случайных совпадений, но продуманных отношений: слепые вожди взялись вести стадо, заблудились и потому называются козлами. Гоголь весьма искусно прикладывает евангельскую символику к конкретному случаю.

Другой пример — из главы «Светлое Воскресение», где Гоголь пишет: «Злоба... на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду». Эта метафора имеет своим истоком Апокалипсис святого Иоанна Богослова, повествующий о кончине мира.

И от дыма изыдоша прузи на землю, и дана бысть им область, якоже имут скорпии земнии.

И речено бысть им, да не вредят травы земныя, ни всякаго злака, ни всякаго древа, но человеки точию, иже не имут печати Божия на челех своих <...> и глас крил их, яко глас колесниц... (Откр. 9:3-5,9)[5].

В Библии о нападении саранчи говорится еще несколько раз (Исход, 10:4-6; Пс. 104:34-35), но лишь в Апокалипсисе она становится образом сердечного мучения.

Для таких случаев в древнерусской литературе Лихачев применял термин «метафоры-символы». «Почти всегда приводимые Кириллом Туровским сравнения основываются не на реальных наблюдениях, а на символическом параллелизме; сравнения или метафоры, основанные на реальном сходстве, встречаются у него гораздо реже. То же самое можно сказать о сравнениях Гоголя.

Часто Гоголь использует образ «голубиной души», «голубиного незлобия», связанный со словами Христа: *Се Аз посылаю вас яко овцы посреде волков: будите убо мудри яко змия, и цели, яко голубие* (Мф. 10:16). В «Толковании на святого Матфея Евангелиста» святителя Иоанна Златоустого, которое Гоголь внимательно изучал, говорится: «И не только кротость овчую Он повелевает иметь им, но и голубиное незлобие». Древнерусская литература, опиравшаяся в своей эстетике на Священное Писание, широко использовала подобные сравнения: «Сравнивается мир людей с миром природы. Этим сравнением устанавливается внутренняя связь всего «богозданного мира»».

Виноградов говорит, что «Гоголь широко применяет к сфере «душевного хозяйства» образы из современного ему торгово-промышленного быта», приводя в пример «расторопного купца» и проч. Однако образы покупки-продажи, выгодной сделки, истинного сокровища используются в Евангелии (см. притчи о благоразумном купце, неверном управителе и другие), а через него и

---

[5] *И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. <...> На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну.*

в святоотеческой литературе, в литургических текстах. Именно на эту традицию опирается в данном случае Гоголь.

Несомненно, что Гоголь опирался и на библейскую символику, прикладывая ее к современной ситуации и творчески переосмысляя. «Высокое достоинство русской природы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя слово Евангельское, возводящее к совершенству человека», — подчеркивает он в письме к графине А. М. Виельгорской.

Таким образом, следование библейскому стилю в «Выбранных местах...» призвано было подчеркнуть основную идею книги о необходимости возвращения к духовным истокам, к библейскому видению мира, к настоящей церковной жизни. С другой стороны, Гоголь призывает и духовенство теснее войти в нужды народа (особенно настойчиво это звучит в главе «Русской помещик»). Именно в этом, помимо чисто эстетических и риторических задач, заключается смысл объединения разговорного языка с церковнославянским. «Смешанный» стиль «Выбранных мест...» также указывает на переходное — между церковной и светской литературой — положение этого произведения. Гоголь мыслил книгу как своего рода мост — от духовных произведений к секуляризованному читателю.

Геннадий ТРИФОНОВ

РУБЦЫ ВОЙНЫ

(памяти В. П. Астафьева)

И пошло: «Помнишь?», «Помнишь?», «Помнишь?»...
Виктор Астафьев. «Затеси», 1988 год

«И все не умирает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и сплющенная, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне. Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов... Сколько раз погибал я в мучительных снах! И все-таки воскресал и воскресал».

А в 1990 году, готовя для юношества отдельное издание «Последнего поклона», уберегая молодого читателя от жутких впечатлений собственного детдомовского детства исключением горестной главы «Без приюта», Астафьев в обращении к современной ему молодежи напишет: «Каждую свою книгу, да и каждую строку, и поступок свой просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтобы не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность».

Виктор Петрович Астафьев ушел от нас совсем недавно, в самом начале нового безрадостного века, на исходе восьмого десятка своей богатой событиями и людьми жизни. И у книг его уже началась другая, новая жизнь.

* * *

Теперь пойдут, покатятся, я думаю, воспоминания об Астафьеве — столь многих людей он преобразил, а может быть, и исправил, хотя за год до своей кончины с режущей печалью заметил: «Книг написано много, а человек лучше не стал».

Геннадий ТРИФОНОВ — родился в 1945 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ. Преподает в гимназии английский язык и американскую литературу. В 1975 г. за участие в парижском сборнике откликов на высылку из СССР Александра Солженицына был репрессирован и в 1976 — 1980 гг. отбывал заключение в лагере. Автор двух книг стихов, изданных в Америке, двух романов, изданных в Швеции, Англии и Финляндии, и ряда статей по проблемам русской литературы. Печатался в журналах «Аврора», «Вопросы литературы», «Время и мы», «Континент», «Нева». Живет в Петербурге.

И еще сказал: «Я ведь последний, кто разочаровывается в человеке и во времени, я буду до конца искать хорошие черты» («Известия», 30. 11. 2001 г.).

Права на свои воспоминания у меня весьма призрачны: всего и было-то — с разрывом в 15 лет — две беглые встречи в Ленинграде и никаких почти разговоров. Но обе врезались в память, живут в ней и требуют хоть какой-то огласки.

Так получилось, что Виктор Петрович запомнился мне слушателем чужих воспоминаний о минувшей войне, о фронте, о ленинградской блокаде, о ленинградской литературе тех лет.

Астафьев был в Ленинграде проездом с намерением навестить больную В. Ф. Панову (1972 г.) и благодарно поклониться Т. Ю. Хмельницкой (1988 г.), некогда написавшей о нем вдохновенно и точно в своей последней книге «О психологизме в современной советской прозе» (глава «В глубь характера». Л.: «Советский писатель», 1988 г.).

Астафьев и всегда был пристально внимательным к тому, что и как о нем пишут, и никогда этого не скрывал, вступая в рабочую переписку с исследователями своего творчества (В. Курбатов, Н. Яновский, А. Макаров). Происходило это, я думаю, и потому, что как художник он знал себе цену, и потому, что за каждую написанную и опубликованную им вещь, особенно в начале его писательского пути, было заплачено Астафьевым с лихвой.

Будет весьма близорук тот, кто в нагромождении титулов «Герой Социалистического Труда», «лауреат Государственных премий СССР и РСФСР» увидит нечто, сближающее сочинения Астафьева с вереницей пустых и лживых книг классиков соцреализма, хотя формально Виктор Астафьев был и останется советским писателем еще и потому, что родился, жил, работал, воевал на фронтах Отечественной войны в советскую эпоху, вошел в литературу и закрепился в ней, как некогда на военном плацдарме, в трудные послевоенные годы. И устоял. И стал последним русским писателем XX века, кто вытянул за собой и в XXI век немеркнущие традиции гуманизма и человечности всей русской литературы века XIX.

* * *

Начну со второй встречи. В 1988 году я работал в издательстве «Советский писатель» грузчиком, никакой другой работы после освобождения из лагеря в 80-м мне найти не удавалось. Но вскоре меня выгнали и с этой, прочитав обо мне какую-то гнусность в тогдашнем софроновском «Огоньке». Тут как раз явилось «новое мышление», и я решил уехать из страны.

Когда я перетаскивал книжные пачки из одной комнаты в другую в «Доме книги», меня обнаружила М. И. Дикман, давно меня знавшая по годам моего секретарства у В. Ф. Пановой (я сменил на этом посту С. Довлатова).

— Как хорошо, что вы еще здесь! — бросилась ко мне Мина Исаевна. — В Ленинграде проездом Астафьев с женой. Помогите ему добраться до Тамары Юрьевны. Она сейчас в Комарове, вы ее сюда привезите, она сказала, ей удобней принять Виктора Петровича в городской квартире. Астафьевы остановились в «Пулковской», а после самолетом в свою Сибирь. Может, вы им и в этом поможете?

Я попросил у приятеля «жигули», полетел в Комарово. Привез Тамару Юрьевну в город и полетел в гостиницу. Хмельницкая тут же начала на кухне сооружать свои знаменитые бутерброды.

Виктор Петрович сразу меня вспомнил — цепкая же у него была память!

— Это не ты ли, молодец, меня к Пановой с Даром возил? Ты! Сколько годочков пролетело, а ты... А ведь и правда: маленькая собачка до старости — щенок. Ты и не переменился, только седой стал. Меня уже догоняешь.

Я изумился: Господи, кто я и кто он! И такая памятливость, такая приветливость...

Секретарствуя у Пановой и по этой причине зимой и летом прохлаждаясь в Доме творчества в Комарове, я привык видеть изо дня в день советских классиков — недоступно важных, с надутыми щеками и дутыми репутациями «инженеров человеческих душ». А какими павлинами прогуливались по комаровским дорожкам писатели-лауреаты! Тут надобен Гоголь — иное перо не справится с трагизмом и нелепостью всех этих фигурантов идеологического фронта. Да и теперешние сочинители-лауреаты с их одинаково коммерческим выражением лица не далеко шагнули от своих предшественников — разве что в следующую пропасть забвения.

* * *

Ленинград... Для людей поколения Астафьева, то есть для людей, в окопах узнававших о городе в дни блокады, встречавшихся с ленинградцами на фронтах, наш город, его историческое прошлое — стихи Пушкина, а в годы войны — Ахматовой и Берггольц, музыка Чайковского и Шостаковича — стали символом нашей великой культуры. Гибель Царского Села, Павловска, Гатчины поколением Астафьева переживалась как собственная трагедия. «В сравнении с пережитым ленинградцами, мне уже и фронтовые бедствия казались не такими уж и страшными. Матери твоей, пережившей тот ужас, от меня и Марьи Семеновны кланяйся низко», — сказал мне тогда Виктор Петрович. А в своих недавних, ставших мне известными воспоминаниях жена Астафьева, Марья Семеновна, пишет, что первой и главнейший мечтой молодоженов Астафьевых в победном 1945 году была мечта посмотреть Ленинград. В 46-м они ее реализовали и были поражены тем, как быстро — усилиями измотанных голодом и холодом людей, чудом уцелевших в блокадном городе и на фронте, — город стал возрождаться.

В машине я бегло поведал Виктору Петровичу свои былые приключения. Он слушал внимательно, не отвлекаясь на рассматривание красот Московского проспекта, только вспомнил, что был этот проспект когда-то Сталинским. В ответ на мои откровения Виктор Петрович сказал: «Вашего брата, каторжанина, я хорошо знаю еще с довоенной Игарки. — И спросил: — Лихо тебе пришлось? Что из сего опыта вынес? Что о человеке теперь думаешь? Лютый мы народ. Лютее нас только сибирские морозы. Думалось, мы с войны вернемся другими, совсем другими, к совсем другой жизни — столько зла было нами изведано и изведено, что мирная жизнь должна бы стать другой. А видишь — не стала».

Слушая Виктора Петровича, я редко на него оглядывался — за рулем все-таки. Но, оглядываясь, я находил большую перемену в сравнении с первой моей встречи с ним. Он был уже тяжел в разговоре, не курил: здоровье. Его широкое лицо было в сухих глубоких складках, особенно возле рта. Высокий открытый лоб с аккуратной стрижкой совсем уже седых волос... И глаза — незатухающие глаза! — не несли былого озорства, а скорее обнаруживали мудрую усталость его поздних книг.

По дороге мы свернули на Сенной рынок, и Виктор Петрович медленной от больных ног походкой направился в цветочные ряды: «Тамара Юрьевна твоя на фотографии в книжке — дама. А как к даме без цветочков?».

Я остался в машине и притулился к ближайшему ларьку с ширпотребом, но так, чтобы Астафьев меня видел. Закурил. Включил приемник — полилась музыка Дунаевского. Нахлынули воспоминания о визите Астафьева к Пановой и Дару...

* * *

В 1968 году в Перми, с которой Панову и Дара многое связывало, отдельным изданием вышли первые главы «Последнего поклона». Кто-то из тамошних знакомцев им эту книжку прислал и, кажется, просил Панову написать на эту книгу тогда еще мало кому известного автора рецензию. Рецензию Вера Федоровна не написала, а написала на пермский адрес автора теплое ободряющее письмо. Оно было отправлено в город Чусовой, где в то время Астафьев совмещал литературное творчество с тяжелой физической работой в железнодорожном депо и был разъездным корреспондентом местной газеты. «Хлебная проза» из-под его пера все никак не выходила, и первые его повести «Перевал», «Кража» и особенно «Звездопад» подвергались сильному цензурному давлению («Автору потребовалось много лет и не один заход на текст, чтобы вернуть повести первоначальный вид» — авторское примечание к публикациям 1-го тома «Собрания сочинений» 1991 года).

Дар и Панова были люди ответные, а Давид Яковлевич от своего имени и от имени жены пригласил Виктора Петровича в Ленинград (он уже и тогда много доброго слышал об Астафьеве от своего друга Федора Александровича Абрамова). Дар, сам прошедший весь Ленинградский фронт, выползав на собственном брюхе его окопы, в 1962 году написал на астафьевский «Звездопад» — первую после рассказа «Солдат и мать» военную вещь Астафьева — восторженную рецензию для журнала «Нева». Рецензия называлась «Как молоды мы были!». Реализовалось приглашение только в 1972 году.

Попутно скажу, что к сочинениям своих современников Панова относилась очень сдержанно. Но под влиянием Дара все же привечала литературную молодежь и в свое время написала замечательное по глубине и проницательности предисловие к одной из первых книг А. Битова.

Когда я перечитывал Вере Федоровне «Последний поклон», Панова вдруг поделилась со мной своими впечатлениями от книги.

«Этот Астафьев — художник удивительного письма. Подсознательное он превращает в действующую реальность. И какой мастер диалогов! И какой рисунок пейзажа, в его прозе тоже действующего, а не обслуживающего замысел. С пейзажем он обращается как мать с малым дитятей, требующим ласки и сказки на ночь. Астафьеву ведом таинственный смысл жизни сибирских лесов и вод, он слышит и знает каждый лист на каждом деревце, каждый всплеск рыбы, всякую травинку. Он сам пейзажем исцеляется и исцеляет читателя. Но и расслабиться читателю не дает. Пробуждать в человеке человеческое — это и вообще задача любого искусства, но в литературе, когда рисунок души складывается из слов, а слова редко бывают живыми, только предельной искренностью и можно что-то главное в людях восстановить. Астафьеву это удается.

Подбираться к нему, к постижению его философии и морали, лучше всего через прозу Тургенева — через его природный и удивительно простой язык. У хорошего писателя всегда должна быть видна школа: талант сваливается с неба, а мастерство достигается в усвоении традиций, в корневой основе русской речи. Рискну сказать, что проза у Пушкина сильнее его стихов. Высоты «Капитанской дочки» разве только Толстой достиг. А в «Звездопаде» уровнем замысла и его воплощением Астафьев уже к Толстому приближается. Солженицын такого экзамена уже не выдерживает.

И еще скажу: наши пресловутые «деревенщики» — ваша Хмельницкая называет это исповедальной литературой — пробуют Астафьеву подражать. Напрасен труд! Интонацию не подделаешь, голос не подделаешь. Всегда слышен голос из хора — и на клиросе, и в оперном хоре. Его «Последний поклон» — это для душевной радости, для восстановления в человеке всех сил.

До вас мне эту прозу читал Сергей. И он, вы знаете, ничего в ней не услышал. А ведь Сергей — человек пишущий. Но пишущий горожанин — это только у Достоевского с Куприным получалось. Для петербургской прозы надобно жить в Почтамптской улице и иметь соседом майора Ковалева. Впрочем, у Пяти улов («Пять углов» — так назывался сборник рассказов С. Довлатова, написанный в Эстонии, но тамошней цензурой рассыпанный уже в наборе. — *Г.Т.*) тоже кое-что происходит, если, конечно, не злоупотреблять портвейном.

Я вот от описания нашей замечательной действительности давно отказалась. Мои «Лики на заре» писаны для души. Для денег я совсем иное писала, совсем иное. И своими Сталинскими премиями оборонилась от необходимости писать «в стол». (Запись 1971 года.)

* * *

Беседа Астафьева с Пановой была непродолжительной. Я в это время помогал Дару на кухне с закусками (чай Давид Яковлевич всегда заваривал сам известным только ему способом). Знаю только, что Виктор Петрович, услышав и в этот раз от Веры Федоровны много похвал по поводу «Поклона», оставил ей в подарок и гранки ожидавшейся в ближайшем номере «Нашего современника» (№ 12, 1972) «Оды русскому огороду». Утром следующего дня я уже читал «Оду» Вере Федоровне, сильно приободрившейся после встречи и разговора с Астафьевым.

«Ода» привела Панову в полный восторг.

— Никак не постигну, — говорила мне и Дару Панова, — как все это у него сделано — без швов, без единого сучка. Какое совершенство речи и совершенно новая в нашей литературе стилистика! И как чуден образ бабушки! И как она говорит! И главное, как мальчик слушает ее и все, все впитывает и запоминает. То есть, освобождаясь от кошмаров войны, и не вспоминает даже, а живет каждой подробностью младенчества и раннего детства порушенной войной души уже взрослого и много страдавшего человека. И какой-либо горечи в чувствах, в ощущениях жизни все изведавшего фронтовика — как ни бывало. И как замечательно, с какой полнотой ответственности завершается «Ода»: «Глубоко вздохнув, мальчик кладет теплую ладошку под теплую щеку. Пусть смотрит он свои легкие, радужные сны. Грозные сны досмотрю за него я». Головокружительная вещь! Такое написав, и умереть не страшно.

По окончании беседы Давид Яковлевич пригласил Астафьева отведать питерской маринованной корюшки под стопку-другую «Столичной». Виктор Петрович не сопротивлялся.

Попутно замечу, что Дар умными и читающими людьми никогда не воспринимался только как муж Пановой. Давид Дар по-настоящему большой писатель, открыть которого у нас все еще постыдно медлят. Это ведь именно он, по признанию И. Бродского, «буквально воспитал Горбовского, Кушнера и Соснору, трех столь разных поэтов» («Большая книга интервью с Бродским», М., 2000 г.).

Воспитанники Д. Я. Дара прилюдно о своем учителе вспоминать стесняются. Ну, да Бог им судья. А вот Астафьев — диаметрально противоположный Дару человек и писатель — угадал в нем это таинственное нечто, что потрясло европейских и американских читателей.

Тогдашний разговор Дара с Астафьевым затянулся до позднего вечера. Эта встреча, которой я стал невольным свидетелем, перевернула и мои представления, и мои знания о Давиде Яковлевиче, на каком-то важном этапе моего существования заменившем мне и Отца, и Сына, и Святого Духа.

Дар относился ко мне с редкой даже для него доверительностью. Но к своим гостям приглашал редко и еще реже читал мне свои только написанные вещи. В этом смысле он был человеком стеснительным, боящимся навязывать свои вкусы или занимать чужое время. Большей частью он слушал мои писания и — в огромных количествах — писания других сочинителей. Помнится, именно в эти годы — с середины 60-х до его вынужденного отъезда из страны в 1977 году — Александр Кушнер часто приходил к Дару с новыми стихами и был, пожалуй, единственным человеком, поддержавшим Давида Яковлевича после смерти Пановой в 1973 году.

А тут вдруг Давид Яковлевич зашел на кухню, где я задремал на старом диване (я читал Вере Федоровне по 6 — 8, иногда по 10 часов кряду и, конечно, зверски уставал), со словами: «Если вы не спешите домой, зайдите ко мне. Я хочу и вам кое-что прочитать из последнего, написанного вчерашней ночью».

Я вошел следом за Давидом Яковлевичем в его комнату.

Астафьев, не поднимая головы, сидел за тем, что называлось у Дара столиком, над своей только что вышедшей книгой «Повести о моем современнике». В этот сборник вошли и «Пастух и пастушка», экранизировать которую только что прилюдно обещал Н. Михалков, долго искавший достойный материал для своего фильма о войне.

— Ты уже не обижайся, парень, — сказал, обратившись ко мне, Виктор Петрович, — но у меня нет с собой лишней книжки. Никак на тебя не рассчитывал. Ты уж прости. Как-нибудь в другой раз приеду — привезу».

Другой раз случился через 15 лет. Но у меня уже была эта повесть, а собирателем писательских автографов я и никогда не был.

Дар пил водку большими гранеными стопками. Виктор Петрович — рюмочками, хвалил корюшку, как старый знаток всякой рыбы. Мне тоже была предложена рюмка водки и корюшка. Больше на столе вроде ничего не было, кроме знаменитого даровского чая «три слона» (в те годы — большой дефицит. Пачка такого чая закладывалась в писательский спец. заказ, выдававшийся на Войнова, 18) и горки какого-то безвкусного печенья. Но Астафьев не был голоден: у

Пановой во время их беседы кухаркой подавался обильный и вкусный обед с легким красным вином, которое Вера Федоровна любила иногда употребить, принимая гостей. Вино для этих случаев покупалось только в «Европейской».

Астафьев с отзывчивостью и с каким-то даже вдохновением, как мне тогда показалось, приготовился слушать Дара.

Он сидел уже без пиджака, в светлой рубашке с ослабленным в узле галстуком, который, кажется, и всегда стеснял его. И рубашка, и галстук были очень к лицу этому уже совершенно седому и все еще очень красивому человеку, в облике которого было много приветливости, готовности завести живой разговор не об одной только литературе. Я редко встречал после Астафьева людей, так стремительно и открыто готовых к диалогу, к доброму, а часто и колючему юмору, остроумных не поверхностно, а глубинно. Кажется, люди подобной прозрачности уже стерты с лица России, и от того лик ее, весь ее некогда чудный образ принял ныне столь угрюмое выражение. А перекошенное злобой, лютостью лицо русского человека, принимающего свое страдание ближе страдания другого, — нет картины страшней и отвратительней. Астафьев часто писал об этом с неизбывной горечью.

И еще меня поразили руки Виктора Петровича — совсем не писательские, а привычные ко всякой работе и на клавиатуре пишущей машинки вроде неуместные даже.

Заметив на столе Дара маленькую «колибри», Виктор Петрович сказал:

— Счастливый вы человек! А я, одноглазик, с механикой этой все никак не совладаю. Все чернилами писано-переписано, хотя машинку купил в Москве как-то. Жена моя, помощница, обучилась на ней. А так — машинисткам диктую. Диктую — слушаю себя ухом, тон написанного улавливаю, — уточнил Астафьев. — Впрочем, простите отступление. Пожалуйста, читайте.

Дар набил трубку, откинулся на спинку кресла и, преодолевая свой астматический кашель, начал читать.

В тот вечер Давид Яковлевич читал фрагмент из своей будущей книги «Маленькие завещания», впоследствии переименованной им в «Исповедь безответственного читателя». Книга даже в отрывках в России никогда не публиковалась, и все мои усилия издать ее у нас оказались безуспешными. Но «Исповедь» вышла в Израиле в год смерти Давида Яковлевича (1980). Он успел не только подержать ее в руках, но и разослать друзьям. Книжка выдержала несколько изданий в Иерусалиме и в США, была замечена американской и европейской прессой. Прекрасную рецензию на нее написал Сергей Довлатов. Восторженно откликнулся Константин Кузьминский, написавший в своей знаменитой антологии «У голубой лагуны» (Техас, США) о личности Дара и его творчестве просто, ясно и проникновенно. Здесь я привожу именно тот отрывок из книги, который был им прочитан в тот памятный для меня вечер.

«Но все изменилось в тот день, когда я оказался на смертельном пятачке, где скорчился в тесном окопе, ожидая сигнала к атаке. Это должна быть седьмая атака в тот день, и за бруствером окопа лежала изрытая снарядами, пулями и солдатскими сапогами земля с обуглившимися обрубками деревьев, и была она почти сплошь покрыта серыми бугорками; некоторые из них еще шевелились, иные стонали, но многие уже окоченели и были как бы частью

этой черствой и страшной природы. И самое странное, я понимал, что эти бугорки еще недавно были живыми людьми, такими же, как я, но это понимание погасло на пути от моего сознания к сердцу и сердца почему-то не достигало: не будило в нем ни жалости, ни сочувствия, будто эти бугорки на земле были не убитыми людьми, а убитыми цифрами.

Рядом со мной, почти прижавшись ко мне, ждал начала атаки молоденький солдатик, совсем еще мальчик. Я не знал ни фамилии его, ни имени, только видел, что из-под каски на его мокрой от пота лоб спадала маленькая прядка волос; большие, какие-то нелепые руки, какие бывают у подростков, все время дрожали так, что он не мог даже закурить, а в глазах была такая тоска, такая беспомощность, такое отчаяние, что я чуть не захлебнулся от нежности и сочувствия. И вдруг он показался мне одиноким и беспомощным числителем без знаменателя.

И в атаке он тоже не отставал от меня ни на шаг: когда я бросался на землю, он падал рядом; когда я поднимался, он вскакивал тоже. Но однажды он не поднялся, я схватил его за руку — рука была, как ватная. Я хотел обхватить его, но как будто натолкнулся со всего размаха на стену и, оглушенный, полетел вместе с ним в какую-то бездну.

Потом я пришел в сознание, почувствовал боль, огляделся, понял, что нахожусь в яме, в крови, что кто-то лежит рядом. И вдруг, сильнее, чем боль и страх, меня поразило внезапное небывалое озарение: только что меня не было, и вот я опять есть, опять живу сверх положенного мне срока, пусть без ног или рук, пусть в яме, пусть жизнь мне дана только на одну минуту, но и это — великое счастье, единственное, что принадлежит только мне, мне одному; и еще я почувствовал, что я вовсе никакой не числитель, не часть чего-то, а целое, неделимое и неумножаемое, что даже моя боль — она настолько моя и только моя, что и слов таких не придумано, чтоб можно было ее передать другим...

Потом я снова погрузился в беспамятство, а когда пришел в себя, был уже вечер, очень холодно. Я чувствовал, что весь в крови. Я потянулся к тому, который лежал рядом, нащупал рукой его окаменевшее лицо, и вдруг жалость к этому мальчику, невозможность примириться с его смертью вырвалась из моей груди волчьим воем.

И снова — внезапное озарение, иное, чем прежде, но такой же силы, разорвало какую-то пелену, и я почувствовал, что смерть одного страшнее и ужаснее, чем смерть тысяч и миллионов <...>.

Захлебываясь от горя и боли, мое сердце торопливо шептало мне, что по его масштабам, масштабам чувства, один человек — это больше, чем все человечество, и что мучившие меня прежде вопросы о смысле и цели жизни, не разрешимые в масштабах всего человечества, разрешимы в масштабах одного, каждого человека... Но я не успел додумать этого, потому что снова подо мной разверзлась бездна, и все кончилось».

Дар замолчал. Астафьев сидел в прежнем положении без всяких слов: он обхватил свою большую голову руками, и тихий стон был слышен из-под его ладоней. Дар сделал мне знак глазами, чтобы я вышел из комнаты.

Только через тридцать лет прочитал я в «Новом мире» рассказ Виктора Астафьева «Пролетный гусь», где у измотанных войной и послевоенным неустройством молодых супругов умирает их первенец, совсем еще крошка, потом

умрет от непосильной работы и чахотки и сам герой — солдат-победитель. И отчаявшаяся вдова бросит в могилу, как в лицо власти и смерти, что одно и то же у нас, в России, все боевые награды мужа, и даже в церковь не пойдет за утешением. В философии этого нестерпимо горестного рассказа есть и некоторая перекличка с тем этическим открытием Дара: «Для меня один человек важнее, нежели миллионы людей, о которых я ничего не знаю».

Тиканье ходиков в кухне показалось мне оглушительно громким. Я потянулся рукой остановить шустрый маятник. Замер у окна.

В стекла бились ветки тополя, колеблемые усилившимся вечерним ветерком. Телефоны в квартире все были отключены заранее, так что никто не мог нарушить возникшую тишину. Вера Федоровна уже давно погрузилась в свой искусственный сон привычными для нее снотворными порошками. Тихо было до пронзительности...

И вдруг до меня долетел странный в этом доме звук, оказавшийся громким — навзрыд — мужским плачем.

Я буквально на цыпочках вышел в коридор. Схватил с вешалки куртку и вышел на безлюдный Суворовский проспект. Больше — до 1988 года — я с Виктором Петровичем не встречался, никогда никаких писем ему не писал, да и жизнь развернула меня совсем в другую сторону.

* * *

И вот мы сидим у Т. Ю. Хмельницкой за ее большим круглым столом в маленькой уютной квартирке на Ленина, в писательском доме, где некогда жила Ахматова и в течение многих лет жил друживший с Даром и Хмельницкой Д. Е. Максимов, у которого я когда-то учился. Здесь же жил и Федор Абрамов, чей своеобразный и могучий талант был высоко ценим Астафьевым.

...Тамара Юрьевна ждала нас к трем часам пополудни, и у нас еще было время в запасе. Мы вышли из машины, прошлись до ближайшей скамейки на стрелке Васильевского острова. Там я и рассказал Астафьеву о личных потерях Тамары Юрьевны в блокадные дни, о дружбе с Ахматовой и с Зощенко, и о том, как «дергали» Хмельницкую в Большой дом по поводу генерала Венцеля, по делу Татьяны Григорьевны Гнедич, Елены Тагер, Николая Заболоцкого... И все это было не в пресловутом 37-м, а в 1944 и в победном 45-м году. Астафьев на это: «Какое б... развели! Отцу народов и другу физкультурников все мало было жертв. Он и войну-то превратил из оборонительной в наступательную. Миллионами проклятых им и им убитых по всем фронтам прикрылся. Да и теперешние генералиссимусы не могут взять в толк, что не народ за вождем, а вождь за народом. Сколько в Афгане положили парнишек! И еще положат, придумают — где».

Просидели мы на этой скамейке что-то с часок, а то и поболе. Я рассказал Виктору Петровичу, на какие хитрости и гнусности пошли в 1977 году местные власти, чтобы выдавить из страны Дара, и как он не хотел уезжать, как помогал мне и моей матери, пока я отсиживал свой срок на Урале и возле Соловков, на родине Ломоносова, в замечательных Холмогорах, сказал, что хочу свалить из Эссэсера и получил приглашение в Штаты. Виктор Петрович подумал чуток и сказал: «Валяй. Вся эта кадриль с ихней перестройкой скоро уже

накроется, и начнется здесь такое, что оборони Господь дожить». Ну, что началось — известно. В 1991-м я высылал из Стокгольма продуктовые посылки своей матери и Тамаре Юрьевне на адрес Нонны Слепаковой, в те годы часто навещавшей Хмельницкую. Несколько посылок пропало. Россия...

Конечно же, Хмельницкая и Астафьев были людьми разных поколений. Нравственное и умственное развитие Астафьева пришлось на начало 30-х — об этом и «Перевал», и «Кража». И пока в Москве разворачивались физкультурные парады, в Игарке беспризорники и детдомовцы облизывали картофельные очистки. Кому на Руси жить стало лучше — Астафьев ответил своими бессмертными книгами, как и сверстник Хмельницкой Варлам Тихонович Шаламов ответил своими «Колымскими рассказами» на вопрос: «Чей, дяденька, труд стал делом доблести и геройства?». Хмельницкая же хорошо помнила еще дореволюционную жизнь, вольницу двадцатых, но только в 1966-м как-то сказала мне, когда я помогал ей добраться до сберкассы: «Советская власть, слов нет, была ужасна, но при большевиках хотя бы трамваи ходили». Да и литературная, как теперь выражаются, карьера у Хмельницкой и Астафьева складывалась не одинаково. Она была лучшей аспиранткой Юрия Тынянова (пока не разогнали Институт истории искусств), ее родители были знаменитыми в тогдашнем Петербурге врачом-стоматологом и пианисткой.

А литературный путь Астафьева, если бы не совестливый и талантливый Юрий Нагибин, приведший молодого писателя в 1958 году в журнал «Знамя» с рассказом «Солдат и мать» — по тем временам скандальным, но принесшим Астафьеву первый праздничный успех и литературный заработок, мог бы быть крутым маршрутом к отчаянию. Будущему биографу Астафьева не слишком придется потеть. Виктор Петрович без утайки и сам рассказал всю свою жизнь, поэтому написал как-то: «Тот, кто не страдал, не мыкался, ничего занятного и не оставил о себе, а раз так, значит, наш брат-кондрат сочинил эти книги» (из главки «Без приюта» — самой горестной во всем как бы безоблачном «Последнем поклоне»).

Но вокруг Хмельницкой в течение всей ее долгой жизни (1906-1997 гг.) всегда был круг наиболее уязвимых и наиболее отверженных людей искусства и литературы: Геннадий Шмаков, Татьяна Галушко, Вадим Халупович. Елена Кумпан, Глеб Сергеевич Семенов, Рид Грачев, Елена Тагер... Тамаре Юрьевне всегда помогала давняя, еще с гимназических лет, дружба с И. Грековой и с Н. Я. Мандельштам. Я уже не говорю о Даре, с которым Хмельницкая дружила с довоенных еще лет, а из мира музыки — Шостакович и Евгений Мравинский. Поэтому она понимала и чувствовала людей, особенно людей творческих, и с Астафьевым ей было о чем говорить, а ему было что сказать ей — умной и проницательной, тонко чувствующей родную речь и родную землю. Странно, но с Юрием Казаковым, чью прозу Хмельницкая считала «совершенно замечательной», диалога не получилось. Я знаю об этом от Дара.

* * *

— А вот ваш «Печальный детектив», Виктор Петрович, — громко, как и всякий слабослышащий человек, говорила Астафьеву Хмельницкая, наливая в изящную чашку старинного фарфора ароматную заварку, — я откровенно не

люблю. Уж теперь распространяться на эту тему не буду. По замыслу и воплощению это, конечно, ваша проза, но по содержанию, а вам отрицательное в жизни дается трудно — нервами и болью, — такие герои и такие ситуации вашему перу противопоказаны.

— Впервые, Тамара Юрьевна, слышу, чтобы русскому писателю было противопоказано показывать жизнь такой, какая она есть. Я ведь заговорил об одичании, о повседневном одичании повседневного человека. За меня об этом кто скажет? Теперь говорунов разных — пулей не сразить, но они все вещают о других, им о себе сказать недосуг. Моя повесть зеркальна.

— Так вот поэтому и встречена она так бурно и читателем, и критикой. Люди боятся посмотреть на себя другими глазами. Об этом ведь весь Чехов. И Достоевский. И Гоголь. Разве я не права?

Я потому так подробно воспроизвожу этот разговор, что мне приходилось каждую фразу Астафьева повторять Тамаре Юрьевне буквально в ухо. Это уж потом я привез ей из-за границы прибор для слуха. Да дома я еще, по старой привычке, приобретенной у Дара и Пановой, все законспектировал. Но память у меня и всегда была крепкая.

Скорее всего, Тамаре Юрьевне и не требовался ответ на ее вопрос, поэтому в русле разговора о «Печальном детективе» Астафьев стал говорить о том, что восприимчивость человека к злу имеет не социальный, как принято у нас считать, характер, а укоренена в людях на физиологическом уровне, и средствами деморализации — экономическими, политическими, идеологическими — советского человека власть растлила. Понятия милосердия, сострадания, взаимопомощи вытравлены в нашем человеке, и вообще современный человек, не только в России, но в России главным образом, живет в мире подмен и подлогов. Лагерная мораль и блатная феня становятся образом мысли и бытия. Да и странно было бы получить другую мораль, коль в стране пересажено за все годы столько людей. «У нас половина населения Красноярска в татуировках ходит. А народ, чья физиономия вся в наколках, светлое будущее только по принуждению строить может. От настоящей жизни, от жизни трудом свободного человека народ оторван, вырван с корнями. Таким народом и управлять противно. Я, слава Богу, уже по миру поездил, много стран повидать довелось. Хуже нас нигде не живут. Может, прав Герцен, что мы — пример другим цивилизациям, как жить не надо и что жить по-нашему — опасно. Я только на фронте и понял, какую мы для мира таим опасность. Вот об этом и будет мой новый роман».

Произнеся все это, Виктор Петрович сбился с ровной и плавной речи, в его голос, в его интонацию ворвались эмоции. Он жестикулировал, но говорил внятно — так, чтобы Хмельницкая слышала каждую фразу, и мне почти не пришлось повторять за ним его слова. Я жадно слушал этого человека, и чем больше слушал, тем больше понимал его удивляющую нас похожесть на его книги.

Я, признаться, не поклонник публицистики Астафьева. Она кажется мне излишне резкой, безапелляционной, часто противоречивой и продиктованной больше негодованием, нежели здравым смыслом. Но ее привлекательной стороной является полная искренность Астафьева, верного известному принципу Батюшкова: «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь». И еще подума-

лось тогда: «Как все же неудобен Астафьев нашему обществу и как он, именно он, ему необходим».

— Давайте-ка я лучше подарю вам машинопись о «Пастухе и пастушке», выброшенную из моей книги цензурой, — предложила Тамара Юрьевна. — А то я скоро умру, и бумаги будет некому оставить, а печки, как в блокаду, у меня здесь нет. В блокаду многое пришлось сжечь, да и многое сожжено уже в сорок четвертом и в сорок пятом по известным уже вам причинам. А вот на книги рука не подымалась. Выковыривала паркет, крошила шкафы и буфеты. Муж, уходя с народным ополчением в 41-м, сказал: «Туго будет, жги всё». Я и жгла, чтобы как-то согреть себя и родителей — они в 42-м умерли, в самую тяжелую зиму. Но картины мужа сохранила и вот — мамин концертный рояль. Сохранила письма Пришвина, Михаила Кузмина, Тынянова и Эйхенбаума. Уцелевшее недавно только раздала молодежи. А вот блокадных дневников не вела — не была к этому готова, да и сил не было. О том, как в блокаду жила здешняя интеллигенция, вы можете прочитать в недавно вышедшей книге Лидии Яковлевны Гинзбург. Кажется, эту книгу еще можно купить в «Лавке», в писательском отделе. Там сидит пренеприятная особа, но вас она обслужит. Думаю, незамедлительно. — И Тамара Юрьевна вручила Астафьеву около десятка машинописных страниц, выпавших из ее книги.

— Большое вам спасибо, Тамара Юрьевна, за драгоценные подарки, — отвечал Астафьев, принимая из рук Хмельницкой ее машинопись. Глаза его светились радостной благодарностью. Он был тронут вниманием к себе и к своей работе этой умной, все еще очень подвижной и безгранично доброжелательной женщины, говорившей с ним как с давним и добрым другом. От меня Виктор Петрович уже знал, что в круг творческих интересов Хмельницкой входит и вся мировая культура, в особенности французская (незадолго до смерти она опубликовала переводы писем Флобера, статьи о поэзии вагантов, переводы из новых французских авторов, большую статью об американцах — Фолкнере и Керуаке, ряд статей об Андрее Белом). И Астафьеву не могло не понравиться, что Хмельницкая поставила его в один ряд с Генрихом Бёллем, Ремарком и Хемингуэем, назвав «писателем европейского масштаба». Конечно же, Астафьев и сам хорошо знал себе цену и мог бы подписаться под сказанным когда-то Томасом Манном: «Важно, кем себя считаешь, за кого имеешь смелость себя выдавать! И чтобы заслужить уважение других, не требуется ничего, кроме высокого мнения о самом себе. Тогда и собственное творчество не станет для тебя пыткой или самобичеванием, и будет делом радостным, потому что все благое созидается легко и сладостно».

— И вот сейчас надпишу вам свою книжку, — продолжала Тамара Юрьевна. — В ней о вас, конечно, далеко не все сказано. Хотелось бы и о «Последнем поклоне» вашем. Вы удивительным образом нашли способ защититься от собственной неизбывной боли, убежав в свое детство. И до вас многие прибегали к этому спасительному приему. Вот и «Сережа» Пановой — тот же случай. Вера Федоровна, а я ее хорошо знала и много о ней писала, была жестким и во многом бессердечным человеком. Но каждая страница ее «Сережи» согрета подлинно материнским теплом. А вот ее драматургия оставляла меня равнодушной. Но все ее исторические повести наполнены не только абсолютным знанием мате-

риала, но и тонким лиризмом. А кто из теперешних авторов, особенно наших, ленинградских, вам интересен? — полюбопытствовала Хмельницкая.

— Я всегда следил за ростом своих земляков, — отвечал Виктор Петрович. — Особенно в 60-е годы. Первая повесть, да и первая книжка Валентина Распутина «Деньги для Марии» — вещь замечательная. Мне интересен Белов, но с годами он стал снижать планку, сменил милость на гнев, а в искусстве гнев не всегда уместен. Люблю все, что пишет и публикует Борис Можаев. Интересно начинал Виктор Лихоносов, умея быть проникновенным, но нет необходимой глубины. Боюсь, он может потеряться между Буниным и Казаковым. Ярок Владимир Солоухин и в стихах и в прозе. Мне по душе весь Василий Макарыч Шукшин. Не уберегли, да и сам он не уберегся... Он сумел населить свои книги и фильмы вечными странниками, на коих и держится мир и слово Божье. Щедрого таланта был человек и высочайшего, почти пушкинского вкуса и голоса. Никто рядом с ним в нашей литературе современной встать рядом не сможет уже никогда. Он много и о многом бы еще написал. Прожил свою жизнь сердцем, умел испытывать перед жизнью восторг и за людей умел стесняться. Мне очень не хватает задушевного с ним разговора. В нем я будто бы брата потерял. А из ленинградцев мне дороги книги Федора Александровича Абрамова, и спасибо вам, Тамара Юрьевна, что вы меня с ним в своих статьях соединили. Я ведь уже в вашем доме был, когда гостил у Абрамова-то. Из моего поколения он, может быть, наиболее крупный, а из друзей-окопников, конечно, Василь Быков. Вы его судьбу-то знаете?

— Да. И хорошо. Мы ведь и знакомы. И в моей книге о нем тоже не все вместилось. Вот даже хотели выбросить из статьи о нем его рассуждения о войне и военной прозе. Он ведь говорит, что его интересует в первую очередь не сама война, даже не ее быт и не технология боя, хотя все это для искусства тоже важно и интересно, но главным образом нравственный мир человека, возможности его духа. И он еще там же говорил, что писать сугубо о войне или исключительно о мире невозможно. Если писать — то писать о жизни. А жизнь нашего народа пропитана кровью миллионов, на той войне павших, и миллионами судеб на войне уцелевших, но вернувшихся с нее инвалидами и даже полными уродами, и не только физическими. И вы знаете, — продолжала Хмельницкая, — только авторитетом и усилиями своего редактора Мины Исаевны Дикман мне удалось сохранить в книге эти важнейшие мысли Быкова. Они ведь разбросаны по журнальным статьям, а я их соединила в один «поток сознания» этого прекрасного писателя и человека. Белоруссия должна гордиться таким сыном.

Тамара Юрьевна иногда умела говорить пафосно — когда то, о чем она рассуждала, превращалось ею в сердечный монолог. Ее книга о психологизме в литературе была замечена «Новым миром» и высоко им оценена (№ 7, 1989 г.). В беседе с Астафьевым она увлеклась, потому что говорила о насущном. За долгие годы мне приходилось не раз и не два слышать лекции Хмельницкой, ее обстоятельные обзоры советской и западной литературы. И всегда меня восхищала ее естественность, отсутствие ученых слов, наукообразности. И Виктор Петрович уже в машине, на обратном пути в гостиницу, сказал мне: «Она, несмотря на ее суровые годы, на пережитые ею потрясения и невзгоды, все еще умственно очень молода. И такой неподдельный интерес к человеку!».

* * *

— А из наших ленинградских поэтов кто вам нравится?

— Стыжусь, Тамара Юрьевна. Не знаю никого. Может быть, только Вадима Шефнера. Ну и, конечно, Ольгу Берггольц. Она показала своими стихами о блокаде падающие от бомбежек дома так, словно это живые люди падают. Ее стихи и поэмы — это ведь сама «Дорога жизни». И люблю стихи о фронте Михаила Дудина.

— А стихи Сергея Орлова с его «Его зарыли в шар земной...»?

— Да, конечно, — ответил Виктор Петрович и продолжал: — Война ведь и вообще всколыхнула русскую поэтическую культуру. Мне кажется, все это началось с Симонова и Твардовского. Его веселый солдат Василий Теркин — это ведь такой сильный образ. Его собирательность очевидна. У нас таких Теркиных и во взводе было, и в батальоне, и в полку не один. Твардовский сумел вывести в своем «Теркине» такого русского парнишку, который, будь он Ванькой, Витькой, Колькой, все равно был бы узнаваем не только миллионами фронтовиков, но и всем народом — узнаваем и любим. Вот в большой роман о войне ввести бы такой образ — чтобы весь текст от этого образа зашевелился, заиграл, каждая страница. Для создания такого образа и автор будущего романа должен не только бедовать на фронте и брюхом по окопам ползать под пулями, но склонность к юмору, к шутке иметь. Не было бы среди нас Теркиных, мы вряд ли фашизм одолели. — Астафьев задумался и вдруг спросил: — А вы стихи Николая Рубцова знаете?

— Я хорошо помню Рубцова. Ко мне его еще на Загородный, в старую мою коммуналку, в конце 50-х Давид Яковлевич приводил. Он, Рубцов, читал стихи необыкновенной прозрачности, и по стихам видно было, что здешняя городская жизнь ему не по душе. В его стихах много было тоски, но и много почти есенинского звука. Сплошная песенность. И еще знаю от Давида Яковлевича, что со здешним его устройством были проблемы, с работой. Кажется, он мыкался или по общежитиям, или по друзьям. И кругом была сплошная бедность. Он был очень скромно одет: зима, а он был в каком-то куцем пальто осеннем. И постороннюю помощь почти не принимал. Гордый был юноша. Очень тосковал по своей малой родине. Потом, когда я услышала о его внезапной смерти в Вологде от руки коварной и злобной женщины, я была потрясена. Хотя нелепыми смертями меня не удивишь, — с грустью закончила Хмельницкая. И тут же вернула Астафьева в русло разговора о его собственной прозе:

— Вас, кажется, именно «Ода» вывела на «тропу войны». Эта тема в вас неизбывна. Хотя в «Звездопаде» вы написали: «Но вот годы прошли. Многие годы. И война-то вспоминается как далекий затяжной сон...». За верность цитаты не ручаюсь, но смысл был как раз этот.

— Нет-нет, все правильно. Только удивляюсь вашей памятливости, Тамара Юрьевна.

— Профессия у меня такая — многое помнить и в работе привязывать себя к цитатам. «Разбираемого вами автора, — говорил нам Тынянов, — надо знать назубок». Еще он говорил, что искусство живет неблагополучием. Ваша та, давняя повесть ведь о первой любви. А первая любовь всегда неблагополучна, особенно в обстоятельствах вашего героя, подбитого на фронте девятнад-

цатилетнего юноши. И я догадываюсь, что повесть эта автобиографична, поэтому в ней так много поэзии. А слишком пристальное внимание к биографии затемняет облик поэта. Тынянов с горечью говорил, что «изучение Пушкина так долго заменялось изучением его дуэли, что нами были пропущены его главные мысли». Главная мысль «Звездопада» — жизнь прекрасна?

— Пожалуй, да. Я эту повесть в 60-м году написал в три дня, а работа над ней затянулась — многое пришлось в тексте восстанавливать после цензурных обрезаний — за двенадцать лет. Можно сказать, «Звездопад» и вытолкнул меня в «Оду».

— Да, да, я понимаю, что «Ода» и весь ваш «Последний поклон» — это книга о мальчике, которого ОНИ хотели убить.

— Они таких парнишек наубивали и еще наубивают. В сводках с фронтов урона в людях не считали. Народу в России еще много, сори, мори, истребляй — все шевелится. Я теперь в новом, и, боюсь, в последнем своем романе, к которому подбирался, как только перо в чернила окунул, уже как раз об этом и напишу, если Бог даст сил и здоровья. Написать эту книгу — долг мой перед Богом за то, что выжил, и в память тем, кто полег костьми. Если, конечно, никто не помешает. Я от этих паразитов вовремя премиями да наградами огородился. Знал наперед, какой путь еще пройти придется. Они в свое время Солженицына к Ленинской-то премии буквально под конвоем вели. Но он в сторону Нобелевской дернул. А я куда денусь?

— Вы все же будьте поосторожней, — предупредительно заметила Хмельницкая. — Они и сталинских лауреатов, и Героев Советского Союза в лагерях гноили. Вы рассказы Шаламова знаете? «Последний бой майора Ковалева»? Меня в 60-м году с Варламом Тихоновичем в Москве Надежда Яковлевна Мандельштам познакомила и дала мне на одну ночь прочитать рукопись «Колымских рассказов». Меня первоначально стихи его поразили. Но рассказы я читала с валидолом. И утром понять не могла, на каком я свете. Казалось, уже на том. А Надежда Яковлевна с ее ядовитостью и говорит мне: «Вот и вы теперь, Тамара Юрьевна, знаете, что посильнее «Фауста» будет».

— Я лучше в родном Енисее утоплюсь, — сказал, смеясь, Виктор Петрович, — а им, б..., не дамся.

Тамара Юрьевна или не расслышала или вид сделала, что не расслышала, но повторить фразу не попросила.

Конец 80-х — это, как все помнят, — разгул перестройки и вакханалия гласности, которые, с одной стороны, разворачивались на митингах, с другой — в газетах и «толстых» журналах.

— Как вы считаете, Виктор Петрович, все это уже навсегда? — живо поинтересовалась Хмельницкая, пристально и с некоторой опаской следившая за процессом.

Астафьев не спешил отвечать. Он отпил чая, пожевал бутерброд с сыром, еще раз отпил чая и раздумчиво ответил:

— Конечно, со страной что-то делать надо. Провинция гибнет, село умирает. Молодежь спивается. Если Горбачев не сумасшедший, он очень скоро поймет, или ему объяснят, им содеянное. К голосам нашей придурошной интеллигенции прислушиваться — дело опасное. Она у нас и всегда была безответственной и продажной — советская интеллигенция, а другой у нас и не было,

прежнюю повывели. К голосу народа нашего вялого и на все податливого прислушиваться — тоже опасность есть: он же, народ наш, на власть его притеснявшую и угнетавшую, сам и кинется. А русский бунт, сами понимаете, кровав и бессмыслен. Коренная Россия — за Уральским-то хребтом — лежит вся коммунистами порушенная. С перестройкой этой надо бы идти не с Запада на Восток, а наоборот. Человека к земле надо возвращать, вернуть ему старинные ценности. Реформаторам историков наших почитать, философов, дать примеры благонравия и милосердия, и умственного целомудрия. О переустройстве общества всем обществом и подумать. И церковь призвать в помощники, и не только православную, мы ведь страна многонациональная — если мы страну сохранить хотим. Иначе развалимся, что карточный домик. Вот помяните мое слово. Я насчет перестройки особливым оптимизмом не болен.

— Вы писали об этом, говорили?

— Говорунов сейчас и без меня легион.

— Ну, вот уже и в журналах начали печатать прежде вычеркнутых авторов. «Архипелаг» публикуют в «Новом мире». Стихи Иосифа Бродского пошли...

— Бродского, Троцкого... Может, все еще и устаканится, — довершил свою мысль Астафьева, не желая сильно огорчать своими прогнозами доверчивую Тамару Юрьевну.

— Что, что сделается? — переспросила Хмельницкая.

— Устаканится, — повторил я довольно громко, склоняясь к уху Тамары Юрьевны.

— А... — раздумчиво произнесла она, осмысляя новый для нее термин.

— Далеки вы, критики, еще от народа, — добавил Виктор Петрович заливаясь своим тихим и бесподобным смехом. — Ох, далеки...

* * *

Астафьев поинтересовался, нет ли у Тамары Юрьевны опубликованных воспоминаний о блокаде. Она ответила, что на такие воспоминания у нее нет сил и что ей слишком тяжело возвращаться памятью к пережитому: «Надо перечислять утраты и потери, писать о личном. А я не уверена, что мои потери на фоне всеобщих сколько-нибудь значимы. Мои родители, мой муж — это ведь только мое. А со своим выпячиваться как-то неловко, когда горе так сильно разлито по ленинградской земле. У Давида Яковлевича, к примеру, во время бомбежки их дома на Васильевском, погибла жена, дочку чудом дворники откопали. И он считал себя счастливым человеком, такой фронт пройдя, и дочка уцелела. И все равно о блокаде ничего никогда не писал. Вот и я не могу. Прочитайте лучше «Блокадную книгу» Даниила Александровича, прочитайте. В ней много ценного материала собрано».

— От Гранина увольте. У меня с ним разногласия, — неприятно поморщившись, ответил Астафьев.

— А я как-то свою жизнь прожила без разногласий, даже с формалистами, когда их травили в 30-х. Вот только Заболоцкого жалко и Зощенку — они ведь были самыми яркими фигурами той эпохи. Михаил Михайлович так и не распрямился после ждановщины. Прошел через все оскорбления и унижения, даже «Рассказы о Ленине» написать пришлось.

— Они доведут кого хочешь до греха-то. У меня вот тоже в самом начале ситуация была. И не от бесстыдства, этим я, кажись, никогда не страдал, а от жизни нашей тогдашней. Мы с женой еле ноги носили, дочка была при смерти. Я подрабатывал еще и в местной уральской газетке. Пришлось о портрете Сталина чушь какую-то написать. Я бы и о САМОМ тогда написал, и готов был, а девочка-то все равно умерла. О чем говорить, Тамара Юрьевна, о чем говорить-то, когда человека у нас могут поставить в такую позу, что пикнуть не успеешь, а уже и оприходуют.

— У меня перед самой войной зарубили книгу о Пришвине. Книжка, правда, в 59-м вышла. Но я после войны и визитов в ГПУ ушла в переводы французов и «прочих шведов». И меня переводческая работа вытянула.

— Я вот языков не знаю, переводить мне некого, и писал всегда, до 60-го года, уже после Высших литературных курсов в Москве, исключительно по ночам, днями работал разную тяжелую работу. Жена моя, Марья Семеновна, между прочим, тоже фронтовичка, сердечница. Надо было ее поберечь. И я всегда считал, раз я живой с войны вернулся, все другие беды пересилю. Но жить и писать с годами стало трудно. А в планах у меня многое еще задумано. И главное — роман о войне — о той войне, окопной, моей. Я от нее весь в рубцах, вся душа, да и тело. Вот вы мне сказали, что не лежит у вас душа к моему «Печальному детективу». А я этой вещью хотел сказать: мало нас ждет веселого, коль скоро мы оскотиниваемся и совесть уже и в горсти не держим.

Настал час прощания. Виктор Петрович поблагодарил Тамару Юрьевну за подарки, за гостеприимство, за откровенную беседу. Она при рукопожатии (на целование ручки Астафьев не отважился) сделала ему что-то вроде реверанса, какой делают в Букингеме дамы, склонясь перед монархом. Виктор Петрович смутился и, верно, решил, что Хмельницкая падает с ног от усталости, поэтому сделал попытку поддержать ее как бы при возможном падении. Сцена была, что и говорить, забавной.

В машине я спросил Виктора Петровича, что бы он хотел сейчас, на обратном пути в гостиницу, посмотреть в городе, он мне ответил, что все равно из окон машины ничего путного увидеть нельзя, и мы договорились, что проедем по Каменноостровскому (на моей памяти всю жизнь бывшему Кировским) — самому, на мой взгляд, красивому проспекту Ленинграда, свернем с Троицкого (Кировского моста) и проедем, двигаясь не слишком быстро, вдоль Невы. День клонился к вечеру, погода была редкостно хорошей, и город смотрелся великолепно.

Когда выехали на Кировский проспект и остановились перед светофором возле дома, в котором жил Аркадий Райкин (там сейчас уже висит мемориальная доска), я сказал Виктору Петровичу, чем сей дом примечателен. И услышал в ответ:

— Я говорунов всех мастей недолюбливаю. Есть что-то подленькое в этом так называемом «разговорном жанре». Ты-то уж, наверное, не помнишь, а в мое время были еще такие Тарапунька и Штепсель — всё из той же кормушки. Бездарность редкостная, но — любимцы публики. Райкин, считалось, гениальный артист и смелый сатирик — этакий советский Щедрин с примесью Зощенки. Боролся. Как теперь пишут, с «негативными явлениями». Но по мне —

все это дешевка. Надо было как-то жить, вертеться. Дернуть из страны, как говорится, не представлялось возможным. Искал легкий и безопасный хлеб. С маслом. Сталин и дальнейшая власть дозволяли иметь такую сатиру. Беззубую и для народа оскорбительную. Вот Райкин и наплодил подражателей. Слушать совестно, смотреть противно. Да Бог с ними. Оглупляться наш народ и сам любитель. При наличии Хрущева да Брежнева — вот где театр был! — Райкина твоего держали для выпущения пара. Нет, не по мне все эти забавы. Как хочешь, не по мне.

* * *

На другой день я повез Астафьева — по его просьбе — в редакцию газеты ЛенВО «На страже Родины», в Петропавловскую крепость. Во все годы войны газета эта первой давала сводки с фронтов.

По предварительной договоренности с главным редактором, Виктор Петрович был незамедлительно принят, и ему были предоставлены копии с военных корреспонденций тех лет.

Какой-то жирный полковник вручил Астафьеву мемориальную книгу о работе газеты в военное лихолетье, предложил «пройтись в буфет». Виктор Петрович вежливо уклонился. Уже в машине он объяснил: «Я всякую штабную сволочь, да и газетную — «с лейкой и блокнотом» — еще с фронта не выношу на дух. Из всех тогдашних военных журналистов мне ближе и понятней других все же Константин Симонов. Подлец, конечно, был редкостный. Но он единственный, кто что-то главное понял о войне в те годы и написал, и написал талантливо — и стихи свои, и прозу. Он сердцем постиг солдатскую долю на фронте. Это ведь он сказал: «Всю правду о войне знает только народ». И уже применительно к своему визиту в редакцию добавил: «Ишь, как раскормили-то у вас их тут. А солдат-бедолага в куцей шинельке своей еле свой шкелет носит, костями бренчит. Армия, бля! У нас в Красноярске — та же картина, да и повсюду одно и то же. У меня вот сын служил, казалось бы, в доброе время, так придумано было в Чехословакию вторгнуться. Освободители херовы. Ты сам-то служил?» Я ответил, что служил в Заполярье, связистом. Астафьев: «Дак мы с тобой коллеги! Мне до сих пор телефонная трубка пальцы жжет. А какая у немцев вся связь была — отлаженная, проводок к проводку, приборы в специальных коробочках, все чистенько и всегда готово к работе. А у нас... И вспоминать-то противно. Я об этом еще, даст Бог силы, напишу. Я им и о них такое напишу, что чертям страшно покажется. Шаламов вот им лагерное клеймо поставил. Я им фронтовое влеплю, по самые, как говорится, не балуйся. Дай только срок».

Когда я в 1999 году чудом приобрел и буквально проглотил «Проклятых и убитых», то сразу же написал об этом романе и отнес в один из журналов, где меня уже печатали. Зав. отделом прозы — умный и проницательный человек — сказал мне:

— Дурак ты, дурак. Из Америки вернулся. Ну, дело твое. А теперь-то с чего на нары торопишься? Мать-старушку пожалей. И никому своих писаний не показывай. Что дозволено Юпитеру, то такому дураку, как ты, делать нельзя ни при какой погоде, особенно при нынешней.

Подъехали к «Пулковской». На пороге гостиницы мы обнялись и по-русски троекратно расцеловались. Кажется, это был последний приезд Виктора Петровича Астафьева в наш город.

Вместо послесловия

Из всей обширной иконографии Виктора Астафьева, разбросанной по его книгам, мне особенно дорога одна фотография то ли 45-го, то ли уже 46-го года.

На ней Виктор Петрович еще очень юн, почти еще мальчик, чудом уцелевший на той страшной войне (а и всякая-то война страшна). Короткая стрижка, простое русское лицо, и уязвленный на фронте правый глаз не отдает мертвечиной (славно поработал какой-то военный хирург, дай ему Бог здоровья!).

Чистенькая гимнастерка — дембельская, с аккуратно подшитым подворотничком, слева на груди одна всего лишь медаль «За отвагу» — медаль редкостная, справа — орден Красной Звезды, тот самый! — знак гвардейского отличия и ниже — на лацкане кармана гимнастерки — нашивки за ранения.

«Это было в ту пору, когда все казалось радостным и от жизни ждались одни только радости. В немыслимо яркий, ослепительный день спешил я в родную деревню по левой стороне Енисея, по дачной местности...

Я был молодой, недавно женатый, ноги мои пружинисты, душа пружиниста, голова пуста, внутри все ликовало, и от «восторгу чувств» мне хотелось петь, даже прыгнуть в еще холодные речные просторы хотелось, ухнуть в одежде, и вся недолга!..

Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны пригляден как он есть».

В таком настроении, с такими наградами мог бы вернуться в родное село и Алеша Скворцов из фильма «Баллада о солдате», НЕ вернулся. Миллионы не вернулись — миллионы проклятых и убитых, и никто, никто НИКОГДА не попросил у них прощения за загубленную молодость и жизнь. Вот и маршалы наши боевые, усыпанные брильянтовыми звездами...

«Они, как и главнокомандующий их, отец и учитель, богом земным себя почитающий; просто забыли об убиенных, об осиротевших детях и овдовевших женщинах. Есть такие тяжелые грехи, которые Господь и хотел бы, да не в силах простить» (из самой последней, уже нашего века, книги Астафьева «Пролетный гусь». Помните: «И все не умирает во мне война, сотрясая усталую душу»?).

А у важной для меня фотографии Виктора Петровича своя важная для меня история. Бегло поведаю и ее.

Я привез эту фотографию из Америки в конце 89-го года. В читальном зале, на полках советской литературы в библиотеке Канзасского университета, обнаружил я сборник повестей и рассказов писателя, изданных к 40-летию Великой Победы. Книга Астафьева попала в этот провинциальный американский университет в качестве гуманитарного дара советского посольства в Вашингтоне вместе с иными сочинениями классиков соцреализма. Тамошними читателями книга ни разу не была востребована. Это меня вдохновило взять эту никому здесь не нужную книгу на свой абонемент «на время». «Пусть, — подумалось мне тогда, — здешние советологи ограничатся тем, что уже у них

имеется. Астафьев им без надобности. Для их потребностей есть совсем другие авторы, о другом пишущие и уже написавшие».

Там, в американской глуши, впервые и прочитал я «Царь-рыбу», «Пастуха и пастушку», «Звездопад», «Паруню», «Падение листа» — и невыносимой показалась мне моя вполне комфортная американская жизнь и прелестный городок Лоуренс, населенный веселыми студентами, и вода, и питье, и... Одним словом, всё. А ведь уезжал-улетал я из СССР, как и многие тогда, навсегда, даже с благословения материнского: «Ты, касатик, со своим языком без кости опять тут нар не минуешь». И вот проза Астафьева вернула меня в Россию. Правда, в Швеции я еще какое-то время сопротивлялся своему возвращению к родным осинам (уж больно сходной казалась их природа с нашей, только без нашей убийственной тяги все вокруг себя крушить и губить). А перечитал «Падение листа» — и...

«Никуда не улететь. Остается лишь томиться непонятной человеческой тоской и содрогаться от внезапной мысли о тайне нашей жизни».

И в 1990-м вернулся в свой город, знакомый до слез.

Американцы сочли меня неблагодарным, потому что окружили меня своим гостеприимством, и первые мои публикации случились не в СССР, а в США, и помогали мне много лет деньгами и необходимыми для существования вещами, и оплатили все мои перелеты и поездки по Соединенным Штатам, и карьера академическая мне там сулилась. Господи, какая красивая и великодушная страна! Прекрасные люди! И даже в одноэтажной Америке все устроено для повседневного удобства всем-всем, особенно старикам и детям. И собаки тамошние отучены лаять и кусаться... А вот душа моя ни к чему там, в Америке, не притулилась.

Здесь я уже который год учительствую и живу от получки до получки, подрабатывая репетиторством (благо, английский вошел в моду). И счастлив! Потому что до 29-го ноября прошлого года жил на одной земле с Виктором Петровичем Астафьевым. А как теперь всем нам без Астафьева жить — этому еще надо научиться.

Марина АДАМОВИЧ

СОБЛАЗНЕННЫЕ СМЕРТЬЮ

Мифотворчество в прозе 90-х: Юрий Мамлеев, Милорад Павич, Виктор Пелевин, Андрей Дмитриев

Приидите, чада, послушайте меня:
страху Господню научу вас.
Псалом Давида, 33

«Бог умер», — объявил некогда Ницше. Следующее столетие дало достаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение. И, отбросив нюансы, мы вынуждены сегодня говорить о *переломе* в основных традициях западноевропейского мышления, основанного на идеях христианства и Просвещения. Этот перелом был естественным следствием ницшеанской критики метафизики, введения имморального произвола субъекта, шопенгауэровской иррациональной воли, хайдеггеровского определения бытия как присутствия, фрейдистской критики сознания и т.п. Как заметил Деррида, это был круг, «который описывает форму отношений между историей метафизики и деструкцией этой истории». Словом, традиционная установка на познание мира сменяется волевым отношением к нему, истина становится фактом волюнтаризма, логика и рацио отвергаются и подменяются работой подсознания, а предлагаемые картины мира по определению сверхсубъективны, сверхчувственны, досознательны.

Такова эпоха постмодерна. В культуре вновь ясно обозначается поворот к мифотворчеству как способу определения человека в мирокосме, и наше время можно смело назвать временем «власти мифа». Отказываясь от философии познания, поиска истины как пути, якобы уже разоблачившего себя за предыдущую историю человечества, утверждая принцип «непроницаемости культур», их принципиальной непознаваемости, постмодерн конца XX века опирается на так называемую философию жизни, иррациональную душу, — и все это приводит его к мифу как основному механизму самоопределения человека.

«Силен только миф, и соблазн живет в сердце... мифа», — замечает Жан Бодрийяр, предлагая свою интерпретацию постмодернистской игры. Отказываясь от спровоцированного смысла и власти логически-рациональных построений классической культуры, философ обращается к имманентной силе *соблазна*, способного «всё и вся отторгнуть от своей истины и вернуть игру в чистую игру видимостей, и в ней моментально переиграть и опрокинуть все системы

Марина АДАМОВИЧ — родилась в 1958 г. во Львове. Литературный критик, эссеист, культуролог. Окончила факультет журналистики МГУ. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Континент», «Литературное обозрение», «Новый мир», «Литературной газете»т и др. изданиях. Живет в Нью-Йорке.

смысла и власти», ибо «смысл уязвим только для колдовства», для тайны, для досознательной работы мифа. Рискну схематизировать эмоциональные посылы Бодрийяра: определяя постмодерн как «обольщение знаков» (деконструкция), что оказывается важнее, «чем дать проступить какой-то там истине», Бодрийяр точно указывает на мифотворческую природу постмодерна: нет поиска истины в постижении мира. Создание мифа, обольщение — это процесс реверсии знака «непроницаемой культуры» (истина которой не проступает). Иными словами, Бодрийяр предлагает собственную мифологему соблазна в символической вселенной мифа. Соблазном «дышат фигуры античной мифологии», замечает Бодрийяр, «больше всех других известных нарративов (она. — *М.А.*) насыщена соблазном». И действительно, в сверхсубъективном мире постмодерна — «мире видимостей» — «дискурс неумолимо отдается во власть своей собственной видимости, а значит, вовлекается в игру обольщения». В этой странной игре сильно *обольщение пропавшей реальностью* — «обманкой»: «Глаз перестает быть генератором развернутого пространства... здесь нет горизонта, никакой горизонтальности, это как тусклое зеркало, в которое упирается взгляд, и позади него — ничего». «Черное зеркало», — невольно поправит Юрий Мамлеев.

* * *

«Посреди комнаты висело огромное черное зеркало», — читаем в рассказе «Черное зеркало». В этом зеркале Семен Ильич, герой рассказа, надеялся увидеть собственную судьбу — потому что ничего больше в нем не отражалось, включая самого Семена Ильича, который уже давно «умирал от отсутствия божества». Ни то, что зеркало было черным, ни то, что оно ничего не отражало, — его не удивляет. Герои Мамлеева, в отличие, скажем, от гоголевских, повстречавших собственный нос или тень, вообще не удивляются, а если и удивляются — то по ошибке или недоразумению. Почему? Да потому, что гоголевский персонаж *знает реальность*, а «обычное» по Мамлееву — это то, что повторяется. «То, что мы по привычке принимаем за обыденность... на самом деле есть форма скрытого кошмара и чуда», «мы в чуде живем», — заявляет Киса из рассказа «Живое кладбище». Если начать познавать эту обыденность, то «с ума сойдешь, от понимания-то». Поэтому герои Мамлеева отказываются от рефлексий, «глазам не верят» и живут в досознательном, субъективном мире. Ведь с точки зрения постмодерниста, мир этот действительно ненормален — весь, до «сойти с ума», если определять норму, скажем, по тому же Бодрийяру: норма и ненорма сосуществуют в пограничном состоянии, и, следовательно, норма пронизывается ненормальностью — «приют для умалишенных как бы растворился в социальном пространстве, потому что нормальность дошла до такой идеальной точки, где она сама обретает характерные черты сумасшедшего дома».

Этот процесс взаимопроникновения, с точки зрения Бодрийяра-критика, — определяющий для традиционного типа культуры: в ней человек живет «под знаком Человеческого как универсального понятия», но в силу этой универсальности, идеальности, все нечеловеческое — суть *ничто*. «Эпоха окончательной универсализации Человека совпадает с отлучением от этого понятия всех людей — остается сиять в пустоте один лишь чистый концепт» (когда Бог похож на человека, сам человек уже ни на что не похож). Кстати, об этом у

Мамлеева тоже есть рассказ — «Один. Рассказ о космическом ницшеанце», который стал «единственным вместилищем абсолютного духа», а потом и «исчезающего мира мертвецов — необходимой пищи для его живого духа», — а всех, кто «ничто», он уничтожил. Но, замечает Бодрийяр, возможен и иной мир: «для дикарей, называющих себя «людьми», другие представляют собой *иное*», с «иным» можно бороться, но не признавать его нельзя. Поэтому черное зеркало — тоже нельзя не признавать как факт «обыденного чуда». Таким образом, отказываясь от прежнего пространства «всё, что не я — ничто», мифологическое пространство мамлеевского текста уравнивает чудо и нечудо — возникает некое единое пространство «видимостей», «обманок», по Бодрийяру.

В мире Семена Ильича, мире «отсутствия божества», центра, Абсолютного, нет иерархии времен, нет пространственных границ, «никакой горизонтальности», никакого третьего измерения — «очарование недостающего измерения», — называет это философ. Именно оно и околдовывает. Такое зеркало — поверхность абсорбирующая, а не отражающая. Что герой Мамлеева может только подтвердить. Отражение — из области психологии, оно сохраняет понятие образа и реальности, в обольщении, если следовать за мыслью Бодрийяра, «разрыв между Тождественным и Иным... упраздняется». (Так, обращаясь к мифу о Нарциссе, он замечает, что Нарцисс обольщает сам себя: речь идет не о зеркале, в котором отражен живой *образ* Нарцисса, но о зеркале как об отсутствии глубины, «поверхностной бездне», поглощенности тайной — «вхождение в свой образ до самой смерти». Собственно, речь идет о своеобразном инцесте — с самим собой). Черное зеркало дает не живой образ-отражение реального персонажа Семена Ильича, но — двойника. В один не совсем прекрасный момент, когда вместо черноты в зеркале показалась бездна, Семен Ильич увидел огромного человека с двумя головами, который легко переместился из зеркала на комнатный стул. Семен Ильич завыл (он и раньше любил повыть — «от тоски, от одиночества, от всемирной обреченности. Но теперь он завыл, чтобы заглушить в себе *любовь к потустороннему*» — вот вам парадокс бодрийяровского инцеста). Двойник по-домашнему попил чайку, закусив ухом, и убедил Семена Ильича в непрактичности иметь только одну голову. «Рождайтесь во многих формах», — посоветовал двухголовый. То есть — вне формы. И как только Семен Ильич это понял, все стало очень обычным. И «эта тьма, ведущая в бездну, стала непроницаема, как *смерть всего существующего*... напрасны искания, направленные во вне... сущность его глубинного "Я" так же непознаваема, как это черное зеркало, и бездонная, уводящая в за-абсолютное, невидимая глубина этого зеркала — лишь проекция его собственного "Я"». И больше Семена Ильича никто не видел — потому как *этот* мир потерял для героя свое значение. Признаюсь, мне доставляет удовольствие играть текстами Мамлеева и Бодрийяра, который продолжает — словно о Семене Ильиче: в этом мире идеальная норма пронизана ненормой, то есть «вся наша культура является просто культурой смерти».

Но хочется жить. И неомифологи предлагают: «логика символического обмена восстанавливает эквивалентность жизни и смерти в форме безразлично-фатального *послежития*». Послежитие и является основным предметом внимания языческого мифотворчества Мамлеева — его тексты наполнены упы-

рями, разгуливающими мертвецами, монстрами и людьми, но кто есть кто — не только не понять, но и не стоит пытаться, по тому же совету героя Мамлеева. Боги равны героям, герои — монстрам, монстры — богам.

Классическому репрезентативному пространству противополагается игровое пространство видимостей, реверсия знаков жизни-смерти. Как любая игра — она подчиняется правилам, но как игра мифологическая, культовая, она возводит свои правила в ранг ритуала. И именно миф придает этому новому ритуалу архетипическую непреложность, «эзотерическая повязанность в абсорбции знаков» (Бодрийяр). Притягательность пустоты, черной дыры, «ничто», смерти... Собственно говоря, здесь мы подошли к основным мифологемам русского литературного постмодернизма 90-х годов: пустота, потусторонний мир, смерть. Например, рассказ Мамлеева «Свадьба»: во время свадебного пира в лесной сторожке (вполне в стиле российских пьяных пирушек) жених умирает, но гостям жалко портить песню, и свадьба продолжается. Одной невесте обидно — жениха-то нет. Тогда ее на время выручает некий лесник — «лесной», леший, то есть — черт, а там и мертвый жених подсаживается к столу...

Фольклорный мотив гостя-мертвеца — один из самых распространенных в прозе Мамлеева. Скажем, в новелле «Валюта» писатель обыгрывает ситуацию недавних советских времен, когда разорившееся государство выдавало зарплату «товаром» — кастрюлями, книгами, продуктами. Герои же получают в счет зарплаты гробы. Один — испорченный, в нем явно уже кто-то лежал. Выменять его ни на что не удается, и супруги Сучковы решают использовать гроб в качестве мебели (надо сказать, что постмодернистский текст отражает реальность конца XX века. Не так давно некий дизайнер из Канады демонстрировал мебель, сделанную из гробов. Идея его имела колоссальный успех). Героям Мамлеева повезло меньше: за гробом явился истинный хозяин — мертвец — и наказал Сучковых за пренебрежение запретом не брать чужого. Не «благодарный» ли мертвец из легенд-мифов, разобранных еще Проппом, явился в рассказ? «Умершие — это близкие, дорогие боги, к которым легче обращаться», — замечает исследователь фольклора.

Говоря о постмодернистской мифологии, Р. Гальцева отмечает причудливую «комбинацию культа архаики с новомодным конструированием мыслительных схем». Именно такую комбинацию представляют размышления Бодрийяра о каннибализме дикарей как «социальном символическом акте, направленном на поддержание сети связей с пожираемым мертвецом или врагом» — ритуалом сакрализации, преодоления разобщения жизни и смерти. Движимые этой же «символической обязанностью» «символического обмена» герои рассказа Мамлеева «Удовлетворюсь» — молодые интеллектуалы, собравшиеся на подмосковной даче, с мистическим и не только удовольствием пожирают, «припав к сковородке», своего повесившегося приятеля — совершают сакральный акт приобщения к *послежитию,* к смерти, о которой они до того беседовали.

Безусловно, мамлеевский миф о послежитии полон иронии — но мы не будем говорить о ней, ибо постмодернистская ирония требует специального разговора. Но в плане символического обмена знаками «непроницаемых культур» — языческой фольклорной, классической христианской и — современной, эпохи постмодерна, — в этом мифологическом соблазне действительно нет

границы между живым и мертвым: неоязычник мамлеевской прозы запросто общается с реальной, неметафорической тенью, со своим двойником, никакая смерть не прекращает «истории тела», «нет ничего ни сверхреального (загробной жизни и смерти), ни дореального (бессознательного и утраченного объекта), а есть лишь одна непосредственная, без всяких фантазмов, актуализация взаимных символических обязательств... Все дано, все обратимо и все приносится в жертву» (Бодрийяр, а не Мамлеев). Это — подлинная, достигнутая утопия, в которой ликвидированы раздельные топосы реальности и нереальности, тела и души. И рядом с человеками Мамлеева разгуливают «иные» — «люди могил», потому герои слышат задушевные песни из гробов, превращаются по утрам в клозете в монстров, чувствуют недостаток второй головы и называют себя «метафизическими путешественниками».

Постмодерн как способ особого мироощущения и философии нашего современника и постмодернизм как эстетическое направление в русской, в частности, литературе не совпадают буквально. Постмодерн как мироощущение современного человека — с потерянным чувством историзма, разочарованием в достижимости истины, с ощущением непознаваемости, непроницаемости культур, с иррациональным отношением к миру, утверждением его виртуальной достоверности, опорой на коллективное бессознательное, отрицанием причинности и утверждением феноменологии и пр. и пр. — это довлеющее мироощущение конца тысячелетия, безусловно обладающее собственной эстетикой. Не стоит сужать его до того скромного явления в русской литературе, которое мы по аналогии назвали русский постмодернизм. Который и сам по себе оказывается гораздо сложнее, нежели проза его лидеров 90-х гг. — литераторов сорокинского типа, отразивших лишь одно из возможных направлений — социальный, критический постмодернизм (по определению, скажем, Московской концептуальной школы: «отрицательное» пространство, целиком ориентированное, обращенное к наличному бытию, постоянно желающее «провалить его в себя, высасывающее и питающееся его энергией»). Даже без оглядки на мировую практику, уже на российском литературном поле можно отыскать образцы мифологического фантастического постмодернизма, псевдоклассического и пр. (Все эти названия условны, устойчивая терминология пока отсутствует.) Однако в общей игре участвуют и литературные имена, которые к собственно постмодернистским можно отнести с большой натяжкой — и лишь постольку, поскольку они оказались захвачены дежурными мифологемами постмодерна, но «игру» повели иначе. К прозаикам такого рода относится, скажем, Андрей Дмитриев. (Можно было бы и здесь говорить о постпостмодернизме, но опасаясь смешения понятий — ибо постмодернизм внутри собственной эстетики тоже развивается и приносит плоды своего «пост-», — я предпочитаю уже высказанное кем-то дежурное название «неореализм».)

* * *

На стыке столетий мифологемы времени-вечности оказались основными не только для отечественной прозы — вспомним хотя бы Милорада Павича, сербского писателя, чьи книги были органично восприняты современным российским читателем в качестве «своих» (настолько, что «свой» Павич занял

прочное место в массовом литературном русском Интернете, а, по определению, «свой» москвич Дмитриев там отсутствует). Проза Павича — высокого, очищенного качества (в традиционной критике называется — типическая), но что еще важно — она поразительно перекликается с текстами российских прозаиков, и это еще раз подтверждает наличие некоего общекультурного контекста 90-х.

«Если мы поймем, что вечность снисходит как Божье благословение, как один из видов света, который не стареет (так считали византийские монахи), а время проистекает от Сатаны, находящегося слева от храма, то нам станет ясно, что в определенном месте должно быть «золотое сечение» вечности и времени», — читаем у Павича. Графическое изображение взаимоотношений вечности и времени предстает как крест: «в том месте креста, где пересекаются время и вечность, время на миг останавливается для того, чтобы вечность благословила его, и этот миг представляет собой настоящее». Не скрывая от читателей, что герой его повести «Внутренняя сторона ветра» Леандр некогда принадлежал религиозному течению богомилов, а именно — патаренов Боснии, ереси христиан восточного обряда (манихейцы, альбигойцы, исмаилиты и пр. — ереси того же толка в Европе и Азии), Павич выстраивает мирокосм, где сохраняет богомильско-манихейскую оппозицию мира духовного, благостного (постмодерного мира «становящейся души») и мира материального, Сатаной созданного и управляемого. Поразительно, насколько совпадает это с ощущениями героев Андрея Дмитриева: «Все сущее стремится к предельному выражению, к совершенству, — замечает Трутко, герой повести «Воскобойников и Елизавета». — Поскольку земная жизнь — это примитивный ад, поскольку душа человека — ад в миниатюре, то вполне естественно стремление всего сущего на земле и прежде всего самого человека к подлинному, совершенному Аду. Человек жаждет Ада изо всех сил». Казалось бы, типичное высказывание антисистемника-богомила.

Каким же все-таки образом взаимодействуют здесь время и вечность? Оконная крестовина — то же пересечение вечности и времени: вечность представлена «центральной вертикальной планкой оконной рамы, а время — горизонтальной», оконный запор олицетворял тайну, «или ключ жизни», «в этой части вселенной время научилось останавливаться... Жизнь возможна только в таком времени, которое на мгновенье остановилось». Эта конструкция принципиальна для Павича. Замечу, что такая же точка — «неподвижная не относительно чего-то другого, а неподвижная абсолютно», на первый взгляд, намечается и у Виктора Пелевина в романе «Чапаев и Пустота».

Словно вослед павичевскому Леандру, герой Пелевина говорит о «единственно реальном мгновении времени» — «это «сейчас», о некоей «двери в вечность». Присутствует и заданная Павичем ось координат. Только в случае Пелевина это не оконная рама, но — гора и река: внизу, «на дне... котловин... они варятся в огромных адских котлах на огне, который, как говорят, бушует в центре Земли», потом герои поднимаются на широкое плоскогорье с цепью холмов, выступами гор, и все это пространство покрыто травой и цветами. «Это было настолько красиво, что на несколько минут я забыл и о словах Чапаева, и обо всем на свете», — признается герой Пелевина, лириком которого не ос-

мелишься назвать. Или еще один простенький образ — непроветренная комната, все сидят на уродливых табуретах и расшатанных стульях, норовят при этом занять сразу два, но «одновременно у каждого из этих людей есть свой собственный трон... поистине царский» — трон «становящейся души». Трон и табурет — иерархия верха-низа. Причем пространственные характеристики существенны именно для «ставшего» мира, мира материального, для мира «становящейся души» определяющими являются понятия времени, вечности. Неслучайно потому столь устойчив для постмодерна вообще и для прозы Пелевина, в частности, образ текущей реки. Автор подчеркивает, что его Урал — это «светящийся всеми цветами радуги поток», «именно река, *поток*» — важно в этой *реке «заметное течение»*, движение, ритм. Урал — *«условная река абсолютной любви»* — именно «вечность», божественность, благость, в которую и погружаются герои романа, отторгнув реальный, материальный мир. И это пересечение российского «буддиста» Пелевина с богомильской ересью X века — тоже закономерно, ибо восточные источники были там намешаны густо.

Река и гора — образы, опорные и для Павича с Дмитриевым. Вот как пишет об этом Павич: «Есть такое явление, которое можно было бы назвать водописью рек. У каждой реки как бы свой почерк: реки выписывают отдельные буквы и оставляют сообщения, которые видны только птицам, поднимающимся на большую высоту». Река постоянно сопровождает Леандра, героя романа «Внутренняя сторона ветра», — в лодке он плывет с любимой, главную свою башню он строит у реки, в монастырь приплывает по реке — все основные события его жизни связаны с рекой. Даже и отец Леандра «возит мертвых в лодках». Эта туманная фраза о роде отцовских занятий вызывает единственную ассоциацию — возчик-Харон. Что вполне укладывается к намеченную Павичем ось координат: горизонталь — это время, а не вечность, и Харон перевозит мертвых по реке времени — в вечность. Поэтому и водопись — запись времени — можно различить лишь с «большой высоты», высоты вечности (вспомним и основной миф богомилов, в котором Сатанаил — падший ангел — сидит грустно у воды, почему пожалевший его Господь и разрешает ему создать земную твердь и человека. Сатанаил долго пытается вложить дыхание в созданного им человека, но дыхание уходит — оно превращается в жидкость, в воду. Над душой человека приходится работать Небесному Отцу. Вспомним и древние мифы гностиков, где путь умершего в иное царство лежал через воду).

Тот же образ реки-времени можно найти и у Андрея Дмитриева. Юный герой повести «Поворот реки» так же, как и строитель Леандр, «читает течение реки, он уже изучил его почерк, повадки потоков, окрашенных каждый в свой цвет и неслиянных». И опять — цвет-свет, и почерк-водопись, и даже — гора, ибо мальчик сидит на выступе горы и сверху читает водопись реки, уходящей в бесконечность. Та же павичевская ось координат, принципиальная для всех основных текстов Дмитриева: герои «Закрытой книги», постоянно окруженные рекой; Иона, мечтающий поплыть по реке (даже имя у героя — водное. Оно вообще должно нас увести к древним мифам о проглоченном водным монстром — прошедшим через него — и заново «рожденным» от змия героем); Серафим, погибающий на барже на реке (обратите внимание и на его имя!), В.В., погрузившийся в жизнь саамского первобытного озера...

Столь же важной оказывается и мифологема горы — ось вертикальная, попирающая временную ось реки, ось вечности: «На середине реки они остановились, разом обернулись и увидели гору... Гора вставала надо льдом; подобно мертвому, остывшему солнцу, из-за темного облака выглядывал ржавый купол собора» — именно собора, приметы высшего, абсолютного, вечного. Максимально свободным ощущает себя герой романа, стоя на верхней палубе корабля; гора — один из основных образов повести «Поворот реки», вверх, в небо, стремятся герои «Воскобойникова»... Так и герой «Закрытой книги», покидая первобытное озеро саамов, это время «до», шагает по пологому склону горы: «на вершине остановился и увидел... На огромном, в полнеба, облаке, опершись широко расставленными ногами в его обширное основание, заложив руки за спину и касаясь головой его... верхушки, стоял человек, вернее, силуэт человека, плывущего на облаке... словно облако было белым парусным кораблем». Строгая очерченность осей принципиальна для художественного мира Дмитриева. Противопоставленность вечности и времени, их противоборство специально подчеркивается автором: гора здесь не волшебная гора «альпийских сливок» и «игр в бисер» — это столп Истины, символ Вечности. И время (создание Сатаны, по Павичу) ее потенциальный противник: «Снеткову начало мерещиться, будто и гора неустойчива, будто воды реки подмыли известняк в ее основании... Это было недугом: ... гора лопается». Но поскольку на горе в мире реальном — детский противотуберкулезный санаторий, то крушение горы связывается в кошмарах героя с апокалиптическими картинами гибели детей...

Однако присмотримся к этому настойчивому совпадению осей координат. У Пелевина, помятуя о его буддистских пристрастиях, оси можно вывести, скажем, и из буддизма: Будда, как известно, тоже сначала поднимался на гору, а потом спускался с нее к народу. Однако именно в случае Пелевина поиск «истоков» вообще оказывается неплодотворным: традиционная крестовина верха-низа существенна для него лишь в качестве *разрушаемого знака трансцендентности* традиционной культуры. «Радужный поток» пелевинского Урала — именно «условная река», *условная* вечность, ибо всё, и она также, есть некая субъективная виртуальная реальность, плод работы до-сознания, порождение игры «становящейся души». «...Ты и есть абсолютно все, что только может быть», — подбадривает Чапаев Петьку, — «на самом деле нет ни формы, ни нас, ни даже Урала», — только Пустота (и герой носит это имя), Ничто, до-сознание. «Все на свете — просто водоворот мыслей, и мир вокруг нас делается реальным только потому, что ты становишься этим водоворотом сам», и нету «никакой души», а человеческое «я» — «отблеск лампы на этой бутылке» (напомню здесь о мамлеевском Семене Ильиче). Говоря словами Дерриды, «надлежало прийти к мысли, что центра просто нет, что центр не может быть помыслен в форме некоего присутствующего сущего... он является не определенным местом, а функцией... в которой до бесконечности разыгрываются подстановки знаков».

Это «отсутствие трансцендентного» и характеризует в действительности постмодернистскую прозу пелевинского типа. Ж. Бодрийяр определяет состояние героев à la Чапаев и Пустота как «...острое метафизическое обольщение пропавшей реальности». Поразительно, но философ предполагает здесь непременное излучение некоего темного света — как раз и ослепляющего перио-

дически героев Пелевина: «вся эта темнота и пустота вокруг вас — на самом деле самый яркий свет». Бодрийяр (конечно же, независимо от Петьки, Чапаева, Пелевина и даже Мамлеева) замечает: «У этого таинственного света нет источника, в косом падении его лучей уже нет ничего реального, он как водная гладь без глубины, вода застойная и на ощупь мягкая, как естественная смерть... быть может, их напрямую озаряет сама смерть, и тень их только этот смысл и имеет... прозрачность вещей в лучах черного солнца». (И опять — мамлеевское абсорбирующее зеркало.) Во всем «чувствуется близость этих объектов черной дыре, откуда течет к нам реальность, реальный мир, обычное время». Тут и Черный барон, и Пустота, и Урал — все образы Пелевина. Вернее, не образы, но — аллегории, застывшие ритуальные позы, принимаемые героями в их совместной игре. Бодрийяр совершенно оправдано утверждает, что в игровой эстетике постмодерна точнее говорить не об образной системе, но — аллегорической. «Создатель обманки не имеет в виду совпадение образа с реальностью», «имитируя третье измерение, он ставит под сомнение реальность этого третьего измерения». «Ритуальный гипнотизм пустоты».

Но «у теней обманки нет глубины, сообщаемой каким-либо *реальным* источником освещения: они служат знаком легкого головокружения — умопомрачения *предшествующей* жизни, *предваряющей* реальность видимости». Не случайно Бодрийяр подчеркивает и пространственные изменения в подстмодернистском тексте — здесь на самом деле нет «никакой горизонтальности», а точнее, есть разрушение всех пространственных измерений. Ось координат по определению невозможна в пелевинском тексте, ее намеченный пунктир — это деструктируемый знак традиционного художественного текста и традиционного *системного* мышления. В пелевинском тексте невозможно соблюсти структуру, образную систему, да и языковую внятность — ибо в утверждаемом автором досознательном мире «становящейся души» не может быть логических построений и ясных определений — «это мир «диктатуры воли», и в своем волюнтаризме он опирается на застывшие аллегорические позы; он полон реверсии и обмана разрушенных знаков прежних культур; это вполне мир бодрийяровского Соблазна. Правда, в отличие от бодрийяровского мифа о Соблазне, Пелевин не дотягивает свой текст до кондиции мифа. Вспомним, как настаивал Лосев на том, что миф — это именно «*реально,* вещественно и чувственно творимая *действительность*», пусть и отрешенная от обычного хода явлений, но «содержащая разную степень *иерархийности*». Миф обладает яркостью выраженного. Это — не ничто, но — нечто: некое *символическое пространство.* Пелевин же ограничивается игрой с популярными мифологемами. Критический, разрушительный механизм у него действительно разработан, что не может подменить символический механизм мифа. Остается и парадокс творчества: обращаясь к мифологеме вечности-времени, автор останавливается на деконструкции социальных стереотипов, внешнего слоя мифа.

* * *

Что же происходит с осью времени-вечности у Павича, признанного мастера «мистического конструктивизма» (Эпштейн)? Древнее манихейское видение мира как бесконечного противостояния двух начал — добра и зла —

оказывается *принципиально* важным для него в качестве фундаментально-интуитивного понимания жизни; архаический культ оказывается значим именно в качестве *культа* — т.е. некоего интуитивного, обрядового, ритуального, досознательного действа.

Итак, время создано Сатаной; это некий движущийся горизонтальный поток (потому так важны для героя Павича — Леандра — понятия ритма, движения, бега, скорости); в точке пересечения с вечностью время останавливается и порождает жизнь. Но что есть вечность? В ответе на этот вопрос важно соблюсти авторский ход размышлений: «мы находимся здесь, потому что в этой части вселенной время останавливается и тем самым делает возможной нашу жизнь». Значит, делает свой вывод автор, вне этой точки — не жизнь, т.е. — *смерть*: «время течет сквозь смерть и останавливается в жизни». Если жизнь возможна лишь в единственный момент пересечения времени и вечности, то вне его — вечность смерти.

Я уже говорила, что для апокалиптического мироощущения эпохи постмодерна мифологема смерти является одной из основополагающих. Скажем, тот же Дмитриев дает яркую аллегорию смерти: созданный его героем музей природоведения на острове Качай — «проклятый остров, что стоит на середине быстрой реки» (вот и опять — река, а посреди острова — гладкая, серая скала). «Внутри скалы под обманным, мертвым светом сияющими небесами и в толще вод, не утоляющих жажды, застыли, застигнутые страшной карой в одно мгновенье, на лету, не бегу, во сне, на плаву» чучела мертвых животных. И рассказчик, от имени которого ведется повествование, признается: пишу, пока время не убило меня. Кстати, смерть и ведет с человеком главную игру-обольщение. Может быть, стоит вспомнить здесь и Хайдеггера: «Собственное бытие к смерти, т.е. конечность временности, есть потаенная основа историчности присутствия». Словом, откровенно заявляется мифологема человеческой жизни как *бытия-к-смерти*. Жизнь возможна лишь в точке пересечения времени и вечности, то есть в мгновение, когда время остановилось. Это и есть — настоящее человека, за пределами его, «в прошлом и будущем времени, жизни нет, ее никогда не было и никогда не будет», — замечает герой Павича. Жизнь и по Дмитриеву возможна лишь в точке пересечения вечности и времени, в настоящем. Что, кстати, объясняет и утверждение о «непроницаемости культур» прошлого: вернувшийся из заветной Италии Серафим признается невестке, что тот, ушедший «мир был слишком мал, слишком... хрупок... Они чувствовали: новая истина — эти новые небеса — была бы слишком для него тяжела... Он рухнул... От него остались одни скорлупки... Внутри нет ничего... Там пусто — одно лишь эхо голосов».

Павичу удается выстроить целую систему иммортальности души — через знак смерти (кстати, вспомним здесь противное: для Пелевина, как цитировалось, *«души нет»)*. «Время приходит из смерти» — в том смысле, что не будь вечности (смерти), время окажется бесплодным, оно исчезнет, исчезнет и жизнь. Иными словами — *смерть плодотворна*. Более того — смерть человеку может подарить лишь один Бог (Он и есть — Вечность, Истина. Герой Павича так и замечает: жизнь отнять может лишь Бог). «Смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания», — повторит, словно вслед за Павичем, Дмитриев. Назидание, получаемое — от кого? — естественно, от Него.

Здесь возникают сразу две мифологемы. Во-первых, мифологема цикла (недаром исследователи подчеркивают свойственный ему чисто языческий перенос морфологизирующей физиогномики — метода созерцания живой природы — на жизнь культуры, при котором кругооборот времен года проецируется на культуру, включая трактовку человеческого существование как циклического). Движение человека к вечности есть движение по кругу (он, как и время, вышел из небытия, из смерти, в нее и вернется). И глядя на икону Богородицы-Млекопитательницы (рядом на изображении стоит Иоанн Креститель, поддерживающий падающую с пятки Иисуса сандалию), Леандр понимает: «замкнулся круг, непрерывная линия, соединявшая человека, его руку, пятку ребенка, грудь женщины и ее взгляд, обращенный к человеку». И все это движение на иконе замыкается в букву θ? — именно тот круг, что начертали на земле выстроенные Леандром Богородичные храмы — если смотреть на них сверху. Именно та буква, с которой начинается имя Богородицы в греческом: θεογονοσ — θεομητηρ. (Рискну провести здесь и еще одну параллель — с языческим мифом о Маре-Марене, в более поздних славянских легендах — Мара-Мария; Мара — «он» в буддистском мифе — воплощенное зло, древний архетип смерти; в славянских мифах Мара — женщина, душа, доля, источник-конец бытия, мифологема смерти-рождения). Однако, замечу, что именно в этом гимне θεογονοσ Павич отрекается от богомильской ереси, не признававшей культа Богородицы, сделавшей ее просто женщиной, однажды соприкоснувшейся с Богом. Круг, очерченный его героем, — это круг православного созидания, «живой жизни», а не круг богомильской аскезы, разрушения жизни. Здесь Павич возвращается в каноническое православие, не принимая самоубийства предков-патаренов. Словно вторя Павичу, Дмитриев дает прекрасный образ реки, состоящей из серебряно-матовых потоков, которые вливаются в моря, в океаны и, обогнув землю, «возвращаются к горе такими же, какими были прежде» — знакомый круговорот, из смерти — в смерть, в вечность.

Аллегория реки-смерти подтверждается у обоих авторов и общим сравнением реки со змеей. У Дмитриева речные потоки, обтекая планету непрерывно, «охватывают ее подобно ужам, вцепившимся в собственные хвосты», а ужовое «черное тело *течет* меж ветвей». Позволю себе несколько расширить трактовку: по Проппу, именно водяной змей (дракон, Кербер) охранял дорогу в царство мертвых — водную, как помним, дорогу. Мифологема змеи напрямую связана и с рождением — миф о проглоченных-извергнутых змеем (в русских славянских мифах часто — рыбой. Предок Ионы — имя героя Дмитриева — проглочен именно таким монстром-рыбой. Но извергнутые из змея — начала материального (чрево) — рождались таким образом во второй раз — героями. Здесь чувствуется некоторая ирония Дмитриева: его Иона — «новый русский» герой. Но образ змеи как неразрывного начала жизни-смерти, вполне символически-мифологического, несомненно присутствует в тексте. Дмитриевский же остров-музей в данном контексте вполне ложится на славянскую мифологию о змеином острове, острове Буяне — языческом символе иного пространства, рожденного Черным соколом — жизнь-смерть, — все это вносит дополнительные напластования на текст). Эти же ужи — реальные обитатели горы, на которой стоит детский санаторий, таким образом, смерть пронизывает все

пространство повести. Или, цитируя Павича: смерть — «это единственное, что под сводом небесным может, *как змея,* передвигаться и вверх и вниз по древу нашего происхождения». Но змея — один из устойчивых образов традиционного язычества, знак, заимствованный христианством, — змей-искуситель, обольститель-дьявол. Так возникает дополнительный импульс развития мифологемы смерти и постмодерного состояния соблазна. Здесь идет сложное и тонкое развитие взаимоотношений вечности и времени: река (время, низ) — змея — гора (вечность, верх). Змея — волнообразна, река — змееподобна, время и вечность выступают в неразрывном единстве. Таким образом, жизнь и смерть оказываются нераздельны. И вся эта сложная аллегорическая конструкция помещается в мифологему смерти как бессмертия, *блага.*

Но есть и второй момент: страх смерти, точнее — жизнь как преодоление страха смерти. Этому страху подвержены все герои Павича: Леандр, бегущий от напророченного убийцы, Гера, уже рожденная «со старой душой», народ, спасающийся от турецких разбойных набегов... От страха смерти бежит и герой «Воскобойникова и Елизаветы» Дмитриева — отец Елизаветы, страхом смерти-вечности захвачен и Серафим из «Закрытой Книги». О соблазне, совращении страхом смерти пишут и Павич, и Дмитриев. «Стремимся мы приблизиться к источнику страха, дабы усугубить страх», — пишет Дмитриев. Страх перед вечностью, перед ее тайной небытия. Именно этой тайны и боится Серафим — тайны ускользающей истины, центра, знака. Страх-соблазнитель действен потому, что в обольщении идет тонкая игра подмены знаков. «Мы обольщаем своей смертью, своей уязвимостью, заполняющей нас пустотой», — заметит Бодрийяр. Но противостоя ему, русский учитель Леандра заставляет героя выучить латинский афоризм: «иди и освободи меня от этого страха: если он истинный, пусть меня не мучит, если ложный, пусть я наконец перестану бояться». Если страх — от подмены, от пустоты, — то бояться просто нечего; если страх Божий — то им нельзя мучиться, ибо он есть благо. Ибо смерть есть вечность, а не бодрийяровский соблазн; не есть пустота, возражает Павич, но — подлинность, *благость высшего мира.*

Потому и отец Елизаветы у Дмитриева, избавившись от страха смерти, вернувшись в дом, говорит: «смерти не нужно бояться — она нам не враг, она нам сладкий сон после трудного дня. К ней нужно готовиться, как мы готовимся ко сну». И заканчивает: «спешить больше некуда», бег, скорость, ритм — не актуальны в контексте вечности (здесь разъясняется туманное павичевское замечание о лености и неподвижности Леандра как форме скрытой скорости). Таким образом, преодоление страха смерти есть путь «становящейся души» героев Павича и Дмитриева. Которая обретает бессмертие не уничтожением смерти (как это делает революционный народ в «Закрытой Книге» — ошибка, приводящая, по убеждению В.В., к провалу), а вбиранием смерти в себя как дарованной Господом, как атрибута вечного, духовного, а не материального мира. И такое желанное принятие смерти как вечности порождает совершенно особую мифологему памяти у обоих авторов.

«Твоя смерть может жить вдвое дольше, чем ты», — замечает один из героев Павича. Так становится возможным переселение бессмертной души — ибо она одна может развиваться после смерти человека. Таким образом, переселе-

ние бессмертной души не есть переселение жизни, но есть перенесение смертей. Павич парадоксально замечает об этом: в тебе «реинкарнирует и воплощается чья-то смерть». Отсюда память человека первоначально не может быть личной, опытной, она есть вбирание чужой, даже и усопшей души и разгадывание ее; и по мере того, как человек наполняется собственным пережитым, он стареет — т.е. приближается к концу жизни. Память — «своего рода кладовка», у нее нет «потребности истолковывать то, что хранит», она досознательна, дорефлекторна, она — атрибут вечности-смерти. В том — ее подлинность. Такая душа-память вселяется в фон Витковича, так душа-смерть Леандра отлетает от героя и перемещается в Геру, чтобы она умерла смертью Леандра.

Схоже и отношение Дмитриева к памяти. «Воспоминания моего детства... на две трети чужие воспоминания о моем детстве и о времени моего детства, присвоенные моей памятью и моим воображением. В юности я только и делал, что присваивал, приспосабливал к своим собственным, переживал как свои и пересказывал эти, да и любые другие чужие воспоминания. Когда количество сугубо моих воспоминаний в моей крови станет преобладающим, с нею что-то кислое произойдет, и я состарюсь», — замечает герой «Закрытой Книги», словно повторяя признания Леандра о памяти до-сознания, о кладовой. Надо сказать, что подобная мифологема памяти сродни иной мифологеме, присущей постмодерну: мира-текста. Кладовая Павича—Дмитриева слишком напоминает эту «мировую книгу».

* * *

Но как же быть с богомильско-манихейской дилеммой материального и духовного? Суть процесса мифотворчества в постмодерне — реверсия знака традиционной культуры в символическом мире неомифа. В нем не бывает абстрактной бинарности — миф «пытается разглядеть радикальную *неопределенность* жизни и смерти и невозможность их обособить в символическом порядке», — заметит Бодрийяр. Бинарность манихейского мирокосма в принципе невозможна в символическом мирокосме Павича. Но сам богомильский миф важен Павичу именно как культ, действо его мифологем — как соблюдаемый ритуал. Отторгаемый богомилами материальный мир настолько задевал их, что они в конкретной своей истории, если не принимали самоубийства от аскезы, то вступали в политическую борьбу с теми, кого считали приверженцами сатанинского мира (включая и православную Византию). Так вот, по Павичу обращение с богомильским заветом как с культовым приводит к тому, что догма отрицания мира Сатанаила порождает суперсубъективность мирокосма (и собственно павичевского текста). Где смерть сочленяется с жизнью, является ее апогеем, *послежитием*.

Потому предмет истинных интересов Павича — мир мифа: мир становящейся души, дорефлекторный, одинокая мятущаяся душа — и переселение душ, принадлежащих вечности-смерти. Сверхсубъективный, ритуальный символический мир-миф героев Павича, где человек должен преодолеть соблазн страха смерти, чтобы подняться к тайне вечности, к тайне послежизни. Да, человек вообще — строитель особый, кому для работы дается «необыкновенный мрамор: часы, дни и годы». Так и сказано в романе — «строители времени». Одна-

ко, обнажая центр архаического манихейского мифа: Бог, Вечность, Истина досознательная, Павич полемизирует с этим мифом. Центр его мифа находится *в* и *во вне* первоначальной богомильской структуры мирокосма. (Собственно говоря, здесь, в художественном тексте, Павич иллюстрирует замечание Дерриды о центре как «не центре»: с одной стороны, центр включен в систему и вокруг него система организуется (богомильский верх-низ), с другой, центр находится *еще и вне системы*, он — *больше системы* (истинный верх), иначе он не был бы подлинным центром.)

Постмодернистский принцип непроницаемости культур толкает Павича не к аннигиляции традиционного знака, как в случае социального постмодернизма Пелевина, скорее бросающего вызов миру, чем выстраивающего собственную мифологию. Здесь речь должна идти о *вбирании знака отошедшей культуры в собственный концептуальный миф о космосе*. И даже если говорить о неизбежной при этом деконструкции знака, то следует подчеркнуть, что она имеет парадоксально созидательный характер: знак не разрушается, не девальвируется, он берется целиком, сохраняет привнесенную в него некогда тайну истинного, и с этой тайной он начинает функционировать уже в новом контексте. Соблазняя уже своей мифологической тайной — и опять не раскрывая ее. Возражая аскезе патаренов, отдаваясь живой жизни, Павич хранит их миф.

И уж совсем далек оказывается от богомильского мифа Дмитриев. Здесь важно вернуться в начало, в момент творения — в точку пересечения времени и вечности. И тогда мы увидим: если для павичевских героев мир и человека сотворил по Божьей милости к нему Сатанаил — будущий Сатана, то мир и человека в мифе Дмитриева сотворил Господь, как оно и утверждается ортодоксальным христианством, — просто «в настоящее время Он отсутствует». Для героя Дмитриева Бог не умер, Бог — не ничто (как для Пелевина). Он — есть, просто обиделся на человека за его непослушание и грехи, разочаровался в нем и пошел искать иное подходящее место для нового творения (вспомним сцену в планетарии — согрешившие новые Адам и Ева, а наверху, под звездным небом — Серафим). «Он все еще идет, Он, может, в самом начале дороги: бредет по Млечному Пути в поисках подходящей звезды или галактики, в мечтах об иной... чистой и спокойной вселенной».

Таким образом, отрицание мира героем Дмитриева, в общем-то, базируется на признании факта падения, совращения и даже жизни в бодрийяровском соблазне. Но выстраивая текст в мифологемах постмодерна, отдавая должное его эстетике, Дмитриев неожиданно привносит в постмодерн традицию *христианской метафизики*, включая традиционную этику. И тем самым невольно диссонирует с символикой постмодерна. Этот миф выстраивается с указанием твердого *традиционного* Центра — чего лишены заигрывания с мифом в прозе пелевинского типа или его деконструкция в мамлеевских «страшилках». Да и Павичу тяжело удержаться от соблазна сыграть «на внутренней стороне ветра», его завораживает эта закрытая от познания и рефлексии тайна мифа богомилов, мир мифа и мифостроителей, поднявшихся на высоту символа.

Дмитриев же отказывается и от обреченных попыток разгадать непроницаемую тайну Центра, и от ритуального заигрывания с этой тайной; принимая тайну как непреложность, как закрытую книгу, он принимает ее как *ре-*

альную книгу и тем самым творит мифологию времени-вечности под знаком истинности Книги. Это, безусловно, мифостроительство, со всей свойственной ему символикой, но дмитриевские мифологемы проверяются контекстом традиционного мифа христианства. Вот почему у его героя и появляется возможность возвращения к Центру — как была дана возможность возвращения блудному сыну. Не случайно этот библейский образ повторяется Дмитриевым. «Мальчик шагает с горы, летит над рекой», «бежит по воде к повороту... все ближе, все светлее и ярче вода», он бежит по воде, как некогда Иисус, и все те же рыбаки в лодке на реке — или их наследники, в этом нет разницы, память наследуется, — бежит «на голос, туда, где нет никого, где сливается небо с водой: он узнал этот голос, это отец зовет его к себе». И это — спасение человека, восстановление в нем памяти о замысле Божьем. Освобождение от страха смерти. И возвращение *реальности воплощения*. Здесь Серафим спасет язычника Иону.

Именно приятие традиционного мифа русской классической «непроницаемой культуры», ее тайны, и позволяет сохранить ортодоксальную полноту материального мира как Божьего творения. В том числе — сохранить и власть Слова. Слова значимого, *понятийного,* образного — отражения реальности. Что идет вразрез с постмодернизмом, опирающимся не на слово, но на речь, не на образ, но на аллегорию как выразительную основу (как, скажем, истолковывает это Московская концептуальная школа: «Речевая культура — культура, в которой план выражения и план содержания принципиально разорваны»). Отсюда способность Дмитриева породить точную образную систему времени-вечности, тем самым — сохранить реальность в художественном пространстве, убедительность того самого, «третьего измерения». Именно потому служебный термин, некогда произнесенный кем-то из российских критиков, — «неореализм» (или — новый реализм, как угодно) — кажется мне работающим для этого типа прозы. Тем паче, что приставка нео- для нашего неоязыческого времени и неомифа вечности вполне функциональна.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБИНУ, ИЛИ ПЛАМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ

> Он знал, что́ он имеет такого настоящего, чего нет у современных художников. Это была сама первоматерия всякого искусства — доброжелательность, приветствие неизвестно откуда, которое и составляет атомы этой не вполне вещественной материи.
>
> *Ольга Седакова*

Чем запомнился первый год нового тысячелетия? Всему человечеству — прежде всего террористической атакой в США, ознаменовавшей, что мир, давно разминувшийся и со звездным небом над нами, и с нравственным законом внутри нас, надолго останется (если вообще о с т а н е т с я) в этом состоянии.

Но хотя бы тысяче человек запомнился этот год и одним культурным событием — выходом двухтомника поэзии и прозы Ольги Седаковой (М., «Эн Эф Кью/ Ту Принт», 2001). Тысяча экземпляров... Жалкий тираж этого издания напоминает о микроскопическом спросе на книги, которые средствами, присущими стихам и эссеистической прозе, воюют против бесстыдства, внутренней опустошенности и вселенской злости, лелеемых слепыми поводырями слепого мира. Ах, если б каким-нибудь чудесным образом такие книги могли пробить броню невежества, недомыслия и развращенности, надежно предохраняющую человеков от подлинной духовности!

Итак, двухтомник Ольги Седаковой. Сперва хочу дать представление о размерах этого довольно внушительного сооружения: в томе поэзии — около шестисот страниц, свыше трехсот оригинальных стихотворений и семидесяти переводных; в томе прозы — немногим менее тысячи страниц, сорок восемь аналитических статей, мемуарных очерков, литературных портретов и интервью. Впечатляющие цифры!

Михаил КОПЕЛИОВИЧ — родился в 1937 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт, работал по специальности. С 1990 г. живет в Израиле. Как литературный критик и публицист выступает с 1960-х гг. Печатался в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир» (до 1991 г. под псевдонимом М.Санин), в «Континенте», израильской журнально-газетной периодике.

Поскольку далее речь пойдет только о прозе[1], замечу, что в соответствующем томе собраны сочинения, созданные на протяжении двадцати лет (1979 — 1998). Я называю эту прозу «пламенной филологией» потому, что ее отличает поистине пламенная любовь к слову — любовь, питаемая той внутренней пламенностью души, которая, собственно, даже предшествует всякому призванию и толкает на поиски его. О характере и степени экзистенциальной напряженности этой любви можно судить и по некоторым собственным высказываниям Седаковой, — например, по такому вот, из эссе об Аверинцеве («Рассуждение о методе», 1997): «О, вряд ли кто теперь поймет, что значило тогда (в 70-е годы — *М.К.*) помнить некоторые слова. Это значило жить в качестве человеческого существа, то есть просто жить. Мучительное выбирание из бессловесности, из непростой умственной тьмы, в одиночку и вопреки всему, оставляло свои следы на обретенном слове».

Об этом, о любви к слову, и о том, как эта любовь сказалась на самóм любящем, — вся проза Седаковой. Ну, если не вся, то, по крайней мере, значительная часть.

Я далек от претензии прокомментировать в с е «темы и вариации» седаковской прозы. В ее сорока восьми текстах множество размышлений по самым разным поводам, и это действительно работа *мысли*, а не простые упражнения пера. И потому, хотя по видимости я вхожу тут в противоречие с самим собой, начну свой разбор с указания на в высшей степени д е л о в о й (при всей его пламенности) характер этой прозы. Вот, к примеру:

«На старом добром структуралистском жаргоне, наша гуманитарная элита[2] в советском обществе исполняла культурную функцию дворянства — как понимал эту функцию Пушкин (далее — цитата из пушкинских «Заметок о русском дворянстве» — *М.К.*)». («Путешествие в Тарту и обратно», 1998).

Замечу в скобках: может, сегодня эта аналогия кому-то и покажется натянутой, придуманной ради красного словца. Да и те, кто в силу жизненных обстоятельств, профессиональной удаленности или просто возраста не был знаком с трудами наших лучших теоретиков и историков литературы, могут с недоверием отнестись к подобного рода снобистским с виду утверждениям. Я же со своей стороны готов засвидетельствовать, какой сенсацией была, например, статья Аверинцева о Вячеславе Иванове, опубликованная в «Вопросах литературы» где-то в начале 70-х. Не потому, что после многих лет замалчивания во весь голос было сказано о значительном поэте, а по тому, какими с л о в а м и это было сказано. На читателей повеяло давно забытым духом высокой учености; не говоря уж о том, что пленял уже и сам уход от затверженных идеологических схем.

... Итак, отстаивание каких ценностей является культурной функцией дворянства? Независимости, храбрости, благородства (чести вообще). Что ж, это

---

[1] Мне приходилось писать и о поэзии О.Седаковой (см. «Знамя», 1996, № 8).

[2] Само собой разумеется, автор имеет в виду не тех рабов и льстецов, что за свою верность режиму были «назначены» нашей гуманитарной элитой, а таких людей, как покойный Ю.М.Лотман, которому посвящены эти заметки Седаковой, и ныне здравствующий С.С.Аверинцев, герой уже цитировавшегося «Рассуждения о методе».

недурной выбор, и во всякое время (а в наше куда больше, чем в пушкинское) его пытается умалить, а то и вовсе упразднить деспотическая власть.

С только что умершим Юрием Михайловичем Лотманом, как отмечает Седакова страницей раньше, шли прощаться «служители свободных искусств, единого прекрасного жрецы. Этого в России не было: в России все, не только ученые и поэты, но и монахи-затворники, служили России. И вот что удивительно: страна, которой все ее жители так самозабвенно служат, отложив прочее на потом... находя в этом свое первое и священное призвание, должна была бы стать самой счастливой, самой ухоженной страной в мире! И что же: там, где философ занят истиной, а не Германией, или живописец — светотеневыми эффектами, а не Францией, и никто не клянется, что и себя, и дар свой, и деток — как в сказке «Тараканище» — принесет в жертву Родине, там и страна получается покрепче и поопрятнее... Господа! друзья! Вы не заметили? что-то не так вышло у нас с этим служением...»

Но я не о политике, я о филологии. Эпиграф к этим заметкам взят мною из очерка «Учитель музыки» (1982 — 1989), посвященного памяти Владимира Ивановича Хвостина, который и впрямь учил автора музыке (книга стихов «Тристан и Изольда» (1978 — 1982) также посвящена его памяти). Но не только музыке, и в этом все дело. Он еще учил таким вещам, как «неизбежное будущее», которое «превосходит всяческое ожидание», и «способности отличить настоящее» (т.е. подлинное). И (переворачивая изречение «Но и любовь — мелодия») — тому, что мелодия — любовь. И — тому, наконец, что простая светскость, учтивость, воспитанность суть вещи чрезвычайно важные, возвышающие homo sapience над скотом. И еще он учил вот чему: форма (или, что то же, строй) есть та «почва, которая неизмеримо больше любой произрастающей на ней боли, любого леса скорби, выросшего на ней». Этот урок многое дал ученице. Простая (!) мысль, выраженная в мандельштамовской строке «И море, и Гомер — все движется любовью», все еще не воспринята нами, но... «Если бы отзвук этой простой мысли не коснулся хоть края сознания «обыкновенного человека», вероятно, мы увидели бы еще не такие причины для пресловутого «визга». То, что называется искусством, в самом деле выращивает в человеке такое растение, происхождения и природы которого обычно не помнят. И не надо».

Вот тебе и на! Как это не надо?!

Но не будем спешить с приговором. Это в авторе пламенность играет. На самом деле весь пафос седаковской филологии — в попытке открыть великую тайну воздействия искусства — у́же: поэзии — на «обыкновенного человека». (И учтите: обыкновенный — здесь вовсе не синоним так называемого «простого»; скорее даже антоним).

Седакова начинает свою «песнь о поэзии»[3] с двух довольно парадоксальных заявлений:

1. «В поэзии я люблю роковое», причем «роковыми мне кажутся вполне воплощенные стихи» («Заметки и воспоминания о разных стихотворениях, а также Похвала поэзии»», 1982).

[3] Говоря так (может быть, и несколько вычурно), я имею в виду не суть ее рассуждений, а только их эмоциональную окраску (все ту же пламенность). Суть-то в высшей степени трезвая и деловая!

2. «Лирика <...> в сущности своей геройна» (там же).

На первый взгляд, и то и другое — голые фразы с претензией на многозначительность. Но только на первый. Ведь «роковое» — это и страшное, и катастрофическое, но и совершающееся по воле р о к а , категории трансцендентной и, как четко формулирует словарь, обуславливающей опыт, а не приобретенной из опыта. Следовательно, речь идет о том, что «роковая поэзия», во-первых, «бесконечно зависима и почти исчерпывается своей зависимостью от чего? От расположения звезд, от состояния печени, от подземного гула?» («состояние печени» — в конце концов столь же непостижимая для обладателя этой самой печени вещь, как и расположение не принадлежащих ей звезд!); во-вторых, она преображает все, чего ни коснется; и в-третьих, может — и это правильно! — в самом деле подействовать на «потребителя» каким-то катастрофическим образом. Седакова признается, что от роковых, т.е. вполне воплощенных, стихов в детстве с ней случались настоящие истерики. А став взрослой, она «узнала, что перед стихами — о чем бы они ни говорили и сколь солнечны ни были бы их слова и переклички слов — должно быть <...> страшно».

И вместе с тем лирика в сущности своей геройна. Что это значит? А вот что. С одной стороны, ею двигает «надежда показать небесам, что есть среди людей такой человек, который не так собой дорожит, чтобы отказаться принять вечный вызов небес: есть ли у вас такой человек? (т.е. именно так дорожит, чтобы принять). Какой же, собственно, человек? Свободный». С другой — «самое скорбное лирическое чувство разворачивается под музыку победы». И что же это за победа? «Это победа над неким тотальным врагом. А враг этот, по Седаковой — прислушайтесь! — «бедственное состояние человека, неспособного по природе выразить и сделать достойным выслушивания все самое глубоко-свое...».

Ну вот. Определены и закреплены в слове фундаментальные свойства, атрибуты того явления, которое в филологии Седаковой почитается за истинную лирику.Перечислю их:

— колоссальная зависимость от всего того, что обретается в своем, а не в ее (лирики) пространстве, но что ищет ее внимания. Как сказано в другом месте «Похвалы поэзии», «каждая вещь <...> рассчитана на большее внимание, чем ей здесь уделено, и хотя, притерпевшись, уже другого не просит — но как улыбнется, если вдруг кто-нибудь нарушит обычный порядок, помолчит, послушает»»;

— такая степень воплощенности выношенного лирического мотива, при которой стихи вызывают не только восторг, но и страх [4];

— повелительный посыл свободы;

— выявление «глубоко-своего» в человеке, что есть победа над его «бедственным состоянием», бедственность которого состоит в неспособности большинства людей выразить это глубоко-свое.

Повторю: «Похвала поэзии» написана Седаковой в 1982 году, т.е. в относительно ранний период творчества[5]. Но и спустя полтора десятка лет она

---

[4] Сравним с пастернаковским: «Что делать страшной красоте / Присевшей на скамью сирени,/Когда и впрямь не красть детей?»

[5] Я по-прежнему говорю о прозе. В поэзии дело обстояло иначе: 1982 — год завершения книги «Тристан и Изольда», а также работы над книгами «Ворота. Окна. Арки» и «Стелы и надписи».

остается тех же мыслей, возможно, уточненных и обогащенных, но в основе своей — тех же. Читаем в очерке «Кончина Бродского» (1996):

«Классика, пока она классика, самая трагичная и даже затрагичная, как у Кафки, самая разодранно авангардная, как в хлебниковском «Зангези», не знает капитуляции: не как содержательной темы, а как ритма, как формальной субстанции.

И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет —

так в поздних больничных стихах Ахматова портретирует классическое пение. Так, мне кажется, и вообще звучит голос классического искусства».

Тема «стиля самозабвенности», а также «безоружного» искусства, перед которым человек не побоится «разоружиться и таким образом встретиться с самим собой», возникает и в беседе с Валентиной Полухиной. А 1 июля 1998 в речи, произнесенной в Ватикане при вручении ей премии Владимира Соловьева), Седакова придала своим мыслям о лирике окончательные завершенность и блеск. «Мы располагаем, — декларировала она, — какой-то совсем еще свежей свободой новой простоты. Мы можем осмелиться говорить на языке, который не разлучает нас с реальностью, переводя наше внимание на себя и на свою бесконечную саморефлексию <... >, который скромно исчезает перед реальностью, только указав на нее, только легко ее коснувшись. — Вот это дом. — Вот это дерево. — Вот это мироздание».

И еще: «Искусство <...>, как известно, бежит как огня любых наперед заданных форм знания, любых окончательно выясненных доктрин. Что ему было с этим делать? подрисовывать вензеля и завитушки к уже написанным буквам? Оно предало бы тогда собственную природу, собственный уникальный дар — понимать не понимая. Из непроясненного, глубокого и смутного — и потому волнующего — выводить смысл как воплощенную форму: выводить не понятие, а образ, смысл, который не отменяет родной темноты и глубины (как цветок не отменяет своих корней) — но делает их прикасаемыми для нас, обозримыми, общими».

Но, стремясь к чаемой глубине, ища там смысл, который ее, глубину, не отменяет, а лишь довоплощает, Седакова не забывает и о другом измерении — высоте. «Лирика соотносится с высоким стилем жизни, с большим стилем, какого нет в частном быте», — говорит она в статье «О погибшем литературном поколении» (1984). А в беседе с Валентиной Полухиной (1995) разъясняет: «Мне явственно ощутима инертность движения вниз, этого уже многовекового вектора искусства, «спекуляции на понижение». < ...> В самом этом движении есть своя правда, что-то вроде совестливости художника перед всем невзрачным, нелюбимым: пусть и такое не будет обойдено вниманием. Но путь в одном этом направлении стал дурной инерцией.

Можно заметить, что давно уже не «низкое», а «высокое» нуждается в защите — и очень немного находит себе защитников. <...>

И если энтузиаст часто подслеповат, то и у скептика свои диоптрии и всеобщая сомнительность, которая видна ему, тоже не «последняя вещь». Всем, на-

пример (и особенно подросткам), известно, что прекраснодушие наивно. Но как же наивно безобразнодушие! Я имею глупость полагать, что, как говорили в старину, «бытие как бытие благо», что в глубине, в «сердце сердца» человека — не клубок агрессивных, сексуальных и собственнических инстинктов, но образ его Создателя»[6].

Слова «защита», «защищенность» и антоним последнего — «беззащитность» — нередкие гости в текстах Седаковой. «Высокое» нуждается в защите» — это своего рода призыв к собратьям по ремеслу. Но есть еще нечто, нуждающееся в защите. Это — сама художественная одаренность. Ибо — и тут я снова вынужден отклониться от филологии в сторону... политики — именно художественная одаренность, замешанная на принципах внутренней свободы и самостоянья человека, была объектом особенно ожесточенных нападок тоталитарного режима, не готового мириться с этим островком «неангажированности» в океане конформизма. В замечательном очерке «Другая поэзия» (1996) Седакова говорит о странной вещи: о том, что «в качестве «других», или «новых», приходилось называть самые привычные свойства нормальной поэтической традиции <...>, экзотические на фоне Доризо и Друниной» (т.е. разрешенной режимом поэзии). Далее автор признается в желании «уловить в рациональные сети ускользающий от всякой рационализации принцип, по которому различается «наше» (советское — *М.К.*) и «не наше»:<...> почему же не печатали того-то и того-то? что недозволенного было в той или другой строфе? Не простое ли недоразумение, не игра ли фортуны то, что, скажем, Бродский оказался там, где он оказался, а поэт N, не менее политически независимый, занимал высокие литературные посты?»

И вот вывод, к которому нас подводят: правильно в поэзии, с точки зрения власти, только то, что оформляет (иногда предваряет, но зная общую тенденцию и сообразуясь с нею) решения власти, так сказать, их эстетизирует[7]. Иными словами, хороший лирик — это... мертвый лирик, лирик без собственного «я», точнее, с подавленным «я», с горлом собственной песни, раздавленным собственной «пятой». Что же касается подлинной (Седакова употребляет здесь слово «профессиональная», и за этим многое стоит) поэзии, то она считалась неприемлемой, потому, быть может, что «в самом ее существовании и состоял суд над самозванством». Финал «Другой поэзии» гласит:

«Истребляя своих врагов, советская другая культура (в этом контексте — «антикультура» — *М.К.*) превентивно защищала бездарность как слабость — от чужого, опасного своей «силой», защищала маленького человека от немаленького (т.е. неодаренного от одаренного — *М.К.*), не предполагая, что сами измерения «силы» и «величины» принадлежат исключительно ее (антикультуры —

---

[6] Последнее утверждение, строго говоря, — больше из области «пламенности», нежели рационального знания. Но ведь и Пушкин не просто так обронил свое знаменитое: «Тьмы низких истин мне дороже/ Нас возвышающий обман», и Седакова об этом напоминает.

[7] Очаровательно попутное замечание автора о том, что и создание «интимной версии идеологии с «человеческим» лицом» входило в социальное задание советского поэта. «Это идеология, — с неподражаемым сарказмом добавляет Седакова, — не в фазе "Равняйсь! Смирно!", а в фазе "Отставить!"»

М.К.) миру — и что художественная одаренность, которой она страшилась и к которой ревновала, в самой большой мере и состоит из беззащитности».

Тут я, будучи вполне согласен с основным пафосом очерка и восхищаясь глубиной и исчерпанностью конкретных разборов (в частности, сравнение текстов Мандельштама и некоего воронежского автора, сочинившего стихотворную инвективу ссыльному поэту, выше всяких похвал), вынужден кое-что возразить Седаковой. Рыжманов — Рыжмановым и Доризо — Доризом (прошу прощения!), но разве и в жестоких рамках официальной поэзии не функционировали подлинные — порой большие (тот же Твардовский или Давид Самойлов) — поэты, не каждый же день наступавшие на горло собственной песне?! «Мир, описываемый советской лирикой, не обладает связностью», — говорит Седакова и добавляет: «Есть вещи, которые не могут войти в мир Мандельштама, — но нет вещей, которые не могли бы войти в мир Доризо».

Дался ей этот Доризо! Даже если он и выразил некоторые существенные черты «установочной поэзии», то ведь и Владимир Соколов, кажется, сочувственно упоминаемый (и цитируемый) в беседе с Валентиной Полухиной, не представим вне общего контекста все той же, советской, поэзии. И в конце концов Соколов, а не Доризо, получил Государственную премию СССР...

Как видно из предыдущего, эстетика и филология Седаковой тесно соприкасаются с вопросами этики. Есть у нее и сугубо этические (как сказали бы в более отдаленные времена, нравственно-философские) штудии.

В 1982 году («Похвала поэзии») она несколько остраненно вспоминает «заблуждения юности», состоявшие в признании страдания высшей ценностью и прыжка в пропасть высшим подвигом веры. «Наверху человеческой иерархии помещались пропащие, а люди добрые и порядочные — в самом низу». Впрочем, признается чуть ниже автор, ей и теперь понятнее «бездна» («...но умом, конечно, голой бездны мне не нужно»; чем же, стало быть, она «понятнее»?). Скажу сразу, что так оно остается по сей день. И более того: в этом «заблуждении» Седакова будет все больше утверждаться «с помощью» влиятельных для нее авторов и сочинений, как то: Пушкин и его «Медный всадник» [8] («в пушкинском мире <...> слабый всегда прав»); Пастернак и его «Доктор Живаго» (Лара — не целомудренная Дева и не древняя Медуза, а «дорастающая до воскресенья» грешница, Магдалина»); Венедикт Ерофеев и его «Москва-Петушки» («Венедикт чувствовал смущение <...> там, где ему приходилось встретить нечто стремящееся к совершенной красоте, добродетели, классичности. Любить то, что нельзя жалеть? что и само по себе недурно и не взывает к последней жалости? любить самостояние, самодостаточность, бессмертие?»). Конечно, Венедикт, как и Ольга, в последнем счете любит именно эти вещи, а не противоположные им. Но в этом мире, на этой планете, для веселья мало оборудованной, ту, «конечную», любовь надо таить в себе, не высказывать, чтобы ненароком не обидеть кого-нибудь из «пропащих», имя же им легион. Надо, напротив, постоянно выказывать любовь к этим пропащим, сочувствие к их неустроенности и нищете... Надо быть одним из них. Впрочем, это уже перехлесты ерофеевской этики (а не

[8] Ему посвящено блестящее исследование «"Медный всадник": композиция конфликта» (1991).

седаковской), которые — не менее, чем ее сильные стороны, — более чем уместны в метафизическом пространстве между Москвой и Петушками...

Многое еще можно сказать о прозе Седаковой. Выражаясь ее же слогом, каждая вещь в этом выдающемся метатексте рассчитана на большее внимание, чем ей здесь уделено. Но журнальная статья не том прозы. И это даже хорошо. Моя статья ни в малейшей степени не может заменить тысячи страниц, принадлежащих перу самой Седаковой. Поэтому, приближаясь к концу, я лишь конспективно пройдусь по этим страницам.

Одна из центральных тем пламенной филологии — ценность традиции, в «Четырех ответах К.Б.Сигову» (1990 — 1993) названная э н е р г и й н о й. Там есть еще превосходное определение самого понятия «традиция»: «образ человеческого бытия». Почему так подчеркнута человеческая сторона традиции? Потому что речь идет «об утраченных традициях, которые необходимо восстанавливать».

«У Хлебникова не было последователей», — заключает Седакова свою работу 1985 года «Контуры Хлебникова». Но, в сущности, то же можно сказать едва ли не о каждом большом поэте. Потому что традиция живет не в так называемых последователях, а, если можно так выразиться, в поддержании пламени светильника, каким является поэзия (вообще всякое настоящее искусство). Конечно, есть направления и школы, и они тоже играют свою роль в сохранении традиции. Однако важно другое. «Его (Хлебникова, но опять же не его одного — *М.К.*) находки, усвоенные, продолженные, вызвавшие самостоятельные процессы творчества других поэтов <...>, вернулись в ту область цельных вещей и эстетического творчества, из которой сам Хлебников вышел». Так торжественно и пламенно заключает Седакова свой этюд о любимом поэте.

Но больше и ярче всего о феноменологии традиции сообщено в обширном исследовании «Наследство Некрасова в русской поэзии» (1993). Тут — и о связи самого Некрасова с православно традицией (ни в какой другой литературе о Некрасове не встречал рассуждений на эту тему). И исключительно содержательные гипотезы о наследниках Некрасова в советской поэзии. (Здесь иногда возникают довольно неожиданные имена, как, скажем, Юрий Кузнецов).

Два слова о категории свободы в этике Седаковой. Исходное положение: «Свобода — абсолютно необходимая предпосылка всего, что может рассматриваться как этическое» («Четыре ответа К.Б.Сигову»). Переход в эстетику: конституциональная важность свободного акта речи. Можно достичь предела виртуозности в «технике подтекстов и аллюзий», внедрения рискованного подтекста в самый правоверный текст (что наблюдалось в 60-е годы; чемпионом в этом виде «спорта» был, безусловно, «Новый мир» Твардовского), но, как категорично замечает Седакова, «надежда обыграть дьявола, приняв его условия игры, безумна». Этой метафоре предшествует прямое высказывание, столь же категоричное (и красноречивое): «Приняв стратегию отчуждения от собственной речи, можно обыграть только себя — насчет своей чистой совести; может, еще таких же, давно обыгранных людей...» («О погибшем литературном поколении»). Еще один поворот этой темы предложен в очерке «Арсений Александрович Тарковский. Прощание» (1990). Говоря о том, как странно выглядела в казенных изданиях такая, например, строфа:

И моя отрада
В том, что от людей
Ничего не надо
Нищете моей, —

Седакова говорит, что, читая подобное, «мы оказывались в среде <...> свободы как будто потусторонней — а на самом деле прирожденной. И замечу: свободы не от кого-то или чего-то — свободы всего остального от нас. Быть причиной такой свободы — большое счастье, может, самое большое». Отсюда не трудно проложить мост к более поздним размышлениям о «стиле самозабвенности» в лирике (см. выше).

Этика. Эстетика. Еще политика. О некоторых аспектах этой, вообще говоря, не слишком «своей» (по заданию) темы седаковского философствования я уже упоминал — по ходу дела. Можно добавить, что в наше с Седаковой время (советское) от политики и от реакции на нее (пусть рефлекторной) уберечься было невозможно. И потому, что бы мы ни трактовали, рано или поздно вылезают уши политики. Даже когда речь идет о такой аполитичной материи, как обучение музыке: «Баху-то учат. Потому что — для врагов, вот почему. Спасением какой-то части культуры мы (советские — *М.К.*) обязаны исключительно нашему врагу» («Путешествие в Брянск», 1984). Даже смешно вообразить, М.М.Бахтин воспринимается на этом фоне как «фигура культурного бунта» и, мало того, как в политическом отношении фигура сверхактуальная, ни много, ни мало как антипод нынешней «патриотической» партии (М.М.Бахтин — другая версия», 1992).

Обильно цитируя тексты Седаковой, я, мне думается, дал некоторое представление о ее языке. Характерными его чертами являются: передача многих сложных по своей природе вещей словами точными и ясными; вообще ориентация на кристаллизующуюся, а не аморфную словесность; афористичность, — чего сто́ит, например, «другая кровь родства» в рассказе о тартуском филологическом братстве («Путешествие в Тарту и обратно», 1998) или такая фразеологическая «штучка»: «Язык власти состоял из имен существительных, из списка «должностей» — тогда как правовой строй оперирует глаголом» («Четыре ответа К.Б.Сигову»)! И вот еще один уморительный пассаж — на сей раз не из статьи, а из лекции («Искусство перевода», 1997):

«Я задерживаюсь на теме смелости в переводческой работе отчасти из-за моего собственного опыта в этой области — печального, скажем. «Это звучит не по-русски! Так по-русски не говорят! Непонятно! Неправильно!» — я постоянно слышала рецензии такого рода по поводу моих переводов в советское время <...>. Если я возражала, например, что и оригинал-то моего перевода не имел в виду ни «правильности», ни «понятности» <...> , это впечатления не производило. Было хорошо известно, к а к у м ы т ь и п р и ч е с а т ь п о э т о в, е с л и с а м и о н и н а с в о е м я з ы к е х о д и л и н е м ы т ы м и и н е ч е с а н ы м и (разрядка моя — *М.К.*)».

Это все — позитив. Но есть в стилистике седаковской прозы и нечто, скажем так, раздражающее. Кое-где ощущается манифестируемая ориентация на «посвященных», знатоков того «старого доброго структуралистского жаргона», который в «Путешествии в Тарту...» вспоминается с не меньшей ностальгично-

стью, чем сами носители этого жаргона. Удручает также перегруженность текстов терминами, проникшими к нам из иностранных языков в то время, как существуют неплохие русские эквиваленты тех же понятий.

Есть у меня возражения и по существу. Но не стану приводить их, а лучше замечу, выходя из рамок обозначенной темы, что как поэт Ольга Седакова создает именно геройную лирику и в том самом смысле, в каком это словосочетание употребляется с самого начала (в «Похвале поэзии»). Что язык ее стихов, несомненно, тот самый, который не разлучает нас с реальностью, но скромно исчезает перед нею, только указав на нее, только легко ее коснувшись. — Вот это дождь. — Вот это деревня. — Вот это мироздание...

Из непроясненного, глубокого и смутного — и потому волнующего — выводит Седакова смысл как воплощенную форму. И этот смысл не отменяет родной темноты и глубины, но делает их прикасаемыми для нас, обозримыми, общими.

Евгения ЩЕГЛОВА

ЗДЕСЬ «ДЫШАТ ПОЧВА И СУДЬБА»

Передо мною — двухтомник Лидии Чуковской*, только что изданный. И сразу же вспоминается: 1978 год, я пишу дипломную работу на тему «Маршак — редактор»...

Работая над дипломом, я, естественно, обращалась главным образом к одноименной главе из книги Л. Чуковской «В лаборатории редактора» (1963). Глава была обширная, местами полубеллетристическая: близкое знакомство автора с Маршаком, да что там знакомство — тесная дружба бросалась в глаза буквально с первой строчки, это необыкновенно подкупало и привлекало, и мое сочинение до краев было наполнено цитатами из Чуковской — со сносками, со ссылками, все как положено...

Обращалась, впрочем, я и к воспоминаниям писателей, работавших в 30-е гг. с Маршаком, — они печатались в сборнике «Редактор и книга» за тот же 1963 год. Их было не то чтобы много, но они тоже были такие теплые, такие сердечные, такие искренние! Мне и в ум не могло тогда войти, что в 1937 г. некоторые из этих мемуаристов столь же энергично строчили доносы на своего обожаемого учителя и вдохновителя, а также на членов его редакции. И что вранья в тех воспоминаниях — ведрами не вычерпать.

* Лидия Чуковская. Сочинения: в 2 тт. М. : Арт-флекс, 2001.

Евгения ЩЕГЛОВА — родилась в 1951 г. в Ленинграде. Окончила Московский полиграфический институт. Литературный критик. Статьи публиковались в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», в «Литературной газете» и других изданиях. Живет в Санкт-Петербурге.

Конечно, имя Лидии Корнеевны из работы моей вылетело: к тому времени ее уже четыре года как исключили из Союза писателей. Цитаты, впрочем, остались, породив загадку: кто все это писал? В 1978 г. Чуковской инкриминировалось уже многое: от дружбы с Ахматовой, Пастернаком, Солженицыным и Бродским — до открытых писем в редакции советских газет. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, была статья «Гнев народа», которую то и дело читали зарубежные «голоса». А потому хоть дипломная работа студентки Московского полиграфического и не имела никакого значения, но и туда влез бдительный чекистский окуляр...

Однако не в том суть. А в том, что когда я наивно поинтересовалась у своего руководителя, почему, собственно, об авторе этих воспоминаний, к тому же работавшем бок о бок с Маршаком, нельзя даже и упомянуть, он поведал мне страшную тайну: оказывается, Лидия Корнеевна уехала в США! Но вы, добавил он в ту же минуту, остро глянув на меня как на свою сообщницу-соратницу, очень-то об этом не распространяйтесь — это так, сугубо конфиденциальная информация. Я, как прилежной студентке положено, кивнула. Надо же — уехала. Ну, пусть, мало ли кто куда уезжает...

И вот спустя месяц после этой политически выдержанной беседы я сижу в гостях у давнего друга Лидии Корнеевны — Александры Иосифовны Любарской, ленинградки, с которой только что познакомилась (мне хотелось и дальше писать о Лендетиздате, и я разослала письма его бывшим редакторам и авторам). Александра Иосифовна была арестована в ночь с 4-го на 5-е сентября 37-го и, отсидев полтора года в тюрьме, чудом уцелела, выйдя на волю в кратенькую эпоху «весны в НКВД». Ничего этого я тогда не знала. И искренне поведала ей недавно услышанное о Лидии Корнеевне. Александра Иосифовна прямо-таки подпрыгнула на диване. Я даже не берусь воспроизводить ее возгласы и эпитеты по моему адресу — насчет моих познаний, а также умственных способностей... «Лидия Корнеевна живет в Москве! На улице Горького! Никуда она не уезжала! Она пишет воспоминания о своем отце. Не знаете — не повторяйте это идиотское вранье. Это выдумки! Кто ваш руководитель?»

Ладно, чего уж там оправдываться...

Александра Иосифовна была последней из тех, кто имел отношение к редакции Маршака. Благородный, умный человек с искалеченной судьбой, красивая и до последних своих дней (а умерла она в 2002 году в возрасте 94 лет) элегантная женщина. «Кому из нас лицейскую годину торжествовать придется одному?..» Мы с нею подружились, и многое из того, что ныне напечатано в книгах Лидии Корнеевны, я знала уже тогда — из машинописных записей ее дневников, которые давала мне Александра Иосифовна. С моих глаз тогда словно пелену сдернули — да и каково было после газетной и телевизионной брехни прочитать в первых же строчках из «Записок об Анне Ахматовой»: «Бежать из Ленинграда мне на моем веку довелось дважды: в феврале 1938 и в мае 1941 года»... Оба раза Лидию Корнеевну, после ареста и расстрела мужа, разыскивал НКВД.

И все-таки, видимо, человек устроен так, что осмыслить, притом резко, сразу, слишком большие масштабы лжи, нам не по силам. Тогда мне думалось: нет, невозможно, чтобы все, о чем она пишет, именно так, в полном объеме, и было —

ну хоть где-то был же просвет, хоть что-то она преувеличивает, не могло же того быть, чтобы буквально на корню, незнамо за что и почему, изничтожались лучших из лучших, а взамен выпестовывали омерзительную бездарность! (Хотя, как рассказывает Лидия Корнеевна, уничтожали не только лучших, но и худших: постичь логику 37-го не по силам никому).

Жизнь показала — просвет был не там, где я тщилась его отыскать. Просветом была сама жизнь Лидии Корнеевны.

Конечно, по призванию своему никаким политиком она не была. Напротив — политики чуждалась яростно и брезгливо еще с давних 20-х, когда ее, 19-летнюю студентку, выслали в Саратов. Она просто была человеком абсолютно бескомпромиссным и абсолютно честным, и эти свойства натуры накладывались на с детства привитое ей безмерно любимым ею отцом благоговение перед литературой и талантом, перед творцом. Как-то С. Я. Маршак заметил, что ее подлинный жанр — это записи и дневники, которые она вела долгие годы, почти всю жизнь. Это верно — но только потому, что Лидия Корнеевна была прежде всего человеком от Литературы — если слово это писать с той большой буквы, какую русская литература в великих своих образцах и заслуживает. Лидия Корнеевна была одним из последних представителей интеллигенции, выросших в атмосфере неистовой любви именно к такой Литературе — поклонения ей и почитания ее. Понимания того, что принадлежность к Русской Литературе — *обязывает*.

Она была очень умна. Она хорошо понимала что к чему еще в 1937 году, когда население чуть ли не поголовно ошалело от ужаса и даже в лице отнюдь не самых своих бездарных представителей демонстрировало готовность верить самой чудовищной лжи. И повесть «Софья Петровна» она написала, чтобы изжить это страшное понимание всеобщего ошаления, осознававшееся тогда единицами. Кстати, «Софья Петровна» — единственное прозаическое произведение о годах «Большого террора», написанное в ту же самую эпоху и в той же самой стране. Это ошаление не одну только героиню Л. Чуковской, даму полуинтеллигентную и не особо умную, несчастную одинокую мать, потерявшую единственного сына, доводило до помрачения рассудка... Кто-то из журналистов не так давно посетовал, что нынешнее поколение охотно принимает и переваривает всякие ужасы телевизионных и книжных «страшилок», по большей части стандартные и клишированные, а о реальном ужасе, терзавшем страну на протяжении почти семидесяти лет, не хочет и знать... Увы, это так, и что тут скажешь?...

«Отношением к сталинскому прошлому нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, — писала Лидия Корнеевна в статье «Не казнь, но мысль, но слово», — определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы». «Я хочу, — писала она там же, — чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркивать надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель «уплачено», а распутать клубок причин и следствий, серьезно и тщательно, петля за петлей, его разобрать...»

Напомню: это был февраль 68-го. Как раз полгода оставалось до советских танков на пражских улицах. А ведь клубок не распутан и до сих пор!..

И другое напомню. Писала эти слова далеко не молодая, полуослепшая женщина, в юности пережившая ссылку, потом — арест и гибель мужа, прошедшая через бесконечные очереди к окошкам Большого дома, — и с тех пор постоянно ощущавшая на себе бдительный чекистский взгляд.

Но недаром — еще с довоенных времен — Лидия Корнеевна так много занималась публицистикой Герцена. И, как и он, была убеждена — без свободного слова нет свободных людей, без независимого слова нет могучей, способной к внутренним преобразованиям, страны. «...Правда, — писала она тогда же, в 1968 г., — оборвана на полуслове, сталинские палачества вновь искусно прикрываются завесой тумана. Она плотнеет у нас на глазах. Жажда самой простой, элементарной справедливости осталась неутоленной».

Конечно, никто в родном отечестве тогда, более 30 лет назад, этих строк не мог напечатать, и Лидия Корнеевна прекрасно это понимала. Но писала все равно — в редакции «Правды», «Известий», «Молота», «Литературной России», «Литературной газеты», в правление Союзов писателей СССР и РСФСР, напоминая, например, Шолохову, что традицией русской (и не только русской) литературы было заступничество, а не призыв к ужесточению приговора. «Пусть Дрейфус виноват, — приводит она слова из письма Чехова к Суворину, — но Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и понесли наказание... Обвинителей, прокуроров... и без них много».

И снова с тоской вспоминаешь о сегодняшних реалиях — хотя бы о том, как распущена была комиссия по помилованию при Президенте России. В нее тоже летели камни из писательских рук. Да что там летели — и сейчас летят, прочтите хоть статью Ю. Вронского «Казнить? Или миловать?» («ЛГ», № 32, 2002). Казнить, казнить, казнить,— убежден автор: это ведь именно взлелеянное демократами милосердие привело к гибели В. Листьева и Г. Старовойтовой, которые сами же некогда и ратовали за него!..

И все меньше и меньше людей, сердцем понимающих Пушкина: «...в мой жестокий век восславил я свободу // И милость к падшим призывал»...

Но — ближе к тому, что напечатано сегодня в двухтомнике Л. Чуковской. При том, что публикуются тут и ее открытые письма, и статья «Гнев народа», и воспоминания о Б. Пастернаке и Т. Г. Габбе, и незавершенные записки «Дом поэта», рассказывающие о «Второй книге» Н. Мандельштам, точнее, о многочисленных передержках, а то и прямой лжи, свойственной этим воспоминаниям, — при всем том есть в двухтомнике главное.

Это — «Прочерк», впервые напечатанное незаконченное повествование, посвященное мужу Лидии Корнеевны, физику-теоретику М. П. Бронштейну. Матвей Петрович был очень талантливым ученым. Он погиб в 1938 году в застенках ленинградского Большого дома вместе со многими другими авторами Лендетиздата (он был и исключительно талантливым детским писателем, автором научно-художественных книг по физике).

Определить жанр «Прочерка» трудно. Это, скорее всего, некий *сплав* — лирики, страстной публицистики, документалистики, воспоминаний. Читая «Прочерк», настолько плотно погружаешься в атмосферу 30-х годов, что трудно вынырнуть на поверхность. Вот длится, длится, длится долгая счастливая

жизнь до страшного дня 31 июля 1937 года... Господи, но только какая же она долгая — всего-то с 33-го по 37-ой! И ведь только в памяти женщины, выстрадавшей гибель мужа и никогда от нее не оправившейся, представляется счастливой и лучезарной. А на самом деле — куда как не проста она была, эта жизнь. Мы ведь и раскулачивания не заметили, размышляет в болью и горечью Лидия Корнеевна, — не заметили, быть может, загипнотизированные талантливыми строками А. Твардовского: «И жизнь — на слом, // И все на слом, // Под корень, подчистую...». Просто ко всему, что пахло политикой, по привычке относились с пренебрежением, занятые безотрывным и напряженным умственным трудом. Дел-то и вправду было невпроворот! Сколько в стенах Лендетиздата издавалось прекрасных книг!..

Даже описание тяжелейшей болезни дочери, тогда пятилетнего ребенка, болезни, едва не приведшей к трагедии, — даже оно озарено в «Прочерке» светом благодарной памяти Матвея Петровича. Это он, отчим маленькой Люши, поддерживал силы Лидии Корнеевны, когда они, казалось, были на исходе. Это он привез доктора-волшебника Шаака, спасшего девочку от смерти. Это с ним Лидия Корнеевна переглядывалась счастливо, когда ожившая после многодневных страданий Люша попросила принести куклу и куклино одеяло в придачу.

Но — стоп. Надвигается 37-ой, и в эту жизнь, в каждодневный творческий труд все больше впутываются будущие доносчики и бдительные охранители...

«Прочерк» — книга не только том, как страстно, мучительно и горячо, но безуспешно Лидия Корнеевна пыталась спасти мужа — сначала подать ему весточку в Киев, где он тогда отдыхал у родителей (в ленинградскую квартиру арестовывать Бронштейна пришили за несколько дней до того, как его разыскали-таки в Киеве), потом — вырвать из застенка. И не только о самом Матвее Петровиче — человеке энциклопедических познаний и редкостного таланта, о ком Корней Чуковский говорил: если бы погибла вся цивилизация и ее пришлось бы восстанавливать заново, то Матвей Петрович смог бы написать всю энциклопедию — от первого до последнего тома. «Вы не представляете себе, Лида, — вспоминает Чуковская слова Маршака, — какой это благородный человек»

«Прочерк» — страшное свидетельство планомерного изничтожения цвета нашей интеллигенции — слоя тонкого и по природе своей беззащитного. За это изничтожение наша страна расплачивается до сих пор — хаосом и внешним, и внутренним. На всем пространстве книги — один за другим — гибнут и исчезают писатели, ученые, редакторы, искусствоведы, журналисты, актеры, инженеры, просто добрые и бескорыстные люди, — словно какая-то гигантская черная дыра все засасывает и засасывает лучших из лучших...

Вот расстрелянный в 38-м в возрасте 33 лет талантливейший писатель, журналист и полярник Сергей Константинович Безбородов — «ладный, крепкий, веселоглазый, силушка по жилушкам переливается». Он, один из авторов Лендетиздата, успеет написать, кроме журналистских брошюрок и нескольких рассказов, необыкновенно интересную, и поныне недооцененную повесть о зимовке на Земле Франца-Иосифа — «На краю света», тираж которой почти целиком пошел под нож...

Вот писательница Тамара Григорьевна Габбе, тогда редактор Лендетиздата, арестованная в 37-м. Ее мужа, инженера Иосифа Гинзбурга, вскоре арестуют за брезгливый отзыв о пакте Молотова-Риббентропа. Иосиф Гинзбург погибнет в 45-м в лагере, работая на плотине во время наводнения...

Вот расстрелянный в один день с Безбородовым поэт, своеобразный Козьма Прутков 30-х годов — Николай Макарович Олейников...

Вот умерший в тюремной больнице от туберкулеза соавтор Л. Пантелеева по «Республике ШКИД» Григорий Белых...

Вот поэт и переводчик Бенедикт Лившиц: он, только что утешавший Лидию Корнеевну, через пару дней сам будет арестован и в тюрьме сойдет с ума...

Вот следующие один за другим аресты О. Берггольц, Н. Заболоцкого, поэтов-переводчиков Вал. Стенича и Е. Тагер... Вот старики-родители Мирона Левина, поэта, критика, умного, мужественного человека, сраженные голодом в блокадном Ленинграде — спустя год после того, как они похоронили 23-летнего сына. А вот и родители самого Матвея Петровича, умершие от сыпняка в привокзальной грязи при эвакуации из Киева. Но останься они — их ждал бы Бабий Яр. «Им всем соткала я широкий покров...»

Фашизм и сталинизм — одно и то же, с предельной отчетливостью вычитывается из книги. Это — свидетельство и очевидца, и публициста, и писателя. И неизвестно еще, какое из этих зол страшнее. Скорее всего, убеждена Лидия Корнеевна, сталинизм: он так искусно прикрывался (и прикрывается) красивыми и вполне — на поверхностный взгляд — приемлемыми лозунгами. Они, эти лозунги, и сегодня ведь в ходу, а страшная правда, которую они прикрывают, мало кому уже нынче нужна...

Черная дыра, о которой рассказывает свидетельница — и страстная воительница — Лидия Чуковская, делается еще страшнее, еще бездоннее, когда натыкаешься на рассказы о том, как следом за безвинно арестованными исчезали и те, кто только что давал их родным хоть какую-то надежду. Так исчез Михаил Кольцов, к которому Лидия Корнеевна пробилась с величайшим трудом. Он обещал «послезавтра» разобраться с делом Бронштейна, — а на другой день газеты принесли весть и о «ныне разоблаченном враге народа М. Е. Кольцове»...

Да, Лидия Корнеевна и тогда была жесткой, даже, быть может, не всегда справедливо, — ко всем оглупленным, оболваненным, ослепшим. Им она не сострадала. Пусть их вины самих арестах и не было: само по себе непонимание, граничащее с бездушием, делало их соучастниками кровавых злодейств. В тюремной очереди Лидию Корнеевну буквально оживила какая-то незнакомая женщина, тоже жена арестованного, растерев ей обмороженные щеки и принеся из дома термос с кипятком. А ночью, проходя мимо Большого дома, спасительница тяжко вздохнет о работающих круглосуточно палачах: «Мы их все браним, а ведь их пожалеть надо», — трудятся, дескать, ночами напролет. Ненависть столь яростно охватывает Лидию Корнеевну, что содранным с головы платком она хлещет свою благодетельницу по щекам. Кого сейчас истязают эти «труженики»? Ее мужа? Или Матвея Петровича? Жалеть этих нелюдей, табуреткой, кулаком или сапогами выбивающих из него жизнь?..

Это была та же размашистая беспощадность, та же абсолютная бескомпромиссность, что много позже продиктовала Лидии Корнеевне ее открытые

письма. Безрасчетность, страстность в отстаивании своих убеждений (в основе которых была ненависть к Сталину и сталинщине) — глубинная черта натуры Лидии Корнеевны. Она могла быть и не права, утверждая, например, что М. Горького, печатно, на страницах «Правды», вступившегося когда-то за оболганную редакцию Маршака, убил ненавидевший его Сталин. История с теми известными горьковскими статьями 1929 года и сложнее, и непонятнее. 1929 «переломный» год тоже не был временем свободы слова, и статьи Горького могли появиться в «Правде» только потому, что против «оболванивания детей» всякими сказками, хотя бы даже и Пушкина, первой выступила «главный педагог страны Н. К. Крупская (а следом за ней выскочила и свора придворных борзописцев). С Крупской же у Сталина были свои счеты. Он их и свел — руками пригодившегося для этого Горького (кстати, знавшего и любившего Маршака с детства: гимназист Самуил Маршак когда-то жил в семье Горького в Ялте). Но ведь во многих своих прежних статьях основоположник социалистического реализма отстаивал ценности совсем иного толка! «Нам надо научиться в совершенстве пользоваться детской литературой как политическим орудием для достижения своих классовых целей», — это тоже горьковские слова, и они плохо вяжутся с тем, что Горький писал о книгах, выходивших из маршаковской редакции. Зато с полуграфоманским вздором, печатавшимся тогда на страницах пионерских журналов, вяжутся вполне. Но — редакция Маршака была тем не менее спасена, пусть и на короткий срок, и этого поступка Горького Лидия Корнеевна никогда не забывала. Ее благодарность ему была столь же безоглядна, как и ее ненависть к Сталину.

Как ни странно, Лидия Корнеевна была убеждена, что самая для нее дорогая книга — «Прочерк» — никому не будет нравиться: «потому что, — записала она в дневнике 4 августа 1984 года, — она не от искусства.

И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба».

Но жизнь распорядилась иначе. И не случайно именно от «Прочерка» — книги глубоко личной, страстной, полной боли за уничтожаемый народ, — тянутся силовые линии и ко всей ее публицистике, и к ее повестям — «Софье Петровне» и «Спуску под воду» (в которых отчетливо прочитываются и мотивы из дневников Лидии Корнеевны тех лет: 1937 — 1938 годов — в «Софье Петровне» и 1949 года — в «Спуске под воду»).

Вообще дневниковые записи Лидии Корнеевны читаются сегодня как животрепещущий роман из канувшего в небытие литературного быта 40-х — начала 60-х годов. «Роман» — потому что нигде нет бесстрастной фиксации событий, а всюду бьет неистовый темперамент автора, всюду она отстаивает права таланта (даже иной раз несмотря на личную неприязнь), всюду для нее на первом месте — Литература, Литература, и только Она... Жизнь сводила ее с людьми самыми разными — и с гениальным Пастернаком, и с даровитой, но нервически странной Ксенией Некрасовой, и со сложным, чем-то неприятным ей Л. Мартыновым, и с талантливым Наровчатовым, и с подлым Кривицким — деятелем того же палачествующего направления, что и директор Лендетиздата Мишкевич. Всего полгода отработала она в отделе поэзии «Нового мира» при

Симонове, но и там каждый день ее службы — та же нешуточная борьба за все, в чем видела она талант — борьба жестокая и отчаянная, если вспомнить тогдашние советские реалии. Можно сказать, что дневниковые записи Лидии Чуковской дают читателю редкостно правдивый и подробный отчет и о духовном мире, и о ценностных приоритетах и даже о вкусовых пристрастиях как самой Лидии Корнеевнысвоих, так и всех, с кем она была внутренне близка. Это, прежде всего, — маршаковское братство, сформировавшееся в 30-е.

Вот почему так много и с такой любовью пишет Лилия Корнеевна о Тамаре Григорьевне Габбе — знатоке русской и мировой поэзии, талантливом детском драматурге, человеке необыкновенно чутком и внимательном. Все это, пишет Чуковская, сливалось в ней удивительно органично. А сколько раз помогала она Лидии Корнеевне — и не только словом, но и делом! И никогда и никого не утешала она стандартными фразами, никогда не говорила пустых ободряющих слов: ханжества в ней не было и тени. «Проницательность и живое воображение, — пишет о ней Чуковская, — помогали ей легко постигать всякую жизненную ситуацию, как бы она ни была сложна, — а доброта и мужество побуждали вмешиваться деятельно, сильно». И я не могу не вспомнить в этой связи один из рассказов о Тамаре Григорьевне, который я не раз слышала от А. И. Любарской. Отсидев в тюрьме несколько месяцев в 1937 году, Тамара Григорьевна попала к какому-то следователю, убеждавшему ее, что ее помощь крайне нужна органам, а также — и советской власти. Должна была это понимать! «Ну, конечно, конечно, я все понимаю, — ответила Тамара Григорьевна. — Я могу вам помочь. Я много говорила с вашими работниками и вижу, что они страшно безграмотны и очень необразованны. А я всегда мечтала о педагогической работе!»

Уж не знаю, посмеивалась тут Александра Иосифовна, за кого они Тамару Григорьевну тогда приняли — за откровенную дурочку или за ловкую актрису?

Помню еще, как выписывала в далеком 78-м отдельные строки из записок Л. Чуковской о Т. Г. Габбе.

«У Ахматовой, — сказала как-то Тамара Григорьевна, — есть круг лирических персонажей, если их можно так назвать: Муза, Разлука, Совесть, Ты, Я, Беда, Город и т.д.».

«Я верю, что существует счет, — говорила она Лидии Корнеевне и Александре Иосифовне о смысле своей веры, — и к этому счету всегда мысленно обращаюсь. Бог — это постоянный суд, это книга совести. Меняются эпохи, времена и люди, но ведь красоту добра и самоотвержения люди понимали всегда, во все времена. Красота отдачи себя понятна всем людям. Культивирование этой красоты — это и есть религия».

«Людей необходимо с детства любить, — говорила она. — Обучать интенсивно, деятельно. Надо добиваться того, чтобы ребенок умел сосредотачивать внимание на другом, не на себе, умел заметить состояние другого человека, умел прийти другому на помощь. Нужно именно обучать этому, тренировать в этом. Это тоже — наука».

К слову добавлю: когда-то только Тамара Григорьевна заметила состояние А. Фадеева за день до его самоубийства. И сказала Маршаку — не говорите с ним ни о чем, вы только посмотрите на его лицо...

Записки Чуковской о Т. Габбе предельно конкретны, она фиксирует и отдельные меткие ее высказывания, и ее размышления о поэзии, о жизни, о друзьях. Недаром именно Т. Габбе всегда была первым слушателем стихов и прозы Маршака. «И сколько патентованных знаменитостей сразу же гаснут в моей памяти, — писал о Тамаре Григорьевне Чуковский в письме к Маршаку, — отступают в задние ряды, едва только я вспомню ее образ — трагический образ Неудачности, которая наперекор всему была счастлива именно своим умением любить жизнь, литературу, друзей»...

Но, конечно, главное, что отличает записи Чуковской и о Т. Габбе, и о Б. Пастернаке, и об И. Бродском (не говоря уже о трехтомных «Записках об Анне Ахматовой») — это могучее, глубоко укорененное в русском интеллигенте представление о русской литературе как о средоточии совести, ума и национального самостояния. Это ведь не столько Лидия Корнеевна, немолодая уже женщина, различает в газетных строках, убивающих Пастернака, знак того жаргона, на котором еще с 37-го изъяснялись журналисты палачествующего направления, сколько сама российская интеллигенция. Точнее сказать, даже не интеллигенция в том общем и широком смысле слова, от которой Лидия Корнеевна с присущей ей страстностью всегда отделяла себя (не так уж мало интеллигентных людей, писала она в статье «Гнев народа», выступало против Сахарова — значит, я сама по себе), — а тот ее тончайший слой, который, собственно, только и вправе называть себя интеллигенцией.

Конечно, даже и в среде этого меньшинства — в числе тех немногих, кто безоглядно и бесстрашно становился в свое время на сторону Пастернака или Бородского, — Лидия Корнеевна всегда оставалась самой собою. Ни на кого не похожей, ни на кого не оглядывающейся, ничего не страшащейся. Добивающейся правды, чего бы ей это ни стоило.

Но ведь из таких единственных и строится это меньшинство.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Третий квартал 2002 г.)

1. Художественная литература

А. «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир»

В журнальной прозе (в зоне нашего обзора) сезона есть несколько более-менее **ЯРКИХ СОБЫТИЙ**.

Начнем с тех, которые в «Новом мире».

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на опус **Дмитрия Галковского «Друг Утят»** («Новый мир», № 8), который жанрово определен как **«сценарий фильма»**. Вроде бы «Бесконечным тупиком» Галковский собирался закрыть русскую литературу и на этом поставить точку. Но в последнее время он явно затосковал по перу. «Сценарий» — это, вероятно, эвфемизм, чтобы не признаваться в том, что автор продолжает контрабандно заниматься литературой. Галковский остро чувствует нерв современности. Его вещь дробится на отдельные эпизоды. Закольцована она картинами далекого будущего, когда в России все (кто выжил) живут в подземных комфортабельных убежищах, сообщаясь друг с другом преимущественно по телефону. На поверхность же вылезают в крайнем случае, потому как тут их подстерегает слишком много опасностей. Это, если угодно, антиутопия. Еще один план повествования — сцены рубежа XX — XXI вв. Здесь объясняется, как люди будущего дошли до жизни такой. Это — результат неких компьютерных войн, когда власть на земле пыталась захватить некая тоталитарного характера организация Утят. Тут перед нами уже довольно яркая, остроумная и изобретательная сатира на современность, некоторые стороны которой шаржированы. В принципе, можно даже поверить, что нечто подобное описанному Галковским может случиться, что компьютер таит неисчислимые опасности и соблазны. Что ж, примем к сведению этот алармистский сигнал.

В **рассказе Михаила Бутова «В карьере»** («Новый мир», № 7) отец и его маленький сын отправляются в экспедицию за город — искать древние окаменелости. По ходу путешествия они разговаривают. Отец про себя вспоминает, как он торговал этими доисторическими древностями, продавая их иностранцам. Потихоньку начинает звучать мотив подведения предварительных итогов жизни. Итоги не слишком утешительны. Жизнь бедна и мимолетна. Тонко прописаны и взаимоотношения отца с сыном, который совсем еще мальчик, но уже начинает свою собственную жизнь. Получился очень полнокровный кусочек жизни, а впрочем, все-таки лишь тщательно выписанный этюд без далекой перспективы.

Вячеслав Пьецух в рассказе «Крыжовник» («Знамя», № 8) изобразил героя, который был последовательно комсомольским функционером, бичом на Колыме, сектантом, предпринимателем, политическим деятелем. И понял, что

в России все — суета сует и томление духа. Теперь он выращивает на своем дачном участке крыжовник. По рецепту Вольтера и пренебрегая чеховским презрением к таковому занятию. Пьецух был и остается замечательным рассказчиком — живым, затейным, веселым. Ну а выводы относительно рассказанного делайте сами.

В «Знамени» (№ 7) состоялась посмертная публикация **романа Юрия Давыдова «Такой вам предел положен. Этюды к пьесе Эдварда Крэга»** с предисловием вдовы писателя С. Тарощиной. Она пишет: «В последние годы он боялся двух вещей: первое — не успеть окончить главный свой труд — «Бестселлер»; второе — того опустошения, которое наступит после завершения романа. И оно наступило». Разрешением творческих проблем стала работа над книгой о жене императора Александра III Марии Федоровне (до замужества — датская принцесса Дагмар). Толчком стало предложение киностудии «Нордискфильм» написать сценарий об императрице. Вместо сценария получилось два романа: один попроще, «Коронованная валькирия», другой — философско-поэтический, в манере «позднего» Давыдова, оставшийся формально неоконченным. «Знамя» печатает вторую версию. Повествование кончается описанием последних дней Александра III.

Совсем иной мотив обращения к историческому материалу у **Владимира Шарова**. Ему принадлежит самая масштабная проза в назначенных пределах — **роман «Воскрешение Лазаря»** («Знамя», № 8, 9). Немолодой рассказчик пишет письма и начинает с того, что рассказывает, как он на кладбище занимается воскресением своего отца, буквально реализуя план философа Николая Федорова. Далее следуют не менее живописные и вполне фантастические перипетии, фоном которых является советская эпоха. Фирменный жанр Шарова — интеллектуальная фантасмагория с мистическим оттенком. Маргинально-сектантское христианство, совокупляемое с советского пошиба бредом. В Россию являются Дева Мария с Николаем Угодником и Ильей Пророком. Кончается роман хором чекистов, пытающихся помешать Адаму и Еве совершить вновь первородный грех. Этот эпизод достойно венчает изысканный бред рассказчика-автора. Новый роман Шарова не хуже прежних его вещей. Писателю не откажешь в изобретательности и эрудиции. Однако по-прежнему встает вопрос об общем смысле его художественных построений. Шарову как будто мало того, что имеет место реально. Фантастическими домыслами он пытается сделать жизнь более увлекательной. Но на самом деле он неимоверно облегчает вес своей прозы, а главное — к его изобретениям быстро привыкаешь и теряешь к ним львиную долю интереса.

ИЗ ПРОЧЕГО

Сначала — о прозе, обращенной к ***современности***.

Повесть Токаревой **«Своя правда»** («Новый мир», № 9) создана в фирменной манере этого автора. Это женская история о романических отношениях бакинцев Ирины и Кямала, о том, что есть любовь, но есть и быт, есть житейские расчеты и обычаи, и со всем этим невозможно спорить. Фон истории — распад Союза и прочие новшества 90-х годов. В итоге дети Ирины живут как получится, а сама она эмигрирует в Москву, где теряет все сбережения, и спа-

сает ее лишь встреча с богатой кардиологиней Анной, для которой она и прислуга, и собеседница. Токарева не нагнетает страстей, не впадает в страхи. Она, в общем, не сентиментальна, хотя и сочувствует героям. Что бы ни происходило с персонажами, она принимает это как данность — часто с юмором, а часто и с печалью. Жизнь трудна, но это жизнь, где за многое приходится платить несоразмерную цену.

Ирина Поволоцкая выступает с двумя текстами («Новый мир», № 8). **«После меня свет в доме стоит»** — колоритная история о прихожанке-неофитке и о полуюродивом страннике, который навязался к ней на ночлег. Жанр произведения **«Между тем»** определен как **«конспекты»**. Это скорее небольшие **рассказы** на случайные темы, плоды заглянувшего на огонек вдохновения.

Нина Горланова в своих **рассказах** («Новый мир», № 9) выясняет, откуда идут российские невзгоды. Дорожные впечатления наталкивают рассказчицу на догадку: оттого все, что слова у нас расходятся с делом. Другая смешная и трогательная история посвящена удачному сватовству.

Галина Щербакова («Ангел Мертвого озера. Истории про живых, полуживых и уже совсем»: «Новый мир», № 7) собрала на сей раз житейские истории по поводу смерти и вокруг нее. Истории сложились вокруг нескольких героев-москвичей. Это бытовая проза пестрого опыта и широкого женского ума.

Повесть Юрия Самарина «Ключи от рая» («Москва», № 7) — о монастырской жизни. Тут свои суеты, но чудеса не оставляют землю. Монахи стараются спасти испорченного мальчишку-наркомана.

В **рассказе Вячеслава Дегтева «Карамболь»** («Москва», №7) малость контуженный майор-«афганец» Конищев служит нынче сторожем и запойно играет в бильярд. У него проблемы с речью. Однажды он выиграл у презирающего русских ингуша — и заговорил.

Владимир Кононов в **рассказе «Отражение тьмы»** («Москвы», № 7) рассказал о священнике отце Александре. К нему на исповедь пришла женщина и призналась, что убила человека. Поехала она в Чечню искать пропавшего сына-солдата и там случайно, сгоряча убила сковородкой чеченца, вымогавшего деньги. Священник говорит ей так: «Мария, дочь моя, ты не виновата. Это не ты убила, это война, которая погубила и сына твоего...» Кончается рассказ признанием автора, что все рассказанное — быль.

У **Анатолия Шавкуты** в **повести «Верность»** («Наш современник», № 8) сварщик Паша покупает машину, а тем временем рушится его семейная жизнь. Страдает Паша.

В **рассказе Сергея Малицкого «Вещи»** (новый Перек явился!) после смерти старой учительницы оживают вещи в ее квартире. Финал рассказа в «Москве» (№ 9) довольно неожиданный: халатность водопроводчика приводит к взрыву в доме.

Позабавят читателей сочинские **байки «На курорте» Светланы Шишковой-Шипуновой** («Знамя», № 7). Приезжее начальство, здешние оригиналы.

«Садовое товарищество» Марии Лосевой («Новый мир», №7) — юмористические бытовые истории с уголовными поворотами. Неброский сказ о жизни садоводов-дачников. Главное событие **рассказов** — «событие стиля», считает во вводке Ирина Сурат.

Григорий Бакланов («Знамя», № 9) рассказывает о разном. Рядом с **рассказом** о трудной жизни дачного мастера на все руки Семена — **воспоминания** о Борисе Слуцком и просто рассуждения о жизни.

Александр Сегень своей веры не скрывает. Он съездил в Иерусалим на Пасху, о чем и доложил читателям «Нашего современника» (№ 8; **«Пасха в Иерусалиме»**). **Путевой дневник** паломника временами интересен, но отравлен неприязнью автора к евреям, американцам и католикам.

Кубанец **Николай Ивеншев** (**«Семь писем сыну»**: «Москва», № 8) в эпистолярной форме беседует со своим погибшим сыном, рассуждая обо всем подряд. Вспоминает, делится наблюдениями, сурово судит современность.

Рядом с вещами условно и безусловно посвященными современности, есть, как всегда, и нечто ***мемуарное*** или ***отнесенное в прошлое***.

Прозаик из Иркутска **Сергей Сибирцев** в **«Интернатской были»** («Москва», № 9) вспоминает о детстве. «Я рос привередливым юношей». Цепкий, точный взгляд, суровость картин и эпизодов скрашивается мягкостью интонации.

Прозаик из Винницы **Валерий Еремеев** в **повести «Веселые праздники»** («Москва», № 8) рассказал то ли выдумку, то ли быль, как в 40-м году чекист, следуя капризу, спас от смерти арестованного учителя, отдав ему документы погибшего коллеги. Бывший учитель дослужился до начальника лагеря, но к старости стал задумываться, правильно ли он поступил, когда вместо того чтобы просто убежать, стал добросовестно служить в органах.

Алексей Варламов в **рассказе «Присяга»** («Новый мир», № 8) вспомнил, как он проходил военные сборы под Ковровом, в андроповские времена. Идиотизм армейской службы то ли ослаблен, то ли усилен у писателя наплевательским отношением к делу офицеров с военной кафедры. Но есть среди них один фанатик, который решил всерьез готовить студентов МГУ к войне, которая, как казалось тогда, грянет не сегодня-завтра. (Во всем этом рассказе и цепляет точная фиксация ароматов того исторического момента, когда, мне помнится, в магазинах начали скупать спички и мыло).

В **повести Бориса Шишаева «Пыль придорожная»** («Наш современник», № 8) живописцу Дробцеву, однажды в советские еще времена попавшему в Югославию, легла на душу эта страна. Впоследствии он *хату покинул, пошел воевать* и геройски погиб вместе с любимой женщиной, не сдавшись всякому уголовному сброду.

Денис Гуцко, опираясь на воспоминания своего отца, рассказывает о перипетиях грузинско-абхазской войны и о людях, которые попали в эту ловушку истории (**«Апсны абукет»**: «Знамя», № 8). Басаев берет Сухуми.

Вениамин Додин в **повести «Густав и Катерина»** («Москва», № 7) рассказывает о романе своей тетки, балерины Екатерины Гельцер, и барона Маннергейма, будущего генерала и президента Финляндии, о других своих родственниках и их знакомых, рассуждает о месте евреев в истории России.

Художники **братья Ткачевы** в «Нашем современнике» (№ 7: **«Становление»**) довольно занудливо вспоминают, как славно они жили в искусстве.

Покойный Вадим Кожинов — главный герой **Станислава Куняева** в очередной порции **мемуаров «Поэзия. Судьба. Россия»** («Наш современник», № 7).

Это попытка портрета одного из самых незаурядных людей из тех, кого встречал Куняев, кто дарил его своим общением. Много подробностей, но есть один штрих, который бросает неожиданный отсвет на повествование. Автор признается, что, несмотря на давнее знакомство, он так и не знает, был ли Кожинов человеком верующим.

В «Знамени» (№ 8) продолжается публикация **записей** поэта **Константина Ваншенкина «В мое время»**. Темы разные. Красноречивые подробности. Ударные акценты. Возникает подозрение, что из таких мелочей и складывалась жизнь. А было ли в ней еще что-нибудь? Сие неведомо.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Б. «Дружба народов», «Октябрь», «Урал»

В последнее время многие авторы обращаются к теме **РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ** самого различного толка. Часто тема уводит их либо к вульгарной эзотерике, либо к макабрическому смешению монотеизма с неоязычеством, либо к экстатическим ересям. Порой материал подается в ироническом ключе или даже откровенно профанируется, как это можно наблюдать в **романе Дмитрия Стахова «Арабские скакуны»** («Дружба народов», № 7, 8). Текст представляет собой двуплановую конструкцию. Верхний слой решен в духе криминального боевика с вкраплением мистики. Задействованы все обязательные штампы — убегалки-догонялки, трупы, широкомасштабная эротика, деньги (как постоянный антураж и основной мотив преступлений), и рядом — всякого рода паранормальные явления, сопровождающие адептов нововозникшей секты, чей вождь и учитель зверски убит (распят!) неизвестными злодеями. Следующий уровень демонстрирует пародийное переосмысление фигуры Спасителя, зашифрованной в образе убиенного вождя, осквернение смысла Непорочного зачатия (на отцовство претендует штук пять разных персонажей, поскольку мать дала каждому из них основания для подобных предположений. Заметим, что и ее мать, в свою очередь, со всеми будущими кандидатами тоже зачем-то «перезнакомилась»), и вообще девальвацию духа всего Нового завета. Комментировать этот опус считаем излишним.

Нина Горланова и Вячеслав Букур в повести «Сторожевые записки» («Октябрь», № 7) направляют рассказчика-христианина зарабатывать на хлеб насущный в синагогу — сторожить и за дополнительные деньги преподавать желающим иврит. По задумке авторов, текст, кажется, предполагал некоторую «философскую» нагруженность — но на деле выступает скорее сборником претендующих на комичность мизансцен. Основная идея довольно банальна — все люди, независимо от вероисповедания, обладают и достоинствами, и недостатками.

Совсем иначе подошел к предмету **Владимир Скрипкин**. В **романе «Тинга»** («Октябрь», № 8) он заставил героя — сильно пьющего художника — вступить на тропу войны с ангелом-демоном, который отчего-то прозрел в этой (довольно ничтожной, по нашим впечатлениям) фигуре загадочного прозорливца, способного усмотреть генеральную ошибку мирозданья. Для выяснения одному ему ведомой цели он опрометчиво забросил художника в далекое прошлое к какому-то степному народу, где тот должен был исполнять функции жреца.

Художник обвел ангела вокруг пальца и самовольно пресек человеческие жертвоприношения. Ангел, оказавшийся никем иным (внимание!), как *частью раздвоившегося Бога*, долго и бесплодно полемизировал с художником, пришел в ярость, попытался уничтожить хоть одного младенца в долгой цепи реинкарнаций, но так ничего поделать и не смог. В финале вернувшийся в настоящее художник объясняется в любви к познанной им второй божественной половине, а заодно и ко всякого рода азиатчине. Богу, между тем, благодаря хитроумным ходам художника, кажется, удается слиться в единое целое... Автора, судя по всему, нисколько не затрудняет абсурдность и алогичность собственного «теологического» посыла — почему Демиургу и Высшей творческой силе вселенной приходится подчиняться воле и замыслам им же созданной букашки? Впрочем, если исходить из текста, авторское сознание не замутнено даже поверхностным знакомством с религиозной философией. Симптоматично и довольно рискованное смешение представлений из принципиально несводимых религий — моно- и политеизма, например. Впрочем, этот случай в современной литературе далеко не исключительный, так что смело можно говорить об определенных тенденциях в современном мировоззрении вообще.

В символико-аллегорическом ключе подает тему **Владимир Кантор**, поместивший героя **романа «Записки из полумертвого дома»** («Октябрь», № 9), профессионального философа и писателя, в больницу, где он переживает ряд непонятных «приключений». Палатный врач оказывается не просто бытовым хамом с русофильской подкладкой, но религиозным фанатиком, борющимся с грехом как таковым и для того приносящим некоторых избранных пациентов в жертву. Жертвой, естественно, назначен болезный философ. Автор обыгрывает образ Троицы, придав хирургу-садисту столь же фанатичного ассистента и еще одного врача, напротив, отличающегося мягкой и любезной манерой, причем в тексте специально оговаривается, что никто и никогда *не видел эту троицу вместе*. В романе также действуют три медсестры, образы которых могут прочитываться и как аллюзии на образы античных (то есть *языческих*) парок (одна из них, по имени Сибилла, обладает к тому же способностью к безошибочным предсказаниям), и как отсылка к евангельским образам (Магдалины, Марии, Марфы). Текст представляет собой чередование бытовых больничных сцен и сновидных «путешествий» философа, когда он подслушивает и подсматривает не предназначенные для посторонних беседы, открывающие тайную жизнь больницы. Спасает героя случайность — любящая жена и друзья жалуются по начальству, и героя целым и невредимым отпускают долечиваться домой. В финале рассказчик делится соображением, что случившееся, возможно, лишь плод его пораженного болезнью воображения, и выражает сомнение: следовало ли вообще предавать это огласке? Роман явно претендует на категорию философского, но до этого уровня не дотягивает — ревизия теософии принимает здесь облик невразумительной базарной разборки. Не оставляет сомнений и основной объект нападок писателя — православие с эдаким национально-матрешечным душком, который европейцу Кантору глубоко неприятен.

Как всегда, большинство авторов просто описывают **ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ**. Очевидно, что для создания глубокого текста на столь расплывчатом

основании нужен не только изрядный талант, но и четко сформулированная сверхзадача. А поскольку эти требования достаточно высоки, то уровень в подавляющем большинстве оставляет желать лучшего.

Многие авторы при этом так или иначе строят повествование, отталкиваясь от самых разнообразных ***форм любви***. Точнее — ***любви к самым разнообразным объектам***.

Самым лучшим из этой плеяды следует назвать **роман Афанасия Мамедова «Фрау Шрам»** («Дружба народов», № 8, 9). В нем много любовных линий, нарочито подчеркнутых, как бы создающих внешний, наэлектризованной эротическим полем, слой. До некоторой степени это «ложный выпад» — на самом деле речь в романе совсем о другом. О внутренней разорванности лирического героя, обусловленной тем, что его родина, «естественная среда обитания», взяла и исчезла с карты мира (он — бакинец, по национальности еврей, перебравшийся в Москву). Теперь он обречен на вечную роль «свой среди чужих, чужой среди своих». Повествование строится на резких скачках из пространства в пространство (Москва — Баку — Москва) при том, что каждая из «реальностей», окружающих героя в данный момент, обнаруживает черты несколько ирреальной фиктивности.

Метафора отъединенности, которую герой бессознательно пытается преодолеть, «проваливаясь» в любовные романы, усложняется навязчиво преследующим его параллелизмом — начиная с женских имен и кончая сходством всякого рода сопутствующих обстоятельств. Герой словно бы нарочно стремится запутать все в единый клубок, чтобы создать хотя бы иллюзию совместившегося несовместимого. И одновременно — столь же нарочито — манифестирует свое одиночество и как бы обреченность на несоединение с чем бы то ни было.

Отдельная линия романа — грязные махинации финансово-политической бакинской элиты, наживающейся на войне и физическом истреблении своего же народа. Еще одна значимая метафора: «борьба и единство противоположностей» — верха и низа, которым придан безусловно символический смысл. В тексте метафора реализуется прежде всего как иерархия бакинского дома, где три этажа, еще в советское время, были заселены простыми жильцами, на последнем же обитали сильные мира *того*. Как оказалось, и в суверенном Азербайджане ничего не изменилось. А если и изменилось, то только к худшему. Впрочем, в этом смысле, вероятно, не изменилось и в Москве (правда, здесь, по меткому наблюдению героя, «верхние люди» живут теперь в отдельных домах и с простыми смертными так просто не пересекаются). В Баку же, в силу, видимо, так и не преодоленной провинциальности, сосуды сообщаются слишком свободно: герой оказывается невольным соучастником некоей грязной игры, от последствий которой вынужден опять бежать — обратно в Москву.

Однако если и приходится ставить этот роман в разряд «любовных», то руководствуясь отнюдь не его «эротической» составляющей: главная любовная линия лежит в этом тексте глубоко под поверхностью. И это чувство называется ностальгией. Подспудная, но отчетливо прочитываемая тоска по утраченному, которая пронизывает весь текст насквозь, встраивает его в парадигму прозы послереволюционных российских эмигрантов, переживавших, по-видимому, очень сходные чувства... Это впечатление поддерживает и очень

достойный стилистический уровень, позволяющий отдаваться «медленному чтению», а не проскакивать через фразу, к чему обычно подталкивает большинство современных романов.

Повесть Анны Матвеевой «Сладкая отрава униженний» («Урал», № 8) обыгрывает довольно щекотливую ситуацию: три неразлучные подружки-школьницы влюбились в одного — рок-звезду местного масштаба (дело происходит в провинции). Легкий и ироничный стиль повествования прячет под собой драму — повзрослевшие подруги, казалось, уже навсегда расстались с детской влюбленностью, как вдруг одна из них внезапно возвращается в родной город и в конце концов добивается того, что несколько растерявший былой блеск музыкант становится отцом ее ребенка. Однако замуж за него выходит совсем не она, а ее подруга, которой тот внезапно делает предложение. Основным достоинством текста можно считать психологизм, поданный, впрочем, в достаточно завуалированном виде, и отсутствие всяких сентиментальных нюнь.

Остальное, увы, оставляет желать лучшего.

Дмитрий Шеваров в рассказе «Легко под небесами» («Урал», № 7) предается воспоминаниям юности, когда съездил на сутки с любимой девушкой в Москву. Лирическим пассажам не хватает индивидуальности, а всему тексту какого-то завершающего аккорда. К тому же не вполне прояснен источник вялотекущей грусти — видимо, с девушкой пришлось впоследствии расстаться, но о причинах рассказчик почему-то умалчивает.

Дина Рубина в жанре **хаотических заметок («Иерусалимцы (четки)»** — «Дружба народов», № 7), включающих, в числе прочего, фрагменты писем к другой писательнице, Марине Москвиной, делится впечатлениями о любезном ей городе Иерусалиме и его обитателях. Основной пафос — город замечательный, люди же, слегка безумные, но оттого еще более очаровательные — лучшие люди на земле.

Рассказы Ларисы Шульман («Дружба народов», № 8) объединены этой же «любовной» темой, взятой в максимально широком диапазоне. Под вычурным названием **«Стихии любви, Дождевая (В жанре акварели)»** скрываются довольно экзальтированные жалобы покинутой (как она думает) женщины. Впрочем, всего через несколько часов возлюбленный возвращается назад... **«С любовью к временам Туркмении»** — отчет о соответствующей поездке, где кульминацией служит посещение затерянных в пустыне развалин Храма любви. **«Один мой приятель» ... речь о России»** совмещает путешествие рассказчицы на родину — в закрытую зону в районе Белого моря — с ироническими замечаниями о разных человеческих слабостях, в число которых входит кондовый патриотизм. С прицелом, естественно, на некое обобщающее начало — словом, речь, как всегда, о России...

Остальные пишут и ***вовсе без всякой любви*** — в самом широком смысле. (Притом — ***обо всем на свете***.) Надо ли удивляться, что в этом разряде ярче всего проявляется закон обратной зависимости читательского терпения от объема и структурированности текста?

По принципу потока сознания и вообще всяческой свободы от каких бы то ни было сюжетных условностей организован **роман Олега Юрьева «Новый Голем, или Война стариков и детей»** («Урал», № 8, 9). Авторская фантазия вольготно пу-

тешествует по Европе, задерживаясь на самых разнообразных и никак не связанных между собой мелочах и нимало не заботясь об общей связности текста. Предельно субъективированное восприятие, которое и составляет, кажется, художественную основу романа, почти не позволяет постороннему войти в этот герметичный мир стилистических изысков и обостренного ментального эстетизма.

Рассказы Александра Хургина («Октябрь», № 7) демонстрируют пыльно-серую изнанку жизни, бессмысленную и чрезвычайно скучную. Один герой, имевший пристрастие к пари, поспорил на нетрезвую голову в ресторане, проиграл, вынужден был публично снять штаны, а потом все маялся, зачем он это сделал (**«Спор»**). Другой вдруг ощутил разрыв связи с миром, сел было писать письмо бабушке, да вспомнил, что она давно умерла (**«Человек по имени Петрищев»**). Полупарализованная старуха злится, что племянник только звонит из Германии, а денег не шлет, и старается наперегонки с мужем съесть как можно больше, чтобы ввести в расход родственников, которые приносят им еду в качестве компенсации за завещанную квартиру (**«Долги»**).

Не многим занимательнее и **рассказы Гелия Ковалевича** («Дружба народов», № 7). Не старый мужчина хоронит мать и отца и остается один в хорошей квартире. Но начинает усиленно пить, не работает — в результате теряет квартиру и становится бомжом. По странной логике автора, виноват в случившемся никак не он сам, а обстоятельства — и бандиты (**«Камень»**). К пожилым сельчанам в гости приезжает беременная дочь с мужем. Но отцу не нравятся ни зять, ни изменившаяся дочь. Он демонстративно проводит все дни в сарае, где строит лодку (!) для будущего внука и мечтает, как поедет кататься на ней с соседским (!) мальчиком (**«Красное утро»**).

Евгений Касимов тоже смотрит на жизнь с самой неприглядной стороны. В **рассказе «Старуха»** («Урал», № 8) семья третирует впавшую в маразм бабушку, которая, впрочем, пока была в силе, сама почем зря третировала домашних. В **рассказе «Серафим»** молодой поэт страдает от непризнанности и заглушает душевное возмущение портвейном. Ему является серафим, который одобряет его стихи, но требует мужества и самоотдачи. Поэт решает, что допился до галлюцинаций.

Таким же безнадежно бессмысленным выглядит бытие и в **повести Александра Чугунова «Палка, палка, огуречик...»** («Урал», № 7). Рассказчик излагает историю случайной семьи, у которой было больше оснований развалиться, чем сохраниться, что в конце концов и происходит. Множество бытовых деталей и подробностей говорит, скорее, о сентиментальной ностальгии автора по прошедшему детству, нежели о чем-то более существенном, с чем обычно ассоциируется художественное письмо. Самый существенный недостаток текста — его непреодолимая провинциальность.

Обзор подготовила Мария Ремизова

В. «Звезда», «Нева»

Ничем особо **ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ** не отличаются в этот раз петербургские журналы. Впрочем, есть один **роман**, заслуживающий того, чтобы на нем

остановиться несколько подробнее. Это — **«Лавра» Елены Чижовой** («Звезда», № 7, 8, 9). Писательница, уже увенчанная за предыдущий роман «Северной пальмирой», теперь радует читателя не просто обширным, воистину нескончаемым текстом, а текстом очень-очень *красивым*. Премия явно вдохновила автора. «Крошки Цахес» тоже были красивой кружевной штучкой. Если в «Крошках...» ученица преданно обожала учительницу, то в «Лавре» предмет обожания поднимается ввысь. Обширные рассуждения идут исключительно о божественном, о высоком, о правде и лжи, жертвах и гонителях, о мучительных духовных поисках... Трепетная героиня, в которой сияет все, от глаз и голоса до слов, живет, как указано в тексте, «беззащитным сердцем». Нет, это не просто роман о метаниях полуошалевшей дурочки в поисках «внутренней свободы» между мужем-священником, возлюбленным Митей, священником отцом Глебом и прочими богоданными ей людьми. Это благоуханный цветник, к которому страшно прикоснуться. Но рискнувший-таки будет изумлен — даже не столько очевидной безвкусицей, сколько безмерным самообожанием, которое прямо-таки хлещет с каждой страницы. Продираться к смыслу романа сквозь эти дебри бессмысленно: красивости и самоупоенный экстаз и есть его смысл. Когда-то Н. Елисеев под словесной шелухой первого романа Чижовой разыскал апологию беспрекословного рабства. Сегодня на-гора выдана апология самовлюбленности и неразрывно связанное с ней мощное самоутверждение.

Если «Лавра» отличалается завитушками в стиле раннерыночного лубка, то **повесть Юрия Чубкова «Колесо»** («Нева», № 4) тяготеет к фантасмагоричности М. Булгакова — в версии «для бедных». Общий мрачный фон повести обусловлен, несомненно, тяготами нынешнего времени, усугубленными мрачными фигурами, которых автор то и дело вытаскивает с того света — Павел I, Сталин и Гитлер, дядя Гена, некогда сгинувший в сталинских лагерях, старичок-профессор, сосед по квартире... Некоторые фразы Чубкова кажутся прямо «вынутыми» из Булгакова. Вот герой внезапно обнаруживает, «что уже не шагает он поспешно по Большому проспекту, а сидит на скамейке в сквере...». Естественно, рядом тотчас обнаруживается и странного вида гражданин... Знать бы только, для чего все это автору понадобилось. Семен Куманин — главный герой — обитает в тексте сам по себе, а призраки-покойники появляются, исчезают и разгуливают тоже сами по себе. Пересечение их чисто формальное. Разве что время от времени герой удивляется, откуда они взялись и куда делись. Сюжет незатейлив: обедневший в перестройку писатель-переводчик любит некую Марию (она представлена почти как блоковская Незнакомка — одним силуэтом), но та предпочитает ему богатого Жореса. Семен убивает соперника, а заодно забирает его деньги. Преступника, естественно, постоянно тянет на место убийства, где вскоре рабочие и обнаруживают закопанный труп. Итог — «Вот едет милиция» (почти что явление Ревизора). Булгаков-Блок-Гоголь-Маринина в одном флаконе.

И в большой и в малой прозе, обращенной к **СОВРЕМЕННОСТИ** прослеживается тема *обнищания и оскудения интеллигента*. **В рассказе И. Офинбаха «Дымшиц и Коровин»** («Нева», № 7) Дымшиц — выученик Бауманки и главный конструктор — вынужден, по крайней надобности, идти на поклон к Коровину — когда-то дремучей серости и бездарности, но ловкачу. Теперь

Коровин — богач и без пяти минут губернатор, а Дымшиц — преподаватель заштатного техникума. Один мучается от бедности и унижения, другой — от переедания. Прямо Толстый и Тонкий. Бедные тени великих...

Рассказ покойного **Михаила Чулаки «Новый аттракцион»** («Звезда», № 7) — из той же серии. Герой, бывший знаменитый писатель Степан Васильевич, вынужден ходить по вагонам петербургского метро с дрессированной собачкой. Своего нового ремесла он не стесняется: заработок честный, собачка умная, почему бы и не пойти с шапкой по кругу, когда в доме ни куска? Где авторы отыскивают такие типажи, к тому же среди интеллигенции, сказать трудно. Как всегда, М. Чулаки описывает немало действительных бед вроде наркомании и преступности (да и бедности — только тут она плохо мотивирована). Жаль только, что в тексте это никак не соединяется с общим сюжетом.

Как бы подытоживают тему интеллигенции и современности **размышления Константина Азадовского «Судьбы его печальней нет в России... (еще раз о гибели русского интеллигента)»** («Звезда», № 7). Но — увы — и тут читатель с трудом отыщет что-то свежее. Размышления запоздали лет на 15. На заре перестройки, когда все казалось почти простым, было бы любопытно прочесть, что «русское поле, на котором спустя полвека махровым цветом расцветет большевизм», взрыхлили интеллигенты или что наша интеллигенция — *другая*, не западного типа. Сегодня почти каждая фраза, рисующая этот коллективный портрет, вызывает возражения. Интеллигенция была безбожной? А русские религиозные философы? Интеллигенция была не способна к созидательному труду? Ну, это если уж совсем забыть не только о Вавилове, но и о «святых земских врачах», как говорила Ахматова...

Лучшее опровержение последнему тезису — публикуемые в том же номере «Звезды» **мемуары** земского деятеля **Н. А. Мельникова**. Перед читателем проходит правдивая жизнь казанского земства предреволюционного двадцатилетия. Н. Мельников, потомственный дворянин, делал все для предотвращения русского бунта, занимаясь делом благоустройства. Тоже — интеллигент...

Из прозы, обращенной к ПРОШЛОМУ, не менее интересны дневниковые записи **Дэвида Бакстона «Путешествие по северной Руси»** (перевод с англ. А. Ставиской, «Звезда», № 7), относящиеся к 30-м гг. минувшего века. Взгляд автора-иностранца на быт России, только что пережившей ужас коллективизации, незашорен. Англичанину странно видеть огромный спрос на рабочую силу, словно перед ним не цивилизованная страна, а дикие степи. Он наивно удивляется, что сколько рабочий в России ни зарабатывай — купить все равно нечего. Привилегированность одних (ученых, писателей, актеров) и нищета других, причем именно тех, кого официально называют хозяевами, — все это спокойно констатирует несколько флегмантичный взгляд иностранца.

В рассказе Е. Арнаутова «Петербург — Эдинбург — транзит» («Нева», № 9) герой — один из тысяч и тысяч бывших рабочих, которых некогда власть использовала на полную катушку. Вечно голодное житье, бараки, коммуналки, под старость — куча болезней и ощущение собственной выброшенности из жизни. Теперь этот «Леша-Алексей-Саныч — тов. Темин-Темный» — пенсионер, вдовец, не чуждый выпивки, имеющий богатого сына и невестку в Эдинбурге. Темному трудно, одиноко, пусть даже сын изредка навещает, но — чужой

он, сын-то... Темный умирает, что вызывает у автора финальную фразу — «Светлой памяти Темного». Эмоциональным пассажем кончается и другой **рассказ** этого автора — **«Должник и его ночь»**. Некий Островский пересчитывает долги и ищет, у кого бы занять денег. Автора волнует глобальный вопрос — что должен Островскому Бог: «ибо на то ты и Бог, чтобы брать на себя человеческие долги. И никакой Христовой крови не хватит, чтобы погасить хотя бы часть их». Хочется верить, что это говорится не всерьез...

Нина Катерли в **рассказе «Яд для тети Шуры»** («Нева», № 7) вспоминает быт коммунальной квартиры на Петроградской, где жила интеллигентная дама «из бывших» Елена Константиновна с сыном и невесткой. Девочка (героиня рассказа) любит Елену Константиновну и терпеть не может ее «толстозадую» невестку — тетю Шуру. Та явно связана с «органами»: недаром девочка смертельно испугалась своей шутливой (но с политическим, как кажется всем, оттенком) фразы. Для тети Шуры девочка и готовит свой игрушечный «яд», находя утешение в самом его приготовлении. **Рассказ «Мама и академик»** — о будущем академике Льве Арцимовиче, в далекие послереволюционные годы — рассеянном студенте-физике.

Приятно, что «Нева» в своем 9-м номере не забыла отметить очередную годовщину начала блокады. Безыскусные **воспоминания** ленинградского мальчишки, ныне уже заслуженного человека **Лазаря Ратнера «Вы живы в памяти моей»** рассказывают о жизни (точнее, о гибели) одной семьи. Умерли от голода все, включая малыша, недавно начавшего ходить. В таких воспоминаниях пронзительнее всего невыдуманные детали — то, чего нет ни в каких официальных материалах. Ратнер помнит и братишку, внезапно переставшего ходить и говорить, и сваренную в супе кошку, и страшные случаи людоедства (которое не было в блокадном городе чем-то из ряда вон выходящим), и задохнувшихся в бомбоубежище женщин и детей.

Ту же тему продолжает и **Виктор Петерсон** в **записках «Из блокады — на Большую землю»**. Тоже блокадный ребенок Петерсон пишет об ужасах эвакуации — зачастую плохо организованной, из-за чего изможденные люди погибали кто на платформе, кто в пути, кто на чужих вокзалах.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная критика

«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Литературная газета», «Москва», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Новый мир», «Октябрь», «Урал», Сеть

Продолжение дискуссии в «Литературной газете» о *состоянии современной литературы* («Сумерки литературы: закат или рассвет?») показывает, как важно вовремя закончить начатое обсуждение. Уже давненько газета печатает мнения, которые ничуть, как правило, не интересны. **Сергей Тамилин** (№ 27) ругает Пригова, Рубинштейна и Вс. Некрасова (озорники же! хулиганье!). **Юрий Вигорь** (№ 31) подвизается в качестве уличного книготорговца и на этом ос-

новании авторитетно заявляет, что народ жаждет остросоциального романа, сатирического романа, «писательской Голгофы». **Руслана Ляшева** (№ 33) никакого заката не видит. Литература цветет, свидетельство чему — новые романы М. Попова и О. Славниковой. **Юрий Рябинин** (№ 33) сопоставляет литературу «патриотическую» и литературу «либеральную»; от одних таких определений с души воротит. **Вячеслав Саватеев** (№ 33) полагает, что писателям дали много свободы, а они, мерзавцы, не умеют ею пользоваться. Есть вещи поважнее свободы: созидательный настрой, писательская совесть. **Вячеслав Куприянов** (№ 39) сетует на засилье детектива в меню читателя. Выдавливаются «тексты высокого порядка». Появился в «ЛГ» (№ 35) и газетный вариант статьи **Олега Павлова**, полностью напечатанной в «Континенте» (№113).

Гораздо важнее и принципиальней высосанной из пальца темы литгазетной дискуссии те вопросы, которые ставят на материале литературы критики, серьезно размышляющие о **КУЛЬТУРНЫХ АЛЬТЕРНАТИВАХ РОССИИ И МИРА**.

Леонид Шевченко в статье **«Скажем: огонь»** («Знамя», № 7) размышляет о старых и новых левых в литературе и в жизни. Он в свободной манере делится впечатлениями о вышедших в 2001 году «симптоматичных книгах». Это — «Нечаев» в серии «ЖЗЛ» («агиограф» Ф. Лурье) и «документальный роман» И. Стоголfa «Революция сейчас!». Шевченко, кажется, считает, что 400-страничный труд просвещенного либерала Лурье окажется «троянско-российским пони». Лурье «не в курсе, кто скрючился во чреве его деревянно-бумажного сувенира для всех экстремистов: а там живой Сережа Н. Так бывает. И я уже вижу наяву увлеченного радикала, с аппетитом потребляющего биографическую часть и пропускающего «вегетарианскую закуску»». Ведь уже написан новый «культовый революционный роман»: в начале «Революции сейчас!» вождь «Народной Расправы», сбежавший в 81-м из Петропавловки, отсиживавшийся все это время на конспиративных квартирах и вынырнувший в наших 90-х под именем «Алексея Цветкова», отчитается перед нами: «В скупо освещенных подвалах мы изучали устройство коктейля Молотова, штудировали Каддафи, Мао и Муссолини, слушали «Гражданскую Оборону» и пили дешевый портвейн... Мы вставали район на район с заточенными напильниками в карманах. Город учил нас, что нет никакой свободы, кроме отвоеванной... Мы похоронили хрестоматийный образ диссидента: иисусоподобного аспиранта, кудахтающего о своих правах. Его место занял парень в черной коже, любящий и умеющий драться». У Ильи С. — «натюрморт поколения», где черепа, приспособленные под пепельницы, гранаты Ф-1 и том Маркса или Бакунина. Интервью, газетные лохмотья, новости в режиме on-line, популярные исторические экскурсы. Созидатели, занятые приватизацией и прочими неотложными делами, не заметили, как за их широкими спинами появились увлеченные молодые разрушители. Мода на левизну. Причем настоящая, сверху не навязанная. Влечение к революционерам, к бунтарям — влечение инстинктивное (или патологическое?), сравнимое разве что с сексуальной тягой: Революция здесь (а также ее олицетворение — протестный адепт) — женщина-вамп с алым зовущим ртом, с декадентской папиросой.

Кстати, в «Русском журнале» представитель «левой литературы» **Алексей Цветков** 23 июля полемизирует с Вадимом Дьяковецким (**«Ответ Вадиму Дья-**

ковецкому, или Литература как партизанская база»). Цветков на довольно наукообразном языке пытается концептуально обосновать неизбежность оппозиционности литературы по отношению к власти.

Роману как жанру посвящена статья **Василия Аксенова «Чудо или чудачество»** («Октябрь», № 8). Упадок в этой области стал заметен уже в начале шестидесятых. Именно тогда мир встревожился кризисом жанра, а советские идеологические комиссары призвали дать отпор заговору против реалистического романа, организованному спецслужбами Запада. Молодые же советские романисты, и в их числе автор статьи, не придали дискуссии сколько-нибудь серьезного значения. Прошли годы, и процесс стал очевиден всем: «цикл этого жанра приходит к своему завершению». Но Аксенов рассказывает об эволюции романа, его истории, его философии, печальной деградации его читателей не ради ностальгического всхлипа. Еще не везде «литература принадлежит народу», потому что народ платит наличными. Исключение составляет Россия — по выражению автора, «самая молодая капстрана». Дела здесь тоже обстоят не блестяще, но роман в традиционном смысле — роман самовыражения — все еще жив. Автор выражает надежду, что у *нашего* романа шансы выжить есть. Но для этого прозаики должны прекратить погоню за длинным рублем и популярностью, а читательский круг — сузиться еще больше. И если возникнет «заговор посвященных», когда читатель сделается соавтором сочинителя, а поэтическая ткань романа будет и дальше стремиться к слиянию жанров, к возникновению текста, подобного заклинанию, где каждая строка имеет свою ноту, — жанр обретет новую жизнь. Возможно, и само слово «роман» останется достоянием рынка, художественные же тексты получат другое имя. Может быть, — «чудо» или «чудачество».

Наталья Иванова в «Русском Журнале» (**«Сезон скандалов»**, 22 и 27 августа) размышляет о взаимоотношениях Владимира Войновича и Александра Солженицына (в связи с выходом книги первого о втором) на фоне более общей проблемы: Солженицын и русские либералы. В книге Войнович — наивный, простодушный, Солженицын — как должное принимающий восторг общества, знаменитый; Войнович — нерасчетливый, Солженицын — расчетливый; Войнович — внимательный к другим и их нуждам, человечный, Солженицын — самовлюбленный и высокомерный. Противопоставление сохраняется и при переходе от бытового к более общему, принципиальному: толерантность — ксенофобия, похвальная светскость — религиозный фундаментализм, широта мировоззрения — идеологическая ограниченность. Ни в чем, кроме писательства и отношения к советской власти, они не совпадают. Но если в «портрете на фоне мифа» темные краски сгущаются и сгущаются, то автопортрет на фоне портрета все высветляется и высветляется. И это самая уязвимая точка всего произведения. Писатели ничего никому не обязаны, кроме одного: писать так, чтобы их было интересно читать. Интересно ли читать книгу Войновича? В первой части. Интересно ли читать мемуары Солженицына? Интересно. Там, кроме оценок и размышлений, подчас раздражающих, много новых фактов. Несмотря на все преувеличения и передержки. Несмотря на его несправедливость по отношению ко многим людям. «Отрицательное обаяние. Есть такой термин в артистической среде. И у мемуаров Солженицына — наряду с положительным

есть и отрицательное обаяние. Но обаяние». Иванова разбирает также книгу Солженицына о евреях в России и приходит к выводу, что она — имплицитно антисемитская.

Другой скандал сезона связан с фигурой Владимира Сорокина. Резко критичную статью по отношению к нему и его защитникам разместил в «Русском Журнале» **Илья Смирнов** (**«Простиллигенция. Эксперимент продолжается»**, 29 июля). «А какое еще — кроме похабного, — художественное, интеллектуальное, нравственное содержание обнаруживается в «произведениях» господина Сорокина? Фекальное?»

Критичен к Сорокину и **Виктор Никитин** в литературном интернет-журнале «Русский переплет». **«Тень должна знать свое место!»** — памфлет. Никитин объявляет: нет такого писателя — Владимир Сорокин. Это всего лишь внелитературный проект под названием «владимир сорокин», долгоиграющий перформанс. Кому может нравиться проект владимир сорокин? Да тем, кто литературу терпеть не мог и читать не любил! Какая в нем новизна? Это уже все было давным-давно. Почитайте маркиза де Сада. Весь сорокинский проект напоминает обыкновенное собрание нецензурных анекдотов. Время такое наступило: псевдоинтеллектуальная блатота поперла. Певцы заборной грамоты потянулись к Олимпу. Сорокиных надо не запрещать, а наоборот, выпускать из тени в свет. Чтобы поежились от яркого света. Сразу попросились бы в свой загаженный угол. Колонный зал, можно, или Кремлевский дворец. Послушать, что там они мямлить будут. Народ разберется. Еще и спасать сорокиных надо будет от их любви. В крайнем случае, мухи налетят и облепят кучу. В итоге справятся. Так пишет Никитин.

Защищают Сорокина в «НГ Ex libris» 3 октября писатели **В. Личутин**, **А. Проханов**, **В. Бондаренко** и примкнувший к ним **С. Болмат**. Желающие могут полюбопытствовать.

Андрей Урицкий в статье **«Хроники локальной войны»** («Знамя», № 9) судит прозу молодого автора Аркадия Бабченко. Он пишет о Чечне, что обусловлено его биографией: воевал дважды — сначала как солдат-срочник, потом по контракту. В современной словесности чеченская тема не в новинку, но если книга Вячеслава Миронова «Я был на той войне» — это честное свидетельство боевого офицера, если Александр Проханов в романе «Идущие в ночи» создает идеологическую конструкцию, встраивая в нее похожих на марионетки персонажей, глубоко, ему, автору, безразличных, то Бабченко, кажется, впервые высказывается от имени простого солдата. Его рассказы — череда моментальных фотографий. Выразительный образ — вода с мертвечиной, отравленная вода, которую пьют солдаты. Вся война — это и есть сочетание жизни с не-жизнью; Чечня — место, где жить нельзя, но где живут и воюют. В повести «Алхан-Юрт» появляется публицистическая риторика. Бабченко близка проза позднего Виктора Астафьева с ее жестокой окопной правдой, неприкрашенным натурализмом, солдатской прямотой и солдатским взглядом на окружающий мир. Но есть одно отличие. Почему война? ради чего война? — впервые такие возникают вопросы. Бессмыслица войны становится центральной темой повести.

По мнению **Марии Ремизовой** (**«Бойна изнутри и снаружи»**: «Октябрь», № 7), непопулярность военной темы — свидетельство того, что общество не готово

смотреть правде в глаза. Попытки осмыслить военный опыт последних десятилетий не просто редки — единичны. «Кавказский пленный» Владимира Маканина по большому счету к настоящей войне отношения не имеет: этот текст, пронизанный отвлеченным либерально-гуманным пафосом, создан, когда войны, по существу, еще не было. В повести Сергея Тютюнника «Обломок Вавилонской башни» впервые сделано наблюдение: «армия, стоящая между обезумевшими от горя народами, оказывается самой ненавидимой... стороной». Именно отсюда начинается литература, говорящая о бессмысленности как метафизической сути Большой Российской Войны. «Афганские рассказы» Павла Андреева свидетельствуют: жизнь для воевавших осталась на войне, в условиях мира «жизни для них не предусмотрено». Литература, фиксирующая картину общего обессмысливания реальности, сосредотачивается на отдельной личности, действующей в обстановке полного абсурда. Такова война у Аркадия Бабченко («Десять серий о войне», «Алхан-Юрт»). Война здесь обнажает «первичную *физиологическую* основу бытия», главные ее ощущения: холод, голод и страх. Герой переживает трансформацию личности: существовать в безумной реальности войны для него естественнее, чем в безумной реальности мирной жизни. Сегодня правдивая проза о войне — это уже не история целого народа, а личная история человеческой особи, взгляд с самой нижней точки и описание самых низменных вещей. И хотя такой подход давно существовал в западноевропейской литературе, сегодня в России мало-помалу создается *настоящая* литература о войне. Иной подход к теме у «соловья Генштаба» Александра Проханова («Чеченский блюз», «Идущие в ночи», «Господин Гексоген»). Впрочем, подход, типичный для соцреалиста: Проханов тяготеет к взгляду с птичьего полета, откуда хорошо виден Георгиевский зал Кремля, зато невозможно заметить мозоль в солдатском сапоге. Для этого автора война — нечто вроде национально-патриотической игры в солдатики.

Статья **Ольги Славниковой «К кому едет ревизор?»** («Новый мир», № 9) написана по материалам литературной премии «Дебют» и посвящена прозе «поколения next». Одна из примет литературы next — стремление дистанцироваться от постмодернистов. «Новые молодые» не приемлют ни интеллектуальной игры, ни иронии своих непосредственных предшественников. Отсюда и рождается «новый реализм», для которого характерны отсутствие сюжета, саморазвивающихся характеров, а порой и сколько-нибудь заметной дистанции между автором и героем. Случается, что «новых реалистов» заносит или выносит в настоящую литературу, хотя зачастую происходит это помимо авторской воли. В этой связи Славникова поминает Сергея Шаргунова и Ирину Денежкину, Сергея Сакина и Павла Тетерского. Говоря об еще одном «новом реалисте» Аркадии Бабченко, Славникова указывает, что возможности «искренней документалистики» весьма ограничены и дело прозаика — сочинять, только тогда личный опыт автора «отдаст прозе свой лучший сок». Антон Фридлянд, автор романа «Запах шахмат», назван критиком самым урбанистическим и самым «умственным» из всех next'ов. Этот прозаик несет в свои произведения не непосредственные впечатления жизни, а некую сумму усвоенной культуры, которая переживается им как личное. Отдельно в статье говорится о литературной провинции, которая в отрыве от интернета и непосредственных взвиз-

гов моды честно вырабатывает художественные ценности. «Нового реализма» здесь не так уж много, зато преобладает реализм классический, а также фантасмагорический. Лучшим российским провинциальным романом автор считает «Автопортрет с догом» Александра Иванченко. Добрым словом помянуты молдаванин Владимир Лорченков, Алексей Лукьянов из Соликамска, а казанский прозаик Денис Осокин назван не просто человеком с задатками, но настоящим художником. Критик говорит о «поколенческом суверенитете», даже «поколенческом шовинизме», о том, что next'ы — это скорее явление в целом, нежели отдельные личности. И некоторые фигуры, названные в статье, показательны лишь своей типичностью.

В «Нашем современнике» (№ 7) **Капитолина Кокшенева** в статье **«Все та же любовь»** пишет о прозе молодых. Критик ищет новое поколение. Ее не удовлетворяют в качестве лидеров поколения Роман Сенчин, Маргарита Шарапова и Максим Свириденков. У них проза держится отвращением к реальности, презрением к художественной простоте, желанием поиграть в литературу. Свириденков в повести «Пока прыгает пробка» дал образ поколения: «тараканы, сидящие на краю унитаза», которых кто-то придет и смоет. Сенчин пишет о пьяных, обкуренных, угнетенных суицидальными порывами молодых людях. «В Сенчине мы видим, как проросли плевелы, ядовитые сорняки литературы прежнего поколения чернушников. Сенчин и ему подобные — это их литературные дети... Они удивительно бесчувственны и беспечальны. Они холодны и расчетливы. Они и не хотят, чтобы их любили. Впервые в поколении нет "проклятых вопросов". Впервые только "пофигизм" и только "приколы" подменили сильные чувства. Урок такой прозы — душа в ней продана. Эта литература безжалостна, безлюба, бездушна». Осудила критик и написавшего о симпатичном бесе Игоря Малышева, а также Василину Орлову с ее «опытом расстроенного, измененного сознания». «Так на что же уповать тому же Максиму Свириденкову, если своровали у его поколения Большую идею? И я отвечу: только на личность, вооруженную главными ценностями русской культуры и русской мысли». Милее критику Лидия Сычева, Юрий Самарин, Дмитрий Ермаков, Ольга Шевченко... Те, кто печатаются в журналах «Наш современник», «Москва», «Роман-журнал XXI век», «Молоко». Их поиски родины происходят с других позиционных точек — простора и высоты. Ведь и перед ними расстилается все та же картина жизни, с ее мерзостью роскоши и роскошью лжи, но смотрят они на нее новыми глазами. Глазами христианина. «Вера делает нас предстоящими перед Вечностью, а реализм — это последняя живая наша идеология. Это наша сила на фоне катастрофической виртуальности, подменяющей все и вся в политике, в культуре, в истории, в науке. Это наша сила на фоне террора либерализации, это фундамент нашей самой важной, самой нужной миссии — борьбы за свой собственный национальный тип писателя — за человека традиции, то есть за полноту русского в русском человеке».

В критике текущего периода много публикаций посвящено ***осмыслению творчества отдельных писателей***.

В «Русском журнале» состоялась микродискуссия об идеологии прозы модного автора Хольма ван Зайчика. **Ирина Роднянская** в статье **«Ловцы продвинутых человеков»** (18 июля) приходит к выводу, что задача «Евразийской симфо-

нии» Хольма ван Зайчика в том, чтобы, захлопнув окно в Европу, прорубить его в Азию. Творцы новейшей утопии обращаются отнюдь не к дугинцам — им важно переориентировать так называемую передовую интеллигенцию. И тут они действуют очень тонко, используя новейшие фобии и пристрастия.

Роднянской возражает **Никита Елисеев** (**«Ниже уровня моря»**; 2 сентября). Когда одни обвиняют Хольма ван Зайчика в русском фашизме, а другие — в хитром подрыве изнутри русской православной цивилизации, можно быть уверенным: Хольм ван Зайчик — ни в каком случае не фашист и не антипатриот. Хольм ван Зайчик полагает, что к истине ведут разные пути — и христианство, и конфуцианство, и ислам, и буддизм, и иудаизм; Ирина Роднянская полагает, что путь к истине — один: христианство. Хольм ван Зайчик полагает, что главное в религии (или в религиях) — социальная регулировка общества, для Роднянской сама мысль об измерении уровня социальной полезности религии (или религий) — не столько даже кощунственна, сколько — нелепа. Социальная полезность получается сама собой, не это главное, главное — личностное, космическое и экзистенциальное, а социальное — уж как получится. Кто прав в этом споре? И тот, и другая. «Это — нерешаемый спор, это спор антиномий». Далее Елисеев рассуждает о Хольме ван Зайчике как о типичном представителе петербургской культуры, петербургского утопического проекта.

Валерий Шубинский в «Знамени» (№ 9) в статье **«Подробности письмом, или Нечто о реализме на двух нехарактерных примерах»** рассуждает о современном реализме. Техники литературного письма, которые традиционно относились к «реалистическим», никуда не исчезли. Они успешно функционируют и в той словесности, которую принято считать массовой, и в той, которая хотела бы числить себя элитарной. Так называемый реализм жив. «<НРЗБ>» Сергея Гандлевского — одна из интереснейших книг 2002 г. Гандлевский-прозаик («Трепанация черепа»), по Шубинскому, интереснее, чем Гандлевский-поэт. Эмоциональность, мужественная чувствительность, скупая слеза, стекающая по небритой щеке, жизненный опыт богемного мачо; плюс рефлексия и жесткость, которых стихам часто не хватает. «<НРЗБ>» отсылает к традиции Юрия Трифонова. На композиционную традицию интеллектуальной советской прозы семидесятых «накладывается стилистическая школа... скажем, Олеши». Достойная традиция. Хорошо написанная книга. Не нравится же Шубинскому, что Гандлевский изобразил демонического чекиста Никитина слишком умным. Неправдоподобно. Реалистические методы перестают работать, когда автор касается людей и вещей, которых до смерти боится. Их место занимают приемы из арсеналов романтизма. В мир трифоновской повести врывается зловещий венецианец в маске, с кинжалом под плащом, воплощение Фатума — и доигрывает свою роль до конца. Затем Шубинский критически анализирует роман Олега Постнова «Страх», который находит целиком неудачно придуманным; «в концепции романа есть трагический порок». Задача, поставленная перед собой Постновым, сама по себе любопытна: описать жизнь героя в СССР, избежав упоминаний о чем бы то ни было специфически советском. О, если бы автор делал то, что делает, с долей иронии. Но возникает подозрение, что автор не играет с нами в тонкую игру, а действительно представляет себе таким образом красивую жизнь сына советского дипломата.

В статье **«Все прочее и литература»** («Новый мир», № 8) **Владимир Губайловский** замечает, что, если в поэзии Гандлевский сам создает образец, то в романе — лишь следует образцам.

А в № 8 «Дружбы народов» роман Гандлевского удостоен сразу трех отзывов. **Дмитрий Кузьмин** (**«О нелюбви и неловкости»**) ставит автору в вину, что тот, умея в стихах выразить «мучительную гримасу нелюбви к себе, неловкости собственного существования», в прозе эту «нелюбовь к себе выворачивает в как бы объективное недостоинство описываемого субъекта». Критик делает несколько тонких филологическо-психологических наблюдений, доказывая механизм авторской «проекции», которая, по его мнению, служила в этом романе чем-то вроде психотерапии, запрятанной под целым ворохом цитат, аллюзий и исторических параллелей.

Еще строже отнеслась к роману **Елена Иваницкая** (**«Акела промахнулся»**). Не раскрыт здесь оказался «главный событийный секрет судьбы» главного героя — он или не он сдал КГБ компанию стихотворцев-студийцев во главе с подпольно знаменитым поэтом, что всем им сломало жизнь, а «старшего» довело до самоубийства? Безлика и неубедительна главная героиня, предмет любовного вожделения аж трех центральных персонажей — а ведь именно эта линия выступает сюжетным стержнем романа. Но самый существенный прокол — вставленные в текст стихи, призванные подтвердить гениальность погибшего поэта, но дотягивающие лишь до самого среднего уровня. «Культурная цветная игра» — таков вердикт критика.

Зато **Леонид Костюков** (в своем неизменном амплуа адвоката и апологета), использовав каскад парадоксалистских и, на первый взгляд, эффектных формулировок, по его собственному выражению, «поклялся в любви к роману «<НРЗБ>» (**«Мы взяли неправильный галс...»**). К сожалению, о сути романа он не сообщает ничего. Равно, как и его художественных особенностях. Единственное высказывание по существу (выделенное, кстати, жирным шрифтом): «Мне понравился роман «<НРЗБ>», потому что за его страницами я увидел и почувствовал жизнь живых людей», — остается не подтвержденным *никаким критическим анализом*. Случай, увы, для сегодняшней критики слишком симптоматичный.

Владимир Губайловский в статье **«Волна и камень»** («Дружба народов», № 7) задается целью выяснить, отчего поэзия и проза стали в последнее время так взаимопроникновенны, так много пытаются заимствовать друг у друга. Упомянув несколько других примеров, для подробного анализа критик берет поэму Инны Кабыш «Гуляй-поле» и повесть Анатолия Гаврилова «Берлинская флейта», дополнив для убедительности разбором отдельного пассажа все из того же романа Гандлевского «<НРЗБ>», где один персонаж дает характеристику стихам другого. Критик приходит к выводу, что таким образом оба рода современной литературы пытаются преодолеть сложившуюся и уже отягчающую иерархичность: поэзия, отказываясь от рифмы и размера, проза, наоборот, эти рифму и размер подхватывая, оказываются чем-то вроде «пограничья», где, благодаря нарушению устоявшихся законов, связи между словами и смыслами предельно обострены, что, по мнению критика, значительно повышает художественный эффект. Впрочем, сегодняшняя ситуация не уникальна. Что-то подобное уже происходило — на стыке классицизма и романтизма, а также в начале XX века.

Со временем будут выработаны принципы новой иерархии — «но она будет гораздо более сложной, не всеобщей, с меньшей инерцией, гораздо более субъективной, а значит, человечной».

Александр Касымов предлагает читателю (**«До музыки, ре, ми»**, «Знамя», № 8) лирико-критический этюд — тоже о «Берлинской флейте» Анатолия Гаврилова. Недоросль, боящийся жизни, но мечтающий о подвигах, допустим, на антикриминальной ниве, уступил у Гаврилова место эдакому Адриану Леверкюну, ожидающему наплыва вдохновения и, возможно, боящемуся этого прилива. Еще вопрос: справится ли он со шквальным ветром в свои же паруса? Прежние персонажи были одержимы, скорее, навязчивыми идеями. Их возвышенное полоумие не украшало жизнь, а делало ее жалкой. Теперь романтический идеализм, кажется, пришел на смену ироническому натурализму.

Александр Коваленко в статье **«Эффекты юношей питают»** («Знамя», № 7) довольно критично пишет о романе Анатолия Азольского «Диверсант» и о другой прозе писателя. Азольский приятно непредсказуем и в то же время легко узнаваем по одному ему присущим динамизму стиля, напряженности сюжета, остроте ситуаций и выбору временной или географической «точки» российской истории. Его мир кажется достоверным, выглядит правдоподобно — но ловишь себя на мысли: этого не было, того не могло быть — «потому что не могло быть никогда». В угоду «драйву», то есть остроте сюжета и динамизму повествования, принесен в жертву более важный эффект — художественной правды. Вовсе и не реалист Азольский, а самый настоящий «постмодернистский писатель», у которого все подчинено самодостаточной игре; который создает новый художественный «метанарратив», «делегитимируя» старые представления об истории.

В сетевом издании «Топос» 23 августа **Евгений Иz** пишет о финалисте Нацбеста Ирине Денежкиной. Сама по себе книга «Дай мне!» фактически нацбестселлером не является. Но она к нему очень близка по ходу той истории, что произошла вокруг премии: радикально противоположна победившему Проханову и по возрасту (и полу) автора, и по манифестируемым ценностям, и по самому взгляду на современный мир. Сборник коротких рассказов описывает мир современной молодежи сугубо от лица этой молодежи, ее языком, ее представлениями. Молодые беззастенчиво инкрустируют свою речь матом, пьют пиво, курят траву, слушают любимую музыку и ходят на концерты молодежных групп. Они говорят на последней 2001 — 2002 года модификации сленга, на 50% состоящей из терминов интернета. Они жесточайшим образом избивают друг друга. Они сами пытаются свести счеты с жизнью в неполные двадцать лет. Но самое основное — они в поиске. В поиске любви, о которой знают, что она будет первая. И в наши дни к первой любви, оказывается, удается пробиться лишь сквозь плотный и озадачивающий заслон секса. Пишет Денежкина просто, но при этом точно и метко. В книге не обозначено серьезных тем — и это главный ее недостаток.

4 сентября там же **Иz** разместил статью **«Продолжая дело Керуака»**. Керуака продолжает у него Дмитрий Григорьев, петербургский поэт, писатель и художник (книга «Господин Ветер»). Пишет о хиппи и об их классическом средстве передвижения — автостопе. Пейзажи, города и люди — наши, отечественные, с присущим им известным колоритом. Роман полон хипповских баек,

анекдотов и дзенских притч, снабжен словарем сленга. «В романе много близких каждому молодому русскому интеллектуалу суфиев, Кастанеды, Лао-цзы, Бодхидхармы, Маккены и марихуаны». Получилась отличная книга о любви и свободе, веселая и серьезная, умная и простая.

В статье **«Империя без народа»** («Москва», № 7) **Капитолина Кокшенева** делится соображениями о романе Павла Крусанова «Укус ангела». Выводы ее суровы. Крусанов строит анти-Россию. Создает роскошную *маску* империи, главным качеством которой является расширение пределов войной. Империи без народа. Кокшенева фиксирует появление новой, имперской конъюнктуры на книжном рынке.

Напротив, **Владимир Винников** («День литературы», №9) определяет Крусанова как постмодерниста-патриота.

Та же **Капитолина Кокшенева** в «Русском переплете» с редкой для нее экспрессией рассуждает о романе Александра Проханова «Господин Гексоген». Это ее лучшая статья. От романа критик не оставляет камня на камне. Согласно прохановскому замыслу, единым целым, осью, что держит мир, объявляется Великая геополитическая комбинация конспирологов (под стратегическим названием «Америка-Европа-Россия»). И здесь Проханов навел, независимо от того хотел он так написать или нет, масонский порядок в еще такой живой, не успевшей стать историей, жизни. Роман его критику видится клеветой на мир, пребывающий в Божественной воле. Это клевета на жизнь всякого человека, наделенного свободой выбора, свободным самоопределением, но и знающим личного Бога, не посягающим на свою полную автономию от Него. Азарт холодного неверия «ни во что» сквозняком «выдувает» роман Проханова из Большой русской литературы. Читая Проханова, думаешь, что он всего лишь страстный игрок, а все прочитанное — гиль (любимое слово «классических» нигилистов). «Жареное», «клубничка» (эротическая и политическая) и кровушка («наша русская», «наша мусульманская», «наша африканская») — вот составляющие блюда под названием «бестселлер». «У нас нет России», — именно с такой мыслью написан роман самого публицистического современного писателя. Это спекуляция отчаянием. Автор описывает зловоние зловонно, о сытой похоти пишет похотливо, роскошь живописует по-мещански сладострастно. Вся политтехнологическая новизна романа — только пиаровская завлекалочка о «правде развала страны». Главная рациональная идея конспирологического романа Проханова — все контролируется (планируется, просчитывается, провоцируется и т.п.). В романе Проханова все просвечивается лучами разведки, прослеживается наблюдательными устройствами и «топтунами»-доносчиками... Кто же выведен в романе разрушителем России? Да герои-то все сплошь русские. Писатель выступает как поклонник модернистской эстетики антиномий, эстетики сильных парадоксов. Причем чем больше угол расхождения, тем эффектнее получается «образное падение» в ткани романа.

Тему продолжил там же **Василий Пригодич** (**«Роман-скандал, или Роман-пасквиль»**: 28 сентября). В чем-то он повторяет то, что говорилось и до него. Но кое-что выговаривает более резко. Проханов — русский вариант исламского воина, ищущего смерть в бою. В далекие 1970-е не шибко умный и культурный Проханов внушал читателю несложную мысль — о тотальном превос-

ходстве советского режима. В 1990 — 1993 годах он издавал головорезную газету. С ноября того же года редактирует не менее головорезную газету «Завтра». Редактор, одаренный и яркий публицист, призывает просто-напросто убивать политических оппонентов. Вот и все. В стране идет ползучая реституция-реставрация. Присуждение премии маргинальной книге маргинального автора — знаковое событие. Либералы-демократы присудили премию антилибералу-антидемократу. Да, свобода. «Однако замечу, что Проханов, будь его воля и сила, Пелевина-Сорокина просто расстрелял бы». «Проханов мастеровит и даровит, крепкий профессионал, ни убавить, ни прибавить. Правда, раздражает избыточная сверхметафоричность авторского стиля. Ну-с, издержки производства. Книга скандальна как по содержанию — избыток омерзительных подробностей московского «великосветского» обихода, так и по дамской истерической тональности. Все выведены под собственными именами либо под прозрачными псевдонимами. Читается сие варево легко, впрочем, частенько подташнивает. Проханов одержим смертью, с которой он сталкивался сотни раз на полях боев в разных странах, на разных континентах. Люди прохановского типа ненавидят обывателя с его скромными радостями и глупостями вплоть до отрицания «мещанского» права на жизнь. Ясно, почему прохановская газета была рада катастрофе 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Поистине это другие существа, иная раса и порода, но, увы, они были, есть и будут. Любовь к смерти, завороженность смертью вощаной нитью проходит сквозь текст романа. Ну, ладно, у нас такая свободная страна, где можно невозбранно проповедовать оккультный бред. Неловко мне, не с руки как-то, но вынужден сказать, что книга прокопчена зловонным антисемитским дымом. С милой улыбкой и потаенным кукишем присудили премию идейному людоеду: мол, китч, карнавал, постмодернистский центон и прочая белиберда. Невинные литературные игры и, несомненно, виновная совесть. Да и на самом деле роман Проханова нельзя назвать плохим, он метафизически содрогателен и ужасен, как медитация об аде. Воля ваша, пацаны и дамы. Так вот, не причитайте и не верещите, когда вас за волосы повлекут на Лобное место. И еще добавлю: в книге есть искренние слезы о России и неподдельное бесовско-люциферианское величие».

Александр Вяльцев тоже анализирует наделавший много шума роман Проханова «Господин Гексоген» (**«Безумный бронепоезд борьбы»** — «Дружба народов», № 7). С точки зрения автора, это абсолютно пессимистическое произведение: главный герой, бывший сотрудник КГБ, разочаровывается и в друзьях, и во врагах, утрачивает дорогие мифы. Более того, он ни на что не надеется, признает безнадежной любую борьбу, оставляя «настоящую Россию», нетронутую никакой, в том числе идеологической порчей, лишь в своей душе. Отсюда, полагает автор статьи, тотальное раскаяние героя — по своей скверне (скверны перечисляются в развернутом виде: это и убийство собственной собаки, и предательство друзей в Африке, и многое другое), он не может умолить Бога сжалиться над Россией. Если отбросить бред о мировом заговоре, то это, полагает критик, главная идея романа и главная его ценность.

Автор из Вашингтона **Дмитрий Крылов** в «Русском переплете» 29 августа пишет о новом литературном опусе Дмитрия Галковского (статья **«Апокалипсис по МакЛуэну»**). Киносценарий под названием «Друг Утят» — антиутопия.

«Будущее, которое нарисовал Галковский, действительно страшно, особенно страшно для русских, ведь по его сценарию русские принуждены будут закопаться под землю и жить по одиночке, что смертельно для русского человека, только тогда и живущего по-настоящему, когда есть хотя бы несколько человек, с которыми он или она живет душа в душу и которые, таким образом, образуют уже не отдельные «личности» в западном смысле (т.е. такие, которые в самодостаточности видят цель и счастье жизни), а единый полифонический организм». «Несомненно тем не менее то, что Галковский правильно указал тенденцию к индивидуализации жизни».

В Интернет-журнале «Топос» **Павел Басинский** (**«Еще три еврея»**, 5 февраля) пишет о книге Владимира Соловьева «Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами». «Я еврей!» — кричит Владимир Соловьев, но Басинскому его крик сам по себе не интересен. «Кушнер — еврей», — строго говорит он и рисует нам фигуру стихотворца, приспособившегося хитро к советской власти, оставаясь при этом еще и эстетом. И только? Из пушки по воробью (не по Кушнеру, по его тени). «Бродский — еврей». Ну и что? Настоящий что ли? Поэт настоящий или еврей настоящий? (Где-то Соловьев даже величественно называет Бродского иудеем, а Кушнер, что ли, жид? Нет, жид тоже Бродский, но в цветаевском смысле. А Кушнер кто?) В общем, получилась все-таки свалка собственных комплексов. Однако в целом в романе неверно выбранную концепцию победили ум, глаз, перо и страстная натура. «Последняя, наверное, все-таки имеет отношение к еврейству В. Соловьева».

Статья с сайта **Андрея Немзера «Соблазн "понимания"»** (12 июля) — о первом русском романе о Гитлере и его окружении. Это книга Елены Съяновой «Плачь, Маргарита». Съянова пишет о Гитлере на полпути к вершине. Ее интересуют не молодые голодные и азартные игроки, бестолково рвущиеся в большую политику, и не «хозяева» Германии, уже сделавшие свою — зверскую и обреченную — игру, а «сорокалетние». Вкусившие радость первых побед, захваченные «делом», встревоженные собственными изменениями, но «верные идеалам». Автор мягко, но настойчиво противопоставляет ужасных, но все-таки благородных «нацистов первого призыва» (смелых, склонных к экстравагантным жестам, умеющих влюбляться и любить, сознающих грязную двусмысленность политических игр и взыскующих «идеала») холодным новичкам-«функционерам» Гиммлеру и Борману, которые, надо полагать, и сделали из фюрера «функцию». Нечто похожее нам доводилось читать про «ленинскую гвардию» и аппаратчиков-сталинцев. Признать изначальную ложь нацизма — это слишком просто. Куда интереснее открывать в хрестоматийных негодяях человеческую неповторимость. Открыли. А дальше что? ... Не было «точки поворота», ибо с самого начала работал в «партии нового типа» железный «фюрер-принцип», обрекающий всякого ее адепта на отказ от собственной личности и свободы. Остальное — пафос реванша, расистские измышления, логика партийной «целесообразности», оправдывающей любой грех, безжалостность к «врагам» (реальным или мнимым), демагогия, подразумевающая презрение к «быдлу», присущая всякому «союзу избранников» смесь цинизма и жертвенности — вторично. Увы, роман «Плачь, Маргарита» может подвести к диаметрально противоположным выводам. Что вполне в духе нашего времени.

Сергей Костырко в своем **обозрении № 113** в «Русском журнале» 10 июля пишет о прозе Нины Горлановой. Основной сюжет Горлановой — сюжет противостояния внешней убогости, скудности, ограниченности жизни. Это мужественная проза. Парадоксальная особенность ее в том, что формально человек почти жалуется тебе на жизнь, а ты постоянно ловишь себя на зависти тому, сколько счастья, внутренней свободы и простора подарила эта жизнь автору. Той свободы, которой пользовалась Горланова в среде своих университетских друзей, уже не хватало; да то была, как она формулирует для себя, и не свобода вовсе, а раскованность в разрешенных рамках. Ей же нужен был не эрзац свободы — квартира, зарплата, путевки и проч., а свобода подлинная, внутренняя. Путь к ней оказался парадоксальным — через полную «закабаленность бытом», обеспечившую Горлановой свободу внутреннюю. Но только быт здесь уже не вполне быт, а собственно жизнь во всей ее тяжести и во всей ее радости — муж, дети, друзья, книги, работа, но только своя собственная работа.

Там же в **обозрении № 115** (25 июля) он высоко оценивает рассказ Михаила Бутова «В карьере». Законченные, выбродившие до кондиции чистого продукта литературные произведения, читая которые, мы забываем про литературу, появляются редко. Вот к такой законченной прозе и относится новый рассказ. Это тот случай, когда рассказ «ни про что» означает — «про все».

Екатерина Ваншенкина пишет о новой прозе Николая Кононова (**«Куросы в снегу»**: «НГ Ex libris», 11 июля) как о прозе ученического склада. Кононов не говорит *за жизнь, а воздерживается*.

В «Знамени» (№ 7) прошло весьма содержательное обсуждение прозы недавно умершего Юрия Давыдова. **Яков Гордин** обращает внимание на то, что эта историческая проза еще и грандиозный личный дневник. Давыдов — персонаж своих романов и повестей, по значимости не уступающий главным героям. Россия Давыдова — мятущаяся человеческая общность, потерявшая сверху донизу ясные ориентиры — духовные, политические, нравственные, с равной интенсивностью рождающая героев и предателей, святых и негодяев, мучительно пробивающаяся сквозь этот хаос к тому состоянию, которое Давыдов назвал «неизъяснимым счастьем внутренней свободы». Русская история в романах Давыдова трагична — он сам участник этой трагедии. Но это высокая трагедия, несмотря на все «архивы человеческой гнусности», которые прославляют российское бытие.

Андрей Дмитриев отмечает, что Давыдов придал статус исторического факта каждому поэтическому жесту, сводя вымысел к малости даже там, где ему, вымыслу, казалось бы, самое место. Давыдов приучил нас к своей архивно выверенной точности. Уравняв в правах слово (свое, сегодняшнее, живое слово) и факт (исторический, то есть оставшийся в прошлом, то есть мертвый факт), он добился удивительного результата: в его романах нет прошлого, нет истории как таковой, есть лишь одно непрекращающееся, раскаленное, неслучайное и крайне запутанное сегодня. Время в романах Давыдова сродни литургическому — это время длящееся и пребывающее. Слово Давыдова-прозаика стремится к чистой поэзии; упругая рысь его прозы готова вот-вот сорваться в стихотворный галоп. Поэтический дар Давыдова, его художественная убедительность, его нравственная правота достигли высочайшей степени в «Бестселлере».

Андрей Немзер вторит: для Давыдова поэзия имела не меньшее значение, чем история. Ассоциативность, композиционная вольница, игра лейтмотивами и цитатами, рассуждения о природе текста, словно бы растущего на глазах читателя, рефлексия над жанром... Даже тенденция к «метризации» прозы.

Станислав Рассадин отмечает, что самое знаменитое произведение Давыдова, видимо, «Глухая пора листопада». Самое зрелое — «Бестселлер». Самое знаковое — «Зоровавель», где до предела прояснена ситуация выбора взгляда на мир, на историю, на собственную судьбу автора этой полуповести-полупоэмы. С «Бестселлером» критик связывает возможности нового литературного мышления, предполагая в ней прообраз «прозы будущего». Прозы, которую будет отличать свобода от жанровой скованности плюс сила душевного опыта личности, мощно чувствующей, много постигшей.

Леонид Юзефович заметил: Давыдов «был поздним человеком. В этом было его горе, которое к концу жизни обернулось счастьем. Когда мир вывернулся наизнанку, он едва ли не единственный из своего поколения сумел, не изменяя себе прежнему, сказать то, что зрело в нем в течение всей жизни, и был услышан, потому что сказал это по-новому, не так, как говорил раньше». Он был певец сильных страстей, мужского братства и той идеи, что нужно раствориться в чем-то большем, чем ты сам, если хочешь остаться самим собой. У него была почти физиологическая потребность говорить голосами тех, кто уже ничего не может сказать в свое оправдание. На суде истории он всегда выступал в роли адвоката.

Елена Гродская делится впечатлениями от прозы Павла Улитина (**«Разговор о разговоре»**: «Знамя», № 7). Вроде бы нечасто бывает, чтобы человек, переживший пытки в тюрьме, тюремную психбольницу, обыск с отнятием всего написанного, продолжал писать несломленную, ироничную, увлекательную и свободную прозу. Улитина называли русским Джойсом. Улитин уже не здесь. Он умер в 1986 г., не увидев ни одной своей изданной книги. «Милая моя маленькая трепещущая душа, как мало ты значила в мире, который мыслил другими категориями».

Прозе Елены Долгопят посвящена статья **Владимира Губайловского «Открытая форма»** («Дружба народов», № 9). Особенности этой прозы критик выводит из профессиональных занятий автора — математики и кинематографии, наложивших отпечаток на ее мировосприятие и художественный язык. «Для Долгопят нет особой разницы между условно фантастическим и столь же условно реалистическим сюжетом. Ее проза более всего напоминает реальность сновидения». Обыденность в прозе Долгопят почти всегда абсурдна. Мир, который она выстраивает, это мир, в котором нет будущего, «живые люди вырождаются в мертвые схемы, и эти схемы ходят по пустоте». «Именно пустота и есть главный герой прозы Долгопят. И от ее текстов бывает жутко.» Удивительно, но это *хвалебный отзыв...*

Ольга Славникова разбирает прозу Марии Рыбаковой (**«Канарейка и смерть»**: «Дружба народов», № 9). Выдав писательнице больше авансы («В текстах Марии Рыбаковой я вижу много удачных частностей, когда из умственного, почти математического подхода ко времени-пространству вдруг возникает очень человеческая, «по делу», метафора»), отметив языковой и стилистичес-

кий профессионализм, критик, тем не менее, подмечает и провалы: во-первых, обусловленные недостатком жизненного опыта, а во-вторых, — отсутствием в ее прозе «большого человеческого масштаба». И здесь критик переходит к обобщению, подозревая в этих грехах некоторую часть современной литературы вообще. Постепенно приходит обнадеживающее отрезвление — «литература не пустяки. Не игра...». Критик видит возможность для дальнейшего развития писательницы. В контексте статьи это выглядит и как некая перспектива для всей современной словесности.

Молодой писательнице Анне Матвеевой посвящена и статья **Валерия Липневича «Рыбка в небе»** («Дружба народов», № 9). Рецензент видит в этой прозе приметы не только изменившейся жизни, но и приметы изменившегося *отношения к жизни*: «нынешними победителями затребовано скромное обаяние буржуазии. Подавай им умное утверждение их собственных стандартов жизни — способов тратить деньги, манеры отдыхать, есть, пить, заниматься любовью, а также думать и чувствовать соответственно состоянию кошелька». Проза Анны Матвеевой этим требованиям удовлетворяет, оставаясь при этом прозой, а не становясь «портативным романом в мягкой обложке». Помимо присущего ей психологизма, этому способствуют два качества писательницы — ирония и грусть. «Ведь ирония, как известно, самый старый и самый проверенный способ удобного существования в любой отрицаемой системе.»

О книге молодого петербуржца Павла Мейлахса «Избранник» в статье **«Крах индивидуализма, или Конец великой новизны»** рассуждает **Алексей Машевский** («Звезда», № 8). С одной стороны, критик подмечает «некоторые языковые неловкости автора», «слишком отчетливо выраженную идеологическую позицию, даже дидактичность». С другой — он видит в книге несомненную историю болезни — но не столько самого героя, сколько героя нашего времени, страны, «чье молодое поколение оказалось неспособным выдержать крушение всех и всяческих идеалов», наконец, того типа сознания, которое называется индивидуализмом.

Марина Москвина стала объектом исследования для **Галины Ермошиной** (**«О клоунах и клоунессах»** — «Дружба народов», № 9). Обозначив основные приметы ее прозы, как «неотторжение себя ни от чего — все нужно, все необходимо — и радость, и молчание, и песок, и камень... И ничего не изобретать, просто радоваться...», критик обнаруживает симптомы зараженности этой жизнерадостной энергетикой — основной посыл статьи: Марина Москвина — это супер!

Григорий Коган в статье **«Анти-Фандорин»** («Русский журнал», 13 сентября) открыл, что «в акунинских историях далеко не все гладко. Там есть целый ряд проблем и со словесностью, и со стилизацией». Есть анахронизмы. Буквоед дает целый ряд примеров. Вот один: «...в «Смерти Ахиллеса» читаем: «Из туалета купчина вышел явно посвежевший». Прочитай эту фразу человек XIX века, он бы вряд ли понял, откуда вышел переодетый купцом г-н Фандорин (в книге имеется в виду, что он справлял нужду). «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (Спб., 1863 — 66) дает следующее объяснение этому слову: «Туалет — м. франц. убор, одеванье, и одеянье, наряжанье и наряд. Делать свой туалет, одеваться, убираться, рядиться. Уборный стол, с зеркалом и всеми принадлежностями». Таким образом, словосочетание «выйти из

туалета» для человека того времени было совершенно бессмысленным. Это раз. Означенное заведение переименовывалось буквально на наших глазах. Например, люди старшего поколения (родившиеся в 10 — 20-х годах XX века) называют его «уборная». Однако в то время слово «уборная» также не связывалось с отхожим местом. Обратимся снова к словарю Даля: «Уборная — ж. комната, в коей одеваются, убираются, наряжаются, моются, притираются и пр. Уборник, уборный стол, туалет» (см. статью на слово «убирать»). Это два».

В прессе обсуждали перипетии очередного букеровского марафона. **Дмитрий Бавильский** в «Русском журнале» 24 июля признается в любви к роману Игоря Зотова «День Деревякина» — добротной, немного старомодной, но изящной прозе.

Александр Лиманов и **Семен Кваша** в «Газете.Ru» 2 октября рецензируют шорт-лист премии «Букер — открытая Россия». «В моде нынче слабоватая молодежная проза и Владимир Сорокин». Председатель жюри Владимир Маканин сообщил публике, что «присутствие Сорокина в списке есть факт поддержки литературы внутри политики, от которой мы неотделимы» и что «необходимо оградить писателя, хотя бы он и не был серьезным писателем». Лучшей в списке книгой они считают «<НРЗБ>» Сергея Гандлевского. А вообще «список слаб до неприличия».

Лев Пирогов в «НГ Ex libris» 11 июля уверен, что победит Гандлевский.

Алексей Шорохов в «Русском переплете» 30 августа подробно отзывается об очередном выпуске альманаха «Литературная Вологда». У его авторов есть чувство общей русской судьбы. «То, что отличает «местничество» от «местечковости» и ее голубятен». Кто-то из авторов пребывает в оторопи от того, что происходит вокруг. Кто-то щелкает костяшками на счетах. А Шорохов знай нахваливает милых сердцу вологжан, душевно радуется их успехам, дает им житейские советы.

ПОЭЗИЯ И ПОЭТЫ КАК ПРЕДМЕТ КРИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Валерий Шубинский в статье **«Вертикаль и горизонталь»** («Знамя», № 7) размышляет о поэте Николае Кононове. У поэзии Кононова два вектора — горизонтальный и вертикальный. По случайности (а может, и нет) первый, эпический, маркируется длинной (параллельной земле) строкой, а второй, лирический — столбцом коротких строк (земле перпендикулярным). Шубинский фиксирует два очень важных сюжета творчества Кононова. Во-первых, любовь-обида-зависть-жалость к Отцу (то очень реальному, бытовому — «папе», то почти мифологическому). Издатель психоаналитической литературы, Кононов прогнозирует и провоцирует лежащие на поверхности толкования. Это, пожалуй, относится и к гомоэротическим нотам. Эти мотивы могут быть интерпретированы как маскирующее и претворенное отражение подлинной лирической темы поэта — любви к Себе-Другому, двойнику, обитателю зазеркалья. Второй сюжет — это «сумерки богов». Накануне их гибели. Эта тема постоянно присутствует в стихах Кононова как трагическая возможность, угроза, напоминание.

Александр Уланов в статье **«Бумажный нарцисс»** («Знамя», № 9) оценивает стихи молодого Кирилла Медведева (сборник «Все плохо»). Некоторые исто-

рии, завершающиеся, возможно, некоторыми выводами из пережитого опыта. Чистое повествование без малейшего усилия концентрации смыслов, придания тексту многозначности и объема. Обсуждать, стихи это или не стихи, вероятно, неплодотворно: а кто точно знает, что такое стихи? Герой Медведева — в общем, неплохой человек. Честный, уклоняющийся от участия в «крысиных бегах» за успехом любой ценой. Он умеет чувствовать чужую боль. В жизни с таким человеком, наверное, надежно — но скучно. Речь не идет, разумеется, о том, что эти качества противопоказаны поэту, который должен быть аморальным демоном... Речь идет только о том, достаточно ли этих качеств, чтобы быть интересным поэтом? Все же хороших людей больше, чем хороших поэтов. Уланов считает, что Медведев пытается придать значение переживанию настаиванием на нем как на стихе. «Напечатать бумажные деньги, за которыми — лишь искренность желания, но не работа вслушивания. Инфляция неизбежна».

А **Владимир Александров** о стихах Медведева говорит: такое могут себе позволить только убогие или пророки («НГ Ex libris»: 4 июля). Он разрабатывает «тему юродства».

Михаил Копелиович пишет о стихах Дмитрия Сухарева (**«Успеть сказать»**: «Знамя», № 7). Его книга изобилует стихами приязненными, природо- и человеколюбивыми, в строках звучит нота братственности и благословения живому. Можно объявить Сухарева восторженным романтиком, а можно, как он сам определил в одном из стихотворений, — принадлежащим «братству обливающихся слезами». В чем секрет светлого воздействия на душу стихов Дмитрия Сухарева? В соединении шалости и серьеза, в закамуфлированном пафосе, пропитанном иронией, как торт кремом.

Галина Ермошина (**«С точки зрения полуострова»**: «Знамя», № 8) разбирает стихи Николая Звягинцева. Звягинцев, в общем-то, в ладу с миром и не выискивает его огрехи, провалы и недочеты. Он способен жить с тем миром, который есть, не перекраивая его под себя и не предъявляя ему слишком больших претензий, формируя в себе способность увидеть в нем характер, похожий на свой. Речь Звягинцева полна неправильностей, неточностей и смысловых неувязок, что, однако, не только не мешает контакту, но и служит своеобразной заменой тому воздушному пространству, которое, разъединяя, позволяет установить другие, не логические связи.

Илья Кукулин (**«Побег сучёта из коробки»**, «Знамя», № 8) пытается определить своеобразие стихов Александра Левина — «человека разнообразного»: поэта, автора и исполнителя песен, создателя популярного сайта в Интернете (www.levin.rinet.ru), автора учебника «Самоучитель работы на компьютере». Левин переименовывает окружающую действительность. В его стихотворениях множество неологизмов. Левин делает из языка мультфильм, подобный битловской «Yellow Submarine» с ее детски-сюрреалистическими существами. Страшное и детское у Левина переходят друг в друга. Исторический предшественник этой поэтики, как считает Кукулин, — постфутуризм, и персонально Юлиан Тувим.

Стихи некогда прославленного, а потом замолчавшего Александра Еременко по случаю издания его книги «OPUS MAGNUM» стали поводом для апологии их автора в «Знамени» (№ 9). **Леонид Костюков** говорит, что за десять лет молчания поэта мы не забыли его шедевры. Однако наросло поколение, кото-

рое их не проходило. Вот и прекрасный повод: нам украсить библиотеку, а им — наверстать упущенное. С картинками. В момент создания, в 80-х, поэзия Еременко осмысливала и приручала антипоэтическую действительность, но теперь стихи Еременко более не щекочут будущее. Оно, так и не воплотившись, осталось за поворотом. Они (стихи) отходят в наше героическое прошлое, становясь ретро, а потом и классикой...

Татьяна Зоммер полагает, что стихи Еременко прошли испытание временем. Они успешно выдержат и испытание школой, т.к. тезаурус поэта практически не выходит за рамки учебников школьной программы для классного и внеклассного обучения, и такого рода «академическое» издание — с комментариями, аннотацией и графикой — вполне может сойти за хрестоматию к школьному курсу целого ряда наук. Современные 15-летние пацаны давно ждали своего культового, современного поэта и теперь с удовольствием и наслаждением учат наизусть (не из-под палки!) его стихи.

Поэзии Майи Никулиной посвящена статья **Аси Васильевой «Imago magica, или В пространствах поэтического слова»** («Урал», № 8). Автор находит в ней несколько отличительных признаков: «связи между словами сугубо ассоциативны, интуитивны и потому бессчетны», «сопряжения некоторых слов и конструкций с точки зрения логики едва ли не абсурдны», на первом месте стоит образ, который «выстраивается не линейно-хронологически, но в некоем своеобразном многомерном пространстве», «никаких отвлеченных категорий, все телесно, материально и находится не выше летящих птиц». В этой поэзии автор видит продолжение традиции Мандельштама: «Никулина *мыслит* разными культурными реалиями», а также (в меньшей степени) — Пушкина и Бунина.

КРИТИКА О КРИТИКАХ

Павел Басинский в своей литгазетной колонке (№ 38) рассуждает о Вячеславе Курицыне, который закончил свой интернет-проект Курицын-Weekly и ушел из литературы. Это был наиболее продолжительный авторский литературный сайт. Басинский характеризует его как лирический дневник человека, у которого был бурный и продолжительный роман с Литературой. Роман человека умного, но легковесного, увлекающегося, но расчетливого, со своей любовницей. Стилист Курицын интересный, «хоть тресни». Он оригинален. Писатель розановского направления, но без «идеи», без отчетливого своего жанра. Разменявшийся на текущий журнализм. Басинский сравнивает Курицына с Немзером. Для того Литература — «законная жена». Это «последний тотально серьезный, тотально ответственный критик», но он «построил свой дом, свою крепость на песке».

Александр Мелихов в статье **«Лед и пламень»** («Знамя», № 9) пишет о книге Александра Агеева **«Газета, глянец, Интернет. Литератор в трех средах»**, 2001. Агеевский жанр — критика критики и обозрение обозрений — просто неоценим: краткое и точное изложение чужой позиции (казалось бы, элементарно, а встречается куда как редко), умно и ясно прокомментированное с высоты своей, — сразу чувствуешь, что тебе сэкономили минимум час. В Интернете КПД заметно снижается, на интернетских просторах авторский стиль обретает некую неторопливость, «ветвистость». Тем не менее Агеев един во всех трех ипо-

стасях, причем единство это мировоззренческое. От идеала к норме — его вектор. Основные его мишени — оторванный от жизни идеализм, необоснованный пафос. Если бы на место прежних возвышенных идеалов пришли низменные интересы, автор нисколько не сомневался бы в грядущем величии России. «Проповедь беспафосности тоже требует пафоса, и его-то мне не хватает у превосходного публициста Александра Агеева».

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Андрей Битов в записках **«В лужицах была буря. Мания последования»** («Звезда», № 8) совершает прогулку — в преддверии 300-летия города — по Петербургу пушкинского «Медного всадника». Поэма и герои рассматриваются во временном протяжении — по мере взросления автора, начиная от его школьных лет и кончая его бытностью в качестве преподавателя Принстонского университета.

О **«Нелюбви Ахматовой к Чехову»** размышляет **Лев Лосев** («Звезда», № 7). Подробно описывая все запечатленные мемуаристами свидетельства неприятия Ахматовой Чехова, автор приходит к выводу, что чувство поэтессы было все-таки иррациональным и загадочным и все гипотетические объяснения тут неудовлетворительны.

Взаимоотношения (поэтические, и не только) поэта и критика Николая Недоброво и Анны Ахматовой становятся предметом критического размышления **Екатерины Орловой** в статье **«"Две любви" Н. В. Н. (Н. В. Недоброво) и А. А. Ахматова»** («Звезда», № 9). Имеются в виду любовь поэта к жене Любови Александровне и к Анне Ахматовой. Они обе — главные адресаты его лирики, хотя ни одно из его стихотворений четко обозначенного обращения к Любови Александровне не имеет. Поэзия Недоброво довольно замкнута: в мир своих интимных чувств он никого не допускал. Смысл рассуждений автора — в том, что музой поэта была «история форм человеческой души». Он мечтал о создании когда-нибудь в будущем науки, обозначенной именно так.

Обзор подготовили
Ирина Дугина, Евгений Ермолин,
Мария Ремизова, Евгения Щеглова

Одна из главных тем, к которым мы постоянно обращаемся во всех рубриках нашего журнала, — те итоги, с которыми Россия и мир пришли на рубеж тысячелетий в своей истории, политике, государственном развитии, социальной жизни, науке и культуре. Именно под этим углом зрения мы попросили известного искусствоведа и театрального художника Ирину Уварову взглянуть на те очевидные и очень любопытные переклички, которые можно найти между искусством начала прошлого и начала нынешнего веков.

Ирина УВАРОВА

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ РИФМЫ

1. Всё врут календари

Кутерьма завершает двадцатый век, и она же бушевала при его рождении. Проще сказать, она и была его повитухой. Поскольку происходил *слом*, время ломалось. И всё, что сопутствует слому времен, было сто лет тому. Тогда, как и нынче. И множество наблюдается подобий, сходств и совпадений.

Когда свежий век впадает в предыдущий, утомленный, — вселенская кутерьма, а то и просто хаос, совершенно неизбежны. Более того, основание для их проявлений законно. Ведь Новый век — что Новый год, только рангом выше, а потому и намного значительней.

Замечали ли вы, что как раз перед тем, как произойдет явление Нового года, в космическом времени образуется некая неучтенная календарями и часами зона, скважина между годами?.. Межвластие — хуже нет. Это как — белые уже ушли, красные еще не захватили и бандитам раздолье. Наблюдается разгул черт знает каких сил.

И черт действительно знает: разбойничает вовсю, людей не стесняясь. Поскольку в это безвременье или межвременье рушатся все границы, коими

Ирина УВАРОВА — родилась в 1932 г. в Москве. Окончила филфак МГУ и аспирантуру ВНИИ Искусствознания. Кандидат искусствоведения. Автор нескольких книг, в том числе «Глина, вода и огонь» (об искусстве керамики) и «Смеется в каждой кукле чародей» (театр, литература, изобразительное искусство Серебряного века). Главный редактор журнала «Кукарт». Театральный художник, постановщик спектаклей «Коварство и любовь», «Дом Бернарды Альбы», «С любовью не шутят» (Кишиневский театр «Лучафэрул»), кукольных спектаклей «Макбет», «Пер Гюнт» (Тюменский театр кукол и масок), многочисленных рождественских вертепов. Живет в Москве.

человечество выгородило себя из опасного мира, битком набитого явлениями ирреальными и инфернальными.

Так то ежегодно, а если век?! Всё и усиливается стократно.

Сто лет назад, когда век девятнадцатый передавал власть преемнику, в России, по крайней мере, тоже происходило столпотворение невероятностей, неимоверностей — ужасных, а подчас и забавных. А более всего — ошеломляющих. Для всего этого более подходил город Санкт-Петербург, город и вовсе мистический, как давно заметили наши великие писатели, хотя мы привыкли считать их реалистами. Над Питером так и зависло проклятье царицы Авдотьи: быть, де, городу пусту. А еще давали о себе знать недобрые напутствия чухонских колдунов, петровыми начинаниями с местных нездоровых болот изгнанных.

На грани столетий всё проснулось, оживилось. Город заполнили призраки, двойники, мертвецы, куклы. Устойчивости никакой, слухи — один другого хлеще и все про потусторонние явления. Впрочем, какие потусторонние, если все они уже на *этой* стороне?! Но и на этой стороне, называемой в просторечье реальным миром или действительностью, тоже происходило неслыханное, и уж тем более невиданное. Собственно говоря, суть уже была не в том, есть ли иная реальность или ее нет. Дело обстояло куда хуже: есть ли вообще реальность. Вот что требовалось доказать, если уж так необходимо.

Появилась неведомая порода: *новые люди*. Они — новые люди, а прочие — ветхие. Ветхими Вагнер называл тех, которые не чуяли мифа в его музыке — просто слушали, по старинке.

Новых людей породило новое искусство. Собиралось оно все поменять — и поменять радикально. Уже не будет театра, но будет храм преображений человеческой натуры. Не спектакль для публики, но мистерия для богов там будет совершаться. Причем боги и богини были для Руси не характерные: Дионис хотя бы или сам Рок, а также небесные Незнакомки в синих юбках.

Что же касается живописи, то «Утро в сосновом бору» или «Иван Грозный убивает своего сына» — это оставалось для людей ветхих. Новые же предпочитали «Остров мертвых» печальной кисти Берклина, а также космические ландшафты и удаленные местности вселенной, где при жизни никто еще не бывал — разве что в грезах. Но и грезы у этих, у новых, были свои, и чувствования иные. А дары им были даны при рождении фантастичные.

Андрей Белый общался бессловесно и вне личного контакта, обсуждая с удаленным собеседником темы сложнопостигаемые. Правда, общался так с Рудольфом Штайнером, а не с кем-нибудь. Но все равно — как дельфин.

Федору Сологубу являлась Недотыкомка, вылезая из укрытия, где ей положено было прятаться, скакала, суетилась, все больше наглея.

Анна Ахматова читала чужие мысли, если они были ей интересны. В полнолуние к ней в спальню пробирались чужие, не ей приснившиеся сны. Словом, прав был Гумилев, когда писал автобиографическое:

Из города Киева,
Из логова змиева
Я взял не жену,
А колдунью.

сам он выращивал в себе шестое чувство, поскольку пяти обычных, данных всем и каждому, ему было мало. И действительно нужно было иное сверхчувство для того, чтобы «слушать» музыку сфер, исходившую от небесных ландшафтов Чурляниса. Чтобы «видеть», как переливаются, сияют или же меркнут цвета в музыке Скрябина. Музыка тоже была космична, диктована сверху. Вообще же поразительно, как все искусство той поры состоит в прямом контакте с небесами. Потому и знал Художник и Поэт, что послан в мир для великих целей.

Вы ищете созвучий между началом века минувшим и тем, что совершилось два года назад? Но правомерно ли их искать, если тогда случился именно ***Серебряный век*** — единственный и исключительный? И повториться он никак и никогда не сможет?..

Это — верно. И тем не менее нечто все-таки повторилось — хотя бы уже в форме той страстной ностальгии по Серебряному веку, которая нас охватила. Как у Тургенева в «Кларе Милич» — любовь после смерти. (Кстати: эта Клара Милич предвосхитила мотивы литературы Серебряного века.) Когда явление покидает действительность, оно переселяется в духовные сферы мифа. Можно сказать — миф о Серебряном веке был нами позолочен.

Есть еще соответствие.

Вот оно: в наше время произошел книжный обвал. Социологи обычно высчитывают, какой процент читателей потребляет детектив, какой — любовный роман. Проценты велики, что и говорить. Но ведь никто, насколько мне известно, еще не подсчитал, сколько книг, принадлежащих мировой культуре, издано за эти годы. Все издано и все прочитано, в магазине не задерживаются ни Музель, ни Блок, ни Юнг. Такого в России с ее цензурой, с ее великой китайской стеной или с ее же железным занавесом, никогда не было и, наверное, никогда уже и не будет. Оно, конечно, реакция на духовный голод, в котором мы жили десятилетиями. Но в этой неумолимо ненасыщаемой жадности ко всем книгам мира — в этом тоже некий привет от Серебряного века. «Человек же серебряного века в некотором смысле знал всё» — написал Вадим Скуратовский, уточнив, что Серебряный век русской культуры «отмечен, в сущности, беспримерным в истории культуры интеллектуальным и вообще духовным напряжением»[1].

Обнаружение рифм на том не заканчивается, но сейчас я хочу вернуться к календарям — чтобы с этим делом, наконец, покончить. Чтоб окончательно уличить календари в заговоре умолчания того межвременья, которое случается между уходом и приходом годов. Оно, наверное, проходит просто в ином пространстве и времени, потому что именно тогда кикимора и покойник могут запросто войти в запертый дом. Это я про Новый год и Новый век. Пока шампанское замерло в стекле, переживая паузу между последним ударом курантов и началом гимна, на дробную долю секунды в нашей душе успевает шевельнуться древнее томление, рудимент первобытной тревоги. И есть для той великой тревоги основание, потому что старый год уходит, а кто сказал, что новый обязательно придет?

Не исключено, что именно этому дремучему страху искусство и обязано своим появлением. О, сколько требовалось энергичных усилий для того, чтобы Новый год все же не раздумал заглянуть на Землю! — его завлекали пляской,

[1] Вадим Скуратівський. «Серебряный век»: люди и положения. Київ, 1996, с. 263.

маской, бешеным топотом и прегромадными кострами. Костры были портретами Солнца, лестными его изображениями...

Угроза конца света — вещь не шуточная, поскольку, как пишет Мирча Элиаде, человечество в различные эпохи и в разных частях света догадалось о том, что мировая ось, на которой, как это очевидно, мир держится, может взять да и обломиться. На радость мировому хаосу, который только того и ждет, и ждет как раз с особым энтузиазмом на сломе времен[2].

2. Еще говорили — в пятницу будет конец света[3]

«...Прошу выдать на лабораторию литр спирта для промывания мировой оси» — писал в заявлении один профессор. Анекдот из серии *физики шутят*. Однако, как оно нередко случается с шутками, произошло попадание в некую общую цель.

Тема конца света понизилась в ранге до будничного слуха. Сто лет назад комета Галлея вызвала куда больше паники, чем нынче парниковый эффект.

В этом месте поиски рифмы терпят отчаянное фиаско.

Сто лет назад чего только не ожидали! Чего угодно, но непременно масштабного, глобального и вселенского. Пожалуй, это было общей приметой «новых людей» — томительное ожидание: скорее бы!

Ждали: радикальных перемен, революции и конца света. Как-то у них все это стояло в одном ряду, вызывало какой-то общий эмоциональный подъем. Позволю себе мрачный каламбур: тема смерти тогда была оптимистичней.

Кажется, только Вячеслав Иванов не переживал по поводу глобальной катастрофы, поскольку не до того ему было, поскольку задумывал такой театр! Весь народ там побывает в качестве зрителя и участника некой всеобщей акции, и тогда — страна покроется фимелами и орхестрами и все люди запляшут — так и обещал. Соблазн театрального общего дела шел от Ницше. Безрассудочная Россия ему доверяла более, чем осторожная Европа.

Но куда характернее было то, о чем размышлял Скрябин: о гибели мира размышлял он, о смерти сущего как раз об эту пору, как предсказывали древние астрологические расчеты. Расчеты представлялись ему верными. Но предопределению высших сил ему было что возразить. Он писал такую музыку, какая сможет содействовать возрождению жизни на новом, высшем уровне. Главное — где и когда исполнить сию симфонию. В час Конца мира и на берегу Ганга, поскольку Скрябин обладал тайным знанием о том, что жизнь именно там начиналась, там и кончится.

Что всегда впечатляет, а то и потрясает в художниках Серебряного века, как это у них все со всем соединялось. То самое течение своей жизни (а она вполне человеческая, жизнь эта) и масштаб замыслов. Таким замыслам рождаться-то было не по чину в квартире, где обедают и спать ложатся к ночи, где в прихожей калоши стоят; великим же идеям и намереньям, которые богам по

---

[2] Мирча Элиаде. Космос и история. М., 1987, с. 47.

[3] Из рассказа домработницы Фаины Георгиевны Раневской. Отчет о пребывании в очереди. За точность цитаты не ручаюсь, а также не помню, за чем именно была очередь.

плечу, пристало иметь особого назначения творческую лабораторию где-нибудь на Олимпе, божественную шарагу.

А тут: Скрябин в театральной студии на Бородинской побывал, у Мейерхольда. Послушал, как студийцы исполняют «Антигону» (музыкальное чтение) и тотчас пригласил всех участвовать в великом действе в Индии. Будто речь не о Ганге, а о Фонтанке, что протекает под боком.

...Я вспоминаю знакомую собаку Мотю, она уже не поднималась по старости и недугам, но вдруг встала и лаяла отважно на что-то, увиденное только ею, а хозяева догадались: это она лает на свою смерть... Вспоминаю, наверное, потому, что дом, в котором долгие годы проживала Мотя, был битком набит книгами Серебряного века...

Сравнение с собакой никакого нормального человека обидеть не может, напротив. Но ведь мужество нужно какое, чтобы смотреть в лик всеобщей смерти и ей противостоять. И служить искусству, тому, что может на равных общаться с богами и спорить с ними, когда они — и уж не в первый раз — решают прикончить этот надоевший и неугомонный народец, насылая то комету, то потоп. Или ядерную войну.

Не состоялся тогда ни потоп, ни другая космическая катастрофа.

Но революция все же случилась.

И вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

В этой выразительной декларации отчетливо проявилось восторженное отношение к трагедии. Сейчас все чаще слышатся упреки в адрес деятелей культуры Серебряного века. Это означает, что открытие того легендарного периода вступило в новую фазу, позолоту снимают, спрашивая, чего они все так революции радовались, проявляли политическую близорукость, не понимая, что революция и их уничтожит, и с нами будет разбираться круто.

Интересная тенденция. Тем более она интересна, что в суровую пору советских времен Серебряный век как раз осуждали за чуждость революции и удаленность от марксизма.

Но нынешние критики, я думаю, пускают в ход свою историческую осведомленность и не могут постичь фатальную обреченность Поэтов той поры и высокого восторга, непонятной нам эйфории по поводу этой отчаянной, окаянной обреченности.

Что ж их обвинять? Если они не заслужили Света, то уж во всяком случае выстрадали право на Покой.

3. Открылась бездна, звезд полна

Не берусь утверждать, когда оно наступает: осознание того, что небесная бездна имеет к тебе прямое отношение. Чаще всего на переломах, что, как мы уже поняли, естественно. Связь творчества и небес осознается художником при различных обстоятельствах и порождает весьма различные произведения.

В городе Чебоксары в драматическом театре сейчас идет спектакль на местную тему — о жизни современной чувашской деревни, там и людей почти не осталось и плохо все складывается у тех, кто остался. Пьеса называется «Свет

далекого счастья», а режиссер В. Яковлев (он и художник) выстроил не просто декорацию, но поразительную картину мира. И всякий культуролог, подобными картинами интересующийся, был бы счастлив увидеть такое. Описывать не стану, только скажу, что тут над деревней установлено не пошлое театральное небо с лампочками, но **Небеса**, а как он этого добился — не знаю. Та же театральная материя и звезды-лампочки такие же, 220 w. Дело, должно быть, в том, что загадочный В. Яковлев *знает*, как устроено мироздание. Сверху спустились космические пришельцы в золотых шлемах, похожих на кокошники. Пришельцы мало чем отличались от теней забытых предков, которые тоже являлись в спектакль. Забытые, они сейчас о себе напомнили, когда открылись небеса.

У меня не лезет ни в какую рифму другой наш современник, поскольку ему «открылось» много раньше. В годы шестидесятые. Впрочем, мы тогда, получив глоток свободы, впали в преждевременную эйфорию. Впрочем, еще одно: космос тогда вторгся в нашу жизнь на иных основаниях.

Вот как Илья Кабаков пишет о себе: «Начало самостоятельной работы "своей" я считаю с зимы 61 — 62 года, когда мне отказали от мастерской "у генеральши", у Никитских ворот. (Как раз полетел Гагарин, поэтому точно можно проверить дату). <...> Внезапно, как будто озарение, появилась, нарисовалась серия с душем, листиков 15–20 (на паршивой бумажке, 20/13 карандашом). Как-то во всем эта серия меня устраивала: и внезапно, "без моего участия", и "оригинально" (нигде такого не видел), а главное — уверенное, ликующее чувство, что "мое!", не чье-то, а мое, и я действительно изнутри связан с результатом, какая-то неразрывная нить идет к этим рисункам из глубины меня <...> Так с того времени это и установилось навсегда: эта нить из меня, из темной, неизвестной глубины наружу, наверх. Как и почему это получилось — не знаю, но хорошо помню и внезапность, и радость какую-то особую, подлинную»[4].

Быть может, я притягиваю за уши «космизм» в истории с серией, представляющей предмет весьма обыденный. Но длительное знакомство с откровениями художников Серебряного века искушает увидеть некое соответствие между полетом Гагарина и тою нитью, которая с той поры все вытягивается из «темных глубин» прославленного ныне Кабакова. Этим я хочу сказать, что небеса, как и прежде, указывают пальцем на художника, независимо от того, будет ли он рисовать крыло ангела или унитаз.

Как естественно космическая тема вошла тогда в жизнь — то ли на высшем уровне, то ли на низшем! «Нынче на Илью грозы не было, это космонавты что-то там порвали», — говорила колхозница Евдокия Кулагина.

Это Александр Блок и его откровение по поводу творческих озарений. Он говорит о расколе между этим миром и мирами иными. О мирах лиловых и о золотом мече, он же и луч, что направлен с небес на Поэта. О демонах, усердствующих в его творческой лаборатории. О том, как Поэт, озаренный золотым мечом, творит свое произведение — униженную копию небесного образа. И все же «долго длится легкий крылатый восторг перед своим созданием»[5].

---

[4] Илья Кабаков 60-у — 70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. Wien, 1999, с. 15.

[5] Александр Блок. О современном состоянии русского символизма. Собр.соч. в 8-ми тт. Т. 5. М.-Л., 1962, с. 428–430.

Из этих самых его описаний можно понять, что вводя себя в экстаз для осуществления контакта с внеземной персоной, поэт даст сто очков вперед матерому шаману, впадающему в профессиональный транс.

4. Кто это сделал, лорды?

Так вопрошал Макбет своих соратников, увидев в пиршественной зале призрак Банко. Банко был мертв, уж это-то Макбет знал точно, и вот — явился. Шекспир наметил неблагополучный фон для деяний Макбета, указав на затмение — ночь воцаряется днем. Но был ли перелом времен — о том не знаю. Да и вообще у них в Шотландии в те времена могло быть по-другому. У нас же как раз на рубеже столетий тени умерших никак не могут расстаться с земным уделом, как будто на земле и есть райское блаженство, а тягот бытия и прочих бедствий вовсе нет.

Но удивительным образом на то реагирует театр.

В городе Новокузнецке, угольном и шахтерском, и весьма далеком от того, чтобы стать городом театральным, режиссер О. Пермяков и художник Н. Вагин поставили «Мертвые души» (и поняты были новокузнецким зрителем, который и комедии-то смотрит неохотно, вот что интересно). А на сцене присутствуют *мертвые души*. Те самые, которых Чичиков скупает. Фантомы на сцене — толпа крепостных, уже умерших, актерская массовка. Постановка 2000 года.

Вот теперь самое время сказать о том, что столетие назад в городах, весьма удаленных от Новокузнецка — в Париже, Петербурге и Москве, — молодые режиссеры готовили место как раз для обитания незримых душ. Странно все же, что для такого дела предназначался не храм, не мастерская человечьих воскрешений Н. Федорова и даже не кабинет темного мага Каллигари, на худой конец. Но — театр, прости Господи, где извечна тучная пыль кулис и картонный хлам закулисья, где неистребим запах клейстера, пудры и лжи.

И вот же: именно там молодые режиссеры пытались ставить новое модернистское, духовидческое и символическое, раздражались прирожденным дефектом любого актера, даже и гениального. Актер — увы — имел объем, изрядный вес и, пока он, актер, жив, двухмерным, невесомым и прозрачным не мог стать ни за какие деньги, ни за какой самый выгодный контракт.

Намеренье показать на сцене бесплотную фигуру встречало осложнения. Дошло до того, что К.С. Станиславский попросил по контуру фигуры актера пройти цветным шнуром. Сам же актер был весь в черном и на черном фоне. Должно было получиться, что на сцене нет человека, а есть только его контур.

Тем часом (хотя, пожалуй, чуть пораньше, что, впрочем, роли не играет) известный европейский медиум Ян Гузик по богемным салонам предоставлял нашим поэтам-символистам возможность прямого контакта с обитателями иных миров.

Только наши символисты в его услугах не нуждались. Вячеслав Иванов, похоронив обожаемую жену, продолжал общение с нею в любовном диалоге, а также по делу. Покойная давала разумные советы, как ему быть дальше[6].

[6] Об этом подробно сообщают Н.Богомолов в книге «Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы», М., 1999 и Г.Обатина в книге «Иванов — мистик», М., 2000.

Сто лет спустя Людмила Улицкая в букероносный роман «Казус Кукоцкого» включила обстоятельный путеводитель по параллельному миру: все там будем, а кто-то и вообще уже там, даже при жизни, не догадываясь, что проживает в ином состоянии и себе же параллельно. Теоретически такое могло быть написано во всякое время, но практически пишется во времена урочные. Сейчас оно в самую точку.

У нас теперь о четвертом измерении сообщают по радио безо всякого содрогания. На Украине и газета выходит под названием «Четвертое измерение». Сведения, собранные там, в советские времена попадали в руки исключительно научным фантастам.

Кстати, куда ушла полноводная научная фантастика, в какой песок? Или ее вычерпали братья Стругацкие? До дна?..

Да просто ей сегодня нечего делать перед лицом такой действительности, когда ведьмы дают интервью, а шаманы проводят научно-практический симпозиум, изучая деятелей науки, занятых изучением шаманизма.

В прежние времена мы зачитывались книгой Вяч. Вс. Иванова «Чет и нечет». Сейчас труд этот переиздан с поправкой — «Нечет и чет». В предисловии автор объясняет причину перестановки слов. Название изменено, поскольку автор с течением времени вынужден внимательнее относиться *«к тому отрицательному или иррациональному ряду явлений, которые в европейской традиции связываются с нечетом»*[7].

Нетрудно угадать, куда клоню. Клоню я исключительно в сторону подобий. И по-прежнему вижу причину некоторых совпадений в сломе времен, когда сознание дезориентировано, а подсознание выходит из подполья.

5. Птица по имени Чайка

Я уже вижу, сколь неблагодарны усилия что-нибудь с чем-нибудь сопоставлять, такое занятие было бы эффективным, если бы в конце тоннеля брезжила конкретная задача: показать, как оно все качественно было *тогда* и сколь оно же несостоятельно, непрезентабельно сегодня.

Да ничего подобного, нет у меня такой задачи. В конце концов поиски рифмы вроде «любовь» и «кровь» — дело невинное, а может быть, и безыдейное. И потом, интересно наблюдать, как пульсируют, повторяясь время от времени, явления, взгляды и темы.

Что-то, имевшее грандиозные параметры, через сто лет явится в свернутом виде, уменьшившись до карманного размера. Не беда. Идет извечная игра величин великих и малых. Великие эффектнее функционируют, малые надежней консервируют, сохраняют. От какой-нибудь внушительной языческой богини и памяти об ее культе не сохранилось — неизвестно, чем заведовала, кого любила, кого казнила. Но образ ее свернут до размера глиняной игрушки, куклы, переодетой барыней.

В Москве есть самый маленький театр на свете: Королевский театр Лиликании — кукольный театр с актерами ростом в мизинец ребенка, и сцена у них

[7] Вяч.Вс.Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1, с.391. М., 1998.

никак не более шахматной доски. Прелестная игрушка, изобретенная в семейном театре «Тень»: театр в театре. Лиликанский оснащен собственной историей: лиликане впервые покинули свое отечество, впервые гастролируют в Москве. Все это не менее убедительно, чем у Свифта. Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская — хозяева «Тени» и изобретатели лиликанского мифа. Однако мелкие гастролеры повели себя непредвиденно, лиликанский миф стал разрастаться. С мифами это случается. Во-первых, в Москве прошел слух о маленьких — во таких! — актерах, а поют лучше, чем большие в театре Большом. Посольство их видели на Арбате. Машину, которая возит всю труппу, а заодно и весь народ видели тоже.

Между тем Лиликанский театр готов любезно предоставить свою сцену любому великому режиссеру. И пусть Вас, маэстро, не смущает, что Вы до сих пор имели дело с человеческим материалом, — куклы лучше! Особенно самые маленькие.

Анатолий Васильев, Петр Фоменко и Тонино Гуэрро. И следующие, кто почтет за честь осуществить свой замысел в театре величиной с игрушечный домик. Тонино Гуэрро уже осуществил: на Лиликанской сцене идет всемирный потоп, грандиозная катастрофа свернута до кукольных размеров, но не стала ни игрушкой, ни пустяком — постановка серьезна, можно сказать, ответственна. Впечатляет. По синим волнам океана плывет спичечный коробок.

Александр Бакши, осуществивший вместе с К. Гинкасом «Полифонию мира» на сцене Вахтанговского театра в дни Международной театральной Олимпиады 2001 года, готов поставить у лиликан вариант Полифонии мира — пьесу Константина Треплева, которую самому Треплеву в конце девятнадцатого века не дали толком поставить.

Я кое-что знаю про этот замысел: на лиликанскую сцену выйдет сам автор, чеховский Треплев, и произнесет всемирно знаменитую первую фразу своего сочинения, которое будет поставлено здесь и сейчас, у лиликан: «Люди, львы, орлы и куропатки...». И вот все они явятся на сцене. Все твари земные! Если верить Треплеву, они мертвы, поскольку кончена жизнь на земле, и Общая Мировая Душа намерена жизнь на планету вернуть, но в более совершенной форме. Если доверять Бакши, само авторское художественное слово, как заклинание, способно воскресить. Причем, всех — от человека до последней пиявки.

По сути дело же в том, что Треплев писал не пьесу, но мистерию. Мистерию, дерзающую решать судьбы вселенной и спорить или договориться с богами. Но ведь ставя «Чайку» всегда и по всему миру более ста лет, режиссеры не догадались о том, что в ней скрывается мистерия!

Бакши догадался.

Есть нечто закономерное, что догадался именно сейчас, когда обнажена тема конца чего бы то ни было, потому и контуры мистерии проступили в том отрывке, который написал и пытался поставить Треплев.

Но и то обстоятельство, что глобальная тема, сокращаясь до лиликанского масштаба, теряет в остроте трагизма — оно тоже имеет прямое отношение к нашим временам. Разумеется, переломным.

...А как же в этой мистерии появятся люди?

Обыкновенно. Все человечество и каждый народ со своим театром: китайцы с пекинской оперой, японцы с театром но, объясняет Бакши. И чтобы самые малые народы тоже были.

Выходит, театр как таковой есть мандат на право народу жить, вид на жительство и оправдательный документ?

Кажется, так.

6. Во все концы света

«За Киевом показалось неслыханное чудо. Уже паны и гетьманы собрались дивиться сему чуду: *вдруг стало видимо далеко во все концы света.* Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море» — и так далее. Николай Васильевич Гоголь, а курсив, разумеется, мой, поскольку это и есть то самое, о чем хочу сказать, начиная с точного слова «вдруг». Обращаю особо внимание на эту тотальную видимость, открывшую все концы света.

Культуре ведомы подобные ясновидческие состояния.

По крайней мере нечто подобное тому, что случилось под Киевом, однажды произошло в Париже. Я думаю, эпицентр события пришелся на гору, что высотою не более подкиевской Лысой горы. Парижская, конечно же, называлась Монмартр — отечество и пристанище художников. Подобно тому, как г-н Журден в один прекрасный день понял, что говорит прозой, так и до его правнуков в не менее прекрасный день дошло, что на них со всех сторон двинулись Искусство и Магия.

Случилось это, когда девятнадцатый век собирался отойти в историческое прошлое, а двадцатый еще и сам не знал, что натворит. Случилось открытие — поначалу локальное, потом ставшее сенсационным. Итак, на рубеже XIX и XX веков в горах Южной Европы были обнаружены следы наскального творчества — целое созвездие подземных галерей, глубинных гротов, которые, пожалуй, могут поспорить с Лувром. Тех наскальных бизонов (охра, сажа, камень) изобразило существо, толком не овладевшее членораздельной речью[8]. Пещерный художник еще говорить не мог — мычал, как Квазимодо, что не мешало ему создавать шедевры. Может быть, и наоборот, помогало.

Этот самый бизон, проспавший в исторической летаргии 20 (прописью: *двадцать*) *тысячелетий* (а теперь говорят — и все тридцать), который многократно изображен в глубине гор Испании и Франции, стал популярен в богемных кругах Парижа. И произошло это тогда же, когда совершенно автономно, совершенно независимо от вышеуказанного взрыва один французский авангардист испанского происхождения в память о родимых корридах рисовал быка — в новой манере, взрывая форму стремительным движением карандаша. Не карандаш, а шпага тореадора. Я говорю, разумеется о Пабло Пикассо.

Бизон быку не уступал. Но сходство между ними видно было невооруженным глазом. При всех различиях между авангардистом и пещерным художником результаты их работы схожи. В результате *масса экспрессии*, как обучал говорить Хаксли, если вам нечего сказать по поводу произведения искусства.

А что тут скажешь?

Во всяком случае встреча состоялась. Авангардист признал собрата по оружию. Оба владели мастерством добычи энергетического заряда из акта творчества. Заряда, нужно отметить, убойной силы.

---

[8] Бунак В. Речь и интеллект. Стадии их развития в антропогенезе. — В кн.: Труды Института этнографии АН СССР», нов.серия, т.92. М., 1966.

И встреча эта не была случайной. Теперь это ясно, как Божий день. Хотя тут по-прежнему уместно слово «вдруг».

Порассуждать бы о том, что яростные свершения художников, собравшихся на священной горе Монмартр, подверглись эстетическому облучению первобытного искусства — облучению, исходящему из растревоженных горных каверн...

Жаль, у меня не хватит дерзости и аргументов утверждать, что в этой постановке, срежиссированной самой Культурой, место действия — иначе почва, земля — играет особую роль и значимо особо. Всё безразмерно, но некая зона может быть выделена: локус. Или же, доверяя Гоголю безоглядно, — заколдованное место. Странно все же: всё время подворачивается Гоголь, даже если говоришь не о Миргороде, а о Париже. Время, видимо, сейчас такое — гоголевское время. По крайней мере, оптика его.

«Я тоскую о временах, когда искусство было всесильным», — сказал мне Питер Шуман, американский режиссер и скульптор, создавший у себя в Вермонте театр ритуала. Шуман — из породы шестидесятников, но тоже авангардист.

Так вот, гоголевская видимость установилась над Парижем, когда там объявился Авангард — то ли самозванец, то ли наследный принц, вопрос спорный. Тут и оказалось, что подлунный мир, вдруг ставший прозрачным, битком набит явлениями искусства. То есть явления эти уже были известны и числились по разряду экзотики, а тут (опять же вдруг) выяснилось: искусство всё это.

Оказалось: детские рисунки — это не каракули, а творчество.

Оказалось: Анри Руссо не рисует, как Домье, не потому, что не обучен. Причина в том, что он несет в себе другое, другую картину мира — свою.

Этнографы и антропологи, проходимцы и землепроходцы везли в Европу древних бронзовых богов с ужасающе безмятежной улыбкой. Везли ткани с Таити — раскраска попугая, палитра Гогена. Везли вымазанных запекшейся киноварью кровожадных африканских идолов.

Авангардисты и скандалисты, великие провокаторы обновления культуры, поправшие академизм, отрекшиеся от школы реалистов, ценили общность людоедской маски с портретом работы Брака.

Но пора обратиться за поддержкой.

Вот как ставит вопрос искусствовед Виль Мириманов: «Можно ли считать случайным совпадением то, что первые сообщения об открытии предметов палеолитического искусства приходятся на момент наивысшего интереса к фольклорным формам культуры? Случайно ли, что сразу вслед за открытием пещерной живописи в Испании и во Франции европейские художники открывают для себя искусство Африки и Океании?

Возникает любопытная картина, трудно поддающаяся анализу из-за своего положения на стыке науки и искусства — различных областей точного и гуманитарного знания и художественной практики»[9].

В. Мириманов, разумеется, не упустил и возбуждение авангарда на этом перенасыщенном фоне. Какая всемирная ярмарка открытий собралась на площади авангардистов! О том можно говорить бесконечно, да, собственно, бесконечно и говорят, мучительно отыскивая тому причину.

---

[9] Мириманов В. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., 1997, с. 134.

Авангард притягивает к себе прах веков, как янтарь. Или напротив, прах первобытности притягивает к себе авангардиста.

Но для этого нужно, чтобы тот самый допотопный прах подняло в воздух.

А для этого необходимо одно условие: ВЗРЫВ[10].

Это короткое энергичное слово вполне сопрягается с тем, что произошло в великих пещерах Европы, куда забрело, укрываясь от ледниковых похолоданий, стадо и откуда вышло человечество.

Искусство + религия = цивилизация.

И когда сей пещерный Лувр был вытащен на свет Божий и обнародован, произошел еще один взрыв.

И рвануло. Причем, кажется, не без санкции сверху. И видимо стало решительно все на белом свете и то, что на свет не попадает.

Прибегну к помощи искусствоведа Виталия Пацюкова, в то время как он сам ищет помощи и поддержки у представителей авторитетных точных наук: «Одна из определяющих парадигм XX века — теория катастроф Ренэ Тома, французского математика. Она противоположна теории эволюции, столь важной для XIX столетия, которая описывает мир как последовательное движение вверх, каждая следующая ступенька исключает предыдущие, пространство просматривается однослойно. Теория катастроф рассматривает мир как динамически многомерную реальность, где в результате накапливающегося сгущения возникает взрыв, позволяющий нижним слоям сознания и пространственным категориям переместиться в верхние слои реальности. И тогда нижние, архаические слои, в которых содержится космическая информация, — в архетипах, в ранних формах творчества, несущих в себе архетипические структуры, — та информация, которую человечество утратило, перемещается в верхние слои и обретает актуальный характер»[11].

Может быть, мы по сию пору переживаем остаточные явления того пещерного взрыва. Может быть, другой взрыв случился в начале века двадцатого. Или вообще культура превратилась в какое-то минное поле[12], но только невероятное количество всего поднялось в воздух именно тогда, в начале прошлого уже столетия, а к его концу вновь полетели осколки сосуда, разбитого вдребезги и называемого художественной культурой.

---

[10] Американский антрополог Джон Пфейфер написал книгу «Культурный взрыв». Ссылаясь на эту книгу, о культурном взрыве пишет Александр Генис. Он проводит параллель между изначальным искусством и нынешним роком. Рок вполне бы удовлетворил Ф. Ницше, взывавшего к иррационализму дионисийства. Характерно, отмечает Генис, что книга Ницше «Рождение трагедии» стала настольной для электронщиков-программистов, работающих с виртуальной реальностью и «компьютерным театром».

[11] Пацюков В. Ритуал. Театр. Перформанс. Материалы стенограмм лаборатории режиссеров и художников театров кукол. М., 1999, с.11

[12] Последний труд Ю.М.Лотмана так и называется — «Культура и взрыв». Хотя речь там идет о другом взрыве, происходящем в садах российской словесности. Но уже понятно, что культура XX века уже не могла обходиться без взрывов — малых, средних, больших.

Когда сто с лишним лет назад мир раздвинулся во все концы света, для того, чтобы все собрать, а более всего — чтобы составить новое искусство, напитанное энергиями иных искусств, французские поэты-символисты так и обозначили свою задачу: собрать краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур.

Символизм в Россию пришел, чтобы дать искусству волю. Но волю он подчинял кристаллографии символа. Символ и был «гиероглиф таинственный», он же кристалл, в гранях своих отражающий однородные явления и все в себя вбирающий. Символизм синтезировал силы искусств.

Конец двадцатого века вновь застал мировую культуру в состоянии перенасыщенности и беспорядка. Кажется, это тоже последствие взрыва...

И всё же, я думаю, начало всему положено в тех самых пещерах. Пещеры плюс авангард. Именно он сокрушил последовательность, строй эпох и стилей, погнал их единой лавиной и угомонился лишь к собственному концу.

Бешеная стихия «взрыва», все сокрушив и перемешав, вошла в конце концов в тихие заводи постмодернизма, предаваясь воспоминаниям обо всем, что было. Постмодернисты разбирают обломки и, не находя принципиального различия между явлением жизни и не жизни, складывают новый пазл. Иначе — новую картину мира. Картина настаивает на том, чтобы ее укоряли в абсурдности и безответственности. Такая игра. Или афишированная беспечность не более чем маска невеселого шута? Хоть и остроумного...

Я забываю сказать, возвращаясь к своим бизонам: когда открылись недра, а из недр высунуло голову само первородное, как грех, Искусство, открылись небеса. Иначе вертикаль. Художник устремил взор в небо.

Когда видимость во все концы света уходит, когда прозрачность сгущается, оборачиваясь сгустками материи, вертикаль растворяется. Власть переходит к горизонтали.

Сегодня задействованы обе оси координат, их равновесие пока не предвещает динамики. Да всегда ли нужна динамика? Наверное, нужны и передышки, если «культура устала», как говорил Лотман. Вообще-то, говоря по чести, есть от чего отдохнуть.

* * *

«В начале прошлого века», «в начале нашего столетия» — у меня получается, что век вырезан аккуратным ломтем из полноценной краюхи календаря. На самом деле это не так. Потому что хотя бы век двадцатый начался не в новогоднюю ночь, не в 00 часов 1901 года, но значительно раньше.

На самом деле он не окончился сегодня, потому что мы его не изжили.

Художник *В. Лаврентьева*, компьютерная верстка *С. Опариной*
ЛР № 066469
Подписано в печать 06.12.2002. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура Таймс. Печ. л. 30,00. Усл. печ. л. 27,3. Тираж 3300 экз. Заказ № 7250

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

◆ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАЗЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ◆

Выходит в Париже с 19 апреля 1947 года

РУССКАЯ МЫСЛЬ

LA PENSEE RUSSE

Главный редактор: Ирина Кривова

Хроника и анализ российской политики и экономики, взгляд с Запада на события в России. Литература и мемуары, книжное обозрение. Новости культурной жизни в России и Европе. Страницы истории. Жизнь русского зарубежья.

◆

Hebdomadaire en langue russe, eґditeґ aє Paris depuis 1947. Analyse des eґvenements politiques et eґconomiques en Russie. Litteґrature et meґmoires. Liens artistiques et culturelles entre la Russie et l'Europe. La vie de communauteґ russe en France.

Подписку на «Русскую мысль» можно оформить по телефону: 33(1)48.77.32.71 или e-mail: Pensee.Russe@wanadoo.fr



«КОНТИНЕНТ» № 114, 480 стр. , подписные индексы 73218 и 71682 (годовая подписка)